БОРИС САДОВСКОЙ

Борисъ Садовской

ЛЕБЕДИНЫЕ КЛИКИ

БОРИС САДОВСКОЙ

ЛЕБЕДИНЫЕ КЛИКИ

БОРИС САДОВСКОЙ

ЛЕБЕДИНЫЕ КЛИКИ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1990

ББК 84 Р7
С 14

Составление, послесловие и комментарии
С. В. Шумихина

Виньетки на фронтисписах заимствованы из книги
«Oeuvres complètes de Millevoye». Paris, 1822.

Художник
АЛЕКСЕЙ ТОМИЛИН

С $\frac{4702010201-337}{083(02)-90}$ 122—90

ISBN 5—265—01187—0

«Среди последних книг, толстых и тонких, безграмотных и грамотных...— «Узор чугунный» — точно кусок драгоценной материи в куче грязных ситцевых тряпок. Он дает тихое отдохновение и невинную, праведную отраду».

Антон Крайний (З. Н. Гиппиус).
«Русская мысль», 1911, № 6

«С 4-х часов обедает, до 10-го — Борис Александрович Садовской, значительный, четкий, странный и несчастный».

А. А. Блок. Дневники.
Запись от 13 ноября 1912 г.

«Но что вне спора, это Ваш слог, Ваш язык; четкость, острота, сжатость, ясность — выше всякой похвалы...»

М. О. Гершензон — Б. А. Садовскому.
13 марта 1919 г.

«Кроме шести, если не ошибаюсь, книг стихов... Садовской написал несколько томов прозы... Как прозаика его часто смешивали с так называемыми «стилизаторами». Это не верно. Лишь незначительная часть его рассказов («Из бумаг князя Г.», «Три встречи с Пушкиным» и др.) могут быть названы стилизациями, т. е. представляют собою как бы документы, писанные не в нашу эпоху. Все прочее писано от лица нашего современника, и только сюжеты чаще всего взяты Садовским из XVIII и первой половины XIX столетий. Это была его излюбленная пора, изученная любовно и тщательно, описанная все с тою же присущей Садовскому сдержанностью,— но всегда — выразительно, четко, прозрачнейшим русским языком... Как историк литературы Садовской мог гордиться любовью П. И. Бартенева и М. О. Гершензона».

В. Ф. Ходасевич. «Последние новости»,
Париж, 1925, 3 мая.

«Что он, Горький, говорил? Что запомнилось из его слов о писателях?.. Бориса Садовского уже с 15 лет считал выдающимся талантом. «Помню его в мундирчике, тонким, тонким голосом читающим стихи — как игрушечка. Его очень в семье баловали. Был кумиром. Каждое желание исполнялось».

А. Мейн. (А. И. Цветаева). Из книги о Горьком.
«Новый мир», 1930, № 8/9.

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 10 февраля 1881 года в г. Ардатове, Нижегородской губ. Отец — известный нижегородский краевед и археолог, после Октябрьской революции был профессором исторических наук в высших учебных заведениях Нижнего Новгорода. Умер в 1926 году. Мать нигде не работала и скончалась в 1941 году.

Окончил Нижегородскую гимназию в 1902 году и тогда же поступил в Московский университет на историко-филологический факультет, который и окончил в 1906 году. Никогда не состоял на службе. Только с 1919 по 1922 год читал лекции в Нижегородском государственном университете, в Педагогическом и Археологическом институтах и получил звание красного профессора.

Печататься начал еще гимназистом в нижегородской газете «Волгарь» в 1901 году. С тех пор печатался во всех лучших журналах того времени («Весы», «Золотое руно», «Русская мысль», «Современный мир», «Вестник Европы», «Нива», «Современник» и др.); в газетах «Речь», «Нижегородский листок», «Русская молва», «Товарищ» и др. и во многих альманахах и сборниках. С 1917 года печатался в «Красной нови», «Красной ниве», «Звезде», «Правде», «Новом мире» и др.

Отдельно издано двенадцать книг с 1909 по 1917 гг. и две книги в 1922—1928 гг.

БОРИС САДОВСКОЙ

20/X—47 г.

КАРЛ ВЕБЕР

Пролог

ХРУСТАЛЬНАЯ РАМА

Короток жизни предел,
велики затеи.

Князь Кантемир

Я родился накануне нового, 1701 года в нашем тихом старинном городке. Весь он зарос каштанами. На площадях весело брызжутся и звенят из пастей бронзовых львов и единорогов радужные фонтаны; чинно перезванивают колокола и часы на башнях; в лавках продаются женские уборы, утварь и оружие. Дом наш, высокий и узкий, стоял в саду. Снизу заткали его плющ, виноград и розы; густые ветви каштанов гляделись в нижние окна, где вечно струился и замирал синеватый дрожащий сумрак. В зале, из стен, журча, выпрядывали взапуски фонтаны; лепетал звучный каскад; над мраморной сыростью бассейна заламывали руки алебастровые тритоны и нереиды, грозил трезубцем Нептун. Из царства воды и мрака светлая лестница вела наверх. Здесь жил отец. Разноцветные стекла окон пылают на солнце; по стенам тканные на шелку фигуры рыцарей и монахов, всюду цветы; с балкона влетают и вновь улетают со стоном пчелы. Еще выше моя пустынная комната. Из окна ее видно небо, крыши домов, аллеи каштанов; зыблются синие луга, плывут треугольники журавлиных стай, сияют горы, а воздух, розовый, белый и золотой, переполнен режущими ухо безумными стрижами. И тут же внизу, под окном, среди сада, над черным колодцем склонялась грустная ива. Обернувшись, я ловил свой взгляд в широком овальном зеркале. На гладкой хрустальной раме лепились раковины, жемчуг и перламутр; сухие водоросли вверху обвивали серебряный, потускневший герб. Зеркало принадлежало моей матери; она утонула в колодце под ивой во дни моего младенчества.

Отец мой, придворный медик, был толст и важен. Одевался он в золото и атлас, пестро и ярко, точно китайская кукла. Семиярусный завитой парик падал на круглые плечи; две золотых табакерки с алмазами, двое часов на тяжелых цепях, трость с аметистовым набалдашником.

К семнадцати годам я достиг уже семи футов росту. Приходя в церковь к обедне, я клал шляпу на хоры между перил, куда никто не мог дотянуться. В минуты волнения или гнева лицо мое дергалось; щека плясала, как на пружине.

Лекарства отец готовил по тайным рецептам. В аптеке у нас водилось масло из мозга самоубийцы, трава вроде чая, вырастающая на черепе повешенного злодея, порошки из человеческих костей. Составлять эти снадобья помогал отцу городской палач.

Он тоже был важен, но худощав и морщинист и походил на скелет, обтянутый черным бархатом. Казни в городе совершались по воскресеньям. Палач отрубал головы мечом очень красиво и чисто: после удара голова не катилась и не прыгала, а плавно садилась на помост. Вытерев руки и меч полотенцем, палач спускался медленно с эшафота и шел по каштановой аллее, мимо фонтанов, к себе домой. Как сейчас вижу его стройную, длинную фигуру в бархатном берете и епанче.

— Господин Вебер, вы, должно быть, забыли о нашем деле,— сказал однажды палач, вместе с отцом рассматривая только что вынутый мозг казненного матереубийцы.

Отец вспыхнул и промолчал. Весь вечер он хмурился, а утром велел мне взять бутылку венгерского и отнести палачу.

Не знаю почему, сердце мое забилось, когда я подходил к розовому домику на заставе. Густой плющ обвивал черепичную кровлю и ластился к белым окнам. На дворе прыгал хромой журавль. Палач сидел в садике под жасмином за чашкой кофе; он ласково подмигнул.

— Садитесь, Карл Вебер.

Я сел. Солнце сияло на синем небе, у стола бродили куры, петух заливался изо всей силы, благоухал жасмин. Палач улыбался и, приподнявшись, громко, чтоб заглушить петуха, крикнул:

— Ида!

Высокая девушка с огненными кудрями встала на пороге. Она опиралась на широкий меч.

— Что ты делала, дитя?

— Чистила твой меч, отец. Завтра воскресенье.

На мой поклон Ида ответила сдержанно. Сжимая тонкие губы, она посмотрела на меня, и тут я заметил, что у нее тоже дергается щека.

Вдруг что-то упало мне на плечо. Маленький, пестрый леопард, царапаясь, гибко впился мне в руку. Ида звонко захохотала. Схватив зверя за горло, я сжал его в вытянутой руке; кровь капала из прокушенного локтя, и куры подбегали ее клевать. Я разжал пальцы; мертвый леопард свалился в середину испуганно закричавших птиц. Ида нахмурилась, но не могла сдержать смеха.

Палач увел меня и перевязал мне руку. В столовой над камином увидел я хрустальную раму, точно такую же, как на моем старом зеркале. Из рамы смотрел портрет женщины, прекрасной и грустной.

Вошла Ида с бутылкой и стаканами. Лицо ее было холодно и бледно, как мрамор.

Дома отец осмотрел и снова перевязал мою рану. О палаче и дочери его он не сказал ни слова.

Два дня я пролежал в лихорадке и, встав с постели, заметил, что у меня растет ярко-рыжая, почти кровавая борода. Образ Иды в бреду носился передо мною; я вспоминал ее надменную улыбку, грозные брови и мраморное лицо. Мне хотелось смешать мою красную бороду с ее огненными кудрями.

Ида в саду кормила журавля. Я помогал ей, держа корзину. За три недели привык я к внезапным приемам Иды, к ее холодности и насмешкам. Одно лишь я видел ясно — что жить без Иды нельзя.

— Итак, вы любите меня, Карл?

Я вздрогнул.

— Вы знаете?

— Конечно, знаю. Не думаете ли вы жениться на мне?

Каждое слово этой прекрасной, спокойной девушки терзало и жгло мне сердце.

— Так знайте, что этого никогда не будет. Я вас не люблю.

Ида погладила присмиревшего журавля и отошла к воротам. Солнце садилось. Я глядел, как пылали волосы Иды в кровавом огне заката.

Дома я застал палача. Он спокойно пускал из фаянсовой трубки синие кольца дыма. Отец, взволнованный, ходил взад-вперед.

— Если условие потеряет силу, мы ничего не получим.

— Я согласен,— сказал отец.

Палач удалился.

— Карл, я хочу тебя женить,— продолжал отец.— Как тебе нравится фрейлен Ида?

Я остолбенел. Каково было слышать это после решительного отказа!

— Я готов... Но согласится ли она?

— Об этом говорить нечего. Ида исполнит все, что прикажет отец. Послезавтра мы подпишем брачный договор. Я знаю, жениться на дочери палача — не большая честь, но, Карл, помни, что союз с Идой сулит огромные выгоды.

Всю ночь я не мог уснуть. Утром схватил со стены самострел и скитался до поздних сумерек. Горы белели. По реке пробегали лодки, шевеля розовыми и голубыми парусами. Звенели струны, женские голоса и смех.

Стемнело. За оградою герцогского парка — мимо него я шел, забросив самострел на плечо,— мелькнули грациозные призраки газелей и антилоп, говорливо позвякивая серебряными звонками.

С заставы собирался я повернуть домой, как вдруг из дома палача блеснул яркий свет. Сердце забилось; неудержимо тянуло пойти и взглянуть в окно.

Ворота были не заперты, дверь в дом открыта. Меня поразила странная тишина.

В столовой увидал я отца. Он сидел у камина, согнувшись, спиной ко мне; на полу валялись осколки хрустальной рамы. Отец низко склонял неподвижную голову; приблизившись, я увидел, что

в грудь ему всажен широкий меч палача. Белый атласный камзол весь залит был кровью. В то же время почувствовал я, что на меня кто-то смотрит. Подняв лицо, я встретил пристальный взгляд: это глядел палач,— нет, не палач, а отрубленная голова его, стоявшая на столе среди бутылок и блюд.

От неожиданности я даже не испугался. В мертвой тишине между двумя мертвецами стоял я, слушая, как колотится сердце.

Вдруг на полу я заметил кровавый след узкой женской ноги. Страшная истина блеснула, как молния среди ночи.

Одним прыжком я очутился на дворе. Журавль кричал и прыгал, как бесноватый. На шее у него при лунном свете белел клочок бумаги. Там было написано: «Я обвенчалась. Ида».

Опомнился я в своей комнате перед окном. Розовый рассвет блеснул на востоке.

Зеркало отразило мое искаженное лицо, и мною овладел припадок бурного бешенства. Схватив подсвечник, я пустил им в стекло. Треснув, раскололось оно огромной синей звездой; хрустальная рама зазвенела, и по полу покатился круглый серебряный медальон. У меня опустились руки.

В медальоне с изображением сказочной двухголовой птицы нашел я прядь огненно-золотых волос и сложенную записку:

«Сын мой Карл! Доктор Вебер — тебе чужой. Найди отца и будь счастлив. Тебе поможет человек со шрамом на лбу в виде креста. Молись о твоей несчастной матери».

Восток разгорался. В горах клубился туман.

Глава первая

КОМЕДИАНТЫ

Клиа точны бытия
В память предает поя.

Тредиаковский

Осеннее небо сеяло мелкий дождик. На лесной опушке, подле обсаженной ветлами дороги, пылал костер. Несколько телег с кладью, лошади, жующие и бродящие вдоль прогалины, собачий лай и отрывисто-переливчатые звуки флейты оживляли дождливую скуку серого полудня. У костра трое мужчин мешали в котле и ворочали на вертеле жаркое; женщины перетирали оловянную посуду. Еще человек пятнадцать сидели и лежали перед огнем.

Из-за кустов, по дороге показался всадник. Это был молодой человек гигантского роста с длинной ярко-рыжей бородой. Он трясся на тощей разбитой кляче, поджимая длинные ноги.

У костра засмеялись.

— Колокольня верхом!

— Полторы лошади и полтора человека, итого трое.

— Шестиногий кентавр!

— Ха-ха-ха!

Великан спрыгнул с коня и пошел к костру. При его приближении шутки смолкли.

— Почтенные дамы и господа! Я еду издалека и вот уже третьи сутки не покидаю седла. Не откажите дать мне место у вашего огня и позвольте закусить с вами. Я заплачу вам, сколько вы пожелаете.

Путнику важно подал руку багровый толстяк с седыми усами.

— Прóшу пана сделать нам честь отобедать вместе. Никаких денег не нужно. Сам я благородный человек и вижу сразу благородного человека. Фамилия моя — Пржепельский. Я — директор театра, а это мои товарищи. Можно узнать имя пана?

— Карл Вебер.

— Садитесь и кушайте, пан Вебер. Вот так!

Все принялись за обед.

— Нас постигло великое несчастье,— продолжал директор,— у нас околела лошадь. Между тем мы должны торопиться в город. Наш первый актер, Самсон, ушел добывать коня, но, боюсь, ему это не удастся. Теперь война, и лишних лошадей нет. Смею спросить, вы тоже едете в город?

— Я? Да... Нет... я и сам не знаю.

— Ага, вы ищете приключений! Между тем из вас может выйти славный актер. Вы никогда не играли?

Вебер не успел ответить: его перебил черный человечек, носатый, с проницательными глазками, очень похожий на мышь.

— По-моему, синьору Веберу лучше бы стать будильником.

Все улыбнулись. Пржепельский нахмурил брови.

— Будильником?

— Ну да. Помните, я рассказывал, как страус в зверинце проглотил будильник и потом поднимал сторожей в третьем часу утра. Судя по аппетиту, с каким кушает синьор Вебер, он не уступит страусу. А у нас актеры опаздывают на репетиции. Позвольте сюда ваш будильник, синьор директор, и мы...

Комедианты покатились со смеху. Вебер поперхнулся и покраснел.

— Оставьте ваши шутки, пан Конфетти,— строго сказал директор.— А вот и Самсон.

На опушке появился статный великан, значительно ниже Вебера, с греческим носом и в белокурых кудрях. Красивое лицо его было сердито, камзол в грязи.

— Никакого толку! Лошади не купишь и на вес золота,— раздраженно сказал Самсон и, увидя Вебера, мрачно приподнял треух. Директор, шлепая мокрыми ботфортами по лужам, подскочил к Самсону и зашептал ему на ухо. Тот отвечал гримасой.

Пржепельский надулся, разгладил усы и, отведя Вебера к опушке, предложил ему поступить в труппу на роли злодеев и привидений. Толстяк обещал юноше стол, квартиру, полный гардероб

и жалованье в случае успеха. За это Карл обязывался отдать лошадь.

— Условия весьма выгодные для вас, синьор,— вкрадчиво, медовым голосом заговорил Конфетти, моргая мышиными глазками.— Если бы вы, подобно мне, были верующим католиком, вы не колебались бы ни секунды. За бренные блага настоящего, то есть за вашу клячу, вы получаете в будущем пропасть наград,— в будущем, заметьте.

Пржепельский топнул и забрызгал актера грязью.

— Позвольте рассказать вам один случай, синьор,— продолжал невозмутимо Конфетти, медленно вытирая лицо дырявым платком.— Я гостил в Лейпциге. Вы знаете этот город? Нет? Ну, все равно. Иду я по главной улице и мечтаю. Вдруг на меня садится пчелиный рой. Что делать?

Конфетти развел руками и поджал тонкие губы. Вся труппа окружила рассказчика, дамы хихикали.

— Я тут же на улице разделся, да! Сначала снял осторожно шляпу, потом кафтан, камзол, исподнее, чулки, рубашку и наконец остался безо всего.

Дамы спрятали лица в платки. Актеры смеялись. Карл недоумевал, директор пыхтел от ярости.

— Освободившись от пчел и от одежды, я хотел продолжать прогулку, но полицейский сержант достал из сумки ремень и дал своим подчиненным знак, может быть, повесить, а может быть, только связать меня,— не знаю. К счастию, супруга его, дама вашего роста и сложения, сжалилась и бросила мне свою перчатку. Из двух средних пальцев я устроил панталоны, из большого — шляпу, прочее накинул на себя и в таком виде благополучно дошел домой... Так вот, я хочу сказать,— закончил Конфетти при общем хохоте,— что вы, синьор Вебер, похожи сейчас на человека, на которого садится пчелиный рой.

— Пан Конфетти! — закричал, наливаясь кровью, директор.

— Успокойтесь, синьор, успокойтесь! Вебер поступает к нам в труппу и отдает коня. Через час можно будет ехать.

— Песья кровь,— проворчал директор, отходя к потухавшему костру.

Актеры поили лошадей и увязывали телеги. Конфетти дружелюбно мигнул Карлу и чирикнул по-птичьи. С ответным криком на плечо ему сел взъерошенный воробей.

— Это мой друг, Петрарка. Отличается от своего знаменитого тезки тем, что в каждом городе находит новую Лауру.

Дождик прошел; показалось солнце.

Труппа двинулась в пяти экипажах. Впереди на телеге оркестр наигрывал на флейтах и гобоях веселый французский марш; за оркестром на линейке катились дамы в огромных шляпах, под общим кожаным зонтиком; за ними — директор, Самсон, Вебер, четыре актера и Конфетти с Петраркой на плече. Далее — мелкие члены труппы, декоратор, портной и парикмахеры. Позади громы-

хал тяжелый фургон с театральными пожитками. Кулисы, картонное оружие, попугаи, бутылки, обезьяны, костюмы, парики, ручной волчонок, клетка с учеными крысами тряслись по ухабам и колеям. Под музыку актеры запели хором:

Он жил среди стрелков,
Она — среди иголок.
Он бил волков,
Она вязала полог.
Под этим пологом, друзья,
Не будем спать ни вы, ни я,—
    Не то иголка
    Уложит волка
    Верней ружья.

Карл поступил в драматическую студию Пржепельского под именем Голиафа.

Деревянные дощатые балаганы с дрожащими половицами, шаткие подмостки, спертый и пряный воздух кулис, скудно мерцающие свечи, урчанье настраиваемого оркестра, шутки и беготня за сценой, проказы беззаботных маленьких актрис и шуршанье их пышных мишурных юбок, крики попугаев и ржанье лошадей, возгласы директора, постепенный мерный шум от наплыва зрителей, подобный набегающему приливу, первые хлопки и беспокойство райка, вздернутый занавес и взрывы рукоплесканий — все нравилось Карлу и увлекало его.

Конфетти был первым комиком и любимцем публики. Особенно хорош бывал он в дивертисменте, выходя с Петраркой и беседуя с ним на разных языках. Придя в первый раз к Конфетти, Вебер изумился. В комнате ни стола, ни стульев, вместо постели дорожный плащ, на окне — латинская Библия и флакон с ядом.

— У меня нет самолюбия, но его нет и у Бога, для которого друзья и враги равны. Вот почему я готов отравить кого угодно, а в случае надобности и самого себя.

Скоро мышеобразный комик сдружился с краснобородым злодеем. Вместе блуждали они, бесчинствуя по кабачкам и переулкам; нередко Вебер уносил приятеля от мести пьяных гуляк.

Все в труппе полюбили Голиафа, один Самсон не выносил соперника. Веберу было всего 18 лет, он продолжал расти, и теперь Самсону в труппе досталось второе место. Он скрежетал зубами от зависти.

Однажды директор на репетиции объявил важную новость. Первая актриса сбежала с гусаром; к счастью, Пржепельскому удалось найти другую героиню.

— Девица молода и красива и, что особенно важно, хорошего роста. Пан Голиаф может поцеловать ее, не становясь на колени.

Через минуту новая актриса показалась. Вебер увидел Иду.

Под золотым венцом тяжелых могучих кос, с янтарными завит-

ками на висках и на низком точеном лбу, Ида держалась легко и прямо. Глаза ее, темные, без блеска, смотрели, точно не видя.

Играла Ида превосходно. Публика осаждала кассу, и Пржепельский, потирая руки, жмурился, как сытый кот. От поклонников не было отбою. Хищные веселые гусары в доломанах, с усами и косами, франты в огромных, как башня, париках, смешливые раздушенные старички на петушьих ножках, робкие краснощекие юноши — все устремлялось за кулисы. Ида ко всем была надменно равнодушна. Карла она не то что не узнавала,— хуже: она с ним обращалась как с незнакомым, как с первым встречным. Вебер порой сомневался, точно ли это Ида. Он не выдержал наконец и раз перед репетицией вошел в ее разрисованную уборную.

— Фрейлен Ида, вы меня не узнаете?

— Узнаю. Вы — господин Голиаф.

— Нет, я не про то. Вы помните наше знакомство и вообще... В тот вечер я тоже бежал. Я все знаю, но я никому никогда ни слова, и моя любовь...

— Послушайте, господин Голиаф! Если вы еще раз осмелитесь показаться мне в пьяном виде, я пожалуюсь директору. Кроме того, я подозреваю, что вы — беглый преступник.

Карл, раскрыв рот, разводил руками.

— Мне стоит сказать слово — и вас повесят. Идите!

С трудом, весь красный, приседая и оглядываясь, вылез юноша в узкую дверь с синей звездой внутри и червонным тузом снаружи.

Настало лето. Жарким июльским утром Вебер спешил к театру с корзинкой румяных вишен. Выплевывая косточки, он швырял их в толпу мальчишек, бежавших сзади с визгом и криками.

Актеры на сцене суетились, Пржепельский хрипло кричал. Началась репетиция. Вебер в углу ждал выхода, доедая вишни. Когда выступила Ида, великан взглянул на нее и замер.

Вместо мраморной статуи Вебер увидел живую женщину. Лучистые взоры лили потоки света, голос звучал, пышные губы смеялись.

Перемену в Иде заметили все актеры. Общее недоумение росло. Но когда кончилась репетиция, все стало понятно.

Из-за кулис выступил человек лет тридцати, среднего роста, с уверенной, спокойной осанкой. Под тонким орлиным носом черные усы загибались вверх по старой рыцарской моде; эспаньолка украшала крепкий подбородок. Скромный плащ по-испански заброшен через плечо. Звякая шпорами, подошел незнакомец к Иде и предложил ей руку.

Пржепельский бросился и с низким поклоном растворил дверь. Даже по спине гостя видно было, что он действительно не замечает никого — и не потому, что замечать не хочет, как делала Ида, а просто оттого, что не понимает, как можно держать себя по-другому.

Когда счастливая, покорно улыбающаяся Ида и кавалер ее вышли, актеры обступили Пржепельского.

— Кто это? Кто такой? Откуда?

Старый толстяк принял беспечный вид.

— Это фон Виртемберг, поручик.

— И только?

— Только.

— Не может быть! Отчего же вы ему так кланялись и даже допустили на репетицию?

— По очень простой причине. Если он нравится фрейлен Иде, зачем мне быть нелюбезным хотя бы с поручиком?

К Веберу подошел бледный и злой Конфетти.

— Карл, ты звал меня пить, пойдем.

Они напились. Вечером Виртемберг в театре не был, но на другой день явился опять на репетицию и ушел вместе с Идой. Назавтра повторилось то же. Он никому не кланялся, ни на кого не глядел. Кто-то из актеров нарочно его толкнул и не извинился. Виртемберг и этого не заметил, но по уходе его директор тотчас оштрафовал актера.

Вебер, Самсон и Конфетти завтракали в городском парке под липами. Вдруг они увидели неподалеку за столом Иду с ее поклонником. Самсон, когда напивался, делался груб и дерзок. Прежде чем Вебер успел удержать его, он злобно крякнул и, покачиваясь, направился к молодой чете.

Никто еще не слышал голоса Виртемберга, и он прозвучал теперь в первый раз металлически ясным звоном:

— Возьми эту бутылку и дай другую!

Конфетти пригнулся к столу. Вебер закрыл глаза. Виртемберг спокойно смотрел в лицо Самсону.

Великан посинел, широко улыбнулся, вздохнул, взял бутылку и принес новую на подносе.

— Налей!

Руки Самсона тряслись, он пролил вино на скатерть.

— Ты пьян и неловок. Пошел прочь!

Самсон отошел и сел на траву. Он казался сонным и с изумлением озирался по сторонам.

Голиафом овладело бешенство. Изредка прорывалось оно, давая выход страстям,— и тогда никто не мог удержать безумного. Ревность, оскорбленная любовь, обида за товарища как пружиной подняли его на ноги. Огромным прыжком великан подскочил к столу.

Виртемберг продолжал спокойно сидеть, прихлебывая вино. Он смотрел не на великана, а на Иду. Вот он что-то сказал ей и пожал плечами. Ида засмеялась.

Голиаф, огромный, свирепый и неуклюжий, топтался нелепо перед столом. Два раза заносил он исполинскую ладонь и опускал со стоном. Волосы его топорщились кровавой щетиной, щека плясала. С ужасом чувствовал он, что не может ударить Виртемберга.

Поручик встал и об руку с Идой пошел из парка. Медленно, плавно, точно танцуя, удалялись они аллеями.

— Однажды воробей хотел заклевать ворону,— развязно заговорил Конфетти и тотчас смолк. Шутка его бессильно повисла в воздухе.

На другой день и вся труппа услышала голос Виртемберга. С неизменным своим спокойствием он вышел на сцену.

— Сегодня я уезжаю. Мне хочется, фрейлен Ида, оставить вам что-нибудь на память. Приказывайте, я готов исполнить вашу волю.

— Лично мне не надо ничего, господин Виртемберг, но здесь в театре есть один человек с пустой головой и пустым карманом. Необходимо помочь ему. Я знаю, вам нравятся мои волосы. Хотите купить их?

Все окаменели от изумления. Пржепельский разинул рот.

— Я ценю мои волосы в два червонца, потому что бедняк, которому я хочу дать денег, вряд ли умеет считать больше двух.

Виртемберг приказал парикмахеру принести ножницы.

— Я покупаю ваши волосы, фрейлен,— он положил на стол пару золотых.— Теперь я беру себе сколько нужно.— Он бережно отрезал тонкую золотую прядь.— Остальное я дарю вам. Вы не откажете принять мой подарок?

Ида присела.

— Завтра я пришлю вам, кроме того, портрет прекраснейшей и умнейшей дамы. Уезжая отсюда навсегда, я хочу знать ваше мнение об этой женщине. Если вы одобрите мой выбор, я буду счастлив. Поручаю господину директору устроить обед для труппы.

Виртемберг протянул Пржепельскому кошелек, поклонился Иде и мерно вышел.

Общее волнение усилилось. Итак, Виртемберг уезжает, покинув Иду! Кто же избранница его? Он женится. Каков! Бедная девочка! Сожаления сменялись шутками и хихиканьем. Ида молчала. К ней воротилась мраморная суровость.

Пржепельский хлопнул в ладоши.

— Внимания! Завтра мы все обедаем здесь. Фрейлен Ида, кому назначаются ваши деньги?

— Тому, кто вчера в городском саду показал себя самым умным и самым храбрым.

Ида пошла к дверям. Директор загородил дорогу.

— Это не ответ. Скажите точнее.

— Тому, кто выше всех в труппе.— Она приостановилась.— Ростом, только ростом!

Все искали глазами Голиафа, слышались смех и остроты. Но великана не было.

Директор устроил обед с присущей ему скупостью. Больше половины золотых осталось в его кармане. Но беспечные актеры были довольны, как дети, и шумно веселились за длинным, сколоченным наскоро из декораций, пестрым столом.

На Иду никто не обращал внимания. Вся в черном, она сидела, молча потупив холодный взор. Пржепельский, вздыхая, водил усами.

— Бедное дитя!

Вебер к обеду не явился. В разгар пира, когда Конфетти прыгал по столу с чирикавшим у него на голове Петраркой, а дамы готовились запеть под флейту Самсона, за дверью послышались шаги.

— А вот и Голиаф!

Но вместо Вебера вошел гайдук в красной ливрее. Подойдя к неподвижной Иде, он подал ей на подносе пакет.

— От его высочества герцога Виртембергского.

Все встали. Конфетти упал на блюдо с остатками соуса. В глубоком молчании один Петрарка, трепеща крыльями, чирикал изо всех сил.

Ида сорвала золотые шнурки и красную печать. В пакете оказалось зеркало в драгоценной раме.

— Где же портрет?

— Чудаки! — воскликнул злобно Конфетти.— Как вы не понимаете? Отражение фрейлен Иды и есть портрет.

Актеры с низкими поклонами поздравляли Иду. Актрисы ей приседали. Пржепельский на коленях поцеловал край ее платья.

— Виват, ясновельможная пани!

Восторженный тост потряс дырявые стены. Ида сидела, попрежнему опустив ресницы.

— Его высочество ожидает на первой станции,— продолжал гайдук.— Угодно госпоже пройти в карету?

Грохот колес возвестил об отъезде Иды. Конфетти медленно слез со стола и постучал себя по лбу.

— Кончена комедия!

И вдруг, схватив отчаянно кричавшего Петрарку, ударил с размаху его об пол.

В тот день представление не состоялось. Наутро Пржепельский, мрачный и недовольный, собирался репетировать новую трагедию. Отсутствие Иды портило все дело, Вебер к тому же пришел пьяный, прямо с ночной попойки, шатался, дремал на ходу и путал роль. Раздражение директора усилилось при виде Конфетти.

— Вы опоздали на целый час! Четыре червонца штрафу!

Конфетти был очень весел.

— Синьор, вы не знаете, отчего я опоздал. Выслушайте, потом сердитесь. Утром я встал, как всегда, и пошел в театр. На перекрестке, против трактира «Трех королей», вижу, гуляют голуби, огромная стая. Хочу обойти ее справа, голуби двигаются направо, хочу слева — и они налево.

— Ну?

— Ну я и пробился так полтора часа. Наконец догадался, пошел прямо, и они улетели.

Пржепельский, насупясь, слушал. Он не умел привыкнуть

к шутовству Конфетти и важно принимал его объяснения. Залп хохота вывел директора из себя.

— Паскудный паяц! Сто дьяволов! — затопал он, мгновенно налившись кровью.— Я тебя выгоню вон!

Конфетти, пискнув, подпрыгнул и задрожал. Мышиные глазки сыпали искры; изогнувшись, он заскрипел зубами. В руке блеснул венецианский стилет.

Пржепельский тяжело упал на колени.

— Пан Конфетти, я пошутил, пощадите! Спрячьте ваш ножик, во имя Бога, я пошутил!

Конфетти перевел дух.

— Даю вам двойное жалованье и три бенефиса.

Конфетти повернулся к выходу.

— Старый пузырь с кислым малиновым соком,— сказал он, пряча стилет.— Не хочется пачкать об тебя благородную сталь. Ищи себе другого Конфетти, я больше не играю.

Вечером Пржепельский метался по сцене, ругаясь и теребя усы. Труппа лишилась двух лучших актеров. После третьего акта Вебер играть отказался и лег в уборной; за него доигрывал Самсон. Зрители громко роптали.

Бешеная буря злобы душила Карла. Все возрастая, она не давала ему уснуть. Великан задыхался, стонал и вдруг вскочил. Публика разошлась уже, и огни погасли.

С диким ревом великан повалил кулисы и растоптал ногами. Он бил и крушил все вокруг себя. Обломки мебели, осколки звенящих стекол, доски, половицы, клочья холста, тучи пыли смешались в грязный хаос. Все сыпалось, падало и трещало. Наконец, балаган рухнул. Вебер кинулся бежать по большой дороге с криками: «Ида! Ида!» При месяце за ним гналась его гигантская тень.

Раннее солнце, смеясь, озарило развалины театра. Искалеченные скамьи торчали на остатках декораций, между грудами кирпичей и гнилых досок. Ворона каркала на повалившейся крыше. С кряхтеньем и оханьем вылезал из-под обломков окровавленный суфлер.

Глава вторая

ПОЛЕ ЧЕСТИ

Мелпомена восклицает
И в трагедии рыдает.

Тредиаковский

В августе солнце, всходя при ясной погоде, разливается чистым, прозрачным пурпуром. Такое яркое, как горячая кровь, сиянье пылало в окнах придорожного кабачка, где отдыхал Карл Вебер. Он направлялся в армию. В зеленой куртке и высоких сапогах,

великан сидел одиноко в пустой столовой и в ожидании трещавшей на очаге яичницы медленно допивал вино. В углу на скамье спал, под плащом, неизвестный путник, да наверху, по словам хозяина, ночевал какой-то барон. Близость лагеря сказывалась во всем. Трактир то вдруг наполнялся толпой военных, пивших много, плативших щедро и весело, то, как теперь, пустовал по целым дням и ночам.

— Кофе господину барону! — крикнул хозяин из-за пестревшего бутылками, фруктами и снедью прилавка. Слуга в полосатом колпаке, бросая искоса взгляды на страшного великана, поставил перед очагом, на отдельный столик, серебряный прибор.

В комнату, твердо и добродушно позвякивая шпорами, вошел тощий морщинистый человек в старом военном мундире и толстых ботфортах. Увидя Вебера, барон прямо пошел к нему, сияя улыбкой, и радостно заключил в объятья, обдав застарелым табачным и винным запахом.

— Добро пожаловать, дружище Шлиппенбах! Как я рад! Тридцать лет я не видал тебя! Ты совсем не переменился!

— Извините, но я вовсе не Шлиппенбах, а Вебер.

— То есть Вебер, я хотел сказать. Вечно перепутаю фамилии, это моя слабость. Ну, рассказывай скорее, дружище, что ты делал за эти двадцать пять лет? Служил, воевал?

— Право, вы меня принимаете за другого. Мне нет еще двадцати.

— А, так вы сын моего друга Вебера! Какое сходство: две капли воды. Мы вместе служили.

— Мой отец был медиком.

— Да, в нашем полку. Отличный врач. Он спас мне жизнь. Я ранен был пулей в сердце в сражении при Полтаве. Пуля в сердце: вы понимаете, это не шутка. Вынуть — значит причинить мгновенную смерть, оставить — тоже. Отец ваш с честью вышел из затруднения. Вставил мне в грудь, против сердца, магнитную пластинку и оттянул пулю. Теперь она катается у меня под кожей. В хорошую погоду сидит где-нибудь в ноге, в дурную — забирается в поясницу.

— С кем имею честь говорить?

— Барон Мюнхгаузен, полковник в отставке. Отправляюсь в действующую армию к принцу Евгению Савойскому.

— Вы знаете принца?

— Еще бы! Это мой старый друг. Мы вместе служили. Теперь он вызывает меня, чтобы дать мне полк, а может быть, попросит командовать армией. Не угодно ли чашечку кофе? Вам нравится мой прибор? Правда, хорош? Подарок принца Евгения. Я с детства привык есть и пить только на серебре.

Веберу льстило новое знакомство. Он спросил еще бутылку и заказал завтрак. Барон разговорился.

— Слышали вы о несчастной кончине шведского короля?

О, это был великий человек! Московскому царю совсем приходилось плохо, и если бы не я, он проиграл бы Полтаву. Битва началась рано утром. Я командовал правым крылом. Короля несли на руках,— он был ранен в руку, но бодро следил за ходом сражения. Московиты начали отступать. Я собирался ударить на них с моим взводом, вдруг вижу, король упал. Бросаюсь подымать его,— хвать, московиты пошли в атаку. Царь Петр, такой рослый, здоровый, не хуже вас,— в каждую его ботфорту можно бы опустить по целому солдату с ружьем и кивером,— так вот, говорю я, царь Петр, как бешеный, мчится на нас, трясется, строит рожи и кричит диким голосом: «Где Мазепа, дайте сюда Мазепу!» А Мазепа,— это был наш союзник, польский казак, такой плюгавый усатый старикашка с длинными рукавами,— съежился на седле, как заяц, и полетел стремглав. Только его и видели. Тут мы отдали царю шпаги. То есть я бы сам ни за что не отдал, но дисциплина — прежде всего, а раз фельдмаршал и генералы сдаются, нам уж нечего рассуждать. У меня на сердце скребли кошки: я сознавал себя виновником шведской гибели. Но как поправить беду? Московиты уже готовятся в погоню, вот-вот поймают короля. Вдруг меня осенило, и я говорю царю: «Ваше величество, не пора ли пообедать?» Он засмеялся и велел готовить столы. Тем временем король с Мазепой переплыли Дунай и благополучно скрылись. Да, мой юный друг, если бы не барон Мюнхгаузен, старому Мазепе не помог бы и крест на лбу.

Вебер вздрогнул.

— Крест на лбу?

— Да, у него было два шрама, крест-накрест, память старинных битв. Это был лихой воин. Однажды...

— Он жив еще?

— Кто? Мазепа? Нет, умер. Я был случайно на погребении. Старика хоронили в четырех гробах — стеклянном, золотом, серебряном и железном. Царь проводил его до могилы, потом подошел ко мне: «Мюнхгаузен, я лишился лучшего друга, хочешь заменить его? Поедем со мной в Московию, учи меня царствовать».— «Нет, ваше величество, я обещался служить шведскому королю». Он прослезился и подарил мне вот этот самый прибор, из которого мы с вами теперь пьем кофе.

В углу послышался громкий хохот. Из-под плаща выскочил заспанный Конфетти.

— Здравствуй, Карл! Вот хорошо: я тоже иду в армию. Барон, ради неба, кто же наконец подарил вам этот кофейник, принц Савойский или московский царь?

— Молодой человек, если вы готовитесь быть солдатом, остерегайтесь задавать праздные вопросы старым и заслуженным воинам. Этот прибор — подарок царя Петра — был отнят у меня на войне и попал к принцу Евгению, а принц в свою очередь подарил мне его за храбрость. Понятно?

— Но почему же теперь им владеет здешний трактирщик?

— Опять праздный вопрос, за который в военное время можно и расстрелять. Я подарил прибор трактирщику, бывшему моему драбанту, потому что принц приготовил мне в лагере золотой сервиз.

Конфетти поклонился.

— Я побежден и умолкаю. Карл, что с тобой? Ты не в духе?

Вебер с усилием улыбнулся.

— Так, пустяки.

Путники тронулись вместе. Веберу пришлось заплатить за барона: герой Полтавы не имел при себе ни денег, ни пожитков, ничего, кроме ветхой треугольной шляпы — подарка шведского короля. К вечеру показался лагерь.

С вершины холма на необозримом холме мелькали огоньки и звенел непрерывный гул, будто тысячи светляков и кузнечиков готовились праздновать Иванову ночь. Но пристальному взгляду открылись бы вокруг огней тени вооруженных воинов, а внимательное ухо могло б различить и ржанье, и говор, и отголоски песен.

Путники нашли радушный прием у одного из костров и утром отправились представляться принцу.

По всему полю грохотали и заливались барабаны, свистели флейты, под крик команды шагали и строились новобранцы, лошади дико ржали. Мчались гонцы и курьеры с бумагами. Перед расписным шатром принца красовался почетный караул голубых гусар.

В этот день принцу Евгению представлялось пять человек. Кроме барона, Вебера и Конфетти в приемной ожидали пожилой нахмуренный офицер с красной короткой шеей и голубоглазый юноша в светлых густых кудрях.

Принц — смуглый красавец в алом французском кафтане — вышел, играя глазами и табакеркой.

— Кто старший чином?

Вебер ожидал, что старшим окажется барон, но адъютант указал на незнакомца с короткой шеей.

— А, Шульц. Здорово, старый товарищ! Как, до сих пор в поручиках? Вздор, вздор! Произвожу тебя в капитаны и назначаю командовать мушкетерской ротой.

У Шульца побагровел толстый затылок. Преклонив колено, он поцеловал руку принца и громко чихнул. Евгений засмеялся.

— Возьми уж и табакерку на память. Ты здесь один?

— Со мною воспитанник Август Кох. Прошу позволения вашего высочества зачислить его в мою роту.

Голубоглазый Кох, зардевшись, встал на одно колено.

— Хорошо, согласен. А, Мюнхгаузен, и ты здесь, старый враль! Когда же тебя наконец произведут? Мне не надо такого старого юнкера.

— Вашему высочеству известно...

— Что ты польский майор, шведский полковник, русский

генерал? Знаю, знаю! Ну Бог с тобой. Дюрандаль, отметь сегодня в приказе о производстве Мюнхгаузена в первый чин. Шульц, отдаю его под твое начальство. Постарайся сделать из него хорошего офицера. Лучше поздно, чем никогда.

Принц был в духе. Он любовался Вебером, сказал ему несколько ласковых слов и вместе с Конфетти зачислил в мушкетерскую роту Шульца.

В лагере тотчас сделалось известно, что Вебер всех выше. Принц назначил его полковым литаврщиком. На первом же параде Вебер разбил литавры. Его сделали барабанщиком, он прорвал два барабана. Тогда ему поручили знамя.

Война! Переходы по безлюдным дорогам мимо разоренных деревень, переправа через разрушенные, кое-как сколоченные мосты по горло в воде или вплавь, придерживаясь за гриву лошади, торжественный грохот барабанов, призывы сигнальных труб, лязг орудий, треск выстрелов при нечаянной стычке, гарцующие всадники, вороний крик и взмахи черных крыльев над падалью, ночлеги в палатке или под звездным небом, встречи с робкими поселянками, зарево горящих вдали городов, ночные разведки, звон бокалов и крики перед шатрами, пороховой дым, ругательства, червонцы, трубки, усы и шпоры — война, война!

К Новому году Вебера, Конфетти и Коха произвели в офицеры. Полк стоял на зимних квартирах в захолустном городке. Вечерами молодые офицеры собирались у Шульца. Суровый капитан приказывал варить жженку и молча слушал, закручивая усы, веселые шутки и разговоры. Барон Мюнхгаузен заводил речь о битвах, о своих подвигах, о дружбе с царем Петром, королями Людовиком, Августом и Карлом. Лукавый Конфетти начинал спорить к общему веселью и тоже сообщал небывалые истории из своей собственной жизни. Хозяйством Шульца заведовал юный Кох. Он совсем не походил на военного, ничего не пил, играл на арфе и писал красками.

Однажды Кох, сварив запылавшую синим огнем жженку, поднес по обычаю первый стакан хозяину и, видимо забывшись и думая о другом, поцеловал капитана в щеку. Все засмеялись. Кох покраснел и смутился.

— Брависсимо! — вскричал Конфетти.— Теперь, Кох, поцелуйте и меня. Без женщин в походе скучно, а вы у нас легко сойдете за даму.

— Конфетти,— медным голосом сказал Шульц.— Не извольте забываться.

— Я не забываюсь,— возразил дерзко Конфетти.— Если кто здесь и забылся, так это Кох.

— Лейтенант Конфетти, оставьте вашу шпагу и ступайте под арест. На пять дежурств не в очередь. Вы в благородном доме, а не в трактире.

Отбыв наказание, Конфетти перестал ходить к Шульцу.

В полку служил пожилой майор Циммерман. Он собирался

после войны жениться и упросил лейтенанта Коха написать с него портрет в подарок. Портрет почти был готов, когда майор заболел и умер. В день похорон, вечером, Вебер, Мюнхгаузен и адъютант Дюрандаль беседовали у Шульца за пуншем, а Кох, от нечего делать, дописывал портрет. Вдруг вошел умерший Циммерман и сел на свое обычное место подле мольберта. Кох повалился без чувств, Вебер вскрикнул, Мюнхгаузен сполз под стол, Дюрандаль выхватил шпагу. Один Шульц не растерялся, кинулся на покойника, смял его, ухватил за горло, подтащил к огню, и все узнали Конфетти.

— Проклятый комедиант! — прохрипел Шульц, задыхаясь. Конфетти вырвался, укусил капитану палец и замахнулся. В судорожной руке его очутился сорванный с груди начальника офицерский знак.

Военный суд приговорил Конфетти к смертной казни. Шесть мушкетеров под командой Вебера должны были расстрелять преступника до восхода солнца.

Поднявшись по грязной лестнице на гауптвахту, Карл застал Конфетти за чтением Библии. Бодрый и свежий, как утро, он улыбнулся и крепко сжал руку Веберу.

— Прощай, друг,— сказал дрожащим голосом великан.

— До свидания! Напрасно ты хнычешь, мы увидимся.

— Да, там.

— Нет, здесь. Мне суждена не такая смерть. В залог непременной встречи возьми мою Библию.

В перелеске за лагерем, у свежевырытой ямы, Вебер со слезами обнял Конфетти, сам завязал ему глаза и махнул белым платком.

В два часа дня полковой командир получил рапорт Карла:

«Согласно приговору военного суда лейтенант Конфетти расстрелян сегодня в четыре часа утра. Будучи старым товарищем покойного и находя, что в печальной истории его кончины виновен капитан Шульц, я в девять часов явился к капитану в сопровождении другого моего товарища, лейтенанта барона Мюнхгаузена, и предложил ему поединок со мною. Капитан приказал нам отправляться под арест. Тогда я ударил капитана по лицу. Очнувшись, он послал за адъютантом его высочества поручиком Дюрандалем, и к полудню выработаны были условия поединка. Мы сошлись за лагерем близ полевого лазарета. Капитан Шульц выстрелил первый и сбил с меня пулей шляпу. Я промахнулся. Поединок продолжался на шпагах, и после второго выпада я ранил капитана в грудь. Теперь он находится в лазарете. Лейтенант Карл Вебер».

К вечеру нарядили военный суд под председательством принца. Все негодовали на дерзкого и требовали казни. Выслушав прения, принц подал знак к тишине.

— Господа! — сказал он, встряхнув тонкими пальцами кружевной воротник и ставя перед собой табакерку.— Я согласен, что

поступок лейтенанта Вебера достоин строжайшей кары. Капитан Шульц — почтенный и старый воин, я ценю его таланты.— Принц поднял табакерку к своему римскому носу и поправил на груди цепь Золотого Руна.— Но, господа, полчаса тому назад мне доложили, что капитан Шульц умер и ждет теперь высшего суда. Если же мы расстреляем Вебера, то вместо одного храбреца потеряем двух. В военное время надо беречь солдат. К тому же,— принц улыбнулся и поднял черные брови,— лейтенант Вебер — самый высокий офицер в нашей армии. Я приказываю отправить его вместе с секундантами на аванпосты, тем более что, по последним донесениям,— принц, сдвинув брови, закрыл табакерку,— турки переходят в наступление. Суд кончен. До свидания, господа!

Шульца похоронили, и юный Кох один остался в пустой квартире. Соседи слышали, как он рыдал по ночам. Скоро Кох перестал выходить и не являлся на службу. Пробовали стучаться, лейтенант не отпирал. Взломаны были двери, но Коха в доме не оказалось. При обыске открыли сундук и увидали труп юноши. Следствие выяснило, что после кончины Шульца лейтенант каждый вечер ходил на его могилу и возвращался ночью. В последний день он вернулся совсем поздно и, видимо по ошибке, принял открытый сундук в темноте за свою кровать. Пружинная крышка захлопнулась, и Кох задохнулся.

Перед погребением узнали, что под маскою Августа Коха скрывалась законная жена капитана Шульца Шарлотта-Констанция, урожденная баронесса Кох.

Весенние журавли с гулким, протяжным говором призывно тянули над белой палаткой Вебера. В тумане шевелился турецкий лагерь, муллы выкрикивали утреннюю молитву, надоедливо громко ревел осел. Карл стоял рядом с Дюрандалем. На великане алел богато расшитый бархатный плащ; из-под широкой черной шляпы с белыми перьями сыпались рыжие волосы; клочьями развевалась косматая борода. Кривая сабля, вся в яхонтах и алмазах, бряцала на пестром поясе; в руках — турецкое ружье с золотой насечкой: доспехи, снятые Вебером с тела убитого им паши. Дюрандаль в белом атласе и розовых башмаках, пахнущий жасминными духами, смотрел в подзорную трубу.

— Вряд ли турки начнут сегодня,— сказал он, зевнув.— А мне бы хотелось выручить бедного барона. Да точно ли он взят?

— Я своими глазами видел, как янычар привязал его к лошадиному хвосту. Если барона не успели посадить на кол, мы...

Дикий визг заглушил речь Вебера. Несколько пуль просвистало в воздухе. Издали во весь мах неслась турецкая конница. Всадники в чалмах и бурнусах, оскаливая зубы, махали саблями, кричали гортанно с визгом, вертелись на седлах, натягивая луки и целясь из ружей. Точно в чаду Вебер увидал окровавленного Дюрандаля и бегущих бледных солдат. Страшная боль в щеке лишила его сознания.

Великан очнулся в плену, без оружия и раздетый. Левый глаз его был выбит стрелой. Карла отправили в Турцию.

Блаженная страна! Изумрудные ковры табачных огородов; пурпур черешневых и виноградных садов; золото и янтарь пшеницы; белые, голубые и желтые хижины в зарослях алых роз; острые минареты; степенные турки в чалмах, со смолистыми бородами, думающие, склоняясь над кальяном, о сказках попугая и тысяче и одной ночи; безмолвные, с миндальными глазами, красавицы под белыми покрывалами; придорожные фонтаны, тайны и мрак гаремов; бук, тополь и кипарис; веселые мельницы, машущие на лиловых склонах; шум стад и говор свирелей; влажные ночи, дрожащие робким голубоватым светом; воздушные переливы сумеречных теней, и вдруг упоительное сиянье ленивой полногрудой луны и млеющий шепот ее над молочным паром возделанных полей, где вплоть до рассвета прерывисто жалуется сова; жирные бараны, дымящиеся на вертелах и капающие душистым салом; аромат розового масла и белой халвы; урюк, фисташки, сладкий шербет в узкогорлых кувшинах; запястья и кольца, скованные тысячу лет назад; ятаганы с надписями на клинках; кинжалы с бирюзовыми рукоятками; смуглые младенцы, собаки и голуби; преступники, терпеливо скорченные на кольях; задумчивый ворон, точащий о перекладину виселицы железный клюв; весело бьющие из перерезанного горла потоки крови; топот и ржанье табунов,— прекрасна ты, беспечная Турция, любимая дочь Востока!

Два года прожил Вебер на винограднике и не видал своего хозяина. Наконец паша посетил отдаленное имение, где работал Карл. Тучный, ленивый, с большими усами, он дружески встретил пленника.

— Поедем ко мне, будешь у меня жить,— ласково молвил паша и тут же подарил Веберу иноходца в богатой сбруе. По приезде великан обедал с хозяином. Веберу ясно было, что паша не природный турок, но кто он такой, оставалось тайной. Когда слуги принесли плоды и сласти, хозяин приказал позвать старшего евнуха.

В дверях остановился старик с окладистой бородой и бегающими живыми глазками. Яркий, как пламя, халат шуршал, расстилаясь тремя хвостами; пестрый тюрбан непомерной вышины был украшен чучелом райской птицы и пучками павлиньих перьев; за широким малиновым кушаком торчал огромный кинжал размером больше среднего ятагана, пара узорных пистолетов величиной с ружье и связка ключей. На животе — янтарные четки с кистями. Жемчужины, бирюза и золотые блестки сверкали везде, где можно было нашить их.

Усмехаясь, паша посматривал то на евнуха, то на гостя. Сложив по-восточному на груди унизанные перстнями руки, старик сказал:

— Приветствую любимого боевого товарища. Здравствуй,

Карл Вебер! Рад видеть тебя в доме другого моего сподвижника, доблестного Орлика. Вместе с генералом Мазепой сражались мы под Полтавой в гвардии шведского короля. Надеюсь, ты узнал барона Мюнхгаузена, грозу турок и московитов?

После объятий беседа за кубками оживилась. Орлик, видимо, скучал в своем роскошном дворце. Он рассказывал о походах Карла XII, о московском царе и о гетмане Мазепе.

— Правда ли, что у Мазепы на лбу был шрам в виде креста?

— Да, и старик очень гордился своим шрамом, хотя не любил о нем рассказывать. Раз только он проговорился мне, что это след царской сабли.

— Давно ли умер Мазепа?

— Вскоре после Полтавской битвы. Я хоронил его тайком, без попа и без гроба, на берегу реки. Теперь, пожалуй, трудно найти его могилу.

После обеда Мюнхгаузен повел гостя смотреть гарем. Это была пустынная комната, полная книг.

— Где же одалиски?

— В шкапах, за стеклами. Паша говорит, что женщина и книга — враги. Кто любит женщин, не может любить книг, и наоборот. Оттого женщины ненавидят книги и вредят им: жгут, изводят на домашние нужды, портят. Зато и книги не остаются в долгу: никак не хотят даваться женщинам. Сколько женщина ни прочитай — всегда останется дурой. А здесь, рядом, мой собственный гарем.

— Как, да ведь вы евнух?

— По имени, мой друг, только по имени. Впрочем, в мои лета... Мне сто шестьдесят два года, это почти все равно.

— Шестьдесят два, хотите вы сказать?

— Я хочу сказать: сто шестьдесят два. Наш род отличается долголетием. Покойный отец умер двухсот пятидесяти лет, деду было без малого четыреста, а прадед дотянул до пятисот.

Гарем барона оказался винным погребом.

— Бутылки умнее книг. И заметь, что женщина — настоящая женщина — всегда подруга бутылки. Выпьем, дружище!

Вебер рассказал барону свои приключения. Когда он упомянул о снятом с убитого паши ценном оружии, Мюнхгаузен усмехнулся.

— У меня было ружье — подарок короля Августа — с дамасским стволом такой работы, что он гнулся, как пастила. Я заряжал его пулей, потом вязал из ствола узлы, и не один, а от прицела до ложа выходило узлов десятка два, так что вместо ружья получался какой-то крендель. Потом стрелял, и что же? Пуля разом выпрямляла ствол.

— А вы не думаете бежать, барон?

— Я? Бежать? Куда? Зачем?

— На родину.

— Здесь я нашел свою истинную родину. Разве можно сравнить Турцию с Европой? Только теперь понял я, наконец, что такое жизнь.

Прошла неделя. Вебер изнывал от скуки. Хозяин вел себя настоящим пашой: много ел и пил, до вечера спал, а ночью сидел в гареме. Так же проводил время и евнух — с тою лишь разницей, что паша до утра оставался свежим, а евнуха выносили из гарема на руках.

Вебер решил бежать. Выждав день, когда Орлик выехал на охоту, а барон уединился с бутылкой токайского, Карл не спеша покинул дворец и очутился на луговом просторе. Лебеди взлетали в тростниках, качались цветы, благоухали розовые рощи; над головой великана, будто указывая дорогу, с клекотом плыл орел.

Вечерело, когда послышался конский топот. Вебера окружила толпа всадников. Тщетно отмахивался он палкой. Ятаганы сверкали над головой беглеца. Он уже начинал терять надежду, как властный окрик остановил убийц. Перед Карлом, окруженный псарями и сворами борзых, сидел на коне сам Орлик с кречетом на руке.

— Неблагодарный урод,— сказал паша гневно.— Вот как заплатил ты за гостеприимство. Связать его и везти за мной! Утром его повесят.

Вебера заперли в башне. Угрюмый, сидел он в темноте, сердито кусая бороду. Вдруг загремели ключи, блеснул свет, и вошел смеющийся Орлик с бутылками и свечами. За ним Мюнхгаузен на огромном подносе нес ужин. Орлик положил перед Вебером кошелек.

— Чудак,— сказал он, ударив себя по коленам.— Что ж ты прямо не сказал? Я бы давно отпустил тебя. С Богом, любезный! Вот деньги и пропуск.

Мюнхгаузен разлил вино по кубкам.

— Карл, выслушай прощальное напутствие старого солдата, участника пятисот пятидесяти пяти сражений. Никто не минует своей судьбы. Ты ждал виселицы, а получаешь свободу. Моему отцу еще в детстве предсказали, что виновником его смерти будет лев, как только ему исполнится шестнадцать. В тот день с утра отец никуда не выходил. Перед обедом, скучая, зашел он в оружейную. Там висел фамильный щит с изображением льва. Это наш герб: все Мюнхгаузены храбры как львы. Отец ударил по щиту ладонью: «Проклятый зверь! Из-за тебя я сижу взаперти». Что же? Рука попала на гвоздь, сделалось заражение — и отец к вечеру умер.

— Когда же он успел произвести тебя на свет? — спросил Орлик.

— И дожить до двухсот пятидесяти лет? — добавил Карл.

— В том-то и дело, что я сын не отца, а дяди.

Глава третья

ДУРНОЙ ГЛАЗ

Талия, да будет прав,
Осмехает в людях нрав.

Тредиаковский

Какие причины могли нарушить послеобеденный досуг и воскресный отдых благословенного городка? Куда, крича и волнуясь, торопятся бюргеры, покинув кофе и трубки? Кто потревожил их сладкий сон?

Вон бургомистр, пыхтя, с париком в руках пылит по дороге, стуча тяжелыми башмаками. За ним торопится судья в одном камзоле и что-то кричит, вытирая жирные щеки и пухлый лоб. А вон промчался козлом длинный нотариус в очках, изрыгая ругательства. Даже румяный сапожник, колыхая живот и пуча глаза, ковыляет туда же.

— Что случилось?

— Несчастие,— отвечает хором толпа.

У горы, близ перелеска, где строится дача герцога, произошел странный случай. Парикмахерский подмастерье Бац, гуляя с двумя дочками булочницы Кнолле, заметил висящую над обрывом на сучке чью-то куртку. Самый обрыв засыпан был земляною глыбой. Парикмахер тотчас сообразил, что владелец куртки сделался жертвой обвала. «Какое несчастие,— залепетали испуганные девицы,— неужели нельзя спасти несчастного?» Сломя голову Бац помчался в город. Так как несчастие совершилось на герцогской постройке, к обрыву сбежались все городские сановники.

— Что делать, как поступить? — спросил бургомистр.— Надо немедленно отрыть погибшего. Быть может, он еще жив.

— Да кто он такой? — крикнул судья.

— Дежурный надсмотрщик Клебер, знаете, такой длинный, рыжий... Всего неделя, как он поступил на место.

— Не Клебер, а Эгер,— поправил мрачно нотариус.

— С позволения вашей милости,— вмешался сапожник,— его фамилия — Вебер. Вчера он заказал башмаки, дал задаток и велел доставить обувь на место постройки надсмотрщику Карлу Веберу.

— Что же мы стоим, господа? — заторопился бургомистр.— Вероятно, бедняк отпустил рабочих на воскресенье, лег отдохнуть и был засыпан. Не будем медлить.

Бац отыскал в шалаше десятка два заступов, и работа закипела. Даже девицы Кнолле принимали участие в общем труде, нося в передниках землю.

В самый разгар работы с обрыва послышался громкий зевок. Все подняли головы. Из-за кустов, лепившихся над обрывом, высунулась рука и медленно сняла куртку. Затем показалась

рыжая спутанная голова с одним глазом и всклокоченной бородой. Голова ухмылялась.

— Благодарю вас, господа. Теперь мне не о чем заботиться. Вы все сделали за меня.

Бюргеры переглядывались изумленно. В тишине слышно было только воркованье горлинок, да изредка вскрикивал ястреб.

Первым очнулся судья.

— Однако... Черт побери, что же это? Где вы были, рыжий верблюд?

— Где был? Спал у себя в шалаше. А если я верблюд, да еще рыжий, то вы, господа,— не сердитесь, пожалуйста,— ей-Богу, похожи на ослов.

— Ах, негодяй! Да как вы смеете?..

Великан захохотал.

— Кто выдумал эту историю? — строго спросил бургомистр.

Все глаза обратились на покрасневшего Баца.

Девицы с негодованием отпрянули от него. Но тут раздался громкий шепот сапожника:

— Его высочество!

Толпа расступилась. Герцог стоял, прямой и стройный в черном плаще. Выслушав торопливый доклад подбежавшего бургомистра, он посмотрел на Вебера, Вебер — на него.

— Этому человеку здесь не место. Прислать его ко мне.

Герцог удалился. Толпа разошлась. Вебер долго стоял в недоумении.

Утром два гайдука в красных кафтанах проводили великана во дворец. Румяный паж, весь в золоте и пурпуре, с обтянутыми атласными коленами, побежал доложить. Карла ввели в портретную. Вышел герцог. Испанский белый костюм из серебряной парчи выделял орлиные черты неподвижного лица; на выпуклой груди, переливаясь и сияя, искрилась алмазная цепь.

— Ступай за мной!

Они прошли ряд великолепных покоев. Золото, цветные шпалеры, оранжереи, зеркала, отражавшие черные кудри герцога и красную бороду великана, крикливые попугаи, безмолвные слуги. Перед низкой узорчатой дверью герцог остановился и постучал. Сердце Вебера начало сильно биться. Дверь открыли.

Ида в рубиновом венце на огненных волосах сидела, сложив на коленях руки. Казалось, застывшая кровь прикипела к ее кудрям. Брызнувшими каплями алой, зеленой и синей крови сверкали рубины, изумруды и сапфиры ее перстней.

Герцог прошелся по комнате.

— Вы хотели иметь телохранителя. Вот он.

Вебер низко поклонился. Ида прищурилась.

— Этот подходит. Прикажите дать ему венгерский костюм.

Через час Вебера снова ввели к герцогу.

— Что ты знаешь об этой женщине?

Вебер изумленно наклонил голову.

— О какой женщине, ваше высочество?

— О фрейлен Иде.

— Ничего.

Герцог помолчал.

— Узнай.

Он обернулся к окну.

— Мне надо знать все, что касается фрейлен Иды. Отныне ты будешь постоянно следить за ней. Понимаешь?

— Понимаю, ваше высочество.

— Вот тебе деньги на костюм и обзаведение. Кроме того, вставь себе стеклянный глаз. Ступай!

Вебер поселился во дворце. Ему дали три комнаты. Придворный портной сшил великану зеленый доломан с кистями и алую накидку. В полдень Карл являлся на половину Иды сопровождать ее на прогулку: верхом на бешеном рыжем жеребце, огромный и страшный, он скакал за коляской. Во время завтраков и обедов Вебер подавал Иде кушанья, наливал вино; по вечерам с обнаженной саблей дежурил в передней или у ложи в театре.

Ида по-прежнему не замечала его.

У герцога гостил двоюродный дядя, испанский маркиз — мать герцога испанка,— и Вебер с изумлением заметил, что герцог ревнует к нему Иду. Этому нельзя было не изумляться. Правда, герцог был безумно, глупо ревнив; правда и то, что порывы жаркой испанской крови будили в нем дикие вспышки ревности, заставляя следить за возлюбленной днем и ночью, но все-таки ревновать к маркизу было трудно: старику давно уже минуло восемьдесят лет. Только два дня в неделю можно было его видеть. В эти дни слуги с утра одевали дряхлого кавалера. Ему растирали сморщенное тело гренадской мазью, и оно начинало розоветь; расправив морщины на желтом, как воск, лице, натягивали кожу и складками прятали под завитой парик. Румяна, белила, пудра возвращали маркизу розы юности; стальной корсет преображал его в стройного молодого человека; под накладными шелковистыми усами улыбались две челюсти белоснежных вставных зубов. Благоухающий и свежий, в роскошном костюме, маркиз выходил к обеду в общество юных дам. К концу вечера он больше стоял, чем ходил, больше сидел, чем стоял; все чаще касался локтями стен или придерживал занавеску. Перед ужином маркиз незаметно удалялся. Слуги, подхватив, на руках уносили красавца в спальню, разоблачали его и сажали в теплую ванну из бычачьей крови. Кровавая ванна сменялась ванной из ослиного молока с вином. Врач выслушивал сердце, давал порошки и капли. Два дня и две ночи маркиз отдыхал в постели, чернея голым сморщенным черепом на полотне подушек; на третий день опять превращался в юношу и выходил прельщать дам.

С первой встречи маркиз начал ухаживать за Идой. Вебер не мог понять, что заставляло красавицу длить эту утомительную игру. Зачем поощряет она дряхлого дон Жуана,— по прихоти

судьбы маркиз носил это имя,— зачем дразнит в герцоге его звериную ревность?

Однажды за обедом Вебер заметил, как Ида сунула старику записку. Скоро затем дон Жуан с усилием поднялся и вышел, поддерживаемый племянником. Едва они скрылись, Ида сказала:

— Ну, Карл, пока ты ведешь себя хорошо. Но помни, если герцог узнает, кто я, тебе будет плохо. Смотри, не проговорись, если хочешь, чтоб я тебя полюбила.

У Вебера в голове загудели колокола. Ида, ласково и нежно улыбаясь, налила бокал. Затем она приказала Карлу истолочь в серебряной ступке свой стеклянный глаз, высыпать в вино осколки и выпить.

— Послезавтра ты донесешь его высочеству, что я назначила дон Жуану свидание у себя в уборной. А теперь помоги мне спрятать сервизы.

Ида сама убирала и прятала под ключ столовое серебро. Каждый день к столу подавался ананас, никто не ел его, он давно испортился, но ежедневно кухмистер обязан был ставить его в счет.

Герцог спокойно выслушал доклад об измене Иды. Он поглядел на смущенного великана и тронул себя за ус.

— Почему ты без глаза?

— Потерял, ваше высочество.

— Ступай к ювелиру и скажи, что я велел вставить тебе алмазный глаз.

Красивое лицо герцога побелело, как пышный кружевной воротник на его малиновой епанче.

На другой день, за час до обеда, к уборной Иды крался таинственно престарелый дон Жуан. Он был в блестящем костюме тореадора.

И вот — маркиз у заветных дверей. Хриплый стон рвется из груди влюбленного; тяжело передвигает он атласные башмаки по струистым коврам уборной. Дон Жуан видит Иду: прижав к губам палец, она ждет его, замирая на кресле, в кисейных волнах. Но что это? Врывается, развевая красную бороду, страшный одноглазый великан; сверкнула сабля. Маркиз падает на колени. Мгновенно великан срывает с него парик, выбивает вставные челюсти и трет по лицу мокрой тряпкой.

Теперь на полу перед Идой бессильно стонала, барахтаясь, кукла-скелет в цветной испанской одежде. Внезапно зазвучали быстрые, гневные шаги: на пороге явился герцог.

Вебер видел, как решимость на лице герцога сменилась сперва недоумением, потом брезгливостью; пальцы его, стиснувшие рукоять кинжала, медленно разжимались. Ида, вскочив, положила на плечи ему точеные руки и быстро зашептала, смеясь и уговаривая его, как ребенка. Она походила на змею. Герцог расхохотался и тотчас принял суровый вид.

— Этот негодяй,— сказал он, указав на хрипевшего в ногах

его полуживого маркиза,— обокрал дядю моего, благородного дон Жуана, и в похищенном у него костюме пробрался сюда. Приговариваю его за это к смертной казни. Вебер, завяжи злодею глаза и отруби ему голову.

Законы рыцарской чести не дозволяли маркизу выдать даму; он предпочел молчать. Тотчас ему завязали глаза. По знаку герцога Вебер ударил дон Жуана по костлявой шее не саблей, а мокрым полотенцем.

Раздался смех, но маркиз лежал неподвижно. Он умер.

Герцог нахмурился. Вебер смотрел, растерянно опустив длинные руки. Одна Ида хохотала изо всех сил, и щека ее дергалась, как на пружине.

— Палач! Палач! — кричала она неистово.— Карл Вебер — палач! Ваше высочество, сделайте Вебера палачом! Ему подойдет эта должность! Ха-ха-ха!

— У меня нет и не будет палачей,— отвечал герцог сухо.

Гроб дон Жуана отвезли в Испанию. Чтобы рассеять тяжелую память о смерти дяди, герцог приказал устроить маскарад.

В парадной зале с колоннами гремел оркестр. Пестрые группы масок двигались шумно с веселым говором. Начался факел-танец. Два ряда придворных кавалеров в ослепительно пышных одеяниях с факелами в руках образовали живой сверкающий коридор. По этому коридору выступал величаво герцог об руку с Идой; за ними попарно — маски.

Между гостями носились слухи, что после бала объявлена будет помолвка. Должно быть, поэтому герцог был в горностаевой мантии и зубчатой короне.

Вебер стоял у колонны, сверкая алмазным глазом и глядя поверх голов на кипевшую толпу. Издали он видел в углу клетку с африканским львом.

Едва смолкли последние звуки факел-танца, клетку со стуком открыли, и лев, потягиваясь и бряцая цепью, разинул красную пасть.

— Вебер, сюда! — окликнула Ида. Великан повиновался.

— Встань на колени и положи голову в пасть льву,— сказала Ида с улыбкой.

Маски в ужасе отхлынули к колоннам; все сразу стихло. Вебер задыхался в горячем и мокром зеве; дыхание льва шумело в ушах его. Схватив бич, Ида ударила зверя по глазам; лев грозно зарычал, но не сомкнул челюстей.

— Довольно, встань,— с отвращением молвил герцог.

Вебер, шатаясь, сделал несколько шагов.

— Ваше высочество,— громко сказал он,— настало время.

Ида в куски ломала бич, сжимая гордые губы.

Герцог приподнял бровь.

— Какое время?

— Сказать вам всю правду об этой женщине.

И Вебер испугался, увидя неожиданную улыбку на вечно холодном лице под загнутыми усами.

— Завтра.

Бал продолжался. Утром Карлу принесли приказ оставить столицу герцога и не возвращаться под страхом смерти.

Глава четвертая

ВЕЛИКАНЫ

Память, равно жатву сердца,
Во свирель гласит Эвтерпа.

Тредиаковский

Радостно, беззаботно, шумно справляет свой праздник сапожный цех. Впереди нарядные босоногие мальчишки несут на подносах шилья, дратву, лоскутья кожи; дальше ряды учеников приподымают на палках каблуки и голенища, украшенные цветными лентами. Подмастерья ведут в поводу обутых в башмаки мулов; на седлах качаются гигантские ботфорты с букетами и гирляндами. Мастера едут верхами, развеваются яркие флаги с сапожными эмблемами; там два орла держат золотой сапог, тут орел несет в клюве дамские туфельки, здесь на драконе вместо гребня лаковый каблук.

Два прусских гвардейца смотрели на процессию с трактирной веранды. Оба были огромного роста и крупного сложения: прусский король Фридрих-Вильгельм любил великанов.

Слуги внесли на серебряных подносах блюдо засахаренных цыплят и цельного жареного барана под кислым вишневым соусом.

— Что ты все хмуришься, Самсон? Выпей еще рейнвейна.

— Не поможет. У меня с утра предчувствие. Вот увидишь, какая-нибудь пакость случится.

Процессия давно уже миновала площадь, но уличный шум продолжался и даже усилился. Хохот, свистки, завывание, мяуканье близились к трактиру. По улице в толпе мальчишек и любопытных проворно шагал, точно на ходулях, великан необычайного роста с длинной красноогненной бородой. Левый глаз его, сверкая, искрился снопами ярких лучей.

У самого выступа веранды гигант снял шляпу, обтер платком разгоревшееся лицо и, обернувшись, весело плюнул в середину зевак. Толпа шарахнулась с визгом. Послав ей вслед добродушное ругательство, путник взбежал по лестнице и очутился в объятиях Самсона.

— Голиаф! Тебя ли вижу? Здорово, старый дружище!

Вебер до вечера просидел с гвардейцами. От Самсона он узнал, что директор Пржепельский умер, труппа распалась, а Самсон служит в гвардии у прусского короля.

— Прекрасно! Я сам пробираюсь в Берлин в королевские гренадеры и рад, что встретил тебя. Ты, конечно, поможешь товарищу.

Самсон опустил голубые глаза в тарелку, сморщил свой греческий нос, подумал и улыбнулся.

— Ночью я выезжаю. Если хочешь, поедем вместе. Я сам тебя представлю королю.

Карл благодарил. Оставшись вдвоем с Самсоном, он пил до потери памяти.

Очнулся Вебер от колесных толчков и тряской езды в полутьме, на жестком и неудобном ложе. Он хотел потянуться и не мог: руки были крепко связаны. Не скоро сообразил он, что едет один в закрытом фургоне по узкой лесной дороге. Слышно было, как шелестели деревья и пели птицы. Великан собирался закричать, но лошади разом остановились.

— Выходи!

Карл с трудом вылез. Он увидел себя в лесной глуши на поляне перед ветхим домиком. Двое солдат с косами и тесаками ввели великана в пустую комнату с портретом короля и печатными правилами в рамке. Вопросы, ругательства и восклицания Вебера остались без ответа.

Пожимая плечами, присел он у окна перед алевшей лесными цветами поляной и, слушая однообразную песню иволги, терялся в догадках. Вдруг издали послышался топот и фырканье. По тропинке скакал Самсон.

Посмеиваясь и весёло глядя в сердитое лицо Вебера, Самсон сел рядом и потрепал пленника по плечу.

— Я хочу быть твоим другом, Карл, как тот турецкий паша, о котором ты нам рассказывал. Не сердись на меня. Вот уж второй раз ты становишься мне поперек дороги. Если король увидит тебя, моя карьера пропала: я буду вторым. А этого мне не хочется. Я уже поручик и, если так пойдет дальше, лет через пять получу майорский плюмаж.

Он встал и крикнул солдат.

— Я уезжаю. Развяжите этого молодца и дайте ему поесть. В фургоне узел с провизией. Достаньте для него бутылку вина, но сами пить не смейте. Разговаривать можно. Перед восходом солнца вы его расстреляете. Прощай, Карл! Помолись Богу и не обижайся на товарища.

Самсон поцеловал Вебера в лоб, вышел, звеня огромными шпорами, прыгнул на заржавшего коня и со смехом ускакал.

Долго Карл не мог прийти в себя. Солдаты, получив позволение говорить, болтали, как сороки, и тотчас принялись готовить обед для пленника.

— Ты теперь больше пей,— сказал солдат постарше, в рубцах, с кривыми ногами.— Пьяному умирать не страшно. Это у нас всякий рекрут знает.

— Только как мы его развяжем,— заметил второй, желтоглазый и тощий юноша,— ведь он убежит.

— Вот и видно, что ты еще глуп и молод,— возразил кривоногий.— Свяжем колени, так и не уйдет никуда.

Завечерело. Вебер сидел со связанными ногами, придумывая, как бы спастись; солдаты сторожили великана, дружелюбно беседуя с ним и между собой. Пообедали все вместе, но от вина пруссаки отказались, и Вебер мог убедиться, как высока дисциплина в королевской армии. Притворяясь ослабшим и подавленным близкой казнью, Карл между тем высматривал расстояние между собою и стражами.

— Скучно, друзья мои. Скорей бы ночь проходила! Расскажите мне что-нибудь, да садитесь поближе, я плохо слышу.

— Ну что же, рассказать можно, ты — парень добрый.

Солдаты подвинули скамью к столу. Кривоногий осмотрел кремень на ружье, попробовал, свободно ли вынимается из ножен тесак, затянулся и, сплюнув, начал:

— Я врать не люблю. В казармах у нас болтают немало вздора. Солдат и охотник — первые врали. А я расскажу сейчас истинный случай. Было это у нас на ферме. Отец строил дом и за что-то повздорил с плотником. «Будешь меня помнить»,— сказал тот отцу и ушел. Сели мы обедать. Вдруг сам собой отворяется стенной шкап и оттуда выглядывает страшная безносая старуха. Испугались мы, только старуха пропала. Через минуту опять поглядела и спряталась, потом — опять. Так шло два месяца, каждый день. Шкап запирали, кропили святой водой, ничто не помогало. Отец поседел, осунулся, не спит: боится старухи. Только заходит раз на ферму отставной солдат и просится пообедать. За супом старуха опять выставила рожу. «Видишь?» — говорим солдату. «Вижу,— а сам смеется.— Вы,— говорит,— посмотрите сперва, на что она похожа. Ведь это башмак». Смотрим — и в самом деле. Встал солдат, пошептал, прыснул на шкап водицей и достает оттуда старый, стоптанный башмак. «Вот он,— говорит,— на стене висел. Теперь спите спокойно и не...»

Мгновенно Вебер вскочил, опрокинув стол, прыгнул, как кошка, схватил солдат и стукнул их головами. Мозг брызнул ему в лицо.

Заря застала великана на берегу лесной речки.

Вебер был утомлен: он без отдыха шел всю ночь. Напившись холодной воды, он лег с ружьем наготове. Тяжелое дыхание и треск в кустах заставили путника вскочить. Громадный медведь лез прямо на него. Вебер выстрелил и промахнулся. Тут вдруг овладел им давно не испытанный приступ бешенства. Яростно зарычав и щелкая зубами, вели-

кан шагнул — и перепуганный зверь бросился прочь с жалобным хриплым воем.

Выстрелу Вебера ответил выстрел. Вслед за громким военным окликом из леса выехал кирасирский разъезд. Унтер-офицер строго взглянул на великана.

— Кто и откуда?

Карл успел овладеть собой и сказал солдату, что идет по приказанию короля в Берлин.

— Клянусь Богом, вы там будете не из последних. Его величество любит таких молодцов. Едем с нами.

Кирасиры привезли Вебера прямо во дворец. Король тотчас приказал представить ему нового рекрута.

Сухощавый, стройный, с соколиными глазами и тонким носом, Фридрих-Вильгельм улыбнулся и стукнул тростью.

— Имя?

— Карл Вебер, ваше величество.

— Чин?

— Лейтенант, ваше величество.

— Хочешь в мою гвардию?

— Нет, ваше величество.

— Почему?

— Потому что один из ваших гвардейцев хотел расстрелять меня.— Карл рассказал королю свою историю.

Фридрих-Вильгельм пришел в ярость.

— Ты лжешь! — кричал он, бешено замахиваясь тростью.— Кто этот негодяй?

— Поручик Самсон, ваше величество.

— Позвать Самсона, сегодня его дежурство. Марш!

Адъютант побежал. Через минуту король послал другого, потом третьего. Колокольчик, изнемогая, заливался в руке его.

— Если ты солгал, горе тебе. Что же, скоро я дождусь?

Вошедший адъютант казался смущенным.

— Ваше величество...

Король швырнул табакерку на пол.

— Где Самсон?

— Ваше величество, он застрелился.

— Когда?

— Сию минуту в караульной комнате.

— Он хорошо поступил. Вебер, хочешь занять вакансию?

— Ваше величество...

— Без разговоров. Марш!

Вебер поступил на службу. Месяца два ему пришлось учиться тонкостям прусского устава: ходить по-журавлиному, вытягиваться, отдавать честь. Король полюбил простодушного великана и снисходил к его промахам. Он даже разрешил Карлу носить бороду, что было против военных правил.

Однажды, проверяя караулы, Фридрих-Вильгельм устал и, присев, раскрыл табакерку. Прежде чем он успел поднести ее к

своему острому носу, два толстые, поросшие рыжим пухом пальца, потянувшись из-за королевского плеча, взяли щепоть. В гневном изумлении король повернулся к Веберу.

— Как ты смел залезть в мою табакерку?

Карл в свою очередь изумленно пожал плечами.

— Ваше величество, я поступил по правилам. Вы изволили дважды щелкнуть по крышке — знак пригласительный. Если бы вы щелкнули один только раз, я бы не...

Король расхохотался.

— Вперед запомню твои мудрые правила. Но нюхать после тебя не буду. Бери табакерку и убирайся вон.

Случилось Веберу по приказанию короля сдавать в Потсдаме казенные деньги. По дороге мешок с червонцами, притороченный к седлу, исчез, и великан в отчаянии не знал, что делать.

Сидя в потсдамской гостинице, он уже начинал посматривать на заряженный пистолет и вспоминал Самсона; вдруг дверь заскрипела. Высунулись ястребиный нос и пара блестящих глаз.

— Только не бейте меня, господин Вебер! Ради Бога, не бейте! Если угодно, потом побьете, а пока позвольте говорить.

И маленький, грязноватый старикашка сложил, умоляя, руки.

— Не бейте, господин Вебер!

— Да за что же мне бить тебя?

— Ай, разве я знаю, за что? Господа офицеры лучше знают. За то, что выручаю из беды, даю деньги в долг, шью мундиры,— видно, за это. Ай!

— Да что тебе нужно от меня?

— Вы не прибьете?

— Нет.

— Хотите денег, много-много денег?

Вебер нахмурился, и старик отскочил к дверям.

— Почему ты знаешь, что мне их надо?

— Да разве королевскому гвардейцу — и такому красивому — не нужны деньги? Ай! Одним жалованьем не проживешь.

— Ну хорошо: говори прямо, сколько ты можешь дать.

Старик изогнулся и начал длинную речь. Из слов его, пересыпанных восклицаниями, лестью и просьбами не бить, Вебер понял, что деньги предлагает не он, а богатая графиня, живущая здесь в Потсдаме, на собственной вилле.

— На каких же условиях и сколько именно?

— Ах, да сколько вы пожелаете! Такие дамы для красивого кавалера скупиться не будут.

— А кто она?

— Это пока секрет. Если угодно, я провожу вас к ней.

Веберу оставалось согласиться. Он так и сделал.

Через час великан стоял среди раззолоченной, с вазами и китайскими игрушками приемной, слушая резкие крики хохлатого какаду и пронзительный лай левретки.

Графиня, опираясь на трость, медленно подходила к Веберу, шелестя шелковым шлейфом. Белые зубы сияли из-под кораллово-ярких губ. Волосы чернее воронова крыла осеняли белое, как молоко, лицо с пурпуровыми щеками. Тяжело дыша, она опустилась на диван и молвила глухим дребезжащим голосом:

— Мне очень приятно познакомиться с вами, господин Вебер!

Сдав деньги, великан вернулся в Берлин в новом блестящем мундире, напомаженный, раздушенный, с коробом вин и лакомств. Карманы его были полны червонцами.

— От старухи? — спросил однажды король опоздавшего на дежурство Вебера.— Или женись, или брось.

Карл всей душой был бы рад исполнить строгий приказ, но о женитьбе нечего было думать. Порвать связь Вебер также не мог: графиня взяла с него расписку.

В свободные часы король любил развлекаться зрелищем разных диковин. Около нового, 1723 года Берлин посетил знаменитый автомат.

На первое представление во дворец собралась вся свита. Вебер был дежурным по караулу и стоял близ эстрады. Впереди король на высоком кресле, веселый и оживленный, покусывал набалдашник трости; за ним улыбались генералы, камергеры и дамы; в четвертом ряду виднелась трясущаяся головка графини. Автомат изображал старика в восточном платье, в чалме; он сидел на ящике по-турецки, поджав ноги.

По приглашению механика кукла сыграла несколько партий в шахматы, передвигая фигуры и то кивая, то качая головой в ответ на вопросы. В перерыве, когда король разговаривал с механиком, Вебер, стоя подле автомата, внезапно услышал шепот:

— Карл, уходи отсюда!

Великан вздрогнул. Это говорила кукла — и говорила знакомым голосом. Волосы тронулись на голове Карла. В это время дан был знак продолжать представление. В разгаре игры послышался странный негромкий звук.

— Прошу прощения, ваше величество,— лопнула пружина; сейчас исправлю,— сказал механик и выкатил куклу за дверь.

Но Вебер готов был поклясться, что автомат чихнул, и это чиханье опять напомнило ему что-то давно знакомое.

За оградой королевского парка, в поле, торчал древний каменный столб. На нем иногда серый коршун, прилетая, клевал добычу. Ржавая медная дощечка дозволяла разобрать надпись: «Первого мая в шесть утра у меня золотая голова».

Все так привыкли к этой нелепости, что уж никто не смеялся.

Вебер всю весну страдал бессонницей. Приключение в Потсдаме мучило его. Порой великан был готов задушить графиню. Король, встречаясь с Вебером, хмурился и не говорил ни слова. Новогодней награды Вебер не получил. «Его наградит старуха»,— сказал король, вычеркнув имя поручика Вебера из списка. Ворочаясь по ночам в постели, Карл вспомнил о загадочном столбе. Давно ему казалось, что надпись сделана неспроста. Раздумывая о ней, он наконец убедился, что разгадал ее тайну.

Первого мая рано утром Вебер стоял у столба с часами и заступом. Когда стрелки указали шесть, Карл ретиво начал рыть землю в том месте, куда падала тень от вершины столба. Он не ошибся в догадке. Заступ ударился о сундук, туго набитый золотом.

Великан отнес старухе долг и потребовал расписку.

— Молодец! — сказал король, выслушав доклад Вебера.— Поздравляю тебя капитаном.

Зимой выступали в Берлине два силача: англичанин Тонгэм и австриец Крафт. Фома Тонгэм, толстяк, курносый и низколобый, поражал шириною плеч; от непомерно развитых мускулов руки его были уродливо толсты. Подле него Крафт казался почти тщедушным. И, однако, Крафту удавались опыты, на которые не смел решиться Тонгэм. Правда, Фома подымал одной рукой пятнадцать пудов; перешибал ударом среднего пальца сверток картона; задерживая дыхание, заставлял напряжением височных жил лопаться обвязанную вокруг головы веревку. Зато Крафта не могла стащить с места пара припряженных к его поясу лошадей.

Королевские гвардейцы водились с артистами. Раз — это было в трактире перед обедом — Тонгэм предложил Веберу испытать силы в борьбе. Офицеры ждали, что Карл откажется, но великан согласился и, к общему изумлению, поборол Тонгэма.

Это видел приезжий из России князь Меншиков и тотчас стал звать великана на службу к царю Петру. Вебер отказался.

Смущенный англичанин, стремясь загладить оплошность, придумал новую шутку. Фома ручался, что съест больше, чем может сожрать цепной пес. Заклад состоялся. Все держали за Фому; один Вебер поставил на собаку последние деньги. Привел громадного голодного волкодава, и обед начался.

Англичанин и пес сидели рядом. Им поровну подавались в изобилии супы, вареное мясо, дичь, пироги, жаркое. Волкодав жрал, рыча и трясясь от жадности. Подле него Тонгэм усердно работал челюстями. Первое время казалось, что дело Фомы проиграно. Однако, часа через два пес устал, лег и только обнюхивал тарелки. Тогда англичанин спросил бифштекс, разрезал и предложил волкодаву. Тот понюхал и отвернулся.

Настала очередь Карлу хмуриться. Ему было досадно и жалко денег.

— Эх, не с кем побороться,— сказал он, притворно зевнув, и вышел из-за стола.

— Хотите со мной, господин Вебер? — вкрадчиво спросил Крафт.

Карл улыбнулся презрительно и снял мундир. Обхватив огромными руками маленького Крафта, великан хотел подбросить его и положить, но борец изогнулся, крякнул — и Вебер с грохотом полетел под стол. Посуда звенела, пес лаял. Фома заливался лошадиным хохотом.

Великан взбесился. Красная борода его встопорщилась клубом, он скрежетал зубами и, сжав кулаки, устремился к англичанину. Он до того был страшен, что Тонгэм, весь бледный, вскочил и пустился бежать при общем хохоте.

— Э, да он трус,— сказал Вебер и засмеялся.

На другой день король потребовал офицеров к себе. Они собрались в манеже. Фридрих-Вильгельм вышел гневный, сверкая взорами; трость его описывала зигзаги.

— Кто вы такие?

Офицеры переглянулись. Король, топнув, повторил вопрос.

— Мы — гвардейцы вашего величества,— сказал полковник.

— Вздор, вы не гвардейцы, вы — канатные плясуны. Место ваше в балагане, а не в гвардии короля. Что это за собачья комедия была вчера в трактире?

— Ваше величество...— начал Вебер.

— Молчать! Ты опозорил мундир. Тебя, самого высокого из моих гренадеров, поборол акробат. Стыдись! А вы все знайте: если подобное повторится, я вас выгоню! Марш!

Гвардейцы вышли, сраженные королевским гневом. Но Вебер был оскорблен. Прямо от короля отправился он в русское посольство и дня через три выехал в Петербург.

Глава пятая

КАРЛИКИ

Гуслей Терпсихора звук
Соглашает разный вдруг.

Тредиаковский

Россия — хорошая страна. Снегу здесь много, оттого и дорога лучше. Зимнее солнце похоже на луну и светит точно в тумане. Лошадям привязывают колокольчики, но это только для знатных, у кого стража или оружие. А то могут напасть разбойники. Князь Меншиков мчался быстрее ветра. На станциях княжеский секретарь бил всех по зубам — не за беспорядки, а просто так: это московский обычай.

Петербург построен лет двадцать назад на реке Неве. Это чистенький, ровный городок; самое скверное в нем — климат, суровый и неприятный. Ветер и туманы, оттепель и мороз. Зимой набегает много волков. Они рыщут по окраинам, воют протяжно и дико. Я любил в бессонные ночи слушать их вой. Слушаешь — и самому захочется взвыть, и не раз я, открыв морозное окно, подвывал блестящей луне. Потому что в такие ночи кажется, что и луна тоже воет.

Волки разрывают петербургские кладбища и пожирают покойников. Охотятся на волков по-разному. Проще всего ловить их в сети, потом избивать дубинами. Так делают псковские мужики. В подобных забавах и я участвовал. Это очень весело. Волчьи черепа так и хрустят.

Мы прибыли в Петербург синим морозным вечером. Всю дорогу я с князем Меншиковым ехал в одной кибитке. Не понимаю, чем я ему понравился. Очень он ласков со мной, и часто я замечаю пристальные и быстрые его взгляды. Сам он маленький, проворный, с огромным ртом. Трудно поверить, что это князь и вельможа.

Кибитка остановилась перед дворцом. Это деревянный дом в два жилья с грязным наслеженным крылечком. Было тихо. Князь побежал к царю с бумагами. Я осмотрелся. Мальчик в синей шубке терпеливо лепил куклу из рыхлого снега. Мне сделалось вдруг грустно,— ну хоть заплакать. Луна жалобно смотрела на меня, и я подумал: «Она терпеливей всех нас». А мальчик все хлопотал над куклой. Это был внук и наследник царя, тоже Петр.

Через полчаса я ужинал с князем в его доме на другой стороне Невы. Обстановка являла смесь роскоши и грязи; за печкой кричал сверчок. Мы ели на серебряных, давно не мытых тарелках. Щи дымились в деревянной с базарной росписью чашке; мясо князь брал руками.

Когда мы рассчитывались с возницами, я подарил ямщику серебряную монету, а княжеский секретарь ударил его раза два по лицу. Ямщик с презрением подбросил на ладони мой подарок, а секретарю с благодарностью поклонился в ноги.

Ночевал я в душной комнате рядом с кухней. За иконами в переднем углу шуршали тараканы. При тусклом свете лампады всю ночь я ловил на себе проворных блох. Утром князь повез меня во дворец.

Я ожидал, что мы подъедем ко вчерашней избе, где на дворе играл при месяце маленький царевич, и удивился, увидя высокий каменный дом на берегу Невы. Здесь все напоминает Европу, но только напоминает: грубость и неряшливость не дают забыть, что находишься в России. Меня ввели в царский кабинет. Здесь душно и смрадно, окна с двойными рамами, на полу сор, плевки и пепел. Царь встал и ростом оказался ниже меня. Ему лет пятьдесят. Лицо опухшее, нездоровое, с выпучен-

ными глазами; щетинистые усы подстрижены. Он протянул мне руку.

— С приездом! Назначаю тебя сержантом в Преображенский полк.

— Ваше величество, я капитан королевской гвардии.

— Плевать мне на твоего короля. Я сам капитан бомбардирской роты. Пойдем обедать, пора,— адмиральский час.

За царским столом кроме меня сидели: князь Меншиков, генерал-полицеймейстер Девьер, два моряка и старый сенатор. Царь много пил и поил других. Жирные кушанья крепко приправлены луком и перцем.

Царь за столом говорил:

— С нашим народом ничего не сделаешь. Он из грубой кожи. В болотных сапогах не спляшешь менуэт. А немцы вроде атласных туфель. Немцев в Россию надо побольше напустить. На немецких дрожжах взойдет моя империя. Я немцев люблю.

Князь Меншиков что-то сказал, чего я не понял. Царь рассердился, лицо его исказила страшная гримаса. Он судорожно задергал рукой, из-под торчащих усов вылетело грубое ругательство.

Насчет немцев я с царем согласен. Без нас Россия погибнет. Помню, Ида любила пирожное: лимонный сок с клеем. Немцы в России как клей в желе.

У Девьера умное лицо. Он пил со мной за здоровье моей дамы. Я вспомнил графиню и засмеялся.

Перед обедом мы с царем боролись. Кончилось вничью.

Он меня поцеловал.

— Только денег не проси, не дам. Самому, брат, надо. А я тебя женю.

При самом конце обеда послышался мелодический легкий звон. Сразу я не мог ничего понять. Шпоры ли это Девьера, чарка ли звенит о пустую чарку или усталость и вино у меня в ушах? Не бьют ли часы? Во дворце их много, хрустальных, золотых, бронзовых, деревянных; каждую четверть часа подымается звонкая перекличка. Вдруг я увидал у дверей пеструю вереницу карликов. Они двигались попарно; на колпаках и на платьях дрожали серебряные бубенчики: от них-то и шел этот гармонический звон. Взявшись за руки, карлики выступали вдоль стола быстро и ровно; каблучки их мерно выстукивали, отбивали — раз-два, раз-два; карлицы, жеманясь и оглядываясь, подымали бойкие ножки с крошечными бубенчиками на носках. И все они комариными голосами пели в лад пляске:

Ох ты, батюшка орел,
Что ты крылышки развел,
Что ты, батюшка, не весел,
Что головушку повесил?

Как у нашего орла
Две головки, два крыла!

Всех карликов было двенадцать пар. Ими предводил маршал — старый, толстый, как глобус, карлик Свинхен, в персидском платье, с жезлом.

Свинхен — любимец царя. Меншиков шепнул ему что-то на ухо. Зеленые глазки Свинхена блеснули, недоверчивая улыбка открыла пару желтых клыков. Он посмотрел на меня и покачал головой.

Из карлиц красивы только две: Зануда и Муреха. У Зануды длинное лицо и печальный голос, похожий на жалобный писк степного кобчика. Муреха — румяная, круглая, с громким веселым хохотом.

Явился и шут Балакирев, смуглый, угрюмый и пожилой. Языка его все боятся. Шуток Балакирева я оценить не мог, хотя кое-что мне перевел Девьер. Главную соль его острот составляют грубость и неприличие. Муреха на коленях у царя хохотала во все горло, а Зануда отворачивалась, краснея.

Обед незаметно сменился ужином. Карлики пели, кувыркались и плясали. Гости затягивали хоровую песню, старый сенатор спал.

Царь, пошатываясь, взял меня под руку и увел в кабинет.

— Ну, Вебер, я много говорить не люблю. У меня что захочется, то и будет. Женись на ком хочешь, на Мурехе или на Зануде, это твое дело, только чтобы завтра свадьба.

Хоть я и видел, что царь совершенно пьян, однако принял слова его за шутку и промолчал.

— Так как же? Отвечай прямо.

— Ваше величество, я не могу жениться.

— Не можешь или не хочешь?

— Не могу и не хочу.

— А я могу и хочу заставить тебя насильно. Слышишь, немецкое чучело? Велю связать и так обвенчаю, а потом на цепи продержу лет пять.

— Я не ваш подданный и могу уйти.

— Ступай, попробуй. На тысячу верст все снег да пустыня. Волки, разбойники. А то замерзнешь.

Я увидел себя в ловушке. Царь не отставал. Он сулил мне чины и поместья, обещал милости, деньги, дом.

— А которая больше тебе по нраву?

— Зануда, ваше величество.

— Муреха лучше. С ней тебе веселее будет. Она и петь, и плясать. С Занудой ты, брат, закиснешь.

— Вы мне позволили выбирать.

— Черт с тобой, бери Зануду. Свадьба завтра. Ну, по рукам?

Зануда мне самому очеь нравилась. Что она карлица, так

это еще приятней: такую жену можно носить на плече, как птицу, или держать в кармане. Я согласился.

Гостям объявили о помолвке. Зануда, взвизгнув, бросилась в угол. Я взял ее на руки и поцеловал. Все нас поздравляли.

— Эй, женись на Мурехе,— сказал царь.— Гляди, как сердится девка. Видно, ты ей по нраву.

Я все надеялся, что царь раздумает или отложит свадьбу. Но этого не случилось. Нас обвенчали за вечерней. Балакирев, взгромоздясь на подножки, держал надо мной венец с непристойными фигурами, выточенными царем из слоновой кости. Позади Зануды стоял Свинхен. На клиросе вместе с карликами пел царь.

Апостола читал князь Меншиков, но на конце поперхнулся, и царь за это плюнул ему в лицо.

Свадебный пир во дворце шумел до утра. За столом увидал я царицу. Это красивая женщина с двойным подбородком и черными бровями. Пировало много генералов, бояр, сенаторов, моряков. По русскому обычаю то и дело кричали: «Горько!», и я должен был всякий раз целовать жену. Преображенский оркестр гремел на хорах, карлики пели свадебные песни. Вечер окончился русской пляской. Свинхен плясал с моей женой. Персидская шапка его свалилась, и я увидел на красном разгоряченном лбу карлика два белых, крест-накрест, давно заросших рубца.

Мне вспомнилась хрустальная рама, письмо и забытая тайна матери. Хмель соскочил с меня. Кто же, однако,— Свинхен или Мазепа?

В раздумье прошелся я темными дворцовыми коридорами. Карлики прыгали, бросались мне под ноги, дрались, пищали. Часы долго выигрывали полночь.

Квартиру нам отвели в маленьком грязном домике. Каждую неделю выдают продовольствие: муку, баранину, пиво и вино. Когда я заикнулся царю об обещанных наградах, он сделал гримасу.

— Успеешь.

— Ваше величество, провизию нам выдают неисправно.

— У нас все воры. А рвать им ноздри не напасешься щипцов.

Зануда — плохая жена. Царь прав: лучше бы взять Муреху. Зануда все плачет, хозяйничать не умеет и угождать мне не хочет.

Свинхен — наш самый частый гость. С ним приходит Василий Тредьяковский, некрасивый, но смелый юноша. Он пишет стихи.

Балакирева зимой женили на козе. Шутовский обряд совершал сам царь. В конце лета Балакирев объявил, что коза родила. Весь двор ходил поздравлять его. Я пришел в полдень. Шут лежал на двуспальной кровати; рядом из-под стеганого

одеяла выглядывала белая козья мордочка с позолоченными рогами. В богатой корзине верещал новорожденный. В домишке было светло и весело; горели цветные свечи, зеленели березки, изукрашенные лентами, мягко звенели бубенчики на шутовском колпаке и на рогах у козы. Гости со смехом клали деньги родильнице «на зубок». Я тоже положил рубль. Балакирев подмигнул и показал мне язык.

— У кого козленок, а у тебя поросенок.

— Почему?

— Потому что Зануда твоя со Свинхеном живет. А «Свинхен» значит «свинья». Вот и принесет тебе дюжину пестреньких к Рождеству.

Не помню, что со мной было. Я выскочил на улицу без шляпы. Очнулся я дома в постели. Свинхен и Тредьяковский прыскали на меня водой. Царь, засучив рукава, собирался пустить мне кровь.

— Говорил я тебе, дураку, женись на Мурехе. Сам виноват.

— А где Зануда?

— На том свете. Ты убил ее. Ну, это твое дело, ты муж, а как ты смел избить моего шута?

После мне рассказали, что, исколотив Балакирева до полусмерти, я прибежал домой и на глазах Свинхена ударом ноги убил ни в чем не повинную жену.

Зануду хоронили через неделю. Раньше нельзя было: Балакирев оправлялся от побоев, а царю хотелось, чтобы он участвовал в церемонии. Был серый ненастный день. Впереди процессии, за взводом преображенцев, маршировали рядом царь и я, оба с огромными пестрыми барабанами. Мы дружно выколачивали гулкую однообразную дробь. За нами четыре карлицы несли маленький, вроде шкатулки, красный гробик. За гробом — весь обвязанный Балакирев с пластырем на носу; подле позванивала бубенчиками коза в глубоком трауре. Толстая Муреха с бархатной подушкой; на подушке ключик от гроба. Дальше двадцать траурных карликов на ходулях.

С утра провожатые были пьяны. Заморосил дождь. Карлики галдели, валились с ходулей, бранясь, и влезали снова. Раза два гроб роняли в грязь. Вот, наконец, и кладбище.

Гроб поставили на носилки. Солдаты принесли ушат с водкой; стало веселее. Карлики окружили могилу, и Муреха, махнув платком, жалобно затянула:

Уж ты свет, наша любимая подруженька,
Раскрасавица-красавица Занудынька,
На кого ты, сиротинушек, нас покинула,
Овдовила муженька бессчастного?
Не видать тебе, Занудынька, солнца красного.

Хор, приплясывая, с карканьем и свистом грянул:

Галка в поле вылетала,
За овином помирала,
Стали галку хоронить,
В большой колокол звонить.
Галки, галки мои,
Воронята, вороняточки мои!

Царь, шатаясь, запер гроб на ключ. Пьяные пальцы не слушались, попадая мимо.

— Ну, поцелуйтесь с Балакиревым. Мир вам!

Я обнял обвязанного шута. Тот криво усмехнулся.

— Здоров ты драться, брат Карла. Не хуже царя. Молодец! Только царь дубиной отвозит, да потом шубу либо червонец подарит. А ты что дашь?

— Бери женины платья и уборы.

Балакирев поклонился в пояс.

— Спасибо. Козе пригодится.

Могилу завалили. Тредьяковский прочитал стихи:

Коварству и злобе счастие днесь завистно.
Оных не ведать потщимся ныне и присно.
Петровым щедротам конца на земле не буди.
Многая лета Карлу, вечный покой Зануде.

— А теперь женись на Мурехе,— сказал мне царь.

Я попятился. Муреха от ужаса села в грязь.

— Не бойтесь, я пошутил. Ха-ха!

Глава шестая

ОГНЕННАЯ ТАЙНА

Эрата смычком, ногами,
Скачет, также и стихами.

Тредиаковский

Незаметно пробежал год. Вебер, обжившись в России, привык к петербургским нравам и овладел русской речью.

8 ноября в столице открылся польский цирк. Говорили много об искусстве наездников, фокусников, акробатов. В первый же вечер великан отправился их смотреть. Цирк был полон. На возвышении восседал царь с царицей. На царе зеленый мундир со звездой; из-под маленькой треуголки торчали косицы короткого парика. За год он сильно постарел; глаза оплыли и полусонно таращились; черные зубы, в усах серебрится проседь. Румяная царица кокетливо улыбалась. В переднем ряду князь Менши-

ков в орденах и в ленте выпячивал гордо нижнюю губу и презрительно озирался; подле него Вебер видел сморщенного Остермана, молодого, бодрого Миниха, Девьера и всех царедворцев. Публику составляли офицеры, сенаторы, богатые купцы с женами, матросы, солдаты, иностранцы. У сцены толпились царские карлики.

Музыка проиграла марш. Подняли пестрый занавес, вышел усатый распорядитель.

— Летание на чудесный жук.

Старичок в потертой бархатной епанче — голландский механик — показал зрителям железного жука. Кое-кто брал игрушку в руки и даже пробовал на зуб. Когда все уверились, что жук и вправду железный, механик завел его ключом и посадил на мизинец. Жук загудел, надкрылья его поднялись, он пополз по пальцу и вдруг, взлетев и гудя все громче и громче, начал кружить над публикой. Послышался смех, женский визг и крики.

Жук, медленно опускаясь, описал дугу и крепко вцепился в красную бороду Вебера.

Зрители выли от восторга.

— А теперь пусти его на меня,— приказал царь.

Жука завели, и он, покружив с гуденьем, опустился на царскую ладонь.

— Железный, прах его дери, как есть железный. Погляди, Катенька.

— Фуй, боюсь,— сказала томно царица.

Выбегали акробаты, фокусники, жонглеры, арлекины, певцы, музыканты. Звяканье струн, гогот и дикие крики мешались с хлопками. Наконец распорядитель крикнул:

— Турнир на воробьев!

На сцену выскочил черный человечек с воробьем на плече. Вебер громко ахнул.

Перед ним стоял Конфетти — тот самый Конфетти, которого, по приказанию принца Евгения, шесть лет назад расстреляли австрийские мушкетеры. Живой и невредимый, он бойко объяснялся по-русски, показывая публике клетку с воробьями и стравливая их поочередно друг с другом.

Великан несколько раз протирал глаза. Как могло это случиться? Ведь на его глазах Конфетти закопали, всадивши перед тем в него целых шесть пуль. Он сам видел, как Конфетти был похоронен.

Воробьи, чирикая, дрались так, что летели перья. К лапкам у них прицеплены были острые шпоры, а на клювиках сверху и снизу торчало по игле. Кровь брызгала на песок игрушечной арены.

После перерыва грянул победный марш, и на сцену, стоя на буйном, пышущем жарко жеребце, с мечом и факелом вылетела Ида.

Водопадами сыпались с плеч огневые косы и тучей солнечных волн летели по воздуху, рассыпая искры. Веяла, вспыхивая в складках, розовая хламида. То, чернея глубокими, будто невидящими зрачками, бросала Ида и снова ловила горящий факел, то, угрожая мечом, улыбалась странно и нежно, а конь летел под ней, распластавшись во весь мах. И когда, скрестив над головой меч и факел, прянула Ида за кулисы и в последний раз мелькнула над бурным конским хвостом розовая хламида,— зрители долго молчали, оцепенев.

— Знатная девка,— крякнул царь. Царица лукаво погрозила.

Вебер еще лежал на постели в утреннем забытьи, когда в дверь стукнули и появился Конфетти.

После приветствий друзья уселись за кофе.

— Ты спрашиваешь, как я остался жив. Это, друг Карл, такая история, что я и сам бы ей не поверил, особенно если бы ее вздумал рассказывать наш общий приятель и сослуживец почтенный барон Мюнхгаузен. После того, как ты дрожащим голосом скомандовал «пли», треснул залп — и я потерял сознание. Очнулся я в темноте и тотчас сообразил, что лежу в могиле. Ты не поверишь, но я не чувствовал никакого страха и был уверен в своем спасении. Сквозь рыхло набросанную землю, должно быть, проникал воздух, и я хоть с трудом, но мог дышать. Скоро послышался слабый шорох. Я только успел подумать: «Это шакалы» — и опять потерял сознание. Снова пришел я в себя — где бы ты думал? — в квартире нашего полкового доктора. Ему пришло в голову анатомировать мой труп во славу науки; потихоньку он отрыл меня и сам отнес в лазарет. Там доктор убедился, что я жив и даже не ранен. Объявить о моем воскресении начальству он, конечно, не мог и волей-неволей, ради спасения собственной жизни, пособил мне бежать. Я долго жил в России, потом в Польше. Это я шептал тебе из ящика автомата. О приключениях моих расскажу на досуге, а теперь отдай мне обратно Библию.

Меншиков на царицыных именинах простудился и сидел дома в тулупе и валенках, по-домашнему. Непричесанный, небритый, пил он квас и беседовал со Свинхеном.

— Ты пойми: она царю вот как полюбилась, хоть в петлю. Вынь да положь. Чай, знаешь его.

Карлик затряс жирной головой.

— Ох, трудно это!

— Вестимо, трудно, а ты все-таки попытай. Денег сули, сколько захочет, пообещай жениха. Всякую бабу купить можно.

Свинхен, переваливаясь, удалился. Князь зачерпнул квасу ковшиком из деревянного жбана, выпил, зевнул и перекрестил рот.

Вечером карлик явился к наезднице. Не говоря ни слова, он сбросил шапку и молча глядел в глаза побледневшей, как саван, Иде.

— Ты?.. Это ты,— прошептала она в бессилии и сунула карлику пожелтевший клочок бумаги:

«Дочь моя Ида! Палач тебе не отец. Найди своего отца и будь счастлива. Тебе поможет человек с крестообразным рубцом на лбу. Ему все известно. Твоя несчастная мать».

— Слушай, старик. Приемный отец мой, палач, хотел выдать меня за страшного урода. Я противилась. Самое ужасное было то, что я моего жениха и любила и ненавидела. Дня за два до свадьбы я подслушала, как отец — буду называть его отцом — сказал моему будущему тестю-доктору, что завещание матери хранится в хрустальной раме ее портрета. Этот портрет висел у нас над камином. На другой день отец жениха пришел опять. Старики о чем-то заспорили. Я выходила кормить моего журавля и, когда вернулась, застала страшную сцену: доктор убил палача. В исступлении схватила я отцовский меч и заколола убийцу. Потом я разбила раму на портрете и нашла вот это письмо. В ту же ночь я бежала. Кто мой отец?

Карлик молчал.

— Кто мой отец и мать? Скажи, старик, или я ошиблась и ты не тот?

— Нет, Ида, ты не ошиблась. Я знал твоего отца и мать, и мне известна их тайна. Но обожди до завтра.

— Почему до завтра?

— Так надо. Завтра узнаешь все.

— С одним условием: ты здесь ночуешь. Я не пущу тебя.

— Хорошо. Как имя твоего жениха?

— Карл Вебер. Ты его знаешь? Где он?

— Со мной. Он дожидается у входа. Ему поручено отвезти тебя к царю.

— Ого!

— Не бойся, никто тебя не тронет. Знай, этот Вебер...— Карлик прильнул сморщенным личиком к розовому уху Иды. Она закрылась руками.

— Боже!

— Хочешь, я позову его?

— Нет, нет, до завтра, пускай все решится завтра. Отпусти Карла, а сам оставайся здесь.

Ночью столица встревожена была гулом набата. Пылал дом, где жила приезжая наездница. Помощь прискакала слишком поздно: жильцы сгорели. С трудом удалось вытащить обугленное тело Свинхена: голова уцелела и носила следы убийства. Вероятно, злодеи зарезали Иду и карлика, а потом зажгли дом.

Царь сам распоряжался на пожаре. Упавшей огненной бал-

кой его едва не убило. Только сила и находчивость Вебера спасли царя.

Утром князь Меншиков объявил Карлу монаршую волю: великан пожалован был в царские денщики.

Глава седьмая

ПИСЬМО ВЕБЕРА

Урания звезд предел
Знает свойство и раздел.

Тредиаковский

Милый Конфетти! После твоего отъезда я перешел во дворец. Комната моя подле царской спальни. Утром, вставая, и вечером, ложась спать, слушаю я перезвон часов. Царь сам их заводит и чинит. Это его страсть. Последние дни он редко ложится трезвый, а утром при свечах требовал прежде всего вина. В эту раннюю сумрачную пору тяжело, не выспавшись, бродить по холодным и грязным комнатам. Туманная сырость ползет вдоль стен и оконных стекол; еле брезжит сонная Нева. Опять заиграли куранты, не вдруг, а поочередно,— это тоже прихоть царя. Не успеют отзвонить шесть, бьют четверть седьмого, и так без конца все одно и то же.

Царь спит мало и плохо. Раз ночью мне показалось, он плакал. О чем бы? В другой раз вошел ко мне в полночь со свечкой и пистолетом. Я вскочил.

— Не бойся, Карл, это я. Смотри, никого не впускай сюда.

— Я не впускаю, ваше величество.

— Никого, никогда. Достань-ка рому.

Теперь я вижу, что он боялся, и знаю кого.

В начале зимы царь простудился и крепко хворал. Все время я спал на ковре у его постели. Когда врачи разрешили царю вставать, он несколько дней жил скромно, не пил и не курил. Взор его прояснел; он меньше сердился. После рождественских праздников своими руками остановил все часы.

— Надоели. Звонят, точно к покойнику.

Потом приказал мне играть с ним в шахматы. Кончив партию, велел остаться.

— Мне надо с тобой поговорить.

— Что прикажете, ваше величество?

— Слушай, Карл. Ты парень добрый и честный. Я тебе верю. Мне жить не долго. Но хочется перед смертью сделать великое дело. Оно меня с детства манит. Еще когда учился я грамоте, говорил мне дьяк, что есть-де за океаном волшебная

страна. Люди там ростом с крысу, сражаются с журавлями, а те их уносят или носами до смерти забивают. Есть и такие, что голов не имеют, а лица у них на брюхе. Иные скачут на одной ноге и ступней укрываются от солнца, словно палаткой. У иных уши столь длинные, что они спят на левом, а правое им за одеяло служит. Одноглазые есть и с песьими головами. В возраст войдя и за морем сам поездив, понял я, что это детские басни, но мне верить несносно, будто земля вся ведома до конца. Не может этого быть. И задумал я отыскать волшебную страну, и ты мне помочь обязан.

— Я?

— Да, ты. Ты примешь начальство над кораблем и будешь держать порядок.

— Куда же ехать, ваше величество?

— На Южный полюс.

Царь снял со стены большую карту и объяснил мне весь путь. Я согласился с восторгом. Ты знаешь, милый Конфетти, как надоел мне Петербург, а теперь, после смерти Иды, здесь и противно и страшно. Притом я охотник до приключений.

— Об этом знает князь Меншиков; он тебя и отправит, ежели я до весны не доживу. А вот и он.

Давно я заметил, что всякого человека легко распознать по взгляду и по улыбке. Если он смотрит и улыбается хорошо, значит, и сам хорош. У Меншикова, ты помнишь, какие глаза: зависть из них так и брызжет, а уж улыбка... чего стоит одна выпяченная губа. Половину зубов ему выбил царь. Когда Меншиков пролез в дверь, я сразу увидел, что этот приход недаром. Он заявил, что по случаю выздоровления его величества дает у себя завтра холостой ужин и просит царя пожаловать. Получив согласие, он продолжал вертеться у царских кресел; по лицу видно было, что дело совсем не в ужине. Уходя, князь просил меня зайти к нему.

Я пришел, ничего не подозревая. В освещенной столовой хлопотала челядь, гремели тарелки, звенел хрусталь. Меншиков провел меня в спальную и сел на кровать.

— Не надо ли тебе, Карлуша, деньжонок?

— Немного позвольте.

— Зачем немного? Бери себе, не стесняйся.

— Мне много не надо.

— Сказки! Этого быть не может. Хочешь, тысячу червонцев дам, а то и две?

— Вы шутите!

— Эх, Карлуша! Не я даю, царица. Она тебя наградить желает.

— За что?

— За верную службу.

— Это мой долг.

— Мало ли что! А ты не упрямься, бери денежки.

— Благодарю вас.

— Погоди благодарить. Сослужи сначала службу.

Тут Меншиков полез в поставец и достал бутылку.

— Видишь, Карлуша, царю нельзя много пить, а вытерпеть он не может. Боюсь я, хуже бы ему не стало, вот и придумал я дать царю этого самого вина. Легкое оно и сладкий сон производит,— так ты, как ударит полночь, и поднеси его царю. Он задремлет, а утром встанет здоровый. Понял?

Я знаю, что Меншиков считает меня человеком глупым, и все-таки был поражен наивностью гнусного замысла. Я догадался, впрочем, что князь рассчитывал не на глупость мою, а на жадность к деньгам: по себе он судил других.

Молча кивнув, я взял предательскую бутылку и положил ее в карман.

— Ну вот, молодец, Карлуша, спасибо!

Князь перевел дух и дрожащими пальцами открыл табакерку.

Ужин совсем не удался. Пили немного, и разговор за столом шел вяло. Царь говорил о Южном полюсе.

— Открытие сей страны послужит ко благу человечества. Создать надобно совсем иные законы и жизнь иную. Быть может, жители полюса тайну земного счастья постичь сумели.

Гости, зевая, слушали. Меншиков вертелся, как на угольях. Улучив минуту молчания, я медленно, на глазах у всех, открыл бутылку и налил. Пробило двенадцать.

— Ваше величество, хозяин наш, светлейший князь Меншиков, просит отведать чудесного вина. Дарует оно здоровье и вечную юность.

Царь глядел на меня с усмешкой. Меншиков побелел.

— Но, уважая древний русский обычай, может быть, ваше величество, соблаговолите поднести хозяину первый кубок?

Я видел, что Меншиков сейчас лишится чувств или бросится на колени. Царь улыбался.

— Правда твоя, друг Вебер. Только ты забыл, что я и здесь хозяин. Где царь, там других хозяев не бывает.

И выпил чашу, не сводя пристальных глаз с дрожащего, бледного светлейшего.

— Спасибо на угощении. Давно бы так!

Гости переглянулись. В этих взглядах уловил я детскую радость. Как школьники, выпущенные гулять, зашумели бояре вокруг бесчувственного царя, помогая нести его до саней.

С этого вечера царю стало гораздо хуже. Он бредил и часто бывал без памяти. По приказанию царицы меня устранили от должности. Как скончался царь, я не знаю.

Уж пахло весной и таяло под ногами, когда князь пригласил меня к себе. Я тотчас явился во дворец. Меншиков сидел за царским столом. Сначала я не узнал его: так он сделался горд и важен. На мой поклон я ответа не получил.

— Ну, тебе оставаться здесь больше не рука. Отправляйся к немцам.

Мне хотелось схватить его и задушить, как цыпленка, но я сдержался.

— Вы же сами привезли меня сюда.

— Я тебе не вы, а ваша светлость. Это одно, а еще запомни, что я не токмо тебе, а и никому на свете отчета не даю.

Я подошел к столу.

— Ваша светлость, все мы дадим отчет перед Богом. Я поеду отсюда только на Южный полюс, исполняя желание покойного вашего монарха и благодетеля. Можете и меня отравить, если вам угодно, но только знайте: все записано и сделается известным.

Это я выдумал тут же, не знаю зачем. Но вышло кстати. Светлейший смягчился.

— Ладно, Карлуша. Погоди, не сердись, сынок. Коли так, поезжай с богом на полюс. Завтра получишь деньги. Отправляйся в Нижний и жди весны.

Я благодарил, и мы расстались. Милый Конфетти, поедем со мной!

Глава восьмая

ПИСЬМО КОНФЕТТИ

Каллиопа всех трубою
Читит героев всезлатою.

Тредиаковский

Дорогой Карл! Тебе одному известно, что Иду любил я больше всего на свете. Теперь у меня ничего не осталось в жизни. Радостно принимаю твое предложение ехать на Южный полюс.

Много раз собирался я рассказать тебе свою жизнь. Не знаю, почему это не удавалось. Правда и то, что природа и воспитание сделали меня скрытным. Но тебе я не буду лгать. Узнай теперь мою тайну.

Родился я в Венеции сыном богатых родителей, посреди сказочной роскоши. Однако насладиться богатством мне не пришлось. Десяти лет мне не было, когда отец разорился, а мать скончалась.

Юность моя текла в Генуе, где отец открыл книжную торговлю. От Венеции у меня немного осталось в памяти. Помню темную даль необъятной морской пустыни, колокольный перезвон, плеск голубиных стай, тишину и сырость каналов.

Учился я у старого иезуита. От него я узнал о заблуждениях Галилея и понял, что Колумб, открыв Америку, совершил смертный грех. Старик владел редкостной библиотекой. Он обучил меня греческому языку и латыни. Когда воспитание мое закончилось, наставник благословил меня Библией и сказал: «Сын мой, много предстоит тебе испытаний. Помни одно: никогда никому не доверяй».

С шестнадцати лет завладела мной дикая мечта: непременно разбогатеть. В меня вселился бес алчности. День и ночь грезились мне червонцы разной чеканки, новые, старые, темные и блестящие. В ушах стоял их заманчивый лукавый звон.

Добывать деньги обычным путем мне было противно. Я придумал несколько собственных средств, и вот что вышло.

Молодящихся старух выдают их уши. Как ни румянятся престарелые щеголихи, по дряблым ушам легко распознать их возраст. Я изобрел искусственные уши из плотной розовой ткани: они надеваются, как футляр. Дело пошло, но ненадолго: явились подражатели, и мой секрет перестал быть секретом. Вдобавок одна дама на балу потеряла ухо; кавалер, подняв, подал ей с поклоном и получил пощечину, а муж вызвал беднягу на дуэль и убил. От этого опыта мне удалось нажить всего десяток червонцев.

В Геную приехал важный лорд; как все почти англичане, он был большим чудаком. У нас он объявил конкурс лысых. Огромную премию должен был получить счастливец, совсем лишенный волос на голове. Надо сказать, что, с детства интересуясь химией, я случайно отыскал средство для уничтожения волос. Тотчас придумал я, как поступить, и, вытравив свои кудри, явился на конкурс. Признаюсь, я не мог удержаться от смеха. Десятка три голых лоснящихся черепов толпилось перед судейской трибуной. Все эти соискатели имели смущенный вид, а зрители, глядя на них, надрывались от хохота. Сам лорд, тучный и вялый молодой человек, кисло рассматривал свои ногти. Впоследствии я узнал, что он лечился от скуки и для этого ему придумывали разные забавы вроде конкурса лысых.

Нас переписали. Поднялся секретарь, веселый и бойкий юноша.

— Господа, лишенные волос! Прежде чем мы приступим к делу, долгом считаю предложить вам некоторые условия. Никто из судей не сомневается в добросовестности участников. Все вы люди от природы безволосые. Но — прошу вас взвесить мои слова — если сверх ожидания найдется здесь человек, ускоривший труды природы искусством, и обман его мы раскроем, спине такого художника предстоит испробовать прочность судейских жезлов, изготовленных по особому заказу из наилучшего китайского бамбука. Согласны ли вы на это, господа?

— Согласны!

— Все?

— Все до одного!

Секретарь распорядился запереть двери и с важным видом объявил заседание открытым. Через полчаса половину кандидатов признали негодной, а еще через час перед трибуной стояли двое: я и актер Папини.

Секретарь, рассматривая в лупу наши черепа, продолжал делать строгое лицо, хотя на губе у него прыгал живчик. Зато зрители все валялись с хохотом по полу и держались за животы. Один лорд хранил невозмутимое спокойствие.

С трудом удалось установить тишину.

— Господа! Оба уважаемых кандидата равно достойны премии. Было бы несправедливым лишать ее одного из них. Я попрошу лишь позволения натереть моей помадой эти почтенные головы, чтобы убедиться, которая из двух раньше лишилась волос. Эта пустая формальность продлится каких-нибудь четверть часа.

Я чувствовал, что тут скрывается хитрость, но отступать было поздно. При громком смехе и восклицаниях публики, сияя напомаженными черепами, мы скромно уселись перед трибуной. Прошло минут двадцать. Веселость зрителей все подымалась; гнилое яблоко пролетело у меня перед носом. Вдруг хохот начал расти и превратился в плачущий дикий рев восторга. Ко мне подскочил нахмуренный секретарь и приставил к глазам моим зеркало. Что же я увидел? По всей голове выступали ростки волос.

Судьи замахали палками, но тут лорд неожиданно разразился громким скрипучим хохотом. Мне объявлено помилование за то, что я рассмешил его светлость, а премию получил проклятый Папини.

За городом журчал старинный фонтан, изображавший быка с Европой. Сюда приходил я мечтать о роскоши и богатстве. Раз в полдень после завтрака, изнемогая от жажды, присел я в тени и приник к ледяной струе, звучно бежавшей из медной рогатой пасти. Напившись, поднял глаза и вдруг увидел старуху в пестром цыганском платье. Дряхлая, сморщенная, как смерть, она смотрела недвижно и без улыбки. В Генуе встречались часто эти венгерские выходцы, промышлявшие гаданьем и воровством. Все они льстили, болтали и улыбались,— вот почему безмолвная строгость старой цыганки меня смутила. В мертвой тиши полудня мне сделалось страшно: я смутно почуял, что впереди меня ждет роковой перелом судьбы.

— Господин, возьми мою птицу!

Тут я увидел, что у старухи на руке сидит ворон. Птица качалась, закрыв глаза, и казалась больной и слабой.

— Возьми мою птицу, господин!

В то время я уже начинал заниматься птицами: у меня жили ученые попугаи, воробьи и сорока, умёвшая говорить.

Ворон был бы не лишним в моем птичнике. Но в резких словах старухи смущала меня настойчивость. Сердце замирало во мне от усилий что-то вспомнить. Но вспоминать было нечего: цыганку и ворона я видел впервые.

— Зачем мне твоя птица, старуха? Смотри, она еле жива и того гляди околеет.

Ворон открыл блестящие глаза и внятно ответил:

— Неправда.

Я вздрогнул. Старуха оскалила два ряда желтых зубов.

— Бери птицу! Я отдаю ее тебе даром. Бери!

Стараться получать все на свете даром было правилом моим с детства, но мне непонятной казалась щедрость цыганки.

— Почему же даром?

— Потому что я сейчас умру.

Я только пожал плечами. Но как описать мой ужас, когда старуха спокойно, точно собираясь отдыхать, легла под фонтаном, сладко потянулась, вздохнула и умерла на моих глазах.

Вне себя примчался я домой скачками, как горный козел. Глаза и зубы старухи так и стояли передо мной. Спустился удушливый черный вечер; во мраке ночи лежал я; сердце томилось. Или собирался я опять родиться, или то смерть в первый раз улыбнулась мне?

— Неправда,— ответил знакомый голос.

Дрожа, весь в поту, я вздул ночник и увидел птицу. Ворон сидел на окне, тощий, с огромным носом. Ну право, он улыбался.

Утром я рассмотрел его. Это, собственно, был не ворон, а черная ворона,— редчайшая, вымирающая порода. Пух под крыльями и возле хвоста побелел от старости; на левой ноге заклепано серебряное кольцо с извилистой надписью. Никто не мог прочитать загадочных слов. Наконец один оружейник, проведший всю жизнь в Московии, объяснил мне, что это русские буквы. Вот что стояло на кольце: «Царевне Ксении от королевича Иоанна».

Ворон знал только одно итальянское слово «неправда», выговаривая его всегда впопад,— так что можно было подумать, что вещая птица одарена разумом и словом. Держать ее в клетке не было никакой нужды: ворон так был умен и так отменно держался, что я предоставил ему полнейшую свободу.

Однажды я сидел у себя наверху за Библией. Комната моя помещалась отдельно от отцовских покоев над книжной лавкой. Читая притчи Соломона, я думал, что главное счастье этого мудреца заключалось в его богатстве. Червь корыстолюбия снова начал точить мне душу. Случайно я встретил взгляд ворона: он смотрел на меня с окна. Пристальное внимание светилось в хитрых глазах его. С минуту глядели мы друг на друга, вдруг хриплый ласковый смех ударил мне прямо в сердце. Ворон смеялся. Это было старческое дряхлое кар-

канье, вернее, кряхтенье, но оно так походило на человеческий смех, что волосы поднялись у меня от страха. Пришел я в себя, когда тихо свистнули крылья и, озираясь, ворон вылетел за окно.

Мой черный друг начинал меня беспокоить. Я решил от него отделаться и тут же приготовил прочную петлю.

Уже я перечитывал Екклезиаста и дошел до слов: «Все на этом свете суета»,— как вдруг на раскрытую страницу, прямо на это изречение Соломона, скатился золотой.

В изумлении я оглянулся — и сразу все понял. Монету принес ворон; недаром он жил с цыганами. Глядя на меня с окна, он прыгал, смеялся и щелкал клювом. Я кинулся его целовать. О, зачем я не задушил злодея!

С этого вечера ворон усердно носил мне червонцы. Иногда приходилось в сутки по четыре и по пяти золотых. Птица летала за добычей ночью и на рассвете. С легкомыслием, мне самому теперь непонятным, я не задумывался, откуда берется золото. Мало ли в Генуе богатых купцов?

Так прошел месяц. Богатство мое росло; ларец под кроватью переполнился. А ворон все таскал деньги. Часто утром в полудремоте слышал я нежный звон падавшего на стол червонца: других монет мы не признавали. Наконец я решил зарыть сокровище и начать копить снова. Место для клада выбрал я у фонтана, где повстречался впервые с вороном.

После обеда я приготовил мешок, ссыпал червонцы и стал дожидаться вечера. Нетерпение меня томило. Привыкнув гадать о будущем по Библии, я раскрыл книгу Иова.

«Проклят день, в который сказали: родился человек»,— прочел я, и необъяснимое чувство страха вновь шевельнулось на дне души.

Кто-то медленно подымался ко мне по лестнице. Шагало несколько человек: вот явственный лязг оружия. Я сел на мешок, сжимая пистолет. Дверь отворилась. Бургомистр, казначей ратуши и мой отец вошли в сопровождении вооруженной стражи. Начался обыск.

— Откуда у вас эти деньги? — спросил бургомистр.

— Я нажил их честным трудом от торговли книгами.

Казначей усмехнулся.

— Вот они, эти самые червонцы с моими пометками. Целый месяц мы не могли поймать вора. Но вчера один золотой найден близ ваших ворот. Объясните, каким путем проникали вы в казначейство, куда единственный ход только через трубу?

В ответ казначею звякнул золотой и покатился к моим ногам. Ворон с окна зорко глядел мне в глаза.

— Дьявол! — закричал я в отчаянии и поднял пистолет. Выстрел наполнил комнату грязным дымом.

— Неправда! — седые крылья свистнули; в последний раз я услышал зловещий хохот.

Отец выступил вперед. Искаженное лицо его горело и трепетало.

— Будь проклят, виновник моего позора! Скитайся вечно, как Каин! Много раз ты будешь гибнуть и не погибнешь. Смерть твоя не от человеческих рук. Тебя...

Хрипенье пресекло гневную речь. Старик упал на мешок с червонцами. Через три дня он скончался, а мне объявлен был смертный приговор.

В Генуе все знали богатую вдову Юлию. Огромного роста, здоровая, с грубым голосом, она походила на мужчину. С ней жила дюжая камеристка Варвара, схожая с госпожой голосом и приемами. Разница была только в том, что у Юлии волосы походили на лен, а у Варвары чернели подобно бархату. Юлия не знала счета возлюбленным, меняя их постоянно. Кто только не побывал в их числе! Заезжие иностранцы, аббаты, пастухи, герцоги, даже нищие, даже преступник с обрезанным носом и ушами. В любовных проделках Юлии помогала Варвара: носила записки, устраивала свидания,— все с чрезвычайной охотой, хотя сама была целомудренна как луна.

Меня повесили на закате в чудный весенний вечер. По обычаю труп должен был оставаться в петле до утра.

Часа через два после казни Юлия и Варвара выехали при месяце вдвоем кататься.

— Варвара, меня привлекает этот висельник. Посмотрим его поближе.

— Страшно, госпожа.

— Вот вздор! Ну что мертвец тебе сделает? Ведь он уже не мужчина и даже не человек.

Кощунствуя и болтая неприличные шутки, Юлия соскочила с коня, отдала повод Варваре и, приподняв платье, подбежала к виселице. Скоро раздался ее голос:

— Варвара, сюда. Помоги его снять, он дышит!

Действительно, я был жив. Должно быть, платок на шее не дал верхнему позвонку сломаться. Юлия и Варвара взяли меня и отвезли в свое палаццо. Наутро весь город говорил, что труп Конфетти снят с петли вороном и унесен прямо в ад.

Легко догадаться, чем кончилось дело. Я страстно влюбился в Юлию и без труда получил взаимность. Красавица одела меня в польский костюм, я отпустил усы, бороду, локоны на висках и стал похож на варшавского еврея. Часто Юлия сажала меня на колени, играла со мной, резвилась и на вопрос: «Любишь ли ты меня?» — неизменно отвечала: «Очень у тебя мягкие губы, и ты похож на мышонка».

Жил я в полном довольстве, мечтая о женитьбе и о путешествии с Юлией в Америку.

Каждое утро я гулял в саду. Раз, возвращаясь к завтраку, услышал я в столовой чужой голос. Рядом с Юлией на моем

высоком дубовом кресле с резной спинкой и бархатной вышитой подушкой для ног, за моим серебряным прибором, развалясь и смакуя токайское из моего хрустального кубка, сидел краснощекий здоровенный парень в богатом кафтане. Это был знаменитый московит, посланный царем учиться в Италию архитектурному делу. Он не обратил на меня внимания, а Юлия сказала:

— Ступай на кухню, позавтракаешь с Варварой.

Кровь ударила мне в виски, в зубы, в сердце. Я понял, что настал решительный миг. С притворным спокойствием подсел я к Юлии и сказал, наливая себе токайского:

— Зачем же в кухню? Мне хорошо и здесь.

Юлия сдвинула брови. Московит усмехнулся и выбрал на блюде самый спелый и крупный персик. Тогда я еще не знал московитов и ждал, что гость предложит персик хозяйке, но он спокойно сам начал жевать сочный плод, брызгаясь и чавкая, как свинья. Нет людей самодовольнее московитов. Я отлично видел, что Юлии нравится именно это его свинское самодовольство, грубость и уверенность в себе.

Желая осрамить северного варвара и не сомневаясь в его невежестве, я заговорил с ним по-латыни. Московит ответил двустишием из Горация. Юлия улыбнулась. Я продолжал было по-гречески, но тут же увидел, что этот язык московит знает лучше, чем я. Юлия засмеялась. Вошла Варвара и остановилась на пороге.

Сбитый с толку, подавленный, не зная, что делать, я укорил московита его религией. Сущность ее мне была неизвестна, но иезуит-наставник всегда уверял, что это грубая ересь.

Московит выплюнул косточку от персика прямо в тарелку, утерся ладонью и громко икнул.

— У нас церковью правит Христос, Бог, у вас папа, человек: чья же вера лучше?

Ответом своим проклятый дикарь убил меня. Я глядел на него, как дурак, разинув рот. Вдруг московит схватил с тарелки косточку и бросил мне прямо в рот. В ярости я бросился за ножом, но могучая Варвара, схватив меня сзади, сжимала крепко в руках.

Юлия заливалась во все горло, московит глухо хихикал, Варвара была вне себя от бешенства.

— Ах, негодяй, вор, висельник! Ты предал нашу религию на посмешище, подлец, висельная тварь! Теперь ты и меня ввел в сомнение, гнусная падаль! Госпожа, позволь мне задушить эту амбарную мышь.

— Не надо. Просто вышвырни вон.

Варвара исполнила приказание в точности и так усердно, что я поднялся с мостовой весь в крови. Тотчас отправился я в часовню и там перед Мадонной произнес горячий обет кровавой мести. В кармане у меня звенело несколько золо-

тых. Продав платье, я месяца три прожил в глухом квартале, питаясь неумолимой злобой.

Юлия получила от ювелира шкатулку и, вскрыв ее, увидела ожерелье в виде зеленой гадюки. Она хотела примерить подарок, змея ужалила ее в руку. В тот же день московиту принесли бутылку вина из посольства; выпив его за обедом, безбожник к вечеру умер. Варвара, похоронив госпожу, бежала, но я поклялся рано или поздно найти ее.

Вскоре я сделался бандитом. В шайке нас было двенадцать человек, тринадцатый — я, и наша чертова дюжина наводила ужас не на одну провинцию. Жили мы строго по уставу, питались один раз в сутки и спали под большим общим одеялом с тринадцатью отверстиями для голов.

Через год близ Неаполя, в горах, я поймал Варвару. Ее повесили на высоком кипарисе, и долго я любовался ее предсмертными корчами. В шайке был монах, удалой разбойник. Он хотел исповедовать осужденную. Что же ответила бездельница?

— Убирайся к черту, все равно мне гореть в аду, ведь я не знаю, кому верить — Христу или папе.

Проклятье отца сбывалось: смерть от меня убегала. Когда шайку нашу накрыли наконец и приготовили петли, суд вспомнил старый обычай глухих провинций — оставлять в живых одного разбойника по жребию. Надо ли говорить, что жребий пал на меня!

Лет десять скитался я по Европе, пока не попал в театр пана Пржепельского бродячим актером. Остальное ты знаешь.

Глава девятая

КОНЦЫ КОНЦОВ

Полигимниа нарядно
И вещает все изрядно...

Тредиаковский

Вебер и Конфетти три года прожили в Нижнем. Из воеводской канцелярии выдавали им скудное содержание. Корабль все еще не был готов. Два раза Вебер писал светлейшему и не дождался ответа.

На третий год друзья поселились в Печерской слободе. Высокий гористый берег Волги шумел вершинами столетних дубов и вязов; здесь, по обрывистым тропинкам, часто гулял задумчивый великан. Волга весной превращалась в необозримое море. Стада лебедей, гусей, чаек, уток, куликов с гомоном и криком кружатся над розовеющей гладью. Кричат грачи, и гулкий

орлиный клекот замирает где-то под самым солнцем. По волнам, ныряя, мчится ловецкая лодка; стонут вечерние песни рыбаков. Летом здесь тише: порой бурлаки пройдут, волоча расшиву; проплывет стройная беляна; окрик, песня — и снова глухая тишь. Ястреб пищит на гнезде, теребя добычу. Вот подымаются в гору печерские иноки с сетями, распевая псалом.

В Печерах друзей приютил монастырский иконописец Рафайло Ковшешников, по прозвищу Котолис. Так прозвал его игумен отец Варнава за то, что походил Рафайло сразу на двух животных. Мягким мурлыкающим голосом и тихой походкой напоминал он кота, а пышная, как лисий хвост, золотистая борода и ласковая улыбка придавали ему сходство с лисой. От покойного родителя, тоже иконописца, унаследовал Рафайло много старинных икон и сам писал по городецкому уставу не только образа, но и картины. В юности Котолис видал наяву бесов и много боролся с ними; даже изобразил некоторых велиаров и сатанаилов красками на доске. Игумен, отчитав иконописца и прогнав черную рать, сжег на костре нечестивые картины.

— Да ты скажи мне, Рафайло, блудный ты кот, как они тебе являются, в каком виде?

— Ох, отче игумен, и вспоминать-то боюся! Страховидные твари, одно слово! Черный, аки мурин, и весь из цельного куска слеплен. Вот, к примеру, кафтан у меня суконный, а лик телесный, а у того и кафтан и харя все на один покрой.

— Тьфу, анафема, лисья борода! И как тебя, окаянного, земля носит! Уж наложу на тебя епитимью!

Рафайло поклонился старцу в ноги.

— Построже, отец игумен!

— Вестимо, надо построже.

С тех пор Рафайло ел одну чечевицу с медом.

Конфетти в Нижнем писал мемуары на латинском языке и беседовал с Котолисом о догматах римской церкви.

Печерская слобода весною тонет в грязи. Избушки, плетни, стадо, переливы пастушьих дудок, перекличка петухов да плавный благовест колоколен. По лужайкам бродят наседки с цыплятами, далеко зеленеют огороды, белоголовые ребятишки тешатся в козны и городки.

У Котолиса в домике просторно, тихо и чисто. В мастерской — иконы конченые и начатые, в золоте, киновари и красках; пахнет елеем и ладаном. На скамье перед окошком смиренномудрый Рафайло; лисий хвост его отсвечивает на солнце. В углах, перед божницами, лампады. Хозяйством заправляла сестра Рафайлы, старая девица: игумен настрого запретил Котолису помышлять о браке.

Под крышей была пристроена вышка в одно окно; ход в нее шел через чердак по скрипучей подъемной лесенке. Кто-то обитал в светелке — кто, оставалось тайной. Рафайло сам носил

на вышку обед, не доверяя сестре; после всякий раз убирал он лесенку и прятал в чулан.

— Кто у тебя живет, Рафайло? — спросил Конфетти.

— Нищая братия. Пускаю для спасения души. Месяц погостит хромой, недельку сухой либо чающий движения воды. Слепцы заходят тоже, голопузы, столпники.

— Почему же мы их не видим?

— А я их ночью пускаю. Дабы молвы по городу не было, вот-де Рафайло нищих привечает. Чтобы левая рука твоя не знала, смекаешь?

Конфетти не поверил ласковому хозяину. Выбрав удобное время, когда Рафайло после обеда прилег, хитрый венецианец забрался на крышу и заглянул в окно.

У тесового столика за книгой сидел дряхлый седой старик. В светелке, кроме кровати, стола и стула, не было ничего.

Старик, перелистнув страницу, наклонил белую голову, и Конфетти увидел у него на морщинистом желтом лбу два шрама в виде правильного креста.

Он рассказал обо всем приятелю. С этого вечера одна мысль овладела Карлом: проникнуть в заповедную светелку. Неожиданный случай пособил Веберу. Рафайло с сестрой ушли на крестины к посольскому приставу. На обязанности пристава лежало встречать и провожать проезжих знатных иностранцев и ссыльных вельмож.

Дрожа и задыхаясь, Вебер сломал замок, выбил дверь и шагнул в светелку. Старик вскочил с кровати. Великан с умоляющим видом, покорно склоняя косматую голову, протянул старику письмо, дар хрустальной рамы.

— Матерь Божья, благодарю тебя. Теперь я умру спокойно. Выслушай меня, Карл.

Старик помолчал, собирая мысли. Вебер, сидя на полу, закрывал лицо руками; красная борода тряслась.

— Я — гетман Мазепа. Меня считают умершим, но я живу здесь скоро уж двадцать лет. Деньги присылает мне мой друг Филипп Орлик, и я благодаря ему не знаю нужды.

Женат я не был, но имел дочь. Она родилась в Польше от благородной вдовы, вскоре потом умершей. Я обожал мою девочку. Тонкая, точно стеклянный сосуд с прозрачным медом, она пленяла красотой золотых волос и тихим унылым взором.

К началу Азовского похода Христине минуло восемнадцать лет. Я не мог с ней расстаться ни на минуту и взял ее с собой в лагерь. Христина жила в шатре среди царской ставки; кроме царя и князя Меншикова, никто об этом не знал.

Я часто обедал с царем, ездил на разведки, участвовал в совещаниях. Христина оставалась на попечении карлика Свинхена, готового за меня в огонь и в воду. Она любила читать, играть на

лютне. Иногда развлекал ее Меншиков; приносил азиатские сласти и пел под ее игру.

Поход окончился, и мы вернулись в Украину.

В гетманском замке я жил привольно и весело.

Христина в душе была совершенное дитя. Ей нравились кукольные комедии, единоборство козла с бараном, петушиные бои. Голосок ее звенел по замку нежнее струн. Но вскоре наступила в ней резкая перемена. Христину не забавляли больше игры, она полюбила сидеть в углу, шаловливость ее пропала, и паук заткал звонкие струны веселой лютни.

— Христя, что с тобой, ты больна?

— Нет, милый отец, здорова.

Но вот в торжественный день моего рожденья, когда мы готовились идти в церковь и я вошел к дочери в гетманском уборе с булавой, Христя робко поздравила меня, поцеловала, разгладила мне усы, поправила на поясе мою саблю и вдруг упала. Точно молния ударила мне в лицо: я понял страшную истину. Христина готовилась стать матерью.

Как бы ты поступил на моем месте? Знаю, иные отцы убивали преступных дочерей, заточали в кельи, заживо погребали в башнях и подземельях.

Мог ли я сделать что-либо подобное?

— Христя, дитя мое, я все прощу и забуду! Скажи мне только одно: кто он?

— Отец, я дала клятву не говорить.

— Я пальцем не трону его, вот мое слово. Может быть, он женится на тебе.

Но всякий раз при намеке на женитьбу Христя начинала рыдать.

Кроме Свинхена, никто не знал о моем позоре. Верный слуга клялся, что злодей ему неизвестен, но глаза карлика говорили совсем иное. Я не настаивал, однако оправиться уже не был в силах: весь поседел, как ковыль, и начал быстро стареть.

В глуши уединенного степного хутора Христина родила дочь. Девочку тотчас передали кормилице, а через год Свинхен отвез ребенка в Германию. Никто не хотел принять незаконное дитя; с трудом за большие деньги внучку мою согласился удочерить палач.

Христина долго тосковала и плакала. В то время царь затевал войну со шведами и вызвал меня в Москву. Я приехал с Христей весной по дурной дороге. Царь приказал отвести нам комнаты во дворце и наградил меня голубою лентой.

В один холодный мартовский вечер я возвращался домой. Над кремлевским дворцом, каркая и шумя крыльями, вились несметные тучи галок. Птицы злорадно издевались надо мной. Сердце у меня сжалось. Замирая от страшного предчувствия, вбежал я к себе и увидал Христину в объятиях моего злодея.

Выхватив саблю, я бросился на него, но получил удар кортиком в лоб. Придя в себя, я заметил, что рана образовала подобие креста.

— Но кто же он, кто? — со стоном воскликнул Вебер.

— Как кто? Неужели не догадался? Царь Петр.

Великан пригнул взъерошенную голову к самому полу.

— Я помирился с царем ради Христины, понимая, что сделанного не поправишь. Царь скоро уехал на войну. Он оставил Христине богатый вклад, а мне пожаловал земли. Но дочь моя не переставала скучать по девочке, и я поручил Свинхену отвезти Христю в Германию. Там карлик нашел ей мужа, доктора Вебера. И палач и доктор оба не знали, кто ваш отец: царь требовал строжайшей тайны, я тоже боялся дурной молвы. Но бедная моя Христя никак не могла утешиться, что у детей ее нет отца. Тогда я придумал вложить в портрет ее и в зеркало две записки — для Иды и для тебя. По условию доктор и палач должны были вскрыть бумаги в день выхода Иды замуж; тогда они получили бы большие деньги. Я понимал, что отыскать человека со шрамом — сказочный вздор, но не мешал дочери прятать ее записки: в этом было утешение бедной Христи. Чтобы помочь ее детям найти отца в случае моей смерти, я вырезал точно такой же шрам на лбу у Свинхена. Только двое нас в целом мире знали тайну Петра Великого. Меншиков лишь догадывался о ней. Скоро после твоего рождения Христя утопилась. Свинхен остался при царском дворе, надеясь в душе вернуть детей их отцу, а меня судьба после Полтавской битвы сделала живым мертвецом.

У Вебера не хватило духу сказать Мазепе про Иду. Он поспешил сойти вниз.

Через несколько дней, когда Конфетти уехал на охоту, посольский пристав навестил Котолиса. Карл не поверил ушам, узнав, что завтра через Нижний проедет в Сибирь князь Меншиков. Великан попросил допустить его к изгнаннику.

— Ладно. Вы можете увидеться с князем на краткий срок, но после встречи прошу ко мне отобедать.

В сером армяке и в дягтерных сапогах, грязный, обросший клочковатой пегой бородой, Меншиков прослезился и обнял Вебера.

— Карлуша, не пеняй на меня, родимый. Наказан я свыше меры. А кораблик твой в Астрахани готов, поезжай хоть завтра.

У пристава не было никого. Хозяин не возвращался. Не успел Вебер снять плащ и расчесать бороду, как стройная женщина, вся в черном, бросилась бурно к нему на шею.

— Карл! Милый Карл! Милый дорогой брат!

Как во сне, Вебер слушал рассказ сестры.

— В тот страшный вечер, когда царь послал за мной Свинхена и тебя, карлик сказал мне, что ты мой брат, и обещал наутро

открыть имя нашего отца. Зачем он не сделал это тут же! Ночью разбойники ворвались в дом, зарезали карлика, а меня связали и увезли. Долго мчались мы глухою снежной равниной до южных степей, до теплого голубого моря. Меня продали в Турцию. На невольничьем рынке в Царьграде увидел меня паша из русских, по имени Орлик, знавший нашу бедную мать. Сходство мое с ней так поразило пашу, что он тотчас купил меня и привез к себе. У него я жила как дочь. Ты, верно, не знаешь, что герцог Виртембергский застрелился, когда я бежала от него накануне свадьбы? Но слушай дальше. Орлик не знал нашего отца, но дед, отец матери, по словам его, жив и находится в этом городе. Я решила отыскать старика. Орлик не мог мне сказать его имени, но был уверен, что петербургское похищение устроил Меншиков. Война продержала меня в Турции с лишком три года, и только теперь попала я, наконец, сюда. Но что с тобой, Карл? Ты побледнел и дрожишь.

Услышав от брата разгадку тайны, Ида взвизгнула, львицей прянула со скамьи и вылетела на улицу. Дикая гримаса исказила лицо ее. Легче серны неслась Ида по Печерской слободе, сбивая прохожих, и встревоженный Карл едва поспевал за ней.

Котолис, повинуясь страшному взору Иды, отдал ей ключ. Она взлетела по лестнице. Пронзительный крик, молчание. Взбежавший Карл увидел Мазепу мертвым на руках у внучки.

К вечеру тело перевезли в монастырь, а Ида поселилась на вышке.

Три дня пронеслись в нескончаемых разговорах. Брат и сестра рассказали друг другу свои истории. Рафайло забыл мастерскую и краски; он не сводил с Иды восхищенных голубых глаз.

— А как поживает барон Мюнхгаузен?

— Ах, Карл, я и забыла, что это твой старый друг. Чего только не рассказывал он про тебя! Как ты встретился ему где-то в трактире, оборванный и голодный, а он накормил и одел тебя с ног до головы, продав для этого золотой фамильный сервиз; как потом привез тебя в армию и определил на службу. Как сам барон командовал союзной армией, а принц Савойский был у него адъютантом. Как он отбил жену у какого-то капитана Шульца и застрелил его потом на дуэли. Турок барон колотил десятками, точно зайцев. А сколько у него было орденов, какие лошади, собаки, оружие! Как любил его Карл Двенадцатый! Да и было за что: ведь барон выигрывал ему все сражения.

— Узнаю моего доброго приятеля.

— В один прекрасный вечер барон исчез и к ужину не явился. На другой день его не нашли нигде. Орлик обеспокоился: он очень любил старика и скучал без его рассказов. Признаться, и я к нему привыкла. Долго слуги рыскали по окрестностям с ищей-

ками и борзыми; назначена была награда тому, кто первый найдет барона. Случайно дворецкий заглянул в винный погреб. Там врыта была большая бочка с мальвазией, глубиной в полторы сажени; в ней плавало нечто похожее на исполинскую розу; это оказалась чалма барона, а на дне нашли его самого. Наш друг утонул в вине.

— Приятная и благородная кончина!

— Орлик говорил то же. Он велел похоронить барона в винограднике. Могила украшена гирляндами разноцветных бутылок, на плите вырезаны баронская корона, оружие и надпись в стихах, над плитой мраморный Бахус верхом на бочке.

Утром в день похорон вернулся Конфетти. Он радостно встретил Иду и сложил к ногам ее всю привезенную дичь. За поминальным столом сидели: игумен отец Варнава, Рафайло с сестрой, Ида, Вебер, пристав Борисов, Конфетти.

Ида сварила штутгартский глинтвейн; аромат корицы и муската дымился над темной горячей чашей. Рафайле крепко хотелось отведать заморского напитка. С утра степенный иконописец вздыхал.

Игумен благословил яства.

— Святой отец, разреши мне испить вина,— сказал Котолис.

— Разрешаю.

Рафайло по простоте душевной выпил духом горячий стакан и принялся за второй.

— Сладко, аки море Соловецкое,— сказал он, умильно глядя на Иду.

Беседа оживилась. Уже гости брались за шапки, когда Рафайло, подойдя к игумену, бухнулся на колени.

— Благослови, отче!

— Назюзился, лиса! С чего тебя благословлять-то?

Котолис всхлипнул.

— Благослови вступить в законный брак.

— Вот я тебя благословлю посохом. Иди проспись!

— Не пойду, пока не благословишь.

— Да ты на ком жениться-то хочешь, оглашенный?

— На Иде, стало быть, на Карлухиной сестре.

— На немке?

— Она нашу веру примет. Не погуби, отче, благослови!

Слезы сыпались с медовой бороды Котолиса на игуменскую рясу.

— Святой отец,— сказала Ида,— благослови нас. Этот человек меня любит, я вижу его чистую душу и обещаюсь быть ему послушной женой.

— Господь вас благословит.

Впервые в жизни Ида заплакала. Глаза ее сияли, как звезды.

Глава десятая

ДНЕВНИК ВЕБЕРА

Посреди не Феб сам внемлет,
А собою вся объемлет.

Тредиаковский

25 мая 1730 г. Вот уже год с начала нашего путешествия. Боюсь, что оно никогда не кончится. Третью неделю плывем мы, не видя земли, при теплой ясной погоде. Сначала встречались пустынные островки с чайками на отмелях; морские вороны и буревестники криками указывали нам путь. Дикари издали грозили копьями, натягивали луки, пускали стрелы и с воплями убегали. Теперь мы видим только море да небо.

27 мая. Корабль наш погиб со всей командой. Вот как это случилось. На предпоследней стоянке нам предложили груз рома, сахара и лимонов. Капитан отговаривал меня: матросы разобьют бочки и напьются. Со смехом указал я на пистолеты и приказал грузить. Но капитан был прав. В открытом море команда не устояла перед соблазном. Началось дикое пьянство. Я застрелил двух ослушников, но это не помогло. Разбитые бочки катались по палубе, сахар таял в лужах душистого рома, пахло лимоном. Пьяные матросы с песнями валялись у мачт среди неубранных парусов. Скоро в трюме открылась течь. Вода прибывала. Вероятно, кто-нибудь спьяну продолбил дыру на дне или открыл бортовые шлюзы. Пришлось спустить лодку; сели в нее: я, Конфетти, капитан, штурман, доктор и повар-мулат. Через час корабль на наших глазах пошел ко дну.

29 мая. Плывем наудачу, не зная куда. Второпях забыли компас. Капитан уверяет, что нас несет на юг. Именно несет, потому что лодка все время движется с невероятною быстротой.

Хуже всего, что у нас совсем нет запасов; сегодня мы съели последние сухари.

Над водой, задевая весла, колышутся синие и желтые листья с белыми цветками.

31 мая. Лодка пошла тише. Иногда она останавливается и ждет на месте, точно кто-то держит ее и не пускает. Несколько раз кружились мы в легком водовороте.

Пробовали жевать водяные цветы: противно и горько.

1 июня. От голода все похудели и ослабели, особенно повар. Лежа на дне, он стонет, не открывая глаз.

Видели большую белую птицу с голубыми крыльями.

2 июня. Утром повар исчез: должно быть, бросился ночью в море.

Штурман объявил, что надобно кинуть жребий: зарезать и

съесть одного, чтобы спасти остальных. Все согласились без колебаний.

6 июня. Расскажу, что случилось за эти четыре дня. Жребий пал на Конфетти. Ему предложили избрать род смерти; он, засмеявшись, ответил: «Плохо вы меня знаете! Ни зарезать, ни застрелить Конфетти не суждено никому. Делайте что хотите». Штурман, рыча, как зверь, полез за ножом, я закрыл глаза и вдруг был выброшен в воду. Громадный серый корабль с голландским флагом налетел на нас, опрокинул и понесся дальше, точно гигантский столб дыма.

Все утонули, кроме меня и Конфетти. Держась с трудом на воде из последних сил, заметили мы длинный узкий челнок без парусов и без весел. Он походил на обугленный гроб. На нем нашли мы сосуды с водой, хлеб и соленое мясо.

7 июня. Челнок наш медленно двигается к югу. Все чаще пролетают над нами безмолвные птицы — белые, синие, зеленые. Одна села мне на плечо, и я мог рассмотреть круглую белую голову, коралловый клюв и лапы с изумрудными перепонками. Оперение синее с ослепительно белым, как мел, подбоем. Птица издавала густой пряный запах.

8 июня. Заметили, что тишина с каждым днем все глубже.

Месяц виден постоянно, круглый, как щит, днем золотой, ночью серебристо-зеленоватый.

9 июня. Ни облаков, ни ветра. Со вчерашнего дня челнок помчался быстрее. Показались цветы душистых водяных лилий; на одном из них качалась разноцветная гигантская бабочка.

10 июня. Солнца не видно, нет ни закатов, ни зорь, и мы различаем день от ночи лишь по привычке. Это наблюдение Конфетти. Конечно, он прав, и теперь понятно, почему месяц не сходит с неба.

11 июня. Вдали показались белые скалы. Стало прохладно. Цветы и птицы исчезли. Море похоже на чернила.

12 июня. Скалы приближаются. Теперь уже видно, что это громады льда.

Небо потемнело, и месяц светится нежно-голубоватым блеском.

13 июня. Около полудня челнок, как от толчка, вдруг сорвался и полетел. Воздух визжал и свистел в ушах; мы уцепились за лодку, лежа на дне, дрожа от страха и холода. Нас мчало прямо на ледяные горы. Еще минута — и мы разобьемся в пыль. Но тут челнок повернул к ледяному коридору меж ровных глыб, уходивших стенами в небо. Долго мчались мы так, я начал терять сознание и вдруг почувствовал, что челнок остановился.

Золотисто-розовая отмель залива отделялась песчаным мысом от девственных берегов. Ненарушимое вечное безмолвие. Большие бесхвостые бородатые птицы, распушившись на песке, сонно глядели рубиновыми глазками.

«Теперь простимся»,— сказал спокойно Конфетти. Я его не понял. Тут из зарослей выскочил белый зверь, бросился на моего бедного друга и уволок его в чащу, кровавыми звездами пятная желтый песок.

Эпилог

ЮЖНЫЙ ПОЛЮС

Восторг сказанный ум пленит.

Ломоносов

Густые чащи белых крупных цветов распустились недвижно над водой; по их плавучей плотине легко перейти на отлогий песчаный берег.

Безмолвие, матовая даль. Молочные луга сияют над ровной спокойной гладью; плотные лепестки белоцвета поднялись и замерли, как гребни замерзших волн. Недвижным цветам нет конца, нет предела в безмолвных полярных далях. Над зарослями их повисли снежные бабочки, на листьях застыли льдинками белые муравьи; сияя пухом, дремлют немые мыши у бездыханных стеблей. На сахарных лужайках лебеди распустили хвосты и крылья.

Полдень. Белоцвет розовеет, рдеет, алеет. Уже не белым — багряным океаном стынут луга. Беззвучно пролился красный дождь, не теплый и не холодный. Трудно идти сплошною чащей цветов, но вот на холме поселок: хрустальные черепицы, ряды фарфоровых крыш, в розовых окнах люди. И неподвижная тишина.

Вот женщина грудью кормит седую птицу; на шее ожерелья из золотых черепов. Белые бабочки садятся ей на лицо, на плечи. Огромный белый цветок вдруг распустился и, глухо звякнув, исчез. Исчезли и женщина и поселок. Точно оборвался стоячий воздух и канул, свернувшись, в вечность.

Вот город. Домики — белые кристаллы, и семьи белых людей безмолвно ждут у своих порогов.

Кто полирует алебастровый гроб, кто забавляется с кошкой, кто водит хрустальным смычком по беззвучной скрипке. Вновь лопнул воздушный цветок, и город исчез навеки.

Синий вечер спустился на луга с мягким стеклянным звоном. В ушах звенит или в небе? Звон растет, играет нежная музыка, стройно поет незримый неуловимый хор. Небо разорвалось и запылало пожаром.

Вновь белое утро над белым лугом и вечная тишь.

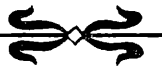
Но стукнула глухо струна где-то в мозгу под черепом, и мир, расплываясь, стал таять воздушным дымом.

Завертелись пламенные искры, зубцы и спицы. Вихрь огневого

золота, золото без конца. Кружатся солнечные колеса, зажигая воздух. Рубины, алмазы, сапфиры, изумруды, ливень зеленых, красных и голубых огней, разливы живых сокровищ. Мраморные статуи ожили и стали цветами. Из девственно-высоких жемчужных сосудов роями вылетают тысячи ярких ласточек. Горы хрусталя и фарфора распускаются миллионами павлиньих радужных хвостов; в воздухе ткутся гирлянды нежных лучистых кружев. Вечный, как небо, белый кристальный город заискрился на лазурной высоте. Сердце переполнилось счастьем. Счастье — смерть.

1923

ПОВЕСТИ



АМАЛИЯ

А ларчик просто открывался.

Крылов

Глава первая

ФИЛОДЕНДРОН

Так часто человек в расчетах слеп и глуп.

Крылов

Солнце взошло над спокойным зеленым озером. Дальние горы порозовели. В небе заплавали орлы.

Профессор Адам Костериус нынче совсем не ложился. В плавильном горне у него всю ночь шипело синее пламя; колбы, реторты, трубы перегоняли алхимические составы и жидкости до утра. Теперь профессор в халате и колпаке кипятил кофейник; бритые губы, жадно сжимая трубку, дымили душистым кнастером. Костериус стоял на узкой террасе, заросшей розами, обвитой плющом и виноградом; пчелы пели, фонтан журчал; над головой у алхимика на крыше дремал на одной ноге молчаливый аист.

Костериусу было лет тридцать пять. Смуглый хромой горбун со сверкающими глазами, он всю жизнь просидел за книгами. В старом дедовском домике его все комнаты, чердак подвалы и кладовые завалены грудами книг; пахнет мышами, кожей. Хозяин спит на древних арабских свитках; под голову вместо подушки кладет латинский словарь. В лаборатории под потолком и на решетчатых окнах покачиваются клетки с птицами и нетопырями; на стенах трепещут яркие бабочки; в одном углу топорщится дракон и посвистывают змеи, в другом смеется скелет.

Задумавшись, пускал Костериус голубоватые облака из мерно сипевшей трубки. Солнце всходило выше. По городу перекликнулись петухи. Взвизгнул стриж. Герб на ратуше запылал, будто второе солнце. Зазвякал колокол, и было видно с террасы, как горожанки в белых чепцах и бюргеры в синих и коричневых камзолах чинно прошли к обедне.

— Доброе утро, Адам.

Профессор вздрогнул.

— Доброе утро, Карл.

Высокий сутулый юноша отворил калитку.

— Ну, что твои опыты, Адам?

— Очень хорошо. Завтра последний.

— Неужели удалось?

— О, да!

— Мой Бог, что будет в университете, когда узнают. Мюллер просто лопнет от зависти.

— А как твоя диссертация?

— Продвигается понемногу.

От чашки кофею хозяин повеселел. Усмехаясь, достал из кармана серебряную дудку и переливчато засвистал. Тотчас вылетели на террасу два попугая и, хлопая крыльями, уселись к нему на плечо и на горб. По полу, извиваясь, пополз дракон; змеи, осторожно пресмыкаясь, взобрались на кресло и обвили смуглую шею алхимика. На темя ему вспорхнула пестрая бабочка и замерла в виде узорного банта.

Солнце поднялось еще выше. Обедня кончилась. Бюргеры с женами спешат завтракать в своих прохладных столовых. Озеро из зеленого стало голубым. Горы побелели. Орлы, крича, возвращаются с добычей, но аист, по-прежнему поджав ногу, дремлет на крыше.

. . . .

По узким гористым улицам Костериус с Карлом вышли на широкую аллею. Вдали золотился шпиц над герцогским дворцом; по аллее неслась к ним навстречу пестрая группа всадников.

— Принцесса Амалия едет на прогулку.— Сняв шляпы, оба остановились.

Впереди на буланом резвом коньке скакала сама принцесса. Свежее розовое лицо приветливо улыбалось; сияли ровные зубы и синие глаза; на тонком стане колыхалась пышная грудь, будто цветок на стебле. Маленький сокол взмахивал на перчатке; конь грыз удила. Следом, трясясь, поспевал на рысях старичок гофмейстер и две молодые фрейлины; за ними кофишенк вез завтрак в пестрой корзине. Позади всех промчался на осле в бубенцах и лентах морщинистый карлик-шут.

— Что с тобой, Адам? Ты бледен.

Костериус молча глядел вослед промелькнувшим всадникам.

— Очень она нравится тебе?

— Нравится! Карл, ты осел, хоть готовишься быть магистром. Разве можно так говорить?

— Прости, Адам.

— Нравится! Когда она передо мной, я забываю, что я только Адам Костериус. Я чувствую себя королем или великим поэтом. Все преображается при ней. Смотри, Карл: солнце стало светить

несравненно ярче; озеро и горы разве такими были назад тому пять минут? Видишь, над озером вьется чайка: она нежна и прекрасна, в герцогском парке лилии еще нежней, но где же им до Амалии. В ней все: и солнце, и птицы, и цветы. И я сам: да разве это я, горбатый урод Костериус? Нет. Я Аполлон, я первый в мире красавец: ведь и меня озарили святые глаза Амалии.

Карл со слезами обнял алхимика:

— Адам, друг мой! Хочешь, я напишу прекрасную оду в честь принцессы и ты поднесешь ее, будто бы от себя? Хочешь?

— Нет, Карл. Не только ты, даже великий Гете не мог бы достойно воспеть красоту Амалии. Но у меня есть другое.

— Твое открытие?

— Если только оно мне удастся. Нет, Карл, я больше не в силах говорить.

— Пора обедать, Адам.

— Пойдем в «Филодендрон». Ты обедай, а я буду пить за ее здоровье.

Трактир «Филодендрон» уже лет двести стоит в тенистом глухом саду. Просторный дом окружает крытая галерея. Здесь курят, сидя за кружками пива, ремесленники и простые горожане; в зале пьют вино только почетные гости. По воскресеньям собирается сюда весь университет; изредка заезжает кто-нибудь из деревенских дворян или путешественник-иностранец. В простенках и над камином — оленьи рога и кабаньи головы; у входа круглый лист филодендрона, прорезной, из зеленой жести.

Против дверей, на главном месте, спиной к буфету, дымил сигарой университетский ректор, доктор философии, тайный советник Пфаффиус. Он весело отдувался и пыхтел, расстегнув камзол; орден на шее, хохлатый парик на спинке кресла; огромный пес свернулся в ногах. За столом четыре декана и далее по порядку профессоры ординарные и адъюнкты; у стен за столиками студенты с тростями и рапирами, в цветных беретах.

Костериус сел на свое обычное место рядом с профессором Мюллером. Служанка Розамунда принесла алхимику бутылку старого мозельвейна.

— Вы что-то веселы сегодня, collega,— заметил Мюллер, колченогий толстяк в охотничьих сапогах и с парой уток у пояса.

— Да, мне весело. Не выпьете ли вы со мною, collega?

— С удовольствием.— Заплывшие глазки Мюллера подозрительно косились.— Что же вас радует сегодня?

— Многое, очень многое.

Карл не имел еще права пить за профессорским столом; все магистранты садились подле буфета.

Ректор поднял бокал и затянул:

— Зеленый Рейн, зеленый Рейн,

Друзья, давайте пить рейнвейн,
О, филодендрон...

Гости подхватили на разные голоса:

— О, филодендрон!

Ректор чокнулся с соседом и прихлебнул; все сделали то же; кружки звенели.

. . . .

Внезапно произошло легкое смятение. Ректор с трудом привстал, надел парик задом наперед и, застегиваясь, приветствовал сухощавого пожилого господина в придворном мундире, чулках и башмаках. Это был лейб-медик Фридрих Зергут. Осклабляясь, он вежливо взмахнул треугольной шляпой, дружески усадил ректора снова в кресло и сам сел рядом, опираясь на бамбуковую трость.

— Не беспокойтесь, господин советник. Я нарочно пришел, чтоб застать здесь вас и господ профессоров. Получено известие необычайной важности и громадного политического значения.

Все взоры обратились на лейб-медика. Он медленно открыл драгоценную табакерку и постучал по ней ногтем.

— Вам известно, господин советник, и всем вам, господа, что наш августейший повелитель его высочество герцог Мельхиор Семнадцатый вдовеет уже четыре года. Бог не даровал ему преемника. Преклонные лета препятствуют его высочеству вступить во второй брак, принцесса же Амалия по законам нашей страны не может наследовать престола. Всеобщее растление умов давно уже заставляет всех благомыслящих патриотов опасаться за будущее Европы вообще и нашего государства в частности. И вот...

Лейб-медик поднял табакерку к своему римскому носу и обмахнул золотое шитье на обшлагах.

— Наш союзник и сосед, его высочество принц Генрих Двадцатый, предлагая принцессе Амалии руку и сердце, просит присоединить его владения к нашему государству. Так посредством мудрого брачного союза произойдет соединение двух корон под единым скипетром. Правда, владения принца весьма не велики, однако ими значительно расширятся пределы нашей прекрасной родины. Отныне все мы можем спокойно спать: отечество в безопасности.

Ректор Пфаффиус поднялся, шатаясь; бокал его дрожал.

— Commili tones carissimi! Здоровье высоконареченных! Да здравствуют их высочества принц Генрих и принцесса Амалия. Ура!

Будто от громовых раскатов «Филодендрон» разом сотрясся весь с полу до потолка. Профессоры обнимались, кричали, жали руки, топали от восторга. Студенты стучали шпагами. Розамунда плакала. Тотчас захлопали свежие пробки. Лейб-медик торжест-

венно выпил бокал и удалился, сияя. Кричали на галерее и в саду.

— Теперь я вас угощаю, collega,— сказал Мюллер.— Розамунда, еще вина. Скажи хозяину, что я дарю ему моих уток в память столь радостного события.

. . . .

Веселье в «Филодендроне» кипело до поздней ночи. Много выпито было тостов и брудершафтов. Пили здоровье герцога Мельхиора, принцессы Амалии и принца Генриха, здоровье лейб-медика, ректора, всех профессоров. Пели национальный гимн и «Gaudeamus». Карл сочинил тут же стихи и прочитал вслух; ректор, выслушав, расцеловал поэта. Затем Пфаффиус встал, поклонился, чуть не упал и заплакал, утираясь париком. Его почтительно подхватили под руки двое фуксов, старший педель помог ректору сойти с галереи.

Гости понемногу расходились. Город весь пестрел флагами и цветами; площадь перед дворцом гудела. Слышались звуки лютней и скрипок; пели гимн. В главной аллее под липами чинно танцевали краснощекие девушки и рослые парни в куртках.

В лаборатории профессора Костериуса опять до утра шипели реторты и пламенела печь.

Глава вторая

ТРИ ЖЕНИХА

Ну как ей выбирать из этих женихов?

Крылов

Герцог заказывал завтрак. Тучный, с тремя подбородками и румяным носом, он грузно восседал на резном кресле под балдахином. У дверей ожидали приказаний два повара: Отто и Батист в белых фартуках и колпаках с вышитыми гербами. Подле кресла величественно выпрямлял раззолоченную грудь лейб-медик Зергут; у окна принцесса Амалия выводила иглой по канве разноцветные узоры.

— Вы говорите, любезный Зергут, самый легкий завтрак. Что же может быть легче устриц? Сотня устриц никак не повредит. Затем я хотел бы попробовать олений язык в мадере.

— Ваше высочество, виноват: что вы изволили скушать утром?

— Сущие пустяки. Я даже не помню. Трех или четырех цыплят, десятка два пирожков с изюмом, помнится, ветчины кусочек. Что-то из фруктов. Бульону не больше двух тарелок.

— В таком случае, ваше высочество, олений язык лучше оставить до обеда.

— Вот прекрасно! Но если я голоден? Вы же сами всегда твердите, что аппетит есть признак здоровья и что его надо поощрять. А теперь требуете, чтобы я меньше ел.

— Ваше высочество, этого требую не я, а благо родины.

— Так для блага родины я и должен хорошо есть.

— Тогда я попрошу, ваше высочество, уволить меня в отставку. Сознание ответственности перед страной не позволяет мне подвергать вашу драгоценную жизнь опасности.

— А как ты думаешь, Отто?

Отто покосился на лейб-медика.

— Если вашему высочеству угодно, я приготовлю самый легкий и самый полезный завтрак: свиное филе с каштанами.

— В уме ли ты, Отто! — вскричал лейб-медик.— Это невозможно.

Герцог сердито повел плечами.

— А ты, Батист?

— Mon Dieu! Может ли быть что-нибудь легче французской кухни? Вашему высочеству следует скушать за завтраком черепаху, соус «наполеон».

— Ну, черепаха...

— Pardon, monsieur Зергут. Вам не хочется согласиться со мной из чувства патриотизма. Но разве можно сравнить свинью и черепаху? Каштаны и соус «наполеон»? Прозу и поэзию?

— Вы забываетесь, Батист.

— Довольно,— оборвал строго герцог.— Я слишком избаловал всех вас. Слушайте мою волю: приказываю подать мне сегодня к завтраку: две сотни устриц, олений язык в мадере, свиное филе с каштанами, черепаху «наполеон», вафли со сливками и миндальный пирог с вареньем.

— О, дорогой отец...— простонала томно принцесса.

— Вздор, вздор. Это все полезные кушанья. Молчите, Зергут. Ступайте гулять и скорей возвращайтесь к завтраку.

Лейб-медик и повара вышли. Принцесса прилежно склонилась над вышиваньем; герцог ловил шарик бильбоке.

....

— Доктор теоретической химии, профессор Адам Костериус,— возвестил с порога камер-лакей.

— Костериус? Зови его. Здравствуйте, профессор.

Алхимик поклонился.

— Я всегда встречаю с удовольствием моих дорогих коллег. Как покровитель университета и доктор honoris causa всех наук, я привык считать себя членом ученой семьи. Что скажете?

— Ваше высочество, любовь ваша к науке всем известна.

Но меня привело сегодня к вам особое дело, важное не только для университета, но и для герцогства. Скажу больше: не для герцогства, а для Европы; не для Европы, а для всего человечества.

Принцесса приподняла золотокудрую голову и любопытно поглядела на профессора. В мундире со шпагой, припадая под тяжестью горба на хромую ногу, он поджимал бронзовые губы и сверкал глазами. Скрывая улыбку, Амалия опять нагнулась к своей канве.

— Ваше высочество, я сделал открытие единственное в мире. Оно обогатит нашу страну и возведет вас на степень величайшего из монархов. Приготовьтесь услышать: я изобрел средство делать золото.

— Золото?

— Да. Отныне, ваше высочество, можете считать себя богатейшим человеком во всей вселенной. Мой порошок превращает воду в чистейшее золото.

— Вы шутите, Костериус.

Вместо ответа алхимик взял со стола графин и бросил в воду щепоть желтоватой пыли. Графин со звоном распался надвое; к ногам герцога покатился золотой шар.

— Мой Бог, вы правы: это точно золото. Да, настоящее золото.— Принцесса забила в ладоши.

— Ах, как хорошо вы придумали, господин Костериус. Теперь у меня будет бриллиантовая диадема.

— Надеюсь, ваше высочество оценили мое открытие. С ним можно купить половину Европы. Что я говорю? Весь земной шар будет у вас в руках. Секрет изобретения я сообщу только вам. Но и я попрошу за то у вас одной и только одной награды.

— Все, что хотите, милый Костериус. Жалую вас кавалером ордена святой Цецилии.

Профессор поклонился.

— Вы получаете пожизненное право ежедневно завтракать за моим столом. Довольны ли вы?

— Очень, ваше высочество, но я хотел просить у вас не таких наград. Я знаю, что и этого слишком много, но в вашей власти сделать меня еще и счастливейшим человеком в мире.

— Чего же вы хотите?

— Я почтительно прошу у вашего высочества руки вашей прекрасной дочери, принцессы Амалии.

. . . .

Принцесса вскрикнула. Герцог с досадой отвернулся.

— Костериус, вы сошли с ума.

— Неужели мое открытие не стоит руки принцессы?

— Это невозможно.

Принцесса плакала. Герцог, тяжело дыша и морщась, трогал носком башмака тяжелый золотой шар.

— Посмотрите на себя в зеркало, господин профессор.

— Богатство заменяет красоту. Дайте мне двадцать бочек воды, и у вас будет двадцать бочек чистого золота.

Герцог молчал.

— Я обращаюсь к благоразумию самой принцессы. Ваше высочество, в ваших руках слава и счастье родины.

Вдруг герцог ударил себя по лбу.

— Но постойте. Ведь принцесса нареченная невеста. Она дала слово.

— Да, принцу Генриху, владельцу двух огородов и мельницы. На это не купишь бриллиантовой диадемы.

— Вы забыли, с кем говорите. Я прикажу вас вывести.

— О, господин Костериус,— сказала в слезах принцесса,— я понимаю, как много значит ваше открытие. Для общего блага я могла бы стать вашей женой, но я люблю принца Генриха. Еще детьми мы постоянно играли вместе. Он поэт и пишет прекрасные стихи. Он красив и строен как пальма. Ведь это ему я вышиваю подушку.

— Не в этом дело,— перебил герцог.— Ты дала слово и должна его сдержать. Господин Костериус, если бы вы превратили в золото все наше озеро вместе со Средиземным морем, и тогда бы принцесса не изменила данному слову. Все можно купить, кроме чести. Прощаю вам ваши дерзости. Сейчас министр двора приготовит орденский патент, а в два часа вы получите приглашение к завтраку. До свидания.

Костериус угрюмо удалился. В столовую вбежал карлик.

— Кум, вот тебе письмецо.

Шут бросил на колени герцогу большой атласный пакет.

— Откуда?

— От министра иностранных дел. Ждет в кабинете с докладом. Я ему говорю: погоди, не время, у нас свадьба. Вырвал письмо и к тебе. Что с тобой, кум?

Герцог, побледнев, уронил распечатанную бумагу.

— Что, или опять объелся? Откуда у тебя шар такой?

Принцесса испуганно поднялась:

— Отец, что случилось?

— Ничего. Шут, ступай прочь. Возьми этот шар, я тебе дарю его. Иди же. Дитя мое, нынче день сюрпризов. Знаешь ли, что в этом письме?

— Что-нибудь ужасное. Верно, о Генрихе. Не пугай меня, отец.

— Нет, не о Генрихе, но касается его. Теперь у тебя три жениха, Амалия. Только этому отказать будет не так-то просто.

— Отец, говори. Я на все готова.

— Так слушай, дитя мое. Тебе предлагает руку один из сыновей российского императора.

Глава третья

ИЗБРАННИК СУДЬБЫ

Хоть я и гнусь, но не ломаюсь.

Крылов

У титулярного советника Помпея Ильича Дрозда-Дерябы, столоначальника в канцелярии министерства иностранных дел, было, не считая вицмундира, всего два фрака: кофейный и васильковый. В кофейном он являлся на званые вечера к начальнику отделения, Максиму Петровичу Зуде; васильковый надевал в Александринский театр и в гости. Из старших сослуживцев с ним кроме Зуды водились: секретарь Марий Саввич Масляненко и экзекутор Август Карлович Моравский.

Маленький, круглый, розовый, как сдобная пышка, с коком и в завитках, Дрозд-Деряба держится степенно; не пьет, не курит и не нюхает. Быстрые глазки на его свежем лице чернеют, как изюминки в рыхлом тесте.

— Ты, Помпей, смотри уж не бабник ли? — говаривал ему Зуда, тощий старик в очках.

— Помилуйте, Максим Петрович, ведь я понимаю-с. Ежели да связаться с бабой, упаси Господи. Да и на что мне баба-с? Мне Мина-чухонка и белье чинит, и кофей варит, всего за два целковых в месяц.

— Ну, а в карточки?

— И ни-ни. В руки не возьму, как перед истинным. Только и есть, что гляжу на чужую игру, и больше ничего-с.

— Все-таки странно, братец. Человек ты молодой, здоровый, собой недурен, а живешь на манер анахорета. Есть же у тебя какой-нибудь гвоздь в голове.

— Гвоздь гвоздю рознь, Максим Петрович. Сами изволите знать: на ином гвозде и удавиться недолго-с.

— Так, так. Далеко ты пойдешь, Помпей.

....

Надвигался сероватый весенний вечер. Дрозд-Деряба спешил по Невскому на Пески. Предстояло узнать немало любопытного. Экзекутор Моравский дружил с камеристкой великой княгини Елены Павловны и получал всегда свежие вести из дворца, а секретарь Масляненко, поэт, сотрудник «Библиотеки для чтения», встречался с самим Нестором Васильевичем Кукольником, знаменитым писателем и близким лицом при военном министре князе Чернышеве.

Помпей Ильич пробежал Аничкин мост и приближался к Знаменью. На углу Грязной повстречался ему сумасшедший столетний бригадир в малиновом, павловских времен, кафтане, с тростью. Оборванный мальчишка тащил за ним огромную пернатую треуголку.

— Эй ты, крапивное семя,— зашамкал бригадир.— Дай ему денег, слышь,— все деньги, какие есть, отдай, слышишь, чиновник? Деньги завтра отдай, а сам поезжай, куда скажут,— вернешься богат, слышь?

Дрозд-Деряба отшатнулся. Он знал, что старик великий мастер гадать; на него находило, и, кому что ни скажет, всегда сбывается. Господи, помилуй!

Бригадир сердито погрозился тростью и взял у мальчишки шляпу: накрапывал мелкий дождь.

— Только кому же отдать все деньги, да еще завтра? Что-то чудно. И откуда он знает, что у меня есть деньги?

. . . .

Масляненко и Моравский жили вместе в удобной, чистой квартире. С первого взгляда могло казаться, что тут обитают светские люди, а не чиновники. В гостиной светло-голубые с серебряными звездочками обои, Гамбсова мебель, на камине парижские часы настоящей бронзы. Оба хозяина, третий гость, развалившись в креслах, прихлебывали кофе и дымили из длинных трубок. Слуга готовил карточный стол. Масляненко, туго завитой, в шоколадном фраке, мечтательно смотрит на потолок; изящный Моравский, сверкая перстнями, улыбается вкрадчиво. Гость, юный лейб-гусарский корнет, небрежно рассматривает свои точеные ногти.

— У него уж это заведено. Как только напьется, сейчас кричит: гроб! Ну, слуги уж знают и несут на подносе серебряный гроб с шампанским.

— Позвольте представить вам, князь: наш младший столоначальник, титулярный советник Помпей Ильич Дрозд-Деряба.

Гусар не глядя протянул два пальца. Помпей Ильич низко кланялся.

— Садись, Помпей,
И кофе пей.

— Экспромт? Но послушайте, Марий Саввич, скажите что-нибудь из ваших новых произведений.

— Извольте, князь. Что бы такое... Вот разве «Сироту»? Нестор Васильич очень хвалил.

Масляненко отставил трубку.

— Я сирота и в мире счастья
Со дня рожденья не видал.
Мне дует вечное ненастье,
Я дней весны своей не знал.
Скитаюсь я в тоске и горе,
И так текут мои лета,
И так текут, как реки в море.
Я сирота, я сирота.

— Очень мило.

— Отменный талант! — воскликнул Деряба и допил чашку.

Князь рассеянно пощипывал чуть видные усики. Масляненко набил трубку и затянулся.

— А что, Помпей, сказать тебе новость?

— Скажите, Марий Саввич.

— Я за границу еду.

— Вот как.

— С посольством. Нестор Васильич устроил. Для вдохновения, говорит, хорошо. Ну, и карьера тоже.

— Душевно поздравляю-с.

— А что, господа,— заметил скромно Моравский,— пора бы за дело; время уходит. Князь, пожалуйте.

. . . .

Сели играть. Моравский метал. Масляненко сильно проигрывал. Князю везло. Помпей Ильич мышиными глазками зорко следил за игрой.

— Ну, Август, если б я тебя не знал, подумал бы, что ты плутуешь.— Масляненко бросил сердито карты.— С тобой, брат, нынче просто играть нельзя.

Моравский сладостно улыбнулся, бережно стасовал, осмотрел и заботливо поправил перстни.

— Угодно продолжать, князь?

— Давайте, давайте. Я вам задам, вот увидите.

Но князь ошибся. Он сразу начал проигрывать. Правда, в маленьких ставках ему везло, но большие не выходили. Наконец Моравский убил у него такую карту, что князь сперва побледнел, потом покраснел, наконец нахмурился.

— Баста. Больше не буду.

— Я с удовольствием вам поверю, князь.

— Все равно. Я и эти не могу вам сейчас отдать. Это дядины деньги. Послезавтра я должен внести их в опекунский совет.

Проговорившись, князь досадливо умолк и еще пуще нахмурился.

— Помилуйте, князь, что за счеты. Я подожду.

— Мало ли что. Да я-то ждать не могу. Долг чести.

Масляненко взял князя под руку и отвел.

— Дорогой князь, не тревожьтесь. Видите этого толстенького господина в голубом фраке? Говорят, у него есть деньги. Быть может, он ссудит вам под небольшие проценты. Помпей, поди сюда.

Князь сделался очень любезен с Дроздом-Дерябой. Брал его за пуговицу, улыбался, глядел в глаза. Они поговорили вполголоса.

— Господин Зуда,— доложил лакей. Хозяева встрепенулись.

— Скорей карты в стол! Князь, пожалуйста, об игре ни слова. Это наш начальник отделения, человек строгих правил. Старик. Не проговоритесь, князь.

— Хорошо, хорошо. Я понимаю.

. . . .

Зуда в роговых очках, в застегнутом вицмундире имел озабоченно-важный вид. Он отказался от конфет.

— Последняя новость, господа. Всем вам, надеюсь, небезызвестно, что за границу едет на днях чрезвычайное посольство.

— Как же, известно.

— Послом назначен князь Печенегов-Половецкий. Слыхали?

Князь кивнул:

— Мой дядя. Знаю.

Зуда почтительно приподнялся:

— Ваш дядюшка? Очень приятно. Весьма рад. А смею спросить, известно ли вам, с какою именно целью дядюшка ваш едут в чужие страны?

— Признаться, я не полюбопытствовал. Ведь назначение состоялось только вчера.

— Так точно. А я вот узнал из первейших рук, что их сиятельство посылаются с высокой и деликатной целью: подготовить брачный союз, понимаете, господа?

— Ну как же,— воскликнул Масляненко.— Я только что слышал об этом от Нестора Васильича.

— Но и это еще не все. По штату полагается при посольстве походная канцелярия. Вам, Марий Саввич, назначено быть правителем. Только нужен еще сверхштатный канцелярист при особе князя. Их сиятельство сказали директору, что завтра самолично выберут. Так вот я и прошу вас, господа, вовремя быть на местах. И уж, пожалуйста, чтобы все было в порядке.

— Будьте покойны, Максим Петрович.

Зуда расстегнулся и снял очки.

— Так-с. А вам, Марий Саввич, большая идет удача. Стишки-то что делают, а? Ведь уж какой, кажется, пустой предмет, ан смотришь, человек-то и на виду. Только простите старика, Марий Саввич, а я вам покойника графа Хвостова не выдам. Большой был талант его сиятельство граф Дмитрий Иванович Хвостов. Первое — анненский кавалер и сенатор, второе — граф, третье — Суворову племянник, четвертое — пиит, пятое — благодетель. Ведь это он меня на службу определил. А как писал! Да вот хоть «Обжоркина» взять; послушайте:

Обжоркин каждый день нам говорит одно,
Что знатный был обед и вкусное вино.
Глазами алчными он блюда пожирает,
На гуся целит, ест пирог, форель глотает,
Котлетов требует, а то заводит речь,
Как сделать винегрет, как надо вафли печь.
Обжоркину во всем и совесть и рассудок,
Дела и почести — один его желудок.

Приятно, остро и назидательно. Нечего смеяться, Марий Саввич. Вашему Кукольнику вовек так не сочинить.

Князь встал. Он казался сильно не в духе.

— Мне пора. Завтра увидимся, не так ли?

Моравский с приятностью поклонился.

— А вас я довезу, господин Помпей... забыл, как по батюшке.

— Ильич, ваше сиятельство, Ильич. Покорнейше благодарю-с.

— Так едем.

. . . .

У подъезда дожидалась карета. Ливрейный лакей подсадил господ, форейтор взвизгнул, колеса загремели.

— Итак, вы согласны меня выручить, Помпей Ильич? Это очень кстати. А какие ваши условия?

Дрозд был смущен. Предсказание старого бригадира явно сбывалось.

— Ваше сиятельство, дозвольте вам всю правду, как перед истинным.

— Конечно, конечно. Откровенность за откровенность. Со своей стороны должен вам признаться, любезнейший Помпей Ильич, что я весьма стеснен в средствах. Иначе я обратился бы прямо к дяде. Но он сказал: до Нового года ни копейки. Как видите, я ничего не скрываю и вас прошу без стеснения.

— Извольте видеть, ваше сиятельство, сумма большая-с. А я человек небогатый. Однако благоразумною экономией и путем дозволенных правительством операций скопил аккурат столько наличного капиталу, сколько вы изволили сейчас проиграть-с. Я вам эту сумму предоставлю, только заместо процентов всепокорнейше буду просить об одном маленьком дельце-с.

— А именно?

— Не откажите замолвить их сиятельству вашему дядюшке, чтобы сверхштатным канцеляристом за границу определили меня-с.

— Вас?

— Так точно-с.

— Ну что ж? Я думаю, дядя не откажет. Конечно. Я скажу.

— Стало быть, я уж буду в надежде, ваше сиятельство.

Князь обещал и любезно ссадил Дерябу у Полицейского моста.

Глава четвертая

ВОЛШЕБНОЕ ЯБЛОКО

Услужливый дурак опаснее врага.

Крылов

Прибытие чрезвычайного российского посольства в герцогскую столицу совпало с возвращением принца Генриха из Геттингенского университета. Принц явился в звании магистра класси-

ческой филологии и с книжкой стихов. В звучных элегиях воспевал он красоту и добродетели принцессы, мудрость герцога и пламенную свою любовь к невесте. Задумчивый, длинноволосый, с кротким взором, принц носил бархатную куртку и шляпу с белым пером. В походной сумке у него хранились оды Горация и фамильная корона с тусклыми алмазами на зубцах.

Узнав от самого герцога о посольстве, принц Генрих застенчиво улыбнулся.

— Конечно, вы отказали?

— Я... видишь ли, Генрих... Сядь сюда и выслушай спокойно. Твоя Амалия любит тебя больше всего на свете.

— Это я знаю. О, Амалия! Она идеал.

— Ты прав, Генрих. Но не забывай, что ведь мы с тобой не простые смертные. Политика всегда мешала счастью монархов. Сколько брачных союзов ею расторгнуто.

Генрих с тревогой глядел на покрасневшего герцога.

— К Амалии сватался один ученый богач: в его власти купить вселенную. Знай, Генрих, я не колеблясь отказал ему. Амалия отвергла миллионы ради любви к тебе. Но теперь... но теперь не то. Русский царь хочет назвать Амалию своей дочерью: возможно ли отказать ему?

— Отчего ж нельзя? Сын царя такой же принц, как и я.

— О, Генрих, какое ты дитя! Настоящий поэт. Возьми географическую карту и сравни свои владения с русским царством. Подумай, сколько войска у царя. Ведь если он объявит войну, что станется с нашей родиной? Царь завоюет ее и силой возьмет Амалию. Подумай. Ведь ты своим эгоизмом подвергнешь Европу нашествию новых варваров.

Слезы катились по длинным щекам принца Генриха.

— Мой Бог, мой Бог! О, Амалия!

Амалия вбежала в столовую, шумя платьем.

— О, дорогой мой Генрих, прости меня. Мы должны расстаться. Так хочет Бог. Но не тоскуй, о Генрих. Когда я стану императрицей, я дам тебе место при дворе. По торжественным дням ты будешь мне подносить стихи и целовать мою руку. У тебя будет большой дом, много денег. Я найду тебе красивую невесту. Не плачь же, Генрих.

Но Амалия сама неутешно рыдала. Плакал и герцог Мельхиор. В тот же день Генрих вернулся обратно в Геттинген слушать курс философии.

....

Посольство состояло из двенадцати человек. Кроме князя Печенегова-Половецкого здесь были: два генерала, четверо камергеров, правитель походной канцелярии Масляненко, его помощник и трое канцеляристов; в их числе титулярный советник Дрозд-Деряба. По-немецки Помпей Ильич не знал ни слова, и князь был этим очень доволен. Беседуя с герцогскими министрами, он нароч-

но сажал у себя в кабинете Дрозда-Дерябу; немцы при свидетеле в щекотливых случаях запинались, князь же, не стесняясь, мог говорить свободно, о чем хотел.

Из канцеляристов один, по фамилии Перетрутов, рябоватый, с дерзкими глазами, был родом из Арзамаса. Еще в дороге он подружился с Дроздом.

Дня через три по приезде, в воскресенье, приятели вздумали размяться и посмотреть столицу.

— Ну уж и городишко,— сказал Перетрутов.

— И не говори.

— Ей-Богу, у нас в Арзамасе лучше. И чего они, дурачье, деревья середи проспекта насажали? Никакого виду. Крыши черепками кроют. Да у нас в Арзамасе церквей одних в неделю не сосчитаешь, а уж звону... А здесь и колоколишко-то ровно в трактире: кляп, кляп — тявкает, а не звонит. Колбасники, право.

— Это ты верно, Лука.

— Гляди, Помпей, ни погребка, ни питейной лавки. Негде горло промочить. У нас в Арзамасе... Скажите, милостивый государь, где здесь можно получить обед, мы приезжие.

— Прошу вас идти со мной. Я сам тороплюсь обедать. Вы члены русского посольства, не правда ли?

— Да, мы советники при князе. Я генерал Перетрутов, а это барон Деряба. С кем имеем честь?

— Профессор натуральной химии Мюллер. Прошу извинения за костюм: я прямо с охоты.

За поясом у Мюллера болталось с полдюжины куликов. Он привел русских гостей в «Филодендрон». Общее внимание и шепот польстили Перетрутову.

— Слышь, Помпей, платить не будем, пусть угощают немцы.

— Зачем платить? Платить нестоящее дело.

Подали обед.

— И только-то? — сказал Перетрутов, увидя молочный суп, форелей и кусок дикой козы.— А вот у нас в Арзамасе говорят про гуся: птица глупая, одному много, двоим мало. Нет ли у вас бараньего бока с кашей?

Хозяин и Розамунда переглянулись.

— Баран... С чем?

— С кашей. Каша, каша.

— Что такое каша?

— Гм, хорошо. А поросенка под хреном нет?

— Нет, извините, и не бывает.

— Слышь, Помпей, вот тебе и Европа. Стоило ехать. Хоть водки нет ли?

Хозяин пожал плечами.

....

— Позвольте спросить, господин советник,— вмешался Мюллер,— это все русские блюда?

— Самые русские.
— И вы могли бы рассказать нам, как их готовят?
— Не только рассказать, сам могу все изжарить и испечь.
— О, тогда вас надо представить герцогу! — воскликнул ректор.— Его высочество сумеет оценить ваш талант. Вы можете получить награду.
— О, да,— подхватили все.
— Я все могу,— повторил Лука.— Люблю готовить. А сколько раз ваш герцог кушает в день?
— Как сколько? Три раза: завтрак, обед и ужин.
Лука усмехнулся.
— Ну, нет; у нас не так. У нас ежели знатная персона, так сначала подается чайный и кофейный завтрак, потом мясной, рыбный и шоколадный фриштик, потом полдник с бульоном и закусками, потом обед в восемь блюд...
— О!
— Вечером чайный стол с печеньем и тортами, ужин из пяти блюд, да на ночь еще закуски.
— О!
Немцы изумленно переглянулись. Перетрутов допил бутылку и велел принести еще.
— А очень холодно в России? — спросил ректор.
— Нет, мы привыкли. Градусов пятьдесят, не больше.
— О!
— Зато ветер бывает сильный. У нас в Арзамасе одну даму чуть на небо не унесло. Вихорь поднялся, а она в платье со шлейфом. Закрутилась, как волчок, и вверх. Спасибо, квартальный за ногу ухватил, а то бы улетела.
— Мой Бог!
— О!
— О, да!
— Вот я сейчас форель ел. А у нас на базаре щука была в полтора пуда весом.
— О!
— Я стал ее торговать, а она как вскочит да хвостом меня по спине. Чуть поясницу не перешибла. Я закричал да бежать. Она за мной. Версты четыре гналась.
— И что же потом?
— На счастье, солдат попался. Он ее из ружья убил. Однако пора, князь ждет. Сколько с нас следует?
— Нет, нет. Позвольте нам угостить вас. Вы сообщили столько ценных сведений о России, обогатили науку. Будем надеяться, вы еще расскажете что-нибудь,— говорил взволнованно ректор.
Перетрутов и Деряба вышли. Все переглядывались в изумлении. Толки о русских нравах не умолкали весь день.
В городе никто не знал о главной цели посольства. Решено было огласить помолвку в последний день, после торжественного приема. О кулинарных талантах Перетрутова доложили

герцогу, и Лука, к великой досаде Отто и Батиста, взялся приготовить в день торжества особенное, еще не виданное пирожное.

. . . .

Залы дворца сияют трепетным блеском. Огромные люстры переливаются в зеркалах и ярко дрожат в окнах. На площади толпа сдержанно рокочет; готовится фейерверк, зажигают иллюминацию. Оркестр на хорах настраивает инструменты. Напудренные слуги в париках и алых кафтанах носятся по комнатам. В парадном зале под балдахином два трона — для герцога и принцессы.

Амалия только что кончила одеваться перед громадным трюмо. Она в бриллиантовой диадеме и в белом атласном платье.

При мысли, что сейчас решится судьба ее, и вспомнив о милом Генрихе, принцесса не могла сдержать тяжелого вздоха. Вдруг у дверей сверкнули чьи-то глаза.

Обернувшись, она увидела Костериуса. Алхимик знаками умолял принцессу молчать. У Амалии вспыхнула надежда и сердце забилось.

— Не бойтесь, ваше высочество. Доверьтесь мне, я спасу вас. Я не могу допустить, чтобы вы уехали в страну гуннов. Знаете ли вы, что такое Россия? Там пьют и едят с утра до вечера. Там бывает до пятидесяти градусов морозу и ветром уносит людей под облака.

Принцесса заплакала.

— Не плачьте, ваше высочество, я вас спасу.— Костериус подал Амалии маленькое фиолетовое яблоко.

— Сейчас же перед выходом скушайте его. Только условие: что бы ни случилось, молчите.

— О, благодарю, благодарю вас, господин Костериус.

Алхимик заковылял к порогу.

С улицы гудели приближающиеся клики. Слышно было, как гремят кареты и коляски. В зале раздались голоса министров и вельмож. Вот стукнул жезлом гофмаршал. Сейчас заиграет музыка.

. . . .

Амалия быстро разломила и скушала горьковатое яблоко. Вдруг что-то спустилось ей на лицо и заслонило глаза. Она взглянула в трюмо и пошатнулась: огромный нос вырос между ее миловидных, с ямочками, щек. Синий, в красных пятнах, он походил на хобот.

Принцесса схватилась за нос и присела. Двери распахнулись. Быстрыми шагами вошел герцог в короне и порфире, с золотой цепью на груди.

— Пора, дитя мое. Фуй, как ты напугала меня, шалунья. Брось маску, Амалия, пора, пора.

Но принцесса, по-прежнему держась за нос, медленно склонялась и вдруг упала без чувств.

Герцог все еще думал, что принцесса шутит. Но нет. Он весь побагровел, схватил дочь на руки, с ужасом глядя ей в лицо, бессмысленно шагнул, волоча за собой порфиру, остановился и задрожал.

Поспешно вошла статс-дама, за нею фрейлины. В дверях затеснились камер-пажи принцессы, готовясь нести тяжелый парадный шлейф. Герцог накинул порфиру на лицо бесчувственной Амалии и крикнул:

— Скорей лейб-медика! Уходите, принцессе дурно!

....

В это время в зале грянул национальный гимн. Еще раз ударил жезлом о паркет раззолоченный гофмаршал; у тронов и вдоль стен гирляндой встали придворные дамы и кавалеры; за ними ректор, профессоры, дворяне, офицеры, бургомистр, цеховые старшины, пастор.

Жадные взоры устремились к дверям: все ждали выхода герцога и принцессы. Но вместо них торопливо вбежал, хромая, профессор Костериус с орденом святой Цецилии на шее и встал сбоку у дверей. Следом за ним потянулось торжественное посольство.

Впереди выступал чрезвычайный и полномочный посланник, генерал-адъютант, генерал от кавалерии князь Печенегов-Половецкий, в конногвардейских латах под бархатной мантией, при ленте и в орденах. Четыре камергера на четырех подушках выносят письмо от русского императора, знаки и цепь Андрея Первозванного, Екатерининский орден и два кольца. Двое генералов еле держат огромное блюдо с русскими червонцами. За ними вдохновенно шагает Масляненко в мундире, с поздравительной одой. У чиновников и курьеров на руках меха соболей, горностаев и черно-бурых лисиц, московская парча, уральские камни, донские вина, цибик чаю, золотой самовар, короба с тульскими и вяземскими пряниками. Шествие заключал сверхштатный канцелярист титулярный советник Дрозд-Деряба с живым медвежонком на цепи.

Во втором зале проворные слуги ставили и громоздили на столах меж серебром и фарфором жареных фазанов, лебедей и павлинов с распущенными хвостами. Вот пронесли дымящегося цельного, на вертеле изжаренного кабана, обложенного яблоками и сливами. Вот сочные подрумяненные дупеля, индейки, набитые грецкими орехами, омары в красном вине. Пестреют графины, рдеют и золотятся фрукты. Багровое жирное лицо Отто в белоснежном колпаке выглядывает из двери; сухопарый Батист, как бешеный, мечется от кухни к столовой, мелькая фалдами фрака. Оба повара злорадно перемигнулись, когда Лука Перетрутов важно внес на хрустальном блюде ванилевое мороженое «Везувий на Монблане», белое, в голубом пламени ярко пылавшего рома.

Князь Печенегов-Половецкий дошел до середины зала и замер

на месте. Он стоял перед пустыми тронами. Гневный взор князя встретил испуганные лица сановных гостей и дам.

Общее смятение увеличил громкий и непристойный хохот. До упаду хохотал, держась за бока, профессор Адам Костериус.

Глава пятая

НОС

Он с прибылью — и в шляпе дело.

Крылов

Герцог сначала надеялся хотя на первое время скрыть несчастье дочери, но тотчас понял, что это немыслимо. Мало того, что весь город в тот же вечер знал обо всем и во всех подробностях, приходилось объясняться с русским посланником и приглашать врачей. На другой день рано утром герцог, в гороховом сюртуке и серой пуховой шляпе, с тросточкой, явился к князю и попросил доложить. Дежурным чиновником в тот день был Дрозд-Деряба. Герцога он не узнал и предложил обождать в приемной. Князь вышел хмурый, в халате, без парика и зубов.

— Кто вы такой?

— Я здешний герцог Мельхиор Семнадцатый.

Князь резким жестом пригласил гостя в кабинет. Дрозд готов был отдать полжизни, чтобы подслушать, а главное, понять их жаркие разговоры. Час спустя герцог вышел весь красный, в слезах, а князь громовым голосом объявил чиновникам об отъезде.

. . . .

Принцесса Амалия лежала в постели, закрыв глаза. На снежно-белом пуху высоких подушек светятся круглые плечи и нежная грудь в кружевных оборках; золотистые локоны струятся вдоль розовых щек. Над этими прелестями торчал уродливо-синий, горбатый, с красными пятнами нос. Лейб-медик разводил руками. Ни рвотное, ни слабительное не помогло, кровопускание тоже. Оставалось последнее верное средство: горчичники.

В полдень состоялся консилиум из профессоров.

Ректор Пфаффиус с жаром предложил лейб-медику отрезать у принцессы лишние части носа в силу известного изречения: quod medicamenta non sanat, ferrum sanat. Но Зергут сурово опроверг ректора: латинская поговорка имеет зловещее окончание: quod ferrum non sanat, mors sanat[1]. Профессор Мюллер скромно заметил, что большой нос признак большого ума, что дело не в том, каков нос, а каково сердце, что, наконец, бекасы и кулики очень

---

[1] Что не излечивают лекарства, лечит железо, что не излечивает железо, лечит смерть *(лат.)*.

красивые птицы, несмотря на свои длинные носы. Профессор Костериус на консилиум не явился; говорили, что он заболел от ужаса. Пастор, вздыхая, посоветовал предоставить нос воле Божьей: может быть, нос исчезнет сам собой.

— Итак, господа,— заключил торжественно лейб-медик,— будем пока надеяться на горчичники.

....

В «Филодендроне» о страшном событии разговаривали вполголоса. Заплаканная Розамунда, разнося вино и кушанья, то и дело трогала себя за нос. Впрочем, многие благородные девицы в этот день подходили со страхом к зеркалу.

Перетрутов за обедом рассказал всему обществу о своих часах: как он, потеряв их в лесу, через год нашел на том же месте; за все время часы отстали только на полминуты. На этот раз его плохо слушали. Помпей Ильич с утра был задумчив; вечером, в кабинете у князя, чиня перо, он робко кашлянул:

— Ваше сиятельство, соизвольте принять нижайшую просьбу-с.

Князь, мрачный как туча, насупил седые брови.

— Что тебе?

— Ваше сиятельство, как верный слуга отечеству... никогда не посмел бы беспокоить, но для такого события-с...

— Не мямли, братец.

— Я насчет носа, ваше сиятельство. У ее высочества носик вырос, так я могу всю эту историю устранить-с.

— Устранить нос?

— Не то чтобы совсем нос, ваше сиятельство, а главную причину, чтобы не было беспокойства-с. Как верный патриот. Ежели вашему сиятельству угодно, я могу предложить их высочеству руку и сердце-с.

— Ты с ума сошел.

— Никак нет-с. Извольте вникнуть, ваше сиятельство. Кто теперича возьмет принцессу с эдаким носом? Везде по Европе мораль прошла и русской чести обида-с. А тут я живым манером все слухи искореню. И ежели ваше сиятельство соблаговолите посватать, герцог не откажут-с.

Князь задумался.

— Только отдадут ли за тебя?

— А чем я плох-с? Я стараться буду-с. Заслужу, ваше сиятельство. Теперича подарки принцессе даром пошли, а мы их все в приданое оборотим, и вашему же сиятельству награждение после выйдет-с за политичную экономию-с.

— Гм. Ты молодец. Конечно, так. А немцев в случае чего и припугнуть можно будет. Да. Сколько же ты хочешь за это?

— Мне многого не надо-с, ваше сиятельство. Я свое место помню. Тыщонок полсотенки да Станислава для уважения, чтоб люди глядели. Уедем куда-нибудь подальше, с глаз долой.

— Да, в Петербурге нельзя тебе будет оставаться. Все-таки она принцесса. Это мы завтра же обсудим и устроим. Спасибо. Ступай.

Выйдя из кабинета, Помпей Ильич встал на руки и прокатился по приемной колесом.

На следующий день князь был с визитом у герцога. После короткой беседы хозяин оживился и пригласил гостя к завтраку. Перетрутов состряпал настоящие сибирские пельмени и привел ими герцога в восторг, а Отто с Батистом в бешенство.

Вечером город снова ликовал. Официально было объявлено, что слухи о носе вздор; что у принцессы нос от простуды, правда, немного вздулся, но благодаря горчичникам опухоль прошла и послезавтра ее высочество с посольством отбудет в Россию. На парадном ужине во дворце принцесса не могла присутствовать по случаю лихорадки.

. . . .

Перед отъездом Перетрутов с Дроздом-Дерябой обедали в «Филодендроне». Пили шампанское и поздравляли друг друга.

— Ну, Помпей, и счастье же тебе. Чай, и во сне не снилось?

— Не говори, Лука. За что только взыскал меня Создатель.

— А мне-то как повезло, а? В главные повара к самому герцогу. На всем готовом. Герцог так прямо его сиятельству и сказал: уступите мне Перетрутова, и я вам Амалию уступлю. Жить без меня не может. Я ему и щи, и пельмени, и блины, и поросенка, и расстегаи. Здоров на еду. А все-таки, Помпей, как ты... Касательно носа, а? Словно бы неловко?

— Чудак ты, Лука. Так ведь не будь у ней носа, нешто бы ее отдали за меня? Ведь кто у ней были женихи-то, а? А ты-то смекни: ведь она все же принцесса. Не с носом жить. Она королевской крови, братец ты мой. Прин-цес-са. У меня, Помпея Дрозда-Дерябы, жена принцесса, и сам я герцогу зять. Как подумаешь, дух захватит. Так что́ мне теперича, с носом она или без носа? Тьфу!

— Истинная твоя правда, Помпей.

— Нос. Эка важность. Вуаль надела, и нет его. А я и глядеть не стану. Ты еще вот что рассуди, Лука: теперь я в супружеской верности обеспечен. Кто на эдакого носорога польстится? А я ложе брачное соблюду. И дома все будет в порядке по хозяйству, потому ходить она никуда не станет из-за носа.

— Верно, Помпей. Ты слушай: этот немец, на кухне... знаешь, Отто... Я говорю ему: как насчет дров, провизии, ну и прочее?.. Велик ли, мол, повару доход? А он обиделся: я, говорит, не вор. Я — мол, не вор ты, а ду-дурак...

— Нет, Лука, рассуди ты сам. Теперь у меня пятьдесят тысяч капиталу, да в Петербурге осталось по векселям тысяч на двадцать... слышь? Вот тебе. Да Станислава дадут. Уедем в провинцию, домик купим... приезжай, брат, в гости.

— Помпей, поцелуй меня... В Арзамас поезжай, Помпей. У нас в Арзамасе больно нуга хороша... Сла-сла-сла-сладкая....

— Благослови меня, Лука. Один я, сирота, нет ни отца, ни матери...

— Плюнь, Помпей... Да не плачь, стыдно... Немцы смеются... Нет, повар-то, повар, ах ше-ше-шельма... Я, говорит, не вор... Что же, я... я.... я-то — вор?

Оба рыдали.

Глава шестая

ВЕРНЫЙ РЫЦАРЬ

Но побывать у псов не шутка на зубах.

Крылов

Костериус все эти дни хворал и просидел взаперти. Когда Карл сообщил ему, что Амалия выехала в Россию, он сперва не поверил, потом пришел в ярость. Катался по полу с пеной у рта, кричал, ругался, проклинал весь мир и себя. Наконец, бросился на Карла с кулаками и горько заплакал.

С этого вечера он уже не вставал. Злая чахотка доконала его в два месяца. Все свои коллекции и приборы алхимик завещал университету, дом Карлу, книги Мюллеру, бывшему своему врагу. За два часа до смерти, приказав затворить дверь, Костериус приложил желтый палец к иссохшим губам.

— Слушай, Карл, я умираю, и гибель моя заслужена. Я совершил злодейство. Это я из подлого чувства ревности приставил принцессе нос.

— Мой Бог!

— Не ужасайся, друг мой. У меня были свои цели. Я надеялся, что от Амалии откажутся женихи и тогда она поневоле будет моею. На этот случай я заготовил противоядие.

Костериус вытащил из-под подушки белое яблоко.

— Как только принцесса скушает его, нос ее пропадет. Увы, теперь она все равно для меня погибла. Часы мои сочтены. Но есть один человек, ее достойный: это принц Генрих. Он учится в Геттингене. Иди к нему, Карл, и расскажи обо всем. Пусть принц отдаст Амалии это яблоко. Ты ведь исполнишь мою просьбу, милый Карл?

— О да, дорогой Адам. Будь покоен: воля твоя для меня священна. А где же золотой порошок?

— Я уничтожил его. Мое золото много крови сулило миру. Совершать подобные открытия помогает дьявол, и я радуюсь, что вовремя одумался.

Костериуса торжественно похоронили. Студенты несли фарфо-

ровый гроб и ордена. На могиле говорили речи ректор Пфаффиус, лейб-медик Зергут и пастор. Карл со слезами прочел латинскую эпитафию. В «Филодендроне» заказан был поминальный ужин.

Герцог ненадолго пережил алхимика. Он пристрастился к тяжелым русским блюдам и заставлял Перетрутова стряпать их каждый день. Раз, скушав сотни три жирных, в тонком тесте, с перцем, луком и уксусом пельменей, герцог опустил седую голову, вздохнул и скончался. Похорон его Карл не застал: он был на пути в Геттинген. Все граждане пожелали иметь своим монархом принца Генриха, и Карл спешил к нему вместе с гофмейстером Вурстом.

. . . .

Генрих проживал в Геттингене как простой студент. Его государственные доходы были невелики. Единственный министр Генриха, он же дворецкий и дядька, раз в три года привозил своему повелителю овощей, колбас, сушеных фруктов и очень немного денег. В скромной комнате принца висело в углу распятие, под ним корона, шпага и в рамке под стеклом локон принцессы Амалии.

Принц читал Шеллинга, когда постучались гофмейстер с Карлом. В отборно торжественных фразах Вурст поздравил Генриха и предложил ему занять герцогский трон. Черты принца исказились глубокой скорбью.

— Ехать туда, где все говорит о ней. Зачем?

— Ваше высочество, долг прежде всего.

Карл сделал принцу знак и поглядел на гофмейстера. Генрих понял и предложил Вурсту дождаться его в гостинице.

— Говорите. Вы, верно, с вестями об Амалии.

Принц задыхался.

— Вы угадали, ваше высочество.

Карл рассказал о завещании алхимика и передал яблоко.

— О, Амалия! Тут не может быть двух решений. Я тотчас иду в Россию. Благодарю вас, мой друг. Примите на память эту безделку.

Принц снял с мизинца стразовый перстень.

Гофмейстеру Генрих сказал, что желает сперва сочетаться браком. Несколько дней он готовился к дальнему пути.

Продав свое скромное имущество, Генрих в жаркий полдень вышел из городских ворот с узелком на палке, в бархатной куртке и шляпе с белым пером. В кармане — семнадцать гульденов, в узелке две смены белья, корона, Гораций, флейта и локон Амалии в розовой бумажке.

Принц рассчитывал в дороге заработать игрой на флейте.

— При случае буду учить детей латыни. Месяц учить, месяц идти. Хоть год прохожу, а найду Амалию.

Надежды его не сбылись. Флейта кормила плохо. Едва Генрих начинал высвистывать серенаду Шуберта, сбегались собаки и при-

нимались выть, глядя в глаза артисту. Латыни никто не хотел учиться. Ежедневно, между тем, требовался обед, и гульдены быстро таяли.

. . . .

Недели через две утомительного пути принц Генрих дошел до Дрездена. Было чудесное утро. Путник присел в саду кондитерской под тенью старого вяза. Кругом ни души; лишь сонные кельнеры, лениво потягиваясь, зевали у буфета. Принц пил кофе. Вдруг он увидел в глубине аллеи высокого, стройного господина в синем сюртуке и цилиндре. Голубоглазый, с классическим профилем, незнакомец шел легкой поступью и держался прямо. Встречные оглядывали его, останавливаясь смотрели вслед; ростом он был всех выше.

Присев недалеко от Генриха, неизвестный заказал завтрак. Принц допил кофе и оглянулся. Из-за листа берлинской газеты на него глядели огромные синие глаза. Генрих смутился. Неизвестный отложил газету и снял цилиндр; лицо его осветила приветливая улыбка.

— Позвольте спросить: вы студент?

— Да, я студент Геттингенского университета.

— Вы, верно, едете домой на вакации?

— Нет, я иду в Россию.

— В Россию? Неужели? Пешком?

— У меня нет средств.

Неизвестный поглядел на принца с участием.

— Не могу ли я быть вам полезным? Я сам из России. Дойти пешком вам будет не под силу. Зачем вы туда идете?

— По очень важному делу.

— Можно узнать ваше имя?

— Генрих Двадцатый, владетельный принц и наследник...

— Так это вы? — вскричал изумленный незнакомец. Он встал и поклонился.— Простите, ваше высочество, мою назойливость. Рад случаю познакомиться. Я родственник прусского короля. О вас я кое-что слышал.

Они обменялись рукопожатием. Принц, рассказав свою бедственную историю, достал из узелка корону и локон Амалии.

Брови гиганта сдвинулись.

— Об этом мне рассказывали иначе. Но хорошо. Мне нравится ваше простодушие, милый принц. Вы поэт и верный рыцарь вашей дамы. Помочь вам я вменяю себе в обязанность.

Он приказал подать чернил и бумаги.

— Отправляйтесь прямо в русское посольство с моим письмом. А вот эту записку по приезде в Петербург доставьте графу Орлову. Граф вам охотно поможет. Не благодарите, не стоит. До свидания, я ухожу. Иду смотреть Сикстинскую мадонну. Счастливого пути, милый принц, и желаю счастья.

Он поцеловал Генриха в лоб и удалился гибкими шагами,

играя тростью. Прохожие, останавливаясь, следили за ним; он ростом был выше всех.

В посольстве Генрих не сразу добился толку. Толстый швейцар, промычав, указал булавой на лестницу; в передней лакей толкнул принца и не извинился. Приемная пустовала. Лениво вышел осанистый бакенбардист, зевнул и принял записку, не пригласив принца сесть. Вдруг брови его поднялись, глаза раскрылись, он весь изменился сразу: похудел, согнулся, захихикал, начал кланяться и приседать. Схватив стул и почтительно подставив его принцу, зазвонил изо всех сил в колокольчик. Прибежали еще чиновники. Они кланялись и улыбались.

Вечером рессорная коляска четвериком мчала принца Генриха к российской границе.

Глава седьмая

УСЕРДИЕ ВСЕ ПРЕВОЗМОГАЕТ

Чего не сделаешь терпеньем и трудом?

Крылов

В России дела Генриха устроились превосходно. Соловьем свиставший ямщик в шапке с павлиньими перьями осадил вспененную тройку у Петербургской заставы, подвязал колокольчик и обернулся к фельдъегерю, сопровождавшему принца от Вержболова.

— Куда прикажете, ваше благородие?

— К Цепному мосту.

В тот же день изысканный и вежливый офицер в голубом мундире, улыбаясь в душистые усы, отвез Генриха на квартиру. Принцу дали две комнаты с обстановкой, приставили эстонца-камердинера и объявили, что из императорского кабинета назначено ему единовременное пособие в три тысячи рублей серебром. В участке Генрих, по совету графа Орлова, прописался магистром классической филологии и скрыл свой титул.

Прежде всего принц пожелал учиться русскому языку: без этого отыскать Амалию было бы слишком трудно. Голубой офицер сам вызвался давать Генриху уроки. Он же навел первые справки об Амалии и достал копию брачного свидетельства. По документам оказалось, что отставной коллежский асессор и кавалер Помпей Ильич Дрозд-Деряба венчался тридцатого июня сего года в Конюшенной придворной церкви с девицей Амалией из иностранных немок. Поручителями состояли: по женихе — коллежский советник Масляненко и надворный советник Моравский; по невесте — статский советник Зуда и капитан корпуса жандармов Вертер. После венца молодые уехали в провинцию. Здесь след их терялся.

Известие о замужестве Амалии нимало не огорчило принца.

Любовь его не знала границ. Он сочинил эпиталаму в честь новобрачных и мечтал, как поднесет ее Амалии вместе с волшебным яблоком.

— Непременно надо отыскать свидетелей,— сказал Генрих офицеру.— Они, конечно, знают господина Дрозда-Дерябу и, может быть, находятся в переписке с ним. Скажите, кто этот капитан Вертер?

— Это я.

— Вы? Так вы присутствовали на свадьбе?

— Только в церкви. Я расписался и тотчас уехал. Новобрачная была под густой вуалью, самое венчание происходило в сумерки.

— Что же, невеста сильно грустила?

— Не заметил. Она сказала только, что в церкви прохладно, и просила жениха подать ей шаль.

Вертер лукаво играл аксельбантом и улыбался в усы.

— Я потому вас спрашиваю об этой даме, что имею к ней дело по наследству.

— О, я очень понимаю. И все-таки найти ее будет нелегко. Из прочих свидетелей один, некто Зуда, умер, а двое других мне знакомы. Живут они вместе на Песках. Если угодно, я вас к ним свезу. Они будут рады.

. . . .

Масляненко был уже начальником отделения на месте Зуды. Заграничная командировка доставила ему Анну с короной; последний сборник стихов был одобрен самим Брамбеусом. Поэт подумывал о выгодной женитьбе. Моравский оставался по-прежнему экзекутором и по-прежнему играл с неизменной удачей в штос.

Оба они приняли Генриха приветливо и, переглянувшись с капитаном, тотчас заговорили о женитьбе Дрозда-Дерябы.

— Этот господин наш сослуживец,— сказал Масляненко.— Весьма усердный и способный чиновник. Женился он на вашей знакомой как-то таинственно, точно в балладе, хотя никогда не писал стихов. Можете себе представить, мы, его шафера, ни разу не видели невесты в лицо, а после свадьбы они сейчас же уехали, но куда? Если у вас важное дело, да еще по наследству, то можно бы объявить в газетах. Только, уверяю вас, это вряд ли поможет; в уездных городах не читают совсем газет. Ты, Август, может быть, помнишь, куда собирался Помпей?

— Как будто в Сергач.

— А мне сдается, в Лукоянов. Впрочем, говорил он также и об Васильсурске. Мы вот что сделаем. Пошлем запросы во все три города и посмотрим. Ну, конечно, вам придется обождать.

— Я готов ждать.

— Пожалуй, с годик придется повременить.

— Целый год?

— А как же? Туда, да оттуда, а уж осень на дворе. Распутица. До весны ехать все равно нельзя.

. . . .

Всю зиму прожил Генрих в Петербурге. Новые приятели выучили его играть. Он постоянно проигрывал. По-русски принц уже болтал свободно. С Масляненкой его сблизила поэзия. Марий Саввич перевел эпиталаму Генриха и напечатал в «Библиотеке для чтения». Они выпили «на ты».

На Страстной пришли ответы из трех городов. Лукояновский городничий извещал, что никакого Дрозда-Дерябы в их городе нет, а есть отставной губернский секретарь Дроздовский. Из Сергача писали, что здесь проживает в отпуску уланский корнет Дерябин. В Васильсурске отыскались два помещика: Дербень-Калугин и Дроздосвистов.

Генрих приуныл и заметно стал падать духом. Вдобавок деньги, выданные из кабинета, он все проиграл Моравскому. Чтоб не остаться голодным, Генрих все чаще ходил к Масляненке обедать. Поэт проживал теперь на казенной квартире и все реже писал стихи. Марий Саввич благодушно встречал приятеля. Выходил в халате, потчевал хересом, после обеда шел спать.

— Ты, Генрих, посиди до чаю, куда тебе? Ах ты, чувствительный немец. Деньжонок, что ли?

— Да, я бы просил, если можно.

— Сколько?

— Десять рублей.

— Много, куда тебе: бери синюю.

Генрих хотел и не мог обидеться. Что делать? Таковы уж русские нравы, а Марий все-таки добрый человек.

. . . .

Наступила весна, а Генрих все не знал, как быть и на что решиться. Раз под вечер забрел он в Летний сад. На деревьях крикливо раскачивались грачи, статуи целомудренно белели, с Невы набегал веселый ветерок. К Генриху подсел какой-то господин, небрежно одетый, без перчаток. Разговорились.

— Вы из Германии? Хорошая страна. Я жил там. Не глядите, что я в эдаком виде. Игра судьбы. А был на службе в Германии, шитый мундир носил.

— При ком же вы состояли?

— При герцоге Мельхиоре Семнадцатом.

Сердце Генриха сильно застучало.

— Я у него был на манер министра. Моя фамилия Перетрутов. А когда герцог помер, начались разные подлости против меня. Там был один тоже как бы министр, прозывался Отто, так он из зависти распустил, будто я казенные дрова ворую. Пришлось в отставку.

— А дочь герцога вы знали?

— Это Амалию-то? Ее не знал, а муж мне приятель. Я от него письмо перед самым отъездом получил.

— Где же они теперь?

— В городе Ардатове, в собственном доме. К себе звали. Я бы поехал, да денег нет.

Генрих готов был петь и плясать от радости. Тотчас предложил он Перетрутову вместе поехать в Ардатов. Лука согласился.

— Дорожка не маленькая, побольше тысячи верст. Правда, для русских все это плевое дело. Это немцы по-черепашьи ездят. Ну, а у нас... Да вот я вам расскажу, как государь император в прошлом году сюда из Москвы в два часа доехал.

— Не может быть!

— Ну вот вам, не может быть. Об этом в газетах публиковано. Государь в Москве говел, и после светлой заутрени захотелось ему поспеть к обедне в Зимний дворец. Знаете, высочайшая воля. Сейчас ямщиков оповестили. Один и взялся. Подал тройку, и лошаденки-то клячи на вид, лохматые, вроде шавок. Сел государь, помчались, только ветер свищет. Как птицы летят. Через час в Бологом попоили, дальше... Да вы слушаете меня?

Генрих ничего не слыхал. Он смотрел в розоватую даль, где спускалось солнце, и сладкие слезы горели в его глазах.

....

Перетрутов дал принцу слово выехать через день. Но как теперь устроиться с деньгами? Генрих решил продать корону. От Луки он узнал, что трон герцога Мельхиора занят каким-то саксонским принцем; к нему же перешли владения Генриха. Корона оказывалась ненужной. Все-таки принцу тяжело было расстаться с ней. Торговец на Щукином дворе осмотрел корону, свесил, пощелкал, даже попробовал на зуб.

— И сколько вам за нее?

— Она из чистого золота. Значит...

— Пхе. Совсем ничего не значит. И где же здесь проба? Ну?

Генрих растерялся. К счастью, сбежались еще торговцы. Поднялся гвалт. Наконец, Генриху дали триста рублей.

Он сделал прощальные визиты и заплатил долги. Вертер, провожая его в переднюю, закусил раздушенный ус и звонко расхохотался. Масляненко, хлопнув по плечу, загадочно свистнул: «Смотри, брат, не останься с носом». Моравский предложил поставить карту на счастье Амалии. Подали крытую бричку. Перетрутов уселся рядом с Генрихом, ямщик, чмокнув, дернул вожжами, и бричка задребезжала.

До Москвы доехали благополучно. Но в Москве Перетрутов вдруг исчез. Он взял у Генриха денег на новую шинель, ушел и не возвратился. Целые сутки ждал его принц, не дождался и тронулся в путь один.

Дорога утомляла однообразием. На станциях приходилось сидеть по четыре дня, питаться яичницей и простоквашей. Однажды проезжий генерал закричал и затопал на Генриха, приняв его за смотрителя. Мелкие станционные шулера приставали с просьбами поставить карточку или заложить банчик. Ямщики гру-

били и не слушались кротких увещеваний. Только в первых числах июня в прекрасный веселый день, в субботу, добрался Генрих до уездного города Ардатова.

Глава восьмая

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

Чем на мост нам идти,
поищем лучше броду.

Крылов

Отдав ямщику последние три рубля, с чистой душой и пустым карманом, прижимая к сердцу локон и яблоко, радостно улыбаясь, пробирался Генрих по пыльным, заросшим лопухами и крапивой улицам вдоль серых заборов. Ветви лип цеплялись за его мягкую шляпу; акации гудели пчелами, благоухал шиповник; над бурьяном возились воробьи. Чу! Благовест к вечерне. Будочник указал Генриху голубенький домик с мезонином. Прочные ставни, тяжелые ворота, калитка на запоре. Над розовой крышей торчит скворешня; на карнизе надпись: «Сей дом коллежской асессорши Амалии Мельхиоровны Дрозд-Дерябовой свободен от постоя».

— Значит, она овдовела. Какое счастье. Это ее собственный дом. Неужели я сейчас увижу мою Амалию?

Генрих перевел дух и нежно стукнул в калитку. Тишина. Еще постучал: собака на дворе залаяла, гремя цепью. Опять все тихо. Только слышно, как заливаются по городу петухи.

Наконец, на усиленный настойчивый стук зашлепали чьи-то туфли. Зевок, сопенье; заспанный голос ворчал:

— Что за наказание такое, Господи! Минутки отдохнуть не дадут. Кого это леший носит? Кто там?

— Это я.

— Слышу, что я. А ты говори толком, кто таков.

— Могу я видеть прин... госпожу... Амалию... Амалию Мельхиоровну?

— Зачем вам ее?

— По делу.

— Да вы откуда?

— Из Петербурга.

. . . .

Калитка загремела. Генрих увидел круглого человечка в ситцевом халате. На шее у него пестрел огромный Станислав. Мышиные глазки высматривали пытливо и недоверчиво.

— Вы по поручению или от себя-с?

— От себя. Я Генрих, друг детства Амалии Мельхиоровны.

— Так-с. Теперь понимаю-с. А я законный супруг ее, Помпей Дрозд-Деряба, коллежский асессор и кавалер.

— Вы... живы?

— Слава Богу, жив и здоров-с. Пожалуйте на двор. Амаша!

На крылечко вышла в капоте заспанная Амалия. За год она пополнела; нос в виде гигантского баклажана синел между ее красных щек.

Генрих упал на колени.

— О, Амалия!

Пухлое лицо Амалии осталось невозмутимым.

— Что ж ты молчишь, моя Амалия?

— Никакой Амалий у вас нэ буль и нэт, и я вам нэ Амалий, а благородны дам Амалий Мельхиор, и я нэ ваш, а у свой дом, у свой муж и прошу вас вставайт и нэ кричайт.

— Это ты верно, Амаша. Вставайте, сударь, коленочки замараете. Да и люди увидят.

Генрих в отчаянии протянул Помпею локон.

— Возьмите, я отдаю его вам.

— Это что-с? А, сувенир. Куда мне? Захочу, так и получше локончик у нее отчекрыжу. Пустое дело-с.

Он бросил локон в крапиву.

— Ну-с, а теперь докладывайте ваше дело — и с Богом. Нам некогда. Поклон, да и вон.

Задыхаясь, со слезами и весь дрожа, Генрих поведал тайну алхимика и достал белое яблоко. Амалия и тут осталась совсем спокойной, даже не улыбнулась. Несравненно большее участие выказал Помпей: орден так и заплясал у него на шее.

— Что ж, дело доброе. Так это, значит, горбач начудесил? Вот анафема. Ну что же, Амаша. Завтра, для праздника, и скушаешь ихнее яблочко. А покудова я припрячу его. Целее будет. Позвольте-ка мне его сюда, вот так. Теперича мы вас чайком угостим, поди с дороги устали. Амаша, распорядись-ка насчет самоварчика. Не жена у меня, а, скажу вам, клад. Как огурцы солит!

....

Генрих ночевал в мезонине. Утром его разбудил густой колокольный звон и птичьи крики: скворешня прилажена у самого мезонина, на крыше гулькают голуби. Из окна Генрих видел много домашней птицы: наседок с цыплятами, индеек, цесарок, уток. Важные гуси переваливались гогочущей вереницей; бормотал и вскрикивал индюк; взапуски голосили два петуха. Вот свинья с поросятами, другая, третья. За воротами заиграл на рожке пастух, ему ответило со двора мычанье: две коровы выбежали в калитку. Конюх водит по двору сивого жеребца. Вдоль забора погреб, баня, амбары; дальше огород с подсолнечниками, капустой, огурцами; над грядками простирает руки чучело в вицмундире. Вон заросший садик с ульями и колодцем; за прудом беседка. Яблони, вишни, малина, крыжовник; под старой липой круглый зеленый стол.

Часа через два Генрих увидел хозяев; они возвращались от обедни. Помпей во фраке, со Станиславом на шее, в белом жилете; Амалия в розовом платье и высоком чепце. Казачок нес за ней шаль и зонтик. Слышно было, как босоногая девка пронесла на крылечко шумящий самовар. Генриха пригласили к чаю.

— Милости просим. Хорошо ли почивали?

На толстой, с ярко-красными разводами белой скатерти захлебывается блестящий, как солнце, самовар. Крендели, булки, сухари, ватрушки, витушки, хворост, сочни, левашники, пряженцы. Кусок холодного слезящегося масла. Сливки с пенками, ветчина, творог, сотовый мед, варенье, смоквы и пастила.

— Кушайте, прошу. У нас все своего хозяйства. Покупного только сахар да чай. Хе-хе.

Амалия налила Генриху в стакан, а мужу в чашку с портретом Шиллера.

....

— Ну-с, мы обсудили ваше предложение. Премного вам благодарны. Ежели взять в расчет ваши хлопоты, поездку и сопряженные с ней расходы, то, можно сказать, вы бескорыстный друг. Вам это на том свете зачтется. Только мы уж с Амашей так порешили, что кушать ей это самое яблоко не стоит. Изволите видеть, какая у нас благодать. Дом — полная чаша, всего в изобилии, капиталец есть. У меня чин и орден,— и все ведь это нам через нос досталось, вот что заметьте. А носа не будет, и все наше счастье прахом пойдет. Правду говорю. Пожалуй, Амаше, как нос-то сойдет, захочется того, другого, хвать — ан в Ардатове-то и скучно станет. А уж с хотеньями да с желаньями какое может быть счастье на сей земле. Да и чего нам желать еще, коли Господь вознес? Ведь это уж ропот выходит, а роптать грех. От добра добра не ищут. Верно, Амаша?

Амалия кивнула накрахмаленным чепцом.

— Так что уж мы решили пока что оставаться с носом, хе-хе.

— Где же... яблоко?

— А я его Марату отдал.

— Какому Марату?

— Нашему борову. У нас четыре свиньи. Что с вами?

Впервые в жизни Генрих упал в обморок.

— Ничего. Это сейчас пройдет. Амашенька, брызни-ка водицей.

Очнувшись, Генрих схватил шляпу и бросился с крылечка. Хозяин удержал его за рукав.

— Куда вы?

— Домой, домой!

— Опомнитесь, куда домой? У вас и дома-то нету. Сами вы говорили вчерась, что ваша землица отошла другому и корону вы давно продали. Да с чем еще побежите, где деньги-то?

Генрих закрылся ладонями и заплакал.

— А вы не убивайтесь. Вот что я вам скажу: оставайтесь-ка у нас. Будете помогать по хозяйству. Вам можно довериться, вы человек благородный. Провизии закупить, на кухне присмотреть. Съездить в Нижний на ярмонку. При гостях стол сервировать. Ну, когда при случае самоварчик почистить. Амаше ботиночки. Я вот сам бриться не умею, а цирюльника звать — расход, так два раза в неделю побреете меня. Жить будете в мезонине, кушанье с нашего стола. А там и еще вам найдется дельце. Амаша, видите ли, в положении... хе-хе... в интересе... к Покрову наследника ждем, так понадобится учитель. Вы все же человек, того, образованный, науки проходили, так чем нанимать за деньги немца, лучше уж мы вас приспособим, хе-хе. Угодно?

Генрих просиял и улыбнулся. Он был в восторге. Какое счастье! Жить подле нее, видеть ее постоянно, учить детей ее, помогать ее мужу: что может быть лучше в целом мире? О, Амалия!

1922

ЛЕБЕДИНЫЕ КЛИКИ

Необычайным я пареньем
От тленна мира отделюсь,
С душой бессмертною и пеньем
Как лебедь в воздух поднимусь.

Державин

Глава первая

БРАТЬЯ БОБРОВЫ

И в кивере его весной
Голубка гнездышко свивает.

Давыдов

Песчаная дорога перевалила сыпучий косогор; вот и опушка; стрельчатые молодые елки аспидно-синими пальцами своими полезли в коляску, пошли хвататься за колеса и цапать лошадей. В темной тишине глубокого бора истомно нависла сладкая жара; сосны раздышались смолистой ленью.

Высоко вверху белые легкие облачки вольготно несутся в обгон друг за дружкой по синему небу. Хорошо им там расплываться и таять в холодных седых просторах: век не знают, беспечные, ни усталости, ни жары, а тут четверка вороных в кровь избилась; фыркают кони и отмахиваются что есть мочи плетеными хвостами от гудящих оводов.

— Стой, Мишка, у Арабчика слепень на холке!

Мишка, путаясь в ливрейных полах, соскочил, ловко хватил зеленоглазого крылатого кровопийцу, обтер наскоро о траву окровавленную ладонь и опять проворно прыгнул на запятки. И опять понеслась коляска. Жарко. Кирила Павлыч поворотился, отдуваясь; тяжеловесным сиденьем своим придавил жареных цыплят и обмахнулся белой своей фуражкой.

— Что, Сергей, устал?

— Нисколько, братец! Как вы?

— Меня не скоро заездишь. Я верхом двое суток могу лупить, не то что в коляске. В фельдъегерской телеге летать случалось. Помню, раз отправил меня этот черт Аракчеев курьером к сибир-

скому губернатору, так я две недели летел как угорелый. Только брюхо ремнем на каждой станции перетягивал крепче, а то бы от почек помер. Два дня отдохнул в Тобольске и назад.

Генерал самодовольно повел черными, круглыми, как у птицы, глазами.

— Французы твои, поди, и не слыхивали про такую езду?

— Да, во Франции ездят тише. Приезжают зато скорее. Потому у них и дело не стоит.

Сергей еще вовсе мальчиком кажет, хоть и пошел ему двадцать третий год. На нем гороховый аглицкий каррик с пелериной; вязаная дорожная фафошка сдвинута на затылок; из-под нее развившиеся темные кудри мягкими кольцами бегут на высокий лоб. Ясные большие глаза счастливо, по-детски, мигают; и небо, и дорога, и синие заросли елок, и кружащий над ними ястреб, и встречный, низко снявший шапку мужик, и шумно вспорхнувший в кустах тетеревиный выводок,— все скользит радостно в их любопытном взоре.

Кирила Павлыч опять велел остановиться и приказал Мишке убить на брюхе у Балагура пеструю строку. «Вредная и подлая эта муха: прокусит лошади шкуру да еще яиц туда накладет». У генерала лицо широкое, румяное, как луна; на нем поднялись недвижно два черные полукруга бровей; усы точно нарисованы над пухлыми губами и подбриты «орликом», в виде распростертых крыльев государственного орла. Глаза блестящие, как у ворона, светятся спокойствием и довольством. И взглядывает Кирила Павлыч по-вороньи, сбоку, и смех у него на карканье похож.

— Дело, говоришь, делают скорей. А много ли у них дела? Одно баснословие.

— Что вы называете баснословием, братец?

— А это когда много воли дают вашему брату, болтунам. Слушаться французы не умеют. Еще Наполеон-покойник был у них парень с головой, туда-сюда, с нами даже тягаться лез, ну, а прочие эти... Да что говорить про французов: народ пропащий.

— Однако у них нет рабов.

— Что же, рабов и у нас нет. Звание раба еще государыня Екатерина отменила, слыхал?

— Звание отменила, а рабство осталось.

— Какие же это рабы? Это дети наши. Мишка, ты раб?

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Слышишь, Сергей? Стой! Сибиряку овод на правую лопатку сел. Мишка, убей!

Кирила Павлыч Бобров в службу вступил шестнадцати лет, еще при Павле, и хоть был роду хорошего и знакомство имел большое, однако генеральский чин удостоился получить совсем недавно, в коронацию молодого императора Николая. Всемогущий некогда Аракчеев неведомо за что возненавидел юного кирасирского поручика, всячески затирал ему ходы и портил карьеру. Теперь, слава богу, прошли аракчеевские времена: при новом госуда-

ре «бес, лести преданный» пикнуть больше не смеет и пришипился в Грузине у себя, как таракан в норе. Из-за него Кирила Павлыч переведен был в армию тем же чином; служить ему пришлось весь век в захолустных местечках Царства Польского, на границе. Горбом доставались ему чины; по пяти лет не видывал он свежих людей. Совсем было отвык от светского общества Кирила Павлыч, выпивать полюбил и в речь научился ввертывать армейские крепкие словечки. Вспомнили о нем, наконец, и произвели его в генералы. Так исполнилась заветная и лучшая мечта его жизни.

Кирила Павлыч проживал в своей Бобровке, числясь в отпуску, когда младший и единственный брат его, Сергей, возвратился из Парижа. Там провел он два года во исполнение воли покойного отца. Сергей в чужих краях не скучал по родине; во Франции ему полюбилось, да надо было ехать в Россию: не те наступили времена. Государь Николай Павлович к проживанию российских дворян за границею отнесся неблагосклонно: у каждого из нас, говорил император, есть свой долг и свои обязанности дома. Долг Николай Павлович ставил и для себя всего превыше. Однажды граф Апраксин назвал себя в царском присутствии слугой России. «Нет,— возразил ему государь,— у России один слуга — я, а вы все мои слуги». Кирила Павлыч, вызывая брата, надеялся, что Сергей примется служить; к немалому удивлению генерала, Сергей не показывал к службе никакой охоты. Два месяца бездельничал он в Бобровке: читал книги, катался верхом да играл на скрипке. Крепко не нравилось все это Кириле Павлычу. Обвинял он во всем Париж и черными словами поминал не повинного ни в чем покойника Вольтера. Теперь ехали братья Бобровы к дальней родственнице своей, княгине Курятевой, гостить; втайне надеялся генерал, что княгиня поможет ему образумить легкомысленного Сергея.

Коляска, между тем, давно миновала бор; вороная четверня мчалась гордо мягкой лесной дорогой по просеке, вдоль сияющей стены белых, гладких, как серебряные колонны, берез. Узкая речка, поблескивая, извивалась кустами; то пряталась в кочках, поросших желтовато-пестрой жесткой травой, то открывала взорам озерки, полузатянутые водорослями и кругами болотных лилий; тогда из-под ног у лошадей вдруг взлетывали, шлепаясь и свистя, огромные кряковые утки; унылый кулик, с криком взвившись, начинал вдруг шнырять как угорелый, считая кочки косым крылом.

Вдруг вдали перекликнулся слабо нежный колокольный хор. Точно воздушная хрустальная колокольня высоко-высоко поплыла в полуденном зное под небесами; точно ветер разрывался, переливаясь в звуки, или зазвенели бежавшие ровно однозвучные стеклянные облака. Звон перешел в ясный, мелодически чистый свист; тотчас в ответ ему зазвучали невидимыми кликами серебряные трубы.

— Что это звенит, братец?

Задремавший было Кирила Павлыч очнулся.

— Это лебеди летят.

— Лебеди?

— Да. У княгини в лесах и в парке птиц этих видимо-невидимо. Еще князь покойный развел.

Многозвучный трубный хор, стихая, замирал в небе; последние клики торжественно и нежно вздыхали струнами оборванных арф. Сергей взглядывал пристально в небо, щурясь.

— Ничего не увидишь. Они верст за сто от нас. Красивая птица. И кричит приятно. Только покойник и тут переборщил. Много их больно развелось теперь. Стрелять надо. Ни в чем меры не знал.

С последним словом Кирила Павлыч всхрапнул и начал дремать, качаясь.

— А ты, Мишка, любишь лебедей?

— Так точно, Сергей Павлыч.

Мишка на запятках вытянул шершавую голову в пропыленном лакейском картузе и осклабился ласково спине Сергея.

— Ты ведь еще папенькин, Мишка?

— Никак нет-с, я сенаторский был. Сенатор Ендовищев (изволили слыхать-с?) меня к папеньке вашему с соловьем прислал. Соловей хорош был у сенатора, настоящий курский. Когда папенька ваш в Петербурге были, соловей-то им и полюбился. Опосле, как уехали они, сенатор им соловья этого со мной и послал в презент. Соловья, да меня на придачу-с.

— Как на придачу?

— Так точно-с. Семьсот верст прошел я с соловьем из Петербурга, нес в клетке, а здесь он с неделю прожил да и подох. И не пел вовсе. Жалели папенька-с. А я вот остался и к их превосходительству в выездные попал.

Генерал пробудился.

— Мишка, монастырь скоро?

— Сейчас будет, ваше превосходительство.

— О чем задумался, Сергей?

— Да все о том же, братец. Что я вам всегда говорю.

— Гм! А ведь ты меня рассердишь эдак. Вот что значит пускать вашего брата к якобинцам. Ну, хорошо, отпусти их, а ты что делать станешь?

— Я умею трудиться.

— А? Трудиться? Трудиться умеет всякий, а ты вот служить сумей.

— Я неспособен к службе.

— Сергей, помолчи, ты уж не маленький, слава Богу. Эпикурничать весь век стыдно.

Сергей покраснел.

— Я умолкаю. Скажу лишь, что ежели одного Велизария могло ослепить тиранство, то всему народу выколоть глаза нельзя.

Кирила Павлыч запыхтел, раздумывая, кто такой Велизарий.

Графа Олизара он знал в Польше, да разве тот слепой? Лошади в это время заворотили к монастырской ограде.

— Некогда мне о пустяках с тобой спорить.— Вылез грузно из коляски, потягиваясь, и стал разминаться.— Мишка, трубку!

Монах, молодой, полоротый, с расчесанной надвое золотистой гривой, выскочил, улыбаясь, из избы с пенистым жбаном квасу.

— Они в квас душицу кладут,— молвил генерал, отдувшись.— Спасибо, отец. На украшение обители.

— Спаси вас Господи.

Сергей медленно прошел по расчищенной дорожке. Среди поляны дымилась бревенчатая изба с крылечком; над колодезным срубом, изогнувшись, склонился скрипучий журавец; студеная бадья роняла каплю за каплей. Монастырская ограда белела невдалеке. Тишина благоухала. Нежно пересвистывались птицы в роще, да фыркали кони, отдыхая. Ветер ласково погладил Сергея по лицу свежей своей рукой, растрепал ему любовно волосы; точно душа покойной матери прильнула на миг, трепеща белыми крылами, к его умилившейся душе. А тут в памяти так ясно-ясно нарисовались вдруг бесконечные парижские булевары, омнибусы, гигантские стекла кофеен, многоэтажные дома и дворцы, громоздящиеся в чудно-пестром беспорядке, кипящие народом скамьи и коридоры университета и неоглядные улицы, сливающие в один клуб миллионы жизней, с их огнями, слепящими жадные глаза, и говором, оглушающим ненасытное ухо. И все это теперь, как тонкий сухой песок, сыпалось и падало в глубь воспоминаний, обнажая душу: пыль золотую развевали родные ветры, пролетая на лебединых крыльях.

Генерал Кирила Павлыч, полеживая в тени на ковровой скамейке, мечтательно устремил в березовую чащу стоячие глаза свои; мерно сипел бисерный длинный чубук с огромным янтарем, пуская голубоватые кольца виться в прозрачности воздушной. Мишка сзади бережно обмахивал барина душистой веткой.

Уже кучер собирался поить коней, а Кирила Павлыч, позабывшись, все еще не показывал никакого расположения к отъезду. По лицу его, свежему и румяному, как у деревянной игрушки, бабочкой ползала счастливая мечта; будто радужные крылья весеннего мотылька трогали точеные усики и порхали на ямке нежного подбородка. Мерещилась Кириле Павлычу прекрасная кузина, с которой игрывал он, бывало, в фанты и танцевал экосез. В солдатском сердце Кирилы Павлыча, как в заветном Пандорином ларце, свято сохранялись, процветая, самому ему незримые нежные чувства к княгине Зенеиде. Впервые завязался их чистый светлый шипок двадцать лет с лишним тому назад, когда Кирила Павлыч был статным красавцем кирасиром (как шел ему белый мундир!), а кузина прелестной, как ангел, двенадцатилетней девочкой. Помнит ее Кирила Павлыч на детском маскараде, с черными, распущенными по плечам кудрями, в греческом светлом хитоне; перламутровый колчан на розовой ленте спускался коварно с лево-

го плеча; легкий лук готовились напрячь, казалось, тонкие пальцы, и мнилось, прозвенела, затрепетав, невидимая стрела и сладкой занозой засела навеки в сердце Кирилы Боброва. С годами затягивалось, зарастая, жгучее жало, но едва приходили вести о Зенеиде, все равно какие: о том ли, что вышла кузина замуж за князя Курятева, богача и самодура, о том ли, что живет она с ним уединенно и грустно, о том ли, что чудачества мужа ее переходят всякую меру, о том ли, что овдовела, наконец, Зенеида,— при всяком упоминании о ней переворачивалось острие в сердце и, раскрываясь, сладостную кровь точила нежная рана.

Давно вдовеет княгиня. После супруга осталась она владетельницей богатств несметных. Молва по губернии ходила, что в подвалах курятевского дворца одна к одной ровными рядами стоят бочки, набитые червонцами, что алмазы и яхонты в сусеках железом окованного амбара пригоршнями надо мерить. Еще лучше (да не слух, а достоверно), что на несколько губерний раскинулись княжеские поместья и десятки тысяч крепостных крестьян день и ночь умножают неисчислимые доходы сиятельной своей госпожи. И когда мысль об этом невзначай пропархивала в круглый генеральский лоб, еще нежней жмурился, как кот на сметану, Кирила Павлыч и еще жарче томилось любовью пылающее сердце.

Уже версты три мечтал так генерал, летя обок с Сергеем в мягкорессорной коляске; улыбался красными губами из-под нарисованных усов и вздыхал блаженно, и ногу на ногу перекладывал, и повертывал белой шеей, покуда Сергей мечтанья его не прервал, сказавши:

— Случалось ли вам, братец, замечать, что монахи с женщинами во многом схожи? Рясы у них шуршат, как будто юбки, и кокетство какое-то в них есть. Точно роль они затвердили. Католические особенно...

— Да и хитры они, как бабы. А до Лебяжьего, должно быть, всего верст пять осталось. Мишка, это колокольня маячит, что ли?

— Точно так, ваше превосходительство, колокольня-с.

— Как раз к обеду поспеем. Ах, Сережа, любезный друг! Всем бы ты хорош мальчик, кабы не якобинство твое. Ой, не доведет оно тебя до добра, вспомни мое слово.

— Да какое же якобинство, братец? Оставим предубеждения прошлого века, будем рассуждать здраво. Мы люди просвещенные. Согласитесь, что рабство есть состояние неестественное?

— Гм... Ну, нет. Еще в Писании сказано...

— Хорошо, братец, об этом я с вами не смею спорить. Но с тем, что рабство унизительно, вы, без сомнения, согласитесь. О телесных наказаниях я уже не говорю.

— Да что же делать? Не распускать же их, подлецов.

— Но я даже и это оставлю. Отеческое наказание для примера

могу я допустить. Но, братец, для души рабское состояние не есть ли высшая степень униженья? Душу человеческую нельзя трактовать, как спину. Спина может зажить от побоев самых бесчеловечных, а на бессмертной душе неизгладимо ляжет клеймо рабства.

— Красно говоришь, да больно непонятно. О душе заботиться не помещичье дело. На то попы есть.

— Вы, братец, не хотите меня понять. И, между прочим, не замечаете, что рабство может привести отечество наше на край бездны.

— Отчего ж так?

— Рабство есть единственная революционная стихия, которую имеем в России.

Генерал зевнул.

— Русскому человеку некогда думать о пустяках.

— А что пустяками вы зовете?

— Да вот всякие эти твои бессочные сужденья. От них ни хуже, ни лучше. Говоришь, говоришь, а что такое и к чему, непонятно. Видал я свистунов таких еще раньше, как сам помоложе был. Явится в полк эдакий дрягиль-прапорщик и начнет чесать, как по писаному. Я, бывало, только смеюсь себе: молодежничаешь, голубчик, погоди! И точно: пройдет годик-другой, глядь,— все как ветром сдуло! Ходит на службу, танцует мазурку с полячками, а ежели провинится солдат в строю, велит его так отпендрячить фухтелями, что любо-дорого. И с тобой то же будет.

Сергей не слушал. Он следил рассеянно, как бежали навстречу коляске, благоухая, волны поспевающей ржи, как полосу овса перебивала вдруг полоса гречихи, как, мелькая, кланялись ветру робкие полевые цветки. До самого края неба, куда ни кидался взор, желтели и чернели рядами то вспаханные, то засеянные поля; орали над ними, носясь черной сетью, белоносые грачи. Пестрый крашеный столб запечатлел на мгновенье в глазах Сергея свою черную цифру.

— Но как же, братец, говорят, будто покойный государь положил непременно даровать конституцию и только...

Кирила Павлыч серой дорожной перчаткой зажал Сергею рот.

— Что уж это, Сергей, ты прямо с ума сходишь. Чтоб я эдаких слов от тебя больше не слыхал. На что это похоже? Да еще при хамах...

— Простите, братец, я...

— Стыдно! Ты нашу фамилию срамишь. Ну, сохрани Бог, ляпнешь эдакое при княгине: и себя подведешь, да и меня тоже. Сейчас же слово мне дай, что недозволенного говорить не будешь.

— Помилуйте, братец, да разве я хотел? Извольте, даю слово. Не сердитесь только.

А уж впереди на склоне встал, как нарисованный, княжеский дворец. Белая его громада с круглым куполом и тремя рядами окон благоволительно взирала перед собой. От главного, большого дворца, простершись направо и налево, стройными колоннадами воздымались два малых. Парк притаился позади черной нависшей тучей.

— Нет, надо тебе поступить на службу. Тогда все само придет. Да иначе и жить нельзя. Без дела у нас помрешь со скуки. Ты на парижских-то приятелей не смотри. Пусть их там языком молотят да стишки мечут, как рыба икру, тебе на них глядеть нечего.

За дворцом блеснули пруды, огромные, как озера. С дороги водная равнина казалась зеркальным морем.

Усталая четверня вылетела с дороги на мягкий стриженый луг, проскакала в тяжелые ворота с двумя бронзовыми кентаврами на мраморных столбах и, шарахнувшись слегка от белого огромного Аполлона, простиравшего навстречу приезжим победную руку, подкатила коляску к среднему из пяти подъездов, осененному высоко сиявшим гербом с изображением лебедя под княжеской короной, держащего в клюве солнце.

Ряд ливрейных лакеев в красных кафтанах, чулках и башмаках выстроились полукругом, низко склоняя напудренные головы. К генералу приблизился с поклоном огромного роста пожилой красавец в синем фраке с гербовыми пуговицами и в пышном жабо.

— С приездом, ваше превосходительство,— молвил он и, осклабясь, поклонился Сергею.

— Здравствуй, Скворцалупов. Как поживаешь?

— Помаленьку, ваше превосходительство. Пожалуйте, все готово. В левое крыло вас сведу. Двенадцать комнат приказали отвести вам ее сиятельство.

Дворецкий пошел впереди легкой плавной походкой, хоть паркет так и потрескивал под стройными его ногами. Когда, указывая дорогу, Скворцалупов оборачивал к гостям орлиный свой профиль, в лице его сквозь приятную учтивость проступала располагающая умная твердость; сквозила она и в полузадумчивой улыбке полных, как у лорда Байрона, губ, и в завитках темно-русых, спереди взбитых коком волос, и даже в расходившихся мягко синих полах фрака.

Кирила Павлыч и Сергей, предшествуемые Скворцалуповым, миновали ряд высоких нежилых комнат с узорными каминами, бронзовыми курильницами и штофной мебелью, осененных зеркалами и портретами в овальных золотых рамах.

— Здесь спальня для вашего превосходительства, а вот тут для Сергея Павлыча,— сказал Скворцалупов.— Умываться сюда пожалуйте.

Дверь приотворилась; белели за нею две приготовленные ванны.

— Мою коляску ты отправь, Скворцалупов. Молодчина ты, братец; в тамбурмажоры бы тебя.

Кирила Павлыч, расстегнувшись, погладил жирную волосатую грудь и взглянул искоса на Скворцалупова, как бы ожидая одобрения словам своим. Но, как из меди изваянное, прекрасное лицо дворецкого осталось недвижимо. С достоинством поклонившись, он величаво вышел.

— Душелаз этот Скворцалупов,— заметил Кирила Павлыч.

На генеральском брегете тонкие, червонного золота стрелки не обошли еще полного круга, как Скворцалупов опять явился: ее сиятельство приказала просить гостей к столу. Кирила Павлыч был великолепен. Раздобревший, опоясанный пестрым шарфом стан его затянут был в новый мундир с короткими сборчатыми фалдами назади; жирные эполеты трепетали на выпуклых плечах; лосиные белые рейтузы на полных, как желе трясущихся икрах схвачены были у колен золотыми пряжками; на лакированных башмаках чуть слышно позвякивали серебряные шпоры. Теперь, притопырившись перед зеркалом, генерал тщательно рассматривал румяное пучеглазое лицо свое с выбритым дотла подбородком, с вихром на лбу и тирбушонами на висках и пытал, плотно ли прикрывает глянцевитая накладка на темени маленькую, похожую на стертый целковый, плешь. Сергей подле осанистого брата казался теперь еще тоньше и бледней. На нем был коричневый с высокой талией фрак, полурасстегнутый по моде белый жилет и сапоги с кисточками; из-под намотанного на шею шелкового платка выставлялись тонкие батистовые воротнички. Сергей не прикоснулся к раскаленным щипцам и оставил в природной простоте свои шелковистые вьющиеся кудри.

Ровные, лиловым бархатом обтянутые ступени подымались из вестибюля между двух исполинских мраморных колонн; длинный ряд их приводил к четырехугольной площадке со статуей богини Гигии, белевшей в стенной нише; с площадки этой лестница, раздвояясь, звала наверх. По два золоченых бронзовых канделябра возвышалось на каждом повороте; с лепного потолка спускалась гигантская многосвечная люстра. Миновав лестницу, гости увидели себя в зеленой приемной комнате; отсюда через проходную столовую египетского стиля очутились они в малиновой гостиной.

Здесь все двери, карнизы и амбразуры окон изукрашены были восхитительной резьбой. Гирлянды цветочные разбрасывали далеко вьющиеся побеги; букеты чередовались с листьями аканфа, и переплетались, сияя жаркой червонной позолотой, причудливые фигуры виноградных кистей и лоз. На огромном, во всю стену, портрете императрица Екатерина Великая скипетром в простертой деснице указывала на курившийся перед ней алтарь.

Двери распахнулись вдруг. Зашумело шелковое платье.

Глава вторая

НЕУВЯДАЕМАЯ РОЗА

Блестит среди минутных роз
Неувядаемая роза.

Пушкин

Пышность во дворце княгини Зенеиды (домом невозможно было именовать величавую громаду в шестьдесят с лишним комнат) с выдержанностью строгой красоты соединяла торжественный и спокойный вид. Необозримыми анфиладами устремлялись покои, сохраняя в самом разнообразии своем благородное единство. В громадном двусветном зале, куда в предшествии хозяйки взошли гости, у мраморных стен литая из золота мебель возвышалась скромно и незаметно; вдоль лепных карнизов, почти под потолком, врезаны были живописные медальоны с портретами всех государей земли русской, от варяжского князя Рюрика до государыни Екатерины. Во дворце было несколько изображений великой императрицы на мраморе и полотне: покойный свекор княгини Зенеиды, старый вельможа и сподвижник Румянцева, обожал Фелицу. Именно здесь, в парадном зале, на потолке написана была Екатерина во образе Минервы: в шлеме и с копьем восседала она на облаке, окруженная гениями и богами; у ног ее орел метал огненными перунами в поверженных турок. Далее, в малой гостиной, где вокруг малахитовых столов чудесной работы располагались пальмовые стулья со спинками в виде лир, высилась из мрамора высеченная статуя Екатерины в римской тоге. Тем страннее было видеть в гостиной грубыми гвоздями приколоченные к косякам старые грязные подковы — памятник суеверий князя. Его же большой портрет, усмехаясь злорадно, щурился со стены.

В столовой гостей ожидала у приготовленного стола пудреная челядь, и с горделивой важностью взирал перед собой, став у резного буфета, задумчиво-величавый Скворцалупов. Сергей не мог наглядеться на мощного красавца, в каждом движении коего как бы помимо воли сквозило благородство: словно не слуга стоял перед ним, а переряженный в слуги рыцарь, облеченный к тому же всесильной властью. Тени нельзя приметить было в приемах Скворцалупова услужливости или раболепства; казалось, с самою княгиней обращается он, как равный.

Кирила Павлыч за столом сидел по левую руку хозяйки; по правую Сергей. Из того, как генерал, сладко и маслено закрывая вороньи глазки, беседовал томным голосом с хозяйкой, как взглядывал на нее бессмысленно-нежно и вдохновенно-мутно, как приближал под столом незаметно для самого себя обтянутую белым шелковым чулком полную икру к шуршащему шлейфу Зенеиды, в увлечении красноречивом как бы готовясь сползти со стула и скользнуть к прелестным ногам,— изо всего этого явствовало

несомненно, что старинные чувства, тлевшие в сердце генерала Боброва, пышут пламенем жарким и быстровейным.

Сергей, в противность влюбленному брату, чувствовал неведомо отчего возраставшую тоску и скучал. Велеречивый Кирила Павлыч, овладев нераздельно вниманием хозяйки, дал тем возможность Сергею остановить взоры на княгине Зенеиде и запечатлеть в памяти образ ее несравненной красоты.

В тридцать пять лет княгиня распустилась полной июльской розой; до единого каждый лепесток достиг предела пышности, красоты и силы, и благовонными чарами лета, мнилось, дышал ее расцвет. Только розе и можно было уподобить красу княгини: такая вот в жаркий летний полдень, колеблясь и млея, пьянит пчел золотых благоуханием царица заветной клумбы. Подобной ей не найти другой в пышном цветнике: она одна. В темно-красные, будто сладостным вином напоенные, складки бесчисленных лепестков не смеет забраться муха поганая, не шлепнется шмель тяжелый; нежно ее охраняя, один вдохновенный соловей всю ночь ей поет про свою любовь. Но не похож был на соловья разливавшийся сладко Кирила Павлыч, и, чудилось Сергею, иного ждет певца, слушая его, княгиня Зенеида. На белом продолговатом ее лице с широко-выпуклыми очами, под торжественным венцом тяжелых, черных, как полночь, кос невозможно было приметить ни вниманья, ни скуки; прелестный, с выдавшейся едва нижней губою, алый рот улыбался приветливо и ровно, но и тут не понять никак, радуется или скорбит княгиня. Девственной нежностью веяло от спокойного чела, безоблачного, как пруд вечерний, отражающий золото-синее небо. И казалось Сергею княгиня неувядаемой пышной розой, которой никто в мире не касался еще устами. Улыбка ее, изгибаясь трепетно и неуловимо, сулила, казалось, неслыханное счастье. Легкий стан чуть покачивался, как тонкий стебель, воздымаясь из широкого, раскинувшегося серебристыми, словно водяными, кругами платья. На нежных мраморно-белых пальцах не виднелось ни колец, ни перстней, а розово-перламутровые уши, видно, не смела пронзить ни разу свинцовая игла.

— Радуюсь, что вам у меня нравится, дорогой кузен,— по-французски промолвила княгиня, уловив миг, когда неутомимый говорун взялся за поднесенную ему Скворцалуповым чарку столетней литовской водки.— Но отчего у вашего брата такой печальный вид? Уж не больны ли вы, Сергей?

— Нет, я здоров, княгиня,— мелодичным голосом ответил Сергей и покраснел, нечаянно уронив салфетку.

Княгиня, приметив его мгновенное смущенье, улыбнулась загадочно, и глаза ее потемнели: так на вечерние небеса набежит вдруг предзакатное облако, несущее в себе завтрашнюю грозу и бурю, и отразится на миг в стальном разливе пруда.

— Прошу вас, не зовите меня княгинею: для вас я только кузина,— сказала Зенеида, и речь ее ровным журчащим пением отозвалась в сердце Сергея. Он взглянул на брата, но Кириле Павлычу

было уже не до комплиментов: все внимание свое устремил он жадно на прелести стола.

Было на что смотреть сластолюбивому объедале: на блистающей скатерти бутылки, подобно войскам пехотным, построясь в каре правильными рядами, окружали провиантский обоз тяжеловесной снеди: памятуя, что кузен во французской кухне не знаток, а любит покушать плотно, княгиня приказала закуску сготовить российским поварам. Перед восхищенным генералом дышали, чуть-чуть ворча в остывающем нежно-пузыристом масле, пироги долгие, косые и круглые из щучьей телесы, пирожки маленькие, рыбные и грибные, начиненные сливочной кашкой с пшеном сорочинским, звеньями лосося и семги; белужье огниво с присолом из живых щук, широкобокие лещи и янтарная стерлядь испускали душистый пар. Завидя жирную салфеточную икру, бархатно-черную и нежную, как ланиты юного арапа, Кирила Павлыч не в силах был сдержать восхищенного восклицанья:

— Райская у вас закуска, дорогая кузина! Дивлюсь одному: откуда столько рыбы у вас? В озерах она, знаю, не водится, а Волга отсюда далеко.

— Этого я не знаю, кузен. Я велела Скворцалупову узнать, что любите вы, и подать к столу, а откуда все это принесено, не знаю. А что предпочитаете вы в музыке, кузен? Мой капельмейстер учился у Козловского и сыграет все, что вам будет по вкусу.

От нескольких чарок старки и бутылки клодвужо Кирила Павлыч раскраснелся и понемногу стал приходить в состояние неизреченного блаженства. Ему хотелось смеяться и быть ближе к хозяйке; на сказанные ею слова он, улыбаясь широко, молвил:

— Пуще всех Моцартов обожаю я, кузина, нашу российскую «При долинушке стояла», ее и прикажите сыграть.

Неуловимая улыбка, мелькнувшая на припухлых, как малина, устах княгини, перелетев на полные губы дворецкого, взошедшего не спеша на хоры передать приказание капельмейстеру Евтихию Лукичу, оставалась на морщинистом лице старого музыканта во все то время, покуда оркестр играл однообразно-веселую мелодию знаменитой песни. Кирила Павлыч пребывал в совершенном восторге. Единственно для него в продолжение обеда неслись с хор разудалые коленца «барыни», сочиненной некогда самим Козловским, и лихо завывал наянливый «спиря».

— А что вы хотите выслушать, Сергей? — спросила княгиня.

Глотками пробуя старое венгерское, Сергей оживлялся подобно брату, но не грубое наслажденье отражалось в его лице: оно сияло вдохновением тихим и светлым. Из-под вьющейся мягкой пряди ниспавших на лоб кудрей синие глаза юноши устремлялись вдаль; при нечаянном вопросе встретились они вдруг с ночными очами Зенеиды; потупясь и розовея, Сергей сказал:

— Я не знаю, кузина, умеют ли ваши музыканты играть лю-

бимый мой вальс, что слыхивал я часто в Париже; называется он «Песнь цветов».

С хор весело полился воздушно-легкий весенний дождь; «Песнь цветов» зазвучала и пела нежно; серебристые капли, падая, нарастали в звучно-струистом плеске. Вот, заливаясь, перешли они в звенящие томно ручьи, ручьи в фонтаны; искристые, заплясали они высоко-высоко, к самому небу взвевая алмазную радужную пыль. Реками необозримыми шепотно пронеслись и с гор ревущими водопадами ниспали. Вот зарокотали по утесам седые валы, вынося себя безмятежно в лазурное тихое море; зароптали орлы на кручах; на орлиных крылах полетел Сергей сквозь мглистую даль. И вот уже он в царстве цветов, средь безмятежной долины. Цветы поют ему, кружась, и тысячи тысяч тонких голосов, составя тихие хоры, ведут его невидимо за собою; он весь в цветах. Цветы окружили Сергея, клонят к нему утомленно венчанные головы и поют, поют. Тише, тише... И вдруг в ответ замершему хору далеко и близко прозвучал другой, знакомый и чуждый хор. Ласковый, матово-чистый свист, похожий на звон далеких, серебром оперенных летящих колоколов, смешался со звуками, подобными скрипкам и трубам, но тише их и звучней. Пение летело с небес; дивная гармония вторила умолкнувшим земным звукам.

Сергей вздрогнул. Княгиня улыбалась ему. Кирила Павлыч вздремывал над тарелкой.

— Это лебеди? — спросил Сергей тихо.

— Лебеди,— еше тише ответила княгиня. И качала полузадумчиво прекрасной головой.

— Славная птица,— заметил генерал.— И легка на помине,— прибавил он, увидя перед собой раззолоченного лакея с огромным блюдом в руках.

На блюде, покачивая царственно изогнутой шеей, вздымался белый лебедь: совсем бы живой, только через оба его крыла проходили крест-накрест два золотые вертела. Генерал положил себе изрядный кусок белого мяса. Сергею не захотелось есть лебедя: не подымалась рука рушить зажаренного певца, и он предпочел ему сарданапалову бомбу, кулинарное ухищрение княжеского повара-француза. Под сквозящей нежно оболочкой пропеченного румяно-рассыпчатого теста млела восхитительная начинка из разнообразнейших частей дичи, облитой эпикуровым соусом из ост-индской ягодной мадеры.

Кирила Павлыч приметно начинал советь, хотя, по долгу учтивого и приятного гостя, не уставал обращаться к княгине с разговорами, восхваляя восторженно ее красоту. Княгиня Зенеида оказывалась из его слов то розою без шипов, то пчелой без жала, то богиней любви, то царицею чьего-то плененного ею сердца (несомненно, что в последнем случае генерал разумел самого себя). И по-прежнему с благосклонно-светлою улыбкой выслушивала его княгиня, обращая признательно на кузена свои бездонные очи. Но по мере того, как тяжелел, хмелея, Кирила Павлыч,

Сергей все более оживлялся. Он уже без робости встречал княгинин взор и незаметно овладевал беседой.

— Нет, кузина, сердце мое свободно. Любви я еще доселе не знал.

— Почему же случилось так? — допрашивала любопытно княгиня; как женщину, больше всего на свете занимали ее любовные дела, все равно чьи, все равно какие; теперь поражена она была признаньем Сергея и в тайне души ему не могла поверить.

— Потому, кузина, что не встретил еще я той, кому сердце мое отдам навеки.

— Навеки?

— Да. В любви, замечаю я, иные люди календарям подобны: меняются ежегодно. Я же не таков. Обновляться в любви я не сумею.

— Это так кажется вам, кузен, вы еще очень юны.

— Нет, я в себе уверен. К тому же девство души, как и тела, беречь необходимо. Всякая дева — Жанна д'Арк, то же и душа. Ежели ничто не коснулось ее, она качает горами, но лишь раз стоит ее тронуть, и сама она от безделицы покачнется.

Сказав это, Сергей вдруг смутился и замолчал, пылая румянцем. Пришло ему в ум, что могла увидеть в словах его неловкий намек кузина. Но Зенеида просветлела от Сергеевых слов. Прекрасное лицо ее не изобразило тени волнения; она улыбалась ясно.

Слуги внесли десертные блюда, покрытые высокими стеклянными колпаками с изображением фигур этрусских. За ними четыре человека поставили торжественно на стол исполинский пирог на необъятном блюде. Кирила Павлыч с изумлением воззрился: целая крепость из теста высилась перед ним; казалось, с ножом и вилкой нечего и подступаться к ней: надобно на стол вкатить тяжелую пушку, чтобы выстрелами разрушить оплот пирожный. Не успел генерал выразить вслух изумление свое при виде чудовищного яства, как пирог внезапно заколыхался, подрумяненная твердыня, обвалясь, рассыпалась, и из груды корок, отряхаясь, выскочило странное существо. Ростом с пятилетнего младенца, с развевающейся по пояс сивой широкой бородой, жуткий карлик весело моргал выпученными глазами и прихлопывал в сморщенные костлявые ладони. Потом с ворчанием из-под нависших, как крылья совы, широких мягких усов выхватил он из груды пирожных обломков второй сладкий пирог и понес его, кривляясь и прыгая через тарелки, по столу к княгине. Выждав, чтобы взяла она кусок пряного лакомства, карлик прыгнул к генералу и, разглаживая ему на темени накладку, крикнул голосом пронзительным и пискливым:

— Ишь, молодчик какой! Хорош, хорош Кирила, толстое твое рыло! Робеть не робей, а лебедку с налету бей!

И одним прыжком по белоснежной скатерти подскочил к Сергею.

— Тебе нашего курятевского пирожка не дам, не про тебя он,

друг милый. От моего пирога вырастут у тебя рога. И не проси, не дам.

— Сычик,— сказала княгиня ласково, меж тем как Кирила Павлыч, озадаченный, пыхтел, не зная, что выразить ему, одобрение или недовольство,— за что ты гостей моих обижаешь?

Но Сычик, прыгнув под стол, зачавкал у княгинина кресла свой кусок, урча, как собака.

Мраморное чело Зенеиды потемнело.

Сычик, он же карла-головастик, привезен был из Петербурга покойным князем. При жизни своего господина он был невидим и скрывался от людей на чердаках и в подпольях; один Скворцалупов водился с ним; он же кормил карлика и оберегал от дворовых. Как ни трепетали слуги перед князем Курятевым, из них не один проговаривался иногда в людской: «Пришибить давно пора проклятого карлу: от него, братцы, на князя всякая нечисть находит». Слух зловещий и таинственный бродил в курятевском доме; говорили старики, что с Сычиком князя связала роковая тайна и что хотел бы князь, да не может отделаться от страшного карлика, которого сам никогда не видит. У Сычика бесовское лицо. Обкорнай серые крылья ушастой неясыти, сове болотной и пусти ее среди бела дня на несмятый луг, так же вот, быстро припрыгивая и спотыкаясь нелепо, забродит она с шипящим глухим урчаньем. Похож и вправду курятевский карлик на сыча огромными желтыми глазами; нечеловечье что-то просвечивает в них; не выносит никто тусклого их взгляда; страшна и еле видимая улыбка из-под нависших серых усов. Поздно вечером, как стемнеет, поди в Китов овраг, за Лебединую рощу, с верной кремневкой, засыпь на полку пороху, не жалея, и стань на самом краю обрыва под скрипучей березой. Увидишь, как начнут извиваться мягко и беззвучно над головой твоей сумеречные совы, выкликая нежно луну; выжди ту, что промчится ближе всех, и на мягком повороте выстрели; тяжко брякнется убитая на дно оврага, прошуршав кустами, и рассеются с жалобными криками ее подруги, прежде чем сникнет разостлавшийся над обрывом синий ружейный дым. Ровно через неделю сызнова приходи на то же самое место; спустись по росистой тропинке меж заросших кустов жимолости, волчьих ягод и ореха вниз; там, в листах узорного папоротника, найдешь свою сову. Гудят над ней мухи зеленые и золотые; чуть-чуть покачивают ее, подрываясь, черные и красноватые жуки: хлопочут заботливо о совиной могиле. Ежели не противно, поднявши птицу за хвост, отдери ее закостенелое крыло: тогда будешь знать, на что похож рот у бородатого карлы. Но никому не дает в обиду Сычика красавец дворецкий, и княгиня сама, нежная и прекрасная, как роза, допускает до себя гнусного урода и пирожное не брезгует принимать из поганых его рук.

Встали из-за стола. Не сразу поднялась с кресел своих княгиня: карлик, спрятавшись к ней под подол, замотал искусно вокруг столовой ножки необъятный шлейф, перепутав притом кружевные

юбки так, что не вдруг удалось развернуть их цветистую гирлянду. Кирила Павлыч, предложив руку княгине, не успел сделать с нею и двух шагов, как почувствовал престранную неловкость: что-то, задевая, ударяло его слегка по левой ноге. Покосившись из-за расшитого тугого воротника, генерал с ужасом заметил, что в правую полную икру его всажена глубоко серебряная вилка. Хотя кровавой опасности в сем случае не было никакой, генерал однако же предпочел бы лучше быть раненным в ногу хотя бы вилкой, чем обнаружить перед кузиной одну из сокровеннейших тайн своего туалета. К счастью, Зенеида не видела или не хотела увидеть проказу карлика, и вскорости Кириле Павлычу удалось вытащить неприметно из ватной икры своей предательскую вилку. Один лишь Сергей встал из-за стола безо всяких препятствий.

Княгиня, видя утомление гостей, предложила им отдохнуть. Опять Скворцалупов повел их через анфилады комнат, мимо картин, статуй, портретов, курильниц и расписных дверей, и, только очутившись, наконец, в постелях, братья Бобровы познали усталости своей истинную меру.

Глава третья

КНЯЗЬ КУРЯТЕВ

Отбыл он без бытия.

Баратынский

Покойный князь Федор Сергеевич Курятев в свете прозывался Адамовой головой, ибо с ранней молодости своей был он, как Йориков череп, лысый. Но при правильных, на египетский лад, очертаниях смуглого лица и пронизывающем, остром под черными дугами-бровями взоре, князь не столько безобразен был, сколько неприятен. В детстве он учился у дьячка складам, после, юноше, француз-эмигрант передал ему тайны парижской речи, а восемнадцати лет он был уж поручик гвардии. Князь Федор осиротел рано. Необузданный нрав свой начал он проявлять еще в Петербурге. О кутежах молодого Курятева шумела столица. Когда на дачу к нему съезжались гости, всех кучеров и извозчиков по приказу хозяина напаивали допьяна шампанским; княжеские слуги разжигали трубки гостям пачками ассигнаций, а золото дворецкий горстями швырял в окно кричавшему «ура» народу. За достоверное рассказывали, что однажды князь Курятев, будучи застигнут на бале проливным дождем, приказал слуге насыпать у подъезда ворох бумажных денег, чтобы по ним перейти и сесть в карету, не замочив лаковых башмаков.

В добрый час молвить, в худой промолчать, было в князе нечто не вполне объяснимое, но такое, что и объяснять не хотелось; у того

же, кто пускался в рассуждения, рука сама собой творила крестное знаменье и волосы подымались дыбом. Когда, всматриваясь пристально в глаза собутыльнику, князь вдруг начинал ему кивать и улыбаться, причем два ряда ослепительных зубов, горящие глаза и блистающий острый череп являли собою сплошную маску, всякого невольно пронизывала дрожь, будто забирался холодный кто скользкими лапами прямо в сердце. Хохотал князь пронзительно и протяжно, надрывая душу визгливым воем: так в бурную полночь филин кричит в ущелье. В самых веселых выходках князя и в его причудах, чуялось, не все было благополучно: нездешний кто-то, знать, повелевал его волей и правил движеньями и речами; порой по гримасе темного лица было видно, что не то слово хотел сказать князь, какое вылетело само из уст его. Та же непонятная склонность к диким шуткам, должно быть, понудила его на превосходном своем портрете работы Боровиковского сложить три пальца правой руки в непристойную эмблему.

Тем большее удивление в светских гостиных породила весть, что князь Курятев объявлен женихом первой петербургской красавицы Зенеиды К. Чудной деве минуло едва лишь шестнадцать лет, и обаятельная ее краса только что распустилась майским первоцветом. Жутко было глядеть, как к благоуханной ее щеке, разгоравшейся заревым блеском под набегающими волнами смоляных кудрей, приближал порою жених желтый сухой свой профиль со злобно ощеренною усмешкой. Князь немногим был старше Зенеиды, но казался стариком. Родители прекрасной невесты плавали в неописуемом восторге: еще бы! сватался за нее богатейший жених во всей империи Российской. Царской пышности подарки тронули вскорости сердце самой красавицы: редкая женщина устоит перед чарованиями богатства. Спервоначалу дичившаяся и красневшая невеста быстро осушила слезы, коими сопровождались первые встречи ее со страшным женихом; веселая, с розовой улыбкой, выбегала она к нареченному на тонких, нежно скользивших каблучках, позволяла целовать округленные руки свои, плечи и ланиты и сама с нежностью касалась устами мертвенного черепа, от коего, казалось, дышало тленьем. Лобзая Зенеиду, князь впивался в цветущие ее прелести, как костлявый упырь в живое тело, и тогда бронзовые уста его начинали разгораться желтоватым светом, как будто с розовых плеч невесты перелетал на них девственный животворный пламень.

Разное пророчили нареченным, но без пророчеств никто обойтись не мог. То сулили обоим гибель, то предвещали быть князю рогоносцем, то уверяли, что не снесет молодая княгиня адского нрава мужа. В одном лишь все предсказатели сходились единодушно, что дом Курятевых будет самым блестящим в Петровой столице.

Не сбылось ничего, и все по-своему судьба перерешила.

Перед свадьбой князь пожелал совершить старый российский обычай: справить мальчишник и проститься весело с холостой сво-

бодой. На собственной княжеской даче, на десятой версте от Петербурга, под непрерывный гром музыки четырех гвардейских полков, разливанное кутежное море выступило из берегов. Князем устроен был великолепный банкет с ужином, фейерверком, иллюминациею и балом. Сад и цветники заняли солдаты; весь свой полк угощал Курятев: дюжие гвардейцы пожирали, чавкая, диковинные форели, бекасину, котлеты à la Richelieu, давились устрицами и трюфелями; редкостные соуса капали с жестких усов солдатских; утираясь рукавом, запивали усачи драгоценные блюда золотистым аи и старым венгерским эстергази. Всю ночь грохотала музыка, ликовали хоры, и гости носились по залам в танцах с веселыми красотками, нарочито привезенными из Петербурга. Когда же совсем рассвело, хозяин и гости усадили девиц в открытые коляски, а сами, поскидав мундиры, в русских рубахах, кто на козлах, кто на запятках, во всю прыть пронеслись по Невскому на удивление пробуждавшейся столицы. Князь превзошел в этот раз самого себя: впереди всех проскакал он верхом по улицам голый, в чем мать родила, и как скакун под ним был арабский, чистейшей крови, то в погоне за ним полицейские, как ни ухищрялись, а не могли поймать шалуна. Голый всадник умчался обратно к себе на дачу, а часа через два явился к нему фельдъегерь с высочайшим повеленьем: немедленно выехать на житье в деревню под строгим запретом возвращаться в Петербург. Того же числа состоялось исключение из службы.

Пришлось князю Курятеву подчиниться монаршей воле. Своевольный и бесчинный, в последний раз потешил он свой самокрутный нрав, обвенчавшись с Зенеидой наскоро, в походной церкви, перед тем как садиться в дорожную коляску. Заплаканная, села с трепетом молодая княгиня подле скалившего злобно зубы супруга и в один миг сокрылась из глаз опечаленной родни, как несчастная Ленора со скелетом у Жуковского в балладе.

Поселившись безвыездно в вотчине своей, селе Лебяжьем, князь первым делом захотел сблизиться с соседями. Сближение это понимал он весьма своеобразно. Люди умные говаривали потом, что все добрые начинания князя Курятева кончались для его знакомых нехорошо. Первое время соседи богатые и мелкотравчатые летели, как мухи к меду, на княжеский двор, но вскорости прилив гостей отхлынул вспять с еще большей силой. Оттого ли, что многие не в состоянии бывали перенести крепость чужеземных из княжеского погреба вин, а иные ими и насмерть опивались; оттого ли, что боялись гости кататься на бешеных княжеских жеребцах, искалечивших не одного любителя верховой езды; по иным ли каким причинам, только пышный дворец князя Курятева пустел с каждым годом.

А уж, кажется, как бывал щедр и внимателен князь к гостям своим! Бывало, в торжественный день рождения или именин всю губернию созовет он на парадный обед. К главному подъезду дворца, строенного знаменитым Гваренгием, подкатывала золоченая

восьмистекольная карета цугом; выходит князь: алмазные пуговицы жилета играют на солнце радужными снопами, фрак застегнут, и черная высокая шляпа надвинута до бровей. Подле садится величаво-прекрасная княгиня в белом платье, с бирюзовым убором на черных волосах. Так следуют они по селу, сопровождаемые перезвоном двух колоколен и кликами народа. Затем княгиня остается в церкви слушать молебен, а князь один возвращается во дворец. Музыка встречает его торжественным полонезом, гости приносят поздравленья; князь всех приглашает в столовую, и начинается пир. Все как будто бы хорошо, как говорится, честь честью, но и тут оказывалось нечто такое, что в смущение приводило многих. Почему сам князь никогда не бывает в церкви и ворочается домой не с княгинею, а один? почему за столом парадным он ничего не пьет и не ест? Усядется в резные свои, подобные трону, кресла, подопрет узкими ладонями сухое, желтое, как лимон, лицо; зубы скалит, кивает, а там вдруг и скажет громко дворецкому: налить, мол, такому-то Ивану Иванычу бокал вина. И не было примера ни разу, чтобы хоть один гость да посмел отказаться от княжеского угощенья, а уж куда как не сладко бывало, до кого ни доведись, пить под сверлящим хозяйским взором. И сюрпризы всяческие устраивал князь гостям, да нелепые и тут у него выходили шутки. Сидят, бывало, все за ужином, человек сто с лишним, чинно, спокойно, едят, пьют под музыку; вдруг из бесчисленных свечей столовых с грохотом и треском взлетает роскошный фейерверк; римские свечи, визжа, пускают огненные колеса, букеты зеленые и красные брызжутся пламенем, шипят и свищут, а там все погаснет, клубами заходит по столовой смрадный чад, и только слышится в темноте завывающий, гнусливый, как у шакала, одинокий хохот. Может быть, потому еще разладились княжеские пиры, что никогда не могли на них гости Курятева забыться вволю: кажется, пьют и пьют, сколько влезет, за здоровье его сиятельства, а все молчат да поглядывают на хозяина с опаской: из каждого клещами вытягивать надобно по единому слову. Так и перестали ездить в Лебяжье соседи.

Княгиня на людях показывалась редко, и знали все, что нигде никогда она не бывает, кроме как в церкви. Никто сказать наверно не мог, счастливы ли супруги. По всей видимости, князь относился к Зенеиде равнодушно: ни одного слова никогда не уронил ей при посторонних, ни разу беглым взглядом не показал своего участия к супруге. Конечно, доподлинно никто не знал, да и знать не мог, о чем говорят и как обходятся между собой князь и княгиня Курятевы, когда вдвоем остаются в необозримых покоях великолепного своего дворца; достоверно все знали лишь одно: что жили они на разных половинах и что тяжелую дверь своей опочивальни княгиня всякую ночь замыкает изнутри тройным оборотом хитроумного, со звучною музыкой, аглицкого замка.

Время меж тем текло, и с каждым годом князь становился чуднее и нелюдимей. Он начал дичать. Все реже и реже появлялся

он в высоких, двусветных залах дворца и в помпейской галерее, где литые из золота лестницы воздымались вдоль стен, чтобы удобнее было созерцать картины. Безвыходно засел князь Федор в своем кабинете. В стеганом халате из камчатских розовых соболей, сжимая в руках драгоценную табакерку, неведомо на что целый день щурил он провалившиеся в темные впадины глаза и поводил судорожно оскаленными зубами. Один любимый князев камердинер, Скворцалупов, являлся каждый день без доклада к барину, в неурочное же время призывался он пронзительным кратким свистом. На косяках и на дверях в кабинете прибиты были подковы ломаные и цельные, найденные в разное время князем; под кроватью в клетке сидел, перешептываясь, петух, черный, с багряным гребнем: петуха домовой боится. При утреннем крике колдовской птицы пробуждался князь, и тотчас проворный Скворцалупов бегом спешил внести в спальню пылающие канделябры. Но ни разу в этот жуткий час силач камердинер не смел глянуть князю в лицо, хоть чуял, что сам князь на него в упор, глаз не спуская, смотрит. Скворцалупов помнил хорошо рассказ о том, как до него служившего казачка в шутку пугнул однажды князь: утром схватил его вдруг за горло и крикнул петухом; мальчик тут же со страху упал и поднят был мертвым. Дневные занятия барина и слуги состояли в том, что князь приказывал дворецкому разбирать при себе в изобилии прибывавшие каждый месяц из-за границы ящики, в коих находились: фрукты, мраморные изваяния, ноты, вина, растения, шелковые ткани, фарфор и золотообрезные книги. При этом князь то прикусывал сладострастно сочный гранатовый или апельсинный плод, то скреб ногтем нежный, чуть розоватый мрамор, то отведывал из кубка шипучих эпернейских струй, то листал свежетисненые в сафьянных и кожаных переплетах волюмы и гравюры, тонкорезанные на меди.

Но понемногу отстал он ото всего, и последние три года присылались князю одни лишь запасы вин да соблазнительные картинки столь непристойного вида, что Скворцалупов, подавая их барину, краснел по самые плечи. Иногда утром князь вдруг объявлял наперснику: пора в дорогу! Тотчас сметливый камердинер подавал барину дорожную шубу из черно-бурых лисиц; на голый череп князь надвигал плотно бобровую шапку; окно в ту же минуту растворялось настежь (путешествовал князь всегда зимой), и рассаживался в кресле, как в санях. «Куда прикажете ехать, ваше сиятельство?» — спрашивал Скворцалупов. «В Петербург,— отвечал князь,— не пускают меня туда, а я все-таки поеду». Тут камердинер притаскивал дорожный погребец, где столько было бутылок, сколько станций от Лебяжьего до Петербурга. Князь принимался пить. Покуда он кончал один стакан, Скворцалупов наливал другой из второй бутылки, потом третий из третьей, без конца. Осушая стаканы, князь вдребезги разбивал их об пол. Язык его развязывался постепенно, и чудные речи слышал стоявший безмолвно перед креслами Скворцалупов. Спервоначалу князь вспоминал бы-

лые годы, детство и молодость свою, и умиление звучало в его речах, полных какой-то болезненно-надтреснутой неги. Потом иссохшее лицо князя, еле видное под огромной шапкой, омрачалось грустью: он вдруг припоминал что-то черное, страшное, что одним ударом счастье жизни его разбило (так понимал про себя верный камердинер), и с этого мига голос князя менялся и крепчал, становясь визгливым и неприятным. Скворцалупов еле успевал наливать стакан за стаканом; гора битой посуды росла у его ног. Видно было, что силится князь заплакать, да никак не может. «Проклят я!» — вырвалось однажды из его почернелых уст, и, покосившись на камердинера, он молвил тихо, едва ворочая языком: «Хотел было намедни помолиться и книгу отыскал, начал петь про себя, ан слышу, чертенок из угла тоненьким голоском подтягивает: слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» Далее речи князя делались все несвязней: он бормотал о княгине, о муке вечной, клялся за гробом отомстить кому-то и, наконец, заливался тихо обычным своим визгливым и мелким хохотом. Скворцалупов подходил, закрывал окно и, раздев бережно князя, укладывал его в постель. На другой день камердинер получал приказание собираться в Москву, в Нижний, в Тверь, и так путешествие длилось иногда целую неделю.

По летам на князя Курятева находила иная блажь. Ранним утром, в прекрасную тихую погоду, медный зык охотничьего рога, вылетая из княжеского кабинета, мчался гулко по окрестности, проницая все уголки усадьбы. Это трубил мощный Скворцалупов, разодетый в малиновую охотничью куртку и синие казацкие шаровары с золотым позументом; буйволовый, трижды изогнутый змеею, рог мотался у него через плечо на красной тесьме с кистями. Со всех сторон слышался мгновенно летучий конский топот; орава выжлятников тотчас слеталась верхами к заднему крыльцу, еле сдерживая на смычках прыгающих и визжащих псов. Князь выходил в полном охотничьем наряде; за ним Скворцалупов нес тяжелую медвежью шкуру. В заповедном лесу перед широкой поляной выстроен был охотничий домик; туда по приезде удалялся князь со Скворцалуповым, а псари полукругом становились на опушке, готовя собак. Через краткое время из домика вылезал медведь и шел, переваливаясь, на поляну; совсем бы зверь, только ноги задние у него как у человека: коленками вперед. Скворцалупов опять трубил с крыльца, затем хлопал оглушительно пистолетный выстрел, и два смычка спускались, при общем гомоне, свисте и лае, на медведя. Освирепев, терзали и барахтали собаки страшного зверя, а он, не обороняясь, только рычал, сначала умоляюще, потом сурово и злобно. Отозвав усталых псов, охотники напускали свежих; рычанье становилось тише, тише; наконец, заслышав под шкурой безумный смех, гончие испуганно разбегались, воя и поджимая хвосты, а князя в истерзанной на клочья шкуре псари несли в избу; там, освободив барское тело от одежд, сажали утомленного охотника в теплую ванну.

Однажды случилось так, что выехал князь по обычаю н а о х о т у, но, приказав зашить себя плотно в шкуру, велел спустить всю гончую стаю разом. Собаки сгрудились и полезли валом; видна была одна огромная копошащаяся куча; барахтаясь и рыча, псы рвались на зверя, не слушая ни арапников, ни крику. Медведь не огрызался и не рычал, а лежал, распластавшись, молча. Когда свалили, наконец, со зверя собак, в страхе подошли к нему охотники, но не смели подступиться, покуда Скворцалупов не перевернул ничком лежавшее тело: тогда увидели псари объеденную мертвую голову князя Курятева. Голый череп был весь ободран; иссиня-красное, как у мясной туши, изгрызенное лицо, без глаз и ноздрей, скалило блестящие зубы, сцепившиеся яростно в последнем предсмертном стоне. Князя отвезли домой; немалых трудов стоило распороть впившиеся швы и раздеть окоченевшее в медвежьей шкуре тело.

Княгиня не выказала никакого волнения, увидя изуродованный труп супруга: она чинно отстояла положенные службы и в церкви перед погребеньем бесстрастно облобызала кисею, густо завесившую безглазое лицо покойника. Князя Федора торжественно погребли в церкви, оградив мраморную гробницу его золотой решеткой. Но ни решетка, ни панихиды, ни сама церковь, на ночь запиравшаяся полупудовым замком, не успокоили грешного княжеского тела. Все лебяжинские мужики знали верно, что князь так и был схоронен в медвежьей шкуре, которая приросла к нему. Выходит, был князь оборотень и колдун, а таких есть одно только средство уложить в землю навеки: вбить в гроб им осиновый здоровый кол. Этого не приказала сделать княгиня, и на селе потому долго не было никому покою. Что полночь, бродил близ церкви на задних лапах медведь и, завидя прохожего, убегал шибко-шибко, с хохотом гнусливым и протяжным. Этот же самый медведь при лунном сиянии брел не раз от церкви по селу, покачивая молча ушастой головой; подступал прямо к флигелю, где жил Скворцалупов, и пронзительно свистал, так, что, вскочив по привычке спросонья, верный камердинер едва не бросался опрометью на двор.

Глава четвертая

ТАЙНА КАКТУСОВ И МАГНОЛИЙ

> Мне сладок будет час и муки роковой,
> Я от любви теперь увяну.
>
> *Батюшков*

Десять лет минуло со дня страшной кончины князя. Все эти годы княгиня Зенеида безвыездно провела у себя в Лебяжьем, не принимая никого и ни с кем не видясь. То есть, ежели сказать

правду, после смерти князя Федора старых знакомых объявилось много: соседи пробовали наезжать ко вдовой княгине, кто с почтением, кто с умыслом тайным себя либо сына женить на богатейшей в губернии невесте: каждый, смотря по чину, состоянию и возрасту своему. Но гости подолгу не засиживались в Лебяжьем, стесняясь непривычного великолепия и богатства, робея пред молчаливою красавицею хозяйкой. Немногие догадывались, что самой княгине глаз на глаз с гостями еще скучнее. Но на одиночество никому не жаловалась Зенеида и, проводя недели и месяцы в стенах дворца, казалась спокойной и довольной. В губернии власти оказывали ей необычайный почет. Предводитель, сам богач и камергер, являлся в Лебяжье каждый год на именины княгини, чтобы собственноручно поднести ей на золотом блюде персики, ананасы и виноград; даже строптивый нравом крикун-губернатор оставался весьма доволен, ежели княгиня, приняв его ласково, оставляла ночевать в левом крыле дворца.

Стохвостая уездная сплетня не смела закидывать своих грязных паутин за беломраморную ограду курятевских чертогов. Даже богобоязненные старушки не умели выдумать ничего такого, что хотя бы мимолетной тенью могло омрачить непорочное вдовство Зенеиды.

Что же делала княгиня в одиночестве? Она не скучала. Утро проводила она в саду, прогуливаясь в тиши столетних дубов и лип, по убитым, как ровный паркет, дорожкам, внимая пению птиц; в полдень величавый Скворцалупов подносил ей пышный букет оранжерейных цветов, приготовленный руками искусного садовника-голландца. Прогуливаясь каждый день, замечала прекрасная Зенеида, как постепенно опадает весенний цвет, как плоды завязываются и назревают, как трава становится все выше, душистее и гуще. В ненастную погоду княгиня слушала музыку или смеялась проказам Сычика, а зимой развлекалась в зимнем саду, где, кроме всяческих диковинных растений, благоухал целый лес померанцевых дерев и дышала исполинская магнолия — «магнолия грандифлора». Чудное дерево давно доросло до потолка; пришлось потолок в оранжерее сломать; тогда воздвигнута была над ним стеклянная башня, в нее уперлась стройная вершина. Цветок магнолии, белый огромный колокол, заглушал могучим благовонием дыханье померанцев. У непривычного здесь кругом ходила голова, но подолгу под магнолией сиживала княгиня; здесь же после обеда принимала она от дворецкого доклады.

Некогда доверенный камердинер и любимец князя, Скворцалупов был возведен княгинею в почетное звание управляющего домом. Скворцалупов был вольный: он никогда не числился курятевским крепостным, и не знал никто, ради чего служил он столько лет князю Курятеву и как это достало у него силы день и ночь переносить княжеские прихоти и причуды.

Скворцалупов росту был высокого и сложен на диво: колесом выступала и раздувалась кузнечным мехом железная его грудь, спина была крепче плиты чугунной, а смуглое лицо, казалось, выковано было из горячей меди. К тому же был он силач: крестился пятипудовой гирей, подымал двенадцать пудов одной рукой; сгибая железную полосу, вязал из нее татарские узлы, переламывал пополам серебряный рублевик и мог с одного удара убить лошадь кулаком. Два случая особо прославили его силу. Раз бешеный бык вырвался из хлева и носился как угорелый по двору, очертя рога; никто не отважился к нему подступить; хотели уже стрелять; тогда вышел из своего флигеля Скворцалупов и махнул красным платком; бык метнулся к нему, обезумев от ярости, пропороть брюхо; в тот же миг силач ухватил чудовище за рога и держал, пригнув к земле дымящуюся, с кровавыми глазами, опененную морду, покуда не опутали быку веревками ноги. В другой раз привязался к Скворцалупову пьяненький мужик: за деньгами пришел, получить десять целковых, да лень больно было дворецкому отпирать кованый, расписанный алыми розанами, медными скобками обитый сундук и разворачивать столбики тяжелых свертков. «Обожди, Василий, видишь, под яблонями уж накрыт столик и самовар шипит и мурлычит во всю мочь, и земляники свежей с погреба принесена полна тарелка; дай напьюсь с душистыми ягодами горячего чаю»,— так нет: все клянчит мужик, подай да подай ему сейчас деньги. «Вишь, приспичило!» — и ткнул его легонько пальцем в бок, шутя, Скворцалупов: дескать, вот неотвязный какой, пристал, бери, шут с тобой! Хвать, свалился мужик, как сноп, и охнуть не может; что такое? ребро переломил нечаянно бедняге шутник-дворецкий. Таков-то силач был дворецкий Скворцалупов и, как подобает лихому парню, до страсти любил кулачные бои. В Лебяжьем бои, как от предков повелось, шли от Зимнего Миколы вплоть до Сборного Воскресенья, а самые горячие бывали на Масленице, перед Прощенным днем. Дрались дворовые с мужиками один на один и стенка на стенку. Но со Скворцалуповым никто один на один выйти не дерзал: боялись; а когда шла стенка на стенку, Скворцалупов лишь выжидал: был он, как сказывается, «надежа-боец» и драться лез только в последнюю самую минуту, когда дворовые начинали помаленьку подаваться. Вот, бывало, начнется бой: спервоначалу мальчишки затеют свалку: под ножку дают, валяются, цепляются дуром; чуть что — ложатся, потому правило есть: лежачего не бьют; дальше идут парни, дело начинается не на шутку; кое-кто уж и взаправду лежит — значит, пришлось к м е с т у, по шейной жиле: такому гроб заказывай поскорее и времени даром не теряй; иной з е м л я н ы х ч а с о в сподобился послушать: по виску, значит, получил, а всего больше к р а с н ы х п е т у х о в, с разбитыми в кровь носами. Ребята дерутся, а Скворцалупов стоит на пригорке, поглядывает; сам в сапогах валяных и в рубахе русской, и тут на

него кричи, как хочешь, хоть за ворот тряси — ничего не услышит. А там вдруг вскочит и припустится в свалку бежать: ну, уж тут держись только, православные: кого в рожество, кому под микитки, только кровь брызжет, да валятся бойцы, как снопы ржаные. И выходит, что дворовые победили. За силу богатырскую уважала Скворцалупова вся вотчина, и многое спускалось ему такое, за что другому бы несдобровать.

В первую вину ставили ему дружбу с Сычиком. Частенько под вечер Скворцалупов, посадив на широкое плечо свое безобразного карлу, как малого ребенка, прохаживался с ним по задам, подпираясь палицей из сушеного исполинского лопуха; вел он с Сычиком долгие беседы. Также доподлинно знали все, какое кушанье любит Скворцалупов: ловит ему карла в Китовом овраге на болоте желтобрюхих ужей. Пойманного гада Скворцалупов сам отпаивал молоком и, сварив его потом в муравленом горшке, съедал без остатка. Уж — тварь поганая, не токмо что есть, видеть его противно. Что Скворцалупов навеки опоганил себя и словно сам в этом признавался, явствовало также из того, что ни разу никто не видывал его в церкви. Поп, отец Никандр, так и величал его «оглашенный», потому: «оглашении, изыдите». Толковали, что и креста на шее не носит Скворцалупов, и что образа у него в доме только с виду образа, а креститься на них зазорно.

Все приказания госпожи Скворцалупов выполнял свято. Ни разу еще не было случая, чтобы княгиня выказала дворецкому недовольство. И неуловимое что-то и странное мелькало в обращении прекрасной княгини с красавцем слугой. Тогда ли, как, невозмутимый и величавый, потупя глубокие синие глаза, выслушивал он ее мелодические краткие приказы о новых цветах в оранжерее и о выписных диковинах, кои следовало разложить в галерее под стеклом; тогда ли, как по вечерам садилась за клавесин княгиня услаждать дивным пением слух гостей; звучные молнии пускала она из огненного горла, вспыхивая темным заревом очей, а взор ее, минуя Кирилу Павлыча и Сергея, на которых безразлично бывал устремлен, описывал, казалось, своевольный зигзаг и, рассыпая за собою искры, райской птицей летел к высоким дверям, где, выжидая приказания, стоял могучий красавец.

Княгиня предоставила полную волю своим гостям. Кирила Павлыч тратил время до обеда недаром: он осматривал со вниманием хозяйственные заведения в Лебяжьем; толковал со старостой, ходил по саду и по оранжерее, и такой имел притом вид, как будто сам он и есть здесь настоящий хозяин. Но никогда не разговаривал он со Скворцалуповым, будто его не замечая, и дворецкий, казалось, тоже не смотрел на Кирилу Павлыча и с таким почтительным пренебрежением обращался к нему подчас (может быть, это только казалось генералу?), что Кирила Павлыч в душе весь закипал беспричинным гневом. Но послать

Скворцалупова на конюшню было никак нельзя, и приходилось терпеть.

«Дери нос, дери,— думал иногда генерал, поскрипывая про себя зубами,— постой, придет время, раскушу я тебя, голубчик, и ты у меня дашь голосок под зубом».

Сергею скоро прискучило в Лебяжьем, и развлечением его сделалось одно: пересматривать огромную библиотеку покойного князя. В послеобеденные же часы отправлялся он к озерам смотреть лебедей.

Там, где необозримый парк, заворачивая двухсотлетнюю свою громаду, подобно некоему зеленому дракону, давал уклон к озерам, на холмистом возвышении, где клен, липа и дуб сплели крепко вековые свои вершины с вознесшейся вверх, сиренью заросшей беседки-башни, можно было как на ладони видеть перед собой широкостеклянную, цвета бледно-белесой бирюзы, водяную равнину. То были огромные пруды, ископанные еще при Елизавете. За сто лет успели они одичать, зазеленеть камышами, палошником, зацвести зыбкими кругами болотных лилий. Откуда-то наросли легкие плавучие островки, высунулись мели, провалились внезапные омута: видно, попали пруды на ключевую жилу и расплылись в широкие проточные озера. Здесь стаями водились белые лебеди. Первые пять пар пущены были еще покойным князем: плодились птицы во множестве, с каждым годом сообщая парку и озерам необычайную умилительную красоту. Еще с беседки маячили зрителю взмахи снежных крыльев, слышались шумные переплески и меланхолические восклицания, схожие с отдаленной игрой на скрипках и виолах. Сергей не любил издали смотреть прекрасных птиц; он резво сбегал нагорной тропинкой вниз, минуя широкобедрый, виловатый дуб, посаженный, по преданию, Петром Великим, а с тропинки выходил прямо на песчаный берег. Отсюда любил он всматриваться, как трубношеий, ослепительно-белый лебедь, зигзагом взад-вперед проплыв по гладкой воде, приготовлялся к полету: с шумом, вытягивая шею, распускал перья; долго, хлопая крыльями изо всей силы, оглушительно бежал по воде и разбрасывал миллионы брызг, потом вдруг плавно вздымался в воздух и медленно летел, все учащая свистящие удары; делался меньше, меньше и обращался, наконец, в звездистую снежинку, таявшую медленно в голубоватом зное. Порой налетевшая стая опускалась сразу, и тогда взвихренная мощным падением вода пенилась и шипела. Печально-милые, нежные клики звучали то там, то тут, будто чистые серебряные колокола мешались вдали с многозвучным певучим хором.

Целые дни любовался Сергей плавным полетом и шумными играми величаво-прекрасных птиц и заслушивался их нежного пения над водною далью. С утра до вечера то перелетали они, то носились над озерами, скользя меж камышей снеговым пухом; с утра до вечера все одно и то же: то же хлопанье и удары

по воде готовых ко взмаху крыл; те же уныло-сладкие переклигания скрипок и поднебесные звоны колоколов, а когда темнело, подобно брошенным на синие воды купам огромных белых роз, светлели сонные лебединые стаи; птицы дремали, покачиваясь, прижимались одна к другой.

Как в сказочное некое царство, в особый чудесный мир переселился Сергей Бобров и сегодня, приближаясь к озерам. Ломая кусками белый хлеб, бросал Сергей корм могучим птицам; изгибая нежные шеи, хватали они в воздухе летавшие куски. Забавляясь, Сергей не заметил, как подошла к нему шумящая пышными платьями княгиня.

В небе стлалась дымкой, уплывая в глубину, голубовато-мглистая ясность, июньская ясность, что задолго перед зарей густеет, будто наливается спелым соком, а вместе с закатом начинает тихо-тихо тлеть и до восхода все равно никогда выгореть не успеет. С самого утра виснет в воздухе эта тихая дымка в погожий июньский день; сладко дышать неисчерпаемой дремотной ее истомой, но с отдохновением и негой закрадывается ласково в грудь такая неодолимая, такая блаженная печаль, что никак не разберешь, плакать ли хочется от нее или смеяться, а уж сердце, сгорая, млеет. В такие дни даже озорные стрижи не визжат и не срываются с небес угорелым лётом, а, высоко распластавшись черными крестиками, как гвоздями прибитые к небу, чуть пошевеливают лениво острыми крылами. Огромный красавец лебедь, по прозванию Рококо, рвал чуть не из рук Сергея куски, взглядывая искоса умным блестящим глазом.

— Я восхищен вашими лебедями, кузина. Сколько грации, сколько красоты.

Сказав так, Сергей кинул лебедю последний ломоть.

— Да, я привыкла к ним. Покойный Теодор часто хаживал сюда кормить птиц. Вот этот Рококо был его любимец. Смотрите, как он глядит на вас.

Сергей встретил прямо на него устремленный пристально взгляд птицы. Ему сделалось не по себе. Он предложил Зенеиде руку, и вдвоем они поднялись наверх к беседке.

— Все наши связи не что иное, как привычки, более или менее вкорененные,— заметил Сергей, когда пышные княгинины юбки, разлетевшись на полскамьи, задели слегка его стройное колено, обтянутое палевою лосиной.

Но, заметив, что княгиня смотрит на него в упор, Сергей смутился.

«В самом деле, к чему я сказал это?» — подумал он, чувствуя, что краснеет.

Княгиня вздохнула грустно.

— Сергей, друг мой,— начала она голосом прерывистым и бессильным,— веруете ли вы в судьбу?

Сергей безмолвствовал. Такого вопроса он не ожидал.

— В судьбу,— продолжала княгиня.— Ах, нельзя нам в нее не верить. Рано или поздно приходится склониться перед ее властью. Но не судьба ужасна, мой друг, а сила ее вечная, что, кажется, везде кругом нас разлита. Львиная лапа виснет над головой; захочет опуститься — и ничто уж ее не остановит.

Княгиня тронула воздушным платком затуманенные глаза. С озера стонали задумчиво стеклянные клики.

— Я понимаю вас, кузина,— прошептал Сергей, вперяя синий взор в голубые бездны.— Но перед судьбою, когда она настигнет меня, я смиряюсь и отдаюсь ей покорно. Только вдали она меня беспокоит.

— А теперь вас не беспокоит ничто? — тем же шепотом спросила княгиня.

И вздрогнула, как от громового удара: перед нею точно из земли вырос Скворцалупов.

Сергей с невольным недоумением посмотрел на него. Дворецкий не говорил ни слова и недвижно стоял с опущенными глазами. Похоже было, будто он нечаянно набрел на господ, но что-то неотразимо повелительное померещилось на мгновение Сергею в невозмутимой ясности склоненного перед ним мраморного лба. На княгиню внезапное явление Скворцалупова произвело действие, какого не ожидал Сергей: она поднялась величественно и строго и, не сказав ни слова юному кузену, движением руки остановила его сидеть. С изумлением следил Сергей, как, шумя, исчезала она в кустах, заслоняемая могучей спиной слуги.

Тотчас, подле, за чащами буйных диких роз, невидимая тропинка уводила в хитроумно запутанный лабиринт: пышный кроваво-красный плющ обвивал рогатую, из африканских каких-то кактусов, заплетенную изгородь выше роста человека; гирляндами, извивами и узлами вилась далеко причудливая дорожка, и чем далее шла княгиня, тем все прихотливее свисал и перегибался, хватаясь за колючую, как клешни у рака, кактусовую изгородь, хмельной плющ. Вот уже он завил наверху крепкий зеленолиственный колеблющийся свод; стало темнее. Обвитая виноградом, предстала спрятанная в зеленой тени кованая дверца; под рукою Зенеиды щелкнул ключ: княгиня и дворецкий очутились в оранжерее. Густой сладкий дух спирал дыханье. Белым колоколом благоухала торжественно под потолком магнолия, «магнолия грандифлора».

. . . .

Глава пятая

ПОД ЛЬВИНОЙ ЛАПОЙ

Сердце бьется, сердце ждет,
Но уж милая нейдет
В час условленный свиданья.

Дельвиг

Июля второго было рождение княгини. В этот день множество развлечений уготовано было гостям. Утром венгерская шорная закладка примчала из церкви распомаженного, в полной форме, генерала; ни княгиня, ни Сергей не были у обедни. В церкви генерал Бобров важным видом своим возбуждал изумление и даже страх; когда же дьячок, кланяясь в три погибели, вынес ему из алтаря просвиру и, приложившись гордо ко кресту, Кирила Павлыч поворотился выйти, в окно заприметил он у церковной ограды Скворцалупова, улыбавшегося уже слишком явно. Сжимая в белых перчатках кулаки так, что лайка на одном пальце лопнула по шву, генерал бодро прошел, подрагивая ляжками, мимо почтительно склоненного дворецкого и, только уже понесшись по селу в коляске, вдруг ярко зарумянился от гнева и от пришедшей в ум мысли: с чего ж это он и вправду выстоял один, как дурак, заздравную княгинину обедню?

После завтрака княгиня предложила гостям прокатиться в лодке. На легком зеленом катере шестеро гребцов в малиновых полукафтанах и шапочках с павлиньими перьями налегали дружно на длинные кленовые весла, вынося на ровную, как зеркало, озерную гладь стройную княгиню в белом платье и широкой выгнутой шляпе, отдувающегося Кирилу Павлыча в расстегнутом над белым жилетом летнем сюртуке и бледного в черном фраке Сергея, с обычной задумчивостью наклонявшегося над бортом. В безветренной тишине не было ни звука; даже лебеди, как по мановению волшебной руки, исчезли. Скоро высокий садовый обрыв, заросший орешником и липой, отразился весь в воде до последнего листа, и чем дальше и быстрей уносился катер, тем все яснее и четче вырезывался покинутый берег; над ним будто плавал в топазовом воздухе огромный бельведер, с круглыми окнами в куполе и шпицем на крыше.

— Какой легкий катер,— заметил генерал.— Ну, точно такой был у приятеля моего Нащокина Павлуши. Помню, сыграли мы с ним раз хорошую штуку: ночью поехали по Черной речке, катер весь сукном траурным покрыли, гроб поставили, и, едучи, все пели: со святыми упокой.

— Какой ужас,— сказала, вздрогнув, княгиня.

— Так в гробу-то ведь не покойник был, а шампанское от мадам Клико. Да, хорошее было время! Ночью, бывало, вернется Нащокин к себе на Фонтанку, а уж слуги по всему дому тюфяки

стелют. Много ли человек ночует нынче? Двадцать, мол, а то и все тридцать. Утром все вместе в столовой кофий пьют, тут и знакомятся с хозяином. И так каждый день. Угольковых денег прожгли немало.

— Каких угольковых, кузен? — спросила Зенеида.

— Угольковыми те деньги называются, кои цыганке на гитару за песню кидают. Песельная дань.

— А любите вы песни русские?

— Обожаю, кузина.

— Так слушайте.— Княгиня подняла точеную руку; гребцы переглянулись.

Чистый прозрачный звук полетел, извиваясь, над озером к синему лесу; не успел еще домчаться до тростников, как подхватили его два других, и, обнявшись, они втроем полетели плавно; то отставая, то расходясь, то перегоняясь, слились в одно и несутся звонкою, изнемогающей птицей. Немного еще — и, кажется, упадут они, усталые, в озеро, но тут три новых голоса подоспели им на подмогу, и вынеслись все шестеро, далеко, далеко, к зубчатым верхушкам лиловых сосен:

За окошком роща
Всю ночь прошумела,
А я, молодешенька,
Всю ночку пропряла.

Уносили голоса в ледяное царство, в овражные сугробы, где холодная алмазная полночь одна сторожит занесенную деревню; в избе, при свете робкой лучины, пряха ночная поет, изнывая, и бормочет веретеном. В лучинном свете, бледном и мерцающем, вся Русь неоглядная, широкая снится, мерещится, стелется, дремлет над сугробами и блистает в звездах. Одна родимая вековечная пряха, Христом обреченная петь и грустить бессловесно.

Песня кончилась заодно с прогулкой. Катер подплывал к берегу; с шумом внезапно взвились водяные брызги; тяжкий удар по воде серебряными искрами осыпал гребцов и принудил генерала утереться батистовым платком. Красавец Рококо, ласкаясь и выкликая, вытягивал крутую шею; прося хлеба, ластился и хлопал крыльями и гулким говором проводил хозяйку и гостей, подымавшихся в гору.

После обеда Кирила Павлыч, покачиваясь на белых бальных каблуках, понес отяжелелое брюхо на кровать, и княгиня в гостиной осталась одна с Сергеем.

Прекрасная хозяйка села перед палисандровым ломберным столом чудесной работы: в крышу его врезана была разноцветная легкая гирлянда мозаичных цветов. Атласные карты, разбросанные в беспорядке, улыбались пестрыми фигурами дам и королей.

— Опять у кузена не сошелся пасьянс,— молвила с улыбкой княгиня.

Сергей все еще не опомнился вполне от звучавших в ушах его сладких звуков; отзывные струны дрожали еще у него на сердце и голос колебался, когда сказал он в ответ:

— Хотел бы я знать, о чем это Кирилл все загадывает на картах.

— Я знаю, да не скажу вам.

— Скажите, прошу вас.

— Попробуйте сами догадаться. Нет, не угадаете; вы недогадливы, дорогой кузен, очень недогадливы.

— Очень ли?

— Очень.

Сергей потупился.

— Кузина, скажите мне только одно, прошу вас: счастливы ли вы?

— И этого не скажу.

— Почему?

— Потому что и об этом следует догадаться.

Разговор прервался. Сергей стоял молча перед княгиней, перебирая карты. За ее креслом возвышалась у стены курильница: четыре бурно взвившихся на дыбы золотых коня приподымали на выгнутых спинах трех нимф из черной бронзы; в поднятых левых руках красавицы держали круглый щит; на щите три амура высоко возносили чаши; припадая к ним вытянутыми шеями, три лебедя пили из них вино. Залюбовавшись фигурами, Сергей почувствовал в спине странную неловкость; он обернулся и встретил в упор глядевший на него из золотых рам взор покойного князя: голый череп блестел, и костлявые пальцы изображали гнусность. Зенеида обратила глаза на портрет, и лицо ее омрачилось.

— Вот вам, милый кузен, ответ на ваш вопрос,— вымолвила она печально.— Как же думаете вы, можно мне быть счастливой?

Сергей молчал.

— Ах! — содрогаясь, продолжала княгиня.— Какой это был ужас! Помню,— слова ее постепенно и незаметно переходили в шепот,— после венца, когда приехали мы сюда, в Лебяжье, я одна оставалась в спальной. Сидя в задумчивости, я себе так легко и просто представляла, что вот сейчас дверь отворится и взойдет князь, муж мой. Я любила его, так мне тогда казалось, но... не знаю, быть может, не надо было любви моей осеняться венцом брачным. Теперь я многое осуждаю в себе, многого не следовало мне делать. Но я так была молода. Так слушайте, кузен: в полузабытьи сидя при свечах, смотрела я куда-то далеко пред собою, и вот вдруг чувствую,— чувствую, а не вижу,— как тень какая-то скользит подобно летучей мыши по занавеси дверной. И тут этот страшный желтый череп на красном бархате портьеры, с оскаленными зубами, и взгляд, взгляд невыразимый, так и представились мне по-иному, как молнией сверкнули; и слышу: князь

крадется ко мне, а я одна, и никого кругом, и в окнах полночь... Нет, не могу.

Княгиня умолкла на мгновенье.

— Уж не помню, как это вышло, но я вскочила и заперлась, а он остался один. С тех пор всякую ночь я запиралась. Так прошло десять лет. Быть может, я виновница была его грешной смерти... Не мне судить. Но Бог еще накажет меня, я знаю.

Сергей не сводил с княгини безумно раскрытых глаз. Какую тайну поведала она! Слова Зенеиды морозным холодом убили едва начавший распускаться в сердце юноши цветок счастливых предчувствий. Он не смел поверить тому, что сейчас услышал, и только чуял страшно-неизбежное что-то, словно на розовую юношескую даль набежали тучи холодной смерти.

— Как изволите приказать, ваше сиятельство, насчет театра? — прозвучал серебряный голос Скворцалупова. Он стоял на пороге, как всегда, величавый и спокойный, но теперь голубые глаза его смотрели прямо в княгинины темные очи и вздрагивали дерзко, а от сухих его губ веяло грозным жаром.

— Театр? Как придет его превосходительство, так тотчас и начнем, вели начинать. Что с тобою? — промолвила княгиня, заметя волнение слуги.

— Сычик пропал, ваше сиятельство.

— Пропал?

— Нигде его нет, а ищу с утра. По всем видимостям, пропал совсем.— И грозен был взор Скворцалупова, когда, докладывая госпоже о пропаже карлы, косился он сумрачно на поникшего в задумчивости Сергея.

Княгиня поднялась навстречу взошедшему генералу.

— Не может быть, он найдется. Ступай и вели актерам начинать. Кузен, дайте мне вашу руку.

Все двинулись в гостиную, оставя князя одного на портрете дразниться в вечереющем сумраке и сверкать голым лбом.

Из картинной галереи, где с холстов мелькали то пудреные потемнелые головы в кружевах и блондах, то стройные наездницы с бичами, то фигуры пастушек и рыбаков, то пляшущие пьяные сатиры, шесть ступеней вывели в театральный зал. Два ряда белых ионийских столпов отделяли сцену от зрителей, усевшихся втроем на креслах посередине зала. Княгиня поднесла к глазам лорнет, и, шурша, пополз к потолку занавес, писанный славным художником Гонзагой.

На сцену из-за ярко-зеленых кустов и картонных деревьев выдвинулась тощая, долговязая фигура Евтихия Лукича. По-журавлиному шагая, он подошел ближе, низко поклонился зрителям и провозгласил:

— Представление Омонима.

Тотчас из-за кулис выскочил красивый резвый отрок в греческом голубом хитоне; встав с левой стороны сцены и разведя руками, он проговорил певуче:

— В словах я целое, но в цифрах состою
Я частью целого, не боле.

Другой, подобно первому, мальчик, ставши справа, продолжил речь, нацеливаясь в потолок из ружья:

— Не то с охотником я птиц и зайцев бью.

Третий, прыгнув между обоими, заключил омоним, рассыпав мелкую трель на пестром у пояса барабане:

— Не то меня же бьют на барабане в поле.

И все трое, схватясь за руки, побежали прочь.

Княгиня благосклонно кивнула Евтихию Лукичу. Тот поклонился, просияв улыбкой. Сергей поощрил актеров легким хлопком. Кирила Павлыч пыхтел, недоумевая.

— Дробь! Право, остроумно,— сказал Сергей. На сцене опять засуетились.

— Представление Каламбура,— важно заявил Евтихий Лукич.

Занавес опустился на миг и, тотчас взвившись, открыл под ветвистым деревом охотника, вонзавшего в убитую птицу нож. Подле другой актер, переодетый дьячком, вычитывал однозвучно из Тредиаковского:

— Составы, кости трепещут
И власы глав их клекещут.
Оный есть ему светильник,
Троими враты входильник.
Потребно знать, из каких книг
И кем сей собрался Рифмиг.

Каламбура не удалось разгадать Сергею; княгиня пояснила ему, что все это означает: дичь пороть.

— Молодцы ребята! — молвил генерал, скрывая искусно легкую зевоту.— Где это они так навострились?

— Это еще князь завел: велел Евтихию Лукичу обучать дворовых: при нем игрывали и комедии, и французские пиэсы, а теперь одни шарады изображают: я не люблю театра.

Занавес, между тем подымаясь, открыл новую картину: пастушка и пастушок во французских шитых кафтанах и в пудреных париках, с розовыми посохами, сидели у куста, обнявшись. За кулисою Евтихий Лукич читал на семинарский распев громким и приятным голосом стихи Михайлы Попова:

— Под тению древесной,
Меж роз, растущих вкруг,
С пастушкою прелестной
Сидел младой пастух:
Не солнца укрываясь,
Он с ней туда зашел:
Любовью утомляясь,
Открыть ей то хотел.

При этих словах пастух склонился к розовому уху пастушки, но тотчас приподнялся, как бы следя взорами порхавших невидимо мотыльков.

— Меж тем, где ни взялися,
Две бабочки, сцепясь,
Вкруг роз и их вилися,
Друг за другом гонясь;
Потом одна взлетела
К пастушке на висок,
Ища подругу, села
Другая на кусток.

Незримая рука из-за кулисы посадила на пудреный волнистый завиток белокурой пастушки большую пеструю бабочку; вторая, подобная, уцепилась за куст.

— Пастух, на них взирая,
К их счастью ревновал
И, оным подражая,
Пастушку щекотал,
Все ставя то в игрушки,
За шею и бока,
Как будто бы с пастушки
Сгонял он мотылька.

Тут, нежно обласкав пастушку грациозным прикосновением, пастух легко вскочил и, держа в объятиях подругу, казалось, готовился лететь.

— Ах, станем подражати,
Сказал он, свет мой, им,
И ревность съединяти
С гулянием своим;
И, бегая лесочком,
Чете подобно сей,
Я буду мотылечком,
Ты бабочкой моей.

Голос Евтихия Лукича пел все нежнее и тише; при последних словах зазвучала издали музыка; пастух и пастушка понеслись в легком танце. Оба они страстно извивались и порхали, подражая полету бабочек, и то сближались в объятиях, то отделялись друг от друга, а стихи под переливы арф и скрипок журчали все так же сладко:

— Пастушка улыбалась,
Пастух ее лобзал;
Он млел, она смущалась,
В обоих жар пылал;
Потом, вскоча, помчались,
Как легки ветерки,
Сцеплялися, свивались,
И стали мотыльки.

Занавес опустился и скрыл счастливых любовников, превращенных волею бога Пана в эфирных мотыльков.

После представления в залу внесли готовый к ужину стол.

— Что вы так скучны, Сергей? — спросила княгиня, дав знак дворецкому напенить вином бокалы.

— Простите, кузина. Я знаю, что я скучен сегодня, но тому есть свои причины.— Сергей приподнял бокал.— Будем же пенить тоску, и пускай она исчезнет,

Как исчезает в чаше пена
Под зашипевшею струей.

— Ха-ха-ха! — внезапно засмеялась княгиня.— Ха-ха-ха!

Эхо звонко раскатилось по огромным пустым покоям.

Сергей допил вино и, как бы рассуждая сам с собою, промолвил:

— Радость — как та бабочка, о коей нам только что читали. Но не та пленительна, что села на цветок, а та, что все далее улетает из наших глаз.

Он замолчал, встретя дикий взор Зенеиды. Безумно-веселый ее смех раздался снова, еще и еще; вот княгиня забилась, заливаясь плачем; плач чередовался с хохотом; звеня, полетел хрусталь со стола; уже на ковре билась с рыданьями прекрасная Зенеида, и тщетно метался над нею растерянный Сергей.

Генерал, суетясь, поднес было стакан с водой к искаженным устам кузины, как чья-то железная рука отодвинула его вбок. Скворцалупов легко поднял на руки бесчувственную княгиню и бережно возложил ее на диван. Кирила Павлыч вскипел злостью; ярясь, едва не ударил он дерзкого слугу, но что-то удержало помимо воли гневный язык его и своенравную руку. Молча смотрел он злыми глазами, как дворецкий с привычным лицом расстегивал осторожно тяжелое платье и давал госпоже своей нюхать спирт.

— Лебеди, лебеди...— шептала в беспамятстве Зенеида.

Глава шестая

РАСКОЛДОВАННЫЕ ЧАРЫ

Кто на земле не вкушал жизни на лоне любви,
Тот бытия земного возвышенной цели не понял.

Гнедич

Генерал Кирила Павлыч Бобров хотя был тяжкодум и тихоход, однако характер имел твердый и решений своих переменять не любил. Едучи в Лебяжье с братом, порешил он тогда же жениться на прекрасной кузине. Скрывая на самом дне сердца,

как некий перл драгоценный, решение свое, он сам еще не знал, как оно осуществится, но что сбудется, в том был совершенно уверен.

В нежной юности один случай имел на Кирилу Павлыча роковое влиянье. Еще в первый год службы, будучи кирасирским корнетом, на дежурстве подъехал он с рапортом к императору Павлу при смене караула. Игреневый конь Кирилы Павлыча, лихой Пегас, разыгрался не в пору и не к месту, а так как время было осеннее, грязное и сырое, то из-под конских шипов фонтан грязи обрызнул государя с головы до ног. Мгновенно воспылал гневом Павел Петрович, взревел, как буря, как норд свирепый; тогда корнет Бобров, почуя беду, повернул коня, подлетел к своему, уже спешенному, взводу и, спрыгнув с седла, встал на свое место. Оглянувшись, увидел он, что государь бежит к нему, прыгая через лужи, с занесенной тростью. Изо всей мочи Бобров пустился бежать между шеренгами; государь за ним с сиплым криком, задыхаясь от гнева. Долго длилась погоня; наконец Кирила Павлыч скрылся. Император, не кончив развода, возвратился во дворец. Страшно было взглянуть на искаженное, багровое лицо его. На другой день Кирила Павлыч снова предстоял при отпуске караула. Завидя Боброва, государь подошел к нему и, положа ему руку на плечо, ласково молвил: «Спасибо, Бобров, ты спас вчера от беды себя и меня». Случай этот был для Кирилы Павлыча тем значителен, что с этих пор стал он почитать себя умнее прочих.

«Нечего шулепничать,— раздумывал про себя Кирила Павлыч.— Конечно, я не деньголаз какой-нибудь, но помнить обязан, что по уму моему и чину невеста мне во всем соответствовать должна. Лучше кузины супруги я не найду: не смутница, не озорная баба, а что малость лединка, так оно еще лучше: с холодной женой спокойней». И порешил объясниться с Зенеидой.

«Найти только привязку к разговору... да, легко сказать, а как это сделать?» И подолгу крутил генерал в раздумье черные как уголь усы, пачкая краской пальцы.

Чем дальше шло время, тем трудней было Кириле Павлычу объясниться с княгиней. Взяла она в беседах с кузеном странную себе ролю: как бы все принимать в шутку и ответствовать на все смеясь. Что бы ни начинал говорить генерал о чувствах, тотчас слова его обращала на потеху Зенеида. Попробовал было Кирила Павлыч вписать в золотообрезный под сафьяном княгинин альбум любовные стишки, намекая тем явственно на пылкие свои чувства; но стишки княгиня, прочтя равнодушно, похвалила и закрыла коваными застежками красный тисненый переплет, а ведь там на синей атласной бумаге не генерал Бобров крупные узорчатые строки вывел, нет: сам дебелый крылатый Амур правил его пером.

Злил немало Кирилу Павлыча и дворецкий Скворцалупов. После пропажи карлика силач загрустил и стал вести себя вовсе

странно. За обедом иногда, стоя у буфета, вдруг ухмылялся дворецкий, шептал что-то сам себе, дерзко взглядывал в глаза генералу, Сергею и даже самой княгине, и не раз из стиснутых уст его пыхало перегаром: по всем приметам, пил Скворцалупов мертвую.

Пошли твориться во дворце недобрые чудеса. По ночам выл кто-то в высоком куполе; шаги незримого гостя уже в сумерках начинали шелестеть в полутемной гостиной: ясно было, что кто-то по дому «ходит». К довершению всего, портрет покойного князя в одно утро оказался вырезанным из рамы, и вместо остробученной фигуры зияла теперь на полотне пустая дыра.

Но ничего этого не хотела видеть княгиня Зенеида, целые дни проводя вдвоем с Сергеем. Кирила Павлыч дулся, пыхтел и не знал, на что решиться. Княгиня то просила Сергея сопровождать ее на верховой прогулке, отказывая в том под благовидным предлогом генералу, то, улучив час послеобеденного затишья, об руку с молодым кузеном ускользала кормить лебедей, то пропадали надолго оба они в кудрявых аллеях парка.

Всей дворне, даже десятилетнему казачку Ганимеду (в лакейской звали его попросту Васька Гони-мёд) было ясно, что княгиня смертельно влюблена в Сергея Боброва и что в доме свадебными пирогами пахнет. За последние дни княгиня походить стала на мраморную статую, начавшую оживать, уступая мольбам ваятеля: кровь с каждым днем, с каждым часом бежала бурливей и ярче по синим жилам и алел розоватый мрамор; тело девственно-строгое медом как яблоко наливалось. Август недалеко уже, и хочешь не хочешь, а надобно созрелому сладкому плоду падать с упругой ветки.

И однако чем оживленнее и веселей становилась Зенеида, тем бледней и угрюмей делался Сергей. На радостно-торопливые, как ручей бегущий, лепечущие речи кузины ответствовал он краткими «да» и «нет»; вся охота его к философствованию и к произнесению глубокомысленных речей пропала бесследно. Хмурый, уклонялся он приметно от долгих бесед с княгиней и раз, оставшись наедине с братом, перед тем как ложиться в постель, вымолвил тихо:

— Поедемте домой, братец.

— А? Домой? Что так?

— Да так. Погостили, и довольно.

— Да поедем, пожалуйста, поедем. Я только думал, что ты, быть может, не хочешь. А? Скажи на милость! Да по мне хоть завтра.

Пройдясь раза два по пушистому ковру в вышитых своих туфлях, Кирила Павлыч от волнения распахнул окно в потемнелый сад и остановился, растирая удивленно поясницу. Вся его крутая фигура в бухарском халате сразу возымела бодрый, задорный вид.

— Значит...— Тут Кирила Павлыч прошлепал туфлями к пос-

тели Сергея и, присев в ногах у него, зашептал: — Значит, у тебя с княгиней того... ничего не вышло... Гм... Ну вот что: я тебе старший брат и говорить буду прямо. Как у тебя дела?

— Какие дела? Ничего не было и не будет. Поедемте, братец.

Генерал засопел и встал, довольный.

«Стало быть, афронт Сергею,— думал он радостно, укутываясь шелковым пестрым одеялом.— Так я и знал! Эх вы, белогубые, куда вам! Нет, со мной не потягаешься, пащенок, молод больно. Завтра же все обделаю».

Внемля торжествующе-заливистому храпению генерала, долго в ту ночь не спал Сергей; лежал с заложенными за спину руками и вглядывался устало в темноту.

День выдался чуть ветреный, но спокойный: ни облачка на небе. Без малого месяц прожили в Лебяжьем братья Бобровы. Давно ли начали подниматься хлеба, и акации, доцветая, гудели, обсыпанные роями золотобрюхих бархатных шмелей и медовых пчел? Еще совсем, кажется, недавно в лугах желтела куриная слепота; за ней липкая темно-малиновая дрема пошла пятнать веселые лужайки и поляны в лесу; рожь поднялась совсем высоко; вместо желтых висюлек закачались на акациях зеленые длинные стручки; соловьи примолкли и стали пересвистываться по утрам все нежней и тише; вот уж и кукушка подавилась колосом и васильки тысячами глаз замигали из переливчатых волн зашумевшей полосатой ржи. С террасы, перед тем как идти с кузиною на последнее перед отъездом свиданье, Сергей видел окрестные поля в образе иссера-зеленого струистого океана; ласточки шныряли низко над ним, и часто-часто перебирал острыми, как ножницы, резвыми крыльями, трепеща на одном месте, проворный кобчик.

Княгиня ожидала Сергея в оранжерее. Едва растворилась, звеня, стекольчатая дверь и душный аромат магнолий и померанцев ударил легкой одурью Сергею в виски, Зенеида привстала в волнении с легкого плетеного стула.

— Вы уезжаете? Отчего так вдруг? Вам стало скучно в Лебяжьем?

Сергей подал княгине руку и довел ее до софы; оба присели.

— Пора, кузина, мы загостевали у вас. К тому же осенью я отправляюсь в Петербург и надо мне приготовиться к отъезду.

— Но до осени еще долго.

Сергей молчал.

— Сергей, мой друг,— заговорила княгиня умоляюще, с томным взором, касаясь руки кузена,— неужели вы не видите ничего? Или вы ребенок, которому нужно объяснять?

Княгиня краснела и часто дышала от волненья. Чудилось Сергею, что сладостный дух магнолии исходит от прекрасного тела Зенеиды, от мраморной ее шеи и точеных рук.

— Я люблю вас... будьте моим... мужем...— шептала княгиня,

словно в буйно-сладостном аромате цветов почерпала она дерзость бесстыдства, распалявшую ее страсть.

Сергей закрылся руками. Что-то толкало его в вихревую пропасть, но он сделал усилие над собой.

— Нет... не могу,— вымолвил он глухо.— Это невозможно... Простите... я не люблю вас.

Сказав это, Сергей понял, что все кончено навеки, и не имел силы взглянуть кузине в глаза.

Зенеида не верила, казалось, ушам своим. Нежно-алый румянец сбежал мгновенно с лица ее; долго сидела она неподвижная, прямая, глядя бездумно на пылавшую в солнечных лучах стеклянную дверь оранжереи. Так, бледнея и вытягиваясь, превращалась она опять постепенно в холодный мрамор, и только полуночные очи чудно темнели, как две чаши, на алебастровой белизне лица. Бесчувственно следила княгиня, как чьи-то стройные ноги в черных шелковых чулках спускались проворно по ступеням, и опомнилась, наконец, увидя за дверями статную фигуру Скворцалупова.

Дворецкий помедлил немного и отворил звякнувшую дверцу.

— Их превосходительство приказали доложить, что они ожидают.

Молча прошумела княгиня платьями наверх, как бы забыв о Сергее. Скворцалупов остановился в дверях. Долго приглядывался он к смущенному юноше и, наконец, мягко подступая к нему, прошептал:

— А ножки-то у ее сиятельства чистый миндаль.

Сергей посмотрел на него дико. Миндалем дышало все вокруг; яд цветочный, приливая, колотился об голову тысячами струй, а круглые зрачки Скворцалупова с зелеными искрами, как у кошки, приближались таинственно и бегали тревожно. Сергей вскочил, оттолкнув дворецкого.

— Ты сумасшедший, пусти меня! — и выбежал вон.

Ничего на свете не желал так Сергей Бобров, чтоб уехать тотчас из Лебяжьего, не прощаясь с хозяйкой. Он знал, что к вечеру непременно уедет с братом, но до вечера еще оставалось прожить целый долгий день. В предчувствии тяжкой пытки отправился Сергей, мелькая гороховым сюртуком по аллеям парка, на последнюю одинокую прогулку.

Обед прошел, однако, совсем иначе, нежели ожидал Сергей. За столом поразила его прежде всего необычайная веселость и говорливость генерала. Кирила Павлыч, сидя подле Зенеиды, извивался, как жирный угорь на сковородке, маслясь щеками и носом; торжествующе подмигивали вороньи глаза, и даже притопывал генерал под столом серебряной шпорой, будто вторил радостному какому-то напеву. Княгиня была покойна, как всегда, и предлагала обоим кузенам обычные вопросы. Непонятно было одно: отсутствие Скворцалупова. Во всю свою жизнь не пропустивший ни одного господского обеда, усердный дворецкий

исчез; его постоянное место пустовало, и странно: никто этого не замечал.

Солнце нависало над закатом, когда подкатила к подъезду генеральская четверня. Несчетно облобызав ручки хозяйке, Кирила Павлыч набросил живописно на крутые плечи серый военный плащ. Сергей томно уселся подле брата в модной синей, подбитой малиновым бархатом, широкой альмавиве.

Вороные кони миновали стриженый двор и, вынесшись за ворота, помчались лесной дорогой. Едва курятевская усадьба осталась позади, Кирила Павлыч, не сдерживаемый более ничем, принялся целовать Сергея и душить в объятьях.

— Что с вами, братец, пустите,— отбивался Сергей.

— Поздравь меня: Зенеида дала мне слово. Я жених.

Сергей покосился испуганно на брата.

— Как? Когда?

— Сегодня, перед обедом. Покуда ты там философничал да гусей кормил, я объяснился и получил согласие.

— Поздравляю, братец.

Холоден был поцелуй Сергея.

— Ты словно недоволен? а?

— Нет, братец, я вашему счастью не могу не радоваться, только... простите...

— Ну?

— Любит ли она вас?

— Э, пустяки! Вздор говоришь, Сергей. Любовь выдумали пииты. От жены не любовь требуется, а... Ну, да ты еще молод и этого не поймешь.

Лошади бодро неслись по березовой просеке. Вдруг левая передняя шарахнулась в сторону, за ней вся четверня. Коляска едва не опрокинулась. Сергей с трудом усидел на месте.

— Эко несчастье,— сказал вполголоса кучер, снимая шапку.— Сердешный!

Над самой дорогой распростерла ветви престарелая, в медной коре, горбатая осина. На ней, почти касаясь земли ногами, висел человек.

Кони фыркали и храпели. Генерал вылез из коляски. Сергей подбежал к удавленнику с необъяснимым чувством.

— Скворцалупов! — воскликнул он.

Дворецкий висел на белом своем галстуке, в расстегнутом синем фраке, в чулках и башмаках. Лицо его в сумерках было страшно. С высунутого синего языка капала черная кровь, а искривленный закатившийся взор по-давешнему подмигивал Сергею.

— Собаке и смерть собачья,— сказал генерал сурово.— Проведи лошадей, Иван, и поедем дальше.

— Эко дело,— твердил кучер,— примета-то больно нехороша. Да и как тут проведешь: не стоят лошади-то, не слушают.

— Живо проведи, каналья! — крикнул, свирепея, Кирила Павлыч.— До смерти запорю, ежели хоть слово еще скажешь!

И, весь трясясь от непонятной ему самому ярости, Кирила Павлыч хватил с размаху кучера по щеке.

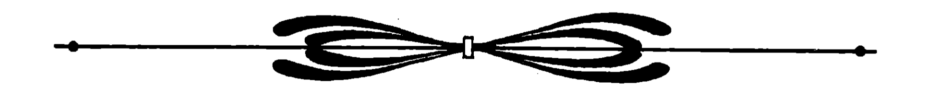
— Братец,— сказал с укором Сергей.

Обойдя дорогу и миновав покорно согнувшийся, черневший под деревом труп, лошади помчались что есть духу.

Вдруг небо потемнело. Свист, пронзительный и однообразный, рассыпался над головами путников резким шипящим хохотом. В темно-синей глубине небес лебеди мчались несметным полчищем подобно грозовой туче. В молчаливом бешеном полете их чуялась вещая решимость, будто навеки покидали лебеди родные озера.

В полудремоте братья Бобровы отдались мечтам своим. Неприятная встреча ими позабылась. Перед мысленным взором Кирилы Павлыча стоцветной радугой будущее счастье сияло: дворец, княжеское поместье, жена-красавица, почет, богатство и генерал-адъютантские вензеля. Сергей, как пробудившийся от тяжкого сна, радостно дышал всей грудью. Юная жизнь, необъятная, светлая, прекрасная, вставала перед ним впереди. Не все ли равно, какова она будет: только бы жить и быть счастливым. И сладко было Сергею внимать, засыпая, прощальный далекий пересвист лебединых крыл.

Июнь 1911
Щербинка



ЗАПИСКИ АКТЕРА

Портрет хорош, оригинал-то скверен.

Лермонтов

Глава первая

ОТЕЦ

Нынче оралы-то не в моде.

Островский

Я, рассуждая по совести, человек, не помнящий родства. Отец-покойник никогда не рассказывал, откуда мы происходили, где жили прежде и как в Москву попали. Соображаю теперь, что мой родитель был просто-напросто отпущенный дворовый человек господ Юрасовых. Видел я у него и контракт на синей толстой бумаге с дирекцией московских императорских театров: что вот-де обязуется актер Николай Петров Быстрицкий играть в комедиях, драмах и трагедиях с ежегодным бенефисом и жалованьем по тысяче рублей ассигнаций в год. Да еще сохранилась у меня домашняя афиша крепостного театра, где отец танцевал в балете «Благодетельный алжирец» и получил от губернатора из собственных рук золотой за отличную игру. Как он попал из барских актеров в московские, понятия не имею.

С родителем судьба сыграла плохую шутку. В старину актерское звание давалось не кое-как, а с тем, чтобы амплуа соответствовало наружности. Если ты маленький, толстый, с носиком пуговкой, так ты, стало быть, прирожденный комик и должен играть Филатку либо Полония; можно и в Подколесине играть тоже, как делывал Щепкин; а коли ты к тому же еще курносый или широколицый, на манер Живокини,— смело откалывай во всех водевилях и будешь иметь успех.

Так вот, отец и готовил себя в трагедию. Ростом он был немного пониже Василия Каратыгина; голос — труба, походка трехаршинная, но имелись в нем два изъяна. Первый — нос. Мне уже перевалило за шестьдесят; исколесил я, могу сказать, всю Россию, ну а такого носа, как у родителя, Николая-свет Петровича,

нигде никогда не видывал. Длинный, с набалдашником и кривой. Из-за носа с ним анекдот однажды смешной случился.

«Стою я,— рассказывал отец,— у театрального буфета, собираюсь вторую выпить; вдруг подходят двое из публики и прямо ко мне. Один говорит другому: видишь? Вижу, отвечает, вот так нос! И оба ушли».

— А вы что же?

— А я так и остался с носом.

Второй недостаток — лысина. Ну, это для сцены пустяковое дело: надел парик или накладку и баста; а вот в жизни эта самая лысина проклятая много отцу напортила. Не будь ее, я бы барином стал и жил бы в собственном доме. Дело вот как было. На императорской сцене — тогда еще столичных частных театров в помине не было — отцу дали главную роль в трагедии «Смерть Ляпунова». Как уж он там играл, судить не смею, но, должно быть, хорошо. Сыграл раз, сыграл два, и получает в один прекрасный вечер письмецо на розовой бумажке. Я, мол, от вас без ума, вы мой кумир, и так далее, все, что полагается. Одним словом, история известная: свидания дамочка требует. Наводит родитель мой справки и стороной узнает, что увлеклась им богатейшая вдова-купчиха. В Замоскворечье дом, три лавки на Ильинке, салотопенный и кожевенный заводы, дача в Сокольниках, большой капитал и прочее. Не угодно ли сообразить. Ни детей, ни родни, а сама баба свежая и ядреная. Узнавши о такой благодати, Николай Петрович повел атаку на всех парусах и быстро обстряпал дельце. Товарищи смеются: что это, мол, наш кулик каким орлом ходит (в труппе отца по причине непомерного носа куликом величали) — а он только посвистывает да улыбается: «Ладно, мол, вот женюсь на богатой, узнаете кулика». Первое свидание с красавицей назначил отец после спектакля: и подозрений меньше, и можно проводить даму сердца на самую Якиманку. Только выходит он из бокового подъезда на площадь,— тогда, до пожара, драму играли еще в Большом театре,— погода дивная, месяц, звезды, снежок хрустит, а в сторонке ждет пара рысаков с бубенцами. Дамочка выскочила из саней и бежит навстречу: в лисьем салопе, в платочке, жемчуга на шейке, раскраснелась, как розан. «Сударыня, как я счастлив!» — снимает отец цилиндр, и засияла лысина при месяце. «Ах, нет, это не вы!» — «Как не я? Самый я, сударыня».— «Нет, вы лысый, не могу, прощайте!» Прыг в санки и улетела.

До сих пор я родителю, царство ему небесное, простить этой глупости не могу.

Однако я немного отвлекся. Дело в том, что отец с трагическим репертуаром пришелся не ко двору. Тут как раз Гоголь явился, за ним Островский и всякие там Потехины. Пошло мужичье горланить на сцене, а благородные пьесы начальство поснимало: сборов, дескать, не делают. И пришлось Николаю Петровичу играть — стыдно признаться — лакеев. Что поделаешь, и хуже

бывает: вон, Леонидов Леонид Львович, совсем ничего не играл. Взяли его на место Каратыгина, держали лет сорок и все-таки ролей не давали, потому что каратыгинский репертуар с Каратыгиным вместе сошел в могилу.

Ловко отец тогда Ленского отбрил. Это тот самый Ленский, что водевили сочинял, автор «Синичкина». У отца на дверях уборной вывел он мелом «лакейская»: дескать, лакеев играешь. А отец внизу одно только словцо приписал: «шутка». И вырядил Ленского в дураки.

С горя Николай Петрович начал попивать. Женился он вовсе глупо. При театре держал буфет немец Пиль. Отец в долг вино забирал, а немец записывал. И насчитал он за отцом восемьсот целковых. «Платите, не то самому Загоскину пожалуюсь». Загоскин был директором московских театров; я, когда Хлестакова играю, всегда его вспомню: Юрий-то Милославский? Великолепная вещь! Повертелся, повертелся родитель. А у Пиля дочка красивая. Он взял да и обвенчался. И долг сквитал, и новый кредит открылся. Тогда ему уже под сорок было.

Я родился 4 января 1894 года. Крестили меня Михайло Семеныч Щепкин и жена частного пристава Надежда Александровна Зборовская. А мать умерла аккурат через две недели.

Глава вторая

ДЕБЮТ

И я в Аркадии родился.

Островский

Отец мой не любил рассказывать про службу в театре. А если начинал вспоминать, так больше ругался. Выходило, что все ему только завидуют да подставляют ножку. Щепкина он так и звал, за глаза конечно, старым интриганом; даже стихи про него декламировал в пьяном виде:

О, ты интригами прославленный издревле,
Чьи слезы гнусные помой дешевле,
Кто в гроб Рязанцева, Мочалова низвел...

Дальше не помню. Мочалов и Ленский, по словам отца, были величайшие пьяницы. «Никакого таланта для актера не нужно,— говаривал отец,— да талантов в природе и не существует: это выдумки ученых. Умей только держаться на сцене да нравиться бабам — вот и весь актерский талант». Говоря по совести, все

это сущая правда. Я тоже так думаю. Талант ты там или нет, все равно придется состариться и околеть под забором или в Убежище, а от блестящих ролей, от аплодисментов да дур-поклонниц ничего не останется, кроме дыму.

Мне было без малого пятнадцать, когда родитель решил, наконец, пустить меня по актерской части. Шел я на сцену и поневоле и по охоте. Поневоле оттого, что умел только читать да писать (и то, спасибо, старичок капельдинер выучил), а по охоте — так уж очень мне нравилось актерское беззаботное житье. Я по шестнадцатому-то году и за бабенками бегать начинал, да и винцо научился тянуть порядочно.

Вот и привел меня отец в барсовский трактир на площади Большого театра, в знаменитую Белую залу. Спросил графинчик и пирог за гривенник. Дело было на второй неделе поста. Актеров в трактир навалило видимо-невидимо: куда ни поглядишь, всё бритые рожи. Половые с салфетками да с подносами так и мечутся. И сразу видно, кто на каком амплуа и кому сезон выпал удачный, а кому нет. Выходит, например, первый любовник, завитой, при цилиндре, фрак белым атласом подбит (значит, Чацкого в нем играет), кричит: «Шампанского!» — ну, оно и видать, что платил ему антрепренер где-нибудь в Казани или в Курске рубликов двести с полным бенефисом. А другой актерик, подслеповатый, с вихрами (комик либо простак), сапожонки рваные, сюртучок засален; заказывает бутерброд с колбасой да рюмку водки, а сам озирается, не заплатит ли кто,— ну, и тут все тоже понятно. К отцу подходили, здоровались: «Николай Петрович, сколько зим, как поживаете?» А он мне шепчет: вот это салонный резонер Ратмиров, это — Оралов, первый комик, это — Эльский, благородный отец. Вдруг вижу, родитель вскочил, заулыбался, закланялся и начинает звать к нам за столик какого-то здоровенного плечистого актера с огромными усищами, с палкой. На палке серебряный набалдашник и надпись: «Российскому Гамлету от благодарного тульского купечества».

Сел этот самый Гамлет рядом со мной, развернул салфетку, а отец и говорит:

— Вот, Николай Хрисанфыч, позвольте вам представить моего единственного сына Сережку. А ты, дурак, помни, с кем сидишь: ведь это наш гениальный и неподражаемый Николай Хрисанфыч Рыбаков.

Рыбаков только бровью повел да усом шевельнул. Руки он, конечно, мне не подал, а я своей протянуть и подавно не осмелился.

— Чего вам заказать, Николай Хрисанфыч?

— Вина и фруктов.

— Каких прикажете?

— Очищенной и огурцов.

Отец захихикал и я тоже. Вижу, Рыбаков человек покладистый.

Разговорились старики за водкой. Всех слов их не помню, но только Рыбаков не хуже отца бранил и новые пьесы, и молодых актеров. Я замечал потом, что это со многими приключается: как перевалит человек за сорок, так и начинает всех, кто помоложе, ругательски ругать. Еще рассказывал Рыбаков, как в Нижнем на ярмарке негритянский актер Ольридж холодным поросенком объелся. Этого Ольриджа Васька Смирнов (антрепренер такой был, заика и жулик большой руки) выписал в Нижний на гастроли, и после представления «Отелло» купцы заезжему трагику ужин закатили. Негр обрадовался да на поросенка и налег. А ночью в номере у себя как заголосит во все горло; катается по полу в одной рубахе и орет, а что — не разберешь.

Тут я не выдержал, фыркнул, а Рыбаков мне сказал:

— Так ты, малец, желаешь на сцену?

— Желаю, Николай Хрисанфыч.

— Ну, так я тебя Островскому представлю.

Взял меня за руку и подвел к угловому столу.

— Вот, Александр Николаич, нельзя ли юнца в театральную школу определить?

Островский никакого представительства не имел. Даже не скажешь, что писатель. Так, рыженький, с бородой, похож на банщика. Вот прихлебнул он вина и говорит тихим голосом:

— А есть ли у него талант? Теперь без таланта лучше на сцену не соваться.

— Я думаю, талант у него есть, Александр Николаич.

— А почему вы так думаете, Николай Хрисанфыч?

— Он кулика Быстрицкого сын.

Островский усмехнулся.

— Да, конечно, подобные случаи наблюдались. У Мочалова с Каратыгиным тоже отцы актеры...

Допил вино и добавил:

— Бездарные.

Потом мне руку подал.

— Вы, молодой человек, зайдите ко мне в воскресенье. Свой дом за Лефортовом на Яузе. Я вам дам письмо к Федору Алексеичу Бурдину. Отправляйтесь в Петербург, Бурдин вас устроит.

Я кланяюсь. Вдруг к этому столу подлетает громадного роста купец в поддевке, чуть меня с ног не сшиб; за ним качается актер какой-то, толстый, как бочка.

— Александр Николаич,— кричит купец,— к вашей милости! Живет Молчалин с Софьей али нет?

Все рты разинули. Островский подумал и головой покачал.

— Вот что, господа, оно точно, может, и был грех, да только Софья-то Павловна кто такая, помните по афише? Дочь управляющего казенным местом. Это, стало быть, штатский генерал.

Так хорошо ли распускать подобные слухи про генеральскую дочку, да еще по нынешним временам?

Купец опешил, а актер прослезился и руку Островскому начал жать.

— Благородно, Александр Николаич, благородно.

Это они, изволите видеть, бились об заклад насчет Софьи с Молчалиным: в каких, дескать, они между собой отношениях.

Дальше все как по писаному случилось. Отец меня снарядил в Петербург; побывал я у Бурдина, и тот мне помог поступить в театральное училище. Здесь я провел ровно пять лет. За год до выпуска мой отец умер.

Глава третья

ОПЕРЕТКА

Комик в жизни и злодей на сцене.

Островский

На сцену поступил я в тот самый год, когда французы воевали с немцами. Кто победил, я, право, не знаю. Помню только, что комик Шпоня, пьяный, конечно, посылал телеграмму Бисмарку в Берлин: «Выручайте, дяденька, несчастного Шпоню». Дальше рассказывали по-разному: то будто Бисмарк сейчас же прислал сто марок, то будто покойный градоначальник Трептов упрятал Шпоню в кутузку. Шут их там разберет; мне было не до политики,— уж очень веселое начиналось время: оперетка царила. То и дело, бывало, слышишь на улице и в театре:

Я царь, нет, муж царицы,
Муж царицы, муж царицы,
Добрый, симпатичный Менелай!

Или:

Да, это шутки,
В них правды нет,
Все это утки
Пустых газет,
Ква-ква, ква-ква, ква-ква, ква-ква!

А то:

Вот как отец мой пить умел,
И вот какой большой имел,
И вот какой большой, большой,
Какой большой стакан имел!

Слетались к нам птички певчие со всей Европы: Бланш д'Антилья, Дебориа, Баруччи, Грей, Блендорф.

Ну-с, дали мне, как водится, дебют в Александринке. Летом, конечно. Выбрал я «Гамлета». По этому поводу покойный Петр Андреич Каратыгин сострил про меня: «Хам летом дебютирует». Каламбур довольно обидный, ну да от заслуженного актера и не то снесешь. Гамлета же я взял потому, что ролька-то уж очень благодарная: во-первых, нежные чувства к отцу и к матери; тут можно в голосе слезу подпустить; потом сумасшествие, выигрышное местечко, а главное — испанские костюмы и все такое. Роль я выучил великолепно, провел сцены твердо, ни одного выхода не спутал. И что же? Спустили занавес — слышу свистки и шипенье. Ах, как мне тут досадно стало! Вот так, думаю, отличился,— стоило стараться. Что теперь делать? Либо в провинцию ехать на авось, либо до старости лакеев играть в Александринке да дожидаться грошовой пенсии. С горя отправился в «Малый Ярославец», сижу за вином, вдруг входит Минаев.

А это журналист был известный, сатирик; всегда за кулисами толокся. Самойлов, Монахов и прочие тузы прикармливали его, а то сейчас продернет. С нами, молодежью, он и совсем не стеснялся.

Присаживается ко мне Минаев.

— Ну что, брат, провалил дебют?

— Провалил.

Вижу, Минаев в большом подпитии.

— И дурак же ты, братец, скажу я тебе. Ну куда ты с суконным рылом? Какой ты Гамлет? Ты просто необразованная скотина.

— Чего же вы ругаетесь?

— Да ведь я любя говорю. К этой роли, братец ты мой, настоящие люди весь век готовятся. Куда ж ты теперь?

— В провинцию хочу.

— А что там делать будешь?

— Играть.

— Гамлета, что ли? Ну нет, брат, не те времена. А ты лучше в оперетку поступи.

— В оперетку?

— Непременно. Нынче даже первые сюжеты опереткой не гнушаются. Сазонов Париса поет, Монахов — Ахилла, Лядова в «Прекрасной Елене» и «Периколе» играет. А знаешь ли ты, милый друг, кто у Лядовой главная поклонница? Сама Мина Ивановна, вот кто. А через Мину Ивановну любое губернаторское место можно сейчас получить. Ведь она на содержании у старика Адлеберга, а Адлеберга сын — министр императорского двора. У государя обедает и с ним на охоту ездит. Так ежели ты да понравишься Мине Ивановне,— понимаешь меня, стервец ты эдакий, какую карьеру ты сделать можешь?

А ведь и вправду, думаю себе. Сам я видел в Михайловском театре, как старый граф Адлеберг в ложе у Мины Ива-

новны юлит. Такая поклонница целого кабинета министров стоит.

Закружилась у меня голова, а Минаев долбит:

— Александринка не уйдет от тебя, дай срок. Там сейчас мерзость запустения. Вон Нильский Чацкого играет в широких брюках с белым лампасом, по самой последней моде — каково? Павла Васильевича в Грозном выпускали. Монахов из почтальонов в премьеры приглашен. Нет, брат, поступай в оперетку. Ты парень красивый, статный, вон брови-то какие у тебя.

А брови, точно, были у меня тогда хорошие, чистый соболь. Только у двоих и встречал я такие брови: у покойного Михаила Валентиновича Лентовского да у Гришки Демюра.

И так меня Минаев убедил, что я через две недели подписал контракт в Симбирск, в оперетку, к антрепренеру Каролину: семьдесят пять рублей и два полубенефиса.

Во фрачных и рубашечных ролях я был всегда плоховат, зато в костюмных — ой-ой-ой! А ведь в оперетке костюм первое дело. Помню, отличился я в Симбирске. Шла знаменитая оперетка «Испанский дворянин дон Цезарь де Базан». Еще тут смешной инцидент случился. Костюмы пришли из Москвы с обозом, а в обозе-то была, извольте видеть, соленая треска. Смрад за кулисами невероятный. Пробовали на раскаленные вьюшки лить туалетный уксус — еще хуже. До публики не доходит, а на сцене просто дышать нельзя.

Запел я главную арию:

Всему на свете мера,
Всему есть свой конец —
Да здравствует мадера,
Веселие сердец!

Пою и сам чувствую, что красив. Как соловей заливаюсь; разодет знатнейшим испанцем: воротник кружевной, камзол в золоте, шпага, кудри, эспаньолка, брови дугой,— знай наших! Дамочки с меня биноклей не сводят.

Назавтра получаю два письма.

Глава четвертая

ПРИЗНАНИЯ

После обеда я тебе роль почитаю.

Островский

«Мой дорогой, мой любимый! Простите меня, что я так смело обращаюсь к вам, но я почувствовала вчера в театре, что я вас люблю и не могу без вас жить. Не отвергайте меня. Мне ничего

не надо, только позвольте мне быть вашей преданной рабой. Я буду около вас. Если вы заболеете, я буду ходить за вами. Мы будем вместе готовить ваши роли, вместе читать, мечтать и упиваться поэзией. Мне хочется быть вашей Еленой, как у Тургенева в «Накануне». Это мой идеал. Я хочу знать, какие книги вы читаете и кто ваш любимый автор. Мой покойный отец дал мне хорошее образование, я знаю три языка и музыку и уроками поддерживаю существование моей больной матери. Если вы хотите меня видеть, будьте сегодня в семь часов за театром, там, где начинается забор Палтовского дома.

Ваша навеки *Е. Плетнева*».

* * *

«За вашу райскую красоту, как я есть женщина чувствительная и слабая, посылаю в презент пять фунтов самой лучшей паюсной икры, балык, белорыбицу, дюжину тенерифу и всяких закусков. Кушайте на доброе здоровье. А ежели сами ко мне пожалуете на чай вечерком, то и еще пожертвую. Потому я театр обожаю всей душой. С почтением.

Анисья Полыгалина,
купца второй гильдии вдова».

Глава пятая

ТОВАРИЩИ

Подлости не люблю, вот мое несчастье.

Островский

Ах, проклятая девчонка! Ну, чем же я, в самом деле, виноват; ведь первая свиданье затеяла и всякие шуры-муры. Я думал, отчего же не поиграть? Да потихоньку от Анисьи и развлекался с этой тихоней. А она как раз на Масленой, накануне прощального спектакля, возьми да и отравись. Умереть-то, положим, не умерла, отходили дуру; зато Анисья моя обо всем узнала. И задала же она мне баню! По щекам отхлестала, всего исцарапала, даже часы с цепочкой — свой же подарок — у меня отняла.

Отправился я из Симбирска в Москву. И прямо в Щербаков трактир. Это на Петровке. Туда актеры великим постом съезжаются ангажемента искать.

В трактире — битком. Ну, яблоку упасть негде. Вижу, за столиком у входа два молодых актера. У одного глаза голубые, от-

крытое лицо, плед на руке. Другой в стальном пенсне, а волосы львиной гривой, лицо геройское. Прошу позволения присесть.

— Милости просим,— говорит голубоглазый.— Моя фамилия Ураносов, зовут меня Павлом Петровичем.

— А я,— говорит брюнет,— Никитин Василий Пантелеймонович.

Оказывается, оба без мест и ищут ангажемента.

Не успели мы распить по бутылке пива, как подошел к нам еще актер, постарше, с виду солидный; резонер и характерный комик, Нил Иванович Мерянский. Он антрепризу взял в Ярославле и подбирал себе труппу.

Драма у Мерянского шла пополам с опереткой, и мы все трое порешили в Ярославский театр. С того же вечера стали приятели и выпили брудершафт.

Только, по правде сказать, сердце к ним не лежало. Мерянский, например, меня просто злил. Помилуйте, человек помешался на какой-то дурацкой аккуратности. Всем актерам, до последнего выходного, жалованье всегда выплачивал, бенефисы полностью отдавал, а сам сидел без копейки. В декорациях и обстановке требовал какой-то исторической точности, в костюмах — тоже. Я раз в «Каширской старине» с папиросой вышел — так что тут было! «Разве бояре курили папиросы?» — «А что же? Неужели махорку?» Плюнул и оштрафовал меня на три рубля.

Ураносов, тот на «этике» свихнулся. И выдумал же словечко! Этика не позволяет, правила чести. Да разве артист не должен стоять выше предрассудков?

Никитин из них был еще всех терпимее. Теперь он называется Далматовым и играет в Александринке, а сорок лет назад его звали Вася Никитин или Вася Шекспир. Этот спал и видел Шекспира играть. И если, бывало, подвыпьет, сейчас понесет чепуху про театр, про шекспировские роли: зубы скалит, воет по-волчьи. Даже какие-то книжки читал и что-то оттуда списывал.

Спектакли начинались в середине сентября. В Ярославль я приехал недели за две, чтобы поспеть к репетициям. Для открытия ставили «Ревизора». С дороги отдохнул и отправился в театр. Подхожу и вижу: какой-то субъект в цилиндре и крылатке красит стены малярной кистью. Обернулся: зубы на солнце так и блеснули. По этим зубам я его сразу узнал.

— Вася, ты?

— Я. С приездом, Сережа.

— А где Ураносов?

— Декорации чинит.

Тут выходит из театра Нил Иваныч, с пером за ухом: роли переписывал.

— Здравствуй, Сергей. Пойдем-ка в театр, там тебе дело найдется. Ты мебель обивать можешь?

Нет, думаю, дудки: слуга покорный.

— Не пробовал,— говорю,— но если ты мне в месяц десятку накинешь, тогда, пожалуй.

Мерянский улыбнулся.

— Однако, не знал, что ты такая свинья.

Повернулся и пошел за кулисы. Ладно. Пусть свинья, да обойщиком не буду. Я не рабочий, а благородный артист.

Первый спектакль в Ярославском театре дал сбору восемьдесят восемь рублей. Вася играл Хлестакова, Мерянский — городничего, Ураносов — Осипа.

Дня через два говорит мне Мерянский:

— Сходи в полицию, попроси подписать афишу на завтрашний спектакль. У нас полицеймейстер полковник Пиль заупрямился, не желает подписывать. Взятку, видно, хочет сорвать. Нечего делать, дадим барашка в бумажке, а покуда попробуй его уломать.

Иду я и думаю: что за Пиль? Ведь это моей матери фамилия.

В канцелярии встречает сам полковник: лицо суровое. И страшно кого-то напоминает.

— Я,— говорит,— не могу афишу подписать. У вас стоит «В осадном положении», а в указателе пьес, официально одобренном, значится: «Осадном положении (В)». Ваш антрепренер говорит, что это по алфавиту, а я требую, чтобы было по закону.

Тут я как бухну сразу:

— А у вас, господин полковник, не было сестры?

— Была, а что?

— Не за Быстрицким ли она была?

— Да, за актером императорской сцены Быстрицким. Вы разве ее знавали?

— Я ее сын.

Полковник вскочил и ну меня обнимать. Еще бы: родной племянник. Сейчас же афишу подписал.

Я думал, товарищи благодарить меня будут, а они пуще надулись. Ураносов даже прозвал меня полицейским племянником.

Дядя, с отличием кончив кадетский корпус, был в гвардии и дослужился до ротмистра. В отставку вышел, можно сказать, по пустякам: из-за сходства с царем. Его-то он мне и напомнил при первом знакомстве. На Александра II дядя был как две капли воды похож, и многие в Петербурге его за царя принимали. По этому поводу шеф жандармов вошел с докладом, что неудобно царского двойника оставлять в столице. А тогда как раз покушения начались. Вот и приказано было ротмистру Пилю баки обрить и коротко стричься; потом ему выдали годовой оклад, произвели

в полковники с отставкой и назначили полицеймейстером в Ярославль.

Прямо хоть водевиль пиши.

Я думал, дядя возьмет меня жить к себе, ан нет. Обедами кормил, но денег не давал. На именины подарил серебряный портсигар и только.

Между тем у Мерянского дела пошли хуже. Уж мы давно на товарищеских марках играли, а сборов никаких. Даже оперетка не вывезла. Ну, думаю, надо убираться восвояси. Наконец, Мерянский объявляет, что так продолжать нельзя, надо разъезжаться. И при расчете обождать меня просит с получением трех рублей.

— Нет,— говорю,— это никак невозможно. Что за безобразие? Придется, видно, дядюшке рассказать.

Смотрю, Мерянский вдруг весь покраснел как свекла и слезы на глазах. Тогда Никитин лезет в карман, достает зеленую.

— Нил, отдай, пожалуйста, эти деньги господину полицейскому племяннику.

Я ему хотел было руку пожать: спасибо, мол, Вася,— а он руки не заметил, шубенку свою с собачьим воротником накинул небрежно, цилиндр на глаза, спиной ко мне повернулся и, уходя, завыл из Шекспира, точно голодный волк:

— Небесный гром, расплюсни шар земли
И раскидай по ветру семена,
Родящие людей неблагодарных!

Ах ты, шут гороховый! Хорошо еще, Ураносов за неделю уехал, а то быть бы мне с плюхой ради праздника.

Мерянский между тем приготовил расписку.

— Вот,— говорит,— подпишите и забудьте, пожалуйста, что мы были знакомы.

Ну и черт с тобой, думаю: подавись своей распиской. Из театра я отправился прямо к дяде.

У полковника была огромная семья. Двух жен старик схоронил, женился на третьей. Кроме детей от трех браков, жила при нем куча родни. Дело происходило на святках. Вхожу я в дядину переднюю и вижу: кульков, коробок, бутылок целые горы, и все купцы нанесли. Рождественские презенты! Эх, думаю, вот так житье! И вспомнился мне один куплет на мотив из «Цыганского барона»:

Ах, зачем я не кот,
Хоть один только год?
Хороша жизнь кота,
Тра-та-та, тра-та-та!

Дядя меня принял ласково:

— Что скажешь, Сереженька?

— Да что, дядюшка, жизнь невмочь становится. Просто хоть в петлю.

— Как так?

— Антрепренер оказался мошенником, товарищи — нигилисты. Дядюшка, возьмите меня к себе.

— Как же это? Видишь, какая у меня семья, повернуться негде.

— Нет, вы на службу возьмите.

— На службу? В полицию?

— Вот именно.

— Что же тебя толкает на такой страшный путь?

— Чем страшный? Вполне обеспеченная должность. Вон у вас в передней благодать-то какая, умирать не надо.

Вижу, смутился старик, покраснел, пот на лбу. Хочет сигару закурить, а руки трясутся.

— А знаешь ли, сколько мне жалованья идет?

— Не знаю, дяденька.

— Пятьдесят целковых с копейками. Можно ли такую семью содержать на это? Нет, всякий скажет: нельзя. Ведь наше начальство само вынуждает брать взятки. И мы берем. В полицию люди в крайности идут. А ты — артист, служишь святому искусству и вдруг захотел в квартальные.

— Какое там, дядюшка, святое искусство? Один разговор.

— Так вот что я тебе скажу, племянничек. Сейчас ты без места?

— Без места, дядюшка.

— Дам я тебе письмо к Лихачеву, помещику, верст сорок отсюда. Он у себя домашний театр строить хочет. Это мой полковой товарищ; завтра поезжай к нему на моих лошадях. Кучер тебе письмо к Лихачеву отдаст и сто рублей. А теперь прощай и больше не являйся. Писем не пиши: ответа не будет.

Встал и пошел, только шпоры зазвенели. Ушел и я.

Лихачев был человек еще не старый и страшно богатый. Когда он служил гвардейским кирасиром, у него в собственном доме на Литейном разостланы были во всех комнатах великолепные персидские ковры и по этим коврам разгуливали его любимые верховые лошади. Хозяин их сахаром кормил и гостям показывал. Даму одну покорил, переодевшись извозчиком. Возил ее несколько раз, разговаривал, наконец в любви признался. Она мужа бросила и к нему. Лихачев все ее причуды исполнял, выхлопотал развод и много просадил на нее денег. Только раз — почти накануне свадьбы — она рассердилась и швырнула пачку ассигнаций в камин. Лихачев поклонился, вышел и больше с невестой не виделся. В отставку он подал вот по какому случаю. Однажды, на высочайшем смотру, государь, как полагается, сделал обычный вопрос: не имеет ли кто претензий? Вдруг Лихачев выезжает из фронта вперед.

— Как, Лихачев? На что ты имеешь претензию?

— На красоту, ваше величество.

— Отправляйся под арест.

Отсидел Лихачев неделю на гауптвахте, из полка по прошению уволился и зажил в усадьбе.

Лихачевский дом походил на дворец: везде бронза, ковры, серебро, фарфор; орет попугай, собачонки заливаются. Ввели меня два арапа в приемную. Выходит хозяин, как студень трясется, до того толст; в халате, с трубкой.

Прочитал письмо от дядюшки, подумал.

— Хорошо, милейший, я тебя приму, и жить ты будешь на всем готовом, только уж извини: у меня строжайшее правило: каждого домочадца я приказываю одевать, брить и стричь по специальным фасонам. Есть у меня и французы, и турки, и Отелло, и герцог Рюи-Блаз, и просто англичанин, а вот тебя я Хариусом сделаю. Согласен?

— Согласен,— говорю.

Лихачев позвонил в колокольчик. Является лакей: ну, вылитый Калхас из «Прекрасной Елены».

— Позвать Фиксатуара.

— Слушаю-с.

Фиксатуаром назывался лихачевский парикмахер, молодой и хорошенький мальчонка, проказник за первый сорт. Усадил он меня перед зеркалом, принесли ему горячей воды и мыла; стал он править бритву. В конце концов мне всю голову начисто выбрил и брови тоже и так устроил, что глаза у меня сделались узенькими, вроде щелок. Одним словом, получилась, действительно, форменная рыба.

Только вижу, вдруг входит в приемную,— кто же? Ураносов! В собственном платье, в зубах папироска. Меня, разумеется, не узнал; развязно прошелся, точно дома, руки назад, и замечает хозяину:

— А что, Яша, как ты думаешь насчет завтрака?

— Отлично, Паша, сейчас устроим.

Эге, думаю, молодчина Ураносов: ловко объехал барина! Подхожу к нему: «Паша, здравствуй».

Насилу узнал он меня и со смеху покатился.

— Надо,— говорит,— для тебя особую пьесу сочинить.

— Ты разве сочиняешь?

— Да, я здесь состою театральным автором, сценариусом и главным режиссером.

Входит лакей: «Кушать подано».

Лихачев взял Ураносова под руку, а мне говорит:

— Тебя я, любезный, не зову, ты и в людской закусишь. Мне неудобно с таким Хариусом сидеть за одним столом.

— Вы же мне сами предложили...

— А зачем ты соглашался? Вот я твоего товарища хотел

в тореадора преобразить, так он мне чуть в физиономию не заехал. Стало быть, человек с самолюбием.

Вот и извольте угодить на такого франта.

Представление состоялось в день рождения хозяина. Шла одноактная комедия Ураносова. Гостей на спектакль набралось человек пятнадцать. Все люди аристократического круга: с проборами, в лакированных ботинках, говорят по-французски. Дам ни одной.

После представления ужин за общим столом. Я по-прежнему Хариусом сижу: обтянут черным трико и выбрит как череп. Только замечаю, один из гостей с меня глаз не спускает. Видно сразу, что барин высокого полета: осанка важная, одет превосходно. Курит сигару в дорогом мундштуке: из слоновой кости Венера, а у нее за спиной на задних лапах борзой пес.

Поговорил о чем-то гость с Лихачевым, посмеялся. Шампанского за ужином, между прочим, разливанное море было.

Вот, когда уж все порядочно заложили, встает этот самый барин и идет ко мне.

— Хариус, хочешь, я тебя человеком сделаю?

— Как не хотеть, покорно благодарю-с.

— Так собирайся. В Одессу со мной поедешь. Мне такие люди нужны.

— Виноват,— говорю,— ваше сиятельство, с кем имею высокую честь беседовать-с?

— Я, братец, не сиятельство, а только высокородие, потому что барон. А ты меня называй с этих пор Николаем Карлычем. Я барон Фриденбург, по сцене Милославский, одесский антрепренер.

Глава шестая

АМПЛУА

> Есть люди, которые бьют, и есть люди, которых бьют.
>
> *Островский*

Незабвенному благодетелю Николаю Карлычу обязан я всей своей карьерой.

Первым делом приказал он мне, после совершения контракта (девять с полтиной в месяц), вычистить ему сапоги и поручил на мое попечение весь гардероб и белье. По утрам я подавал Николаю Карлычу кофе и воду для бритья. Так продолжалось месяцев пять. Давно открылся театр в Одессе, вся труп-

па играет, один я не у дел. Проживаю я у Николая Карлыча на Дерибасовской, в отдельной темной комнатке, рядом с кухней.

— Когда же я начну играть, Николай Карлыч?

— Скоро, любезнейший, скоро. Надо, чтобы волосы и брови подросли. А как ты полагаешь, зачем я гардероб тебе поручил?

— Не знаю-с.

— Чтобы выучить тебя как следует одеваться. Ну что ты такое? Провинциальный трагик на третьи роли. Ни манер, ни апломба. Тебе даже не удастся сыграть лакея из хорошего дома, потому что ты не бывал никогда в порядочных домах. А вот теперь, живя с бароном Фриденбургом, ты поневоле знаешь, как держат себя настоящие джентльмены. Знаешь, когда фрак надевать, а когда редингот; галстуки умеешь повязывать. Видал мои жилеты и белье. В ботинках смыслишь, в полотне голландском. Ведь правда?

— Сущая правда, Николай Карлыч.

— Слушай, я тебе открою актерский секрет. Что такое актер? Белый листок бумаги. Каждый вечер у актера новое лицо. А каков он на самом деле, нечистый не разберет. Значит, тебе непременно надо придумать подходящее амплуа и в жизни. Так поступают все умные актеры. Иванов-Козельский полоумного корчит, Андреев-Бурлак — простофилю, Рыбаков — отставного ротмистра,— кому что идет. Щепкин всю жизнь свою плакал и оттого добряком прослыл. А тебе я советую играть в благородство.

— Почему же, Николай Карлыч?

— Потому что ты, мой друг, подлец по натуре, а лучше прирожденного подлеца никто благородства изобразить не сумеет. Поступай только во всем наоборот. Хочется тебе поклониться пониже — ты голову задирай. Попросят у тебя взаймы полтинник — давай рубль. Никогда не судись с антрепренерами, не пиши ругательных писем. А главное, разыгрывай доброго и преданного товарища: в убытке не будешь.

И что же? Целых восемь лет провел я у Николая Карлыча и сам себя после не мог узнать. Во-первых, постигал я тонкости барского туалета: выучился модно одеваться да заодно уж и не платить портным. Подавая Николаю Карлычу обедать, узнал все лучшие блюда и с поваром дружбу свел. Понял, что значит хорошее винцо. Держаться стал с таким благородным шиком, что хоть бы графу впору; даже французские слова научился произносить.

Тогда и на сцене успехи начались. В Одессе, в Харькове, в Киеве, Ростове-на-Дону переиграл я пропасть первых ролей. Публика меня принимала, хвалили и газеты. Один только ростовский рецензент — я его вместо коньяку по ошибке портвейном угостил — отозвался про мою игру в «Кине»: «Во Франции губернатор

называется префект, исправник — супрефект. Вчера г. Быстрицкий в новой роли оказался не Кин, а су-Кин...»

Ловко написал, каналья; я долго смеялся.

А сколько знаменитых, можно сказать, бессмертных артистов перебывало при мне в труппе у Николая Карлыча! Самсонов Левушка, хороший, образованный актер, бывший учитель гимназии. Киселенский Иван Платоныч, из моряков, настоящий барин: жалованье брал и то с гримасой. Сашка Бурнаковский, весельчак, опереточный комик-буфф, всегда в черкеске, с кинжалом, пенсне на шнурочке... Да всех и не вспомнишь.

Николай Карлыч меня полюбил. Я помогал ему при расчетах с актерами; выступал свидетелем на суде.

Ах, что за молодец был Николай Карлыч! Орел, как есть орел. Никогда ничего не боялся, всегда действовал напрямик.

Раз летом играли мы где-то на юге, забыл уж, где именно. И была там в летнем саду лотерея-аллегри. В числе выигрышей стояли две чудных мраморных вазы, и очень Николаю Карлычу хотелось их получить. Номера тут же, на вазах: девятый и десятый. Публика билеты ежедневно раскупала, и все из-за этих ваз. А номера, как назло, никак не выходят.

Однажды — уж под самый конец сезона — является в сад Николай Карлыч, берет два билета и провозглашает: вазы мои!

Все смотрят: точно, эти самые номера.

Забрал Николай Карлыч обе вазы и понес к себе. Содержатель лотереи понесся за ним: «Скажите, господин Милославский, каким таким родом вы могли выиграть эти вещи?»

— А что тут непонятного?

— Да как же, ведь этих номеров совсем в лотерее не было.

— Я их подделал, братец, чтобы ты публику не смел обманывать.

— Да помилуйте, какой обман? Я просто их нечаянно забыл.

— А я тебе умышленно напомнил.

Много от Николая Карлыча натерпелись антрепренеры, когда он был актер; еще больше актеры, когда он антрепренером сделался.

В предпоследний сезон мой на службе у Николая Карлыча подписал к нам контракт на первые роли Ураносов, давнишний приятель, можно сказать, друг юности. А уж как он постарел, как опустился! Одет неряхой, носик точно клюква, совсем поседел. Вот она, этика-то актерская, до чего доводит.

Теперь Ураносов походя всех ругал, не только актеров там или пьесы, а всё как есть. Даже политики дерзал касаться. А, между прочим, играл, каналья, отлично и сборы делал Николаю Карлычу битковые.

Каждый вечер перед выходом, бывало, орет: «Никифор, таланту!» Никифор тащит стакан коньяку.

— Павел Петрович,— говорю ему раз,— ведь это гибель таланта.— Он только глазами красными моргнул: «Никифор, гибель таланта!» Залпом осадил и на сцену.

Раз в пьяном виде заснул он на улице после спектакля в костюме Эгмонта. Будочник ночью приходит к нам: так и так. Послал меня Николай Карлыч взять Ураносова и на квартиру доставить. А он к тому времени успел протрезвиться. Посадил я его на извозчика, повез. Вдруг навстречу оркестр бродячий, с какого-то бала. «Стойте, играйте мне марш!» — «И что вы, господин Ураносов, и как это можно?» — «Говорят вам, играйте, анафемы! Не расстраивайте меня! Убью!» Нечего делать, заиграли. Весь город сбежался.

Поступил к нам тогда выходным молодой актерик, и тоже Ураносов. Это было его настоящее прозвище. Оборванный, тощий, жалкий. Вот на первой же репетиции подзывает его премьер.

— Ты Ураносов?

— Так точно, Павел Петрович.

— Как же ты смеешь так называться?

— Простите великодушно.

— Простить я тебя, пожалуй, прощу, но для того, чтобы носить мою фамилию, надо и есть и одеваться по-моему. Изволь купить хороший костюм и кушать прилично. Вот тебе сто рублей.

Мальчишка, понятно, очумел от радости.

Здесь я кончаю свои записки. Как я играл на лучших столичных и провинциальных театрах, какой имел успех и как попал на императорскую сцену — об этом следует рассказывать не мне, а историкам.

С Мерянским помирился я лет двадцать назад, на похоронах Павла Матвеича Свободина. Это был мой товарищ; играли когда-то вместе, а умер он на сцене скоропостижно, во время представления. Хоронили Свободина на Волковом кладбище. Было много театрального народу, и Мерянский говорил речь.

Вот подхожу я к нему, начинаю со слезной дрожью:

— Нил Иваныч, на могиле старого товарища забудем о прошлых спорах...

— Ах, Быстрицкий, это ты? Ну, очень рад тебя видеть. Кто старое помянет, тому глаз вон.

Расцеловались.

Вдруг слышу знакомый трагический баритон:

— Сережа, дружище! Здорово, мой дорогой!

Оборачиваюсь: Вася Далматов! Такой же красавец, и зубы те

же, только талия пополнее и пенсне черепаховое, а не стальное.

Обнялись мы и отправились к Донону помянуть покойника.

Глава седьмая

НЕКРОЛОГ

Ты, говорит, да я, говорит, умрем, говорит.

Островский

В ночь на 10 января в Москве внезапно скончался бывший артист императорских театров Сергей Николаевич Быстрицкий.

С. Н. Быстрицкий родился в 1849 году, в недрах славной артистической семьи, пропитанной высокими традициями «Дома Щепкина». Отцом его был знаменитый в свое время талантливый трагик Николай Петрович Быстрицкий, с выдающимся успехом много лет выступавший на исторических подмостках Малого театра. Маленького Сережу принял от купели сам Михаил Семенович Щепкин и вместе с отцом даровитого ребенка руководил его первыми сценическими шагами. Можно себе представить, как благотворно содействовало это совместное влияние гения и таланта художественному развитию впечатлительной натуры будущего артиста! Получив великолепное домашнее воспитание, С. Н. Быстрицкий блестяще кончает Петербургское театральное училище и тогда же дебютирует на Александринской сцене в роли Гамлета. К сожалению, первое серьезное выступление Быстрицкого совпало с расцветом у нас каскадно-парижского жанра, в частности французской оперетки, и не было оценено по достоинству в должной мере. Сочувственно отнесся к дебюту молодого таланта один только Д. Д. Минаев, известный поэт-сатирик. Вскоре и сам С. Н. увлекается опереткой. Он выступает в провинции, в труппе покойного Р. А. Карелина. Но тонкое чутье его артистической натуры, требуя идейно бескорыстного служения чистому искусству, спасло могучий талант и вывело обратно на поприще честного и плодотворного художественного труда. Уже в 1871 году мы видим С. Н. в труппе Н. И. Мерянского в Ярославле. Здесь достойным сотрудником его является покойный В. П. Далматов, товарищеские отношения с которым скрепляются у Быстрицкого узами теплой и преданной дружбы на всю жизнь. Вслед за тем талантливая игра С. Н. обращает на себя исключительное внимание гремевшего в то время на юге России знаменитого артиста и антрепренера Одесского театра Н. К. Милославского. Он заинтересовывается скромным юношей, берет его к себе в Одессу, и здесь, под руководством Милославского,

живя у него в доме на правах любимого родственника, почти сына, молодой С. Н. Быстрицкий с каждым годом все более совершенствуется в игре и яркий самобытный талант его получает, наконец, ту живописно-блестящую и филигранную обработку, которая так чаровала восхищенных поклонников покойного артиста.

В начале девяностых годов С. Н. Быстрицкий снова получает дебют в Александринском театре. Блестящее и тонкое исполнение роли Фердинанда в пьесе Шиллера «Коварство и любовь» сразу завоевывает ему всеобщие симпатии. Вступив в ряды членов императорской петербургской сцены, покойный артист прослужил здесь около пятнадцати лет и вышел в отставку с пенсией в 1905 году. За свою отзывчивость и редкую доброту почивший художник сцены пользовался искренними симпатиями молодежи.

Едва потрясающее известие о кончине С. Н. Быстрицкого облетело московские газеты, как в скромную квартиру покойного в Пименовском переулке толпами начали стекаться его товарищи, знакомые и поклонники его таланта. На панихидах, между прочим, присутствовали артисты Малого театра А. И. Южин и К. Н. Рыбаков, отцу которого, знаменитому Н. Х. Рыбакову, совместно с гениальным драматургом А. Н. Островским покойный был обязан своим поступлением в Петербургское театральное училище в 1864 году, т. е. ровно пятьдесят лет тому назад. Далее здесь находились многие артисты Малого и Художественного театров, а также театра Корша; представители театрального бюро; писатели: П. Д. Боборыкин, В. М. Дорошевич, В. В. Каллаш и много поклонников и поклонниц.

На третий день, 12 января, в годовщину университетского праздника, состоялись торжественные похороны незабвенного С. Н. Быстрицкого. В 9 1/2 ч. утра, в Старо-Пименовской церкви, произошло отпевание. Храм был переполнен. Почтить дорогого покойника собрались: депутации от оперы, хора и балета Большого театра, от труппы Малого театра, от Свободного и Художественного театров, от театра Корша, масса артистов, друзей и почитателей усопшего. Между прочим, бросались в глаза трогательные надписи на некоторых венках: «Вот сердце благородное угасло», «Покойной ночи, милый принц», «Человек он был», «Мир чистому сердцу».

После отпевания печальная процессия тронулась к Ваганьковскому кладбищу. Гроб несли на руках артисты и представители учащейся молодежи; сзади следовала траурная колесница с венками. Прах С. Н. Быстрицкого покоится подле могилы его отца, знаменитого трагика Н. П. Быстрицкого, неподалеку от могил Мочалова, Шумского и Самарина.

Когда гроб был опущен в землю, перед раскрытой могилой выступил присяжный поверенный В. А. Вахлаков и с обычным подъемом произнес следующую речь:

«Бывают люди без возраста,— люди духа, люди непрерывного

внутреннего горения. Годы не касаются их. Таков был этот красивый, ушедший от нас старик, с волосами как старое серебро и мудрым, проникновенннным взором. Радостью бытия, радостью светлого творчества дышало все его существо. Чуткий ко всему высокому и прекрасному, богато одаренный в различных сферах искусства и знания, он был необыкновенно скромен. С каким незабываемым достоинством проходил он тернистый путь русского актера! Многое пришлось ему вынести и много перестрадать... Я вижу кругом себя студентов. Дорогие товарищи! Сегодня, в Татьянин день, мы хороним гордость нашей интеллигенции и ее достойного представителя. Мы хороним славу русского театра, нежного, благородного Гамлета, олицетворение мировой скорби. Недаром Гамлет был любимой ролью покойного. Спи с миром, дорогой друг!»

1927

НАПОЛЕОНИДЫ

Ах, личность жаждет целомудрия!

Коневской

Глава первая

ЧУДЕСНЫЙ ЖРЕБИЙ

Глядел в те дни я исподлобья.

Коневской

Я жаркий поклонник Наполеона Третьего. Именно третьего, а не первого, племянника, а не дяди. Племянник добрый малый, свой брат-обыватель, при нем не страшно; а можно ли было ужиться с дядей? Я думаю, дышать одним воздухом с ним так же неловко было, как спать на Дельфийском треножнике или пить чай на Монблане. А тут... Господи! Да одна высадка в Булони чего стоит! В дядином мундире и шляпе, с кусочком сала; над салом кружится ручной беркут ли, карагуш ли, не знаю, только уж конечно не Зевсов белый орел. Как кому, а мне этот потешный орлишка-шулер ей-Богу милее белого: его и погладить можно, и покормить, и по носу шлепнуть, и все-таки он орел, из десятка его не выкинешь. Да и сама-то Вторая империя, по совести, чем плоха? Мы привыкли во всем хватать через край: ах, пирамиды, Москва, Святая Елена, воздушный корабль, ночной смотр. А посмотрел бы я на великого Наполеона перед вторым декабря: много бы он взял со своей старой гвардией после сорок восьмого года?

Вот почему мне искренно жаль, что мой земляк и приятель Арий Петрович Бездыханский по странной игре природы был двойником Наполеона I. Прохожие, завидев Бездыханского, шарахались с тротуара, а когда он учился у нас в гимназии, все, от директора до последнего сторожа, звали его Бонапартием. Учитель французского языка, monsieur Пелжье, допытывался даже, не живала ли матушка Ария Петровича за границей и не встречалась ли с принцем Наполеоном-Жозефом. Этот принц, по уличному прозвищу Plon-Plon, сын вестфальского короля Жерома, брата Наполеона Первого, тоже был как две капли воды

похож на гениального «изгнанника вселенной». Когда-то он сражался под Севастополем, но без особенной храбрости, вечно потом строил козни против кузена и дяди, кутил, франтил, играл превосходно в шахматы, не раз превращался из принца Жозефа в гражданина Бонапарта и в старости, почти на краю могилы, затеял последний заговор, но уже против республики. И все-таки быть родителем Ария Петровича принц Наполеон-Жозеф никак не мог. Во-первых, мой приятель родился в самый год смерти Наполеона Третьего, когда принцу Plon-Plon уже стукнуло пятьдесят и он давно был женат, а во-вторых и в главных, матушка Ария Петровича дальше Москвы никогда никуда не ездила. Monsieur Пелжье утверждал, однако, что имеется еще один принц, Виктор-Наполеон, из-за которого какая-то парижанка даже травилась спичками и, помнится, будто этот самый принц приезжал в Россию. Но о принце Викторе у нас никто ничего не знал. Как бы то ни было, monsieur Пелжье, ярый бонапартист, прожигавший юность в Париже в эпоху Второй империи, особенно любил Бездыханского и ставил ему пятерки.

Совсем незаметно, еще школьником, Арий Петрович усвоил привычку хмуриться, поджимать губы, закладывать одну руку за жилет, другую назад и говорить отрывистым сухим тоном. Впрочем, кроме Бонапартия имел он в гимназии еще и другие прозвища. Сначала окрестили его «бедным немцем», это когда в пятом классе он сочинил стихи:

Трудно жить на свете,
Не имея денег,
Плачет бедный немец,
Поднимая веник.

Дня три стоял в гимназии неистовый хохот, прерываемый вопросами: почему именно веник? Ведь немцы и в баню совсем не ходят, и отчего непременно немец, а не француз? Арий Петрович презрительно щурился, поджимая губы, точно Наполеон перед Советом Пятисот. Потом прозвали его «Ересиархом»: намек на странное имя. Действительно странное. Помню, однажды я робко спросил (он был моим репетитором): «Арий Петрович, отчего вас назвали Арием?» Он нахмурился.

— Это протест. К следующему разу возьмете из Цезаря.

Он был уже филологом второго курса и жил в Москве на Козихе, когда появилась и прогремела на всю Европу знаменитая комедия Викторьена Сарду «Madame Sans-Gêne». На святках компания студентов решила ее поставить не столько ради достоинств самой пьесы, сколько из-за фатального сходства Ария Петровича с маленьким капралом. Я тогда на Рождество случайно попал в Москву и получил роль Рустана. Спектакль сошел превосходно. Среди студентов был один богатый графчик, он дал нам залу, все декорации и костюмы. Арий Петрович вышел

на сцену почти без грима, и в публике поднялся изумленный гул голосов. На подмостках стоял живой, подлинный, настоящий Наполеон. Я сам, тогда гимназист шестого класса, в малиновой кофте и тюрбане мамелюка, подавая кофе, почувствовал благоговейный трепет и чуть не грохнул подноса. Играл Арий Петрович изумительно. В сцене, где разъяренный император срывает с графа Нейперга аксельбанты, весь зал от восторга замер и бешено разразились рукоплескания. Вот тогда-то и влюбилась в Ария Петровича несчастная Анна Павловна, игравшая камер-фрейлину Марии-Луизы.

Замечу в скобках, что опьяненный успехом и лаврами Арий Петрович едва не ушел в актеры. Сама Яворская осведомлялась о нем; премьер коршевской труппы Яковлев прислал Арию Петровичу свою фотографию в роли Наполеона. Но увы: попытки дебютировать в Шекспире и Викторе Крылове оказались ниже критики и стоили стихов про «бедного немца». Тогда, махнув рукой на капризную Мельпомену, Арий Петрович стал готовиться к переходу на третий курс.

Анна Павловна Маллармэ-Скрипакаева тоже имеет общее с Наполеоном. Прежде всего в голубых ее жилках бежит французская кровь: она племянница великого символиста Стефана Маллармэ. Отец Анны Павловны, двоюродный брат поэта, красавец Поль, приняв российское подданство, служил в армейских гусарах, вышел по неприятности в отставку, женился, овдовел и был потом в нашем уезде исправником. Кроме того, Анна Павловна близко знавала принца Наполеона-Мюрата. Вот тут начинается таинственность. Известны два принца с этим именем: Наполеон-Ахиллес-Мюрат и Людовик-Наполеон-Мюрат,— который же из двух? Анна Павловна называла его просто Наполеон-Мюрат и прибавляла: ах, да не все ли равно? Дело в том, что принц приезжал к нам охотиться на медведей и ночевал у исправника на лесном хуторе, где его встречала и принимала юная Анна Павловна. Тогда она только что кончила институт. Долгий зимний вечер пролетел незаметно в беседе с галантным принцем, который, по словам Анны Павловны, в уланском мундире походил на Марса. Тут опять неточность. На медвежьи облавы езжал действительно принц Людовик-Наполеон, не помню в точности, чей внук и племянник, знаю только, что служил он в гвардейской кавалерии и был, по выражению одного писаря, эффектный мужчина. Но этот принц к нам являлся гораздо позже. Впрочем, и то сказать: не все ли это равно? У нас в уезде и без того все знали, что принц Наполеон-Мюрат, или там кто бы он ни был, убил двух медведиц и уехал очень довольный. Исправник Маллармэ провожал его до вокзала и на Пасху был представлен к ордену, Анна же Павловна, проплакав целых три дня, получила на Красной Горке фамилию Скрипакаевой. Осенью у нее родился мертвый младенец.

Супруг Анны Павловны, Скрипакаев происходил из мещан

и числился в Московской консерватории по классу игры на скрипке. Был он длинноволосый, кроткий, всегда задумчивый. Анна Павловна его сразу возненавидела, и было за что. Скрипач Скрипакаев! Действительно, это только в «Будильнике» можно найти, да и то не всегда. Кроме того, Скрипакаев был мещанин, сын мелкого бакалейщика, а ведь Анна Павловна аристократка: дядя у нее поэт, отец гусар, мать жила в генеральском доме, наконец, принц Наполеон-Мюрат... К счастью, скрипач Скрипакаев скоро умер, почти в одно время с тестем, и Анна Павловна, схоронив мужа и отца, поступила классной дамой и учительницей французского языка в московскую частную гимназию Маргариты Титовны Раззубовой. В этом же заведении преподавал словесность племянник начальницы Арий Петрович Бездыханский.

Глава вторая

ДОБЫЧА СЛАВЫ

И вьются помыслы так резво и безумно.

Коневской

Гимназия Маргариты Титовны Раззубовой помещается в живописном переулке, заросшем густой сиренью, между Арбатом и Пресней, в белом старинном доме. Верхний этаж занят классами, внизу живет сама начальница, круглая добродушная старушка, дочь ее, гимназистка Нуся, Арий Петрович и Анна Павловна. Никто не знает, сколько Анне Павловне лет: двадцать восемь, тридцать пять или тридцать девять; известно только, что в эпоху «Madame Sans-Gêne» она была уже замужем. С тех именно пор она носит черное платье с маленьким шлейфом, большой черный бант на голове á la chauve-souris и черные вязаные митенки.

— Отчего вы так мрачно одеваетесь, Анна Павловна?

— Это траур по моей погибшей жизни. Я устала жить. У всех есть жизнь, а у меня никакой.

О, как идут эти трагические фразы к ее бледному личику с измученными глазками, к ее красноватому носику и синим губкам!

Арий Петрович занимает отдельную квартиру с особым ходом. Впрочем, ему слышно все, что делается в квартире. Теперь он еще больше похож на великого корсиканца, особенно когда наденет серый халат, сшитый наподобие знаменитого походного сюртука. Он уже приблизился к возрасту Наполеона перед двенадцатым годом и, можно сказать, находится тоже в зените славы. Ария Петровича обожают все ученицы, тетушка в нем души не чает, об Анне Павловне нечего говорить. Бедная Анна Павловна! Давно ли Арий Петрович беседовал с ней о литературе и высших

вопросах жизни, давно ли читал ей отрывки из своего романа: «Анна Бонапарт»? Все знали, что роман посвящается Анне Павловне. И вдруг...

В один, как говорится, прекрасный день Арий Петрович объявил за обедом, что роман он сжег.

Анна Павловна пискнула и упала в обморок. Нуся побежала за водой. Маргарита Титовна испуганно спросила:

— Зачем же ты это сделал, Арик?

Арий Петрович нахмурился.

— Странная вещь. Сжег же Гоголь «Мертвые души»! Художники свободны в своих поступках.

С того рокового дня — вот уже скоро два года — Арий Петрович резко переменился. Он начал разговаривать с Анной Павловной кислым холодным тоном. Так, вероятно, Наполеон беседовал с англичанами о континентальной системе.

Анна Павловна слишком была умна, чтоб не понять, в чем тут дело. В седьмом классе вместе с Нусей училась Женя Арбузова, дочь миллионера. Женя была, что называется, писаная красавица. Каждое лето Арбузова ездила за границу, на балах появлялась в роскошных туалетах из Ниццы и Парижа, говорила на трех языках и восхитительно пела. Что Арий Петрович влюбился в Женю, видела вся гимназия. Анна Павловна утешала себя надеждой, что весной Арбузова кончит курс и уедет: тогда Арий Петрович вернется к ней. Увы, бедную женщину ждал новый страшный удар. Во-первых, в гимназии с осени будет новый словесник, во-вторых, в день именин Ария Петровича, по случаю окончания Нусей курса, состоится торжественный обед для всего выпуска с Женей Арбузовой во главе. После обеда Арий Петрович прочтет свой новый роман. А для чего все это? Ну, что же, дай Бог, дай Бог...

Так шептала у себя в комнате несчастная Анна Павловна, комкая слабыми пальчиками душистый платочек. Ей, за которой ухаживал принц Наполеон-Мюрат, племяннице самого Маллармэ, предпочесть какую-то девчонку из Замоскворечья, богатую куклу. Боже мой, Боже мой! А давно ли...

Анна Павловна услыхала за стеной голоса и, вспорхнув мотыльком с кушетки, прильнула к замочной скважине.

— Конечно, милый Арик, все будет как ты желаешь. Я достану золотые приборы. Только боюсь...

— Чего вы боитесь, тетя Марго?

— Видишь ли, разница есть в летах.

— Странная вещь. Наполеон был не моложе, когда женился вторично. Наконец, тут общие мерки неприложимы. Я автор произведения, которое сделает, так сказать, эпоху.

— Что же это, что-нибудь вроде Чехова?

— Увидите завтра. Положим, не вроде. И что такое Чехов, странная вещь? Я знал его. Пустейший был человек. Только все пиво пил да смеялся.

— Арик, а предложение ты уже сделал?

— Нет, тетя Марго. Предложение я сделаю завтра после обеда.

— Ах, Арик, Арик! Никогда не откладывай до завтрего того, что можешь сделать сегодня.

Арий Петрович сухо откашлялся.

— Ну, не сердись, милый Арик. Уж очень мне жаль Анюту. Как она любит тебя.

— Не будем говорить об этом, тетя Марго.

— Боюсь я за нее. Умрет, бедняжка, как Вяльцева.

Арий Петрович еще раз кашлянул и вышел твердой походкой. Анна Павловна залилась слезами.

Глава третья

РОКОВАЯ СИЛА

Мы вручились мудрой лемуре.

Коневской

Именинный стол накрыли в актовом зале. Под горячим июньским солнцем тарелки, графины, букеты играют веселой радугой. Среди двадцати приборов блестят рядом два золотых, для Ария Петровича и Жени Арбузовой. Honny soit qui mal y pence[1]. Женя кончила курс с медалью и заслужила право сидеть за обедом у золотого прибора.

Ударило два часа. В комнату Анны Павловны влетели две первых ласточки, ее любимые ученицы Люля Соколенко и Галочка Бух.

— Ну что, Галочка, устроила?

— Устроила, Анна Павловна.

Галочка носит имя свое недаром. Черненькая, худая с прической Cleó-Merode, она постоянно прыгает и стрекочет. Оглянувшись и таинственно закрыв двери, Галочка сунула Анне Павловне большой флакон.

— Абрикотин.

— Ах, как прекрасно! Спасибо, милая Галочка. Ну, и что же?

— Знаете, Анна Павловна, страшно, но интересно. Сначала Ара Макаровна разложила карты, потом долго-долго смотрела в воду и говорит: скажи, чтобы твоя алмазная барынька ничего не боялась, все будет по-нашему. Потом пошептала над абрикотином. Ну, говорит, ежели он хоть глоточек отведает, полюбит ее навеки.

Галочка бросилась в объятия Анны Павловны.

---

[1] Стыд тому, кто об этом плохо подумает (*фр.;* девиз Ордена Подвязки).

— Я так этого желаю, так желаю, милая Анна Павловна! Не я одна, весь наш выпуск. Противная Арбузова!

— Спасибо, душечка Галочка.

Анна Павловна грустно утерла носик.

Люля, пухлая, будто заспанная блондинка с толстой косой, заговорила вполголоса:

— Все благополучно. На астральном плане ни одного враждебного клише. Ментальные флюиды...

— Ах, Люля, нельзя ли попроще? У нас в институте этого не учили.

— Да я просто. И Лев Львович тоже сказал, что флюиды совпадают и что Арий Петрович должен жениться на вас.

Анна Павловна взволнованно закрылась платочком. На улице защебетали голоса: гости приближались.

Когда Анна Павловна вспорхнула наверх, все уже были в сборе. Черные, русые, каштановые прически, белые платья, цветы, улыбки, сдержанный говор. Подле ослепительной Жени Арбузовой покачивался на каблуках новый учитель Кир Кирилыч Коридолин, стройный молодой человек. Из гостиной выплыла вся в браслетах и бриллиантах Маргарита Титовна; за нею твердо выступал, понурясь, Арий Петрович в модном коротком фраке.

Коридолин непринужденно шагнул вперед, наклонился и откашлялся.

— Глубокоуважаемый Арий Петрович! На мою долю выпало лестное поручение от лица всех ваших бывших воспитанниц поздравить вас с днем вашего ангела и пожелать вам бодрости и здоровья еще на долгие годы. Это во-первых. Собственно говоря, я не оратор и не умею выражаться складно, но это не столь важно в настоящем случае. Покойный Василий Осипович Ключевский тоже не был выдающимся оратором, собственно говоря. Но я отвлекся от темы. Ну-с. Итак, да здравствует наш почтенный и уважаемый юбиляр, то есть, вернее сказать, именинник. Пьем ваше здоровье, Арий Петрович. То есть мы выпьем, собственно говоря, за обедом, а теперь пока делаем это мысленно.

Коридолин неожиданно обнял и трижды поцеловал именинника.

Маргарита Титовна прослезилась.

— Теперь позвольте презентовать вам на память, дорогой Арий Петрович, этот наш скромный дар.

Галочка и Люля преподнесли Арию Петровичу в китайском ящике стопу роскошной бумаги.

— Это для ваших новых произведений. Мы все знаем, что вы сочинили роман, и будем теперь надеяться, что, собственно говоря, вы создадите другой такой же. Это во-первых. А лично от меня позвольте вручить вам тоже нечто... собственно говоря, ерунда на постном масле, зато от чистого сердца...

Коридолин полез в карман, достал платок и вновь спрятал, порылся в боковых и задних карманах, вытащил кошелек,

портсигар, ключи, записную книжку, огляделся и, ударив себя по лбу, быстро выскочил и сбежал по лестнице.

Арий Петрович хмуро ждал. Многое ему не нравилось. Начать с того, что Коридолин в сюртуке, когда на имениннике фрак, но это еще не важно. Возмутительнее всего развязность. Мальчишка, давший после Пасхи всего два пробных урока, держит себя как настоящий учитель, говорит речь, выставляется. Потом что это за обращение: глубокоуважаемый, почтенный, на долгие годы? Точно Арий Петрович и вправду ровесник Наполеону. А главное... Герой наш еще не знал, в чем тут дело, но смутно чуял, что по какому-то важному пункту выходит совсем не то.

Наконец, Коридолин вбежал запыхавшийся и кинулся к имениннику.

— Вот, я забыл в пальто...

Он вертел в руках изящный футлярчик. Крышка отскочила. На синем бархате — слоновый черенок очаровательной бритвы.

Все, поздравляя, жмут руки Арию Петровичу. Он улыбается с видом Наполеона, отдавшего приказ начинать Бородинский бой.

Однако подарки на именинном столе были совсем не у места. Арий Петрович решил отнести их к себе. В коридоре ему встретилась Анна Павловна.

— Я знаю все. Желаю вам счастья. Но если вы меня когда-нибудь хоть капельку, если вы...

Анна Павловна прижала к лицу платочек. Запахло карилопсисом. «На ее чудных глазах сверкали слезы» — вспомнилась ей фраза из какого-то романа. Арий Петрович молчал.

— Прошу вас принять вот эту безделку. Вы любите абрикотин.

Арий Петрович улыбнулся и взял флакон.

— Холодно, холодно,— шептали посинелые губки Анны Павловны.

— Вам холодно, неужели?

— Холодно душе, жестокий, безжалостный человек.

Анна Павловна припала к Арию Петровичу и оттолкнула его.

— А теперь я отдаю тебя ей. Прощай.

Арий Петрович вспомнил императрицу Жозефину, задумчиво улыбнулся и, сутуля плечи, пошел вниз. Анна Павловна с покорной грустью смотрела на его широкую спину. «Уходя, она бросила последний прощальный взгляд» — опять мелькнула ей романтическая фраза.

В зале ожидала именинника новая неприятность. Когда все стали садиться, Арий Петрович пригласил Женю и, указав золотой прибор, хотел сесть рядом. Вдруг его место у второго прибора занял Коридолин и тотчас весело затараторил с соседкой, будто ни в чем не бывало. В суматохе это осталось незамеченным. Не мог же Арий Петрович, в самом деле, вытащить гостя за шиворот и посадить с другой дамой.

Он медленно отошел, сел в конце стола и очутился подле Анны Павловны. Арий Петрович чувствовал, что и ему теперь холодно.

Вихри бушевали в груди именинника под крахмальной сорочкой. Он видел себя в снежном пустынном поле среди разгромленной армии, бегущего в санках из обгорелой Москвы.

Глава четвертая

ДЛАНЬ НЕМЕЗИДЫ

Витаю я в волшебной атмосфере.

Коневской

Арий Петрович хмурился весь обед. Никто не обратил на это внимания, одна Маргарита Титовна была немного удивлена, что племянник выбрал другое место, но за хлопотами ей было не до того.

Коридолин между тем разыгрался и закусил удила. Уже за пирогом он успел овладеть вниманием всех девиц и мог по праву назваться душою общества. Остроты, эпиграммы, каламбуры он сыпал как из мешка, бесцеремонно шутил с начальницей, заставлял девиц пить и чокаться, то и дело подливал Жене. Особенно возмущало Ария Петровича поведение барышень и самой Маргариты Титовны. Все они радостно и благодарно сияющими глазами смотрели на Коридолина, приходили в бурное восхищение от его острот, дружно смеялись и вообще держали себя так, будто за именинным столом сидел не Арий Петрович, а восковая кукла. Но Женя, Женя! Она глядела Коридолину в глаза, аплодировала, хохотала. И только одна бедная Анна Павловна, поглощенная, как говорится, своим горем, молча кушала пирог.

Еще за супом Арий Петрович терзался упорной мыслью: на кого похож Коридолин? Где встречал он эти наглые усы с циничной бороденкой, узкий нос и косой пробор? Лицо это давно известно, знакомо с детства. Арию Петровичу ясно было, что он жестоко простужен: окна открыты, везде сквозняки, начинается, должно быть, бред. И только после жаркого он вдруг вспомнил: да ведь это копия Наполеона Третьего!

Арий Петрович презрительно усмехнулся.

— Собственно говоря, моя специальность Пушкин,— рассказывал между тем Коридолин, прихлебывая бордо.— Барышни, наполняйте ваши чаши. Подымем бокалы, содвинем их разом! Ура! Вот так. Я пушкинианец. Сейчас у меня готовы две крупные работы: «Знал ли Пушкин по-португальски», это во-первых, и еще одна: «Нюхал ли Пушкин табак».

Девицы визгливо хохотали. Маргарита Титовна вытирала от смеха слезы.

— Я не шучу. Новейшая наука требует детальных подробностей при изучении поэзии. Даже Венгеров... Да вот вы, не

знаете ли, кстати, Арий Петрович, откуда это? Пушкин пишет, что, мол, Сенковскому учить Дениса Давыдова все равно, что евнуху учить Потемкина. Цитата, собственно говоря, несомненно точная, но источник не указан.

Арий Петрович ответил огненным взором. Девицы переглянулись.

— То есть чему же учить Потемкина, Кир Кирилыч, я что-то не понимаю? — спросила Галочка Бух.

— Со временем поймете, барышня, времени много. Когда-нибудь все тайное окажется явным.

Коридолин захохотал. Арий Петрович, выражаясь слогом Козьмы Пруткова, не верил ушам своим. Оса влетела в окно и кружилась, звеня, над рюмками.

— А то вот еще загадочное местечко. Я ведь родом из Пензы. Там в старину держал театр помещик Гладков. Так Пушкин про него говорит: Гладков-Буянов, провонявший чесноком и водкой. Ну-с. Пензенская архивная комиссия...

Галочка взвизгнула и вскочила: оса ужалила ее в щеку. К счастью оказалось, что опухоль сделала Галочку интересней. Она успокоилась и тотчас решила, что будет собирать ос и давать им жалить щеки.

Арий Петрович потемнел. Лучшие чувства его поруганы, идеал оплеван. И он ничего не может сделать с пошляком, не может даже возразить ему. Цитаты из Пушкина, и обе вполне цензурны, а главное, и тетя Марго, и Нуся, и Женя, и Люля с Галочкой, и остальные двенадцать барышень — все пленены Коридолиным, все глаз не сводят с нахальных его усов.

— Кир Кирилыч, прочитайте нам что-нибудь из ваших стихотворений,— сказала Люля.

— Да, Кир Кирилыч, пожалуйста! Мы просим вас, Кир Кирилыч! Да, Кир Кирилыч, прочтите!

Коридолин поэт! Этого еще недоставало. Арий Петрович судорожно стиснул свою рукопись, ожидавшую под салфеткой. И тут же, совсем некстати, ему вспомнился «бедный немец».

— Собственно говоря, я автор пушкинской школы и чуждаюсь всех этих декадентских фокусов. Пожалуй, я прочитаю вам «Старый сад».

Все замерло. Арий Петрович взглянул на Женю. Она улыбалась.

— Ты так любила старый сад,
Глухой, запущенный и дикий,
Цветник, где роза и гвоздика
Струили сладкий аромат,
Травой поросшие дорожки
И бор тенистый вдалеке,
Где часто маленькие ножки
След оставляли на песке.

— Совсем Надсон,— прошептала умиленная Маргарита Титовна.

Барышни жадно и страстно глядели в лицо поэту. Женя потупилась. Галочка выставила укушенную щеку. Стихи лились и журчали:

— Я помню, как тяжелый сон
Обряд унылый похорон,
Гроб, свечи, саван погребальный,
И лик твой бледный и печальный,
И облетевший желтый сад...

Послышались вздохи. Кто-то всхлипнул. Люля простонала. Анна Павловна с рыданьем выскочила из-за стола и бурно бросилась по лестнице. Эта капля переполнила чашу.

Так продолжаться не могло. За столом сидели два Наполеона, Первый и Третий. Один был мрачен, как после битвы под Лейпцигом, другой сиял, точно готовился праздновать победу при Сольферино.

Глава пятая

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПОЗОР

И вещий окоснел язык.

Коневской

Золотая вилочка звякнула о фарфоровую тарелку. Арий Петрович развернул рукопись.

Тридцать шесть глаз устремились на него, и во всех тридцати шести читалось одно и то же. Что именно хотели сказать глаза, могло бы остаться тайной, но, к сожалению, Коридолин лишен был способности притворяться и выразил с дерзкой откровенностью их общую мысль:

— А что, милейший collega, роман, да еще исторический... После обеда оно немного того... в большом количестве вещь нестерпимая.

Арий Петрович с достоинством скрестил руки.

— Можно не читать.

Он ожидал взрыва восклицаний, упреков, просьб: ничуть не бывало. Угрозу встретили молчанием, а молчание, как известно, знак согласия. Мало того, все барышни глядели в тарелки, видимо совсем не желая слушать.

Коридолин хихикал. Одна Маргарита Титовна, разомлевшая от жары, шампанского и стихов, преодолела зевоту.

— Нет, отчего же, Арик, прочти, мы послушаем...

Арий Петрович отвечал ледяной улыбкой. Ах, как ему нездоровилось! В носу щиплет, по спине пробегает то озноб, то жар. Точно в тумане мелькнуло перед ним красивое лицо Жени. Арий Петрович вгляделся и сразу ожил. Женя кивала ему, улыбаясь и ободряя взглядом. Так вот в чем дело! Она шалит, она играет с Коридолиным, да и может ли нравиться подобный хам? А вот что скажут и Коридолин и все девицы, когда, выслушав роман, Женя упадет в объятия Ария Петровича и воскликнет: твой гений достоин моей красоты, я твоя навек!

Арий Петрович чувствовал, что улыбается слишком широко, сознавал непристойность своей улыбки, но удержаться не мог. Впрочем, и Наполеон, возвратившись с Эльбы, наверное, улыбался во весь рот.

Снова бодрый, радостный и здоровый, Арий Петрович раскрыл уверенно рукопись и глотнул воды.

— Евгения Богарнэ. Исторический роман эпохи Наполеона I. В трех частях, с прологом и эпилогом. Посвящается Евгении Михайловне Арбузовой. Пролог. Глава первая. Таинственный жирофаг. На засыпавшую Францию постепенно спускались весенние сумерки, и багряное солнце тихо сливалось с далекой линией пурпурного горизонта. Красивый всадник, сидя верхом на арабской лошади...

— Pardon,— зазвенел страдальческий голосок Анны Павловны. Она подошла к столу.— Я прошу у всех извинения. Надеюсь, что Арий Петрович, как истинный кавалер, не откажет мне в моей просьбе. Я тоже хочу прочесть кое-что. Вчера я написала стихотворение в прозе «Одуванчик». Оно короткое, всего несколько строк...

— Вот это дело, просим! — крикнул Коридолин.

— Пожалуйста, Анна Павловна, просим, душечка, читайте, дорогая,— защебетали девицы хором.

— Арик, что такое жирофаг? — спросила тетя Марго.

— Бродячий монах,— сурово ответил Арик.

Анна Павловна ухватилась за стул и слегка качнулась. Галочка поддержала ее.

— Вам дурно, Анна Павловна?

— Оставь меня, добрая Галочка. У меня хватит силы снести до конца мой крест.

«На осеннем солнце в саду, на фоне зелени и голубого неба рос одуванчик. Он был так красив своей последней предсмертной красотой. Он так любил и небо, и зелень и так жаждал солнца».

Анна Павловна судорожно взялась за горло. Галочка второпях подала ей стакан Ария Петровича. Анна Павловна горько улыбнулась.

— О, не бойтесь, Арий Петрович. Все ваши мысли и без того известны.

— Однако,— заметил Коридолин.

— Но вот прошел холодный любопытный человек. Ему понра-

вился цветок, но он сорвал его так грубо, так небрежно, что все лепестки в тот же миг осыпались. А человек равнодушно прошел дальше.

Анна Павловна упала на стул, закрыв лицо. Плечи ее дрожали.

Негодующие взоры девиц метали стрелы в Ария Петровича. Горе обидчику! Женщины всегда стоят друг за друга; их месть беспощадна: это заметил наблюдательный Осип Дымов в одной из своих новелл. Арий Петрович растерянно посмотрел на Женю. Глаза ее смеялись.

— Ловко написано,— похвалил Коридолин.

Анна Павловна успокоилась, погляделась в зеркальце, вытерла личико обрывком papier-poudré и кротко сказала:

— Арий Петрович, хотите безей?

Надо заметить, что Анна Павловна мастерски умела делать пирожное, называемое baiser, и в этот раз особенно отличилась.

Но Арий Петрович сухо ответил:

— Странная вещь. Вы видите, я читаю. И почему безей, когда весь свет говорит безе?

— Так говорил мой дядя, поэт Стефан Маллармэ.

— Как, Стефан Маллармэ вам дядя? — воскликнул Коридолин.— Да неужели? Вы шутите!

— Родной дядя. Что же в этом такого? Я знала принца Наполеона-Мюрата. Ах, простите, Арий Петрович, я вас перебиваю.

С Арием Петровичем делалось что-то странное. Лицо его то увеличивалось, то уменьшалось и даже теряло минутами сходство с Наполеоном.

— Евгения Богарнэ. Исторический роман эпохи Наполеона I. В трех частях, с прологом и эпилогом. Посвящается Евгении Михайловне Арбузовой. Пролог. Глава первая. Таинственный жирофаг. На засыпавшую Францию...

Арий Петрович поднял голову, будто ища вдохновения. Внезапно лоб его покраснел, щеки раздулись, веки сузились; весь сморщившись, он вскочил, замахал руками и вдруг оглушительно, как пушечный залп, чихнул.

Но это было не простое чиханье. Так чихнуть могла только живая голова в «Руслане и Людмиле». Помните? «Поднялся, вихорь, степь дрогнула, с усов слетела стая сов, и конь ретивый заржал, запрыгал, отлетел».

За первым залпом грянул второй, за ним третий. Барышни закрывались руками и салфетками. Арий Петрович бешено шарил в карманах: увы, он забыл платок. Забрызганный, взъерошенный, красный, он скомкал мокрую рукопись, уронил ее, бросился поднимать, поскользнулся и очутился под столом.

Бывают минуты, когда сознается ясно, что время — фикция, а пространства не существует. Тогда все кажется легким, как фельетон Дорошевича. Арий Петрович под столом пережил это чувство. Прежде всего он утерся и высморкался в салфетку. Потом

внимательно посмотрел вокруг. Зрелище было действительно редкое. Восемнадцать пар дамских туфель и башмачков, черных, белых, коричневых, красных, желтых, осененных цветными юбками, и между ними пара грубых мужских ботинок. Вот крошечные шевровые баретки Анны Павловны на прозрачных чулочках crème, вот стоптанный каблук непоседы Галочки, вот Нусины атласные туфли на снежно-белых чулках. У Люли ступни без подъема, точно утиные лапки. Арий Петрович разглядывал пристально ноги Коридолина. Ничего особенного не было в желтых американских ботинках с толстой подошвой и шишками на носках, но Арий Петрович ясно видел, как в одну из этих ботинок грациозно упиралась французским каблуком стройная ножка в лакированной модной туфельке. О, если бы эту ножку видел Пушкин! На узенькой тонкой подошве Арий Петрович разглядел этикетку: 35.

Все ножки под столом стояли неподвижно, точно окаменели от страха, увидав Ария Петровича. Наверху тоже, как говорится, царствовало безмолвие. Вдруг одна пара прелестных ножек в чулочках crème дрогнула и нервно затрепетала; ей отвечал пронзительный женский крик. Тотчас все туфельки и башмачки вскочили, задвигались, побежали. И только французский каблучок, ничуть не смущаясь, по-прежнему любовно ластился к американской ботинке.

Анна Павловна лежала без чувств.

Глава шестая

РАЗВЕНЧАННАЯ ТЕНЬ

Минул час дневного пыла.

Коневской

Темнеет. В переулке субботняя тишина. Арий Петрович лежит у себя на диване.

В комнате его солидность и строгий порядок. Стены пестреют наполеоновскими портретами всех видов и возрастов, когда же Арию Петровичу случится сесть перед зеркалом, из овального стекла глядит еще один точно оживший портрет. На столе именинные подарки и торт от Жени. «Неужели ее туфелькам цена тридцать пять рублей? Наверное, франков. Ну, конечно же. Женя заказывает обувь в Париже, может быть, покупает готовую где-нибудь в Лувре или Пале-Рояле. Эх, хорошо бы махнуть за границу с такой женой! Положим, еще не все потеряно: гвардия не сдается».

На этажерке красные с золотом томики «Готского альманаха». Арий Петрович любит их перелистывать и смотреть на

изящные гравюрки Вегера в Лейпциге. Тонкий мастер! Сколько из-под резца его вышло герцогов, принцев и принцесс! Вот Леопольд Баварский, дюжий, с воловьим затылком, с могучей грудью; это к нему, говорят, приставлен был Вронский. Вот тесть его Франц-Иосиф с холодным взглядом, с коварной улыбкой в нависших седых усах. Ишь, габсбургская губа! Испанская королева Мария Мерседес, дочь герцога Монпансье, в кружевной мантилье, Виктория и ее пять дочерей, Вильгельм... А там уж пошли без конца Баттенберги, Мекленбурги, Шварцбурги, Гогенлое, Веймарские, Саксонские, Пирмонтские, Прусские. Проборы, усы, ордена, ожерелья, прически... Под заголовком «Maison Bonaparte» карандашные пометки, на полях какие-то выкладки и значки. Что греха таить: в комоде у Ария Петровича хранится полный костюм великого императора, будто бы от спектакля «Madame Sans-Gêne», а на самом деле сшитый три года назад портным Бертье. Кто знает? Дипломаты твердят о близкой войне, милитаризм растет, столкновение держав неизбежно. Еще Владимир Соловьев пугал монгольским нашествием. И вдруг Вильгельм объявит войну! Французы отступают перед германскими пушками, Париж в опасности. Тогда появляется Арий Петрович на белом коне. «Французы, вспомните вашу славу!» Армия несется ураганом, «Vive la France!», немцы сдаются, Берлин взят, Вильгельм на острове Святой Елены, Арий Петрович в соборе Парижской Богоматери венчается на царство и в мантии и короне, благословляемый папой, выходит к народу об руку с Женей Арбузовой. «Французы, вот ваша императрица!» Всеобщий восторг. Династия восстановлена. О, французы только притворяются республиканцами!

Арий Петрович повеселел и вскочил с дивана. Сию минуту он отправит Жене роман с посыльным; пусть прочитает на сон грядущий, а завтра... Он уже заклеил рукопись в синий конверт; вдруг в коридоре застучали быстрые шаги.

— Анна Павловна, это я. Слышали новость: Женя выходит за Коридолина, сама сейчас сказала. Кир Кирилыч вчера еще сделал предложение. Свадьба через месяц, потом в Париж на всю зиму.

Каждое слово легкомысленной Галочки гвоздем вбивалось в сердце Ария Петровича. Все кончено. Он проиграл Ватерлоо.

Оцепенелый, подавленный, автор «Евгении Богарнэ» стоял посредине комнаты; со всех сторон на него косились с презрением сердитые двойники. «Готский альманах» точно краснел от стыда.

За дверями зашуршало знакомое платье; торжествующий голосок пропел:

— Сердце прокляло созвездья,
Сердце ищет лучших звезд.

— Нет, Галочка, от добра добра не ищут. Кланяйся маме, милочка, и скажи, что я завтра буду.

Арий Петрович очнулся и подошел к столу. Выбрав листок желтоватой китайской бумаги из именинного ящика, он твердым почерком написал несколько строк. Затем взял свой роман и разорвал на клочки. Торт Жени и абрикотин Анны Павловны поставил рядом и долго смотрел на них с непостижимой улыбкой. Наконец, раскрыв бритвенный футляр, достал подарок соперника, Сумрачно разглядывал Арий Петрович блестящую сталь.

Глава седьмая

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МОГИЛА

Меня привел младенец-бог.

Коневской

Летом по праздничным дням Анну Павловну будит воскресный звон. Форточка всю ночь у нее открыта. Бойко трезвонят колокола, горланит петух, голосят разносчики, из сада тянет жасмином.

Самой Анны Павловны сейчас нет в комнате, но на постели не убрано: хозяйка только что встала. Как все здесь грациозно, с каким обставлено вкусом! Везде японские веера и вазы, изящные безделушки; картина Беклина «Остров мертвых» и его же автопортрет со скелетом, ехидно пиликающим за спиной художника на цыганской скрипке. Дальше группа выпускных институток в белых пелеринках; между подругами семнадцатилетняя Нюра Маллармэ, завитая и невинная, точно пасхальный барашек. Целая стена занята портретами родных и знакомых: тут и покойный исправник в гусарской венгерке, и скрипач Скрипакаев с кудрями до плеч, и принц Наполеон-Мюрат, и Арий Петрович, и Маргарита Титовна, и множество подруг, учениц и воспитанниц Анны Павловны. Над письменным столом открытки с портретами великих людей: Ницше, Собинова, Надсона, Мопассана, Григория Петрова, Льва Толстого и Макса Линдера.

Где же, однако, Анна Павловна?

В легком капоте, в ночном чепчике, несется она птичкой по коридору; в одной руке свеча и спички, в другой свежий номер «Русского слова». Анна Павловна раньше всех достает газету из ящика и прочитывает ее в постели. Но что это? У Анны Павловны отморожен носик.

Такая игра природы была бы, конечно, чудом: отморозить нос в Москве в начале июня не сумел бы самый хилый барабанщик наполеоновской армии. А между тем у Анны Павловны носик белый. Уж не проказа ли это?

Нет, не мороз и не проказа, а просто пудра Брокар, приобретенная в солодовниковском пассаже. Кстати, чтоб не забыть: у

Анны Павловны есть очень уютный резной шкапчик; в нем хранятся бенедиктин, шартрез зеленый и желтый, а также Très Vieux Cognac Дюбуше. Когда Анна Павловна начинает чувствовать себя несчастным поруганным одуванчиком — это бывает обыкновенно после обеда,— она приоткрывает шкапчик и пробует вкус вина.

Кто забыл о последнем бокале,
Недостоин и слыть мудрецом.

Анна Павловна уже хотела скользнуть к себе, но непонятная сила принудила ее пройти несколько лишних шагов. Она у дверей Ария Петровича. По привычке Анна Павловна приложила к замку сначала ушко, потом ресницу, подумала, покачала головой. И вдруг прыгнула, как раненая газель.

Из-под дверей ползла струйка крови.

Недаром сказано, что горе перерождает. Откуда взялись вдруг у Анны Павловны мужество и спокойствие? Она не упала, не закричала, не стала плакать. Нет, Анна Павловна точно окаменела.

Арий Петрович покончил с собой, это ясно. Да разве мог он с его умом, с его сердцем жить среди этих дрянных людишек — он, идеалист, рыцарь, поэт?

Изо всех сил она ударила в дверь кулачком. Дверь медленно отворилась.

За столом, лицом к окнам, спиной к порогу, Арий Петрович в старом халате, недвижный, сгорбленный, точно узник Святой Елены. Перед ним на тарелке остатки торта, флакон на полу; недопитый ликер разлился и тонкой струйкой ползет к дверям. На листе китайской бумаги четко написано с росчерком: «Арий Бездыханский, великий писатель земли русской. Проба пера. Принц Арий — Наполеон Бонапарт. Napoleòn IV. Empereur Français».

Маргарита Титовна и Нуся сидели за утренним самоваром. Внезапно в столовую вошел Арий Петрович об руку с Анной Павловной.

— Тетя Марго, позвольте вам представить мою невесту.

Все поет и ликует в этот счастливый день. Колокола без умолку трезвонят, воркуют, целуясь, голуби, извозчики носятся как угорелые, ласточки щебечут, военная музыка гремит на бульварах.

— Значит, Арик, ты останешься в гимназии?

— Конечно, тетя Марго. Ведь Коридолин уезжает, и заменить его некому. Вот она, нынешняя молодежь.

— Большой нахал,— заметила Анна Павловна.

— Нахал и скотина. Вы знаете, какую он подарил мне бритву? Золингенской стали. На английскую у него не хватило средств. А женится на богатой.

— Арий Петрович, где ваш роман?

— Уничтожен. Я напишу другой, еще лучше, и посвящу его моей любимой верной жене.

— Как же он будет озаглавлен?

— «Анна Мюрат».

Анна Павловна не в силах была сдержаться. Блаженно припала она к плечу жениха, томно вздохнула, и уста их, как выражаются романисты, слились в долгий упоительный поцелуй.

Я забыл сказать, что Женя Арбузова в гимназии носила прозвище «Императрица Евгения» за сходство с супругой Наполеона Третьего.

1924

ИЗ КНИГИ
«УЗОР ЧУГУННЫЙ»

ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ МОЕЙ

Памятные записки гвардии капитана А. И. Лихутина, писанные им в городе Курмыше, в 1807 году

Ольге Геннадьевне Чубаровой

Часть первая

Судьба так положила, что счастием всей жизни моей обязан я покойному благодетелю Светлейшему Князю Григорию Александровичу. Единственно ему я одолжен как удачливым прохождением службы и умножением достатка, так и блаженством счастия супружеского. Сим воспоминанием великодушному покровителю возлагаю на гробницу признательный венок.

Покойный родитель мой, Иван Прокопьевич, служил в конной гвардии еще при Государыне Елисавете. При нем Светлейший и службу начал, поступя в оный полк рейтаром. Батюшке тогда было лет поболее тридцати; Светлейший же был его гораздо младше. Однако старательностью и усердием по службе превосходил он многих, за что на третий год произведен в капралы. Как батюшка, гнушаясь пустого чванства, подчиненным людям оказывал снисхождение, то скоро и капрал Потемкин стал к нему за всякое время вхож. Годами пятью позднее соединился с ними старый Потемкина товарищ, Василий Петрович Петров. Сей последний приехал из Москвы искать счастия в Петербурге, но, путного не найдя и исхарчившись даром, проживал на иждивении приятеля. Имя Петрова вовеки не забудет Камена русская. Скоро три сии друга стали неразлучны. Батюшка не однажды потом вспоминал, как, бывало, почасту собирались они втроем, проваживая досужие часы в чтении и беседах. Щелкая за круглым столом орехи, в зимние долгие вечера за самоваром коротали они время. У батюшки и тогда не водилось ни вина, ни карт. Скоро обстоятельства их разъединили. Старший из троих друзей, утомясь службою, тотчас по кончине государя Петра III взял отставку и поселился близ Симбирскова в родовой деревне; середний стяжал

славу великого пиита при дворе Великой Екатерины; младшего же слепая Фортуна вознесла на несказанную степень почестей и славы. В сем случае, однакож, оная возливая баловница не завязывала себе очей, ибо заслуги Светлейшего перед отечеством и Монархиней, по справедливости, пребудут незабвенны.

В 1779 году минуло мне шестнадцать лет. Батюшка снарядил меня в Петербург на службу. Благословя меня материнским образом Скоропослушницы (матушка скончалась, когда мне шел второй год), взял он с меня клятвенное обещание честно служить и помнить присягу, паче же всего удаляться развратного сообщества и картежной игры. Засим вручил он мне письмо к Светлейшему. По зимней дороге в две недели приехал я в столицу. Продолжительность сей поездки нимало меня не утомила. Днем развлекали мой путь станции и постоялые дворы, где много свел я приятных знакомств. По ночам луна сияла над снеговой равниной. Под звон колокольчика, слушая ямщицкие песни да вой волков, летел я, дремля в кибитке.

К Светлейшему на прием отправился я на третий день по приезде. Смятенный и оробелый, быв еще в ту пору совершенным деревенским недорослем, взошел я, озираясь, в пышную приемную. Княжеский секретарь, подошел, учтиво опросил, кто я, откудова и по какой надобности прибыл; ответы мои занеслись на особый лист. Смиренно став в дверях, видел я множество вельмож и генералов, из коих иные спесиво и с небрежением на меня взирали. И немудрено: в деревенском коричневом кафтане и шерстяных чулках, с примазанной маслом косою, опустя руки, неприглядную, должно быть, являл я фигуру. Прием еще не начинался. Внезапно дверь из кабинета распахнулась, и вот Князь в собольем шлафроке вышел в залу. Все с поклонами засуетились. Князь, не глядя ни на кого, пошел прямо ко мне. Я обмер. Положа руку мне на плечо, вымолвил: «Ты Лихутин?» От незапности потерял я голос и стоял зардевшись, но Князь, взяв меня за руку: «Ступай за мною», и привел меня в кабинет. Там спрошен я был о здоровье батюшкином, и который мне год, и в каком полку служить желаю. Тут только вспомнил я, что у меня за пазухой батюшкино письмо. Князь, прочтя, с веселым лицом ко мне обратился: «Ну, поди да запишись у Василия Степаныча, где стоишь, а после я за тобой пришлю». Обеспамятев с радости, наклонился я поцеловать руку его Светлости и прытко, едва не бегом, устремился в залу, где давешние генералы не по-давешнему передо мною расступились. Теперь мой настал черед взглянуть на них с высокомерием. Воротясь к себе на постоялый двор, через два дня известился я о зачислении меня конной гвардии в сержанты.

Таково было начало житейскому поприщу моему. Батюшка отменно был доволен, когда я отписал ему о своей удаче. В конной гвардии прослужил я все восемь лет, не щадя сил, как то мне здоровье дозволяло. Ровно чрез год по поступлении произведен я в корнеты.

Столичная моя жизнь протекала мирно. Свободные от службы часы проводил я на прогулках либо в придворном театре. В полковых пирах не участвовал, памятуя слово, данное родителю. Однажды только не соблюл я правила свои, за что едва головою не поплатился. В сем случае вижу единственную мудрую руку Провидения, которая отвела меня от беды. Не преминую описать, как все сие происходило.

Однажды на Масленой зашел я под вечер в известный трактир Орлова, что близ полковых казарм. Быв голоден, спросил себе квасу и рубцов. Обок со мною рябой приказный из сенатской канцелярии пожирал поросенка с кашей. Найдя верный случай со мною заговорить, сказался он мне симбирским земляком, отозвался, что и родителя знает, и за здравие его просил меня покалом вина. Я было отпирался, помня батюшкин завет, но скоро, рассудя, что от одного покала большого вреда не будет, послушался и хлебнул. За одним покалом прошел и другой, и третий. Скоро в голове у меня порядком зашумело. Тогда сенатский приказный вынул колоду карт и в задней комнате стал меня учить банку, примолвя: «Кто сей игры не разумеет, тот гвардии офицером быть не может». Затем, собрав карты, объявил, что я-де проиграл ему пять червонных. На сие я ответствовал, что таковых денег с собою не имею, да когда б и имел, то ему бы не отдал. Не поверя словам, полез он ко мне силом в карман. Я его отпихнул. Слово за слово, начал он браниться: «какой-де ты дворянин, коли играть без денег садишься?» Я, осердясь, взялся за палаш. Приказный, приметя, что на нас из дверей смотрят, заголосил на помощь. Люди было схватились за меня; я не уступал, и все сие происшествие сулило мне худой конец. В то самое время, вижу, подходит ко мне человек почтенных лет, изрядно одетый и собою видный. Растолкав народ, крикнул он грозно на приказного и взял меня за руку из трактира. На улице он мне сказал: «Только жалея твое малолетство, не хотел я, чтоб ты из-за пустого дела звания своего лишился. Когда б командиры твои сведали о сем, то не избежать бы тебе лихой кары». Я стал его благодарить. Не отвечая, спросил он, какая фамилия моя. Когда я сказал ему, что Лихутин, он с живостью, остановясь, вскричал: «Не Ивана ли Прокопьевича сын?» Я его вопросил, откуда родителя моего знает. Что же оказалось? Что сей любивый незнакомец есть не кто иной, как Василий Петрович Петров. Тут со слезами поведал я ему о нарушенном перед родителем долге. В нечаянной сей встрече вижу доселе явственный перст Божий. С того вечера и до конца службы пребыл я верен слову моему, а наутро ходил в часовню служить молебен Ангелу Хранителю.

Краткое знакомство с почтенным Василием Петровичем составило в моей жизни памятный эпок. Им был научен я, какие мне должно читать книги, а не в долгом времени с помощью его уразумел и французский, и английский язык. Не однажды Василий Петрович читывал передо мной громозвучные свои оды. Я внимал ему с трепетом восторга. Гораздо после, прочетши Державина, я не

нашел в последнем того вкусу. Державин, Ломоносову подражая, в парении весьма единообразен. Василий же Петрович в песнопениях ширял орлом, побеждая Державина и прочих пиитов красотою и прихотливостью слога. Без пристрастия скажу, что Василия Петровича стихи всегда всех более меня воспламеняли. К великому моему огорчению, летом того ж года расстался я навсегда с сим почтенным любимцем Муз.

Семьсот восемьдесят седьмой год отметился в жизни моей двумя неизгладимыми чертами. Седьмого Генваря постигло меня великое горе: родитель, оставя меня круглым сиротою, скончался на седьмом десятке жития своего. К тому времени исполнилось мне двадцать четыре года. Я было собирался просить отставки для устроения дел домашних, но, видно, судьбе не того хотелось. Воротясь с сорокоуста по батюшке, нашел я у себя на столе приказ: сопровождать мне с прочими Императрицу при путешествии Ее Величества в южные губернии.

Теперь долгом считаю, отступая, изъяснить, какая другая черта в моей памяти тот год запечатлела. Как гвардии офицер, имел я въезд ко всем придворным балам. Сии достопамятные увеселения открывались всегда в присутствии самой Императрицы. В одеянии не пышном, но величавом, в сопровождении некоторых вельмож, изволила Она созерцать пляшущих с особого возвышения. Перед Ней проходили польский и минует. Когда ж Государыня, довольно обозрев гостей, царственною своею поступью удалялась в апартаменты, тогда начинались и прочие все танцы. Не имея большой охоты к сему пустому занятию, любил я следить из-за колонны прохождение прекрасных дам. Между ними приметил я одну, которой взор оказался для меня пагубней Купидоновой стрелы. То была фрейлина Императрицы, девица Чибисова. Невысокого росту, с гибким станом соединяла она стройность легкой походки. Пышные волосы, быв напудрены и оттого белы, как снег, вздымались над челом, подобно замерзшему водопаду. Всего же прелестнее были черные пристальные очи под тонкими бровями и розовые уста, осененные лукавой мушкой. Будучи от природы нрава скромного, я долго не отваживался пройти с нею польский и только, насилу преодолев себя, решился. Когда легкая ручка ее легла на мою перчатку, я как бы остался без чувств и голосу, ибо, обойдя полный круг, не имел о чем сказать. Так в молчании свершили мы танец, хотя красавица не однажды благосклонно взметывала на меня черные взоры.

В тот вечер решилась моя участь. Красавица Анета сердце мое навеки покорила. В карауле, на ученье, дома только одну ее видел я в мечтах моих. Жизнь без нее мне опостылела; в бездействии я скукою томился. Одна любезная надежда дожить до нового балу меня оживляла; но пришел бал, за ним другой,— и ни там, ни тут не было Анеты. Я не знал, что придумать. Только на третьем маскарадном балу увидел я мою богиню, столь же прелестную, как и всегда. Однако, идучи с нею минует, я приметил, что веки ее при-

пухли и розовая улыбка покинула скорбные уста. Осмелившись, вопросил: «Прилично ли нимфе с печальным ликом веселию предаваться?» На что дама моя ответствовала голосом свирели: «Горести и нимф не оставляют». Чем разговор наш кончился.

Между тем приближался день отбытия Императрицы в Тавриду. Нетерпеливо помышлял я о долгом пути, наскуча бездельным ожиданием и разлучась с Анетой. Дни текли, схожие один с другим. Любовь моя отчасу разгоралась. Всякий вечер, напудрясь и подвив старательно белые букли, в новом мундире, шел я, гремя, мощеной улицей к заветному домику на Мойке. Там с тетушкой жила прекрасная Анета. В окошко тщился я хотя бы одним глазом увидеть мою очаровательницу,— напрасно: судьба и тут оказывала мне непреклонное жестокосердие.

Часть вторая

Не по-пустому сказано, что счастие там нас ждет, где его обрести не чаем. Со стесненным сердцем покинул я Петербург, устремляясь в южные краи, но сколь печален был отъезд, столь радостно было путешествие. Оставляю описывать в точности весь путь; скажу лишь, что неоглядные дороги и поля весьма меня утомили.

Через несколько дней пути громады дальних лесов, синими зубцами темнившие небосклон, разошлись, подобно облакам. Наместо их ровная чистая степь нас окружила. По Днепру поплыли мы на пышных галерах, быв неумолчно приветствуемы с берегов пальбою и кликами народа. От Киева Светлейший присоединился к поезду. Как на галерах пришлось нам влачиться немало дней, то к развлечению путников прилагались всяческие меры. На наибольшей из галер, «Десне», Светлейший всякий день давал роскошные обеды, на коих хозяйствовать изволила сама Императрица. К сим обедам приглашаемы бывали по очереди все бывшие в свите. В один погожий апрельский день удостоился и я почетного зову.

Императрица, вошед в столовую, приветствовала собравшихся милостивым поклоном. Одеянием Ее было перувьеневое платье молдаванского фасону и гродетуровый чепец. Ясное чело, голубые очи и ласковая улыбка восторгали сердце. По левую руку Государыни воссел Светлейший, по правую — Александр Андреевич Безбородко, что после был Графом. Оба сии вельможи являли собой прямое различие. Князь станом и лицом подобился Аполлону. Темные кудри пышно вились над возвышенным его челом. Щуря приветливо молниеносный взор, в жаркой беседе взмахивал он алмазною табакеркой и оттого сыпал табак Государыне на платье и себе на камзол. Граф Безбородко, сложения грубого и на подъем тяжелый, слушал Князя разиня рот, с медленностью, свойственной малороссиянам. Однако и он вовремя произнесенным

словом неоднократно обращал к себе милостивое внимание Монархини.

Когда по приглашению Государыни пошли все за стол садиться, придворный лакей на конце указал мне место. В задумчивости за стул взявшись, взглянул я на соседку мою и едва громко не ахнул: то была Анета. До последнего часу не знал я о нахождении ее в свите. Как ни был я в чувствах взволнован, однако приметил, что и ей увидеть меня не вовсе неприятно было. Разговор не замешкался, и до конца обеда мы с Анетою о многом договорились. Как вдруг посредине живой беседы Анета потупила взор и, дрогнув, смутилась. Дабы я сего не заметил, тотчас с двойною веселостию продолжала прерванную речь. Когда обнесли кофий, Государыня изволила встать и подняться кверху, а за Нею все. С палубы открылось нам восхитительное позорище. В сей день как бы сама природа убралась в сретение Семирамиды Северной. С берегов весенние пролетные птицы оглушали нас криками и свистом; несметные стаи уток и журавлей до того огромны были, что мнилось, стояли недвижными тучами над Днепром. Вечера розовые краски, потемнев, предвещали ясную лазоревую ночь. Я было собирался пойти к Анете, дабы наречь ее Дианою грядущей ночи, когда, оборотясь, увидел красавицу мою на корме с самим Светлейшим. Князь, вымолвя несколько слов, отошел с улыбкою. Анета в ответ ему склонилась церемонным поклоном, и бледность вновь покрыла томное чело. Князь между тем, отошед к Государыне, задумался и, приставя к носу табакерку, созерцал восходившую багряную луну. Отчего, не знаю, сердце мое незапной тоской сжалось. Впервые со дня смерти батюшкиной сознал я вполне свое сиротство; мысль об одиночестве средь целого мира меня ужаснула. Долго стоял я недвижим, взирая на струистые воды, серебрившиеся в тонком сумраке. Соловьи заливались в туманных берегах; ночная птица, налетев, едва крылом не сбила с меня шляпу. Тому вечеру минуло двадцать лет, но все описанное так мне памятно, как бы вчера еще оное совершилось.

С того часу Фортуна ко мне оборотилась передом. Всякий день виделся я с Анетой, и счастливым случаем беседы наши не прерывались. Мы беседовали о чувствах, о театре, о вестях придворных, но усерднее всего сводил я речь на прелести жизни сельской. Я твердо положил, воротясь в Петербург и увольнившись от службы, тотчас уехать к себе в деревню. Но еще того тверже с каждым часом укоренялась во мне мысль навеки соединиться с Анетой. Мысленно я видел себя в объятиях доброй подруги, окруженного лаской и заботами семейными. Поселясь в Лихутине, намеревался я на досуге предаться хозяйству, к чему имел всегда решительную склонность. С самой кончины родителя не знал я точно, велик ли мой доход и благоденствует ли вотчина, преданная на добрую волю старосты и бурмистра.

В мечтах и беседах неприметно летело время. Той порой медленные галеры сменились дорожными рыдванами, которые понесли

нас по необозримым степям южным. Легче ветра мчались мы на борзых конях, утопая в степной траве. То вылетали мы вдруг к распаханной черной ниве, где пахарь мирно водил трудолюбивых волов; то неслись по заросшей дороге, проложенной, как сказывали ямщики, запорожской вольницей; инде мелькали белые казачьи хутора; здесь мельница приветно взмахивала четырьмя крылами. Щедрая Фортуна везде устрояла так, что и на дорожных привалах мы с Анетой не разлучались.

В Херсоне, идучи от обедни, объяснился я Анете в чувствах. Услыша признание мое, она залилась слезами. После просила дать ей на размышление малый срок. Упреждая решительный ответ, в тот же день вздумал я пойти к Светлейшему ради ускорения отставки. Неожиданно сам от него получаю приказ явиться.

Светлейшего застал я в совершенном дезабилье, отдыхающим на софе, и в добром расположении нрава. Последнее явствовало из оказанного мне ласкового приема. Первым делом Светлейший спросил о батюшкином здоровье. «Батюшка скончался»,— отвечал я. Князь поник львиною главой. «Давно ли?» — «О Крещении, ваша Светлость».— «Царствие ему небесное! Он был человек добрый, прямо русский. Такого теперь не сыщешь. Ты только старайся быть его достоин, а я тебя, Саша, не забуду». Движимый чувством признательности, со слезами поцеловал я Князя в плечо. «Я тебя хочу послать в Карасубазар передовым для устроения фейерверка,— сказал мне Светлейший.— Что скажешь?» — «Ваша Светлость, соизвольте выслушать нижайшую просьбу».— «Говори». Тут изъяснил я Князю, что прошу отставки, дабы отцово имение не впало в расстройство. Князь, выслушав, кивнул мне благосклонно. «Просьба твоя имеет должный резон. Дворянину надлежит служить отечеству не токмо мечом, но и плугом. Увольниться тебе нет препятствий. А я попрошу Государыню наградить тебя за службу». Я с жаром благодарил его Светлость и просил замолвить слово Государыне о женитьбе моей на одной Ее фрейлине. Князь и тут изъявил согласие, примолвя, что сам на свадьбе у меня посаженым будет. «А как зовут твою фрейлину?» — «Чибисова, ваша Светлость».— «Чибисова? — Князь при сем слове, подняв голову, вдруг пристально в меня воззрился.— Так ты на Чибисовой жениться хочешь?» Слова сии Князь вымолвил медленно, глаз с меня не спуская. «Точно так». Поднявшись незапно с дивана во весь геркулесов рост, Светлейший, шлепая туфлями, пошел к окну. Оборотясь спиной, стекло царапая перстнем, спросил, помолчав: «А она знает?» — «Знает, ваша Светлость». Отчего, не знаю, сердце во мне защемило. Князь все молчал. Потом заговорил глухо: «Хорош щенок... Из молодых, вишь, да ранний! Пойдешь далеко. И ты — сын друга моего! Ах, ты!..» (прочих слов Князя на бумаге передать нельзя). Я свету невзвидел. Вся комната как бы в тумане закружилась; видел я одну исполинскую фигуру Светлейшего в турецком голубом халате. Вдруг повернувшись, крикнул он мне грозно: «Пошел отсюдова вон!»

Не помню, как дошел я до дому, как весь день тот дожил. Не столь страшил меня гнев Светлейшего, сколь мысль, что в его глазах отныне презренным почитаюсь. Я никак втолковать себе не мог, чем я пред ним так прослужился и за что несу тяжкую обиду. Светлейшего чтил я благодарно, как отца родного; его приязнь с батюшкой, его отческая ко мне нежность — все сие было дороже почестей и наград. И всего так вдруг лишиться!

К вечеру приметнулась ко мне лихорадка с бредом. Призванный лекарь бросил кровь, и наутро я пробудился телом здравый, духом — на одре смерти. Вдруг слышу стук в сенях, и вот ординарец Светлейшего меня спрашивает. Я затрепетал. Вруча мне две бумаги, посланный удалился. Дрожащею рукою развернул я роковые листы. В одном написан был приказ ехать мне немедля в Петербург совместно с невестой, бывшей фрейлиной Ее Величества Чибисовой; в другом значилось всемилостивейшее увольнение меня от службы с чином гвардии капитана и с пожалованием мне на свадьбу трехсот душ.

Часть третья

Нрав Анеты долго являл для меня непостижимую загадку. Во всю дорогу до самого Петербурга не осушала она очей. Не однажды я пускался допрашивать ее; умолял открыть тайну ее печали; не оттого ли она так грустна, что за меня выходит; увещал, что слово взять назад никогда не поздно. На таковые мои слова Анета ответствовала улыбкою сквозь слезы, потом с живостию уверяла, что я — ее самый верный друг, что добрее меня никто не сыщется в свете. Обнадеженный нежными речами, я отдыхал душою, но ненадолго: скоро тихие рыдания опять слышались из угла кареты.

Из Петербурга, устроясь с делами, не мешкая, выехали мы в Москву, навсегда оставя северную столицу. В Москве же совершилась наша свадьба в приходе Успения, на Арбате, Маия пятнадцатого дня. После свадьбы поселились мы в доме приходского дьякона. Сей дом сгорел в 1792 году. Для меня он, хотя и деревянный, дороже был каменных хором, ибо в простых его стенах впервые в жизни познал я счастие, высочайшее на земле.

Дряхлый Сатурн, между тем, неустанно мчался на седых крыльях, точа вечную свою косу. Пора приходила уезжать в деревню. Я объявил Анете решение мое. Надобно было теперь избрать нам, где поселиться. Меня влекло в старое Лихутино. Как бы в тумане всплывали передо мною высокие волжские берега с расшивами и шкунами; быстрые паруса; веселые песни бурлаков; псовая и ястребиная охота, к которой я еще в ребячестве при покойном батюшке пристрастился; старый дикий сад и дом, строенный дедом во дни Петра Великого, где бутыли с наливками на окнах и перепелиные клетки под потолком с детских лет у меня в уме запечат-

лелись. Анета звала в новую Александровку, пожалованную Императрицей, прельщая меня красотами новых мест, коих живописный воздух необходимо нужен был для ее ослабелой груди. Чтоб покончить наше сумнение, решили мы бросить жребий. Судьба указала Александровку. Так еще два года суждено мне было не видеть родины моей.

К зиме отстроили мы дом, убрав его со всею роскошью, как нам то достатки позволяли. На другое лето никто бы не узнал сих недавно еще пустынных мест. Небольшой белый дом воздвигся над быстрой речкой. По комнатам расставились красного дерева креслы и столы, стены украсили живописные картины. Из светлых окон взорам открывался молодой сад. Липы и клены бежали легкими дорожками вкруг узкого пруда, за ними гордо воздымались серебряные тополи. Далее яблони торчали рядами, суля обилие наливных плодов; над пестрым цветником чеканный эродий струил из медного носа ключевую воду. Анета была добрым гением нашего хозяйства: оно цвело под неусыпным ее надзором. Я не узнавал ее: бледность покинула милые ланиты; их озарил румянец, знойный, как украинское лето. Ласки ее ко мне непрерывно умножались. Два года неслышно пролетели сладким, блаженным сновидением.

Сколь памятны мне зимние вечера в нашей уютной зале! В канделябрах, дрожа, мерцали свечи, трепетно колебля по стенам голубые тени. Пред трескучим камином сиживал я в покойных креслах, созерцая змеистые переливы синего и золотого пламени. Анета за клавесином пела. Образ ее посейчас, как живой, передо мною: помню прекрасное, восторгом сиявшее лицо; кольцом дрожащий над бровью черный локон и звонкое пение, томившее негою невыразимой. Тетушка тою порой за угловым столиком раскладывала пасиансы, а в столовой люди гремели тарелками, накрывая ужин.

Еще памятней в уме моем летние дни в саду. Над прудом на зеленой скамье отдыхали мы с Анетой, упоенные зноем долгого полудня. В жаркой тишине звенели клики хохлатых удодов; иволга порой нежно проигрывала на своей флейте. Ввечеру мы об руку обходили сад; осиянные золотом и пламенем заката, долго смотрели вослед уходящему светилу. Печалью тихой и сладостной томилось сердце: мнилось, солнце за собою жизнь уводило.

Пятнадцатого Маия нашему счастию минуло два года. (Тетушки уже не было с нами: она преставилась в самое Рождество.) После молебна мы с гостями сели за стол. Ближний наш сосед, секунд-маиор Кикин, немолодой и прибрюхий поклонник Бахуса, провозглася хозяйкино здоровье, нечаянно сронил рукавом покал и вино все до капли разлил. Таковая оплошность весьма расстроила Анету. Только она за ужином стала помалу развеселяться — новое несчастие: собака цепная на дворе завыла. Со страхом ждал я третьей роковой приметы. Гости скоро после ужина начали разъезжаться. Удрученный тайным предчувствием, наскоро распо-

рядясь по хозяйству, пошел я в спальню. Анета была уже в постели. Закрыв глаза, она не спала; в молчании лег и я, не тревожа ее словами.

Светало, когда я пробудился. Мне не спалось; в халате я подошел к окну, посмотреть, какова погода. День предвещал быть ясным; в облаке утреннего тумана едва выказывались верхушки тополей. Незапно почудилось мне, что у нас в доме поднялся необычный для раннего часу шум. Я прислушался: как бы все слуги бегают и сумятятся у нас в прихожей. Мне вспало на ум, что в доме у нас пожар; я оглянулся на Анету: она дышала бережно и ровно. Я уже хотел ее будить, как в дверях услышал шептанье старого дядьки моего, Созонта. Наскоро он мне доложил, что некий проезжий генерал, богатый и с обозом, сломал по дороге колесо и хочет у нас остановиться, покудова кузнец ось сварит. Я, распорядясь просить приезжего в гостиную, стал спешно одеваться. Второпях, схватя кафтан, размахнулся я полою и сшиб со стола зеркальце Анеты. Оно на мелкие куски разлетелось. От стука Анета пробудилась и, увидя на полу осколки, молча закрыла глаза руками. У меня сердце перевернулось. Так совершилась и третия примета.

Между тем, одевшись, я поспешил в гостиную. В ней несколько офицеров раскладывали наспех походную кровать. Лица иных показались мне знакомы. Не успел я вызнать, кто сии нежданные гости, как в прихожей задвигались тяжелые шаги, и проезжий генерал вошед, остановился на пороге. Я тотчас признал Светлейшего, хотя он был заспан и небрит. Воспоминание последней нашей встречи так живо предстало моему воображению, что я готов был бежать из своего дому. Князь, не заметя меня, стоял понурясь. Дорожный ватный кафтан мигом совлекли с него ординарцы. Оставшись в одной рубахе, Князь, сопя, опустился на кровать и махнул рукой. В сей миг страшный раздирательный крик за дверьми заставил меня дрогнуть. Я бросился в спальную и в коридоре увидел простертую Анету. Она была в бесчувствии. С помощию слуг я бережно донес ее в спальню и положил на постель. С отчаяния, не зная, что делать, припал я устами к ногам Анеты. Слезы из глаз у меня ручьями заструились. Анета была как мертвая. Вдруг чья-то сильная рука меня от постели отстранила. То был Светлейший со своим лекарем. По приказу сего последнего двое слуг за руки увлекли меня силой из спальной.

Теперь приближаюся я к горестнейшему событию всей моей жизни, которое описать не имею сил. В полдень Анета вручила Господу праведную свою душу. Меня допустили к ней, когда уже она успокоилась навек. Пав в отчаянии пред роковым ложем, я рыдал, не слушая никого, как бы забыв, что в гостях у меня сам Светлейший. Люди сказывали после, что, глядя на меня, все кругом голосом рыдали.

Когда горесть моя несколько утишилась, ко мне подошел Светлейший и за руку отвел меня на свою кровать. Там проспал я крепко, как убитый. Пробудясь, опять увидел пред собою Князя.

Сев подле, он положил на голову мне руку и не пустил встать. «Слушай, Саша,— молвил он тихо,— я виноват пред тобою. Ты — человек благородный. Покойница сама пред смертию мне все сказала. Теперь я у тебя в долгу. Сказывай, чего хочешь». Я залился слезами и, лобызая Светлейшему руки, высказал, что более мне ничего не надо: что мужнин есть долг любить жену свою, ласка же его Светлости для меня всего на свете дороже. Князь в лицо мне пристально поглядел, потом, усмехнувшись, молвил: «Тебя, братец, в святцы записать надо».

Скоро на дворе княжеская коляска застучала. Обняв меня отечески, Светлейший со всею свитою уехал. Я побрел в залу. Тем часом солнце уже к закату склонилось. Анета, убранная, лежала на столе в белом венчальном платье. На грудь ей Светлейший возложил прядь своих волос. Отец Иван с дьячком взошли к вечерней панихиде. Итак, погребальные песнопения огласили стены, слышавшие некогда сладкое пение Анеты.

Долго глядел я на мертвый лик верной моей подруги. Хладное чело дышало спокойствием, но близ строгих уст уже синели смертные тени. В ум мне пришли последние слова Князя. В них чудилась мне некая тайна...

1907

ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ НЕИЗДАННЫХ ЗАПИСОК

Александру Мелентьевичу Кожебаткину

I

Родился я в 1800 году 6-го мая, в Петербурге, в самый день кончины великого Суворова. Отец мой, у которого я был первенцем, весь тот день находился в большой печали; из этого обстоятельства повивальная бабка вывела заключение, что мне долго не выжить.

По милости матушкина баловства меня лет до восьми вовсе не учили, и я вырастал великим лентяем и шалуном. Первые мои годы протекли в Москве, куда отец назначен был служить по архивам; и как ни силюсь я вообразить себя за книгой или с указкой, в памяти все восстает либо змей с трещоткой на хвосте, либо свинчатка, разбивающая козны, а то и чей ни попало нос. Няня никак не могла совладать со мной, и скоро после первой исповеди наняли мне отставного капрала Бухтелева в дядьки. Этот почтенный наставник брал более голосом, нежели делом, и орал на меня немилосердно, особенно как урежет, бывало, лишний крючок сивухи. Впрочем, через год его прогнали за кражу двух цицарок и шпанского петуха, а скоро и отец, уволившись в полную отставку, переехал с семьей на житье в нашу нижегородскую деревню.

Из московских впечатлений осталась у меня в памяти тихая и веселая лужайка в Елохове, перед церковью Богоявленья. Тут за оградой мычали поповские телята и хлопотали куры, а на траве соседские ребятишки играли в свайку, в козны и в лапту. Из благородных хаживали сюда с нянькам и два моих однолетка, Гриня Сабанеев и Саша Пушкин. Первый был мальчик резвый и, подобно мне, большой охотник до пареных груш; оба мы, как завидим, бывало, грушника с тележкой, мчимся к нему по проезду что есть мочи и, пока няньки наши подымут крик, уже с полными горстями убегаем за церковь к поповой бане. Саша был мальчик неповоротливый и толстый и бегать не любил; ему груши всегда покупала

нянька и потчевала на лавочке из своих рук, а он знай себе жует с сопеньем, ухватясь за ее подол.

Зимой мы приходили в Елохов проезд с салазками кататься с горки и играть в снежки с поповичем Федькой. Сначала игра начиналась мирно, но всякий раз Федька, который был нас годами тремя постарше, пускался на озорство: то прямо в сугроб под ножку свалит, то, словно невзначай, запустит ледышкой в лоб, то больно натрет уши снегом. Больше всех от него доставалось Саше. Бывало, Федька насует ему сосулек полон ворот и всего вываляет в снегу. Саша пыхтит, пыхтит, потом подымется и заревет басом; няньки налетят отымать, а уж Федька давно перескочил с сугроба за ограду и глядит оттуда как ни в чем не бывало. Няньки в три голоса пойдут его ругать кутейником, блинником, жеребячьей породой, а Саша, покуда вытряхают ему тулупчик, басом все повторяет сквозь слезы: «Блинник, блинник!»

В Авдеевке жизнь шла однообразнее и скучнее. Сначала, пока перестраивался дом, мы жили в старом флигеле на дворе. Отец со мной и моим французом поместился на одной половине, а матушка с сестрами на другой.

У отца в кабинете были развешаны по стенам арапники, ружья, кинжалы, мушкетоны, а любимые его борзые целый день бегали по всем комнатам, отчего у нас в доме постоянно припахивало псиной. И теперь, когда случится мне услышать этот знакомый запах, в воображении живо представляются низкие темноватые комнаты; широкие печи, расписанные изразцами в виде синих медведей и петухов; шаткое бревенчатое крылечко; голоса матушки и сестер; запущенный дикий сад с лезущим в окно ворохом сирени и криками вечных лягушек на пруду; зеленые душистые коноплянники,— и надо всем высокая плавная фигура отца, напудренного, в широком ватном халате, на красных каблуках, со скрипящей жалованной табакеркой в белых, словно точеных, пальцах.

Отец начал службу в Преображенском полку, откуда вышел в отставку вот по какому случаю. При императоре Павле он, неожиданно для себя самого, пошел в гору и скоро был пожалован флигель-адъютантом; неизвестно почему, Павел Петрович очень к отцу благоволил. Дальнейший рассказ записан мною с собственных его слов. Надобно объяснить, что необычайная суровость государя, бывшая причиной неслыханного множества ссылок и гонений, как бы пуще способствовала легкомысленности и бесстрашию в иных людях. Так беспечны бывают селящиеся при вулкане. Отец рассказывал, что гвардейские шалости при Павле Петровиче были куда отчаяннее, чем при Великой Екатерине. Должно быть, потому отец решился однажды на безумный и отчаянный поступок, а именно: побился об заклад с другом своим Копьевым, что на парадном спектакле, находясь в царской ложе позади государя, дернет Павла Петровича за косу. Безумное пари состоялось при двух свидетелях. Поставили сто червонных. По долгу службы отец

вместе с Копьевым присутствовал в тот вечер на спектакле, стоя за креслом императора. Когда проиграла музыка, отец смело протянул руку и дернул черный кошелек царской косы. В этот миг он, по его словам, не чувствовал ничего и был спокоен, когда Копьев, бледнее мела, схватился за стену, чтобы не упасть. Государь с гневным изумлением оборотил к отцу свой курносый профиль. Взор его был таков, что отцу показалось, будто бездна разверзлась под его ногами, но, сдержавшись из последних сил, он ответил твердо: «Коса вашего величества не по форме лежала, и я ее осмелился поправить». Павел Петрович, кивнув благосклонно, улыбнулся и обратился к сцене, где в этот миг золоченый занавес с орлом взвился и открыл первую картину. Что играли и как, отец ничего не помнил, а возвратясь домой, тут же послал прошение об отставке. Внезапность этого намерения можно истолковать лишь тем, что, как говорил сам отец, ему было стыдно перед государем.

Это произошло почти перед самой его женитьбой, то есть ровно за год до моего рождения. Отец скончался от удара, когда мне исполнилось двадцать лет. Мы тогда уже жили в Петербурге. До самой смерти своей отец неизменно был бодр и весел. В Петербурге он уже не носил совсем деревенского халата и даже дома являлся к столу не иначе как во фраке полусветлого или коричневого цвета, в огромном рыжем, в три яруса парике с буклями и завитками, в черных чулках и башмаках с золотыми пряжками. Матушка была старше отца на четыре года и на столько же ровно пережила его. В приданое за ней пошла наша Авдеевка, где мы провели безвыездно шесть лет. И в Москве и в деревне, и в Петербурге помню я мою кроткую и добрую матушку неизменно сидящею у окна с постоянным рукодельем: то вышивала она с девушками на пяльцах, то вязала салфетки и одеяла, то плела бесконечные кружева. Кому нужно было все это — Бог весть. Читать матушка не любила, и, когда я, обучившись грамоте, примащивался, бывало, к ее креслу с книгой и принимался читать, она сначала вздыхала, потом скоро вздремывала и, наконец, спутав вязанье, усылала меня гулять со словами: «Не читай много, Митенька, глазки испортишь».

В 1814 году мы переехали в Петербург и больше при жизни отца в деревню не возвращались. Сестры мои скоро были приняты в Смольный; пора было и мне подумать о школе. Матушка хотела, чтобы я учился дома; отец настаивал отдать меня в Царскосельский лицей; сам я мечтал поступить в казаки. Неожиданный случай перевернул все планы. Из Парижа вместе с победоносной армией возвратился матушкин брат, дядя Павел. Его рассказы о славных наших подвигах и о победном вступлении триумфаторов в столицу галлов воспламенили не только меня, но и отца. Вид белого дядина кирасирского колета с Георгием на груди и заветной медалью на двухцветной ленте и ночью преследовал мое воображение. Я прямо бредил военной службой. Отец мне не препятствовал,

но так как лета мои еще не вышли, а служить рядовым не было ни нужды, ни охоты, то при содействии нашего дальнего родственника, генерала Кнабенау, осенью я был принят в Пажеский корпус.

II

Важнейшим событием во всей корпусной моей жизни я считаю близкое знакомство с Евгением Абрамовичем Баратынским. Ныне славный поэт и счастливый отец семейства, проживает он, как мне сказывали, близ Казани. Некоторые обстоятельства нашей жизни, о которых сказано будет ниже, нас разъединили, и на два моих письма к нему я так и не получил ответа. В корпусе же он был моим ближайшим другом, и при мне произошла та горестная шалость, о которой до сих пор знают понаслышке лишь несколько человек.

В первый вечер моего прибытия в корпус довелось мне услышать о Баратынском. Сосед мой по лавке, Андрей Полозов, убитый после под Варной, рассказал мне за ужином, как при самом вступлении в школу маленький Евгений, невзлюбив своего командира, приклеил ему к спине лоскут бумаги с надписью: «Пьянчуга». (N. B. Покойный капитан, точно, был ретивый любитель даров Вакха.) Скоро услышал я и узнал еще больше.

Евгений (буду так называть его) с первой встречи оказал мне большое дружелюбие. В рекреацию, бродя в задумчивости по зале и скучая, увидел я у колонны стройную фигуру бледного юноши моих лет, в поношенном вицмундире. Лицо его в волнистых, взбитых слегка кудрях поразило меня необычайным выражением. С нежной томностью и благородством истинно поэтическим соединяло оно какую-то затаенную лукавость, игравшую порой на устах довольно явно. Можно сказать, что второе выражение, сменяя первое, вслед ему как бы подмигивало и смеялось. Но резкие эти смены не являли ничего неприятного, а, скорее, привлекали.

Два раза пробрел я мимо него, а на третий он, взяв меня под руку, заговорил на отличном французском языке: «Вижу, вы скучаете, позвольте мне развлечь вас: меня зовут Евгений Баратынский». В голосе его, мягком и уветливом, слышалась сердечная ласка; я сжал ему руку, покраснел, и, не слушая пятнадцатилетнего самолюбия, слезы сами собой повисли на ресницах. Между тем, Евгений, все держа меня под руку, пошел со мною по зале, ровным и мягким голосом рассказывая о нравах и обычаях нашего заведения. Речи его были так увлекательны и живы, блистали таким умом и изяществом, что я не мог им не поддаться. Скоро от моей скучливости не осталось следа; я развеселился и, в свою очередь, пустился рассказывать о своих семейных делах. Только те-

перь вспоминаю, что сам Евгений ни слова не выронил о себе; при своем уме мог он очаровать всякого и выведать вполне чужую душу, не выдавая своей.

Через несколько дней мы с Евгением подружились, тем более что кровати наши в дортуаре стояли рядом. Ныне, соображая все обстоятельства, сопутствовавшие тем далеким годам, все чаще я убеждаюсь, что никакой любви и дружбы Евгений не чувствовал ни ко мне, ни к прочим троим товарищам, составлявшим нашу шайку. Думаю, что вряд ли он кого любил, кроме себя; сомневаюсь даже в последнем, и, как мне кажется, не без основания.

Я недаром назвал наше дружеское общество шайкой. Впятером мы представляли добродетельных разбойников, взявши за образец знаменитого шиллеровского героя. Мы поклялись мстить злому и несправедливому человечеству, которое осуществляло в наших глазах корпусное начальство. Уж не припомню теперь в точности, на какие злодейства мы пускались. То обрезывали шарфы и перья на шляпах у дежурных офицеров, то запрятывали учителям в карманы соленые огурцы, то гвоздями прибивали калоши их к полу. Не один неосторожный наставник шлепался носом, рассыпая тетради и книги по всей швейцарской. Все эти проказы совершались с такою ловкостью и проворством, что открыть виновников было невозможно. Евгений, как атаман и предводитель нашей шайки, всегда принимал на себя самые важные проделки. По ночам мы все собирались на чердаке, притаскивая под полой свой казенный ужин, и здесь, при бледном мерцании сального огарка, делились рассказами о страшных привидениях и подвигах настоящих разбойников. Так бездельничали мы круглый год и бездельниками вышли бы, наконец, в службу, если бы неожиданный случай не расстроил дружную нашу шайку. Судьбе было угодно наказать Евгения и спасти меня.

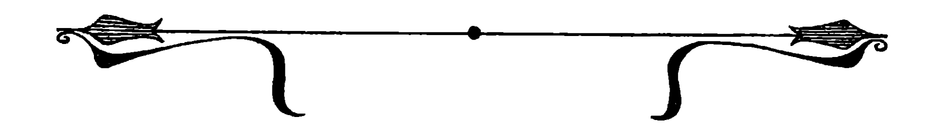
Последним членом в наше общество Евгением был введен некий Приклонский, юноша уже развратившийся и светски вполне созрелый. Внешность его отвечала нраву. Землистое лицо и черные зубы в красных деснах обличали его тайные и явные пороки. Отец Приклонского, богатый и важный камергер, являлся иногда к нам в корпус. Памятно мне, что при виде сына он хмурил густые брови и делал брезгливое лицо. Впрочем, наш Приклонский учился хорошо и, что всего удивительнее для школьника, не знал счету деньгам.

По вступлении его в шайку наши чердачные ужины превратились в лукулловы пиры. Приклонский доставлял нам огромные корзины чудных закусок и редких фруктов; конфекты и сладкие пироги истреблялись нами в изобилии; наконец, появилось и вино. На какие деньги брались все эти роскоши, не подозревал никто, исключая одного Евгения, который, подружась с Приклонским, в классе сидел с ним рядом, вместе гото-

вил уроки, а по воскресеньям бывал отпускаем к нему в дом.

Блаженная эта жизнь длилась до весны следующего года, когда однажды, в воскресенье вечером, явился в корпус фельдъегерь от государя. Недобрые вести быстро разнеслись между нами. Среди начальства поднялись страшное смятение и тревога. Упоминалось имя Приклонского, между тем, еще дня за три уехал он в Москву к тяжко хворавшей матери. Более всего удивляло нас, что Евгений не возвращался в корпус ни в понедельник, ни в последующие дни. Тут только обнаружилась роковая шалость.

1910



ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВОРОЖЕЯ

(1818)

Валерию Яковлевичу Брюсову

Глава первая

Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!

I

На закате море загорелось и слилось с запылавшим небом. Озолотились темно-зеленые сады невских островов. Вдали адмиралтейский шпиц вспыхнул, как огненный, над петербургской громадой.

На Крестовском нынешним летом поют цыгане. Сам Илья приехал с табором из Москвы. От «гуляков» в трактире вторую неделю отбою нет. Только завечереет, все на Крестовский валом валят: и гвардейцы, и важные господа, и всякая столичная мелочь. Запустели совсем веселые кабачки — и Желтенький, и Красный. Кому неохота послушать лихих цыганских песен, полюбоваться на красавицу Танюшу! Голос у Танюши соловьиный: смеется и плачет, печалит и веселит; душу вынет, истомит, сердце измает.

Небесное золото еще не потускнело, а уж цыганский трактир шумит. Кудлатые черные чавалы с гитарами расхаживаются по саду в цветных кафтанах, перебирая струны; откашливаются, поводят плечами. Гости съезжаются на катерах и в шлюпках: по двое, по трое, вшестером. Все больше удалая военная молодежь: гусары из Царского да гвардейские уланы; кто из лагеря отлучился до первого барабана на острова, кто по летнему времени сбежал тайком на часок из караульни. Говор понемногу крепнет; пробки захлопали, и шампанское зашипело.

Седой Илья шумно вывел в запестревшую залу веселый хор и присел на скамью строить гитару. Табор расставился полукругом. Вышла Танюша, в малиновом сарафане, в яркой турецкой шали: расшитая золотом, приколота шаль к левому плечу. Серьги

жемчужные, монисто из червонцев. Смуглая, желто-румяная,— перловыми зубами блистают алые губы — распустила Танюша по плечам из-под золотой повязки свои вороновые косы. «Здравствуй, Танюша, раскрасавица!» «Жги, говори!» «Пора!» «Начинай, что ли!» Гусары чокаются за здоровье цыганки. Почтенные, седые баре кряхтят: «Эх, хороша девчонка!» «Огонь!» Долговязый дипломат в коричневом кургузом фраке с огромным жабо, в узких бланжевых «веллингтонах», навел на Танюшу лорнет, разинул рот, да так и остался.

Блеснув улыбкой, поклонилась в пояс гостям Танюша и звонко залилась песней. Сложили ту песню весной шутники-преображенцы. Поется в ней про молодого поручика, что влюбился в княжну и ладил было перевенчаться увозом, да вместо венца угодил на гауптвахту.

Ах, зачем, поручик,
Сидишь, мой голубчик,
В горьком заключении,
Колодник бесшпажный?..

Разливается, стонет разноголосый цыганский хор; дружно подхватили песню молодые гости. Весь табор в сборе. Впереди две голосистых подружки, Анюта Пучок и Лизавета Турчиха. За ними молоденькая плясунья Пиша. Тут и мать ее, скуластая оскаленная старуха; совсем без голосу, а как взвизгнет, пройдется да махнет ширинкой,— сразу поддаст жару запевале: недаром первая певунья была Алена в хоре у графа Алексея Григорьича Орлова.

Песня кончилась. Старый Илья оглянулся соколом и лихо ударил трепака. Выскочил Алексей Бурбук, первый плясун во всем таборе, толстый, как бочка, в белом кафтане с позументом. Чисто пляшет Бурбук. С виду все как будто стоит на месте, а не удержаться, глядя на него: так и гонит тебя самого вприсядку. С щелканьем, с присвистом идет забубенная, разухабистая российская плясовая:

Сударыня-барыня,
Чего тебе надобно?
Сударь-барин, приходи,
Подарочек приноси!

Струны гудят, хор частит, заливаясь на двадцать пять разных голосов; сам Илья, глядя на плясуна, корчится над гитарой; гости за столами и половые в дверях ходят ходуном, дергают и плечами, и ногами,— а Бурбук под бешеный вихорь трепака, подбоченясь, легко и осторожно взмахнул поярковой своей шляпой, переложил из правой в левую, сунул ее под мышку, выхватил, подбросил и, посадив набекрень, шевельнул плечом. Гикнул, притопнул и селезнем полетел по кругу.

Сударь-барин приходил,
Подарочек приносил,
Подарочек не простой,
Перстенечек золотой!

Рокот гитар слился в безумный, неистово-резкий гул; старая Алена визжит во все горло, басы вторят дикими голосами; гости давно повскакали с мест: ухают, приседая. Раз! — и оборвалась пляска. Толстый Бурбук остановился, гикнул и взмахнул шляпой. Ударил ее оземь и с табором убежал в сад.

Все шумно заговорило. «Ловко пляшет, анафема!» — «Ай да молодец!» — «Славно!» — «Молодчина, Алеха!» Красный, с налитым затылком гусар, пыхтя и утираясь, будто сам после пляски, шлепнул долговязого дипломата с лорнетом: «Так-то, брат, каковы цыгане?»

Народу прибывало. Смех, шуточки, разговоры. Пробки захлопали чаще. Из душной залы потянуло в сад. И там, за столиками, полно гостей. Червонные ментики и голубые в шнурках венгерки перемешались с серыми фраками и гороховыми сюртуками. Записные щеголи в высоких «робинзонах» и «пиках» разочарованно драпируются в длинные черные «воротники». Парижскую речь пересыпают российские словечки; порой залпами хохота взрывается дружное веселье.

Статный молодой улан, задумчивый и спокойный, неторопливо прошелся по саду, осмотрелся, закрутил рыжий ус и, цепляя саблей за столы, пробрался с трудом в опустевшую вполовину залу. Там, в дальнем углу, за бутылкой вина, одиноко пригорюнился на диване чернявый юноша в коротком сюртуке и верховых сапогах.

Улан подошел.

— Здравствуй, Черкес, как поживаешь?

— Ах, Юрьев, это ты. Наших нет?

— Не видно. Мальчик, аи!

— Дорого нынче аи: полтора целковых бутылка.

— Что с тобой, Черкес,— давно ли ты стал деньги считать?

— Начнешь считать, коли по уши в долгу. Актрисы да шампанское, шампанское да актрисы,— только тебе и дела. Les affaires ne sont pas lucratifs, à vrai dire, n'est ce pas?[1]

— Пустое, брат Черкес. А вот и наши. Отсюда вижу Васю со Сверчком.

II

Вошли двое молодых людей, военный и штатский. Первый — рослый красивый кавалергард в белом мундире — смотрит вялым и неуклюжим парнем. Добрые рыбьи глаза его заспаны и ленивы;

[1] Не слишком прибыльное дело, не так ли? *(фр.)*.

на слабых губах бродит рассеянная улыбка. Вася не похож на гвардейца: мундир на нем мешковат и неловко скроен, тяжелый палаш неряшливо бьется об огромные ботфорты. Зато штатский его товарищ вертляв, боек и одет франтом. Чтобы пройти в дверь, пришлось ему снять с головы широчайший «боливар», исполинские поля которого задевают за косяки. Стройная, легкая фигура Сверчка лихо завернута в волочащийся шлейфом испанский плащ. В руке он вертит оборванный хлыстик. Толстогубое маленькое лицо в каштановых кудрях озарено приветливым взглядом и беззаботной улыбкой.

— Что это у вас, аи? — быстро заговорил Сверчок.— Слава Богу, здорово! Вася! Спроси скорей дюжину,— выпьем за здоровье лейб-улана.

— Тебе, Сверчок, доктор запретил.

Сверчок присел к столу.

— Ты мне не доктор: я, слава Богу, здоров. Свет мой Павел, полно тебе вздыхать по Крыловой. Она еще целехонька. Успеешь наплакаться у себя в деревне, а здесь покудова вы оба, слава Богу, здоровы.

— Отстань, Сверчок, со своим здоровьем, без тебя тошно.— Черкес насупился. Юрьев и Вася, взявшись под руки, вышли в сад.

— Где ты был, Сверчок? У Наденьки?

Сверчок загадочно улыбнулся, показав нить перламутровых зубов.

— Черкес, поздравь меня, я решился. Иду в гусары.

— Дело хорошее. Пей же, будущий Бонапарт.

Голубые глаза Сверчка затуманились; он опустил голову.

— Под маской веселости ты, Павел, я знаю, давно разглядел и понял мою душу. Я тоскую comme un fou, comme un amoureux[1]. Не знаю, чего мне еще надобно. Мне нет двадцати, а я уже дряхлею. Видно, правду говорил намедни Петр Яковлич, что таков наш век. Все пережито, во всем пришлось извериться. Вино и женщины мне постыли, книги — и того пуще. Мне брюхом хочется перемен. Если бы царь спустил с цепи Наполеона, я был бы безмерно счастлив. Оттого-то я и рвусь так в гусарские ряды.

В залу хлынула из сада толпа гостей, с ними Юрьев и Вася.

— Сейчас запоют. Сверчок, о чем задумался?

Сверчок не отвечал. Юрьев хватил кулаком так, что стаканы задребезжали.

— Что вы, в самом деле? Давеча Черкес киснул один над бутылкой да считал гроши, а теперь Сверчок наморщился и в ус не дует. Мальчик, вина!

— Вот это дело! Молодчина, лейб-улан! Пробудись, Черкес, выпьем за Крылову!

Приятели оживились. Сверчок, скинув плащ, остался в кашемировом сюртуке и гусарских сапожках. Он с детским весельем за-

---

[1] Как безумец, как влюбленный *(фр.)*.

любовался золотыми искрами в ледяных стаканах. Мешковатый Вася удобно устроился на диване. Даже Черкес, которого Юрьев заставил выпить три полных стакана, успокоился, повеселел и приказал мальчику подать трубки.

Цыгане опять зашумели в дверях. Танюша вышла и запела.

III

— Я так полагаю,— молвил лениво Вася,— что там ни говори философы о глупости суеверий, но только эта Танюша колдует,— просто наводит чары.

Четыре приятеля сидели в саду при свечах, кончая последнюю бутылку. Трактир давно опустел. Белая ночь беззвучно простерлась над столицей.

Черкес зевнул.

— Полно, Вася, в наш просвещенный век какие чары? Было, да прошло.

— А спроси Сверчка, зачем он разревелся, как баба, когда Танюша запела «Дороженьку»?

Сверчок вздрогнул, очнувшись.

— Сейчас я думал о предопределении,— заговорил он, кусая ногти.— Fatum... существует ли оно? Песня дикой цыганки навеяла мне странные мечты. Мысль о смерти давно уже меня преследует. Смерти я не боюсь, вам это, господа, хорошо известно. Но если бы только знать наверно, какой смертью суждено нам умереть!

Юрьев затянулся из длинного чубука.

— Пожалуй, помогу тебе, коли хочешь. У Аничкина моста живет гадалка, поезжай завтра к ней, она тебе все расскажет.

— Гадалка? — спросил Черкес.— Что ж, молода, хороша?

— Старуха, но лучше молодой.

Ночной мотылек налетел на свечу и бессильно забился на мокрой от вина салфетке. Сверчок задумчиво следил за трепыханьем его опаленных крыльев. Все молчали.

— Ехать, так ехать сейчас! — Сверчок вдруг вскочил.— Кто со мной?

— Поздно уж, скоро начнет светать. Да и мне пора в лагерь.

— Ну, так я еду один. Кто со мной?

— Пойдет дурить теперь Сверчок,— проворчал Юрьев.— Пойми же, неугомонный, что гадалка давно спит и тебя не примет. Это тебе не Оленька Масон.

— Вздор, мой милый, гадалки не спят по ночам. Когда ж гадать им, как не теперь? Едем!

— Я с тобой, все равно деваться некуда,— сказал Черкес.

— А ты, Вася?

— Поеду. Юрьев, что ж?

— Не могу, завтра я дежурный. Увидимся у Голландца, хорошо?

Сверчок втрое обернулся плащом и, волоча за собою длинный хвост, двинулся из сада. В своем широкополом «боливаре» он походил на огромный гриб. Все четверо вышли вместе из ворот.

Прозрачный тающий сумрак белой ночи величаво почил над зеркальной задумчивой Невой. Ночь,— а даль светла, как днем, и чистое небо сияет без месяца и без звезд. Прощальный чистый пурпур зари, быстро умирая, сливается незаметно с воскресающим на востоке воздушным золотом. В бестенной тишине робко плеснули весла. Нева, светлая, ясная, спокойная, как небо. Редко-редко промчится гул над мостом да пронесутся по воде протяжные, заунывные оклики дальней стражи.

Глава вторая

...повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный.

I

Лодка то медленно, то быстро скользит вдоль уснувших улиц Петрограда. Спит величавое адмиралтейство со своими нимфами и героями, загрезившими призрачно на рассвете. В светлой вышине похолодевший шпиц стынет серебряной иглой. Молчаливо дремлет Летний сад, прямолинейное создание державного великана. Сам великан тлеет в гробнице Петропавловского собора, сложив на широкой груди трудовые руки, а бронзовый его двойник взлетел над Невой на коне, попирая бурными копытами усмиренного навеки змея. Петровы липы безмолвны; не шелохнется их дремотная листва. Недвижно-чутки сквозь сон стерегущие их мраморные боги, трофеи победоносного Суворова из покоренной Варшавы.

Весла равномерно плескали.

— Мы как сонные колодники,— из тюрьмы да в зеленый лес,— заговорил Сверчок.— После трактирной духоты слаще дышится на прохладе.— Он сбросил плащ и сюртук и уселся на носу в белом распахнутом жилете.— Последняя вольность! Скоро затянусь я в гусарский доломан. Прости, свобода! Но, право, за прелести походной жизни я готов отдать все льготы штатского прозябанья.

— Ничего нет хорошего в походной жизни. Ты проклянешь эти прелести в первый же месяц,— с кормы отозвался Вася.

В молчании лодка стремилась зеркальной гладью.

— Я думаю,— сказал Черкес, отдавая лодочнику весла,— что отраднее деревенской тишины нет ничего на свете. Что все эти походы, почести, ордена? Никакая слава не заменит мне истинного счастья. В службе одни вечные хлопоты да тревоги. Так и быть, проторчу в коллегии еще одну зиму, а с весны навсегда переселюсь в деревню. Буду хозяйничать, зайцев травить да за соседками волочиться. В прошлом году я один прожил всю зиму в вотчине.

И ничего, не скучно. Вечером ходишь себе по залам, свищешь да снимаешь со свеч. Выкуришь трубку, другую, чаю с малиновым вареньем напьешься, часок помечтаешь за клавесином,— ан, хвать, и вечер прошел. Соседи ко мне, я к соседям. У меня от природы склонность к семейной жизни. Если б не воля родителя, я давно бы в отставку вышел.

— Нет, я этак не мог бы. В деревне хорошо пожить месяц, два. Баня, малина, все это прекрасно, да скоро надоедает. Зато в гусарах и мечтателю живется хоть куда. Наш Петр Павлыч Каверин остался же философом и, слава Богу, здоров, а сушит по дюжине в день клико.

С большой Невы лодка скользнула на Фонтанку. Выдвинулась громада Аничкина дворца; скоро лодка сравнялась с нею. На верхней террасе виднелся издали стройный силуэт военного в эполетах, склоненного при канделябрах над столом.

— В какую рань встает,— вполголоса молвил Вася, застегнув заботливо воротник.— Наш только-только потягивается, а уж этот в мундире. И не ждут саперы, как вдруг нагрянет. Аккуратность любит. Недаром у нас его Карлом Иванычем зовут...

Вася не досказал. Сверчком вдруг овладело буйство. Внезапно вскочив на носу, он поднял руку, кулаком угрожая сидевшему на террасе. В тот же миг Вася схватил проворно Сверчка за ворот и пригнул головой к скамье. Черкес быстро поймал брошенные было весла и вдвоем с лодочником пустился грести изо всей силы.

— С ума сошел: ты всех нас этак погубишь,— сказал Вася, опять пересаживаясь на корму.— Пей, да ума не пропивай.

Сверчок, бледный, стиснул злобно оскаленные зубы.

— Милостивый государь...— голос его прерывался резко.— Извольте нынче же дать мне сатисфакцию за дерзость. Je ne suis pas garson pour me prendre par le col. Je vous jette le gant![1]

Вася приподнял высокую белую фуражку.

— A vos ordres, monsieur![2]

— Приехали,— сердито сказал Черкес.

II

Фонтанка и посейчас такая же глухая речонка, какой она была во дни императрицы Екатерины. Правда, покойная государыня повелела одеть в гранит ее низкие берега, но за железными перилами Фонтанка осталась по-прежнему захолустьем. Сто лет тому, при Петре Великом, струился здесь мелкий болотистый ручеек; из него накачивали воду в фонтаны Летнего сада. С тех пор Фонтанка получила свое прозвание. Дальше за дворцом стелются унылые финские болота; туда дворцовые служители ходят ранней зарей стрелять перелетных уток.

[1] Я не мальчишка, чтобы меня хватали за шиворот. Вот моя перчатка! *(фр.)*.
[2] К вашим услугам, сударь! *(фр.)*.

Здесь мирная и тихая, не по-столичному, жизнь. Редко залетает сюда бешеный барский четверик с озорником форейтором, орущим визгливо свое «па-а-ади-и-и!». Чаще по набережной дребезжат извозчичьи дрожки, провозя саперных адъютантов в Аничкин дворец с докладом.

В рассветной бледноте лодка приткнулась к берегу. Дикая и неприютная местность открыла несколько разбросанных жалких хижин. Со взгорья издали мигнул огоньком трехоконный домик.

— Сюда возим господ, к гадалке то есть,— молвил Черкесу лодочник.— Прямо в калитку ступай, сейчас отóпрут.

Розоватое утро с еле слышным шорохом и роптаньем выступало уже на задрожавшем востоке. Похолодало. Отрезвевшие собутыльники молчали, не глядя друг на друга. Черкес тщательно сложил весла; перегнувшись, зачерпнул пригоршню и, брызгаясь, освежил румяное лицо.

— Я гадать не стану.

Сверчок, нахохлившись, дремал, весь закрытый шляпой.

Вася посмотрел на бледное небо, потянулся, зевнул и, соскочив с кормы, медленно стал подыматься на пригорок. Было видно, как он постучал в крайнее окно. Калитка отворилась, и его впустили.

Сверчок и Черкес, переглянувшись, один за другим спрыгнули с лодки.

— Ну? — спросил Черкес.— Один буду я, а другой?

— Либо Юрьев, либо Никита. Только предваряю вас, господа, условия мои будут беспощадны. Я стреляться намерен насмерть.

Сверчок опять побледнел от злости. Толстая, как у негра, верхняя губа его скуластого лица дрожала, ясные глаза потемнели. Черкес молчал.

Крики чаек возвестили близость зари. Совсем засвежело. Лодочник храпел на скамье под армяком. Из щелкнувшей калитки вышел Вася. Ленивым шагом приблизился он к стоявшим молча друзьям. Усмешка заиграла на красивом его лице.

— Ворожея предсказала мне скорую смерть. В справедливости ее слов уверимся мы сегодня ж в полдень. А покамест надобно мне спешить в манеж.

Вася ткнул лодочника палашом, вскочил на корму и, отчаливая, махнул фуражкой. Сверчок ответствовал учтивым поклоном.

Он внезапно повеселел.

— Обожди же меня, Черкес, я тотчас разделаюсь с гадалкой.

И резво побежал к домику.

III

Всклоченная босая девчонка в огромном платке отворила, скрипнув, калитку и повела гостя двором к низкому крыльцу. В сенях шибнуло в нос мятой и полынью; медный кофейник ярко

блеснул на полке. Черный кот выгнул приветливо спину и шмыгнул, отряхаясь, в дверь.

Голубая комната совсем пуста: ни зеркал, ни картин. Свеча, мерцая, струила холодный свет. У круглого стола, с колодой карт, сидела в креслах полная, с орлиным носом женщина в белом платке. Она пристально взглянула на гостя. Сверчок поклонился.

— Садите у стол,— зазвенел приятный, будто жалобный голос. Под потолком, у окна что-то завозилось: попугай, зеленый с белым хохлом, два раза перевернулся в клетке.— Хотите вы узнавать вашу судьбу?

— Хочу знать мою смерть,— выговорил твердо Сверчок, кусая губы.

Ворожея разложила карты, задумалась и опять посмотрела в глаза Сверчку. Брови ее то сдвигались, то раздвигались.

— Покажить руку.

К ней через стол протянулась маленькая рука с длинными ногтями. Ворожея прищурилась на ладонь и удивленно повела круглым плечом.

— Я не знай... Такой линий, как есть у вас, я еще не встречал до нынче. Тут есть место... вот оно. По картам выходит то ж. Я имею сказать вам, mein Herr, что ваша судьба не есть простая. Du wirs der Abgott deiner Nation werden[1]. Народ будет поклониться вам. Только...— Она смешала карты.— ...Бойтесь белый конь и белый человек.

Острый крик попугая заставил Сверчка вскочить. Надменная улыбка скривила его побелевшее лицо. Одолевая дрожь, он уронил на стол червонец и быстро вышел.

Черкес, угрюмый, руки за спиной, поджидая приятеля, прогуливался одиноко.

— Рассказывай, чтó гадалка?

Сверчок неторопливо свернул плащ и перекинул через плечо.

— Нечего рассказывать. Сперва, по обычаю всех кудесниц, несла вздор и сулила земные блага. Потом велела бояться либо белого человека, либо белого жеребца. Пойдем к Голландцу. Только искупаемся сначала и отдохнем.

Черкес усмехнулся, помолчав.

— А ведь Вася-то белый,— сказал он с косым взглядом на приятеля.

— Ну, значит, будет нынче, слава Богу, здоров. Смотри, Черкес, солнце всходит.

Грохнул в крепости утренний барабан.

---

[1] Вы станете кумиром своего народа *(нем.)*.

Глава третья

Богами нам еще даны
Златые дни, златые ночи.

I

С раннего утра в Гостином дворе кипит торговля. От новой Суконной линии до Птичьего ряда лавки и лабазы пестреют товарами; шустрые сидельцы выбегают из-за прилавков, кланяются низко, хватают ранних прохожих за полы и зазывают к себе. Грузные хозяева степенно восседают у дверей на плетеных стульях, прихлебывая горячий сбитень с калачом либо играя с благоприятелями в шашки на расписанной в виде «шашельницы» скамье.

Нищие с рассветом потянулись на работу. Ободранные, пьяные, хромые, распевают они во всех уголках и переходах Гостиного двора. Грязная баба с грудным младенцем смиренно кланяется и причитает Христа ради, а посмотреть — так вместо младенца у нее в поганые тряпки завернуто полено. Там чухонки оравой собирают на свадьбу и, обходя лавки, покрикивают гнусаво: «Помогай невесте!» Тут же трое фонарщиков в кафтанах просят на разбитое стекло: должно быть, пьяный молодец из Гостиного камнем вышиб. Вот тащится полицейский нижний чин,— именинник,— с утра под хмельком, в куцем мундиришке с красными обшлагами, в белых заплатанных штанах. В платочке у него именинный с анисом крендель, а в кульке куры, обрезки сукна, яйцы, сахару кусочки. «С сахаром нынче, небось, не разойдешься: рафинад-то дорог, по три целковых за фунт, потому идет он, сказывают, прямо из Парижа».— «Что сахар, все теперь, мать моя, вздорожало: шутка ли, говядины фунт пятак, пуд масла коровьего два рубля, сажень дров семь гривен. И не говори, мать, последние времена приходят»,— толкует с кумой сморщенная регистраторша в ветхом салопе.

— Добросердечный купец, помоги нищенствующему пииту! Пиит Петр Татаринов просит благородного вспоможения! Прочти акростишие и дай, что можешь.— Татаринов, небритый, с сизым носом, в извалянном в пуху сюртуке и босой, смиренно подносит купцу Огородникову трепаный синий лист, весь исписанный с выкрутасами и крючками:

*Т*ы добродетелью сияешь, яко злато,
А добродетель есть премудрая жена.
*Т*ой изукрашенный и щедростью богатый,
*А*х, воззри на меня: судьба моя — ина.
*Р*астерзан, край одежд твоих я лобызаю
И к щедрому тебе прибежищу взываю!

*Н*а свете счастие неведомо пииту.
О, сколь безжалостно надмение судеб!

В тебе одном я зрю мою одну защиту.
У милости твоей весь мой насущный хлеб.
*Н*ищ, гладен, край одежд твоих я лобызаю,
А к щедрому тебе прибежищу взываю!

*С*пасительны дары несет тебе Фортуна,
А я последнего пристанища лишен.
По стогнам града бос бреду, не зная руна.
О, щедрый муж! внемли пиита жалкий стон.
*Г*ол, беден, край одежд твоих я лобызаю
И к щедрому тебе прибежищу взываю!

Огородников отмахивается, ухмыляясь, и сует пииту за пазуху медный грош. Зато двух беловолосых слепцов с поводырем-мальчишкой зазывает он в лавку и велит им петь. Странники резко голосят. Хозяин, вздыхая, разглаживает по брюху широкую бороду и сокрушенно смотрится в свои зеркальные голенища.

Прореки мне, судьба моя,
Где мне кости сложити?

Взойду на гору высокую,
Снизойду в землю глубокую.

Гробик мой, гро-о-бик,
Вечный мой домик!

Камни соседи мои,
Черви друзья мои...

Торговля в разгаре. Там избили вора, там купца поймали на плутне: не обманешь — не продашь. Над окнами в клетках, щелкая, заливаются соловьи. Сидельцы выкрикивают тонкими голосами: «К нам пожалуйте!» «Что угодно?» «У нас покупали!»

II

— Ничего у вас нет, ну вас! А называется еще Гостиный двор. Черкес, придется ехать на Невский.

— Помилуйте-с! Все, что угодно-с! Ваше сиятельство, пожалуйте к нам, сюда, осчастливьте-с! — Огородников вскочил, кланяется низко, посмеивается, стаскивая картуз, угодливо гладит бороду — засуетился совсем купчина.

— Врешь, борода, нет у тебя, чего мне угодно. Говори: пистолеты есть!

— Как не быть-с, ваше сиятельство, помилуйте-с! Лучшего оружейника, прямо из Тулы!

— То-то, что мне не тульских надо, а настоящих.

— Настоящих нет, ваше сиятельство, простите великодушно.

— Бог простит. Сделай милость, Черкес, как позавтракаем, по дороге к Никите заезжай на Невский и возьми пару Кухенрейтера либо Лепажа.

Сверчок обмахнулся батистовым платком. Утомленное арапское лицо его измято; он весь раскис. Шелковый плащ небрежно виснет на левой руке и метет пыль по галерее. Черкес по-прежнему угрюм и равнодушно глядит на приветствующего его издали господина. Видный барин пожилых лет, с почтенным подбородком, в летнем сюртуке и низких с желтыми отворотами сапогах, подошел к приятелям.

— Что так рано, государи мои? Видно, всю ночь не спали? Усердные жертвы принесены Бахусу и Венере, не так ли?

— На грех мастера нет, Иван Андреич. Послушали вчера цыганок.

— И каемся в том карателю грешных нравов,— досказал Сверчок.

— Вот уж, государи мои, чего нет, так нет. В молодые годы был я куда беспутней всех вас. За картами высиживал по целым неделям, и юность есть-таки чем вспомнить,— проскочила она весело и шумно. Ну, а под старость всяк поневоле делается Катоном. Что ж и остается?

Иван Андреич усмехнулся лукавым глазом.

— Куда вас Бог несет, Иван Андреич?

— А никуда. Прогуливаюсь себе по Гостиному в видах, так сказать, геморроидальных.— Иван Андреич, не торопясь, открыл серебряную табакерку и захватил большую щепоть rapé.— Угодно вам, господа?

III

На биржевой набережной пробуют свежих устриц. Привез их вчерашний день с отмели старик голландец. В несколько дней, один, с мальчиком-юнгой да с лохматой собакой, сплавал он по тихой погоде и примчал с собой не один бочонок. В лавочке, за накрытыми столиками, у самой воды, столичные любители с утра глотают жирных морских затворниц. Хозяин доволен удачным ловом: он ласково бормочет, ухмыляется и с улыбкой во весь сморщенный рот принимает и подает фаянсовые тарелки. Обветренный, красный юнга с обезьяньим проворством льет в стаканы портер; веселая старая собака, приветствуя гостей, машет пушистым хвостом.

— Так вечером опять на Крестовский.— Сверчок брызнул в раскрытую сырую раковину лимонным соком.— Послушаем Танюшу. Не знаю, правда ли, будто Каталани подарила ей шаль. Что ты, Павел?

— Так, ничего... померещилось. Тьфу, пропасть!.. Что значит всю ночь не спать.

— Да что с тобой?

— Пустое...— Черкес улыбнулся насильно белыми губами.— Выпьем скорей!

Принесли аи, но сладострастное его шипенье не развеселило поникшего Черкеса. Зато Сверчок разошелся и принялся дурить. Он разговаривал с хозяином по-голландски, поил юнгу вином, потчевал раковинами собаку. Черкес все хмурился и, наконец, вытащив нетерпеливо плоский с екатерининскими вензелями брегет, сунул его Сверчку.

— Так поезжай ты один, а я здесь останусь. Надо допить бутылку. А вот кстати и Федя Юрьев.

Точно: Юрьев в полной форме, в высоком хвостатом кивере, подходил к приятелям с набережной мерным шагом. Спокойное рыжеватое лицо в веснушках, как всегда, было сдержанно и невозмутимо-сурово. Гремя саблей, лейб-улан опустился на скамью.

— Ну? — слабо спросил Черкес. Юрьев, понурясь, закрутил усы.

— Скверная новость, господа. Васю сейчас в манеже заколол солдат.

Черкес ахнул и побледнел, как скатерть. Глаза его остолбенели, задрожавшие руки уцепились судорожно за стол, и тарелка вдребезгах зазвенела на полу. Сверчок молчал. Казалось, он не слышал роковой вести. Лицо его осенила задумчивая строгость. Не подымая глаз со сверкавшего игристыми иголками бокала, он медленно глотал одну устрицу за другой.

1909

ПОГИБШИЙ ПЛОВЕЦ

(1834)

Марии Михайловне Блюм

Кити минуло сегодня шестнадцать лет. В прозрачном облаке волнисто-розовой кисеи, плавно, как большая, сошла она с террасы в цветник к любимой розе. Обе они в этот день распустились полным весенним цветом; обе нежны и прекрасны,— и млеющие влажные лепестки такие же розовые и душистые, как длинное платье Кити. Полдневная тишина разнежила истомленные сиреневые кусты; задумавшись, забыли шелестеть вековые липы; одна иволга на рябине звучно затвердила свое «люблю». В усадьбе обычная воскресная тишина. После обедни и пышного пирога домашние все разбрелись куда попало. Девятилетний Поль с Карлом Федорычем удит под обрывистым берегом Москвы-реки; шалун то швыряет потихоньку камешки и любуется, как по водному зеркалу бегут стальные круги, то, карабкаясь по глинистому обрыву, тревожит касаток, визгливо вылетающих из земляных своих гнезд. Карл Федорыч, в клетчатом фраке, зорко из-под черепаховых очков высматривает прыгающий поплавок и с довольной улыбкой пускает в плетеное ведерко красноперых трепещущих окуньков. Madame Фавр украдкой опустила стыдливые занавески на своем белом окне: значит, теперь продремлет до обеда. Уснули все: няня, дворецкий Прохор, горничная, садовник, оба лакея; даже казачок Тришка свернулся на конике в передней, и дружные мухи облепили ему рот.

Из цветника Кити медленно прошла в боковую аллею. Здесь темно; в тени добродушных престарелых лип акации, вздрагивая, дышат трепетно, весело и неровно; бледным кружевным узором осыпают они убитые дорожки. Сюда каждую ночь прилетает соловей. Дальше — огород с черными грядами синеватой рассады и нежными кудрями гороха; чучело протягивает растопыренные руки; с воровским шорохом взлетывают над ними стайками воробьи. За огородом у издыхающего, зацветшего давно пруда плакучая береза грустно склонила повисшие густые ветви. Кити присела к ней на скамью, прижалась к душистой седой коре, и вот уж ей хочется смеяться, плакать и замирать от счастья; сладкая тоска запела на душе, примчавшись с лугов вздыхающей сирот-

ливо песней. Лучистые глаза обмахнул батистовый платок; под черными локонами ярко загорелись щеки.

Второй уже час. Скоро в дорожной пыли зальется знакомый колокольчик; из Москвы воротится papa со своим «сюрпризом». Необычайное что-то ожидает Кити; знает она: Иван Сергеич никогда не обещает ничего даром; конечно, он воротится не один. Но кто этот гость? Верно, какой-нибудь томный загадочный красавец с длинным профилем, как у лорда Байрона, в небрежно накинутом плаще, или стройный, сияющий золотом гусар, или... все равно: это будет о н. И вот уже они здесь; он гостит в Ильинском; каждый день они встречаются, гуляют вдвоем в саду. Наконец, в один тихий вечер он признается в любви. Их благословляют; они — жених и невеста. Вот она, опустив глаза, стоит под венцом в торжественном белом платье, в дрожащем блеске свечей. Певчие поют дивно; вся Москва съехалась на торжество: «Какая красавица!»

Колокольчик звякнул слабо и несмело где-то за поворотом: ближе, ближе,— голосисто распелся малиновый звон; вот слышно, как бубенчики и глухари подыгрывают валдайскому, и, громыхая, влетела во двор пыльная коляска.

* * *

— Знаешь, Кити, кого привез papa? Солдата! Правда, Карл Федорыч?

— О, ja... Но сей есть особый Soldat...

— Я видел, как он вылез из коляски, посмотрел на меня и улыбнулся. У него глаза... орлиные! Право!

Кити серебристо засмеялась, а ей хотелось заплакать. Так вот какой сюрприз приготовил ей papa! Привез какого-то простого солдата. Но, может быть, Поль ошибся, и это лишь дорожный костюм...

Обеденный стол готов, и Прохор, величественный, в вязаных перчатках, ждет приказания подавать. Фамильный сервиз с гербами, граненый старый хрусталь, снежные торчащие салфетки, графины разноцветные, радужно играющие лучами, веселый мушиный перелет — все дразнит, смеясь, опечаленную Кити.

Раздались шаги; на мгновение взрыв приветствий; к вспыхнувшей щеке дочери смеющийся, румяный Иван Сергеич прижал выбритый полный подбородок. Кити прячет браслет, целует широкую отцовскую руку и глядит изумленно на склоненного перед ней молодого человека.

Поль не солгал: это точно солдат, обыкновенный, простой армеец, широкоплечий, сутуловатый, в казенном мундире с хвостиками, в грубых сапогах, с запахом дегтя и казармы. Смуглое лицо озаряют огромные прекрасные глаза; нежный рот детски улыбается под маленькими пушистыми усами.

Посмеиваясь, Иван Сергеич подвел гостя к столу и разлил золотисто-оранжевую рябиновку по граненым рюмкам.

— Прошу. За здоровье новорожденной.— Солдат чокнулся: загорелая маленькая его рука в жестком обшлаге заметно дрожала.— Поздравляю вас, Екатерина Ивановна, и желаю вам полного счастья,— тихо молвил он и, не пригубив, поставил рюмку.

— Что ж это такое? А еще поэт! Надо выпить до дна!

— Благодарю, я ведь не пью. Нельзя мне, Иван Сергеич.

— И слушать не хочу. Рябиновки нельзя, налью вам сливянки или вишневой.

Поэт! Он поэт! Кити с благодарным восхищением взглянула на отца. Ей, любящей стихи больше всего на свете, можно ли придумать лучший сюрприз!

— А знаешь ли, Кити, кого я привез? — Иван Сергеич маслянистым куском пирога заел изумрудную горькую листовку и взялся за свое раздвижное кресло. Все уселись. Кити сгорала от любопытства. Солдат скромно принял из рук madame Фавр полную тарелку. Иван Сергеич еще выдержал немного.— Ведь это Александр Иваныч Полежаев.

* * *

Третью неделю гостит в Ильинском молодой солдат. Домашние им не нахвалятся: всем он полюбился, со всеми он ласков и дружелюбен. С Иваном Сергеичем беседует об урожае, о наливках, о путанице старинных родословий; вместе прохаживаются они на огород надергать к столу редиски, посмотреть, созревает ли в парнике выписная дыня. У Поля рыба не будет клевать, если не подсядет к нему с удочкой Александр Иваныч; иногда вдвоем ловят они у мельницы решетом гольцов. По утрам Александр Иваныч на террасе занимается с шаловливым Полем, учит его читать наизусть французские стихи. Карл Федорыч хотя и ревнует немного своего питомца, но, повстречавшись с гостем, всякий раз растягивает лицо в веселую улыбку. Едва Александр Иваныч за чаем примется рассказывать о кавказских своих походах, как уже в дверях важно супится и покашливает Прохор, вздыхает няня и толчется Тришка с разинутым вечно ртом. Но всех дружней с поэтом барышня, Екатерина Ивановна.

Вечереет. На террасе позванивают чашками, накрывая к чаю. Под древней березой, на скамье, сидят Кити и Александр Иваныч.

— Нет, Екатерина Ивановна, не говорите так; я не человек. Я живой мертвец, несчастная жертва рока. Жизнь вздымала на меня грозные бури, била меня в грудь волнами лютых бедствий. Погибающий пловец, я ношусь по океану бытия в утлом челноке. В детстве не знал я ни ласки, ни забот; несчастный отец мой, может быть, и любил меня, но лучше бы мне вовсе не родиться. Затем бесприютная юность, которую я сам загубил, предавшись пылким страстям натуры; наконец, последний жестокий удар безжалостной судьбы. Я — вечный раб. Все надежды, все мечты мои погребла навеки серая шинель.

На узорчатых ресницах Кити блеснули слезы.

— Александр Иваныч, зачем предаетесь вы таким ужасным мыслям? У вас талант.

Горькая усмешка шевельнула пушистые усы.

— Что талант, ежели жизнь моя безотрадна? Где я найду сердце, которое поймет меня? Кому я нужен?

Как минутный
Прах в эфире,
Бесприютный
Странник в мире
Одинок,
Как челнок,
Уз любови
Я не знал,
Жаждой крови
Не сгорал.

Сердце Кити стучало. Она подняла отуманенный долгий взгляд — на нее грустно смотрели большие синие глаза под белой фуражкой; загорелая рука, вздрагивая, обрывала василек. Невольным порывом Кити вскинула легкие свои руки; пальцы ее нежно скользнули по шершавому сукну. И тотчас, уронив платок, как птичка, полетела она аллеей.

Усталое солнце прощальным золотом затопило сад. Тихо, только в акациях резко пощелкивают стручки.

* * *

Ночь светла и прозрачна. Не спится Кити. Не раздеваясь, открыла она окно; внизу белый двор с амбарами и колодцем застыл в сонной, голубовато-зеркальной тишине. Месяц улыбнулся ей. Вздыхая, уронила прекрасную голову на тонкие руки, утонула недвижным взглядом в голубой пустыне.

Месяц, смеясь, уставился прямо в лицо белыми глазами; ночь сладко дышит в волосах то холодом, то теплом. А что-то теперь в саду? — и тихо, звякнув стеклянной дверью, вышла Кити на заднюю террасу.

Господи! Месяц хочет ночь сделать светлее дня; в его серебряном царстве, сияя, чеканится каждая ветка, каждый листик на старых липах, а внизу темные клумбы и рогатые кусты изнемогают, упоенные росой. Стрекозы в крапиве без умолку трещат; меж белых колонн пляшет летучая мышь; разрисованный пестрый сыч косо шмыгнул под крышу.

Что это? Кити узнала знакомый голос. Это он, Александр! Он творит стихи в эту волшебную полночь. Один, в саду.

Нет, не один! Чу! Засмеялся кто-то. Опять мерное чтение... И опять смех.

Шаль на плечах,— Кити порхнула лестницей вниз; не дыша, призрак ее скользит по сонному дому и беззвучно погружается

в блеск и прохладу седых аллей. Месяц заколдовал тишину, и голоса в ней растворяются, как в морской воде.

— Стало быть, нашлась какая ни есть анафема и предала, значит, вас, Александр Иваныч?

— То-то, да. Ну, так слушай дальше... Только сперва надо горло промочить...

— В один секунд! Пашка! Садовник! Заснул? Стаканчик Александр Иванычу!

— Ничего, хорошо и так... Давай сюда полштоф... Все едино... А теперь хлебцем... Так. Ну, вот, положил он мне руку на плечо и говорит: иди в солдаты, там себе прощенье заслужишь. Прощенье... какого черта? Девятый год ремнем мозоли натираю, а где оно, прощенье-то? Ну, да что! Дай-ка сюда... Эх!

— Не обессудьте уж на закуске-то, Александр Иваныч. Какая есть.

— Ладно... На Кавказе посолишь, бывало, себе язык, вот и закуска... А что-то мне спать хочется...

— Выпили маненечко, оно и клонит... А только мы так смекаем, Александр Иваныч, что вы недолго теперь под ружьем помаетесь, а, гляди, еще к нам в господа произойдете. С барышней-то нашей вы, как есть, пара...

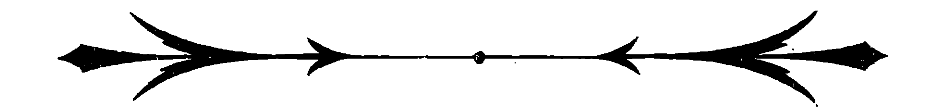
— Что ты говоришь? А, барышня! Хо-хо! Видали мы... Мало в ней мозгу. Я, брат, с бабьем не люблю возжаться. Побаловать можно бы и с ней, да не сто́ит: худа больно... Я грудастых люблю... Эх, в Москве у нас, на Драчевке, была одна!

Лунной тенью, белой ночной бабочкой Кити мчалась через аллеи. Шептали ей вслед темные глухие липы и трепетные, серебристые тополя; два раза бузина цеплялась за шаль, и алмазные брызги падали с кустов, такие же чистые, как слезы Кити. Вот уже она наверху; на коленях припала к своему окну. Месяц побледнел и смутился; уже не глядит он на Кити и не ласкается к вздрагивающим плечам; только добрая ночь дышит в детский затылок еще ласковее и нежнее. Так и заснула Кити, разметанными черными кудрями закрывая пылающее лицо.

Месяц побледнел и растаял, почуяв вдали зарю. Переливаясь, запел пастуший рожок. Ласточка взвизгнула, взмыв над ухом у Кити. Ничто не потревожило ее мирного девического сна.

А в акациях до утра провалялся Александр Иваныч. Насилу Пашка-садовник растолкал его.

1910



ИЗ БУМАГ КНЯЗЯ Г.

(1826—1849)

Борису Николаевичу Бугаеву

I
ДНЕВНИК

12 декабря 1826. Приехал я в Москву вчера и остановился у дядюшки Бориса Тимофеича на антресолях. Новый остоженский дом его выстроен весьма изрядно. Прямо насупротив окон выходит ограда Зачатиевского женского монастыря. Вчера же заказал себе модную одежу, как теперь носят: светло-синий двухбортный с золотыми пуговицами фрак, к нему воротник черный бархатный, стоячий; исподнее черное. Чулки шелковые выбирал с тетушкой на Кузнецком. С верхней одежей покуда придется повременить. Однако мысль о милой Eudoxie преследовала меня в эти два дни неотпускно. В сладких мечтаниях о ней написал я утром две элегии.

15 декабря. Утром приятнейшее письмо от Димитрия: Сергей Александрович Соболевский зовет меня с ним к себе на вторник. Там увижу я всех сочинителей московских. Димитрий вчера обещал показать мне много книг. Статья его в «Урании» прекрасна по мыслям и слогу.

Дядюшка за обедом рассказывал много о прежней службе. Суровые были времена! У тетушки крысы съели гофреный чепец. Аксинью за недосмотр дядюшка хотел отправить на конюшню. Я вступился,— и человеколюбие восторжествовало над бесправием тиранства.

16 декабря. Письмо от Eudoxie! Я — счастливейший из смертных! Она меня любит!

II
ПИСЬМО КУЗИНЫ,

Mon cher cousin!

Après Votre départ on sent un vide fatal dans toute la maison. Surtout dans le cabinet de lecture ou chaque objet me parle de

Vous, tout est triste, morne. Ces volumes poudreux, que personne après Vous n'a touchés, sont devenu comme orphelins[1].

Как вправду говорили Вы, братец, что я по-французскому начну. Только сей миг вспомнила, что обещание Вам дала писать на российском диалекте. Но такова сила непобедимая привычки. Я так женируюсь писать перед Вами, братец. Вы — великий пиит и меня бесконечно осудите за штиль. Avant Votre départ Vous avez oublié de remettre à sa place le dernier volume de Voltaire, je l'ai fait hier et il m'a semblé que Vous êtes denouveau avec moi[2]. В Москве Вы, без сумнения, много веселитесь и махаетесь, comme dit papa[3]. Кто ж избранница сердца Вашего? Répondez-moi et je vous fairai mes compliments[4]. Страшусь, однако, дабы долгое сие письмо Вас не утомило.

Adieu, cher cousin! Ecrivez et n'oubliez pas.

Toute à Vous Eudoxie
Wsésviatskoje

P. S. Je Vous enovie ce que Vous m'avez prié. Je veux que cette bagatell Vous rapelle le soir du 30 Novembre dans le salon rond[5].

III

ДНЕВНИК

20 декабря. Нынешний вечер ознаменовался достопамятным событием в моей жизни. Отныне весь состав мой обновился. Теперь вижу, что пора мне заняться истинным делом. Сельское уединение отныне будет моею пустынею. Да умрут предрассуждения, да прозябнут семена добрые!

Ровно в семь часов ступили мы с Димитрием в сени красного дома на углу Собачьей площадки. Гости едва начали собираться. В передней столкнулся я с высоким молодым человеком, лицо которого показалось мне знакомо. Гляжу на него — и никак не могу признать. Наконец, слышу приятный голос: «Да неужто вы не узнаете Одоевского, милый князь?» Тут я вспомнил и сердечно

---

[1] Дорогой кузен! После Вашего отъезда во всем доме ощущается фатальная пустота. Особенно в библиотеке, где каждый предмет напоминает Вас, все грустно, уныло. Запыленные тома, которые после Вас никто не трогал, кажутся сиротами *(фр.)*.

[2] После Вашего отъезда Вы забыли поставить на место последний том Вольтера, я это вчера сделала, и мне показалось, что Вы снова со мной *(фр.)*.

[3] Как говорит папа *(фр.)*.

[4] Ответьте мне, и я пошлю Вам свои поздравления *(фр.)*.

[5] Прощайте, дорогой кузен! Пишите и не забывайте. Ваша Евдоксия. Всехсвятское.

Постскриптум. Я Вам посылаю то, что Вы у меня просили. Я хочу, чтобы эта безделушка Вам напоминала вечер 30 ноября в круглой гостиной *(фр.)*.

приветствовал деятельного создателя Общества Любомудров. Да, это он витийствовал передо мною два года тому назад в Газетном переулке! В оживленных разговорах втроем вошли мы в гостиную. Хозяин нас встретил на пороге. Признаюсь, о Соболевском доходило до меня такое множество сплетен, что я в первое время не знал, как мне с ним обходиться. Я страшился нескромностей, коих от природы выносить не в состоянии. Но скоро обошлось все по-хорошему, и я явственно увидел, что Соболевский чуждается грязного непотребства, каковым стращал меня дядюшка. В доме все чисто прибрано; только на окне приметил я початую бутылку шампанского. Сперва, кроме нас четверых, в комнате не было никого. Вдруг посредине первого молчания слышу я странный негромкий звук, как бы кто щелкает орехи. Вижу: хозяин улыбается, а за ним гости. Все еще ничего не могу понять. Опять тот же самый звук. Поворачиваюсь за прочими лицом к задней стене и вижу: в глубине камина сидит человек, согнувшись, в меховой одежде, и проворно щелкает орехи. Сперва было я принял его за большую обезьяну. Когда же все громко начали смеяться, неведомый проказник выпрыгнул из камина и подбежал к нам. Тут все принялись с ним здороваться, а Соболевский сказал: «Полно, Пушкин, дурачиться; пойди переоденься: сейчас гости будут». Тогда уж я догадался, что передо мной находится творец «Руслана и Людмилы». Димитрий тотчас представил меня Пушкину. Больно сжав мне руку, Пушкин быстро спросил: «Вы — любомудр?» Я отвечал, что нет. «То-то же, смотрите, не суйтесь куда не надо, а то упекут, как меня, грешного». От Пушкина примерно несло вином. На нем был меховой ергак и туфли. Совершенная обезьяна! Но послышался звонок, и Пушкин убежал, захватя с окна бутылку. В гостиную ввалился молодой медвежеватый господин, с лицом умным, но неприятным. Это некий Погодин, профессор здешнего университета, будущий редактор «Вестника». Познакомясь, он усердно просил у меня философических статей для нарождающегося журнала. Я обещал охотно. Вслед за Погодиным стремительно взошел мой земляк и старинный приятель Alexis Хомяков. С его прибытием ворвался в комнату тот самый цыганский шум, оживление и хохот, коими всегда и всюду сопровождается его присутствие. Затем прибыли и другие гости; из них назову двух братьев Киреевских, мне с третьего года знакомых, доброго малого Волкова, Мельгунова, Титова. Прочих не упомню. Тотчас пошла оживленная беседа. Средоточием всеобщего внимания был, конечно, Димитрий. Речи его кипели, как пламя, пенились умом, как искристая Моэтова влага. Его мысли сопровождались общим одобрением. Один Alexis иногда противоречил Димитрию, и скоро между ними возгорелся ярый спор. В самый разгар крику двери хозяйского кабинета растворились и вошел Пушкин, которого я не сразу узнал. Он переоделся в щегольской черный фрак с модными буфами, в чулки и башмаки; батистовые тонкие воротнички подперла тугая горголия; из-под нее на широкий атласный бант струились завитые ба-

кенбарды, осенявшие смуглое острое лицо его[1]. Теперь Пушкин был схож с тем самым dandy, коего изобразил он когда-то в образе веселого героя неоконченной стихотворной повести. Гости бросились к Пушкину, спрашивая, нет ли чего нового. Погодин усердно упрашивал прочитать «Пророка», недавно сочиненную пиэсу. Пушкин в ответ потряс свертком синей исписанной бумаги: «Нельзя никак: еду к княгине читать «Бориса»!» — и, простясь с нами общим поклоном, скрылся. По его уходе спор возгорелся с сильнейшим ожесточением.

За ужином Димитрий, поднимая бокал, провозгласил: «Весь мир — престол нашей матери! Наша мать — поэзия; вечность — ее слава; вселенная — ее изображение!» Мы все с жаром ему зарукоплескали. Я прослезился, не могши сдержать невольного волнения. Ныне восклицаю вместе с Димитрием:

Души невидимый хранитель,
Не отдавай души моей
На жертву суетных желаний,
Но воспитай спокойно в ней
Огонь возвышенных страстей!

Вижу теперь ясно, что философия есть высшая поэзия. Димитрий возвысил меня до понимания сей простейшей мысли.

. . . .

24 генваря 1828 г. Зачислен я на службу в Принца Оранского Гусарский полк унтер-офицером до рассмотрения бумаг.

IV

НАСТАВЛЕНИЕ МОЕМУ ПЛЕМЯННИКУ

(Замечания, преподанные мне покойным князем Борисом Тимофеичем при поступлении моем на службу).

Состояние лошади подобно. Однажды надорвав, после уже ничем его не восстановишь.

Человек без предрассуждений есть именно тот, кто иметь оные не стыдится.

---

[1] «Горголиями» назывались в то время тугие галстуки на щетине. Первый их начал носить И. С. Горголи, впоследствии петербургский обер-полицеймейстер. О нем Пушкин говорит в стихотворении «Noël»: «Закон постановлю на место вам Горголи». *(Примеч. Б. Садовского.)*

Образование соизмерять должно с силой ума человеческого. Кто не по глазам стекла употребляет, может тем зрение свое испортить, а после совершенно потерять.

Александр Петрович Сумароков мне говаривал: «Вино есть геенна огненная, дарующая временное блаженство, но ведущая к вечной погибели».

Любезный племянник! Прекрасных люби, сам же любови женской остерегайся пуще заразы.

V

ЛИСТКИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

1

Сего заветного листа
Едва перо мое коснулось,
Как уже сердце встрепенулось
Подобно птичке средь куста.

Е. Б.

2

Ils viendront ces paisibles jours,
Ces moments du révèil où la raison sevère
Dans la nuit des erreurs fait briller sa lumiére,
Et dissipe à nos yeux le songe des Amours.

Aline[1]

3

Увидя сей листок, наверное Эрот
Разинет рот.

Всепокорнейшего слуги
Ивана Крылова приношение.
Маия 10-го дня

---

[1] Они придут, эти мирные дни,
Эти моменты пробуждения, когда строгий разум
В ночи ошибок зажжет свой свет
И рассеет в наших глазах сон любви.

Алина (фр.).

4

Натурой управляя,
Велишь ты мне молчать,
И должен я, страдая,
Всечасно умирать.
Крылатыя надежды
Ко мне возвороти,
В слезах потупя вежды,
Стою на сем пути.

Княжне от автора

L'Amour est eternel
Lorsqu' il est vertueux[1].

5

Что легче перышка? — «Вода»,— я отвечаю.
А легче и воды? — «Ну, воздух» — Добрый знак!
А легче и его? — «Кокетка!» — Точно так!
А легче и ея? — «Не знаю».

A. N. N.
En souvenir de 17 janv.
1824[2].

6

У лона вод, в дубраве дальной,
Бродя в полночной тишине,
Услышишь лиры стон печальный,
Приди тогда, приди ко мне!
Питомец Муз, певец природы,
В былые дни я знал восторг,
Но призрак пламенной свободы
Мне узы сладкие расторг.
Но ныне вновь твой образ нежный
Со мной на горестной груди.
Услышь же лиры стон мятежный,
Я жду тебя — приди, приди!

А. П.

Лишь взглянешь на нее, захочешь ты узнать,
Узнаешь — будешь обожать.

Хлор

---

[1] Любовь вечна, когда она добродетельна.
[2] А. Н. В память о 17 янв. 1824 *(фр.)*.

VI
ПИСЬМО КУЗИНЫ

Cher cousin! Ваше письмо, cette lettre poëtique[1], напоминает мне дни юности, которые уже невозможно возвратить. Помните ли Вы еще игры наши в круглой гостиной и Ваши важные упражнения в библиотеке papa за бесконечным Voltaire? Я тогда Вам немного нравилась, n'est ce pas? Maintenant il y a si longtemps que tous cela ressemble á un songe[2]. Я рада, что Вы вспомнили Votre petite cousine[3]. Мой муж, Nicolas,— я не знаю человека, равного ему ни по уму, ни по качеству души и сердца! Скоро ему дадут дивизию. Великий князь весьма к нему благоволит. Время проходит у нас незаметно в приятном отдохновении. Жаль, что отпуск Nicolas продолжится недолго. То, что Вы мне пишете о несчастной кончине Вашего знакомого Пушкина, меня потрясает: я так любила его romance «Châle noire». A propos[4], вопрос, который дозволить можно старому другу: не скучаете ли Вы вашим veuvage[5]? У нас здесь много des voisines interessantes[6]. Приезжайте же к нам, cher Serge, мы, быть может, рассеем Votre triste isolement.

Vorte cousine et amie
Eudoxie de Glinistchew[7].

Любезный князь Сергей Владимирович! Присовокупляю к женину письму и мои родственные строки. Буду говорить с Вами прямо, по-солдатски. Зачем Вам было бросать службу, с таковым успехом начатую? В тридцать лет и уже ротмистр гвардии! За поход Вы получили, помнится, Анну с мечами. Прошлого года Его Императорскому Величеству в благосклонной беседе со мною благоугодно было выразить изумление по случаю Вашей отставки. Питаю надежду, что сие временное отдохновение долго не продлится.

Что Вы пишете Авдотье Павловне с таким сокрушением о собачьей смерти Пушкина Александра? Вся эта histoire scandaleuse[8] нимало меня не удивляет: я его и на Кавказе знавал, и по Петербургу помню: отчаянный был, отчаянным и остался.

---

[1] Наполненное поэзией *(фр.)*.

[2] ...не так ли? Теперь, когда прошло столько времени, это кажется сном.

[3] Вашу маленькую кузину *(фр.)*.

[4] ...романс «Черная шаль». Кстати... *(фр.)*.

[5] Холостячеством *(фр.)*.

[6] Интересных соседок *(фр.)*.

[7] Ваше печальное одиночество. Ваша кузина и друг Евдоксия Глинищева *(фр.)*.

[8] Скандальная история *(фр.)*.

Прошу Вас, князь, не оставлять семейство мое и меня родственным Вашим расположением.

Вашего сиятельства покорный слуга
Николай Глинищев,
генерал-майор и кавалер

Февраля 20 дня 1837 года.
Село Всехсвятское

VII

ПИСЬМО ПЛЕМЯННИКА ИЗ МОСКВЫ

Милостивый Государь,
дяденька Сергей Владимирович!

Исполняя Ваше желание, описываю Вам последние события моей московской жизни. В университет я хожу ежедневно и всякой лекции веду подробную запись. По совету maman, сближаться с товарищами избегаю, в особенности с теми из них, которые происходят из разночинцев. Грубость их и буйство трудно описать. Поверьте, бесценный дяденька,— что до меня, я всегда сумею помнить и соблюсти свое достоинство.

Вы спрашиваете меня, кто из профессоров мне наиболее нравится? Никто, ибо все они одинаково хорошо читают, хотя из иных лекций я многого не понимаю. Например, молодой профессор Катков начал недавно читать лекции по предмету «Психология», и до сего дня в этой наитруднейшей науке я не могу уразуметь ни слова.

Графу Арсению Андреевичу я имел честь представиться в среду; он поручил мне засвидетельствовать Вам свое почтение. В тот же день был я у А. С. Хомякова и передал ему Ваше письмо. Хомяков принял меня весьма ласково в своем кабинете, заваленном грудами толстых книг; неужели все это словари? Он сам Вам будет писать на этой же неделе. Вчера вечером я был у него по приглашению, ожидая весело провести время, взамен чего был осужден слушать скучные разговоры пожилых гостей. Между прочим, хозяин представил меня академику Погодину, который Вас очень помнит. Здесь же присутствовал близкий друг Хомякова, известный писатель Гоголь. С ним мне пришлось нечаянно вступить в беседу. Подойдя ко мне, он вдруг взял меня за пуговицу и спросил: «Посещаете ли вы университет, молодой человек?» Задетый такой фамилиарностью, я сухо ответил: «Посещаю».— «А читали ли вы „Одиссею“?» — «Читал».— «Как вы думаете, молодой человек, что делал Одиссей, стоя у Алкиноева дворца в ожидании Навзикаи?» — Затрудняясь несколько странным вопросом, я безуспешно старался вспомнить, где находится это место в «Одиссее», которую всю дочитать я не успел. Гоголь сам за меня ответил: «Конечно, молился. Одиссей был благочестивый царь». И, пустив мою пуговицу, медленно отошел. Я никак не ожи-

дал подобного оборота, ибо сам Гоголь по его сочинениям представлялся мне надоедливо-шумным и сальным забавником, вроде нашего соседа Веденяпина. К удивлению, своим тихим разговором и приятною улыбкою он произвел на меня впечатление хорошее. Держится Гоголь вполне прилично, и, несмотря на свою поповскую прическу, может быть причислен к людям comme il faut, хотя под отличным темно-красным жилетом я разглядел у него нечистое белье. Через полчаса затем я поспешил откланяться: высокие предметы не по моей части.

Не откажитесь известить меня, любезный дяденька, что делается с моей Lady? Хорошо ли смотрят за нею? Я купил себе английское седло; боюсь, подойдет ли. Борзые здесь продавались у помещика Алябьева на Арбате, неподалеку от нас, но Зиновий сказал, что если мы их возьмем, то Ваши псари смеяться будут.

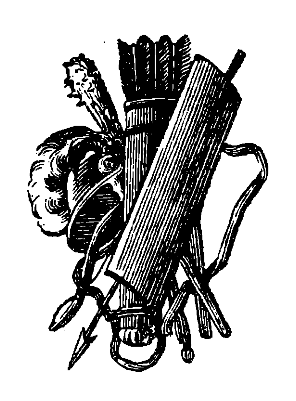
Васька здесь два раза баловался, так что для примерного наказания пришлось отослать его на съезжую.

Остаюсь, Милостивый государь дяденька,
Ваш почтительный и любящий племянник
Князь *Павел Г.*

1909

ИЗ КНИГИ «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА»

Доброй памяти
Петра Ивановича Бартенева,
дарившего меня и мои труды
благосклонным своим сочувствием.



СТРЕЛЬЧОНОК

Достоин Петр толикой жертвы.

Судовщиков

— Раз-два! Раз-два! Заходи кругом! Стой!

Прогрохотали и смолкли барабаны.

— Смирно!

— Ишь, голобородые, табашники, немецкое зелье! Сколько пригнали-то их, видимо-невидимо, помилуй нас Господи.

— Матушка, неужто не боязно им? Души-то губить?

— Про то царь знает, Петр Алексеевич, помилуй нас Господи.

Гришке вчера, в самый Покров, дошел пятнадцатый год. Смышленый глазастый парнишка мал, да удал; острижен в скобку. Тулупчик рваный, перешит из отцовского; сапоги тоже отцовы. А отца — стрелецкого полуголову — сейчас солдаты пойдут сымать с телеги, на Лобное место поведут. Глядит на него высокая постница, Гришкина мать, не смигнет красными глазами; слез нет: все выплакала давно.

Два зеленокафтанника с ружьями подошли к телеге. Звякнули цепи; крепко сжимая оплывшую свечу, задвигался плечистый стрелец промеж солдат, к Лобному месту. Взвыла баба, кинулась, вцепилась; за ней, как вкопанный, потупился стрельчонок. «Свет ты, кормилец, батюшка наш родимый, Матвей Иваныч, на кого ты нас, сирот горемычных, покида-а-а-ешь?..»

Матвей тряхнул кудрями, молчит; соколиные глаза блеснули. Обнял жену, поцеловался с нею трижды, благословил сынка. Оборотился к солдатам.

— Ну, скоблена губа, веди!

Взошли на Лобное. Далеко видно отселе. На Спасской башне, на зубчатых кремлевских стенах, на Василии Блаженном, на всех хоромах и хижинах, дальних и ближних, кипит народ. Красная площадь полным-полна. Высоко чернеют виселицы, торчат колья, глаголи, плахи; спеет заплечная работа. А на золотых крестах соборных, на синих и пестрых маковках церквей, каркая, ждет жадное воронье. Цепи упали.

— Сымай кафтан, что ли,— сквозь зубы молвил рябой палач.

У намокшей кровью дубовой плахи подергивалось свежее тело; из обрубленной шеи бежала кровь. Подле голова валялась, седая,

плешивая: полковник наш, Царство ему Небесное! Голова шлепнулась в грязный мешок. Палачи засуетились. Матвей вчетверо свернул кафтан, перекрестился на Ивана Великого, медленно положил четыре земных поклона.

— Теперича я махну, Господи благослови! У этого шея, кажись, не больно жилиста,— подмигнул тощий подслеповатый парень в зеленой куртке.— Дай-ка топор, Терентий,— и он вырвал у рябого широкую, как месяц блестящую секиру.

— Которого, Данилыч? — послышался сзади резкий голос. Матвей, вздрогнув, исподлобья взглянул на курчавого красавца великана с засученными рукавами. Молодой царь, румяный и веселый, в малиновой голландской фуфайке, утирал полотенцем загорелое лицо, забрызганное стрелецкой кровью.

— Двадцатого, государь. Намахался здорово, да уж послужу в остатний твоей милости. Ложись, собачье мясо!

Матвей, крякнув, опустился на рогожу; с сопеньем прилаживает голову к мокрой плахе.

Данилыч поджал губу: здоров стрелецкий затылок! Царь подбоченился; посмеиваясь, пустил облако крепкого дыму. Данилыч замахнулся.

— Ну-ка, ну!

— Не говори под руку, твое царское величество!

Раз!

— Оплошал, Алексашка! Эх!

Данилыч, красный с натуги, насилу вывернул острый топор из залившейся кровью широкой спины Матвея.

— Обмахнулся, государь, прости.

Стрелец вскочил, рыча; зашатался и рухнулся с хриплым воем:

— Сволочь, антихрист, Иродов сын треклятый! Чего мучишь, анафема?

Палачи отшатнулись.

— Батя! — принесся снизу ребячий крик.

Но уже заплечные мастера мигом растянули обезумевшего стрельца на кровавой плахе. Могучий удар царского топора с треском перешиб последнее проклятье заодно с непокорной шеей. Косматая голова ударилась в стену и, раскатившись, припала белыми губами к солдатскому сапогу Данилыча. Тот ловко швырнул ее в мешок.

Спасские куранты протяжно заиграли; гулко ударило двенадцать. Царь вздохнул и выколотил трубку о топор.

— Палачи, обедать! — загремел зычно с Лобного царский окрик. И тотчас, как петухи, запели по Красной площади голоса: «Палачи, обедать!»

Заволновался народ, будто нива в ветряный полдень; с говором, галденьем и плачем разбегались людские волны. Воронье замахало с церквей и пустилось крикливо драться.

Царь напялил на широкие плечи кафтан, нахлобучил шляпу. Внизу денщики держали горячего коня.

— Тринкен, тринкен, ребята!

— Ну, теперя, сынок, клади земной поклон Москве белокаменной, святым московским угодникам. Простись с Москвой, не увидишь ее боле.

— Куды мы, мама, теперь?

— В скиты, сынок, к матушке Марфе. Молиться за грешную душу раба Матвея. Помяни его, Господи, во Царствии твоем.

Мать и сын прошли Рогожскую заставу и утонули в дымчатом просторе седых полей. Последние убогие хибарки остались сзади. Октябрьский день понемногу начинал слезиться. Поля, унылые холодные поля, раскрыли даль необъятную; пусто, тоскливо. Не до них стрелецкой вдове: своя тоска в сердце застыла горючим камнем.

— Вот, перво, дай Господи, дойдем до Нижнего; там у сестры Аксиньи пристанем в Ямской слободке, перезимуем. А от Нижнего до скитов рукой подать. Как весна, так и мы. Еще в девках я на Керженце бывала и матушку Марфу помню. Хорошо в скиту, сынок, легко. Все лес да лес, а по полянам цветы. Поставим у колодезя келийку, спасаться будем.

— Матушка, неужто и впрямь согрешил родитель? Какая его вина?

— Великая, сынок; по вине он и муку принял: на царя пошел.

— Как же намедни, матушка, говорил нам отец Левонтий, что царь всю Русь в басурманство хочет поворотить? С ним и табашники, и пьяницы, и немецкие девки. Нешто это дело, нешто это показано? Батя за правую Христову веру стоял, а ему голову порубили. Сам царь рубил, своими руками. Стерпеть ли такое лихо?

Отцовы глаза у Гришки: как у соколенка сверкают.

— Нишкни, сынок: грешные твои речи.

Гришка молчит, хмурится; нахмурилась и погода. Заморосил дождик слезливый. Странники идут да идут по большой дороге; вот и смеркается, отдохнуть бы. Вдали пятно темнеет: ближе, ближе, ан это изба. Стук, стук!

— Господи Исусе Христе, сын Божий, помилуй нас.

— Кого Бог несет? — мотнулась рыжая борода в окошке.

— Странные люди, батюшка, Божьи люди. Пусти, Христа ради.

В избе, дымя, потрескивает лучина, теленок мычит в углу. Пожевали краюху, запили водицей. Хозяин не речист; сел к столу, подпер кулаками бороду, зевает что есть мочи. Все шуршит, а что, не разберешь, тараканы иль дождик.

— Слыхал, хозяин, в Москве что народу показнили?

— Не слыхал, родимая, невдомек нам: живем тихо, ничего не слышим, слава те Господи. Клади парнишку-то на лавку, а сама куды хошь полезай: хошь на полати, хошь на печь.

Задул хозяин лучину, прилег под образами. Гришкина мать долго молилась и вздыхала на печи. Гришка не спал.

Царских покоев в нижнем жилье две горницы всего. Не любит царь Петр Алексеевич родительских хором. То у сестры Натальи в Преображенском живет, то к Троице-Сергию в гости ездит. С ним во дворце малолеток — царевич с дядькой.

Время обедать. В расписной — золотые орлы по алому — столовой палате миски и блюда загромоздили узкий и длинный стол. Жареный гусь с кислой капустой, соленые огурцы, белорыбица, студень, курята с шафраном, буженина, оладьи. От бутылок скатерти не видать. Сулея любимой царской анисовки, перцовка добрая, водка полынная, водка тминная, три бочонка заморских и наливки всякие. Царь вошел с толпой бояр и генералов; перед божницей истово прочитал молитву; все крестились. Расселись с прибаутками; с царем по правую руку Александр Данилыч Меншиков, по левую Франц Яковлевич Лефорт; дальше князь-папа Ромодановский, генералиссимус Шеин, Тихон Стрешнев, генерал Гордон, Зотовы отец с сыном. Налили по первой, поднялся боярин Шеин.

— Во здравие благоверного великого нашего государя! Да ниспошлет ему всещедрый и милостивый Бог конечную победу и одоление на враги.

— Виват!

Царь поднял над головой золотую чарку.

— Пью за здравие добрых и верных слуг моих, их же трудами смирена лютая измена. Виват!

— Виват! Виват!

Царь из своих рук налил Данилычу перцовки.

— Усердно в кровях омываешься: за твое здоровье.

— Пан гетман к твоему царскому величеству.— Дверь распахнулась: гетман Иван Мазепа, величаво шумя алым шелком откидных рукавов, быстро подошел к царю; осклабясь, провел по седым пушистым усам и, звякнув зубчатою шпорой, молвил сипло:

— О, пресветлый, Кесарю равный, блюститель Русийского маестата! О-то! Як Алкидус побораешь стоглавую гидру. Новый Виргилиус паки потребен, дабы обозреть орла твоего залеты. Бардзо велик и удачлив еси в начинаниях твоих.

Царь нацедил венгерского в серебряный ковш. Мазепа тряхнул хохлатым чубом и, отступая на шаг, воскликнул:

— Vivat Rex Russiae, Petrus Primus!

— Алексашка, пусти гетмана,— сказал царь.

Алексашка притворился глухим, получил подзатыльника и, ворча, перелез к Лефорту.

Загудели, как бор в непогоду, хмельные речи. Пили, сколько влезет, говорили, что в голову взбредет. Никита Зотов мешал токайское с сивухой и пил, не морщась. Гетман по-латыни беседовал с Лефортом о польских делах. Один Данилыч молчал, ничего не пил и, мрачно чавкая, раздирал руками жирного гуся; сало с грязных пальцев капало на стол. Царь стукнул чаркой о чарку.

— Мейн фринт! — крикнул он Лефорту.— Что ж наш либсте камрад хер Меншиков не пьет? Али злобу на нас имеет? Нашей кумпании такой хахаль не под стать. Поднеси-ка, мингер, ему Орла.

Данилыч встал с поклоном:

— Уволь, государь, от Орла: ей-ей невмоготу. Сам изволишь видеть, не щажу живота на службе; двадцать голов изменничьих порубил...

— А я тебе отвечу, Алексашка: в пьянейшей кумпании государя нет, а есть мастер Питер. Заслугами же хвастать погоди: может, двадцать первая голова твоя будет. Пей!

Царь строго повел соболиной бровью. Алексашка дрожащими руками принял из рук Лефорта большой оловянный кубок.

— Куды ему, свалится!

— Подохнет, ледащ больно,— пересмехнулись бояре.

— Але ж ну, проше пане, проше! — лукаво подсмеялся румяный гетман.

Алексашка метнул на него злобный взгляд, с кубком подошел к царю и, опустясь на колени, начал:

— Ей, Орла подражательный и всепьянейший отче! Восстав поутру, еже тьме сущей...

Ах!

Крепкий булыжник, со звоном раздробив узорную раму, влетел в окно, просвистел над головой царя и шлепнулся в стену. На миг все окаменели; один Данилыч выскочил живо на двор и заорал: «Держи!..» Пошла тревога; Преображенский караул рассыпался по Кремлю.

— Сыскали, государь! — ворвался в столовую Данилыч; за ним двое солдат волокли связанного по рукам и ногам тщедушного оборванного парнишку. Пьяные гости повскакали с мест. Царь в молчании, облокотясь на кресло, уставился на злодея.

— Чей ты?

— Гришка Матвеев, стрелецкий сын,— звонким детским голосом отвечал малец. Под левым глазом напухал у него огромный синяк.

Грозная судорога молнией скользнула по сумрачному лицу царя; кошачий стриженый ус дернулся.

— С умыслу ударил али из озорства?

— С умыслу.

— В кого камнем метил?

— В тебя.

— За что?

— За отца.

Все молчали, разинув рот. Гришка недвижно стоял перед царем. Из разбитой оконницы ветер, врываясь, колыхал свечи; дождь шумел.

— Что же с ним сделать теперь? — спросил царь глухо.

Загалдели:

«Пришибить, знамо»! «Батогами попугать да пустить». «Посадить в железы»!

«Вздернуть»! — Александр Данилыч Меншиков подскочил к царю.

— Дозволь, милостивый, заместо Большого Орла я башку отхвачу пащенку. И топорик в сенях. Другим неповадно будет.

Гетман, изогнувшись, шептал:

— Вашему величеству мой совет преподать имею: как сей гунстват несумнительно подослан есть от стрелецких сцелератов, то первей учиним ему допрос с огнем и дыбой. Яка шкода!

Вдруг царь оживился и отвел от сверкающих глаз преступника тяжелый и мутный взор. Кивнув меньшому Зотову, он вполголоса молвил два слова. Все любопытно устремили глаза к двери; оттуда явился Зотов, бережно неся на руках мальчика лет восьми. Заспанный бледный ребенок протирал кулаками тревожные глаза.

Царь встал.

— Господа бояре! Сей малолеток дерзнул посягнуть на персону боговенчанного царя, мстя за отца своего, казненного злодея. Вам ли надлежит судить его? Никак! По сущей правде должен воздать ему достойную мзду единородный наш сын и наследник российского престола. От юных дней памятно да пребудет ему оное на русской земле неслыханное дело. В сем отроке, сыне нашем, зрю я единую любезного отечества подпору, ему же вручаю ныне защиту моей чести и дел моих. Алексашка, подай топор царевичу!

Изумленный гул пробежал кругом. Лефорт, прикусив губу, покачал головой; бояре переглянулись; гетман закрыл глаза. Один Данилыч хлопотал за всех: притащил щербатый топоришко и вместо плахи полено. Стрельчонок озирался дико горящими глазами; его ничком положили к ногам царевича. Царь был бледен. Щеки и губы прыгали, голова тряслась.

— Возьми топор, тяпни его по шее,— прерывисто шепнул он сыну.

— Вот так, Алешенька, забери в обе рученьки покрепче, да и дай ему, дай, ну, дай! — шепотом уговаривал суетливый Данилыч.

Царевич, казалось, не мог понять, чего от него хотят: он не сводил с отца испуганных, застывших от страха глаз. Топор гулко вывалился у него из рук, рот перекосился, и вдруг, звонко всхлипывая, царевич задрожал.

— Руби! — крикнул свирепо царь.

— Руби, царевич, руби! — кричали все. Царевич страшно оглядывался; глаза его закатились; он дрожал всем телом.

— Руби, царевич,— прохрипел Гришка.

Страшный пронзительный вопль покрыл крикливые голоса. Ца-

ревич с хохотом колотился и замирал на руках у Зотова. Царь махнул рукой.

Дверь захлопнулась, все утихло. Гости, отдуваясь и кряхтя, полезли за стол. Зазвенели опять стаканы. Все сели, один Гришка валялся связанный на полу.

— А тебе, Алексашка, все-таки от Орла не отвертеться,— сказал царь.— Становись на колени, начинай сызнова.

— А со стрельчонком как прикажешь?

— С ним завтра пойдет беседа. Ей, ребята! Отведи парнишку за караул.

Декабрь 1909
Нижний

ПОД ПАВЛОВЫМ ЩИТОМ

Под Павловым щитом
почию невредим.

В. Капнист

Екатеринославского кирасирского полка подполковник Федор Петрович Уваров царскою милостью не в очередь произведен в полковники и, не в пример прочим, тем же чином переведен в лейб-гвардии Конный полк.

Почему так? За что Федору Петровичу эдакое счастье?

Всем еще памятно восшествие покойного государя на престол, когда медный конь самодержавства вдруг захрапел под железной уздою Павла. Смятенье великое совершилось в умах российских. Ревнуя о справедливости, милосердии и благе общем, государь с виновных взыскивал беспощадно, и говаривали тогда, что Сибирь к нам сразу сделалась куда ближе, чем было при матушке Екатерине, словом сказать, придвинул ее Павел Петрович как бы под самый под Петербург. Ямщиков не хватало развозить ссыльных, и фельдъегеря, трясясь день и ночь на перекладных, отбивали себе до смерти нутро. Государь, учредя под окном кабинета челобитный ящик, каждый вечер сам изволил прочитывать жалобы и доносы; на чины и звания невзирая, суд творил строгий и справедливый. Ежели ты виноват, все равно, будь ты прапорщик или генерал, перво-наперво отведаешь собственной царской трости, после у графа Палена выкушаешь стаканчик лафиту, сиречь в каземате с крысами посидишь, не то архаровками-плетями поцарапает тебя полицеймейстер Архаров, а там стянут тебе, голубчику, брюхо ремнем, чтобы кишки не тряслись, посадят с фельдъегерем на тележку, и ау! столбовым трактом прямо в Сибирь на поселенье.

Зато коли захочет кого милостями возвеличить император, так тоже безо всякой меры превознесет. Иной капралом еще при Петре Федорыче лямку тянул, за неспособность при матушке вчистую был уволен, годов тридцать пять коптел у себя в деревне, кур щупал да огурцы садил, а тут вдруг налетает на него орлом фельдъегерь: «По именному...» Тот, известно, ни жив, ни мертв: крестится, плачет, а ехать надобно; вот и мчат эдакого старикашку прямо в Зимний дворец; бурей марширует по кабинету Павел

Петрович: глаза враскос, лицо дергается, эспонтоном выделывает сам с собой всякие штуки. «Спасибо за службу!» Да и ну жаловать и деревней, и чинами, и чем попало, инда песок у старика сыплется со страху. А какая там его служба? Только в том все и дело, что родителя больно почитал Павел Петрович, оттого и слуг его награждал не в меру.

Перед тем как Федору Петровичу Уварову стать гвардии полковником по воле Божьей, император со всем семейством изволил посетить матушку Москву. В ту пору проживал там сенатор Лопухин, Петр Васильич, барин тихий и хворый, даром что богат, и по своему смиренству обретался у второй своей супруги, Катерины Николавны, под башмачком.

Под башмачком, так оно сказывают дамскому полу для учтивства, а будет верней сказать, что Петр Васильич не под башмачком состоял, а под здоровеннейшим башмачищем. Катерина Николавна Лопухина, баба крепкая, из лица смуглая, сурового виду, была еще в полном своем соку, и хоть достукивал ей пятый десяток, однако красоту на себя наводила каждый день, и так чисто, что и невдомек бы никому, да раз сама по нечаянности обмахнулась: приехала второпях ко всенощной с одной бровью. Амуры все еще поигрывали у нее в коленках и от прохладного жития барыня наша была весьма не прочь, только супруг-то по старости лет давно уж любил ее любовью ангельской. Ну, ангельская любовь, это разве монахам впору, да и те к себе в келью беса почасту припускают. Катерина же Николавна к иноческим подвигам склонности никакой не имела вовсе. Вот и приглянулся ей Уваров, Федор Петрович, мужчина видный, плечистый; хоть и не шибко умен, да сложен зато хорошо и смотрит браво, да к тому ж еще в кирасирах служит, а у нас барыни шпорного звону слышать доселе не могут без волненья. Перемигнулся разок-другой за обедней Федор Петрович с сенаторшей, глядь, под вечерок лопухинская Дарьюшка с письмецом и бежит в казармы.

Кто ж сам себе враг, чтоб от счастья своего да отказаться? Положено было Федору Петровичу за кавалерские его услуги от Катерины Николавны ассигнациями сотня в месяц, и карету четверкой нанимали ему особо за тридцать пять целковых.

Между тем у Петра Васильича Лопухина от первого его брака возрастала любимая дочка, Анна Петровна. Красавица, и золотым пером не опишешь. Много рассказывать нечего, а только как в сказках говорится: очи ясные, уста алые, грудь лебяжья, косы что трубы, голосок соловьиный.

Ну, а такой красавице, известно, надобно и кавалера под стать. Много сваталось к Анне Петровне всякого народу: и поручики молодые, и штатские щеголи, и сенаторы-старичье, и генералы; все не подошли, всем арбуз вышел.

Государь Павел Петрович, по рыцарскому обычаю своему, не любил лишней свиты и часто верхом на рыжем своем Фрипоне в одиночестве изволил кататься по Москве и пустынным ее окраи-

нам, никем не бывая узнан. Однажды верный конь занес державного всадника на Сокольничье поле. Сутулый, приземистый, с лицом от встречного ветру покраснелым, в огромной, нахлобученной на широкие брови шляпе, Павел Петрович курцгалопом пронесся мимо летнего лопухинского дома и нечаянно бросил взор на юную Анну Петровну, стоявшую на решетчатой террасе. Облокотясь на перила, красавица ощипывала розовыми пальчиками белые лепестки ромашки, гадая по известной российской примете: любит, не любит. Анна Петровна не узнала, а пожалуй, и вовсе не заметила пожилого, некрасивого офицера на куцем коньке, а уж Павел Петрович, дав шпоры Фрипону, поднял по дороге пыль волнистыми облаками, унося в рыцарском сердце своем Купидонову стрелу.

Стрела сия, видно, пущена была метко, ибо любовная рана в сердце Павла Петровича не токмо не зажила, но воспалялась больнее с каждым часом. На балу в Благородном собрании приметно всем было, что государь изволил, прохаживаясь, милостиво беседовать с сенатором Лопухиным, а прекрасной дочери его, Анне Петровне, поднесши розу, выговорил французский комплимент. При дворе сразу, по единому нюху, верхним чутьем все знают: на другой же день у лопухинских ворот из кареты волком вылезал граф Аракчеев, насупя оливковое свое обличье, а следом за ним спрыгнул с коня румяный, веселый, как младенец, граф Павел. Аракчеева государь посылал узнать, хорошо ли Анна Петровна почивала, приказав вручить ей при сем алмазный фермуар, а Пален уж сам от себя счел долгом с решпектом явиться к почтенному сенатору.

Анне Петровне выпал высокий и славный жребий: увенчать любовный пламень российского самодержца. Так красота достойно сочеталась с силой.

Рече и бысть.

Высочайшим указом сенатор Лопухин возведен в княжеское Российской империи достоинство с титулом светлости. Неотложные государственные дела потребовали присутствия его при особе государя. Спешно собралась из Москвы лопухинская семья.

Все шло хорошо; только в самый последний час, когда дорожные колымаги, увязанные доверху корзинами и кулями, подвалили, гремя, к крыльцу, князь Петр Васильич подошел к развалистому крытому тарантасу, хватился супруги. Внезапное отсутствие ее в таковой решительный миг всех чрезвычайно смутило. Кинулись на розыски: что же? Княгиня Катерина Николавна в спальной у себя заперлась на ключ и объявить приказала, что, покудова государь ее воли не исполнит, она из Москвы не двинется ни ногой. Артачилась долго бешеная баба, насилу, наконец, провожатый флигель-адъютант ее уломал и даже, став перед образом, побожился, что просьбу ее непременно уважит император. «Моя-де падчерица, моя над нею и власть, и ежели в Питере по-моему сделано не будет, я Анету опять в Москву возьму».

Подумаешь, как легко из-за бабьей дурости карьеры навек

лишиться! Ну, что кабы про княгинины слова да узнал Павел Петрович? Попала бы сенаторша, княгиня Лопухина, и с супругом в подвалы к Петру и Павлу.

Княгинин секрет открылся скоро, ибо просьбу ее государь в точности исполнил. Объявлено по армии, что подполковник Уваров производится в полковники конной гвардии, светлейшая же княгиня Лопухина прислала от себя новому гвардионцу на подъем тысячу рублей.

Вот тут оно и вышло наружу, что Федор Петрович парень был недалекого ума. Чем бы Бога благодарить да за княгинину юбку держаться обеими руками, зазнался наш гвардии полковник и возомнил о себе и невесть что. И только потому, что спокон веку дуракам счастье, не слетел он турманом вниз, а забирался все выше. Перед Рождеством пожаловал его государь в генерал-адъютанты. Легко ли дело! А тут и княгиня ему то червонцев пошлет сверток, то мебель на новоселье купит, то часы столовые подарит. Только Федору Петровичу все казалось мало: вот как раз на второй день Нового года заявляется он к княгине.

— Что, мол, такое, ваша светлость? Почему мне на Новый год от государя никакого награжденья за службу нету?

— Ах, шер Теодор,— отвечает ему княгиня,— ведь намедни еще тебя в генерал-адъютанты записали.

— Это само собой,— говорит Федор Петрович,— а теперь должны мне дать звезду Святыя Анны первого класса, без этого не уйду.

Княгиня заметалась.

— Теодор, друг мой, купидончик, никак нельзя, я Анету просить не смею.

— Почему же? Ведь она вам падчерица и во всем слушаться должна.

— Друг милый, я с нею в ссоре.

— Вот на! — свистнул Федор Петрович.— Да мне-то какое дело? Сама государю доложи.

— Что ты, что ты! Как это возможно! Да я и подумать о том боюсь. И на что тебе, купидончик, звезда? Хочешь, велю выдать тебе тысячу червонных?

— Эка дура! Нешто орден можно с деньгами равнять? Что я, жид, что ли? Так, стало, не хочешь?

— Не могу, не смею Анету просить. Не прежнее время. А ты поцелуй меня лучше, купидончик, да обойми покрепче.

Федор Петрович хватил о паркет золоченым стулом.

— Пошла к чертям, старая потаскуха! Больно мне, думаешь, сладко с тобой амуры разводить? Саван себе шей лучше!

Обругался и ушел.

В те времена у Полицейского моста торчал еще маленький зеленоватый домик в три окна; на огромной живописной вывеске пестрели львы, единороги, арапы, под ними подпись: «Аптека». Примочки и порошки от всех болезней отпускал присяжный

аптекарь, немец Шульц, франт в кудрявом парике, в бархатном кафтане, распомаженный, на высоких каблуках. В достопамятный день, четвертого января, герр Шульц, размешивая слабительное в фарфоровой ступке, выглянул ненароком в окно и видит: подкатила к аптеке золотая с зеркальными стеклами карета шестериком.

Скакнув на улицу, немец со всеусердием принялся шаркать по снегу обеими ногами и приседать направо и налево перед гербами ее светлости княгини Лопухиной. Опустилось стекло в карете; княгиня благоухающим платком прикрыла опухшие от слез веки и томным голосом приказала Шульцу:

— Дай мне скорей мышиного мору, да покрепче.

Аптекарь одно мгновенье замялся; вспомнился ему строжайший указ: не продавать мышьяку без докторского рецепта, да ведь для ее светлости не всякий закон писан; особе столь высокого рангу прекословить нельзя. Тотчас, согнувшись в три погибели, метнулся герр Шульц в аптеку и скорехонько с поклонами вручил ее светлости сверток мышьяку в золотой бумажке.

Важный, с бородой во все брюхо, кучер тронул шелковые вожжи, и сияющая карета под взвизги форейтора, плавно прошуршав по проспекту, остановилась у лопухинского дворца. Княгиню под руки взвели на подъезд два раззолоченных гайдука, сняли мрачно в передней с ее светлости соболью, атласом крытую шубку, а Дарьюшка, вздыхая, проводила барыню до дверей образной. Здесь тучная смуглоликая княгиня распростерлась перед иконами и долго с жаром молилась, размазав слезами на толстых щеках румяна; затем, поднявшись тяжело, проследовала узкой потаенной дверью в роскошно убранный пышный будуар. Оба сии покоя, и образная и будуар, на княгининой половине находились рядом, один для молитвы, другой для восторгов грешных; здесь княгиня воскуряла фимиам Ангелу своему, там языческому Амуру. В сем святилище любви, где на тигровом коврике перед взбитым пуховиком поблескивала еще отлетевшая невзначай орленая пуговица Федора Петровича, все напомнило скорбной покинутой княгине недавние ласки коварного любовника. Вынести разлуку с милым сердцу капризником Теодором невмочь было пылкому сердцу Катерины Николавны: замыслила она в горести своей ужасное дело. Серебряным ключом отщелкнув ореховый поставец, медленно нацедила княгиня из широкобрюхой граненой бутыли густого, желтого, как масло, вина в хрустальную рюмку; тут вновь воспоминания хлынули беспощадно: давно ли Федор Петрович, вырываясь на миг из Венериных сетей, в молчаливой беседе с Бахусом новые обретал силы для подвигов любовных? Давно ли вдвоем пили они сладостно-крепкие настойки монастырских трав, чередуя глотки и поцелуи? Слеза капнула в рюмку и тряслась пухлая в разноцветных перстнях рука, сыпя в янтарное вино из золотой бумажки гибельное, белое как смерть зелье. Духом выпила Катерина Николавна роковую рюмку и, закричав, покатилась на постель.

Отчего бы, кажется, кричать ей? Сама ведь выпила, насильно

ей в рот никто мышьяку не лил, а вот поди ж! Испугалась глупая баба: и воет, и молится, и за докторами шлет, а в чем дело, сказать никому не хочет. Известно, всяк человек смерти пуще огня боится.

Через полчаса прилетел из присутствия князь-сенатор, сунулся было к супруге в спальню и тотчас зайцем выскочил вон; вослед ему пролетела и шлепнулась в стену княгинина бухарская туфля. Анна Петровна воздела с гримасою к небесам точеные руки; однако, по просьбе родителя, согласилась уведомить государя, что княгиня-де при смерти больна.

Павел Петрович, осердясь, заколотил колокольчиком о стол и, к поспешившему на зов лейб-медику оборотя гневом искаженный, багровый лик, крикнул сиповато: «Изволь, сударь, вылечить княгиню, не то повешу!»

Человек пятнадцать докторов наехало в лопухинский дворец, и сам лейб-медик, чувствуя уже, как жесткая пеньковая петля затягивается понемногу вокруг его полнокровной шеи, в отчаянии изыскивал вернейшие лекарства. Внезапно горестный его взор пал на предательскую рюмку с сахарным на дне осадком; испробовав оный на язык, вскочил лейб-медик радостно и возгласил: «Эврика! нашел, господа коллеги!»

Следующий день пришелся на крещенский сочельник. Мнилось, сама лютая северная зима разделяла всеобщий восторг и нелицемерно радовалась спасению княгини. Кучер, форейтор, Дарьюшка, выездные гайдуки и аптекарь воссылали горячие молитвы всевышнему: всех их приказал выпустить обер-полицеймейстер, легонько поучив кошками.

Того же дня ввечеру Анна Петровна кушала с императором чай в малой гостиной Зимнего дворца. В исполинские окна глядела льдистая ночь; от переливчатого сияния восковых свечей дрожали тени по лепному потолку и голубоватому паркету, трепетали на стенах живописные картины сражений и как бы шевелились по углам неподвижные с алебардами фигуры мальтийских рыцарей. Павел Петрович был в духе: приятная улыбка не покидала судорожно сжатых уст; ласковые зарницы вздрагивали порою в огромных недоверчивых очах; нежно целовал влюбленный император мраморные руки своей богини.

— Друг мой, вы как будто имеете мне что сказать?

— Мне стыдно, ваше величество, но решаюсь просить не ради себя, а ради матушки.

— Просите, просите, друг мой, я все исполню.

В самое крещенье после парада генерал-адъютант Уваров из собственных рук его величества удостоился получить орден Святыя Анны.

С жадностью и волненьем дожидалась крещенского вечера княгиня Катерина Николавна. В будуаре у нее нежно вспыхивал и мерцал сладострастно розовый фонарь; пышная, под штофным одеялом, постель, мнилось, дышала нетерпеньем. На потолке гир-

ляндой плясали круглоногие пухлые амуры; впереди их румяная Флора, осклабляясь, сыпала из рога изобилия ворох цветов над самым ложем. Маково-алые щеки Катерины Николавны и очи под дугами бровей, чернее угля, ярко пылали в полутьме; впалые уста томно приоткрылись; дебелая отвислая грудь колыхалась страстно под розовым распашным капотом. Звякнули знакомые легкие шпоры; ближе, ближе; княгиня блаженно замерла, внемля стук сердца. В дверь, гремя палашом, взошел красавец Федор Петрович в пудреном парике, в коротком белом колете и ботфортах. Через плечо краснела у него Анненская лента.

Княгиня просияла морщинистой улыбкой. Федор Петрович подошел к ручке и, низко склоняясь, молвил:

— Приношу вашей светлости чувствительную мою благодарность за неоставление.

— Поздравляю тебя, шер Теодор, с монаршей милостью.— Княгиня подвела Уварова к поставцу; зеленое монашеское вино заструилось в резные бокалы.— Будь здоров.

Маслянистый огненно-сладкий шартрез буйно стукнул в голову Катерине Николавне; старая ее кровь, запылав, быстрей побежала по синим жилам. Легко вспрыгнула княгиня на широкую постель, свернулась огромной кошкой и, сдерживая бурную дрожь, глядела, как Федор Петрович, морщась, допивал крепкое вино.

— Что ж ты не поцелуешь меня, купидончик? — от страсти шипящим, тонким голосом молвила она.

Федор Петрович встал, приосанился, медленно-благоговейно снял с плеча ленту, отстегнул звезду; бережно сложив их на стуле, вздохнул тяжко и полез на кровать.

Сентябрь 1910
Москва

ТРИ ВСТРЕЧИ С ПУШКИНЫМ

I

В первый раз я Пушкина увидел ранней весной, а в котором году, не помню. Думаю теперь, что дело происходило лет за пять до кончины императора Александра. Жил я тогда в Петербурге и собирался поступить в университет, кажется, за год пред тем открытый. Со мной дружил капитан гвардейской артиллерии Иван Николаич Жуков, тот самый, что после, в чине полковника, отличился в Польском походе. Покойный Жуков был, как известно, большой проказник и балагур и прекрасно певал романсы. Еще одна была особенность у него: в ту пору военные все, гвардейцы же наипаче, щеголяли рейтузами в обтяжку, и Жуков носил штаны узкие до того, что приходилось их натягивать на ноги целый час; зато и сидели они как облитые. Правду сказать, сложен был Жуков отменно, и тогдашний начальник гвардейского корпуса, великий князь Михаил Павлович, говаривал ему, бывало, нередко: «Ты, братец, совершенный Аполлон в мундире; я попрошу государя, чтобы дал он тебе фамилию Жуков-Бельведерский».

Жуков в то время жил на жалованье, нуждался и снимал скромную комнату у самой Александро-Невской лавры, окнами на кладбище. Как это ни странно, при веселом своем характере, он дома вдавался в меланхолию: рисовал акварелью памятники, венки, гробницы, голубков на кресте, черного ворона на кургане; когда же я приходил к нему, тотчас звал меня на кладбище для прогулки. Я теперь думаю, что это он просто модничал. Впрочем, Жуков не долго умел выдержать свою героическую роль: вздохнет, бывало, скажет о бренности жизни, а там вдруг ткнет меня в бок мизинцем, и румяные щеки у него так и затрясутся от смеха.

Однажды, возвращаясь домой, по обычаю, с кладбища, толковали мы о покойном кавалергарде Охотникове и о несчастной его кончине. Запомнилась мне эта беседа потому, что Жуков, знавший покойника хорошо, находил с ним во мне большое сходство. Когда мы стали приближаться к Невскому, нам навстречу показался верховой на отличной аглицкой лошади, как сейчас помню, серой в яблоках. Завидя Жукова, всадник осклабился и замахал приветливо шляпой; зубы его блеснули на солнце, а лошадь звонко

заржала, точно и она здоровалась с нами. «Это Пушкин»,— сказал мне Жуков. «Какой Пушкин?» — «Чиновник иностранной коллегии, Василия Пушкина племянник, поэта, и сам пишет стихи». Я оглянулся. Пушкин шагом подъезжал к монастырским воротам. Посадка у него была прекрасная, как у настоящего кавалериста.

II

Вторая встреча моя с великим поэтом произошла так. Окончив университет, зачислился я на службу чиновником особых поручений к псковскому губернатору Пещурову, приходившемуся мне дядей. Пещурова теперь вряд ли кто помнит. Это был пожилой горбун, с виду неуступчивый и надменный, но души добрейшей. Меня он очень любил и не обременял делами, в которых я, по правде сказать, ничего не смыслил.

Летом в Пскове стояли жары смертельные. В тот год (помнится мне, это было уж после наводнения) я начал страдать приливами, и доктор Юнгер предписал мне больше ходить. Раз как-то, отправившись на утреннюю прогулку, в задумчивости набрел я на кучку ребят, играющих в бабки. От нечего делать я засмотрелся, как ловко взвивалась тяжелая свинчатка, подымая клубами пыль. Переведя затем глаза на игрока, я немного опешил, увидя человека если еще не старого, то и не первой юности. Незнакомец одет был в белый армяк нараспашку; летний картуз небрежно покрывал ему голову; кудрявая борода вилась на щеках и подбородке. Было в нем нечто цыганское, своевольное, и я подумал сначала, уж не цыган ли это, но русые волосы неизвестного указывали на принадлежность его к славянскому племени, да и странно было бы цыгану держаться так смело и свободно в присутствии губернаторского чиновника. Не обращая на меня внимания, незнакомец метко и уверенно выбивал игру за игрой, чуть припадая на колено и щуря глаз; потом встряхнулся, потер свои маленькие загорелые руки, дал мальчикам пятачок и, бегло меня окинув взглядом, пошел прочь. Я успел заметить, что верхняя губа у него была выбрита, но не позднее недели тому назад, и я заключил отсюда, что это должен быть мелкий уездный помещик. Возвратясь домой, за завтраком, рассказал я дяде о встрече. «Да это Пушкин»,— перебил меня дядя. В то время я знал уже о Пушкине и восхищался его «Кавказским пленником» и «Людмилой». Как жалел я, что не заговорил с ним, не расспросил его о стихах, о том, не пишет ли он чего-нибудь нового. «За Пушкиным надобно зорко следить,— продолжал дядя,— он человек весьма и весьма опасный».

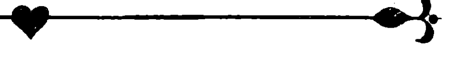
III

Зимой 1837 года я служил в департаменте в Петербурге, когда разнеслась громкая весть о дуэли и смерти Пушкина. Хотя в Петербурге я жил уже года два, однако увидеть нашего знамените-

го поэта мне так и не довелось. Только жене моей показали его однажды на Невском, об руку с красавицей супругой и в модной бекеше. Переехав в Петербург, я возобновил знакомство с Жуковым, бывшим к тому времени уже генералом. По-прежнему любил он пошутить и вписывал в дамские альбомы гробницы и голубков, но уже статная затянутая поясница его приметно оплыла, разговаривал он с одышкой и чернил усы. В самый день смерти Пушкина жена моя устроила званый вечер, и неловко было мне, как хозяину, отлучиться на панихиду. На другой день мне весьма занездоровилось; болела голова, и, из опасения простуды, жена меня не пустила со двора. К вечеру заехал к нам Жуков и сообщил, что начальство предписало благомыслящим людям не принимать в похоронах Пушкина никакого участья. Тем временем жена моя поехала на вечер к княгине Вере, а Жуков просидел у меня до ужина, после чего я пошел его проводить, надеясь прогулкой перебить головную боль. Погода была прекрасная. Мы проходили мимо Конюшенной церкви. «А ведь Пушкин-то здесь,— заметил Жуков,— вон в окно виден гроб, да и свечки горят. Зайдем». Жуткое любопытство овладело мною. «А если...» — начал было я, но Жуков договорить мне не дал: «Пустяки, кто теперь увидит, дело ночное, да, наконец, я его лично знал и в былые времена выигрывал у него по пятидесяти червонных». С этими словами он стукнул в дверь, сторож отпер, вытянулся и проводил нас на середину церкви. «Темненько здесь, ваше превосходительство, сию минуту я фонарик засвечу». Мы подошли к гробу. Он был дубовый, на винтах, прекрасной работы. Сторож подошел с фонарем и, подняв крышку, осветил нам лицо покойника. Пушкин был бледен, как белый воск, посинелые губы его слегка скривились; вместо волос и бакенбард темнели неровные клочки. «Пообрезáли на память»,— заметил шепотом Жуков.

Молча вышли мы из церкви и скоро расстались. Дома жена встретила меня заботливыми упреками и распорядилась тотчас сварить для меня глинтвейну. Наутро я встал здоровый.

Июнь 1914
Куоккала



БУРБОН

Цветные дротики уланов,
Звук труб и грохот барабанов.

Пушкин

Глава первая
ПЕРСТ СУДЬБЫ

Улан красавец и корнет.

Полежаев

Штаб Великославских улан в 1836 году расположен был в Новороссийском крае. Цветущие его степи по праву должны именоваться колыбелью российской конницы. Чуть не в каждой деревне пестрели разноцветными мундирами и значками гусарские, уланские, кирасирские и драгунские полки. Дикая, девственная местами, степь перекликалась от зари до зари то рысистым топотом эскадронов, то нестройными взываниями кавалерийских труб, то заливистым конским ржаньем. Великославский штаб — это была поселенная, аракчеевских времен, деревня, строенная по ранжиру, с улицей ровной и прямой, как летящая стрела, на целые три версты. Улицу делила надвое широкая, с церковью посредине, площадь. Ежели стать на паперти, затылком к востоку, то справа и слева офицерские домики протянутся развернутым фронтом, один к одному, все с зелеными крышами и белыми ставнями казенного образца. Дом полкового командира выделяется изо всех особо: в нем хранятся не только бумаги и казна, но и все штандарты; оттого под его окнами постоянно держит на плече саблю часовой, а проходящие мимо офицеры и солдаты снимают, из почтения к святыне, свои красные с бирюзовым верхом фуражки. Позади церкви новый госпиталь, вымазанный ярко-желтой вохрой, с колонками, лепной арматурой и траурным николаевским орлом на меловом фронтоне, а спереди гостиный двор, с лавками для господ офицеров и их супруг, и грязный трактир с драным биллиардом и двумя зевающими маркерами в засаленных полуфраках.

Тут же неподалеку торчит почернелая гауптвахта; весь день несутся оттуда картежные возгласы заарестованных шалунов и выглядывает из окна голова караульного офицера, днем в кивере с помпоном, а вечером в пестрой ермолке с кисточкой и с дымящимся янтарем во рту. И сейчас же за деревней, расплываясь травным океаном, необозримая новороссийская степь синеет; струятся в волнистой дали серебряные переливы пушистого ковыля; ветер гуляет и свищет, вздыхая по старой были, и дремлют, молчаливо нахохлясь, на курганах седые задумчивые орлы.

Утро, разгораясь, дышало над степью, а у корнета Гременицына все еще шла игра. Карты сыпались дождем, и банк опрокидывал то и дело свою роковую прихоть. Хозяин метал. Это был юноша высокий, кудрявый, с римским носом; поджатые под черными усиками губы придавали красивому лицу корнета надменную, видимо враждебную его природе, брезгливость. Пригоршня золотых и горсти две смятых ассигнаций перебегали из рук в руки; банк то разом удесятерялся, то готов был мгновенно лопнуть. Счастье, наконец, прочно повезло банкомету, и скоро все ставки перешли к нему. Догоревшие свечи давно чадили, и заря розовыми пальцами трогала, перебирая поочередно, желтые занавески на окнах, бронзовые и фарфоровые безделушки на столе и стенные аглицкие гравюры.

К столу вразвалку подошел командир первого эскадрона, ротмистр Кант, пучеглазый толстый старик, стриженный ежом, с сизым, цвета голубиного горла, носом и белыми, повисшими на могучую грудь усами.

— Что в банке? — спросил он, щетиня брови.

— Девятьсот ровно.

Ротмистр запустил волосатую руку в карман, вытащил девять сторублевых и поставил на трефовую даму.

— Дана.

Гременицын засмеялся так искренно и свежо, что чуждая, насильно усвоенная им, надменность тотчас щебечущей птицей слетела с его румяных губ. Кант при общем одобрении загреб деньги.

— Господа, поедем купаться! — крикнул краснощекий поручик Звягин, рыжий, щеголеватый малый, завитой барашком. Охорашиваясь перед зеркалом в стройно сидевшем над канаусовой красной рубахой сюртуке, он обеими руками разглаживал помятое бессонной ночью веснушчатое лицо.— Кстати, посмóтрите моего Сальвадора. Что за жеребец! Честное слово, не лошадь, а полубог.

— Пальчиков, вот тебе предмет: воспой звягинского Сальвадора. Лучше, чем попусту строчить мадригалы Наденьке,— сказал корнет Зеленецкий.

Раздался смех.

— А стихи Звягину подари на папильотки,— подхватил Кант.

Звягин надулся.

— У меня волосы от природы вьются, господин ротмистр.

— Ладно, знаем мы эту природу, со щипцами.

Ротмистр повернулся на каблуках и ухватил Пальчикова за подбородок.

— Ну что, брат Палец, как Наденька? Поддается ли на стишки?

— Плохо, Густав Густавыч,— пропищал как котенок Пальчиков, полковой стихотворец, маленький шестнадцатилетний корнет с цыплячьим лицом и небесно-голубыми глазами. Он был самый молодой офицер в полку.

— Ничего, не робей, Палец: помни, что ты Великославский улан.

Все, суетясь, разбирали фуражки и пристегивали сабли. Хозяин позвонил.

— Как, господа, а утреннюю пуншацию разве не зададим? Наши гусары иначе не могли, что?

— Ты, брат, нам своими гусарами не тычь,— сказал Кант,— знаешь поговорку: улан три раза в день пьян? А пуншацию задать,— это хорошо.

Дверь из передней толкнули ногой, и гремеництынский камердинер, Аркашка, по прозвищу Санкюлот, во фраке, чулках и башмаках, но заспанный и небритый, с форсом внес два десятка дымящихся пуншевых стаканов на огромном подносе.

— Ты что ж это, Санкюлот, так долго возился, спал, что? — спросил Гремеництын.

— Как же, есть мне когда спать, целый дом на руках,— ответил дерзко Аркашка.

— Смотри, брат, зубы выбью.

— Выбивайте, мне что? Все равно не мои зубы, а ваши.

— Как мои? Что ты мелешь, дуралей?

Санкюлот, успевший уже обнести стаканами господ, встал перед барином почтительно и развязно, наклоня взъерошенную голову с височками и пробором.

— Как я есть ваш крепостной человек, стало, и зубы ваши.

И при общем смехе, степенно покачиваясь, вышел.

Крепкий, на ямайском роме заваренный пунш развеселил бессонных игроков, и уланы вывалились на улицу шумною гурьбой. Эскадронные командиры и старшие поручики шли и беседовали медленно, раскуривая трубки; молодежь живо очутилась впереди, с шуточками и смехом, а Пальчиков и Зеленецкий побежали вперегонки. Долго уланские шпоры пущали чок, звеня по сонной пустынной улице, и далеко слышался гулкий говор; ему вторили с тополей веселые крики галок.

Гремеництын велел седлать и остался в гостиной один на один со своим новым приятелем, поручиком Кисляковым. Приземистый и корявый, Кисляков по добросердечию и кротости нрава не имел подобных себе во всей дивизии. Офицер был он плохой: от шампанского его тошнило, курил он только для виду, чтоб не отстать

от товарищей, с отвращением глотая горький дым, а перед дамами, даже полковыми, робел, как заяц. Жил Кисляков на жалованье, и единственным его развлечением и отрадой служили пяльцы: гарусом по канве вышивал он целые картины, как заправский художник. Гременицыну Кисляков с первой встречи предался всей душой: он глядел на нового товарища страстно-влюбленными глазами и не отставал от него решительно ни на шаг. Он не замечал даже, что Гременицын явно иногда им тяготится, зевает подчас и обращается невнимательно и небрежно.

— Моя лошадь ведь у тебя, mon sher, так мы вместе поедем,— вкрадчиво говорил Кисляков, засматривая с обожаньем в глаза приятелю.

Гременицын с прежней надменной миной сидел у стола, белой рукой подпирая щеку, и обломком мела рассеянно вычерчивал на зеленом сукне сердце, пронзенное стрелой. Пунцовые отвороты бухарского его халата испачканы были мелом и трубочной золой. В рассеянности переминал он алыми, как вишня, губами белый янтарь чубука и не замечал, что трубка давно погасла.

— Ну, как ты, доволен товарищами, mon sher? Ведь правда славные ребята у нас? — продолжал, помаргивая, Кисляков.

— Что?

— Я про товарищей: правда, что они...

— Только вот Кант этот ваш, черт его подери, банк у меня срезал, не может быть, что?

— Ты проигрался?

Мягкий голос поручика задрожал беспокойством.

— Проигрался, что? Не может быть, просто не хотелось играть, устал.

Кисляков, кашлянув, улыбнулся.

— Не одолжишь ли ты мне ненадолго, mon sher, парочку золотых? Мне очень нужно, я тебе первого...

— Возьми.

Гременицын зевнул, встал и, сбрасывая на ходу бисерные туфли, прошел в спальню.

— Послушай, Кислятина, ну, а как все-таки у вас насчет баб, что?

Кисляков замялся и покраснел.

— Я, право, не того... не нашел пока... спроси Звягина, он лучше всех знает.

— Эх ты, Кислятина!.. Санкюлот!!! Аркашка!! Где ты там, черт тебя подери? Одеваться, живо!

В спальне Гременицына туалетный стол перед огромным, в раме красного дерева ампирным трюмо осенен был двумя белыми водопадами волнистой кисеи. На столе блестели баночки и граненые флаконы с духами, одеколоном и помадой; ножницы для ногтей, ножницы для усов, щипцы, гребенки, подпилки, щетки. За дверью, в углу, как любезная память прошлого, в унылых складках повис под белым парчовым ментиком пышный гусарский до-

ломан и блестящие, вышитые золотыми петухами малиновые чакчиры. ГремеHицына месяца полтора всего как перевели из Царскосельских гусар в Великославские уланы за две дуэли кряду. Он, однако, лелеял в душе надежду скоро опять воротиться в гвардию.

Кисляков, присев на подоконник, благоговейно следил, как Гременицын одевался и как Санкюлот с важностью лил ему холодную воду на руки и затылок. Желая развлечь приятеля, он заметил, подвинувшись поближе:

— Вот скоро тебе производство в поручики выйдет.

Гременицын молча застегивал свой полотняный сюртук. Санкюлот вынес мыльный таз и вернулся тотчас с фуражкой и саблей.

— Ну, поедем,— сказал Гременицын.— Ах, да, тебе это...

Он пошарил в туалетном ящике и сунул Кислякову два червонца. Санкюлот потупился презрительно и дал господам дорогу. Когда офицеры в галоп, мелькнув под окнами, пронеслись верхами, Аркашка набил себе трубку бариновым табаком, выпятил небритую губу и, пощипывая жидкие от уха до носа бакенбарды, молвил:

— Голодранец, как есть. По два золотых занимает. Офицер тоже.

У околицы Гременицын и Кисляков сдержали коней. Поручик на своем поджаром мерине отстал далеко от кровной аглицкой кобылы корнета. Приятели поравнялись.

— Что за прелесть у тебя эта Леда, куда Звягину с его Сальвадором,— искательно заговорил Кисляков.— Сколько, бишь, ты за нее дал?

Гременицын не отвечал; он упорно всматривался через улицу налево, в пятый от околицы дом. За ним туда же обернулся и Кисляков. На тесовом, черепицей крытом крылечке девушка, стройная, румяная, в холстинковом белом платье, кормила голубей. Хлопотливые птицы, воркуя и звучно плеща крылами, клевали пшено.

— Будет! — крикнула девушка и, весело смеясь, метнула последнюю горсть.

Голуби с треском взлетели и опять рассыпались дружно по ступеням и перилам. Тут только приметила красавица глядевших на нее жадно офицеров. Румяные щеки ее, вспыхнув, заалели; она улыбнулась, закрылась рукавом и порхнула в сени.

— Что? — сказал Гременицын.

— Это фершала нашего дочка,— отозвался Кисляков.— Да уж просватана, mon cher.

— Просватана? За кого?

— За корнета Мокеева.

— За бурбона? Не может быть, что?

Всадники подняли опять в галоп коней и скоро примчались к речке. Там уже барахтались в свежих струях лошади и люди.

Кант загребисто, по-медвежьи, плавал, хватая по временам за холку своего серого Злодея, от купанья ставшего глянцевитым, как серебряный рубль, а Звягин, выставляя завитую голову, уносился по течению на вороном Сальвадоре.

Гремеництын разделся быстро. Свежее молодое тело его сияло девственной белизной, как Аполлонов торс; нежно прижималась к нему красавица Леда. Упругие белые ноги всадника крепко стиснули ей крутые точеные бока; вся подбираясь, готовилась Леда к прыжку. Солнце всплывало, дымясь, и колыхалось над синей степью. В глазах рябило. Кресты на церкви, громада заблеявших с пригорка овечьих стад, голубоватый дымок из труб, стая расселся с карканьем на том берегу грачей — все сверкало и таяло в утреннем розово-золотистом блеске.

— Что ж, прыгай, Гременицын! — отфыркиваясь, крикнул Пальчиков.

Юный улан до того докупался, что лицо у него посинело и зубы выщелкивали дробь.

Гременицын перекрестился и толкнул лошадь коленом. В один миг все исчезло и смешалось в захватившем всю душу взлете. Потом сразу оглушительное б у х, яркий веселый холод, свежесть, рассыпавшая по телу тысячу острых искр, голубой блеск в глазах и солнечно-алмазные брызги, радужными снопами разлетевшиеся вокруг.

Глава вторая

ЯСТРЕБ И ГОЛУБКА

Улан умел ее пленить.
Улан любил ее душою.

Пушкин

Шесть дней прошло; наступило воскресенье. Маша ворочалась от обедни. Хороша она была в кисейном сборчатом платье, в голубом шарфике, с бархаткой на шее. Медовые веснушки таяли сладко на сахарных щеках; расцеловать бы ей птичий носик и вздернутую губку с росинками пота на черных, над родинкой, волосках! Было так жарко, что даже белые вязаные митенки Маша сняла со своих загорелых рук. От церкви она все прибавляла шагу, слыша, как ее настигает сзади малиновый ровный звон хорошо ей знакомых шпор; такие шпоры, серебряные, с двумя острыми, звенящими нежно р е п е й к а м и, во всем полку носил один Гремеництын.

Молодой корнет с того самого утра, как впервые увидал Машу за голубями, не оставлял вниманием своим красивую фершалову дочку. То, прохаживаясь под окошками, заприметит ее будто

невзначай и поклонится ей учтиво, то очутится вдруг у огорода, где полет Маша грядки или собирает клубнику: облокотится, посмеиваясь, на плетень, и уж ни подсолнечники, ни яблони, ни вишни не скроют от его соколиных, веселых взоров Машину гладко причесанную головку. Маше и страшно, и лестно было во всю эту неделю. Страшно потому, что сплетни, того гляди, расползутся по деревне: ведь она просватанная невеста; а лестно: так ведь Владимир Николаич Греминицын первый в полку красавец. Вон какие у него черносмородиновые тугие кудри, и усы шелковые нежны как пух, и губы спелей малины. Ловок и статен корнет Греминицын и уж так-то хорош, когда, подбоченясь лихо, пройдет вечером по селу, звеня шпорами и держа в левой руке саблю, или когда промчится по улице как вихорь, взвевая облаком легкий прах, на своей тонконогой Леде. Впрочем, последние два дня явно пыталась красавица избегать корнета: не показывалась ни в огороде, ни на крыльце и даже из церкви домой незаметно уйти хотела.

Владимир Николаич настиг Машу перед самой ее калиткой, поклонился вежливо и спросил о здоровье.

— Мое здоровье слава Богу,— ответила Маша строго,— а уж вы, Владимир Николаич, сделайте милость: не ходите за мной по селу.

Греминицын усмехнулся: взявшись за щеколду, он загораживал калитку и любовался Машей.

— Теперь уж идти некуда,— молвил он весело.— А разве ты, Машенька, меня боишься, что? Погоди, мне еще надо важную тайну тебе сказать.

— Не стану я тайн ваших слушать, у меня жених. Пустите.

Тут Маша совсем раскраснелась, толкнула калитку и, взойдя во двор, захлопнула ее с сердцем.

В горнице за столом торжественно восседал Машин жених, корнет шестого эскадрона, его благородие Евсей Семеныч Мокеев. Перед ним дымился на глиняной тарелке горячий ломоть толстого пирога, а Машина мать, Андревна, старушонка высохшая и черная, как галка, наливала нареченному зятю из графинчика рюмку трехпробного вина. От усердия старуха инда перекосила беззубый рот, а водку все-таки расплескивала на скатерть. Евсей Семеныч, по случаю воскресенья, был в полной парадной форме, со всеми шнурами, винтишкетом и лядункой через плечо; сидел он вытянувшись, прямо, будто аршин проглотил. Красное, в рябинах лицо его лоснилось и сияло; синий подбородок, поцарапанный от старательного бритья и заклеенный в двух местах бумажкой, упирался в высокий галунный воротник; нафабренные усы топорщились, как щетина. Положив жесткие, в рыжих волосах руки на блестящую рукоять уланской сабли, Мокеев поигрывал кокетливо новеньким офицерским темляком; на его кривых, как у настоящего кавалериста, ногах сверкали глянцем рантовые тяжелые с железными шпорами сапоги.

Евсей Семеныч был б у р б о н; так в армии назывались в

его времена солдаты, выслужившие себе офицерский чин. Родом он был из сдаточных, в службу был взят по семнадцатому году, прямо от сохи, и грамоте обучился в казарме. Долго тянул солдатскую тягостную лямку Евсей Семеныч, но за примерное усердие лет через двадцать удостоился получить вожделенные корнетские эполеты. «Наш Мокеев палочную академию прошел»,— острили меж собой полковые шутники. Как все бурбоны, Евсей Семеныч с подчиненными был неумолимо строг, а перед высшими хотя бы всего одним чином по привычке даже в обществе вставал и вытягивался в струнку. В обществе, впрочем, бурбона видали редко; к товарищам заявлялся он лишь в особые дни: «с Анделом проздравить» или «с Монаршей милостью». В гостях он целый день и вечер бессловесно просиживал в уголку, не смея вступить в общую беседу и уйти не решаясь, а на небрежные вопросы ответствуя по привычке: «так точно», «никак нет». Еще реже стал он бывать в товарищеском кругу с тех пор, как однажды на парадном обеде, данном великославцами уходившему в отставку генералу, посолил «для скусу» мороженое у себя на тарелке. Молодые шутники тотчас подметили этот пустяковый промах и начали смешки, а Евсей Семеныч долго не мог понять, в чем же он провинился: ведь не щепотью, кажись, соль брал, а по всей деликатности, как следует быть, ножом столовым. Взрыв хохота завершил обед, когда Евсей Семеныч, подбиваемый молодежью произнесть тост за отъезжавшего генерала, налил полный стакан поднесенного ему лакеем лимонного полосканья, поднял его, провозгласил здравицу и осушил до дна. Хоть кожа у Евсея Семеныча толста была, как на его сапогах, однако эти два случая больно ему укололи сердце, и вспоминать о них Мокеев не любил.

На его счастье, в полку оказался другой, подобный ему бурбон, пятидесятилетний уже корнет Пискунов. С ним единственно был дружен Мокеев; по праздникам вдвоем они выпивали, толкуя о новостях эскадронных и о производстве; вместе захаживали к попу, к дьякону, к ветеринарам, наконец, к старому фершалу, хитрому взяточнику и плуту, большому охотнику голубей гонять. Здесь решилась судьба Евсея Семеныча: он влюбился по уши в Машу. Родители, обсудив дело толком, положили свадьбу сыграть в самый Покров.

При виде взошедшей в избу невесты Евсей Семеныч чинно встал, опустил руки по швам, приятно осклабился и звякнул учтиво шпорой.

— Здравия желаю, моя нареченная. Как здоровьице?

Маша поклонилась.

— Слава Богу. Как ваше здоровье, Евсей Семеныч?

— Розан неоцененный! Дозвольте ручку.

— А ты выпей, выпей сперва, Евсей Семеныч, ваше благородие, выпей, в праздник грех не выпить,— дребезжала старуха.

— Позвольте, мамынька.

Евсей Семеныч деликатно остановил рукой расходившуюся Андревну (самой ей, видно, смерть хотелось куликнуть).

— Теперича будем так говорить. Я пью за здравие всего вашего семейства и возношу к Вседержителю Богу горячие молитвы, и вот, выпимши по сему святому случаю,— бурбон опрокинул рюмку и, крякнув, притопнул каблуком,— для десерту, стало быть, я и поцелую сахарную ручку Марьи Степановны.

— Экий разговор-парень,— изумлялась льстиво Андревна, тотчас же спеша до краев наполнить опустелые рюмки,— и где это ты так навострился только? Ишь ведь, дошлый какой. Всякое офицерское обращение понимает.

Бурбон только ладонью повел вежливо на старуху, потому рот набит был масляным пирогом с капустной начинкой.

— Евсей Семеныч,— сказала Маша, когда закуску убрали наконец и старуха провалилась спать куда-то, в сени или в чулан,— прочитайте мне какие-нибудь стишки.

— Не могу знать.

— Какой. Ведь я же говорила вам сколько раз, что все влюбленные своим предметам всегда произносят стихи и пишут в альбом на память. Вы прочитали ту книжку со стихами, что я вам намедни дала?

— Виноват, не успел, некогда было.

Евсей Семеныч потянулся было опять к невестиной ручке, но Маша не далась.

— Не извольте сердиться, заслужу.

— Какие же это у вас дела такие?

— Скрозь строй гонял бездельника одного.

— Ну вот, скрозь строй. Фи! Какие у вас все дела неблагородные.

— Почему же неблагородные, Марья Степановна? Наказание, прочим для примеру, для пользы службы. Оно даже занятно. Играют, эфто, трубачи тревогу, тут ждут солдатики с прутьями; выйдешь эдак, скомандуешь «марш!», и поволокут голубчика по зеленой улице, только свист идет: ать, ать!

— Все-таки неблагородно. Небось, Гремеництын Владимир Николаич али господин Звягин не станут скрозь строй гонять.

— Изволите видеть, Марья Степановна: Гремеництын, там, Звягин — барчуки, шенапаны, что они в службе смыслят? Им бы родителевы денежки мотыжить. А я службу очценно понимаю.

Евсей Семеныч помолчал, приободрился и опять потянулся к ручке.

— Ну уж нате, Бог с вами.— Бурбон присосался слюняво к загорелым пальцам.— Будет, будет!

Маша вырвалась и отошла надувшись. Бурбон помялся на месте.

— Одначе прощенья просим.

Евсей Семеныч еще помолчал, переступил, оглянулся от порога на невесту и вышел.

Маша дождалась, пока не стихли в сенях тяжелые жениховы шаги, постояла, послушала, как визжит по стеклу большая синяя муха, поймала ее, придавила и выглянула в окно. Улица была пуста. Тогда осторожно, с заднего крылечка, Маша вышла на огород и скоро, как бабочка-капустница, замелькала белым платьем меж смородиновых и крыжовенных кустов.

Тотчас за селом, минуя бесконечные солдатские огороды с огненными кругами подсолнечников, бесстыдно лезущими в глаза, усатыми зарослями кукурузы и лопушистыми на черных грядках побегами арбузов и огурцов, узкая водопойная тропинка вела в рощу, уцелевшую чудом от хозяйского глаза поселенных командиров. Несколько вековых вязов и дубов возносили над густо заросшими молодыми кленами и дубками широковетвистые, чернеющие в грачиных гнездах верхушки. В тенистой глубине, среди сочной поляны, исполинский дуб тысячекрылыми своими ветвями, как опахалами, навевал на ветхую скамью живительную прохладу. В дуплястой его груди томные пестрые горлинки вечно курлыкали и журчали. Здесь любила сиживать Маша в праздники днем, когда нет еще в роще никого; когда полковые дамы и девицы почивают еще и нежатся на перинах, в смятых кружевах, и разве самая из них нетерпеливая и пылкая, на босу ногу, в капоте, покуда шипит, уходя, медно-красный кофейник и муж, уткнувшись усатым лицом в подушку, дохрапывает последний сон, наскоро царапает кавалеру розовое б и л ь е д у, назначая свиданье в роще, а кавалер ее, какой-нибудь франт-поручик, приказав денщику накалить щипцы, еще только собирается завернуть раздушенные, тонкие усы в паутиновую веленевую бумажку. Вечером в роще встретятся оба: она в выгнутой желто-соломенной шляпе и зеленой шали, перетянутая осой, он в красногрудом мундире и четырехугольном уланском кивере. Будут попадаться им другие пары, всё офицеры с дамами: солдатам настрого запрещено ходить в заветную рощу. Солнце сядет; горлинки зажурчат еще сладостнее, еще нежнее, а за ними и корнет Пальчиков зачитает нараспев Наденьке свои новые стихи. Маша помнила хорошо, что девицам воспитания деликатного полагается мечтать; как это мечтают, она наверно не знала, но, закрывая глаза и вздыхая нежно, старалась принять наедине с собой томный и грустный вид. Тут и взаправду налетели на нее мечты: какие? О женихе, что ли? Нет, ей и так надоел пуще горькой редьки влюбленный Евсей Семеныч. Мерещились ей черные змеистые кудри, виделся смелый, как у кречета, взор и небрежный ластился голос, и сами собою Машины губы шептали: «Володя... Володя милый...»

Даже не удивилась она и не сказала ни слова, когда в зашуршавшем молодняке увидела близко от себя бирюзовую фуражку. Гременицын, подойдя, сел подле, крепко обнял Машу и нежно заговорил:

— Ну, так уж и быть, скажу я тебе, Машенька, свою тайну, слушай; ты слушаешь?

Маша молчала.

— Что? — капризно перебил себя Гременицын.— Ну, слушай же, Машенька: я тебя люблю.

Маша покачала головой.

— Ты мне не веришь, неужели? Не может быть, что?

В этот самый миг белое что-то, как снежный комок, шумно метнулось между ними: голубка, распахнув крылья, припала Маше на грудь.

— Что такое? Что случилось? — спрашивал Гременицын. Выхватив душистый платок, он потирал себе щеку: с размаху птица больно зацепила его крылом.

— Ничего не случилось. Это Гуля моя ястреба испугалась. Ястреб повадился летать в рощу, то и дело папашиных голубей таскает. Гулюшка, Гуля, не бойся, не отдам тебя, моя ты,— говорила Маша и гладила красноклювую голубку по белым перьям.

Резкий ястребиный крик прозвенел вдруг у них над головами. Голубка встрепенулась и, выпорхнув из рук у Маши, быстро взвилась. Тотчас же, просвистав бурыми крыльями, упал на нее с дуба ястреб, подхватил и понесся над поляной. Гременицын и Маша видели, как хищник опустился с добычей на суховерхий дубок, почти у самой опушки. Скоро к ним полетели по ветру перловые перышки и нежный как иней пух.

— Ох, не к добру это, не к добру. И со мной то же будет,— промолвила Маша. Слезы сверкнули у нее на ресницах и просыпались на колени.

— Кто же ястреб, я, что ли? — спрашивал Гременицын шутливо, но рука не подымалась у него обнять рыдавшую девушку.— Маша, полно, не плачь, люблю я тебя, ты милая, люблю, ну скажи мне, что любишь, скажи хоть одно слово, не может быть, что?

Маша плакала.

Глава третья

ПОРУГАННЫЙ ОБЕТ

Забыв расчеты, саблю, шапку,
Улан отправился домой.

Лермонтов

У корнета Мокеева сидели двое гостей: приятель его и сослуживец по эскадрону, корнет Пискунов, парень пожилой, неповоротливый и тяжелый, и земляк-односельчанин, пехотный бурбон,

поручик Иван Иваныч. Фамилии его и сам Мокеев хорошенько не помнил. Когда-то, в родном селе, были они шабрами, игрывали вместе в бабки, дрались и бузовали по чужим огородам; вместе их и забрили, только на службе пошли они по разным дорогам. Иван Иваныч угодил в пехоту и вдосталь понюхал пороху на своем веку. Сражался под Бородином, а потом переведен был на Кавказ; два раза был он ранен тяжело, четыре легко, контужен в шею и в пах и чуть-чуть не попал было в черкесский клоповник, захваченный абреками при переправе через Терек. Низенький, ловкий, сухой, по пехотному уставу, весь бритый, без бороды и усов — тертый калач,— Иван Иваныч на полинялом своем мундире развесил целую колодку медалей и крестов. Как старший чином, он сидел на почетном месте под образами и сыпал горохом прибаутки. Все три бурбона порядком успели выпить и закусить, и общая беседа шумела все развязней и веселей.

Горенка Евсея Семеныча убрана была скромно: сосновый стол под грязноватой суровой скатертью в переднем углу; справа от двери блин-кровать с ситцевыми подушками, пестрым одеялом и следами давленых клопов на гладко выбеленной стене; под иконами, на виду, патент на первый офицерский чин с арматурными украшеньями и восковой печатью, изрядно засиженный мухами; на лавке в картонных коробках амуниция, новые эполеты и парадные сапоги. Вся горница насквозь пропитана крепкой махоркой и неизбежным для истинного кавалериста запахом конюшни и навоза. В табачном дыму чуть желтел докипавший самовар. Уланы оба попыхивали из коротких трубок, а пехотный время от времени набивал высохший нос свой березинским табаком.

— Да,— вымолвил в раздумье Пискунов,— произошел ты, Иван Иваныч, немало. Не говори, что судьба.

— Судьба что? Дура она, старая девка. В тридцати двух сражениях был я, друг милый.— Иван Иваныч говорил пискливо, заносчивым резким говорком.— Курносую я, брат, в самые глаза видал, вот как тебя вижу. Не судьба, а Бог. Горжусь зато знаками отличий.

Иван Иваныч хлопнул себя горделиво по звякнувшим медалям:

— Гляди: вот Двенадцатого года: не нам, не нам, а имени Твоему, это вот за взятие Парижа, вот немецкий п а р а м е р и т, вот именной Георгий, это кавказские...

Евсей Семеныч покосился завистливо на блестящую грудь земляка.

— Оно, конечно, лестно. А только, значит, служба твоя все не то, что у нас в кавалерии.

— Чем же это не то, позволь спросить? — остробучился вдруг Иван Иваныч.

— Да уж, стало быть, не то. Известно, пехота. Пехота, не пыли.

Пискунов хрипло захохотал. Иван Иваныч покраснел и обиделся не на шутку.

— Однако прошу вас не забываться! — строго прикрикнул он на хозяина.— Я вам не пехота, а господин поручик. Извольте встать, господин корнет, когда говорит старший.

Евсей Семеныч растерянно приподнялся и встал во фронт. За ним, сопя, начал вылезать из-за стола дюжий Пискунов.

— Виноват, господин поручик.

— То-то. Садитесь, господа.

Иван Иваныч смекнул, что зашел далеко, и, видя, что оба корнета надулись, оборотил речь по-иному.

— А вот, не рассказывал я тебе, Евсей Семеныч, как мое поступление на службу произошло? Ведь я было в гвардию угодил, ей-Богу.

— Да ну? — удивился Мокеев, хмурясь.— Одначе прошу вас, милы гости, не гнушайтесь моего хлеба-соли.

— То-то и оно,— закусив торопливо, затараторил Иван Иваныч.— И как чудно это дело вышло, братцы. Пригнали нас, некрутов, в Царское Село. Перед самой войной ведь нас забрили, шестнадцатый мне шел всего, с государем императором я в один год рожден. Вот привели нас народу сотни полторы, встали мы это, ждем. Выходит государь покойный, Александр Павлович Благословенный, как сейчас его вижу, в сюртучке зеленом, шляпа с перьями. Нацелил на нас лорнет, пощурился, пощурился, кивнул: здорово, ребята! Пошел обходить по фронту. Идет, всех-то головой выше, а за ним хлигерь-адъютант кусок мелу несет на блюде. Взял мел государь и на грудях у нас литеры стал писать. Правофланговому — здоровенный был парень, косая сажень — так с маху покой и вывел, значит — в преображенцы; кому иже — тот в Измайловский, како — в кавалергарды, так всех и перебрал. А подступил к нам на левый фланог, улыбнуться изволил и мел положил на блюдо. Тут стояло семеро нас, останных, и всех обратно увели и в армию записали. Ростом не вышли, значит.

— Чай, влетело капитану-то за вас? — спросил Пискунов.

— За что? По росту и мы в конноегеря годились, а просто не показались его величеству.

Иван Иваныч понюхал табаку и чихнул в красный платок. Корнеты дружно пожелали ему здоровья. По этому случаю выпили еще и еще. Хозяин развеселился.

— Хошь, Иван Иваныч, представлю тебе кавалерийский сигнал? Ты, чай, не слыхивал?

— Ну вот, не слыхивал, невидаль какая. А впрочем, покажь. На трубе сыграешь?

— Зачем на трубе? Голосом пропою. У нас командир слова свои прибрал ко всякому сигналу. Хошь рысь тебе изображу?

— Валяй рысь.

Евсей Семеныч стал среди комнаты, надулся, приложил ладонь к губам на манер трубы и пропел фальцетом:

— Рысью размашистою,
Но не распущенною,
Для сбережения коне-е-ей!

Сигнал вышел так похож, что с коновязей ему отозвалось ржанье.

Скоро приятели расстались. На улице Пискунова и Иван Иваныча обогнал верхом Кисляков. Сухо козырнув бурбонам, поручик дал мерину шенкеля и подскакал к гремеництынским воротам. Санкюлот, разряженный, грыз перед калиткой на скамье орехи.

— Дома барин? — крикнул Кисляков.

Камердинер, не торопясь, встал, стряхнул с пестрого жилета скорлупки, оправил заботливо куцый светло-голубой фрак и, не удостоив поручика поклоном, отвечал сухо:

— Их нету-с.

— Где ж он?

— Изволили уйти-с.

— А куда, не знаешь?

— Когда бы я был ихним солдатом, на манер денщика, тогда я по должности обязался бы об этом знать-с, а как мое дело в комнатах, то я ничего не знаю-с.

— Ты уж, кажется, слишком того, любезный... Смотри.

— Смотрю-с.

— Возьми лошадь, я в рощу пешком пройду. Он, наверно, там.

— За лошадьми чужими смотреть опять не мое выходит дело, потому я не вестовой.

Кисляков соскочил с седла и повернул на зады тропинкой. Долго Санкюлот, грызя орехи, ворчал про себя, потом кликнул со двора солдата и велел увести поджарого кисляковского мерина в гремениицынскую конюшню.

— Лошадь тоже, прости господи... Эх! Да нешто это полк! Сказано, армия, так армия и есть.

Кисляков и сам в точности не знал, на что ему нужен Гремеництын. Дела у него к приятелю никакого не было и быть не могло: виделись они утром, у обедни. Но таков уж характер был у поручика, что двух часов не мог он прожить без товарища: и пяльцы не помогали. Сшибая манежным бичом репейники по дороге, Кисляков огородами быстро дошел до тенистой рощи. Послеобеденное солнце начинало чуть-чуть сдаваться, убавляя свой безмятежный и ровный жар. Не доходя до старого дуба, Кисляков услышал голоса и на скамейке разглядел Машу и Гремеництына. Он хотел окликнуть их и подойти, но какая-то сила, будто против во-

ли, принудила его остаться в кустах и прислушаться к разговору.

— Так, не дашься, не дашься, что? А хочешь, я тебя взнуздаю?

— Уж и взнуздаете, что я, кобыла вам далась?

— Ну, поцелуй же, Машенька!

— Не хочу, сказала.

— Так вот же тебе, вот!

Гремеиицын обхватил белыми ладонями румяное Машино лицо и зацеловал ей без конца пышные щеки, сахарно блестящие зубы и полузакрытые влажные глаза. Маша, сдерживаясь, визжала. Звонко хохоча, сорвала она с Гремеиицына фуражку и вцепилась, шаля, в мягкие волны его кудрей. Взвизги, поцелуи и смех таяли без остатка в знойном, насыщенном тишиною дне. Кислякову завидно сделалось и досадно даже; он и губы от обиды ревниво распустил. Придумывая, как бы уйти незаметней, он попятился легонько в кусты, стараясь не звякнуть, и вдруг услышал позади чей-то тяжелый, с одышкой, военный шаг. Из кустов, чуть не задев Кислякова эполетой, вылез бурбон Мокеев и устремился прямо к скамейке. Увлеченные любовной борьбой, Маша и Гремеиицын до тех пор его не замечали, пока Евсей Семеныч не дернул товарища за рукав.

— Ах! — воскликнула Маша, закрываясь.

— Что? — оборотился небрежно Гремеиицын.— А, это вы...— И, нахмурившись, засвистал.

— Дозвольте вас спросить, как должон я обо всем эфтом понимать? Марья Степановна, ежели вы моя, к примеру сказать, невеста, то от вас теперича чего же я ожидать могу?

Маша молча закрывала руками пылающее лицо. Гремеиицын свистал и хлыстиком постегивал себя по шпорам.

— Извольте отвечать, господин корнет,— продолжал Евсей Семеныч, молчание Гремеиицына объясняя робостью и смущеньем.— Какие ваши права?

— Уходите,— сказал Гремеиицын, не подымая глаз.

— Как уходи? От своей-то невесты да уходи? — Евсей Семеныч все громче забирал голосом, петушился и смелел. Без сомнения, храбрость свою почерпал он также в винных парах, с утра раздышавшихся в его стриженой голове и теперь ударивших сразу ему в виски и в шею. Кругом его все как будто позеленело.— Нет, уходить это тебе надо, а не мне.

Тут произошло такое, чего и предвидеть никто не мог. Гремеиицын, вспыльчивый от природы, в припадке гнева мог позабыть все на свете. В безмолвии ярость его лишь пуще сбиралась и копилась, как грозовая туча, но, сознавая в глубине сердца себя не вполне правым, он ожидал, что бурбон побоится затевать и с т о р и ю и уйдет. Когда же Мокеев, мало того что позволил себе повысить голос, а еще дерзнул обратиться к нему, Гремеиицыну, на

ты, молодой корнет вспыхнул разом, как пороховой погреб. Из глаз его вылетели две молнии; обезумев от гнева, он вскочил, бешено затопал ногами и заорал:

— Пошел прочь, мерзавец! Как смеешь ты со мной так разговаривать, хам!

При грозном окрике все офицерское благородство слетело с Евсея Семеныча, как с гуся вода. Привычным движеньем он быстро сорвал с головы фуражку и, вытянувшись, вскрикнул:

— Виноват, ваше благородие!

Такое подлое самоунижение еще сильнее взбесило Гременицына. Не помня себя, он замахнулся хлыстом и, скрипнув зубами, хватил по лицу бурбона. Мокеев моргнул и дернулся щекой, но по-прежнему остался стоять неподвижно, глядя в глаза корнету. Маша, всхлипывая, кинулась бежать и исчезла в опушке. Гременицын очнулся.

— Не может быть, что? — сказал он, по привычке небрежно, чувствуя между тем, как сердце тяжело сдавила ему ледяная какая-то, небывалая тревога. Он отвернулся от Мокеева и опять стал стегать себя по лаковым голенищам. Сознание того, что случилось, еще не вполне стало ясным ему самому; он чувствовал только, что теряется совершенно.

Бурбон, напротив, ободрился и понял, что дело поворачивается на новый лад. Вспомнив, наконец, что и на его плечах такие же точно эполеты, как у Гременицына, и что по уставу он все-таки благородный и офицер, Евсей Семеныч стал вольно и принял обиженно-самолюбивый вид.

— Как же нам теперича все это оборотить? — спросил он.

При первом звуке его голоса Гременицыну полегчало. Еще ничего не обдумав, он полусознательно чутьем уяснил себе, что с бурбоном дело можно уладить легко и просто: дать ему, сколько запросит, благо никто не видел, и приказать молчать. Еще отрадней мелькнуло в его сознаньи, что Маша теперь уж совсем его. И, выпрямившись, он твердо встретил насупленный взгляд бурбона.

— Идите, я вам после скажу.

Мокеев повиновался и покорно зашагал тропинкой. Гременицын, посвистывая и играя хлыстом, глядел ему вслед, и, только когда красный затылок Евсея Семеныча скрылся, наконец, в кустах, он, обернувшись, увидел перед собой как полотно бледного Кислякова. Гременицын уронил хлыст. Опять ледяная тяжесть глухой доской надавила ему грудь.

— Ты видел?

— Видел, mon cher.

— Что?

Глава четвертая

СУД ЧЕСТИ

Блестящий прядью винтишкета
Семья улан закреплена.

Фет

Командир Великославских улан, полковник, барон фон Кнабенау, поступил в полк сержантом в девяностых годах, при императрице Екатерине. Тогда еще в легкой кавалерии не было вовсе улан, а были одни гусары. В те времена барон был пухлый, розовый, как сдобная булка, немчик, смазливый, с маслеными глазками, всегда в чистеньком зеленом доломане, с толстой русой косой и плетеными длинными вискáми, падавшими из-под высокой меховой шапки на полудетские его плечи. С полком барон сделал все походы, от Измаила до Варны. Теперь, в шестьдесят с лишком лет, из белокурого полковник стал черным, как цыган, и из добродушного строгим: свои скудные, зачесанные на голый череп космы и длинные усы красил он венгерской глянцевитой, как вороново крыло, помадой, а по мере возвышения в чинах нравом делался все суровее и лютее. За всю долголетнюю службу свою барон Кнабенау не бывал подвержен ни винному запою, ни картежной горячке, и единственной его слабостью, известной хорошо сослуживцам и высшему начальству, был прекрасный пол. Перед дамами суровый наездник истаивал в нежных чувствах и никогда прелестницам не мог отказать ни в чем. Многие красотки пользовались слабостью старого улана, снискивая всякие льготы балованным братцам и дружкам. Долгое и усердное служение Венере без награды не осталось: признательная богиня наслаждений расписала барону щеки и лоб белесовато-медными пятнами и пережабиной выгнула орлиный рыцарский нос его. Подступившей старостью не смущался лихой полковник и по-прежнему атаковал лукавых красавиц, закручивая смоляные усы и стремительным бурным натиском решая победу. Ко всему сказанному остается еще добавить, что, прослужа в армии полных сорок пять лет, барон Кнабенау так и не выучился как следует говорить по-русски и ломал российский язык, как самый немецкий немец.

Был час вечернего кофею, но за круглым столом полковник сидел одиноко, в застегнутом, несмотря на июльский зной, на все пуговицы и крючки мундире и при орденах. Потягивая из солдатской с перцевым коротким чубуком трубки Жуков благоуханный дым, барон хмурился, фыркал, вздыхал так, что вздрагивали, сотрясаясь на плечах, густые тяжелые эполеты и в сердцах сам прерывал свои думы досадным восклицаньем:

— Фуй!

Было о чем беспокоиться командиру великославцев. История в роще успела разнестись не только в полку, но и по всей дивизии. Адъютант вчера еще говорил, что Екатериноградским гусарам и Мариинским кирасирам давно уже все известно. Главную причину беспокойства для полковника являл Мокеев. Ежели бы Гременицын повздорил и даже подрался с кем угодно, со Звягиным, с Кисляковым, даже с Кантом, барону совсем бы и тревожиться не пришлось. Даже докладывать бы ему не стали, а прямо разделались бы между собою на саблях или на пистолетах, и знать бы никто ничего не знал. В случае смерти, умер, мол, от неизвестной причины, и конец. А тут не то: тут бурбон замешался, мужик, хамово отродье. Разве законы чести, да еще чести военной, писаны для таких скотов? Как будет с ним драться Гременицын, когда третьи сутки идут, а бурбон и не думает посылать вызов? Да и как вел он себя — фуй, фуй! — стоял под хлыстом без шапки, прощенья просил, что же это такое? А главное, чего больше всего на свете боялся полковник,— это что по подлости и глупости своей бурбон способен рапортом донести о происшедшем по команде, и тогда... прощай тогда былая слава Великославских улан и честь их командира, полковника барона фон Кнабенау! Доведут тотчас же до сведения государя, и... Барон зажмурился даже, вспомнив живо последний высочайший смотр, когда перед самым церемониальным маршем, в виду всей свиты и иностранных гостей, какой-то драгунский солдат дерзнул, подскакав, подать прошение государю. Огромные, как две чаши синего вина, глаза Николая Павловича заискрились от гнева; золотой орел на его кавалергардском шлеме дрогнул и, казалось, зашипев от злобного изумленья, еще шире распростер свои литые крылья. В мертвой тишине могучий голос царя прозвучал по фронту ясным звоном ударивших друг о друга серебряных щитов:

— Предать негодяя военному суду.

И через двадцать четыре часа гладко утоптанная яма указывала место, где совершился суд.

Нестройное и путаное течение бароновых мыслей прервано было приходом шестерых эскадронных командиров с Кантом во главе. Обычно в случае появления офицеров в передней брякал ржавый звонок, денщик бежал докладывать полковому командиру, и гости вступали в баронову зальцу хоть и по форме одетые, но запросто, в сюртуках, причем с полковником держали себя почтительно, но без особых стеснений. Теперь же все шестеро взошли без звонка в незапертую дверь, и доложить о них некому было: барон еще с обеда приказал денщикам ранее девяти часов домой не приходить. Одеты все шесть ротмистров были в парадную форму и сели, по молчаливому приглашению командира, чинно, не говоря ни слова. Вслед за ними без перерыва пошли являться младшие офицеры: полковой штаб-ротмистр Ренненкампф, штаб-ротмистры Берсенев и Дубовицкий; поручики Звягин, Ботвиньев, Шан-Гирей, граф Роланд, Мангушко, Кисляков, фон

Энзе; корнеты Гременицын, Озеров, братья Герке, Пальчиков, Зеленецкий и другие. Комната переполнилась офицерами. Последними взошли Мокеев и Пискунов. Оба бурбона, видимо, были взволнованы и подавлены предстоящим: белые перчатки взмокли на дюжих руках Мокеева, а запахи конюшни и нежинских корешков перешибали одеколонный аромат со звягинских кудрей и даже острое гременицынское пачули.

Уланы собирались в полном молчании; никто не произнес ни слова, слышалось только бряцание шпор и сабель, шарканье стульями и сдержанный редкий кашель. Когда все разместились на скамьях, стульях и подоконниках, глядя в глаза командиру, барон слегка дрожащими пальцами набил себе трубку, закурил от высеченного адъютантом огня и, затянувшись, поспешно начал:

— Господа офицеры! Я ставил себе за долгом приглашайт вас нонече для совет. И я сам знаю, и ви все знайт сей прискорбни случай, о котором докладывал мне командир шестого эскадрона. Корнет Гременицын оскорбил корнет Мокеев: ударил его на лицо. По какой причин он ударял его, есть дело не наше. Но наше полковой дело будет честь полка. Прибитый офицер имеет грязный лицо и вымывайт это свое лицо обязан есть только кровью. То дело мы обсуждал и решали: корнет Мокеев вызывайт корнет Гременицын на дуэль.

Мокеев поднялся весь красный. Он сопел и переминался.

— Ви слышал, что вам говорит командыр? Ви должен есть драться.

Мокеев натужился с усилием, и на багровом лице его заранее можно было прочесть ответ, который выпалил он, глядя в упор на командира:

— Никак нет, господин полковник.

— Как нет! — взвизгнул, будто ошпаренный, полковник.— Как нет! Но ви носит наш славный эполет!

У Мокеева на красную уланскую грудь заструился горячий пот. Он отстегнул третью пуговицу, вытащил по форме сложенный лист и протянул командиру.

— Что такой?

— Рапорт об отставке. Дозвольте уйти из полка.

Полковник развел руками и склонил беспомощно лысую голову с редкими прядями крашеных косиц. Офицеры зароптали. Бурбон недоумевал.

— Да разве зе вам мозно теперь в отставку? — сказал грубо Мокееву его начальник, командир шестого эскадрона, ротмистр Алфераки, носатый маленький грек, с желтыми белками, вечно нахмуренный и сердитый.— Этакую историю развел, а потом в отставку.

— Какую историю я развел, господин ротмистр?— возразил Мокеев.— Меня прибили, да я же и виноват?

— Молчать! — закричал полковник.— Ви не смейт так разговаривать! Ви трус!

Он выхватил из рук Мокеева рапорт, разорвал на мелкие клочки и яростно истоптал ногами.

Тут из группы эскадронных командиров выделился Кант и густым кашлем подал знак, что хочет заговорить.

— Господин полковник и господа офицеры! — Все притихли, навострив уши.— До утра будем толковать, а все не договоримся. Черного кобеля не отмоешь добела. Ясней бы сказать, да эполеты на нем наши, а оскорблять полк я не хочу. Только думаю так, что, покудова он их носит, последнее слово будет за командиром.

Барон понял. Желтые пятна на смуглом лице его порозовели. движением руки установил он полную тишину и торжественно приподнялся с кресла. Встали все. Мокеев тупо глядел на командира.

— Корнет Мокеев,— строго заговорил полковник.— Я буду отдавайт вам приказаний по служба. Завтра ви будет драться с корнет Гременицын.

Все уставились на бурбона. Он вытянулся, руки по швам.

— Слушаю, господин полковник.

Вздох облегчения провеял по комнате. Все повеселели.

— Господа субалтерн-офицеры,— продолжал полковник,— извольте идти на свой дело.

Младшие офицеры откланялись и быстро, с легким жужжащим говором почти выбежали один за другим из баронова дома. В окно слышно было, как полковник, похлопывая Канта по плечу, весело говорил:

— Толковайт об условиях дуэля ми будем после, а теперь, я думаю, господа, не мешайт нам задать маленьки пуншаций. Прошу вас, снимайт вашу униформу и садитс за стол.

Два денщика поставили бережно перед бароном пылающую миску с пуншем.

Мокеев и Пискунов возвращались вдвоем. Близость ли опасного поединка, измена ли любимой невесты, другие ли какие причины произвели в характере Евсея Семеныча внезапную и решительную перемену. Он перестал походить на бурбона и будто утратил сразу все типические свои черты. В походке и во всем поведении Евсея Семеныча засквозило нечто совсем иное: он раскис, стал говорить нараспев, подпирая ладонью по-бабьи щеку и поглядывая на товарища телячьими глазами. И вид у него вдруг сделался такой, точно для смеху перерядили его в уланского корнета.

— Эх, брат, Петр Иваныч,— сказал он, почесавши за ухом,— убьют меня завтра господа.

— Ну, не говори, еще неизвестно.

— Убьют, беспременно убьют, вот поглядишь сам. Эх, жисть! И тут тебе незадача. Только было в люди вышел, офицер, этта и

все, мне бы, дураку, в отставку, так нет: жадность одолела. Дослужусь, мол, до эскадронного. Вот те и дослужился.

Пискунов молча сопел.

— И чудно эфто, Петя: сколько годов я деревни не видал; забыл, стало быть, вовсе мужицкую нашу жисть, как и что. Да оно и некогда: зимой в казарме, летом на траве, все служба да служба. А тут, намедни, как он меня хлестанул и пошел я этта из рощи, встречь мне ровно бы дымком, знашь, потянуло маненько, курным дымком. Тут я все и вспомнил. И деревню вспомнил, и улицу, вот как на картинке: журавец этта и бадья, стадо гонят, ну, вот тебе все до малости, как есть. И еще вспомнил, как матка, бывало, под праздник блины яшные пекла, и так мне блинов эфтих самых захотелось, знашь, с конопляным маслом, горячих. У нас ведь в Лукояновском все конопля, и дух от нее чудесный, по полям та́к и плывет и плывет... Петь, а Петь?

— Ну?

— Прощавай покуда. До завтраго. Ты у меня эфтим, как его... секу... секундором-то будешь?

— Сикундатом? Я, а то кто же? Ты спать?

— Высплюсь, пораньше встану. Как еще Бог поможет. Так не робить, что ли?

— Чего робить? Для виду все. Пальнете мимо по разику, а там и рапорт твой полковник честь честью примет. Балуются господа.

Евсей Семеныч распрощался с товарищем, но не до сна ему было. Не то зашевелилось у него в уме. В три минуты по темным задам, где в росистой крапиве кузнечик оглушительно трещал в самые уши и охали сычи, мимо взлаивающих пугливо сторожевых псов, бегом спешил Мокеев к фершалову домику, перемахнул плетень и, крадучись под забором, подступил к заветному окну. Он не обманулся в ожиданьи. Маша у окошка глядела на голубую холодную луну и вздыхала, слушая запоздалого комара, напевавшего ей уныло. Увидя жениха, она вздрогнула, но не отвернулась.

Заплясавшие непослушно губы не сразу дали бурбону заговорить.

— Ма... Маша... Марья Степановна.

Евсею Семенычу всей душой хотелось сказать много хороших слов, но язык, неповоротливый, как колода,— бурбонский язык,— понес свою чепуху.

— Дозвольте объясниться. Как ежели я посмел вас беспокоить, то не иначе как в сем приятном упованье...

Бледные губы Маши открылись, и бурбон услыхал:

— Подлец ты постылый, рябая рожа. Ненавижу я тебя, будь ты проклят, анафема.

Окошко захлопнулось, и Маша исчезла.

Странное чувство родилось тогда в размягченном сердце бурбона. Машины слова будто чародейством каким превратили серд-

це его мгновенно в холодный камень, и в то же время злоба, бешеная и страстная, так жарко заклокотала в его густой крови, что, кажется, попадись Мокееву сейчас Гременицын, он бы убил его на месте. Самые шаги бурбона отяжелели, как будто толстые голенища его налились злобой, и погребальным звоном мерно и глухо вызванивали уходящие шпоры: месть! месть!

По мере того как удалялся Евсей Семеныч от Машиной избы, с другого конца к ней подходил Гременицын. Заслышав знакомую быструю походку, Маша по пояс высунулась из окна и обхватила жадно горячими руками надушенную голову стройного красавца в бирюзовой фуражке. Гременицын поднял ее на руки и понес.

— Куда ты? Пусти,— шептала Маша.

Оба остановились, оглянулись и быстро, взявшись за руки, побежали к роще.

Бессонные совки и надоедливые сычи долго пищали, сдуру дразнясь и покрикивая на дремотную луну, а у старого дуба, на скамейке, звучали поцелуи. Величавый лесной царь, гордый доверием влюбленных, благословляя, простирал над ними мощные свои ветви.

Все было понятно теперь и ясно обоим. Завтра Гременицын проучит для виду глупого бурбона, потом дождется перевода в гвардию и увезет с собой Машу в Петербург. Яркие картины грядущего проплывали перед счастливцами стоцветной шехерезадой, и только когда красноперые цапли замахали крикливо навстречу новому солнцу, любовники вернулись, наконец, от счастья к жизни.

В семь часов брызнул и тотчас рассеялся мелкий дождь. Гременицын и Кисляков проскакали рощей, спеша к месту дуэли.

У скамьи под старым дубом трава была примята и голубел забытый кисейный шарфик. Гременицын вздохнул.

Ротмистр Кант, с согласия полковника, выбрал поединок на саблях. Противники, крепко сцепившись левыми руками, после команды дают друг другу по одному удару. При крайней жестокости своей, дуэль эта наименее опасна. Не у всякого хватит духу рубить человека насмерть, стоя лицом к лицу.

Врагов развели. Мокеев тупился, сгорбясь. Молча выслушал он наставления и наказы Канта.

Гременицын с отвращением почуял, как цепко охватила руку ему потная лапа бурбона.

Кант крикнул команду: раз, два, три!

Бурбон не двигался и не подымал глаз, только рука его стискивала все крепче холодные пальцы Гременицына.

Владимир Николаич поморщился и ударом наотмашь сбил плашмя с головы Мокеева фуражку. В тот же миг бурбон дико поднял кровавые глаза, и Гременицын зажмурился невольно, встретя их медвежий, освирепелый взгляд.

Со всей силы обрушил Мокеев удар свой на голову врагу, крякнув, как будто рубил капусту. Греминицын свалился. Голова его разъята была надвое вместе с фуражкой; тяжелая сабля с маху перешибла тонкое переносье и вытекший левый глаз и застряла в белых зубах, раздробив свежевыбритый подбородок.

Секунданты в тупом оцепененьи глядели на дергавшийся последними судорогами труп. Кровь, струясь ручейком, мочила подошвы Кислякову. Бурбон, стоя над покойником, ревел в голос, как баба, и крупные слезы дробно бежали по рябым щекам.

Июль 1912
Пятигорск

ЯБЛОЧНЫЙ ЦАРЕК

I

Под самое под утро, как вставать, Василию Иванычу Хлопову пригрезился сон чудной. Стоит это будто он у себя в саду, а кругом все яблоки, да все спелые да большие; так и виснут, так и тянутся к земле с жирнолистных тяжелых веток: насилу подпорки держат. И залюбовался яблоками Василий Иваныч. Вдруг, видит он, одно яблочко спрыгнуло тайком в траву, за ним другое, третье; покатились, шурша, прямо под ноги хозяину, будто живые; отовсюду сыплются, жмутся, встают, подымаются ряд за рядом, все выше, выше; вот окружили, стиснули, не вздохнуть: с головой засыпали, душистые, теплой грудой. Пробудившись, охнул Василий Иваныч, очнулся, ан это Аксюша прижала его ненароком во сне сладкой наливной грудью. Луч из-под занавески по спальной заерзал, серебряный луч, холодноватый: хоть и хорош, видно, будет день, да уж жаркой летней истомы от него не дождешься: миновала. Набросив на пышные плечи сарафан, босиком прошлепала Аксюша в прохладные сени: пора вставать.

Василий Иваныч потянулся на скрипучей нагретой кровати, зевая; разлепил еле-еле заспанные веки. Голова у Василия Иваныча круглая, румяная, с седыми волосами ежом; сам он пухленький, коротконогий, как есть купидон. Что Василий Иваныч барин добрый, это всякий скажет, только что бабник лютый, одна беда. Ни одной юбки не пропустит. Ежели своя крепостная приглянется, та́к возьмет; соседскую купит либо украдет; вольную деньгами, а то нарядами прельстит. Любую бабу лисой обойдет, а своего добьется.

Малость полежав, нащупал Василий Иваныч на столике серебряный в виде чеканного греческого шлема колокольчик и позвонил три раза. В спальную тотчас вбежал казачок Ягутка, шустрый малый в серой куртке с патронами на груди. Первым делом Ягутка оконную занавеску сдернул. Солнце плеснулось в стекла. Лосьи черепа с ветвистыми рогами глянули со стен; ниже, под ними, на медвежьих шкурах блеснули ружья, кинжалы, пистолеты. В переднем углу о́бразной семейный кивот с зеленой лампадой. И всюду яблоки: по углам, и на подоконниках, и в корзинах, и прямо на полу; все крупные, свежие, и дух от них чудесный. Ды-

шать привольней, когда яблоков в доме много: в груди будто ветер веселый ходит.

Потом Ягутка, черненький и проворный, как мышь, туфли насунул Василию Иванычу на ноги и на дебелые плечи халат татарский накинул. Забегала бритва, скрипя по серой щетине. Ягутка бреет Василия Иваныча, а сам все посматривает да ждет, не заговорит ли с ним барин. Но барин помалчивал, и, только когда одеколоном обтер ему казачок круглое лицо, Василий Иваныч кивнул на осевшую с жесткими сбритыми волосками мыльную пену.

— Оставь.

Ягутка ухмыльнулся.

— Слушаю-с. Прикажете к обеду?

Василий Иваныч поднес, задумчиво улыбаясь, к носу казачка пухлый свой палец с железным масонским перстнем. Смешливые морщины поползли к нему на румяный лоб.

— Тебе ведь пятнадцатый пошел, Ягутка?

— Шестнадцатый, сударь.

— Женить тебя, братец, пора. Желаешь?

— Воля ваша.

— Аксюшу посватаю за тебя. Что?

— Так-с, ничего.

— Небось, не женю. Женатый что за слуга? Проживешь и так.

Ягутка вздохнул.

— Пожалте чай кушать.

Василий Иваныч неслышно в туфлях прошел через сени на крытую узкую террасу. Хоть дом и не больно велик, да хороши зато кладовые: каменные, просторные, всякого добра вволю. Покойный родитель Василия Иваныча, генерал-лейтенант Хлопов, сражался с французами в двенадцатом году и награжден был от Благословенного по заслугам. Дом этот он построил и прожил здесь целый год. Да никак привыкнуть не мог генерал к деревне, скоро заскучал и в Питер собрался с сыном; там и помер за зеленым столом, держа в простреленной под Бородином руке вистовую марку. Василий Иваныч перевез родительский гроб в деревню; думал было тотчас вернуться в столицу, доучиваться хотел, да отложил сперва на годик, там на другой, а потом и вовсе рукой махнул. Так день за днем, год за годом, глядь — и прошмыгнуло ровнехонько сорок лет. Что ж? Сказать правду, даром, что ль, жил в вотчине Василий Иваныч? Сад-то какой развел, другого не сыщешь такого по всей губернии. Яблочным царьком недаром слывет в округе. «Хлопов? какой еще Хлопов? Василий Иваныч? А, так ведь это наш яблочный царек! Да». Смотрит на свой сад Василий Иваныч из-за точеных перил, пускает самодовольно синие кольца Жукова из черешневой длинной трубки.

Сад, раскинутый на двенадцать десятин, весь искрился и сверкал под солнцем. В весеннюю пору трепещет он под лебяжьим

нежным, как одуванчик, пухом и белеет издалека, будто вымазанный сметаной. В майский полдень, не шелохнувшись, замрет в истоме, а над ним так и стонет, так и журчит, распевая, жаркий пчелиный гуд, и переливами сладкими ветер, вея, мчит от него воздушные, дышащие медом волны. К лету ближе начнет сад темнеть, румяниться, загорать, станет голубоватым, голубым, синим, сине-лиловым, а там незаметно расцветится весь белыми и красными полосами. Но нет лучше времени, как сейчас: яблоки все до единого поспели и налились сластью; тяжелый апорт сквозит расплавленным янтарем, румянец на красном наливе рдеет, как у новобрачной, круглый анис будто облит кровью, и крепкая зелень антоновки засмуглела, а в украинский сочный ма́лет солнце, брызнув горячим пурпуром, застеклило застывшие ярко пятна матово-белой кожей. За ленивыми листьями яблоки, те, что постыдливей, прячутся, тайком улыбаясь хозяину, как красные девицы, а другие напоказ обнажают смело свою красу. И дрожит, переливается сад под зеркальными утренними лучами, и далеко, куда глаз ни хватит, в светлой тишине все те же нежные колышутся переливы, все тот же пурпур, и отблески, и сверканья, и ярь медяная, и золото, и янтарь.

II

На террасу вынес расторопный Ягутка чаю на подносе. Василий Иваныч, поглаживая мягкие щеки, пыхнул раза два из трубки, передал ее казачку и прихлебнул.

Тут зазвенел вдруг издали откуда-то развеселый колокольчик, тонкий, как стеклянная трель; утихнув на миг, залился и опять пропал; вот, вынырнув снова, звякнул заливисто и засмеялся ближе.

— Дормидонт Петрович приехали,— заметил Ягутка.

Колокольчик будто пригоршней мелкого серебра по стеклянной доске ударил; гулко жужжат веселыми шмелями басистые глухари; кучер, видать, своего дела мастер: на всем ходу придержал кнутовищем зычный колоколец, и под медовый хохот бубенчиков рьяная тройка вкатила на барский двор бережно и плавно.

— Дормидонт Петрович, сосед дорогой! Здравствуйте! Ягутка, шевелись, братец! Чаю Дормидонт Петровичу!

— Нет уж, от чаю увольте, Василий Иваныч,— загремел, задыхаясь, Дормидонт Петрович Мухтолов, отставной майор, толстый и дюжий, в архалуке клетчатом и в красном гусарском картузе. Вылезши из коляски, майор разгладил любовно обеими руками огромные, до плеч, черные с желтой подпалиной, как два волчьих хвоста, усы, обнял хозяина и расцеловался с ним звонко.

— Нет, за чай премного благодарствую, Василий Иваныч, нет ли у вас другого чего погорячее?

— А не рано ли будет?

— Эва! Оно и видать сразу, что штатский вы человек. В полку, бывало, встанешь это утром, хватишь чарки четыре рому

заместо чаю да так и ходишь потом день целый злющий, как клоп. А вот под Варной мы стояли...

— Приготовь закусить, Ягутка. Что ж, по саду покуда погуляем, Дормидонт Петрович?

Майор, подмигнув лукаво, выставил желтые зубы из-под пушистых усов.

— Неужто забыли, Василий Иваныч, уговор-то наш? А я помню.

— Какой еще уговор?

— Опять штатский, дважды штатский и трижды штатский! Много ль намедни выпили, а уж и память у вас отшибло.

Пока Василий Иваныч, недоумевая, потирал подбородок и морщил розовый лоб, насасывая янтарь успевшей погаснуть трубки, майор, суетясь, поспешно вытащил из дорожного баула обтянутый зеленым сафьяном плоский ящик. Упали быстро отстегнутые ремни; сверкнула красного дерева, изукрашенная перламутром, с серебряными, гербовыми на углах, скобками крышка. Все подмигивая и хитро улыбаясь в усы, Мухтолов ключиком отпер ящик. На фиолетовом бархате ослепительно заиграла золотой насечкой пара великолепных лепажевских пистолетов.

— Вспомнил! — взмахнув чубуком и осыпая себя золой, вскричал Василий Иваныч.— Ведь мы поспорили с вами тогда, кто лучше стреляет.

— Правильно-с! Точно-с! Нанесли вы мне тогда немаленькую обиду: стрелять-де я не умею. Это я-то, майор Мухтолов, эскадронный командир, старый гусар Ахтырский! Чтоб я не умел стрелять! Атанде, сударь, атанде-с! Кабы только не старость моя, хоть сейчас под Севастополь. Уж я показал бы этим туркам-подлецам, где раки зимуют!

Фыркнув гордо, грудь вперед, майор лихо взбежал на крыльцо с ящиком в руках. Покуда Василий Иваныч приказывал вполголоса казачку, а мухтоловский кучер под навесом выводил, распрягая, серых жеребцов, в сенях раза два подымался бабий визг, беготня, крики и раскатистый гусарский хохот. Скоро показался сам Дормидонт Петрович, крутя могучие усы и сверкая зубами. Копна с проседью черных густых его кудрей была всклокочена и щека пылала.

— Баб ваших шуганул; заспались больно. Распустили вы их совсем, Василий Иваныч. Какая это там черненькая у вас? Новая? Что-то не видал.

Василий Иваныч замигал, сощурившись желтыми бровями, взял не спеша у Ягутки раскуренную трубку, затянулся и, хмурясь слегка, выпустил струю дыма.

— Левашовская, солдатка.

— Хо-хо! Да вы не серчайте, Василий Иваныч. Я было ее того, так она меня... Хо-хо! Лизнула всей пятерней по щеке да в волосы вцепилась. Огонь-бабенка.

Василий Иваныч улыбнулся во весь рот.

— Так вам и надо. Не лазьте по чужим бабам.

III

В столовой ожидала легонькая закуска: к четырем разноцветным графинчикам присоединились грибы, огурчики и прочая снедь. Чокнувшись с гостем, Василий Иваныч прошелся вразвалку по столовой, взял со стола свежее яблоко, наливное и твердое, как кремень, и, закусив его острыми зубами, звучно хрустнул.

— А вы все яблочком,— заметил Мухтолов, прожевав алый ломоть тонко нарезанной провесной ветчины.

— Привычка, Дормидонт Петрович. Всю жизнь свою яблоками сыт. Ими и здоровье сохранил. Не в шутку говорю вам, слыхал я достоверно, что для здоровья яблоко самый полезный фрукт. И то сказать: сейчас мне шестьдесят первый, а я еще хоть куда.

Майор захохотал.

— Еще бы: сказано, яблочный царек! Яблоки да бабы у вас за первый сорт.

— Готово, сударь,— молвил, взойдя, Ягутка.

— Ну-с, Дормидонт Петрович, пойдемте-ка в залу. Ты, Ягутка, все это, там, наливки, грибки, снеси туда.

Хозяин и гость из столовой, минуя кабинет, прошли темноватым коридором в паркетную залу, высокую, с развалившимися белыми хорами наверху и со вздрагивающей под потолком огромной хрустальной люстрой; широкие подвески на ней казались точенными изо льда. Кроме трехногого ветхого фортепиано, мебели в зале не было никакой, и только громоздились по углам свежие кучи яблок. С белых стен на взошедших посмотрели три портрета. На одном опирался на трость, улыбаясь добродушно, дед хозяина в камзоле и белых буклях; со второго величаво взирал, воздвигая подобные крыльям эполеты, покойный его родитель, а подле в золотых рамах скромно потупляла васильковые очи под белым кружевным покрывалом красавица мать его. К простенку промеж двух мелкостекольных окон Ягутка прислонил толстую дубовую доску в сажень вышины; на доске углем выписан был ровный кружок с точкой посередине.

Майор зарядил пистолет, выпил, не торопясь, две рюмки сливянки и закрутил, искоса любуясь, лихой ус.

— Как же мы будем стрелять, Василий Иваныч, из чести или на интерес?

— Зачем же на интерес, Дормидонт Петрович? Ведь мы дворяне.

— Так-то оно так, а из одной чести скучно. Разве вот как: первый пяток из чести, а там на интерес?

— Ну что ж, идет. Орел или решетка?

— Орел.

Целковый звонко стукнул о паркет и, пострекотав на месте, улегся перед майором.

— Мне начинать.

Дормидонт Петрович засучил по локоть рукав, отошел к са-

мой двери и поднял пистолет. В облаке синеватого дыма блеснул выстрел. Пуля наметила в круге узкую дыру.

— Вот как стреляют старые гусары! — провозгласил торжественно майор.— Ну-ка, махните вы теперь, погляжу я на вас.

— Что ж, и махну. Ягутка, где пистолет?

— На портефьяне, сударь. Я зарядил-с.

Под насмешливой улыбкой майора, шевелившей злорадно волчьи усы, Василий Иваныч взял свой отделанный потемнелым серебром турецкий пистолет, отступил неторопливо, прищурился и стрельнул.

Оба подошли к доске.

— Где же пуля? — недоумевая, спросил майор.

— А вот-с, изволите видеть,— пригнулся к цели Ягутка,— пуля-то в мухе, в самом глазу сидит. Акурат в точку барин угодили.

Майор взялся обеими пятернями за усы и поднял высоко брови. Василий Иваныч хихикнул.

— Что скажете, старый гусар?

Ягутка потихоньку из угла ухмыльнулся тоже.

— Честь вам и слава,— протяжно ответил майор.— Выстрел хорош, и говорить нечего. Честь вам и слава.— А у самого так и кипело сердце. Неужто ж он останется в дураках? — За вашу победу, Василий Иваныч!

— И вам того же желаю. Да что вы всё одну сливянку, Дормидонт Петрович? Я вам смородиновки налью. Ягутка, заряди.

Восемь раз забивал Ягутка плотно уходившие в вороненые стволы пыжи, восемь раз кремни подвинчивал и сыпал на полки порох, и восемь иссиня-серых облаков, вспыхнув, расплывались по зале медленными клубами. В едком дыму еле виднелась пулями усеянная доска. Вышло вничью. Два раза майор на середнюю Василь-Иванычеву пулю сажал две своих, а четвертой покрыл их все-таки Василий Иваныч. Шесть остальных на кругу остались.

После десятого выстрела за дверями зашелестели старческие шаги. Взошел, шаркая костылем, дряхлый дядька Василия Иваныча, отставной камердинер Тихон. Желтые сетчатые морщины так избороздили ему тощее бритое лицо, что, казалось, не осталось у Тихона ни губ, ни бровей, ни носа; светились одни ласковые глаза, тихие и глубокие, как два темных колодца.

— Ишь, дыму-то, дыму-то что напустил, соколик, задохнешься. Здравствуй, батюшка Василий Иваныч, соколик. Дай мне золотую рученьку твою.

— Здорово, Тихон! — крикнул молодецки Мухтолов.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие Дормидонт Петрович. Забавляться изволите с соколом моим?

— Пальни и ты за него.

— Уж куда мне, батюшка, ваше высокоблагородие, палить? Было время, стреливали и мы, как с покойником барином, их превосходительством (царство небесное), под француза ходили. При

самом светлейшем князе Кутузове состояли. Кушать, батюшка, пожалуйте, кушать.

— Ну, идемте, старый гусар!

Василий Иваныч, пропустив майора вперед, пришлепнул его по спине шутливо. Пошли, оставя Ягутку проветривать залу. Тихон поплелся за господами; опираясь на скользящий костыль, бормотал он чуть слышно:

— Было дело такое, было. Слышно, опять француз задурил, опять поднялся. Ничего, морозцу отведает еще разок, небось.

IV

Обедали в саду. Там, у цветника, высокие, серебром трепещущие тополи подымались ровным тенистым кругом; под ними, в холодке, сели Василий Иваныч с гостем. Три борзых пса обступили их, облизываясь, на задних лапах. Перед щами рябиновой выпили и повторили. Но как ни старался смеяться, подшучивая над собой изо всех сил, майор Мухтолов, кошки скребли у него на сердце. Выходит все-таки, что стрелок он немудрящий, попросту сказать, плохой, ежели рябчика Хлопова обстрелять не мог. Нет, этого так нельзя оставить. Дудки! Шалишь! Тут честь полка и фамилии задета. Душу заложу, а уж обстреляю яблочника, бабника, седого черта.

— Я все дивлюсь вам, Василий Иваныч,— заговорил он, откашливаясь и хмуря брови,— зачем это вы баб у себя столько держите, куда вам они?

— Как куда? Всякая баба годится в дело.

— Оно положим, а все-таки: на кой их вам столько? Ведь целыми табунами они у вас. По мне это все равно, что кошек разводить. Право. Вот у меня всего одна Палагея-ключница да кошка при ней. И вдруг вздумается мне, чтобы и ключниц, и кошек в доме по два десятка было.

Василий Иваныч собрался ответить, но тут в тополевый круг бесшумно ступила тоненькая, как стебель, девушка в голубом сарафане; бережно держала она в смуглых выточенных руках полную суповую миску. Над лицом ее, продолговатым и загорелым, черные, гладко причесанные с пробором волосы лежали ровно; две змеистых косы, струясь, бежали с узких плеч на стройную выгнутую спину. Легкая и быстрая, как птица, поставила она горячее, разлила по тарелкам и упорхнула прочь.

— Это что за девочка? — спросил майор изумленно.— Новенькая опять? У вас, помнится, не было такой?

— Нет, это так... статья особая... Тихонова внучка, Глаша... при нем живет... да... Так спрашиваете вы, зачем мне баб столько? Сухой вы человек, Дормидонт Петрович. Разнообразие во всем надобно, без него жить скучно. Бабы для меня все одно как яблоки свежие: люблю. А только не станете же вы всё одну титов-

ку или апорт целый век жевать, захочется вам и китайского яблочка, и боровинки, и того-другого. Правда?

— Мне все равно это. Хоть бы совсем их не было.

— То же я и говорю. Сухой вы человек. Так и бабы. И из них любая свой вкус имеет. Одна сладка, другая с кислотцой, а которая оскомину набивает, а это не плохо: и оскомина в свою меру хороша. По саду пройдешься, нынче с одной яблони сорвешь, завтра с другой, а уж вчерашнего яблока и в рот взять не захочешь. И бабы: приглянется иной раз какая, как вдруг и загоришься весь, эх! Хочу вот эту одну, хоть провалиться сквозь землю: вынь да положь!

Заблистали серые глаза у Василия Иваныча: помолодел будто.

Майор его слушал мрачно.

— А где у вас Агафон? — вдруг перебил он хозяина.

Василий Иваныч обернулся.

— Ягутка, позови сюда Агафона, да принеси... знаешь?

— Слушаю-с.

Через несколько минут, протекших в безмолвии — нарушал его только стук тарелок да сердитый майорский кашель,— к столу на четвереньках подполз рыжий бородатый мужик в сермяге. Яркие кумачные заплаты пестрили ему полы и грудь; спина вся расшита была дубленой кожей. За пазухой торчала балалайка. Отряхнувшись, он смело стал перед барином и глядел строго, без улыбки.

— Здравствуй, Агафон, закусить хочешь? — спросил Василий Иваныч.

— Давай.

Василий Иваныч взял у подскочившего Ягутки кусок желтого мыла.

— На.

Агафон перекрестился: громко чавкая, зажевал он мягкое мыло полным ртом. Потом с хрустеньем съел десяток горячих угольев, принесенных из кухни в деревянной чашке. Наконец, Ягутка сунул ему ломоть хлеба, намазанный мыльной пеной с волосами от утрешнего бритья.

Сожрав все без остатка, Агафон почесался, крякнул, сел на корточки и, звякая на балалайке, запел тихонько:

— Жена мужа продала
За старого старика,
За медведя-плясуна,
За мальчишку-прыгуна.

V

Майор отвернулся равнодушно, прикусив усы.

— Гляньте, Василий Иваныч, яблоко-то какое: отсюда видно. Ишь, блестит, точно паникадило.

— Белый налив.

— Сшибить бы его. А что, Василий Иваныч, чем нам доску даром дырявить, давайте по яблокам палить. Это занятней выйдет. Кто больше сшибет?

Василий Иваныч сморщился и затряс головой.

— В яблоки не годится стрелять, Дормидонт Петрович.

— Почему?

— Неловко.

— Грех великий, ваше высокоблагородие,— как гусак, засипел сгорбленный Тихон, нарезая барину жаркое дрожащими руками.— Великий грех. Это все одно, что землю-матушку ножом резать.

— Да мне только бы вот это одно сшибить. От одного не станется.— Майор понемногу оживлялся.— Вот что, Василий Иваныч, давеча мы с вами так стреляли, а теперь давайте на интерес. По одному яблоку на выбор. Ежели оба по яблоку сшибем, значит, паки вничью и спорить больше не буду, а ежели я промахнусь, так вот эти самые пистолеты свои тебе отдам. Владей, коли лучше меня стреляешь!

Майор, говоря все это, сумятился сильно. Что его так подмывало, Василий Иваныч понять не мог. И ноздри раздувал майор, и зубы как лошадь скалил, и двигал бровями, а усы то веером распушал, то завивал в пышные кольца, то заплетал жгутом, то связывал в узел на затылке.

— Что ж...— И замялся неведомо отчего Василий Иваныч. Странная жуть, необъяснимая, напала на него; небо вдруг в один миг почернело будто и душно так стало.— Что ж... Я пожалуй... Можно и в яблоко. А что мне поставить?

Майор засмеялся хрипло, подпрыгнул на одной ноге и взял цепко Василия Иваныча за рукав.

— Я тогда... у вас... бабу возьму... любую...

— Бабу? Да ведь вы до них не охотник?

— Мне какую-нибудь... завалященькую... я ведь так только, чтоб похвалиться... все одно, обстреляете вы меня...— горячими губами шептал Мухтолов.

Василий Иваныч повернулся круто и пошел в дом. Майор следом. Сзади охал и причитывал, ковыляя, Тихон. Василию Иванычу было страсть как не по себе. Чудное впервые в жизни изведал он чувство. Казалось, не наяву с ним все это, а во сне; во сне он идет и идет не по своей воле: приказывают ему, и ни слова супротив он выговорить не смеет. Крикнуть бы сейчас прямо в лицо майору: не хочу стрелять и не стану, отвяжись! — и так вот и выговорил бы сразу, да нельзя: не ворочается язык. И хочется, и не хочется, и как-то хотенье сошлось с нехотеньем, переплелись в одно, вместе, не разобрать, как и что. Сердце ноет и ноет пуще, а уж пистолет в руке, и курок взведен, и уж шагает Василий Иваныч об руку с майором мягкой атавой по середней дорожке сада.

Мухтолову снова досталось первому стрелять. Потупился и побледнел Василий Иваныч, когда, выбрав крепкое яблоко, налив-

ное и белое, как полный месяц, майор отмерил десять шагов и прицелился сразу. Хлопнувший выстрел разбрызнул далеко на траву сочные куски. Ветка качалась долго.

— Срезал,— потирая руки, сказал майор.— Ну-ну. Теперь вам.

Хмурый разглядывал деревья Василий Иваныч. Вон яблочко анисовое, румяное, так и горит все, зарделось жалобно, будто просит: не бей. Там большое свесилось, сизо-багряное, знать, перепугалось до смерти: со страху прижалось к ветке. Василий Иваныч прошел дальше. На какое яблоко ни посмотрит, жалко. Рука не подымается. А майор все ждет.

Выбрал, наконец, Василий Иваныч продолговатое крымское яблочко, редкой красоты и породы. Всего три года, как привезли эту яблоньку из далеких стран. Недолюбливал заморских сортов Василий Иваныч. По этой, пожалуй, не жалко будет. И поднял руку.

Да как спустить курок, почудилось ему, будто не яблоня это, а Тихонова Глаша и смотрит жалостно исподлобья. Дрогнула рука. За повисшим дымным облаком яблочко крымское краснело невредимо.

— Промазали,— заметил майор.

Хотел было подшутить, да глянул на хозяина и только брюхо погладил. Бледный, суровый стоял Василий Иваныч, опустив дымящийся пистолет. Налетели на него смутные небывалые грезы. Опять почернело небо; тяжело дышать; сердце защемило. Мерещилось, что корят хором яблоки старого хозяина, смеются над ним, громко издеваются, стыдят его, дразнят. И уж не яблоки видятся Василию Иванычу вокруг, а всё человечьи лица, красные, белые, желтые, оскаленные, кивающие, хихикающие, злые, и свистом змеиным разносится по саду их удушливый шепот.

Расколдовал его майор. Подкрался тихохонько, будто ласковый кот сибирский, и, усищами, как хвостом, шею Василию Иванычу щекоча, шепнул ему на ухо еле слышно:

— Вот Глашу-то и отдайте мне теперь.

Василий Иваныч, не вдумавшись, моргал только. Наконец понял, рот открыл и воззрился на майора.

— Нельзя... Глашу нельзя.

— А дворянское слово? — молвил майор, насупясь.

VI

Малиновый вечер дотлевал на закате в черных и синих ризах; в ночные тучи уплывал бессильно холодный огонь, ночь его гасила. Стихли вдалеке, замерев стеклянными переливами, майорские наборные колокольцы; после ужина веселешенек уехал майор Мухтолов; пообещал утром прислать за Глашей чем свет.

Василию Иванычу не спалось. Неподвижно лежал он на тесовой кровати, выставя седую голову из-под белого одеяла и руки

высоко на груди сложивши, будто покойник. На столике перед ним коптил ночник.

Напробовался за ужином изрядно Василий Иваныч настоек крепких, а лукавая липкая дрема все никак не хотела помазать ему сонным медом ресницы и, увиваясь, скользила резвой игрункой над изголовьем. Вспоминалось Василию Иванычу, как взвыл давеча старый Тихон, как убивался он и рыдал, как в ноги кланялся хмельному майору. Как сам он, Василий Иваныч, майора упрашивал выбрать себе другую девку, хоть двух, да уперся на своем Дормидонт Петрович: хочу, дескать, Глашку одну, и больше ничего.

Груды яблок на окнах и на полу притаились, словно подслушивая ночные мысли, и только пускали, вздыхая втихомолку, свой теплый сладимый дух. От вздохов яблочных у Василия Иваныча сердце вновь затомило: мертвечиной дышали сочные плоды; тленьем несло от них, как от трехдневного гроба. А там, в саду, чует это Василий Иваныч и, не видя, видит: все до единого яблоки на деревьях обратили лица свои сюда, к нему. И следят в упор, не мигая, и ждут, и слушают шорох тревожный в спальне.

— Ягутка,— позвал тихо Василий Иваныч.

Шорох повторился. Открыв глаза, яблочный царек не сразу пришел в себя: в тусклом ночном свету Ягутка стоял над ним в одной рубашке, весь белый; трясущимися руками наводил он в лицо барину дуло пистолета.

Василий Иваныч застонал. Кто это? Что там? Чудилось ему, что все это сон кошмарный.

— Убью я тебя, барин,— глухо, с отдышкой заговорил Ягутка, уже не всегдашний казачок, а другой какой-то, чужой и страшный.— Решился я... За Глашу, стало быть... Стоишь ты этого... Без нее мне вся жисть — могила.

Ужас оковал Василию Иванычу руки и ноги. Шевелил он беспомощно меловыми губами, а выговорить не мог.

Тут тень какая-то скользнула из дверей к постели, и Василий Иваныч увидал Глашу.

— Яша... Глашенька...— молвил он плаксиво.— Не убивайте... все сделаю... простите меня...

Глаша заплакала.

— Нет, Василий Иваныч, пора тебе помирать,— опять зашептал Ягутка.— Сколько ты девок перепортил. Давно все грозятся на тебя. Один я не имел на тебя сердца, да вот нынче и до меня дошло.

Круглое как яблоко лицо Василия Иваныча стало белей подушки.

— Яшенька... не бей меня... я вас повенчаю завтра.

— Обманешь.

— Яша...

— Побожись.

Василий Иваныч поднял было дрожащую руку. В тот же миг

внезапное шлепанье с детства знакомых Тихоновых шагов разом вернуло ему бодрость. Поднявшись на кровати, он крикнул навстречу дядьке:

— Тихон, спасай меня!

— Ах ты, мошенник, злодей эдакий! Что делает! На барина с пистолетом! Брось сейчас, озорник, паршивец!

Но Ягутка, скрипя зубами и дрожа, отскочил к окну и, держа в каждой руке по пистолету, крикнул:

— Дедушка Тихон, не подходи!

Глаша взвизгнула и прижалась к парню.

Тихон задышал.

— Батюшка ты мой, Василий Иваныч...— Скрипучий голос его дрожал и обрывался.— Выслушай меня, соколик... По-Божьи, по-христианскому поступи. Отдай ты Глашу за Якова... За всю мою службу... Не гневись, родимый, на него. Он тебе будет... Ох, мочи нет... Сам ты виноват во всем, говорил я тебе... Остерегал.. Грех... И ежели ты теперь... ежели ты... только...

Голос Тихона крепчал сурово, и тайной угрозой дышали последние его слова, но тут перехватило их немощное хрипенье. Он упал на колени перед кроватью и припал темным лицом своим к бариновым ногам. Глаша подбежала к старику с громким плачем. Василий Иваныч, сидя в постели, со страхом глядел на полумертвого дядьку. У Ягутки, тяжело стукнув, вывалились на пол пистолеты, и он, бессмысленно улыбаясь, зевнул раз, другой.

Тихон дергался и хрипел.

VII

Утром, как и надо было ждать, после грозового заката затянулся плакучий дождь; памятный день этот, серый и туманный, Василию Иванычу показался за десять лет. Было пасмурно и уныло. Раза два, подойдя невзначай к окну, видел Василий Иваныч в телеге связанного Ягутку, с колодками на ногах. Сидя под дождем, в мокром зипуне, парень не шевелился, понурясь; на исхудавшем лице его за ночь выступили морщины, темные, будто их порохом кто протер. Потом увезли Ягутку. Памятно Василию Иванычу и то, как прикатил к завтраку майор Мухтолов, как ахал он и ругался, водку нещадно пил, закручивал усы и увез, наконец, с собой в тарантасе помертвелую под черным платком, окаменевшую Глашу.

На третий день, когда Тихона схоронили, узнал Василий Иваныч, что Глаша в мухтоловской усадьбе бросилась ночью в пруд. Скоро пришли вести и об Ягутке: на первом рекрутском перегоне вынули молодца неживым из петли. Ровно через девять дней майор от удара помер.

Ничего не чувствовал и будто не замечал никого Василий Иваныч. Равнодушно принял он вести о четырех смертях; на неподвижном как камень лице его написано было, что уж ничем теперь

не удивишь его и не испугаешь. Точно в одну ночь испарилась его душа, оставя сердце двигаться и дышать неизвестно чем. Яблочный царек перестал гулять по саду; до любимых яблоков и груш не было ему теперь никакого дела. Одиноко проводил Василий Иваныч в усадьбе бесконечные ночи и дни, осени и зимы и, дичая год за годом, отвык понемногу от людей.

Бабы его давно сбежали к мужьям и матерям; повар и пьяный вечно камердинер, только когда уж очень их зазрит, бывало, совесть, убирали комнаты и напоминали барину, что надо обедать. А тут еще заговорили о воле мужикам, и в доме Василия Иваныча Хлопова стало совсем пустынно. Какие-то люди с кокардами приезжали в усадьбу, давали Василию Иванычу подписывать бумаги и, переночевав, уезжали. Он глядел на них безучастно. Сад сдали в аренду, а к барину приставили Агафона да двух старух. Покорный всему, с утра засаживался Василий Иваныч перед окном в дедовские кресла, высматривал, как сизый дымок завивался весело над людской обветшалой крышей, как солнце, сначала разъяренное, закипая кровью, вздымалось из-под земли, как потом оно, понемногу успокоившись, утихало и, уже мирное, светлое, высоко катилось, сияя. Так до позднего вечера целый день смотрел в окно Василий Иваныч, пока не начинали двигаться по небу синие тени, открывая путь звездам, и резвый полуночник пускался с криками шнырять по застрехам, хватая столбящихся на закате мошек. Зимой пеленал радостно двор и крыши сверкавший сахаром чистый снег. Старухи трещали без умолку и бранились за пряжей. Агафон плел лапти да звякал на балалайке. Слушал Василий Иваныч бабьи рассказы одним ухом, и было ему все равно, что бунты пошли в народе, что дорог стал хлеб, что с турками война будет.

Так время день за днем катилось без перерыва и никому не давало оглядеться ни на минуту. Попробуй, спохватившись, обернуться назад — там уже все дочиста сгорело и дыму не видно, а спереди летит на тебя время-змей с разинутой черной пастью, одна только эта страшная пасть у чудовища видна, и ни за что не разглядеть никому, какие там вдали змеиные кольца вьются, да и есть ли еще они?

Одного Василия Иваныча щадил ненасытный змей. Третий десяток достукивал с того самого дня, как обстрелял его покойный майор Мухтолов,— и как неузнаваемо все переменилось в усадьбе! Старый дом стал подкашиваться, сыреть, хилеть; клочьями виснут ободранные обои в зале; гнилые половицы скрипят, и портреты родительские крысы грызут в чулане. Старухи померли давно, помер и Агафон, и только Василий Иваныч по-прежнему, как заговоренный, жив и по-прежнему всматривается через окно в небесные пространства тупым одичалым взором. И так же всё летит змей-время, разевая черную пасть: слышно, папа римский помер, бомбой царя убили, объявился в Кронштадте чудотворец.

Василий Иваныч забеспокоился, наконец. То с глухим стоном

начинал он протягивать мучительно кому-то руки и лепетал звериным языком мертвые слова, то принимался вдруг застегиваться и искал шапку, чтобы идти куда-то. Но все никак не умел и не мог припомнить, куда ему надо было идти и по какой дороге.

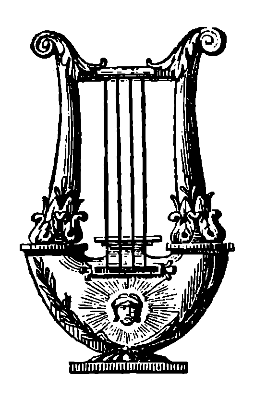
Однажды глухой зимней ночью, когда спала непробудным медвежьим сном хлоповская усадьба и только мороз один в белом овчинном полушубке, похаживая дозором, стучал по временам Василию Иванычу в стену, яблочный царек вспомнил, наконец, очнулся и понял все.

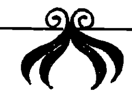
На той самой стене, куда ударяли настойчиво невидимые руки, поблескивал на ковре турецкой серебряной насечкой забытый пистолет. И дрожал, и смеялся от радости Василий Иваныч, вкладывая бережно в рот себе граненое дуло.

Треснул выстрел, и желто-белые брызги мозга пятнами застыли на стенах и на полу.

Октябрь 1911
Нижний

ИЗ КНИГИ «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ»





ДОКТОР ФИЛОСОФИИ

Павлина посрамляет вран.

Ломоносов

В Испании времен Христофора Колумба в университетском городке изучали философию два студента — Педро и Алонсо.

Педро был беден и прилежен. Ходил в заштопанном черном плаще и в дырявых башмаках, питался сушеной рыбой. Узколобое лицо его могло б назваться приятным, если бы на длинном носу не блестел разноцветный прыщик.

— Вам надо, сеньор, обратиться к медику,— говорили ему знакомые.

Педро отвечал:

— Философия учит, что избежавшие малой беды могут подпасть под большую. Пусть изведу я прыщ; кто мне поручится, что я не буду без носа?

Алонсо, статный красавец в расшитой золотом куртке, мало сидел за книгами; карманы его звенели.

— Вам бы, сеньор, сделаться тореадором.

— Я им и сделаюсь, когда умрет отец.

Лучшим и красивейшим зданием в городе был университет. Здесь жили ректор, профессоры, эконом, врач, секретарь, писцы и много студентов. Над мостом возвышался дворец университетского попечителя, важного гранда, выступавшего на праздничных торжествах и невидимого в будни. На краю города чернел монастырь; по обычаю настоятель избирался университетом на почетную должность канцлера. Студенты населяли все окраины, улицы и предместья. В переулках попадались нагруженные книгами философы и юристы; медики гурьбой гуляли по площади; богословы толпились на мосту у статуи святого Антония. Звяканье струн и щелканье кастаньет начиналось с утра; вечером при звездах гремели серенады. На выезде проживал старый рыцарь, любивший пить у себя на дворе вино из заржавленного шлема; студенты хаживали к старику слушать рассказы о битвах.

Педро и Алонсо влюблены были в донью Клару. Богатая молодая сирота воспитывалась у дяди. Часто приходилось ей слушать серенады Алонсо; к ногам красавца или к нему на шляпу, случалось, падала благоуханная роза. Благоволила красавица и к

скромному Педро: юный философ подносил донье Кларе латинские стихи.

Раз под вечер Педро и Алонсо сошлись близ моста. Торговцы с корзинами спешили с рынка, ослы ревели. Алый плащ рослого Алонсо пылал на солнце. Педро в шерстяной накидке казался еще тщедушней.

— Посмотри на меня,— сказал Алонсо. Он так и сиял весельем.

— С тобой что-то случилось.

— Угадай.

— Угадать нетрудно. Случилось нечто хорошее, и притом такое, что радоваться ему неловко. Умозаключаю: отец твой умер.

— Ты угадал.

— Да почиет он в мире.

— Аминь. Я не его смерти радуюсь, а своей свободе. Завтра же брошу лекции и стану тореадором. А потом...

Педро вздохнул.

— Не вздыхай. Знаю, что ты и об этом догадался.

Друзья миновали рынок и шли предместьем. У крайнего домика сидел, гладя борзую, рыцарь; седой оруженосец подносил ему полный шлем вина.

— Вот кто может помочь советом. Он человек бывалый. Зайдем к нему.

Педро согласился. Хозяин их весело приветствовал, но домочадцы остались недовольны. Их было трое: оруженосец, ворчавший, что на весь университет вина у них в погребе недостанет; сокол, злобно шипевший на насесте; борзая, успевшая выхватить из плаща у Педро изрядный лоскут. Когда студенты уселись и рыцарский шлем прокатился по столу, Педро рассказал хозяину историю их любви.

— Вы видите, господин рыцарь, что дружба перед любовью бессильна. Дружба все делит пополам, но поделить любовь даже для философа невозможно.

Рыцарь разгладил широкий ус.

— Я не философ, и вся моя наука — рубить неверных и пить доброе вино. Однако случалось, что и любовь на моих глазах делили, как военную добычу. Но дело не в этом. Я вам советую, любезные сеньоры, открыться вашей даме и ждать приговора. Избранника наградит любовь, а отверженного философия утешит. Вам, дон Алонсо, улыбается судьба, но помните, что ее улыбки ненадежны. А вы, дон Педро, не из тех, что падают под ее ударами, и мой совет вам: идите прямо.

В воскресенье студенты явились к дяде доньи Клары просить руки красавицы. Своевольная девушка, не давшая ответить старику, вышла и сказала:

— Дон Педро, сколько нужно лет, чтоб сделаться доктором философии?

— Увы, благородная сеньора, на это понадобится целых три года.

— Так. Дон Алонсо, вы мне нравитесь. Отныне вы мой новий. Когда же дон Педро станет доктором, я выйду за него. Мне хочется быть женой умнейшего человека в городе. Наша судьба теперь зависит от нас троих. Довольны вы, сеньоры, моим решением?

— Сам царь Соломон не мог бы решить мудрее,— ответил с поклоном Педро. Алонсо прижал к губам смуглую руку красавицы, и она глядела в глаза ему огненными глазами.

— Но как же...— начал озадаченный старик.

— Не спорьте, дядя. В нашем гербе недаром бычачья голова. Мое решение неизменно.

— Нет, но мне хочется знать, как ты поступишь, если дон Педро не выдержит экзамена.

— Я его выдержу,— сказал Педро.

— Он его выдержит, или я стану женой Алонсо.

— Я выдержу,— тихо повторил Педро, пятясь к двери. Алонсо захохотал.

На другой день он с презрением кинул на стол приятелю рукописи и книги, сухо поцеловался и, пожелав успеха, ушел. Славный тореадор Лагартихо принял его в ученики. Скоро Алонсо начал появляться на арене. Первые красавицы Испании домогались любви его, но Алонсо оставался новием доньи Клары. Он исполнял ее желания и капризы, слагал романсы ей в честь и пел, рокоча гитарой; приходил с разрешения дяди по воскресеньям скушать утку и выпить стакан малаги; ночью он, уже не спрашивая дяди, взбирался по веревочной лестнице к ней в окно.

Педро тем временем зарылся в книги и редко бывал на улице. Он не причесывался, не умывался, ел только чеснок и до того исхудал, что из-за груд фолиантов едва можно было разглядеть его желтый унылый лоб.

Весь город был на стороне Алонсо. Дамы негодовали на дерзкого философа, мужчины улыбались. Когда Педро показывался на рынке, ему свистели, кидались тухлыми яйцами и песком. Он все сносил, как подобает философу. Товарищи были уверены в его неудаче. Лишь иногда донья Клара, отвечая Алонсо на поцелуй, томно шептала:

— Бедный Педро, как ему тяжело.

Алонсо сердился.

— Педро дурак. Ну где ему выдержать экзамен? Наш университет существует давно, а никого еще не сделали доктором философии.

— Тогда, значит, мой Педро и будет им.

Алонсо убегал, а донья Клара смеялась.

Третий год близился к концу. Уже Педро успел сдать все экзамены; до последнего решительного диспута оставались сутки. Университет начал готовиться к торжеству. По обычаю в нем должен был участвовать весь город; праздник кончался пиршеством и боем быков. Измученный, усталый, едва дыша, Педро сидел на своей соломенной постели. Вдруг он увидел рыцаря.

— Дон Педро,— молвил учтиво гость,— обычай повелевает, чтобы вы поднесли каждому профессору по шести куриц и по коробке обсахаренных лимонных корок. Прошу вас принять на расходы вот этот кошелек.

Педро начал благодарить, но рыцарь дружески зажал ему рот перчаткой.

— Своим успехом вы стяжали честь всему городу, а значит, и мне. Я должен благодарить вас.

Едва рыцарь оставил Педро с тяжелым кошельком, как дверь отворилась снова. Вошел бледный, нахмуренный Алонсо. Молча подступил он к философу, долго глядел ему в глаза, вынул нож, покачал головой и медленно вышел.

Педро прочитал молитвы и лег. Утром он сдал последний экзамен и был признан доктором философии. Дома нашел он слугу от доньи Клары с узлами белья и платья. Искусный брадобрей-араб раздел почтительно доктора, соскоблил с костлявого тела грязь, расчесал жидкие волосы. Натершись с головы до пят благоухающей мазью, дон Педро оделся в атласный камзол с кружевным воротником и тонкие, со сборчатыми отворотами сапоги; фиолетовая мантия осенила сутулые плечи. Весь он лоснился; прыщ на кончике носа сиял и переливался, как драгоценный камень.

Факультет в полном составе встретил нового доктора. После длинной латинской речи канцлер передал дону Педро докторскую шапку, кольцо, перчатки, шпагу и золотые шпоры. Процессия двинулась по городу. Впереди выступали альгвазилы с арбалетами и мечами; за ними на белом муле ехал канцлер и шли монахи. Далее торжественно следовали попечитель, ректор и все профессоры во главе с доном Педро. Запрудившая улицы толпа пела, кричала и выла от восторга. Во всех церквах звонили колокола; дамы с балконов махали мантильями и платками, сыпали к ногам избранника вороха цветов. «Какой он милый! Какие у него умные глаза!» — щебетали женщины. У моста ожидал процессию рыцарь в латах с соколом на плече. Дряхлый оруженосец улыбался сзади, держа копье и щит; борзая прыгала и визжала.

Цирк был унизан народом. Все затаили дыханье. Студенты в цветных шапочках и беретах; знатные горожане, бородатые и бритые, в бархате, с цепями на груди; полунагие дети. Дамские опахала шуршали, как крылья огромных бабочек.

Дон Педро вошел в ложу доньи Клары, когда Алонсо готовился нанести смертельный удар быку. Увидя соперника с невестой, Алонсо швырнул шпагу на песок и скрестил неподвижные руки. От бури рукоплесканий заколебался цирк. Толпа приветствовала доктора философии. Бык на арене яростно мотал головой и тряс на рогах окровавленного Алонсо.

Мертвого тореадора унесли; чета принимала поздравления. Цветы дождем сыпались на дона Педро, но он не мог отвечать и стоял закрывшись: прыщ его прорвался.

1918

ИЛЬИН ДЕНЬ

Всякую голову мучит свой дур.

Сковорода

Василий обедал у Владимира. Они были помещики, соседи; оба молодые и неженатые. Василий смуглый, в черных завитках, Владимир длинноволосый и белокурый. Домик его выстроен был недавно из свежих сосновых бревен.

Отобедав, приятели вышли на крыльцо. Василий не любил чаю. Долговязый слуга его налил барину чашку из кофейника. Хозяин присел у самовара.

— А у меня от кофею голова болит. Выпил бы ты чашку со мной, Василий.

Василий вынул колоду карт.

— Чет или нечет?

— Чет.

— Проиграл. Не везет тебе.

Василий прихлебнул.

— Как это ты, Владимир, за границей от чаю не отвык? Ведь немцы его совсем не пьют.

— Нет, пьют, да тамошний чай мне не по вкусу. А в Веймаре я больше пиво пил.

— Чет или нечет?

— Чет.

— Проиграл опять.

— Ладно. И какой городок хорошенький этот Веймар! Весь в садах. Там проживал тогда тайный советник Гете, так у него в цветнике розанов бывала такая сила, что веришь, Вася, мимо пройти нельзя, так и захватит дух. Мы там в кегли играли. Немцы игру эту любят.

— И тайный советник с вами?

— Что ты, как можно: такой почтенный. Ведь ему лет восемьдесят было. Он и скончался при мне. Признаться, я хоть частенько видал его, а все как словно боялся: больно уж важный старик. Вот герр Эккерман был куда веселее.

— А что?

— Он нам, бывало, что тайный советник скажет, все растолкует, да так, что лучше не надо.

Василий зевнул.

— Экая невидаль твой Гете. Я каждую ночь с ним в пикет играю.

Владимир выпучил глаза.

— Да ведь он помер.

— Ну так что?

— Как что? Нешто мертвые могут в пикет играть?

— Стало быть, могут. А ты вот слушай: твой Гете высокого росту, видный, так?

— Так.

— Лицо чистое, нос грушей, малость красноват. Ходит в халате с меховой опушкой, тут звезда.

— Верно. Откуда ты знаешь?

— Понюхай-ка табачку: гишпанский.

— Нет, вправду, как это ты?

Василий протягивал Владимиру табакерку с черепом на крышке.

— Опять ты меня Костей потчуешь.

Слуга в дверях встрепенулся.

— Каким Костей, что ты городишь?

— Ах, и вправду, вот вышло смешно! Это нянюшка покойная все адамовой головой меня пугала: вот Костя съест. А ведь твой Костя в самом деле похож на череп: желтый, костлявый и зубы скалит. Батюшки, что это? Да он настоящий череп!

Василий погрозил Косте мизинцем. Тот вытянулся у косяка.

— За то ему и прозвище Череп. Что же, табачку?

Владимир чихнул. Он пробовал удержаться и не мог. Сквозь слезы видел он желтое лицо Кости: оно кривлялось и казалось опять настоящим черепом. Василий тасовал карты. Но зазвенел колокольчик, послышалось ржанье, голоса, и Владимир очнулся.

Из крытого тарантаса вылез дородный барин. Взобравшись на крыльцо, он обнял хозяина.

— Дядюшка! Вы ли это?

— Я сам. Хоть я тебе не то чтобы совсем дядюшка, пуля в лоб, однако не чужой, а потому и заехал.

— Дядюшка, чайку. Да какими судьбами... А это мой друг и сосед Васи...

— Погоди, братец, не спеши. Мы с господином поручиком друг друга довольно знаем.

— Здравствуйте, Елпифидор Сергеич.

— Здравствуй, пуля в лоб. Что же ты, в отставке?

— Мы оба в отставке, дядюшка. Только я как абшид получил, вышел и в Веймар уехал, а он до прошлого года все служил.

— Так. Ну, а в карточки, небось, поигрываешь, а?

— Играю. Не угодно ли?

— Спасибо, пуля в лоб. Да с кем же ты здесь играешь?

— А вот с Владимиром.
— Со мной он играет, дядюшка, каждый день. Сто тысяч я ему проиграл.
— Сто тысяч?
— Да ведь это мы, дядюшка, так, от скуки, на орехи.
Василий усмехнулся.
— Вы один, Елпифидор Сергеич?
— Нет, не один, а с дочкой.
— С Проичкой? — Владимир кинулся к тарантасу.— Кузина! Проичка! Пробудитесь!
В тарантасе зазвенел смех.
— Не спит она, а туалет поправляет. Проичка, ты готова?
— Готова, папенька.— Головка в соломенной шляпке показалась было из тарантаса.
Василий протянул руку, но Проичка оперлась на ладонь Владимира и вспорхнула весело на крыльцо.
Все чинно уселись за столом.
— Пифик, трубку! — крикнул Елпифидор Сергеич. Откуда-то из-под тарантаса выскочил запыленный казачок с дымящимся чубуком.— Главного-то ты еще не знаешь, пуля в лоб. Ведь мы Москву бросили недаром. Теперь твои соседи.
— Как так?
— Ты Анну Ивановну помнишь, покойницу бригадиршу? Нет? Ну так она моей Проичке доводилась крестной и Чулково свое по духовной ей отказала. Три тысячи душ, дом с парком.
— Поздравляю, дядюшка, поздравляю.
— Наследство хорошее,— заметил Василий и спрятал карты.
Проичка прилежно кушала землянику.
— Ну, нам пора, пуля в лоб. Прощайте, господа. Ждем вас к себе обоих.
Тарантас отвалил. Василий глядел в глаза Владимиру.
— Так на орехи?
— Что?
— На орехи играем, говорю? Вот же тебе орехи.
Он вытащил из кармана целую горсть и рассыпал на столе.
Владимир недоумевал; подскочивший Костя начал выкладывать новые пригоршни. Волоцкие, грецкие, кедровые, миндальные завалили стол. Наконец, Костя выхватил кокосовый орех, ткнул в него пальцем и, осклабясь, на ладони поднес Владимиру. Вместо ореха был череп.
Владимир обиделся.
— Однако, это...
Василий погрозил Косте. Слуга, повернувшись, вышел. Скоро у крыльца застучали дрожки, и Череп, подсадив барина, растопырился за ним сзади.
— Владимир, прощай. А что табачку, не хочешь? Хорош табак, недурна и табакерка. Мне прошлой ночью ее Наполеон проиграл. Денег у него не было с собой; возьми, говорит, Вася, табакерку.

Владимир фыркнул: «А, чтоб тебя!» — и засмеялся вослед умчавшимся дрожкам.

Орехов на столе он не нашел и долго дивился фокусу.

Приятели часто начали наезжать в Чулково. Елпифидор Сергеич их развлекал обедами, а Проичка разговором. Она была девица веселая, ровного нрава, лишь из кокетства иногда жеманилась, как героиня романа. Этих романов начиталась она в Москве. Василий, навещая бригадиршу, привозил цветы, конфекты и модные книжки.

Была уже середина лета, когда Владимир решил признаться Проичке в чувствах и просить руки. Тут явилась ему преграда в лице приятеля. Едва Владимир, уединившись с Проичкой, намеревался говорить, тотчас показывался Василий. Зачем он ездит в Чулково? Владимир ревновал.

Он придумал открыться Проичке после всенощной, накануне Ильина дня. Под визг и щебет стрижей над ветхой колокольней, задевая воздушным платьем могильные кресты, прошлась Проичка с Владимиром вокруг церковной ограды.

— Знаете, кузен, мне сегодня утром это же самое сказал ваш приятель.

Владимир замер.

— Что же вы?

— Я просила его обождать до завтра. Уж подождите и вы. За ночь я все обдумаю и решу.

Владимир не находил слов.

— Но как же... тут нечего решать... Я ваш друг детства.

— А он друг юности.

Они вышли из церковных ворот. Коляска с Пификом на запятках понесла их к дому. Стрижи звенели над переливами спелой ржи.

В столовой Елпифидор Сергеич раскладывал гранд-пасьянс. Василий следил за его занятием. Кипел самовар.

— Пифик, трубку! Ну что, помолилась, Проичка?

— Помолилась, папенька.

— За бригадиршу Анну молилась ли?

— Я за всех молилась.

— Славная была старуха, пуля в лоб. Только уж не взыщи: другого разговору у ней не было, как про бригадира-покойника да про матушку-царицу. Бывало, зайдешь к ней, ну как, мол, Анна Ивановна, пуля в лоб, что новенького на свете? «Да что,— скажет,— ничего, батюшка, не слыхать, окромя того, что мой Иван Савельич царице намедни представлялся». А уж его лет сорок как схоронили. И сейчас расскажет, пуля в лоб, как ждал у царицы в приемной Иван Савельич. Ждал, ждал, и смерть ему курить захотелось. Не вытерпел бригадир, закурил трубку, ан царица-то и

выходит. «Ничего,— говорит,— кури, Иван Савельич; покурила бы и я с тобой, да вишь, больно дела много». Ну, уж тут всегда, бывало, всплакнет старушка.

После чаю Проичка спустилась в цветник. К ней подошел Василий.

— Жажду услышать мой приговор.

— Нет,— твердо сказала Проичка.

— Нет?

— Нет.

— А если бы не было его? — Василий кивнул на Владимира, стоявшего на балконе.

— Тогда... Не знаю...— Проичка вспоминала, что говорят в таких случаях героини, но Василия ей было жаль. Чтобы утешить его, она дала ему розу.

Владимир с балкона видел это.

Приятели выехали верхами, конь-о-конь. На душе у обоих было нехорошо.

— Да, бишь, забыл совсем,— сказал Василий, обрывая рассеянно свою розу.— Мне деньги нужны, так ты припаси сто тысяч, что проиграл намедни.

Владимир едва удержался на седле.

— Ты шутишь?

— Нет, не шучу.

— Откуда я возьму?

— А я почем знаю? Чай, ты не маленький, в гвардии служил и порядок помнишь.

Владимир готов был зарыдать. «Это ему на свадьбу»,— мелькнуло в уме, и стало темно на сердце.

— Ну ладно, дам тебе отыграться, так и быть. Поедем ко мне, у меня ночуешь, а завтра сядем.

Кони неслись галопом.

В сумерках приятели подъехали к усадьбе. Становилось совсем темно. В передней, мерцавшей розовым светом, их встретил Костя. Он прыгал, вихлялся, скалил зубы. В припадке радости, подпрыгнув до потолка, зацепился за крюк и повис, кривляясь; одна нога отскочила со стуком. Владимир опешил, но Костя проворно сорвался, поднял ногу, приставил и бойко прошел в столовую.

— Вот не подумал бы, что у твоего Черепа деревянная нога.

— И не думай,— отозвался Василий кисло.— Пойдем, закусим.

Никогда еще Владимиру не случалось ужинать у Василия, и потому, должно быть, столовая приняла в глазах его небывалый вид. Разные тени на потолке и на стенах, метаясь, тянулись из углов, исчезали снова и выплывали опять. От их игры то рыцарь на картине высовывал язык, то у бронзовых львов из пасти валились маки, то выглядывал из отдушины карлик в алом колпаке.

Костя с салфеткой стоял за стулом Василия. Ключница, горбатая старушка с огромным носом, принесла блюдо раков. Она не шла, а точно неслась над полом и так же плавно вылетела в дверь. Красные раки, дымясь, ворочались и шуршали. Одни поползли на тарелку к Василию, другие, падая на пол, пробирались к Косте, и тот их глотал целиком.

Владимир хотел взять одного, покрупнее, но рак больно ущипнул его за палец. Тут Костя, заплясавши от восторга, выморгнул оба глаза на ладонь, подбросил, поймал и вставил опять на место.

— Череп, не дури,— строго сказал Василий.

— Напоследок можно,— проскрипел Костя таким голосом, что Владимир вздрогнул.

Совсем не по себе ему стало в диванной, где ждал его ночлег. В розовом сумраке, казалось, таяли стены. Владимир снял фрак, улегся и закрыл глаза. Внезапно послышались шаги. Он вскочил. Светлая полоса скользнула из-под порога. Вошел тайный советник Гете в красном халате с меховою опушкой. Он нес осторожно колоду карт. За ним крался Эккерман со свечами. Гете сел и стал раскладывать карты. Эккерман светил.

— Герр Эккерман! — вскричал Владимир.

Свечи упали, и свет погас. Эккерман съежился и шмыгнул под стол. Владимир кинулся к Гете и наткнулся на книжный шкап. Заглянул под стол, оттуда шмыгнул мышонок. В перепуге выскочил Владимир в столовую, к нему подплыла старуха. Он схватил ключницу за кофту; в руке остался пучок перьев, а в открытое окно вылетела ворона и плавно понеслась к заалевшим лесным вершинам. В дверях, загораживая дорогу, встал Костя. Владимир ударил его и вскрикнул: перед ним завертелся на палке безносый череп.

Не помня себя очутился Владимир в коридоре. Он бросился бежать. С полчаса бежал, коридор все не кончался. В отчаянии выпрыгнул он из окна и увидел себя на дворе у парадной двери в сиянии разгоравшейся зари.

Тут руки и ноги его онемели, глаза затмились. Он превратился в камень.

Вышел Василий, потрогал камень, зевнул, посмотрел на солнце и, воротясь, заперся.

Проичка в тот же вечер все рассказала родителю. Елпифидор Сергеич подумал и затянулся.

— Я этого давно ждал. Чудно только, что оба сразу. Ну, что ж ты? Которого берешь?

— Я, папенька, выбрала Владимира.

— Умно сделала, пуля в лоб. Мне самому Василий не того. Худого ничего не скажешь, играет чисто, а не лежит душа. Ну, поздравляю, душенька, дай Бог вам счастья.

Елпифидор Сергеич обнял Проичку, отец и дочь прослезились.

В Ильин день ждали жениха с утра. Стол и буфет сверкали, из кухни тянуло пирогом. Владимир не ехал. Что бы могло задержать его?

Остывший пирог унесли, и шампанское потеплело. Подали обед.

Проичка с красными веками теребила салфетку. Елпифидор Сергеич молчал и после обеда тотчас ушел к себе.

Сидя на балконе в измятом платьице, Проичка не знала, что придумать. Вдруг на дворе раздался стук копыт. Приехал! Она вскочила и остановилась перед Василием.

— Вы помните ваше слово? Его нет больше.

— Как нет? Вы смеетесь надо мной. Где мой жених?

— Жених? Давно ли?

— Вчера у всенощной он мне признался, я его невеста. Где он?

Василий принял надменный вид.

— Мое ли дело стеречь чужих женихов?

— Но вы сами сказали, его нет.

— Я пошутил.

— Неправда, вы его спрятали.

— Если угодно, прошу вас, сделайте честь осмотреть мой дом.

— Так и будет. Пифик. папенька спит?

— Почивают-с.

— Сейчас же оседлай мне Бедуина и, когда папенька встанет, скажи, чтоб приезжал за мной в ихнюю усадьбу. Понял?

— Так точно, барышня.

Василий не узнавал жеманницу Проичку. Оттого это все произошло, что Проичка сама до последнего дня не подозревала, как любит она Владимира. Сжав губы, она взлетела на седло и понеслась; за нею Василий.

У крыльца Проичка спрыгнула и пробежала в дом. Василий покосился на камень, усмехнулся и привязал лошадей. Проичка летела по темноватым покоям. Она заглядывала в углы, отворяла шкапы и двери и очутилась, наконец, в высоком прохладном зале. Здесь висела картина ей хорошо знакомая; в Москве на нее любовалась Проичка, бывая у бригадирши,— «Одиссей, привязанный к мачте, слушает сирен». Проичка вдруг задумалась, обессилев. Крылатые девы на полотне задышали, запели их голоса и лиры. Одиссей сходит с корабля и приближается к ней.

Проичка перекрестилась.

Грянул громовой удар. Картина свернулась с треском; вместо Одиссея стоял, шатаясь, обугленный Василий. Из вытекших глаз

струился синий огонь; страшные зубы блестели. Рухнувшись, он рассыпался легким пеплом.

Вбежал Владимир, бледный, сияя от счастья. Он бросился к Проичке и обнял ее.

Вместе они подошли к коляске. Елпифидор Сергеич раскуривал трубку.

— Что же ты, жених, пуля в лоб, куда девался?

— Простите, дядюшка, дело было.

Отъехали. Пифик повернулся на запятках.

— Сударь, извольте поглядеть: за нами шибко горит.

Над усадьбой расплывалось облако тяжелого дыма.

1918

ДВОЙНИК

И вот он глянул к нему вновь за ширмы.

Гоголь

Молодой беллетрист Озимовский и адвокат Мозоль сидели у мецената Ейбоженкова. В столовой млела уютная тишина. Декабрьский вечер гляделся в большие окна.

За шампанским поднялся спор. Мозоль уверял, что только в наше время начинается настоящая жизнь. Ейбоженков его поддерживал. Озимовский не соглашался.

— Не понимаю, какой тут возможен спор. В прошлом все было естественней и прекрасней.

— Это аберрация,— возразил Мозоль.— Вы вводите в заблуждение и себя и публику. Если взглянуть на Москву с птичьего полета, она определенно покажется игрушкой, но так ли на самом деле? Всегда было одно и то же, только теперь стало лучше, а лет через пятьдесят будет совсем хорошо.

— Правильно,— заметил Ейбоженков, прикусив сигару.

Озимовский презрительно отмахнулся и сшиб бокал. Все трое засмеялись. Расцеловавшись с хозяином, гости спустились на улицу.

— Пойдемте в кафе,— сказал Озимовский поеживаясь: шуба была в закладе.— А?

— С наслаждением бы, но сегодня это меня не устраивает: надо работать.

Они расстались у памятника Пушкина. Мозоль вскочил в трамвай, Озимовский пустился по бульвару. Ему не сиделось дома. Бродить по улицам, заходить в рестораны, встречать приятелей вошло у него в привычку.

Кофейный павильон был пуст. Озимовский уселся в углу; ему подали чаю. Не успел он развернуть газету, как чья-то рука потянула к себе листок. Озимовский увидел румяную даму в шляпе с большими перьями.

Ему тотчас представилось, что это одна из его поклонниц, светская дама, графиня какая-нибудь, вообще аристократка. Все, что читал он в романах и наблюдал на сцене, возникло перед ним заманчивой интригой. Он уже видел себя мужем богатой женщины. Вот издает он журнал и собрание сочинений, небрежно кланяется с Эйбоженковым и дает снисходительно взаймы Мозолю.

Но только хотел он заговорить, как, изумляясь, увидел, что незнакомка вдруг изменилась. За столиком моргала выцветшими глазами старушка в чепце и с зонтиком. В павильоне стало светло и жарко; запел оркестр. Деревья на бульваре распустились; на клумбах рдеют цветы, и пестрые дети гоняют обручи по дорожкам. Непрерывно менялась обстановка. Вот заливается вальс; разряженные лакеи подносят сласти красавице в пудреных буклях. Вот на свирелях высвистывают негры; их слушает девушка с браслетами на ногах. Вот горбоносые певцы воют протяжным хором перед царицей в коралловой диадеме. Весны и зимы чередовались. То темнело и сыпался снег, то разбегался ветер, то солнце жгло, то грохотала гроза.

— Что это значит?

— Ты счастливец,— ответила женщина с алмазным пером на черных косах.— Я Время. Пользуйся минутой. Я могу унести тебя на сутки в былую жизнь.

— Что же мне надо сделать?

— Назови любой год, какой пожелаешь, и завтра весь день пробудешь в этом году. Только помни: за час, проведенный в прошлом, ты заплатишь двумя годами жизни.

Это говорила старуха в зеленом хитоне.

— Перенеси меня в старую Москву.

— Странный выбор: одна ли Москва на свете? Подумай, ты можешь взять средние века, Египет, Рим, Византию, можешь стать современником Гомера.

Но Озимовский мало читал, за границей не был, языков не знал. Он подумал и вывел на карточке: 1851.

Девочка в соломенной шляпке улыбнулась. На эстраде полосатые карлики грянули польку. Озимовский лишился чувств.

Очнулся он в незнакомой комнате за перегородкой. Плечо чесалось, и в сумерках видно было, как по подушке бежал торопливо клоп. Озимовский поискал выключателя и не мог найти. Понемногу начал он привыкать к рассвету и на столике увидел сальную свечу. Спичек не было. Он хотел позвонить; звонка не оказалось.

— Где же это я и что со мной? — Озимовский перебирал вчерашнее. Вдруг молния ударила ему в голову: он вспомнил незнакомку и кафе.

Нетерпеливо соскочил он с постели. Все иное, все чуждое для него. Крашеный пол, деревянная кровать с клопами, отсутствие электричества. Выглянув в дверь, он увидел слугу с медным подносом под мышкой.

— Дайте умыться, пожалуйста.

Слуга изумленно покосился бритым лицом.

— Слушаю, сударь, сею минутою.

Исчезнув, он появился опять, уже с кувшином, держа полотенце на плече.

И полотенце и кувшин были простые, обыкновенные.

Озимовский боялся заговорить. Он чувствовал себя неопытным самозванцем.

Усевшись за чай, он заметил, что мягкий калач необычно душист и вкусен.

— От Филиппова?

Слуга не понял.

— У Филиппова взято? — Озимовский все не мог решиться на «ты».

— Никак нет-с, это здешний, в гостинице пекут-с.

Озимовскому сделалось неловко. Он думал встретить невиданное что-то, блестящее, как стилизованная страница, а вместо того все было скучно и серо. Он торопливо оделся.

Теперь на нем был не жакет, а сюртук с расходившимися полами и широкие панталоны над голенищами мягких сапогов. Слуга подал шубу и шапку.

Озимовский проворно спустился по деревянной лестнице; в сенях пахло дымом и капустой.

Погода стояла превосходная. На пустых перекрестках курился под ветром веселый снежок. Дома как будто осели и стали меньше. Озимовский узнал Страстную площадь и розовый монастырь. Налево, извиваясь, ползла Тверская, выступал дом Елисеева. С площади видно было, что это не магазин, а хоромы; из парадных дверей выглядывал швейцар. Вот он сделал кому-то знак; подъехала карета. Выездной лакей подсадил господ и ловко вскочил на козлы. Карета прошуршала мимо Озимовского, и он мельком увидел полную барыню и краснощекого генерала.

Ударил благовест, и загудели колокола.

«Должно быть, сегодня воскресенье. Времени много, успею высмотреть все».

Вот и Тверской бульвар, вот это самое место, где вчера Озимовский расстался с адвокатом. Бульвар почти тот же, но памятника нет: точно его украли за ночь.

Озимовскому сделалось весело, как от вина. Думать он не хотел и мотал головой, отгоняя мысли. Время шло. Стали встречаться прохожие. Идет мужик с бородой, в полушубке: мужик как мужик. Студент в треуголке и в шинели. Озимовский хотел с ним заговорить, но не решился и долго глядел на удалявшийся затылок. Там, где было вчера кафе, торчала будка. У Никитских ворот снова пустынная площадь: ни кондитерских, ни угловых подъездов, и опять разбегаются по сторонам, точно обрезанные, дома. Поравнявшись с особняком, где скончался Гоголь, Озимовский вспомнил, что Гоголь теперь в Москве и, наверное, в этом доме. Ему сделалось жарко. Он походил по бульвару, глядя на окна, потом присел на скамью. Встал, подошел и робко дернул звонок. «Точно во сне». Долго дребезжал колокольчик в пустой передней. Шаги;

дверь отворила старуха, за ней выглядывал мальчик в куртке. «Кого вам?» Озимовский долго не мог ответить. Ему показалось все вздором и чепухой; он просто бредит; может быть, болен, при смерти. На секунду он уверен был, что сейчас проснется. «Вы к кому?» — «Что,— начал Озимовский боязливо,— что, Николай Васильич дома?» Он ждал, что старуха засмеется ему в глаза и захлопнет дверь. Она улыбнулась дружелюбно. «Извините, сударь, имени-отчества вашего не знаю, ушли они к обедне, а когда воротятся, неизвестно. Бывает, от обедни зайдут в гости и вовсе вечером придут».— «А в какую церковь пошел Николай Васильич?» Мальчик тряхнул стриженой головой. «Барин завсегда ходит к Симеону Столпнику на Поварскую. Пожалуйте туда, там их аккурат захватите». «Этот мальчик через два месяца будет жечь „Мертвые души“,— думал Озимовский, идя к Арбату.— Но что со мной?»

Невыносимое что-то загоралось в мозгу его. Точно он в пустоте, под стеклянным колпаком. Одно несомненно было — что это не сон. В сердце занималось непонятное, ни с чем не схожее чувство. Близилось что-то нестрашное, но в нестрашности своей страшнее всякого страха. Нет, это не сон. Вон едут на дровнях мужики по Арбатской площади, собаки валяются на сугробе. Это вон будочник стоит, только без алебарды и в шинели с теплым воротником. Вот церковь Бориса и Глеба. Вот здесь вчера была булочная Севостьянова, а ныне кто-то живет и теплится огонек.

У Поварской Озимовский запутался в переулках. Он шел и думал: жалко, что в этом мире мне остается всего несколько часов. Я мог бы поехать в Петербург, увидеть государя, Тургенева, Глинку. Многие, может быть, сейчас в Москве, а я и не знаю. Еще, пожалуй, и Гоголя не увидишь. Он все прибавлял, задыхаясь, шагу. В виски стучало, и жарко было плечам. Наконец, подбежал он к церкви. Обедня только что отошла. Озимовский разглядывал богомольцев. «Все покойники,— пришло ему на ум, и тотчас возразил он себе: — А ты кто?»

Здесь уже можно было наблюдать обилие типов. Вышла на паперть барыня в салопе, за ней лакей с одеялом. Барыня села в сани; укрывши ей одеялом ноги, лакей примостился на запятках. Старый подьячий в картузе и с палкой. Опять студент в бобровой шинели; приятное лицо. Военный в каске, купец с купчихой, солдаты.

Гоголя не было. Озимовский пошел назад. «Николай Васильич вернулся?» — уже бойко спросил он у казачка. «Нет, не вернулись и не будут, завтра пожалуйте-с»,— так же бойко ответил мальчик. По лицу его видно было, что Гоголь дома.

Солнце переступило полдень. С длинных сосулек падали звучные капли. На Воздвиженке заливался петух. Все чаще встречались кареты. На углу Шереметевского переулка спорили два студента: «Двенадцать бутылок!» — «Ну тебя!» В развалистых санях проехал пожилой барин; лицо его показалось Озимовскому

знакомым. Кто бы это был? Долго он припоминал и не мог припомнить.

Часа три ходил Озимовский по Москве. Наконец проголодался.

— Извозчик, к Тестову.

— Куды?

— К Тестову, в ресторан.

— А это где будет, ваше благородие?

— Против Большого театра.

Извозчик почесал бороду.

— Пожалуйте.

Он ссадил Озимовского в железных рядах у трактира Печкина. Народу было немного. Горели тусклые свечи, где-то раскатывались шары.

Половые встретили Озимовского с поклонами. Один, высокий, в кудрях, с серьгою, осклабился.

— Давненько не изволили быть.

И подал свежую книжку «Современника».

Озимовский точно сразу обессилел. Устало жевал он расстегай, запивая хересом и перелистывая книгу.

Несколько раз начинало казаться ему, будто тень на стене оживает и превращается в юношу, очень похожего на него. Озимовский собрался с духом, неизвестный его предупредил.

— Вы удивлены?

— Очень удивлен. Позвольте узнать вашу фамилию.

— Озимовский, кандидат университета. Родом я из Владимира, но живу в Москве.

— Позвольте, но ведь вы... Вы мой родной дед. Я тоже Озимовский. Ну да, теперь все понятно. Вы отец моего покойного отца.

— Если бы я имел сына. Увы, я холост.

Озимовский вскочил.

— Боже! Да что же это такое! Что за ужасы! Я говорю с моим дедом, которого никогда не видал и не мог увидеть: ведь вы умерли, едва родился отец, а между тем и отца еще нет на свете! Как же я связан с вами и чем? Не уходите, вы мне единственный близкий человек, милый дедушка, спасите меня, спасите!

Двойник привстал. Озимовский упал к нему в объятья и растворился в них. Медленно проиграли куранты на Спасской башне.

Пробудившись в большой белой комнате с ослепительным потолком, Озимовский проворно оделся и глянул в зеркало. Оттуда улыбнулся ему лысый сморщенный старичок.

Неизвестный, войдя, предложил прогуляться.

Они прошли на Страстную площадь. Вместо бульвара была стеклянная галерея. Там гуляли и сидели у столиков; музыка заливалась.

Озимовский не узнавал Москвы. Гигантские дома загроможда-

ли ее. Неслись автобусы, парили аэропланы. Никитский бульвар превратился в большой пассаж.

Из автомобиля вылез Мозоль. Он был толст и важен; седая борода закрывала ему всю грудь.

— Здравствуйте, Мозоль!

Мозоль приостановился.

— Простите, господин: это больной человек, содержится у нас в клинике.

— Вот как. А чем он болен?

— Не могу назвать в точности ихнюю болезнь, а только им кажется, будто они живут в стародавние времена.

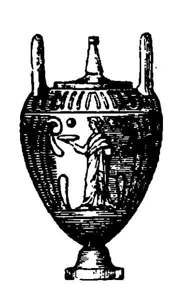
— Любопытно.

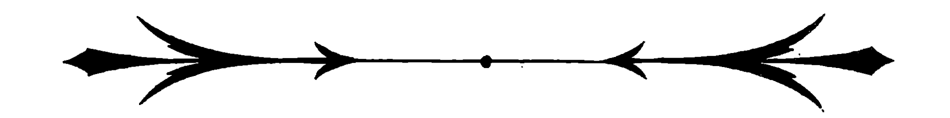
Мозоль, прищурясь, посмотрел на Озимовского, подумал, поправил бороду и, взглянув на часы, прошел не спеша в пассаж.

1915

РАССКАЗЫ

1912—1927





НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ

Я такой же дворянин, как и вы.

Фонвизин

За пять недель до нового, 1742 года совершился в Петербурге переворот. Гренадерская рота лейб-гвардии Преображенского полка возвела на престол царевну Елисавету.

В первый день января капрал Шмурыгин, очнувшись от вчерашнего похмелья, громко икнул, потянулся и кликнул жену:

— Ей, Марья!

Капральша Марья Титишна Шмурыгина торопливо сунула горшок в печь, громыхнула ухватом и встала на пороге, глядя в глаза хозяину.

Шмурыгин усмехнулся.

— Чаво изволишь, жаланный?

Шмурыгин почесал в затылке. Икота одолевала его.

— Огурчиков табе аль кислой капусты?

Шмурыгин опять усмехнулся.

— Ишь ты, капустки... Ладно. А кто я таков?

— Чаво?

— Чаво! Дура ты, и больше ничаво. Ты сказывай, какой на мне чин?

— Кап...

— Кап! Как бы тебе не кап!.. Покапало, да мимо. Бухайся в землю, молись, дурища! Капитаншей будешь. А супруг твой Иван Петрович Шмурыгин есть лейб-гвардии капитан и помещик. Дворянством нас царица жалует, слышь?

— Слышу, кормилец.

Марья Титишна недоверчиво косилась.

— Что, аль думаешь с похмелья? Небось! Всю нашу роту до последнего барабанщика в дворяне записали. Мне в Теменковском уезде поместье дадено — село Ужовка, слышь?

Шмурыгин сдвинул жесткие брови.

— В эфтом самом селе, стало быть, я родился и оттоль в некруты взят. Господь взыскал. Таперича ужовским мужичкам буду заместо отца.

— Огурчиков табе али капустки?

...К вечеру капральша узнала, что муж не соврал. Вся рота получила дворянство, чины, поместья. Лейб-кампанцам отвели квартиры в казенных домах; у обывателей их привечать опасались. Дебоши, безобразия, пьянство превзошли всякую меру. Жаловаться на новых офицеров никто не смел. Нередко приходилось на улице, даже вблизи дворца, слышать, как иной лейб-кампанец, пьяный, без шляпы и с париком набекрень, орал:

— Смирно, черти собачьи! Во фрунт! Кому присягаете, дьяволы? Гвардии! В гвардии ноне вся сила! Кто втапоры Меншикова князя в Сибирь упек? Гвардейцы! Царицу Анну кто ослобонил? Опять же мы! Иван Антоныча мы тоже единым духом! Не подходи! Убью!

Главная обязанность лейб-кампанцев была охранять царицу. Их наряжали дежурить при торжественных приемах, сопровождать высочайшие выходы, нести во дворце караул. Отпуски давались им с первого слова. В трактирах и австериях лейб-кампанцев угощали даром: бери, что хочешь, только не тронь; в лавках за полцены уступали: сделай милость, отвяжись. К весне капитан Шмурыгин пообтесался и от смышленых товарищей набрался хороших слов. Перенял он и кое-какие ухватки. Движения его напоминали медведя, обученного плясать.

— Таво, стало быть... Сударыня-капитанша, пожалуйте-ка сюды.

Марья Титишна вся расплылась в улыбку. И она переменилась. Вместо сарафана и кички — парчовый роброн со шлейфом; жидкие космы высоко зачесаны. У нее в услужении две девки, и спит теперь Марья Титишна от сумерек до полудня.

— Будьте милостивы садиться.

Марья Титишна стыдливо закрылась рукавом. Шмурыгин пододвинул жене скамейку и развалился в кресле.

— Так вот оно, стало быть, как... Да ты садись, дура, бить не буду.

Капитанша сложила руки на животе.

— Чаво изволишь, касатик?

— Ну вот, опять за свое! Эко дубье деревенское. Чаво! Ты помни, кто ты есть и кто у тебя супруг. Держи в уме непременно. А ты «чаво»! Не чаво, а куман, сто разов тебе говорить? По-хранцузскому эфто. Сказывай: куман.

— Ку... куман.

— Ну, то-то. И еще тебе мой приказ: не смей ты себя Марьей Титишной коремендовать. Не априбуется дворянке и помещице мужичье имя.

— Кто же я таперича буду?

Сонные тараканьи глазки мигнули и налились слезами.

— Не реви, корова. Ты есть капитанша Марья Титовна, мадам-госпожа Шмурыгина, вот ты таперича кто. Не Титишна, а Титовна, слышь?..

— Что же ты воешь, ровно домовой?

— Ох, да нешто можно... Ведь энто грех, не басурманка я, чать...

— Не басурманка, а дура.

Шмурыгин засопел и, развернувшись, хватил жену по затылку.

Легкий июньский вечер. Если глядеть направо, до самого края небес плывут ржаные поля.

Налево посмотришь: опять рожь да рожь. Оборотись назад: дорога пылит и вьется, а за дорогой все те же просторы хлебных морей. И только вдали одиноко торчит на пригорке крылатая мельница.

Шмурыгин приближался к Ужовке.

— Эфти места я таперь признаю. Тут была и наша полоска. Во! Вон она...— Рябое бритое лицо раскраснелось.

Необозримый океан под ветром слегка волнуется; кланяясь, приветствуют колосья новых господ. Высоко над тарантасом, перебирая проворными крыльями, пляшет кобчик.

— Слышь, Марья, проснись, приехали.

— Чаво?

Марья Титишна с трудом расклеила заплывшие глазки.

— Вставай, буде дрыхнуть.

Сбоку, приминая колосья и васильки, вынырнула тележка в одну лошадь. Уродливый бритый человечек с косичкой снял порыжелый треух.

— Ну и харя!

Кобчик запищал и камнем свалился в рожь.

Шмурыгин издали видит околицу. Все ему знакомо. Плетень, конопляники, церковь, поповский дом. Гонят стадо. Сдается, пастух тот же самый, что двадцать пять лет назад.

— Господа приехали!

Тарантас подвалил к барскому крыльцу. Отовсюду бежит народ. Мужики с высокими шапками под мышкой, бабы в цветных платках, сгорбленные старухи, румяные невесты, дети с белыми, как лен, волосами.

Благовест. Толпа закрестилась, все кланяются в землю. Два старика на белом полотенце подносят хлеб-соль.

С дороги Шмурыгин крепко заснул и поднялся поздно.

Все хорошо: и вчерашний приезд, и встреча. А ему не по себе.

Он силился понять и припомнить. Неладно что-то. Кажись, имение в порядке, народ богатый, живи да добра наживай. С чего же под сердцем ноет?

Ужовкой много лет владел немецкий барон. Фельдмаршалу Миниху доводился сродни и вместе поехал в ссылку.

Баронский дом каменный и строен на славу. Чистые полы, везде зеркала, картины; в углу клавикорд. Шмурыгин прошелся по комнатам, поглядел на портреты в рамах (чай, дорогие); подивился чистоте (известно, немцы); пальцем потрогал звякнувший клавиш и сладко-сладко зевнул.

— Аль выпить? Марья!

Марья Титишна выплыла из кухни. Она зевала и крестила рот.

— Щи-то приставлять, што ли, соколик? Тамотка белый мужик пришел.

— Какой мужик? Повар эфто.

— Ну, ин повар, все одно. Пущать али нет? Боюсь я.

— Ах ты дура, дура сиволапая! Беда мне с тобой. Да ведь эфто твой же повар, наш раб крепостной. Боюсь! Он тебя бояться должен, а не ты его.

— Чаво меня бояться?

— Как чаво? Ведь ты барыня, дворянка, а он холоп. Ты его не токмо што по морде, в солдаты можешь отдать.

— Ну?

В прихожей кто-то вздохнул. Шмурыгин увидел синий армяк и рыжую бороду. Опять засосало в сердце.

— Староста пришел.

Староста с порога тряхнул кудрями.

— Здравствуйте, батюшка-барин! — и низко поклонился.

Шмурыгин, хмуря брови, глядел. Он начинал вспоминать.

— Ты, староста, малость повремени. Огляжусь, стало быть, на новоселье.

— Вестимо так, батюшка.

— А как тебя звать?

Староста, смущаясь, потупился. Смутился и барин.

— Меня-то? Степаном.

У Шмурыгина выступил пот на лбу. Он поднял и вновь опустил глаза.

— Покудова што приказу тебе легулярного не будет. А миру на сходе скажи, что барин, мол, вас жалеет. Слышь? Взыску понапрасно штоб не боялись. Ежели кому какая нужда, иди прямо на барский двор.

Староста вдруг переступил с ноги, заложил за спину руки и смело, с улыбкой взглянул на барина. Шмурыгин побледнел.

— Иди себе,— молвил он хрипло.

Степан вышел бойко, скрипя сапогами. Он продолжал улыбаться. Барину даже почудился сдержанный смех.

...Нет, новоселье не удалось у Шмурыгина. В ужовской усадьбе он сознавал себя лишним.

Хорошо еще, что заведенные бароном порядки крепко держались в доме. Дворовые убирали покои и служили за столом, но ни сам Шмурыгин, ни Марья Титишна ничего не умели приказать, не знали, как и чем распорядиться. Повар первое время являлся утром и спрашивал, что готовить. Сначала барин заказывал студень либо яичницу, однако взглядов повара больше трех дней вынести не мог. На кухне принялись хозяйничать как попало. Шмурыгин понимал, что его дурачат. Иное блюдо в рот не возьмешь, а повар со смехом божится, что барон-де особенно эту стряпню хвалил. И Шмурыгин жевал через силу: не уступать же барону. Мало-помалу вся дворня так стала себя держать, что барин хоть и не мог ни к чему придраться, однако видел: все идет врозь. Да и барыня вела себя не по-барски: спала на кухне, пила воду из ведерка, ладонью утиралась.

Через неделю новый помещик от скуки не знал, куда деться.

Попробовал Шмурыгин поехать к соседям. У графа Ефимовского его не приняли; один сосед-помещик все спрашивал, откуда он родом и кто у него жена; другой заговорил по-французски. Измученный, злой подъезжал Шмурыгин к родной Ужовке. Сердце щемило. На селе мужики и бабы кланялись барину; в их беглых взглядах Шмурыгин ловил злорадство.

Дома лейб-кампанец столкнулся с гостем. Низенький человечек с крысиной косичкой, умильно приседая, показывал красные десны.

— Подьячий земского суда Губошлепов. Дерзнул отъявиться вашему благородию касательно недоимок, а наипаче с нелицемерным почтением, яко законному посессору сих угодий.

Шмурыгин оживился.

— Милости просим, стало быть... гостем будете... Водочки выпьешь?

— А ты слухай, как дело было.

Шмурыгин медленно налил стакан и задумался.

— Слухай, приказна строка. Да ты пей. Пей, слышь, не отставай. Я эфтого не люблю.

Губошлепов торопливо взялся за бутылку.

— Таперича вот как, стало быть. По указу ее анператорского величества я выхожу благородный. Нас в роте было всего триста шестьдесят четыре гарнодера, ежели считать с музыкантами, с кашеварами и с прочей сволочью. Нашими, стало быть, руками скрутили мы немцев. Раз-два — и шабаш! И вот таперича за эфто самое дело, за нашу верную службу, учинила нам государыня

лейб-кампанию. Теперь смекай: капитан-поручик вышел в енерал-аншефы; два, значит, поручика в енерал... как бишь их... Ну, ладно. Да там пошли бригадеры, полковники, пример-маёры, секутмаёры. Мы все, дюжина цельная капралов — капитанами. Слышь?

— Слышу, ваше благородие, что и говорить.

— И всех в дворяне. И кажному поместье. Вот мне Ужовка таперь досталась. Ербы дворянские дадены всем: на ербах гарнодерский, стало быть, кивер и литеры: за ревность и верность, слышь? Мундеры с особливым, значит, шитьем, золотое, значит...

Безоблачный день опускался к ясному вечеру. В саду кричал грач. Мерно отбивали время часы. Портреты со стен не мигая смотрели. Шмурыгин пьянел.

— Помоги ты мне, братец, дело обладить одно.

— Какое такое дело? — Губошлепов, захмелев, начал держаться развязней.— Сказывай, ваше благородие.

— Решпекту я себе от хамов не вижу, вот што. Кто же я таперича выхожу? Дворянин я али нет?

Подьячий насторожился. Его дребезжащий голосок вдруг яростно зазвенел:

— Что ж! Коль ты дворянин, так поступай по-дворянски. Вам власть предоставлена для чего? Ради всемерного соблюдения государственных ее императорского величества интересов. Нешто хамов можно баловать? Прикинь, сколько их и сколько нас. Из повиновения выйдут хоть однажды — прощайся с фортуной. И будешь и ты и капитанша твоя на воротах болтаться — ей-ей, вот помяни мое слово!

Шмурыгин приставил палец к носу.

— А чем же мне их... того?

— Как чем? Эх, ты! А еще барин, помещик! Чем? Кошками да плетями, известно. Мужик свинья, его словом не прошибешь.

— У меня и плетей-то нету.

— У тебя нету, а вот у барона были. Хочешь, сейчас покажу? Ей, малый!

Явился лакей, небритый, босой, в рубашке.

— Чего вам?

— Принеси барину ключи от чулана.

— Сейчас.

Лакей, зевая, ушел.

— Ин полюбуйтесь на своих людишек. Чему подобно? Халуй перед барином раздетый, брюхо чешет, в глаза не глядит. Посмел бы он эдак при бароне.

— Извольте ключи.

Лакей повернулся и вдруг, закричав, отлетел к стене. Кровь брызнула. Шмурыгин с размаху ударил его еще и еще, свалил и начал с ревом топтать.

— Я вам покажу, анафемы, сволочи! Я вас всех переберу! Узнаете господина, хамово племя. Ах вы, скоты!

Прибежала простоволосая Марья Титишна. Дворовые из дверей робко глядели на бушевавшего барина. Подьячий, согнувшись, шмыгнул из сеней во двор, вскочил в тележку и полетел что есть духу, забыв в гостиной палку и треух.

Вечер надвинулся ниже. В небе звенят стрижи.

Подле конюшни стол на зеленом лужке. На высоком кресле гвардии капитан Иван Петрович Шмурыгин с трубкой. На столе штоф и стакан.

Проворные слуги волокут скамью.

— Старосту давай. Как тебя звать?

— Степан.

— По батьке?

— Петров.

— Прозванье твое?

Сразу наступила тишина. Только заливаются в небе стрижи, да сипит барская трубка.

— Сказывай, аль оглох?

— Шмурыгин.

— Ага! Клади его на скамью.

Розги засвистали. Кровь мерно брызжет и долетает до барина.

— Буде.

Степан лежит. Слышатся слабые стоны. Слуги насилу дышат: умаялись.

— Кошками его!

У кошек узловатые ремни; на ржавых железных крючьях засохшая кровь: барон не любит шутить.

— Ну!

Кошки запрыгали, весело шлепая и цепляясь. Кровь струится; зеленый лужок покраснел.

— Стой! Жив аль нет?

Старый буфетчик пощупал тело.

— Кончился, царство ему небесное.

— Вот кажному так таперича будет, знайте вы эфто! Ежели кто когда... На колени, хамы проклятые!

Шмурыгин шатаясь встал. Глаза недвижны, лицо посинело.

— Повара сюда!

Слуги заметались. Один побежал на кухню, другой в сад, третий в людскую.

— Ну, что же? Где повар? Всех запорю!

Буфетчик шепнул испуганно:

— Сбежал он, батюшка-барин.

— Ладно, далече не убежит.

Стало темнеть. На закате нависли тяжелые тучи; вот потянул ветерок.

Утром дворовые вынули из петли тело лейб-кампанца. Он повесился в сенях.

Марья Титишна осталась в Ужовке. Она перебралась в людскую; прядет там с бабами, слушает сказки и песни; подтягивает тонким голоском. Изредка заезжает к ней Губошлепов. Марья Титишна радушно принимает подьячего, потчует бражкой и медом. После обеда они играют в носки.

1927

В ДВАДЦАТЬ ПЯТОМ ГОДУ

В ночь, накануне Рождества, северный мороз, сердитый и жгучий, во всю мочь трещал, разгуливая по улицам Петербурга.

Хрустальной броней заковал Неву синий, алмазными звездами сияющий лед, гранитная набережная обледенела, и мерзлые елки, посаженные кружкáми, стынут и цепенеют, как каменные, от дыхания лютой стужи.

Редко, редко прохрустят по озаренным снежно-голубоватым улицам беглые, замирающие на холоде шаги. Порой шатающаяся призрачная тень в рогатом капоре или огромной треуголке мелькнет на стене в отблеске скупо мерцающих, на морозе дрожащих фонарей; протащится извозчик, кряхтя и кутаясь, провизжат полозья, и все затихнет.

Будочники в сермяжных доспехах оставили свои рыцарские алебарды и, попрятавшись по будкам, греются: кто топит железную печурку, кто тянет глотками добрую сивуху из зеленого штофа.

В Петропавловской крепости часовые во всю ночь не смыкают глаз. Тяжелая выпала работа за неделю; не хватает караульных солдат, и шлют часовых из гвардии на подмогу; каждый день военных и штатских господ развозят по казематам и сажают в одиночные камеры под крепкий караул. И сидят заключенные в каменных мешках; стерегут их пудовые замки и железные решетки; отбивают им над головой время унылые куранты; скрипя, простирает над ними грозно железные крылья на шпице суровый ангел.

Ума не приложит дежурный часовой у камеры «номер пятый», преображенец Андрей Иванов,— за что так больно достается господам. Правда, дней с десяток тому на Сенатской площади страсть как разбунтовался Московский полк; солдаты пьяные, без амуниции, кивера на затылки, без памяти лезли вперед и кричали «ура, Константин!». Да ведь их дело таковское: ори, что велит начальство. А что кричат-то, и сами, поди, не знают.

Ну, а господа, все переодевшись, кто в статских шинелях, кто в полушубках да в шляпах круглых, подпоясанные полотенцами вместо кушаков, шумели тоже Бог весть о чем. Только и успел расслышать Андрей Иванов, скорым бегом вместе с полком поспешая на площадь, что «Конституцию» какую-то поминали господа.

А Конституция эта, сказывают, супругой приходится государю, то бишь цесаревичу Константину.

А тут и новый царь, Николай, верхом на вороном коне вылетел перед фронтом; конь так и скользит по мерзлой мостовой: того гляди, грохнется и всадника расшибет. А государю и горя мало: прямо перед мятежниками остановился и речь им проговорил. Не послушали — палить приказал из пушек. Ох, тяжело было по своим же да стрелять!

Два раза наводили пушки на толпу, два раза командовал государь «отставь» (жалко было); наконец, в третий раз навели чугунное жерло,— а у первого-то орудия пальником как раз Андреев брат стоял, фейерверкер Тихон, здоровенный парень с усищами в пол-аршина. Слышит Тихон команду: «Пальба по порядку, правый фланг начинай, первая». Слышит, а у самого рука не подымается приложить фитиль. «Ваше благородие,— говорит поручику,— свои...» А поручик смазал его за это по уху. «Хоть бы сам,— говорит,— я перед пушкой стоял, все равно палить в меня ты должен по приказу». Тут хватили по ряду из трех орудий. Народ побежал, заплакали, застонали... Что было, Господи!

Правильно! Потому — военная служба. Вот хоть бы меня взять: служу с лишком десять годов солдатом, да еще лет двадцать осталось впереди; чего-чего не перевидал за самое это время; кажись, косточки целой не осталось ни одной; все бито, колочено, выломано, вытянуто, да и ус правый вырвал на параде генерал Клейнмихель,— зато теперь стал я, Андрей Иванов, первым во всей гвардии фронтовиком. Могу на кивер себе полный стакан воды поставить, по казарме с ним маршировать и не пролью ни капли. Могу в секунду все двенадцать ружейных приемов отмахнуть, и отмахну их чисто, гладко, без передышки — любо посмотреть! Что начальство прикажет — все сделать сумею.

Твердо встал Андрей Иванов среди коридора; в отставленной далеко правой руке не дрогнет ружье с завинченным штыком; кремень у ружья взведен и полка засыпана; через плечо полная зарядная сумка, с левого боку — тесак; на голове кивер с султаном. Лицо суровое, мохнатое, все усами и баками заросло.

Подмигивает ночник на окне, словно и он скучает. Мысли полезли всякие в голову Андрею.

Вспомнилась ему жена Аксинья, баба ядреная, крепкая, с наливными, как яблоко, грудями. Ох, и выла же она, как провожала его в рекрутчину. Вспомнился и отец, седой, слезливый, часто под хмельком; чай, давно на погосте, старый.

Было время, плакал и он; ночью в казармах, на нарах лежа, потихоньку, закусив кулаки, чтобы — Боже упаси! — товарищи не услыхали: засмеют! — разливался так, что хоть петлю на шею, свет Божий не мил. Слезы льются из глаз, горячие, как смола, на сердце камень, а кругом — духота, теснота, храп, тараканы

шуршат, чадит фонарь, сонные вскрикивают, бредят ученьями да бойлом; торопятся все наспаться до барабана, и унтер дежурный похрапывает в рукав на табурете. Да, плакал и тосковал, а теперь вот и горя мало. Привык.

Жена, поди, и думать о нем забыла: гуляет, с кем ни пришлось, потому солдатка, что вдова — мирской человек; да и барин-то к ней приглядывался недаром: потому и лоб Андрею не в очередь забрили! Да это все равно, бабы и здесь не плохи, еще лучше наших, да и возни с ними меньше. Много думать нечего — что было, то прошло.

— Солдат, дай воды! — раздалось из камеры. В дверное оконце выглянул заключенный барин из нумера пятого, офицер лейб-гвардии конного полка; богат, да и собой красавец; завитой, в белом мундире, в башмаках; сказывали ребята: из-под венца его от невесты привезли.

Шибко похудел он за десять дней: глаза опухли, и лицо небритое, в колючей щетине. Смотрит голубыми глазами прямо в лицо Андрею. Одного эполета на нем нет; знать, оборвали в схватке.

— Не приказано, ваше благородие,— басисто, как в бочку, рявкнул Андрей Иванов.— Извольте отойти, не то стрелять буду.

— Пить я хочу, пойми.

Иванов взял ружье на руку. Заключенный со стоном повалился на койку. Часовой закрыл снаружи глазок.

— Так-то оно спокойнее будет.

С полчаса прошло. Ночь по-прежнему уплывала в тишину, искрясь звездами и сверкая морозом. Петухи безнадежно пропели о рассвете. Коптит на стене ночник; кажет на закоптелом стекле морозные узоры.

По коридору раздались гулкие шаги. Неужто смена? Кажись бы, рано.

Молодой, высокий, как тополь стройный генерал в наброшенном небрежно меховом плаще подошел к часовому. Тяжелые рассыпавшиеся по плечам эполеты и огромный золотой воротник словно сияние бросали на свежее с холоду, красивое лицо с прямым носом и строгим взглядом голубых, величавых глаз.

— Дай ключ,— звучно выговорил генерал. Своими руками отщелкнул замок пятого номера и, нагнувшись, вошел в узкую дверь.

Как столб, с ружьем на-караул, недвижно стоял Андрей Иванов перед захлопнутой дверью, откуда долетали к нему бурные речи, слышал он, как один голос, властный и твердый, то ласково смягчался и стихал, то вдруг подымался грозно, а другой — отвечал ему слабо, прерываясь стоном.

Неслись отдельные слова: «Князь, я обещаю тебе забыть...» «Не могу...» «Честь дворянина и офицера...» «Народ...» «Благо наше общее...» «Изменник...»

С треском распахнулась дверь. Громовым голосом крикнул полуночный гость, оборотясь на пороге к заключенному:

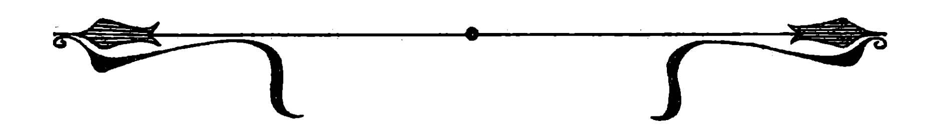
— Плохо кончишь!

И гулкие шаги его замерли одиноко в безмолвии темных сводов.

Андрей Иванов перекрестился и запер дверь. Из камеры слышались рыдания.

Казалось, ночь будет бесконечной. Стыла заколдованная подо льдом сонная Нева; ни звука не было слышно кругом, и только куранты томительно и протяжно пели: «Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык»...

1913



НАТАЛИ ПУШКИНА И ПОЧТМЕЙСТЕР

Появление на сцене порицаемой единодушно пьесы «Натали Пушкина» напомнило мне никем не записанный случай из жизни Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской. Сам по себе анекдот этот не особо важен, но, помимо несомненной его достоверности, заслуживает внимания, и потому, что показывает, какую значительную роль даже захолустные обыватели сороковых годов отводили Наталье Николаевне в роковой гибели ее первого мужа.

Наталья Николаевна Пушкина вдовела семь лет и в 1844 году вышла замуж за кавалергарда Петра Петровича Ланского. Года через два или через три после ее второго замужества, в эпоху, к которой относится рассказ мой, ей было уже около тридцати пяти лет. Генерал Ланской в службе был несравненно счастливее камер-юнкера А. С. Пушкина, и Наталья Николаевна вправе была считать себя особой немалого значения и веса. Черты лица ее светились еще красотой. Если первый, гениальный, супруг провидел в ней облик Мадонны и называл «чистейшей прелести чистейшим образцом», то в трезвых глазах Ланского Наталья Николаевна была такою, какой оказывалась в действительности, то есть превосходно воспитанной и красивой женщиной. К прежней милой, с наивностью граничившей манере и вечной привычке устремляться сердцем в области, принадлежащие всецело уму, присоединилась у нее теперь благородная и достойная сановитость.

В один летний прекрасный день Наталья Николаевна Ланская, проезжая в поместье супруга своего, прибыла в уездный город Нижегородской губернии Макарьев. Здесь предстояло ей переправиться на пароме на правый берег Волги. В сороковых годах проезд важной дамы являл весьма значительное событие. Власти в уездных и даже губернских городах почитали священным долгом представляться генеральше, дабы содействовать всемерно удобнейшему путешествию ее превосходительства. Станционные смотрители с готовностью отдавали Наталье Николаевне лучших лошадей под ее рессорную коляску, а ямщики бойко погоняли разномастные четверки и свистали соловьями.

По летнему глухому времени начальство и обыватели города

Макарьева так и не узнали о прибытии важной барыни, но, неизвестно как, сведал о том мой дед, в то время живший по каким-то делам в Макарьеве.

Пока знатная путешественница ожидала парома, пока, наконец, он пришел, пока собрались устанавливать на него коляску и лошадей, времени прошло немало. Наталья Николаевна с чувством легкой досады увидела себя в полном уединении. От скуки она приказала камеристке достать ей из саквояжа новую книжку Мюссе, уселась на складном дорожном кресле и, приняв позу обычно изображаемых в великосветских романах героинь, раскрыла французский томик.

Дед мой, между тем, приблизился к берегу на пистолетный выстрел, но не имел смелости подступить поближе. Он издали созерцал величественно-прекрасную даму с книжкой, видел, как суетились камеристка и приказчик и как ямщик задавал корму лошадям, но не решался никоим образом поклониться генеральше. В то время деду было за двадцать; как можно судить по сохранившемуся семейному портрету, он был недурен собой, с черными, гладко лежавшими волосами и правильным лицом. Наверное, не лишен он был известной ловкости и даже грации в движениях; может быть, так же, как и на портрете, выпущены были у него острые воротнички и так же кокетливо держал он в руке еще модную тогда в провинции папироску. Но что хорошо для уездного салона, то вряд ли могло показаться достойным внимания в глазах генеральши Ланской, и дед оставался верен своей скромности, бывшей всю жизнь отличительной его чертой.

Вероятно, Наталья Николаевна время от времени переводила беглый взгляд со страниц на молодого человека, вертевшегося между монастырем и перевозом. Без сомнения, она предполагала, что это какой-нибудь уездный чиновник, и даже решила, может быть, подозвать его, и только аристократически-сановный обычай не дозволял ей слишком быстро обратить внимание на человека чужого круга. А может быть, и на самом деле увлек ее Мюссе, так что ей никого не хотелось видеть.

Наконец, молчаливую эту сцену прервало появление несомненно уже должностного лица. С пригорка от монастыря спускался торопливо толстый макарьевский почтмейстер, единственный городской сановник, узнавший о приезде Натальи Николаевны из частного письма, которое он, подобно коллеге своему, гоголевскому Шпекину, полюбопытствовал прочитать. Иван Саввич, можно сказать, соединял в себе черты обоих гоголевских почтмейстеров, и если в чтении писем уподоблялся почтмейстеру из «Ревизора», то в любви к литературе не уступал почтмейстеру из «Мертвых душ». В казенном шкапу, заодно с деловыми бумагами, хранились у него в отличных кожаных и сафьяновых переплетах Державин, Батюшков, Жуковский, Карамзин, книжки «Северных цветов», томы «Библиотеки для чтения» и «Отечественных записок» и полный Пушкин. В мундире и при шпаге, колыхая затянутый жи-

вот, Иван Саввич подошел к ее превосходительству, расшаркался и назвал себя.

Наталья Николаевна сложила книжку и небесным взором облагоухала почтительного почтмейстера.

— Такая скука,— обронила она.— Так долго ждать переправы!

Почтмейстер, отворотясь, показал перевозчикам свирепое лицо и погрозил незаметно кулаком.

— Уж это такой народ, ваше превосходительство. Смею доложить; когда не надо, поспевают, а как вот к спеху, хоть умри, ничего не сделают.

— Если бы не книга, я бы умерла.

— Осмелюсь спросить, что изволите читать, ваше превосходительство?

И, увидя иностранную печать, почтмейстер слегка смутился.

— Читали вы? — спросила Наталья Николаевна.

— Никак нет-с, не обучен языкам. Русских люблю-с.

— Кого же вы любите? — еле цедила генеральша, следя не без удовольствия, как на паром вводили лошадей.

— Державина, ваше превосходительство, люблю, Жуковского Василия, Тимофеева-с. Бенедиктова даже до чрезвычайности.

— Который же поэт вам больше всех нравится? — продолжала все так же однотонно Наталья Николаевна, не отводя взора от переправы.

Почтмейстер, ободренный снисходительным вниманием важной дамы, разошелся и осмелел совсем.

— Да что, ваше превосходительство, все эти поэты перед Александром Сергеевичем Пушкиным, можно сказать, недорогого стоят. Вот уж поэт так поэт! — и, глядя с восхищением в благосклонно устремившиеся на него черные очи Натальи Николаевны, прибавил с чувством: — Одно жалко: из-за бабы погиб, из-за жены... Разорвал бы ее, кажется, своими руками.

Наталья Николаевна все с тем же полувнимательным благоволением дослушала горячую речь любителя поэзии, потом опустила ресницы и гибко-величавым движением поднялась с кресла. Почтмейстер склонился низко, ожидая милостивого приветствия на прощанье, но генеральша ни слова не сказала и, взойдя при помощи слуг на готовый к отплытию паром, приказала немедленно отчаливать.

Когда, поворотясь, чтобы идти, почтмейстер снял шляпу и вытер лысину голубым платком, к нему подошел кипевший негодованием дед.

— Не ожидал, Иван Саввич, как не совестно вам, не могли меня представить генеральше!

— Рано еще вам генеральшам-то представляться,— отвечал шутливо довольный толстяк.

— Да мне не то лестно, что она генеральша,— продолжал огорченный юноша,— ведь она Пушкина самого вдова, вот что

любопытно. Красавица-то какая! Из-за нее и убили его... Иван Саввич, что с вами? Нездоровы? Дурно?

Иван Саввич, охнув, сел едва живой на песчаный бугор и помутневшими глазами, не дыша, всматривался в струистую гладь Волги. По ней плавно пересекал течение паром с лошадьми и коляской, и, восседая величаво на походном кресле, Наталья Николаевна дочитывала Мюссе.

Целый год почтмейстер ждал отставки, всяческого позора и взысканий за дерзость. Опасения его не сбылись. Надо думать, что Наталья Николаевна Ланская не рассказывала никому о литературной беседе своей с макарьевским почтмейстером.

1912

ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛА

(1885)

1 января. Вчера мы встречали вместе Новый год: я, Като и Паша Панютин. Я подарил Като турецкую шаль. Сухой Редерер, по-моему, несравненно приятнее полусухого. Что-то теперь делается в Петербурге? Бедный Маркевич! Его отпевали в той же церкви, где и Пушкина. Честь эта им вполне заслужена. После «Перелома» ничего порядочного у нас не появлялось, а уж пора бы. Говорят, что Маркевич любил мальчиков. Я не осуждаю.

Паша рассказывал про своего дядю, покойного Николая Сергеевича Панютина, жандармского генерала. Он жил в доме Невского на Малой Покровке, а напротив жил отставной генерал Степанов. Оба они между собой знакомы не были, но любили сидеть у окна и глядеть на улицу, и кто придет позже, вежливо кланяется пришедшему до него. Так они лет пятнадцать прожили, наконец, Степанов умер. Панютин идет на панихиду и узнает, что покойник свой дом завещал ему. Паша помнит, как этот самый Панютин делал жандармам смотр и парад у себя перед домом. Генерал стоит на крыльце, в халате, подпоясанном дамской шалью, а жандармы перед ним гарцуют на конях в полной парадной форме.

Вчера вдвоем с Пашей мы выпили 5 бутылок шампанского, и Паша ушел от нас в пятом часу, а нынче был у обедни. Я же выехал в собор только к молебну: голова болела.

6 января. Чалый хромает. Ветеринар сказал, что опоя нет, а опухоль на ноге от растяжения жилы. Бисмарк просит полтораста тысяч марок на иностранные расходы. Этого я, признаться, не понимаю, что за церемонии. Заезжал с визитом губернатор, рассказывал, как у них в Морском корпусе был кадет Пасынков. На экзамене у генерала-немца он сказал: «Лютер был хотя немец, но храбрый человек». Тогда адмирал ответил: «Ну, г. Пасынков, а вы хоть и русский, а большой дурак». Лет 25 тому назад Баранов был в Лондоне, когда служил старшим мичманом на корабле «Олег». В Лондоне они с капитаном пошли делать визиты. Сначала к послу Бруннову, тот их не принял. Потом отправились к Герцену-Искандеру. Выходит Искандер; офицеры не знают, что сказать. Наконец, Баранов надумался! «Мы хотим поставить на носу корабля фигуру князя Олега, не можете ли сообщить нам, в каком костюме ходил

Олег?» — «Извините, но я никогда портняжным ремеслом не занимался»,— поклонился и ушел. Баранов хорошо рассказывает, заслушаться можно. Он очень сильный, разрывает руками колоду карт пополам. У Като мигрень.

15 февраля. Паша Панютин рассказывал, что покойный губернатор Анненков выезжал на охоту прямо из губернского дома. Велит спустить на Благовещенской площади зайца или лису и бросить на нее всю стаю. Лиса летит по Большой Покровке, за ней собаки, охотники, псари, и все это с криком и гамом через весь город несется прямо в поле. Негры убили генерала Гордона. Давно пора. У Чалого и задние ноги опухают. Ума не приложу, что за болезнь.

6 апреля. Всю Пасху я пролежал и только сегодня был с визитом у Баранова. Говорили про покойного государя. Последние годы он перестал краситься и стал весь седой, а лицо черное, от возбуждающих капель, которые Боткин прописывал ему для Юрьевской. Покушений он ужасно боялся. Когда Валуев с Маковым составили проект верховной комиссии, то Валуев думал занять место начальника ее. Государь остался в восторге от проекта и при всех сказал: «Ну, спасибо, превосходно, остается назначить лицо. Надеюсь, что ты, Лорис-Меликов, единственный человек, способный занять это место». Валуев был в отчаянии. Чтобы утешить его, ему дали графский титул. Государь, назначив Макова министром, спросил: «А что, Маков, воображал ли ты, стоя на правом фланге в лейб-уланах, что сделаешься такой важной птицей?» Вчера у нас были: Паша, Анна Петровна, А. А. Одинцов и Коля с супругой.

8 апреля. До Ивановой ярмарки почти 3 месяца, а мне не на чем выехать. Като советует взять левую пристяжную у Коли. Губернатор отдал визит. Рассказывал, как он объявлял смертный приговор убийцам покойного государя и предлагал им исповедоваться и причаститься. Кибальчич сказал, что он на том свете не бывал, может, загробная жизнь и есть, и попросил священника. Желябов отказался. На вопрос Баранова, не желает ли она священника, Перовская отвечала: «Если молод и недурен, да». Вот стерва! Я бы ее собаками затравил. Во время казни с Перовской сделался обморок, и ее так в обмороке и повесили. Кибальчич много страдал в петле, потому что был худ и легок. Желябов из крепости писал Баранову записки, а тот показывал их государю, который делал на них свои пометки. Смешная история вышла во дворце, на панихиде после первого марта. Митрополит зовет Баранова в алтарь и говорит, что убийца здесь, в хоре придворных певчих. Тотчас сделали розыск, и оказалось, что это был не убийца, а богатый курский или орловский купец, который дал регенту большую взятку, чтобы, переодевшись певчим, проникнуть в хор и видеть на панихиде всю царскую фамилию. Баранов ездит на сером рысаке Воейковского завода.

10 апреля. Была Кармен Зыбина и сообщила Като, что у вели-

кого князя Владимира Александровича был на Пасхе афинский вечер. На десерт подали голую француженку из балета, обложенную виноградом. Хорошо бы попробовать этого винограду: вот, чай, сладко! Ай да Комаров! Ловко наклал афганцам! Как бы только не случилось войны.

14 апреля. Обедал Паша Панютин и рассказывал, что государь в Петербурге заехал в Александровский лицей и, застав всех мертвецки пьяными, сказал: «Был бардак и есть бардак». Я описал Паше афинский вечер у Владимира Александровича, а он мне другую историю поднес. Великий князь с компанией кутил у Донона, а Грессер предложил им разъехаться по причине позднего времени. Тогда великий князь вымазал Грессеру лицо горчицей. Тот в таком виде отправился прямо к государю. Что было за это Владимиру Александровичу, неизвестно, но по головке вряд ли погладили. Грессера я отлично помню. Он был у меня субалтерном в гренадерском полку, а потом служил в Харькове губернатором. Шампанское пил прямо из горлышка. Ростом он немного пониже Петра Великого.

2 мая. День моего ангела. Служили молебен на дому, по причине моего нездоровья. От нечего делать хочу записать наши приключения в Париже во время Коммуны. Когда я женился на Като, ей очень хотелось посмотреть Париж, и мы отправились в заграничную поездку, употребив на это предприятие оставшиеся еще у меня выкупные. Франко-прусская война только что окончилась, осаду с Парижа сняли, и в нем находилось временное правительство. Вскоре по нашем приезде мы узнали, что генерал Лекок и еще какой-то, фамилии которого я не помню, расстреляны и что в Париже провозглашена Коммуна. Мы не придали этому известию никакого значения, полагая, что оно к нам, как к иностранцам, относиться не может. Однако мы горько ошиблись. Я думал, что Коммуна — это разбойничье правительство, при котором никаких законов не существует, но что все иностранные подданные освобождены от подчинения этому правительству,— вышло же как раз наоборот. Мы с Като поселились в Hotel du pavillon des Rohnas в большом 8-этажном доме. Одной стороной он выходил на площадь Palais Royal, другой на улицу Saint Honoré, третьей к Лувру на улицу Rivoli и четвертой стороной на какую-то маленькую уличку. Все это место очень бойкое, выложенное четырехугольными плитами или panés, из которых главным образом и строились баррикады. Из окон нашей комнаты виден был дворец Tullerie, тогда еще бывший в полной сохранности, а весь Тюльерийский сад и Луврская площадь были полны бараками, палатками и лазаретами, везде тут виднелись военные в блестящих мундирах коммунальной гвардии. Мы платили за комнату по 30 франков в сутки. Как сейчас помню чудный весенний день в конце марта или в начале апреля 1871 года. Мы с Като пошли погулять и, кстати, позавтракать. Веду я ее под руку и ничего не думаю, вдруг налетает какой-то господин и хватает мою Като за

другую руку. Я предложил ему убираться прочь, но он со смехом обнял Като за талию. Тогда я его ударил и сшиб с тротуара. Тогда нас всех захватили и, узнав, что мы с Като иностранцы, повели на Vandôm'скую площадь, где помещался главный штаб и Комитет общественной безопасности. Против этих зданий расположился почетный караул из федеральных солдат или разведчиков, défenseurs de Paris[1], как объяснил нам наш portier, взятый с нами в качестве свидетеля. Като страшно волновалась и даже плакала, я же твердо знал, что меня, как полковника русской службы, никто не смеет тронуть, и был спокоен. Мы ждали около двух часов. Вдруг показался национальный гвардеец с протяжным криком, наподобие уличного разносчика: «Procureur de la commune!» Все засуетились, и вошел господин, довольно полный, еще не старый, курчавый, с русой бородкой и очень хорошо одетый. Пред ним шли два гвардейца с ружьями, а сзади секретарь с портфелем. У прокурора был утомленный вид. Он выслушал сначала Като, потом меня. Когда я упомянул о своем чине, он улыбнулся и сказал фразу, которую я не понял. Потом обратился к нахалу, затронувшему Като на улице, допросил свидетелей и нашего portier и сказал краткую речь. Он сказал, что правительство не дает привилегий никому, но дамам оно предоставляет полные права, поэтому важна не обида, нанесенная даме, а то, что дама может обижаться на такие пустяки. Вообще что-то в этом роде, всего я хорошенько не помню, а остальное забыл. Затем он сделал строгий выговор нахалу и предложил ему удалиться. Нам же он посоветовал как можно скорее выезжать из Парижа и вообще из Франции. Разумеется, мы с радостью согласились, и прокурор велел сейчас же выдать нам пропуск. Тем дело и кончилось.

6 мая. Кармен Зыбина заезжала проститься перед отъездом за границу и привезла пикантную новость про министра Делянова. В Петербурге на Знаменской площади есть номера, куда забираются на ночь парочки. Чиновник ревизировал ночью эти номера и хотел пройти в одну из комнат, но хозяин чуть не на коленях умоляет его не ходить. Тот рассердился и все-таки вошел. Смотрит — а в кровати Делянов с дамой.

⟨*1926*⟩

---

[1] Защитников Парижа *(фр.)*.

КОНЕЦ КНИГОЛЮБА

Гарусов был помешан на книгах. Книги заменяли ему семью, общество, друзей. Он был старый холостяк и, кажется, родился таким же сгорбленным, маленьким и колючим, каким знали его все московские книжники и букинисты.

Именно они знали его, а не он их. Ошибкой было бы думать, что Гарусов принадлежал к числу тех собирателей книг, что бегают всю жизнь по лавочкам и книжным ларям, дружат с букинистами, а по воскресеньям являются непременно к Сухаревой башне. Нет, Гарусов был иного полета птица. Бесцельное собирание книг он презирал и называл пустым делом.

— Что за диковина собрать библиотеку хоть в десять, хоть в двадцать тысяч томов,— говаривал он презрительно,— вон у меня приятель Рюриков какую имеет библиотеку, во всю квартиру. Скажешь, цены нет, а, между прочим, все хлам. Тут у него и приложения к «Ниве», и декаденты, и старые журналы, и всякая заваль.

У Гарусова книги занимали одну комнату всего, но это действительно бесценное собрание.

Начать с того, что Гарусов заказывал для книг особые полки по собственному рисунку. Каждая книга имела свое место за красным деревом, под стеклом, откуда и вынималась, как сот из улья. Все это были редчайшие издания русских книг XVIII и первой половины XIX веков. Книг позже 1855 года Гарусов не признавал.

— Жидковато больно, не тот коленкор, интеллигентом пахнет,— пояснял он сурово.

Было у него и несколько уник.

Букинисты знали, что к Гарусову соваться с пустяками нельзя. Попробуй-ка принеси нестоящую книгу: раскричится, выгонит, обругает скверным словом, да еще и книгой этой самой вдогонку с лестницы пустит. Зато, когда попадалось редкое издание, букинист шел смело к Гарусову, рассчитывая на верную наживу. Тут дело круто менялось.

Завидя редкую книгу, Гарусов вдруг преображался: скрипучий голос делался елейным, руки начинали дрожать, и весь он точно «осатаневал», по выражению букинистов. Немедленно начинался торг. Если букинист заламывал чрезмерно большую цену, Гару-

сов выходил из себя, визжал, топал, ругался и даже иногда выгонял алчного торговца. Но уже с половины лестницы возвращал он гостя обратно, опять начинал торговаться и все-таки книгу приобретал. Торговался Гарусов не из бедности, а так, по привычке.

— Вот-с, извольте посмотреть,— показывал он кому-нибудь из гостей свои сокровища,— что ни книга, то и алмаз, драгоценный перл. Подите-ка, поищите где-нибудь. Вот, например, «Торжество Анфиона». Вы посмотрите, фронтиспис-то какой! Ведь завитки-то эти у облаков точно в небо уходят, ведь у корабля-то каждый парус как будто дышит. Этой книги всего пять экземпляров, и печаталось для высочайших особ. Один экземпляр в Зимнем дворце, другой в Публичной библиотеке, третий у нас в Румянцевском, четвертый в Лондоне, а пятый у меня. То-то и оно.

В один прекрасный весенний день Гарусов стоял в своей библиотеке, рассматривал только что купленную книгу. Его колючие щеки горели румянцем, руки тряслись. Книга, которую он держал перед собой, была действительно редкость и могла называться уникой: это было знаменитое «Странствование из Астрахани в Тверь», сожженное по повелению императрицы Екатерины рукой палача. Редкость книги усугублялась тем, что она была не в переплете, а в обложке, «в сорочке», как говорят букинисты. Самая «сорочка» была свежая, едва полинявшая от времени.

Гарусову хорошо было известно, что во всем мире существует только один экземпляр «Странствования», хранящийся в Публичной библиотеке, экземпляр в переплете и средней сохранности. Выходит, что покупке его нет цены, и это было тем более приятно, что заплатил он за книгу всего семьдесят пять рублей.

«Да, это тебе не рюриковский хлам,— думал Гарусов, гордо оглядывая свои полки.— Невелика птичка, да ноготок востер. Рюрикову за всю его дрянь и трех тысяч не дадут, а мне любой американец полмиллиона сейчас отвалит. Только не продам я вас, мои голубчики, нет, не продам».

Как у всех одиноко живущих старых людей, мысли Гарусова повторялись всегда в одном и том же порядке. Теперь ему предстояло задуматься об участи книг после его кончины, но легкий стук в дверь заставил его очнуться.

— Здравия желаю, батюшка Сергей Сергеич,— запищал тонкий голос, и к Гарусову подошел, низко кланяясь, толстый седой горбун. Это был известный букинист Терентьев, наживший продажею старых книг большие деньги. В противоположность Гарусову, книжнику-идеалисту и поэту своего дела, Терентьев был практик и делец. Ни до редкости, ни до красоты книги

ему не было никакого дела: главное, выгоднее продать. Теперь Терентьев жил на покое, сдав торговлю сыновьям, а сам только пил чай да ходил к обедне. У Гарусова он бывал не часто.

— Здравствуй, Петрович,— ласково отозвался Гарусов, помнивший Терентьева еще мальчишкой,— что скажешь?

— С покупочкой вас.

— Ах, ты про это. Да откуда ты узнал?

— Слухом земля полнится.

— Да, брат, книга первый сорт. Это мне Бог послал на мое сиротство.

— А вот я к вам, Сергей Сергеич, по делу, насчет этой самой книги. Извольте ли видеть: Сухов Павел Петрович хочет в Петербурге эту книгу переиздать. Ему это разрешили.

— Ну так что же?

— Так не одолжите ли ваш экземплярчик?

Терентьев много лет знал Гарусова, но и представить не мог, чтобы старый книголюб способен был до такой степени рассердиться. Он зашипел, запрыгал, заплевался. Не Сергей Сергеич Гарусов, а фурия какая-то металась перед глазами Терентьева. Горбун поспешил скатиться с лестницы под градом скверных слов.

Но не таков был Терентьев, чтобы отступить от дела. Издатель Сухов обещал хороший куртаж, и ему не хотелось упустить добычу. Три недели уламывал он Гарусова, снося оскорбления и насмешки. «Помилуйте, Сухов Павел Петрович, какое имя! Ведь только наберут и вернут вам книжку в целости, будьте покойны. Да я своим словом ручаюсь, Сергей Сергеич».

— Подлец ты! Мне не книги жалко, а не могу я расстаться с ней, понимаешь? Ты вот человек семейный, а небось сына или дочь в чужие руки не дашь. Каково мне думать, что моя книга, моя, и вдруг где-то в чужих руках!

— Так что за беда, Сергей Сергеич! Не то что дети, бывает, и жена попадется в чужие руки, так и то большой потери тут нет. Побывает и назад вернется.

— Ах ты, пес горбатый! Да как у тебя язык поворачивается только? Ты рассуди. Ведь каждая эта книга не то что жены или детей, а и меня самого дороже. Правда, женат я никогда не был и Бога за это благодарю. Вон они, мои жены и дети, на полочках стоят! Не изменят, не убегут. Заведи-ка жену, так она и платьев запросит, и шляпок, и невесть чего. Детей учить надобно, беспокоиться из-за них. А тут я к полочке подошел, книжку вынул, раскрыл, и ничего мне на свете не надо. Тут на каждой страничке я жизнь свою прошлую встречаю: когда купил, когда прочитал, все помню. Жена! Да жена-то через десять лет состарится и ведьмой станет, а тут есть книги — по сорока лет у меня стоят, так словно еще свежее стали.

Терентьев видел, что старый книголюб, увлеченный своею речью, смягчился.

— Сущая правда, батюшка Сергей Сергеич,— поддакнул он.— Это что и говорить, все как есть правда. И у Мартынова на каталоге надпись имеется: «Книга есть верный друг». По этой самой причине чего же вам бояться? Я тоже человек верный, знаете вы меня пятьдесят с лишним годов, доверие ко мне можете иметь. Так позвольте книжечку-то, я самолично ее Павлу Петровичу свезу и вам в целости предоставлю.

Гарусов, полагавший, что горбун убедился его словами и отказался от дерзкой мысли, был озадачен. Несколько минут он молчал, разинув рот, потом вздохнул и, глядя в глаза Терентьеву, сказал с расстановкой:

— Бесчувственная скотина! И как это тебя земля держит!

Горбун посмеивался, нисколько не смущаясь.

Мало-помалу Гарусов стал сдаваться. Устал он от постоянных пререканий с Терентьевым, или подействовало на него упорство горбуна, но только он уже не ругался, не шипел и не гнал старого букиниста. Он даже полюбил беседовать с ним, просиживая часами в своей уютной столовой за толстеньким, красной меди, певучим самоваром. Кроме самовара, столовую оживляли еще диковинные часы. Четверти на них выкрикивал перепел, а часы — кукушка, и били они башенным глухим боем. Самовар, часы, полки с книгами и сам хозяин в халате являли собой какой-то особый, неподвижный мир.

Однако горбун начинал уже терять терпенье, когда один совсем неожиданный ход решил все дело.

— А знаете, батюшка Сергей Сергеич,— заговорил он однажды, допив четвертую чашку,— Сухов-то, говорят, хочет в книге прописать: что так, мол, и так, издается при участии известного знатока Гарусова, с единственного экземпляра.

Терентьев сбрехнул не подумавши, зря, но слова его возымели действие, какого он при всей своей проницательности не мог предвидеть. Гарусов опустил поднятый было чайник, встал и, оставив кипяток из самовара литься на поднос, пошел в библиотеку. Горбун осторожно завернул кран и пристально следил за хозяином. Он глазам своим не верил, когда Гарусов, минуту спустя, подошел к нему с драгоценным томом и заговорил торопливо и мягко:

— Что ж, возьми, пожалуй, только помни...

— Что вы, батюшка, будьте покойны, да я...

— То-то.

Улучив удобную минуту, горбун пустился домой. Прощаясь с Гарусовым, он был уверен, что хозяин воротит его с лестницы и отнимет книгу. Но этого не случилось, и «Странствова-

ние», упакованное в холстину, в тот же день поехало в Петербург.

Гарусов, по уходе горбуна, не сразу пришел в себя. За всю его долгую жизнь это был первый случай, что книга, приобретенная им, поставленная на полку и включенная в каталог, вдруг покинула его дом. Сознание это явилось к нему позже, а пока он весь был во власти тщеславия, рисовавшего ему самые соблазнительные картины.

И до вечера думал Гарусов, расхаживал по комнатам и улыбался.

Оттого, что всю жизнь свою прожил он, как дитя, зная одни книги, Сергей Сергеевич был лишен тщеславия и не думал об известности; теперь новое чувство хлынуло в душу его широкой волной. Будто с исчезновением книги, как бы в оплату за измену идеалам всей жизни, завладели Гарусовым дурные мысли.

Но длилось это недолго. Ночью он вдруг проснулся, схватил ключ и побежал в библиотеку. Книги не было. Точно очнувшись, стоял он и спрашивал сам себя: да неужели я ее вправду отдал?

Он не уснул до утра, и самые невероятные думы терзали его ослабевший мозг.

«Все это лестно и хорошо, и слава, и то, и се, да книги-то нет. Ведь ее потерять могут, украсть,— да, конечно, сам Терентьев первый украдет!» — и он похолодел от ужаса.

На другой день к вечеру он полетел в Петербург. Пассажиры, перешептываясь, оглядывали с любопытством допотопного старика в небывалой шинели и старом бобровом картузе. Лет двадцать Гарусов никуда не выезжал.

Прямо с вокзала он отправился в типографию Сухова и, входя в наборную, окаменел на пороге.

Рабочие только что приступили к набору драгоценной книги. «Странствование» было разорвано на части, роздано по рукам, и рабочие торопливо набирали со старинных, захватанных их свинцовыми грязными лапами страниц. «Сорочка» — последняя, может быть единственная в мире, валялась на полу, и метранпаж тут же, при Гарусове, наступил на нее каблуком.

Ни слова не сказав, Сергей Сергеевич вышел. Голова у него тряслась. На дворе с ним сделался легкий обморок, но он преодолел себя и в тот же день выехал в Москву.

Дома он слег и через неделю скончался. В предсмертном бреду он бормотал: «„Экзалтацион любознательный“... В восьмую долю, не обрезан... „Кадм и Гармония“... державный сафьяновый переплет... „Капище сердца моего“... У Любия, Гария и Попова... экземпляр подносной, с автографом...»

До самой смерти Гарусов не узнавал никого. Но когда явился проведать его букинист Терентьев, к старому книголюбу на мгновенье вернулась память, и он, сжимая высохшие кулаки, прошептал чуть слышно:

— Убил ты меня, подлец!

Терентьев, крестясь, осторожно вышел, но на дворе долго ухмылялся и покачивал головой.

Наследников у Гарусова не оказалось. Тот же горбун Терентьев скупил все его книги и распродал потом по частям с огромным барышом.

1915

ИЗ КНИГИ «РУССКАЯ КАМЕНА»

Д.В. ДАВЫДОВ

Я не поэт, я — партизан, казак;
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком
И беззаботно, кое-как
Раскидывал перед кастальским током
Мой независимый бивак.

Денис Давыдов

I

Имя Дениса Давыдова в нашем представлении неразрывно связано с памятью двенадцатого года. Но сам по себе Давыдов значителен и достоин изучения не только как первый партизан Отечественной войны и талантливый лирик Пушкинской эпохи. Помимо военных и литературных заслуг, в Давыдове замечательна его оригинальная и яркая личность. В глазах будущих поколений он останется жить, как бытовой характер, воплотивший в себе главные особенности и черты исчезнувшей великой эпохи. Именно так смотрят на Давыдова лучшие наши художественные критики — Белинский и Дружинин. «Давыдов,— говорит Белинский,— принадлежит к замечательнейшим людям блестящего царствования Александра Благословенного. Давыдов примечателен и как поэт и как военный писатель, и как вообще литератор и как воин — не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальничества, и, наконец, он примечателен, как человек, как характер. Он во всем этом знаменит, ибо во всем этом возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности»[1]. Дружинин со своей стороны замечает: «Вот писатель истинно самобытный, драгоценный для уразумения породившей его эпохи»[2].

При первом взгляде на картинно-величавую эпопею двенадцатого года мы сначала почти не различим Давыдова: его заслоняют эпические фигуры Кутузова, Багратиона, Ермолова, Кульнева, Раевского. В сравнении с этими богатырями Давыдов

---

[1] Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в двенадцати томах, под редакциею и с примечаниями С. А. Венгерова. Т. VII. СПб., 1904. С. 514—543.
[2] Дружинин А. В. Собрание сочинений. Т. VII. СПб., 1865. С. 639—649.

кажется маленьким, второстепенным. Разумеется, поверхностному зрителю куда легче заметить героический образ хотя бы Ермолова с его «круглым лицом, огненными серыми глазами, седыми волосами дыбом и головою тигра на Геркулесовом торсе»[1]. Но где герои, там неизбежно веет исторический холод. Кутузов и Ермолов для нас уже становятся почти такими же отвлеченностями, как Агамемнон и Ахиллес. И если двенадцатый год можно уподобить нашей Илиаде, то для Дениса Давыдова мы не найдем у Гомера соответствующего лица. В Давыдове слишком чувствуется дыхание быта, в котором нет и не может быть ничего эпического. Бытовое значение Давыдова особенно выясняется из отношений к нему современников. Кутузову и Багратиону гремели оды все больше высокопарные и плохие певцы, которых имена мы не сразу можем вспомнить, а Давыдову посвящали дружеские послания Пушкин, Жуковский, Баратынский, Вяземский, Языков. Как холодно, широкими общими мазками пишет Лев Толстой в «Войне и мире» больших героев, и какие милые интимные краски находит он для Давыдова (Денисова). Герои с годами каменеют и застывают в своих величавых позах, превращаясь постепенно в мраморные надгробия, а полный жизненным кипением рядовой генерал все живет и будет долго жить.

Известно, что Денис Давыдов имел большое значение в поэтической юности Пушкина, который с лицейских лет до конца жизни чрезвычайно любил и уважал «Дениса-храбреца»[2]. Однажды на вопрос одного современника, каким путем удалось ему уберечься в своих первых опытах от подражания Жуковскому и Батюшкову, Пушкин отвечал: «Я этим обязан Денису Давыдову. Он дал мне почувствовать, что можно быть оригинальным»[3]. Пушкин говаривал нередко, что в «молодости он старался подражать Давыдову в кручении стиха и усвоил его манеру навсегда»[4].

Наездник смирного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир.
Но и по этой службе трудной
И тут, о мой наездник чудный,
Ты — мой отец и командир,—

писал Пушкин в 1836 году, посылая Давыдову свою «Историю Пугачевского бунта»[5].

---

[1] Пушкин о Ермолове («Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»).

[2] Я шлюсь на русского Буфлера
И на Дениса-храбреца.

(Послание к В. Л. Пушкину». 1817 г.)

[3] «Русский архив». 1874. С. 732.

[4] «Бумаги А. С. Пушкина, изданные П. И. Бартеневым», вып. II. С. 61.

[5] По всей вероятности, к Давыдову относится следующий ранний набросок Пушкина (1821 г.):

Чем особенно мог пленить юного Пушкина Давыдов? Нам кажется, что Пушкина влекла к «чудному наезднику» не столько его поэтическая, сколько личная самостоятельность. Неосознанная цельность натуры имеет в глазах великих людей необычайную привлекательность. Уже в Пушкинскую эпоху Давыдов являет в себе едва ли не единственный пример поэта, чуждого какой бы то ни было рефлексии. Для Давыдова поэзия только естественный отголосок жизни. Книжный яд совершенно не привился к самобытной его натуре: его стихи — сама жизнь, бесхитростно претворенная в поэтические брызги. Одни собственные переживания, не подмененные даже художественностью, дали смысл и содержание его несложным напевам. Давыдов не понимал и не ценил собственных произведений, потому что жизнь в его глазах была важней поэзии. То же отношение к жизни находим мы (в слабейшей, конечно, степени) и у Пушкина, который в жизни не был исключительно «поэт», но и дворянин, помещик, камер-юнкер, муж и отец. Поэты того времени не насиловали жизни ради творчества, а умели соединять эти две стихии. Наоборот, поэты позднейшей эпохи, сознательно отдалившиеся от жизни, не знают свободного, исходящего из непосредственного восприятия жизненных впечатлений, творческого экстаза. Как кроты зарываются они в книжные груды, и неудивительно, что солнце жизни слепит им глаза и все их творения превращает в бумажный пепел. Настойчивые утверждения Фета, что поэт — одно, а человек — другое, в основе имели несомненную цель — подчеркнуть самодовлеющую ценность жизни; но уже в самой парадоксальности фетовского тезиса звучит помимо воли все та же оторванность от жизненной почвы. Давыдову подобные вопросы и в голову не могли прийти. В эпоху двадцатых годов он был, пожалуй, единственным романтиком, не знавшим ни в поэзии, ни в жизни никакого «разочарования». Он поет как соловей, в то время, когда подле него стонут унылые лиры Жуковского и Козлова и пронзительно рыдает свирель Баратынского. Но, воспитанная в шуме пиров и балов, подчас резво-шаловливая, в основе же девственно целомудренная, давыдовская муза чужда разгульного хмельного ликованья языковской вакханки. Языков, имеющий нечто общее с Давыдовым, возвел в идеал свою пьяную необузданность, отчего искусственное напряжение его поэзии перешло под конец в болезненный надлом. Давыдов же весь, с начала до конца, выдержан в одном тоне.

Я слушаю тебя и сердцем молодею,
Пиров и радости блистательный певец!

Певец-гусар, ты пел биваки,
Раздолье ухарских пиров
И пылкую потеху драки,
И завитки своих усов.
Походную сдувая пыль,
Ты славил, лиру не настроя,
Любовь и мирную бутыль.

«Он никогда не принадлежал ни к какому литературному цеху,— говорит Давыдов о себе.— Правда, он был поэтом, но поэтом не по рифмам и стопам, а по чувству. Что касается до упражнения его в стихотворениях, то это упражнение, или, лучше сказать, порывы оного, утешали его, как бутылка шампанского, как наслаждение, без коего он мог обойтись, но которым упиваясь, он упивался уже с полным чувством эгоизма и без желания уделить кому-нибудь хотя бы малейшую каплю своего наслаждения» («Автобиография»).

Много лет спустя после смерти Давыдов был воскрешен из мертвых художественным гением Льва Толстого. Подобно Пушкину, Толстой не мог равнодушно пройти мимо личности Давыдова и изобразил его в «Войне и мире» под именем Денисова. Вместе с повестью «Два гусара» (1857 г.) роман Толстого навсегда останется в нашей литературе как превосходный исторический и бытовой комментарий к русской жизни 1805—1812 годов. «Блаженная была эпоха для храбрости! Широкое было поприще для надежд честолюбия!» — восклицает Давыдов, вспоминая на закате жизни незабвенный «век богатырей». В самом деле, это была одна из замечательнейших эпох на всем протяжении мировой истории. На европейском горизонте, в зареве войны, вставала исполинская тень великого Наполеона. Земной шар «колыхался и дрожал от громов победных». Неслыханное потрясение проникло до основания толщу России и, как благотворная болезнь, обновило весь ее организм. Предстоявшая беспримерная борьба с «грозящим владыкой Запада» закончилась полной победой, залившей победителей потоками ослепительной славы. Между екатерининской и александровской Россией сразу разверзлась пропасть. Великолепна была сама внешность событий: Бородино, Москва, Париж, гром оружия, орлы, лавры, живописные герои, имена которых сразу сделались народными. А в сущности главными деятелями великой эпохи были скромные Белкины и Гриневы, повесть жизни которых начиналась эпиграфом: «Береги честь смолоду»[1]. Воспитанные в здоровых условиях подлинного, еще не тронутого, старорусского быта, Гриневы и Давыдовы воспринимали настоящую, нормальную жизнь, не подмененную никакими теориями. То скудное воспитание, которое они получили в детстве, не насилуя души и не перегружая ума обилием отвлеченных неприложимых сведений, было в их руках лишь основным орудием для приобретения необходимых в жизни практических знаний. Давыдов был одним из ростков этого старого культурного быта, умершего вместе с ним, с Пушкиным, с романтизмом, с «преданьями простонародной старины». Это были, вспоминает Лев Толстой в «Двух гусарах»,

---

[1] Пословица, поставленная Пушкиным в виде эпиграфа к «Капитанской дочке». В одном из писем к старшему сыну Давыдов говорит: «Помни любимую пословицу мою: береги платье снова́ и честь смолоду» (Сочинения Д. В. Давыдова. Изд. 4-е, ч. 3-я. М., 1860. С. 163).

«те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или в карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики,— когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды и не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и с другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков, наивные времена масонских лож, мартинистов, тугенбунда, времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных».

В своей удивительно написанной «Автобиографии» Давыдов так рассказывает о своем воспитании: «Как тогда учили? Натирали ребят наружным блеском, готовя их для удовольствий, а не для пользы общества; учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыке; тому же учился и Давыдов до тринадцатилетнего возраста. Тут пора было подумать и о будущности: он сел на коня, захлопал арапником, полетел со стаею гончих собак по мхам и болотам — и тем заключил свое воспитание». Так или почти так воспитывался и пушкинский Гринев, находясь в постоянном общении с природой, развивавшей свободно и широко все его духовные свойства. И из пухлого дворянского недоросля выходил человек долга, для которого «беречь честь смолоду» являлось высочайшим заветом жизни.

II

Служить Давыдов начал семнадцати лет в 1801 г. в кавалергардах, откуда через три года его за «вольные стихи» перевели в армию, в белорусские гусары. Известный портрет того времени, писанный Кипренским, изображает Давыдова в значительно прикрашенном и подслащенном виде. Давыдов Кипренского слишком красив, почти красавец с правильными чертами лица, отличавшегося на самом деле крошечным носом, который однажды дал Багратиону повод к добродушной шутке[1]. Эффектная поза красавца гусара в богато расшитом доломане и белых лосинах, картинно опирающегося на огромную саблю, мало напоминает подлинного Давыдова. Совершенно так же прикрашен у Кипренского и Пушкин, портрет которого он писал одновременно с Тропини-

[1] Денис Давыдов явился однажды в авангард к князю Багратиону и сказал: «Главнокомандующий приказал доложить вашему сиятельству, что неприятель у нас на носу, и просит вас немедленно отступить». Багратион отвечал: «Неприятель у нас на носу? на чьем? если на твоем, так он близко, а если на моем, так мы успеем еще отобедать». (П у ш к и н. Анекдоты.)

ным. Тропининский Пушкин не имеет ничего общего с «поэтом» Кипренского, а между тем, по свидетельству авторитетных современников, он более других портретов напоминает Пушкина. Кипренский написал не Давыдова и Пушкина, а романтических, условных «гусара» и «поэта», какими они ему казались и какими, быть может, действительно желали быть. Несомненно удачнее и ближе к правде словесный портрет, нарисованный Львом Толстым в первой части «Войны и мира»: «Денисов был маленький человечек с красным лицом, блестящими черными глазами, черными взлохмаченными усами и волосами. На нем был расстегнутый ментик, спущенные в складках широкие чикчиры и на затылке была надета смятая гусарская шапочка».

В армии Давыдов вел веселую и разгульную жизнь. «Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду» («Автобиография»). Давыдов, пляшущий мазурку, всем нам памятен у Толстого. К той же поре относится тесная дружба Давыдова с воспетым им кутилой-гусаром Бурцовым. «В это бешеное время он писал стихи своей красавице, которая их не понимала, потому что была полька, и сочинил известный призыв на пунш Бурцову, который читать не мог, оттого, что сам «писал мыслете» («Автобиография»). Бурцов является прототипом графа Турбина в упомянутой нами превосходной повести Толстого «Два гусара». Кроме Бурцова, близкими приятелями Давыдова в то время были известный граф Ф. И. Толстой-американец[1] и декабрист Якубович.

В 1806—1810 годах Давыдов принимает участие во всех походах. Двенадцатый год дает ему возможность в полном блеске проявить свои военные таланты. Ему принадлежит первоначальный план партизанской войны, а его специальный «Опыт теории партизанских действий» до наших дней не утратил своего практического значения.

К 1812 году относятся три любопытных портрета Давыдова, на которых он изображен в костюме партизана, с бородой. В особенности замечателен портрет кисти известного Орловского. Давыдов верхом, во весь рост, в профиль, в казачьем чекмене и шапке выезжает в сопровождении гусарского отряда. При взгляде на этот портрет вспоминается прелестное стихотворение Давыдова «Партизан»:

Умолкнул бой. Ночная тень
Москвы окрестность покрывает,
Вдали Кутузова курень
Один, как звездочка, сверкает.
Громада войск во тьме кипит,

---

[1] Гр. Ф. И. Толстому принадлежит двустишие «К портрету Давыдова»:

Ужасен меч его отечества врагам,
Ужаснее перо надменным дуракам.

И над пылающей Москвою
Багрово зарево лежит
Необозримой полосою.

И мчится тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы
Наездников веселый рой
На отдаленные ловитвы,
Как стая алчущих волков,
Они долинами витают:
То внемлют шороху, то вновь
Безмолвно рыскать продолжают.

Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,
Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской.
Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в тревоги,
Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет — вольны боги![1]

«Денисов одевался в чекмень, носил бороду и на груди образ Николая Чудотворца и в манере говорить, во всех приемах высказывал особенность своего положения». Второй портрет, рисованный глухонемым Гампельном, представляет Давыдова en face до колен, в казакине, увешанного оружием и с трубкой в руке, выражение лица суровое. Но на третьем портрете работы Лангера, изображающем партизана в плаще и с Георгием на груди, черты его дышат обычною веселостью и добротой[2].

Как большинство истинно талантливых людей, Давыдов терпел постоянные неприятности по службе[3]. Его не любили за прямоту нрава и за несдержанно злой язык. В высших сферах косились на его «гусарские» стихи, за которые он был ославлен пьяницей, тогда как на самом деле Давыдов, по выражению одного из современников, был не более, как le fanfaron du vice[4]. Несправедливости по отношению к Давыдову доходили до того, что в 1814 г. его разжаловали было из генералов опять в полковники, как произве-

---

[1] Печатается по изданию 1832 г.

[2] Портрет Орловского воспроизведен гравером Э. Ормом. Портрет Гампельна — литография, приложенная к третьей части соч. Давыдова, изд. 1860 г. Портрет Лангера гравирован Афанасьевым. Есть любопытный профильный портрет Давыдова в «Сборнике биографий кавалергардов», т. III.

[3] Ход моей жизни одинаков — неудовольствие да притеснения за верную мою службу, вот все, что я получил и получаю»; «Я, который оставляю в покое и кресты, и ленты, и чины, совсем ничего не желаю, кроме команды и неприятеля, меня не только первых, но и последних лишают». (Письма Давыдова к кн. П. А. Вяземскому и А. А. Закревскому. Соч., изд. 1893. Т. III. С. 151 и 165.)

[4] «Не лишним заметить, что певец вина и веселых попоек в этом отношении несколько поэтизировал. Радушный и приятный собутыльник, он на деле был довольно скромен и трезв. Он не оправдывал собою нашей пословицы: пьян, да умен, два угодья в нем. Умен он был, а пьяным не бывал». (Кн. П. А. Вяземский. «Русский архив». 1866. С. 900.)

денного «по ошибке»[1], а Георгиевского креста не давали до тех пор, пока он сам не указал, что ему обязаны были дать его по статусу. В этих преследованиях Давыдов терпел общую участь со своим двоюродным братом, знаменитым кавказским героем А. П. Ермоловым.

III

Поэтическая деятельность Давыдова, начавшаяся, как мы видели, еще в начале его службы, постепенно создавала автору почетную литературную известность. В 1815 году Давыдов избирается в члены «Арзамаса» с прозвищем «Армянин» и вместе с В. Л. Пушкиным и кн. П. А. Вяземским образует в Москве отделение арзамасского общества. В следующем году любители российской словесности при Московском университете единогласно выбирают Давыдова в отсутствующие действительные члены. Стихотворения его печатаются в лучших изданиях того времени[2]. А. Ф. Воейков заносит в свой «Парнасский адрес-календарь»: «Д. В. Давыдов — действительный поэт, генерал-адъютант Аполлона при переписке Вакха с Венерою»[3] — похвала немаловажная в устах желчного автора «Дома сумасшедших». Приближался, между тем, говорит Белинский, «живой и цветущий период нашей литературы, который мы начинаем с 1820 г., а оканчиваем 1833 г. и который мы почитаем приличным и справедливым назвать периодом «пушкинским». К этому-то периоду нашей литературы принадлежит и даровитый наш партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов». Действительно, как раз к этому периоду относится лучшая пора деятельности Давыдова.

В поэзии Давыдова необходимо различать два, по виду совершенно чуждых, а на самом деле тесно соединенных между собою элемента — «гусарский» и «романтический». Непростительной исторической близорукостью было бы видеть в пьянстве и молодечестве Бурцовых и Турбиных одно безобразие и пошлость. Необходимо вдуматься сперва в дух эпохи. Лихой гусар, по понятиям того времени, должен был прежде всего быть «молодцом», то есть кутилой и забиякой. Эти качества были для него такою же обязательною внешностью, как мундир и шпоры. Но когда дело касалось строгих понятий о чести, особенно по отношению к жен-

---

[1] Замечательно письмо Давыдова по этому поводу к императору Александру I (подлинник на французском языке. Соч., изд. 1893. Т. III. С. 229—230).

[2] «Вестник Европы», «Сын отечества», «Амфион», «Сириус», «Мнемозина», «Полярная звезда», «Северная звезда», «Труды о-ва любителей российской словесности» и др. Позже — «Московский вестник», «Литературная газета», «Библиотека для чтения», «Современник».

[3] «Парнасский адрес-календарь или роспись чиновных особ, служащих при дворе Феба и в нижних земских судах Геликона, с краткими замечаниями об их жизни и заслугах. Собрано из достоверных источников, для употребления в благошляхетском Арзамасском обществе» (1816 г.).

щине, беспечный кутила оказывался безупречным рыцарем. Отчаянные кутежи и бесшабашное пьянство были тогда в таком же обычае, как и дуэли, и нечего удивляться тому, что Пушкин и Лермонтов, имевшие в жизни не одну дуэль и нашедшие в них свою погибель, любили кутить в юные годы, и, на наш теперешний взгляд, кутили довольно безобразно. Но, во-первых, преувеличенная самими поэтами дикость пьяных оргий нисколько не пятнала светлого образа «ее», оставляя идеал по ту сторону действительности. Жизнь сама создает свои яркие контрасты, и Давыдов, как истинный поэт, этих контрастов не избегал и не боялся. Пушкин, благоговейно воспев А. П. Керн, «как мимолетное виденье, как гения чистой красоты», писал потом Соболевскому о «М-me Керн, которую с божиею помощью он на днях...»[1]. Читая одновременно эти строки восторженного стихотворения и приятельского письма, мы понимаем, что Пушкин не лицемерил ни перед любимою женщиной, ни перед самим собой. Нельзя укладывать своевольные зигзаги жизни на прокрустово ложе филистерской морали: каждому дню довлеет его злоба. Давыдов в своих стихах употреблял иногда непечатные слова и в сборнике стихотворений (издание 1832 г.), единственном, вышедшем при его жизни, в нескольких местах поставил прозрачные точки. Поэт искренно чувствовал, что иначе выразиться нельзя и что гусар и в стихах должен быть гусаром[2]. Но если уже осуждать Давыдова за «неприличие», то надо осудить и Пушкина за «Телегу жизни» и Лермонтова за «Казначейшу». Сквернословие было в то время принято, как кутежи и дуэли[3]. Во-вторых, гусарские пиры с цыганскими хорами и пляской вовсе не были цинично-безобразны: напротив, в них чувствовалась удивительная, непонятная нам и уже исчезнувшая теперь навек поэзия. Эту поэзию живо понимали Пушкин и Лев Толстой. «Илюшка с гитарой стал перед запевалой и началась *пляска,* то есть цыганские песни: «Хожу ль я по улице», «Эй вы, гусары», «Слышишь, разумеешь» и т. д., в известном порядке. Стешка славно пела. Ее гибкий, звучный, из самой груди выливавшийся контральто, ее улыбка во время пения, смеющиеся страстные глазки и ножка, шевелившаяся невольно в такт песне, ее отчаянное вскрикиванье при начале хора,— все это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Видно было, что она вся жила только в той песне, которую пела. Илюшка улыбкой, спиной, ногами, всем существом изображая сочувствие песне, аккомпанировал ей на гитаре и, впившись в нее глазами, как

[1] Сочинения Пушкина. Изд. императорской Академии Наук. Переписка под редакциею и с примечаниями В. И. Саитова. Т. 2 (1827—1832). СПб., 1908. С. 60.

[2] Посмертные издания (1840, 1848, 1860 и 1889 гг.) из ложной скромности изменили заглавие одной пьесы и выпустили несколько строк в тексте.

[3] Многих писем Лермонтова почти невозможно печатать, не испестрив точками. То же следует сказать о некоторых юношеских письмах Пушкина. Изданные до сих пор письма Д. Давыдова гораздо скромнее.

будто в первый раз слушая песню, внимательно, озабоченно, в такт песне наклонял и поднимал голову. Потом он вдруг выпрямлялся при последней певучей ноте и, как будто чувствуя себя выше всех в мире, гордо, решительно вскидывал ногой гитару, перевертывал ее, притопывал, встряхивал волосами и, нахмурившись, оглядывался на хор. Все его тело, от шеи и до пяток, начинало плясать каждою жилкой... И двадцать энергических сильных голосов, каждый из всех сил стараясь страннее и необыкновеннее вторить один другому, переливались в воздухе. Старухи подпрыгивали на стульях, помахивая платочками и оскалив зубы, вскрикивали в лад и в такт одна громче другой. Басы, склонив головы набок и напружинив шеи, гудели, стоя за стульями» («Два гусара»). Такие кутежи способны не только не принизить и не опошлить, а, напротив, возвысить чуткого к прекрасному человека. Теперь и нам станет понятной «Гусарская исповедь» Дениса Давыдова[1]:

Я каюсь! я гусар давно, всегда гусар,
Я проседью усов, все раб младой привычки:
Люблю разгульный шум, умов, речей пожар
И громогласные шампанского оттычки.
От юности моей враг чопорных утех,
Мне душно на пирах без воли и распашки.
Давай мне хор цыган! Давай мне спор и смех,
И дым столбом от трубочной *затяжки*!

Бегу век сборища, где жизнь в одних ногах,
Где благосклонности передаются весом,
Где откровенность в кандалах,
Где тело и душа под прессом;
Где спесь до подлости — вельможа да холоп;
Где заслоняют нам вихрь танцев эполеты,
Где под подушками потеет столько ж...,
Где столько пуз затянуто в корсеты.

Но не скажу, чтобы в безумный день
Не погрешил и я, не посетил круг модной;
Чтоб не искал присесть под благодатну тень
Рассказчицы и сплетницы дородной;
Чтоб схватки с остряком бонтонным убегал,
Или сквозь локоны ланиты воспаленной
Я б шопотом любовь не напевал
Красавице, мазуркой утомленной.

Но то набег, наскок — я миг ему даю,
И торжествуют вновь любимые привычки!
И я спешу в мою гусарскую семью,
Где хлопают еще шампанского оттычки.
Долой, долой крючки от глотки до пупа!
Где трубки? — Вейся дым на удалом раздолье!
Роскошествуй веселая толпа
В живом и братском своеволье!

---

[1] Печатается по изданию 1832 г.

И разумеется, глубоко прав Белинский, говоря, что «стихотворения Давыдова не подлежат суду философской критики; их нельзя назвать художественными,— и Давыдов, действуя в сфере самого искусства, действовал в другой и для другой сферы. Он был поэт в душе: для него жизнь была поэзиею, а поэзия жизнью,— и он поэтизировал все, к чему ни прикасался: в его стихах *преужасные* пуншевые стаканы и чаши не оскорбляют образованного чувства, но звучат весело и отрадно; облака табачного дыма не выедают глаз, не першат в горле, но вьются резвыми кудрявыми кругами... Все, что у других так пошло, приторно, безвкусно, оскорбительно для чувства,— все эти лагерные замашки, казарменное удальство,— все это у Давыдова получает значение, преисполняется жизнию, облагораживается формою».

В ряду стихотворений, выясняющих идеально-романтическую сторону поэзии Давыдова, первое место занимает «Душенька»[1].

Бывали ль вы в стране чудес,
Где жертвой грозного веленья,
В глуши земного заточенья,
Живет изгнанница небес?

Я был, я видел божество;
Я пел ей песнь с восторгом новым,
И осенил венком лавровым
Ее высокое чело.

Я, как младенец, трепетал
У ног ее в уничиженьи,
И омрачить богослуженье
Преступной мыслью не дерзал.

Ах! Мне ль божественной к стопам
Несть обольщения искусство?
Я был весь гимн, я весь был чувство,
Я весь был чистый фимиам.

И что ей наш земной восторг,
Слова любви? — Пустые звуки!
Она чужда сердечной муки,
Чужда томительных тревог,

Из-под ресниц ее густых
Горит и гаснет взор стыдливый...
Но отчего души порывы
И вздохи персей молодых?

Был миг; пролетная мечта
Скользнула по лицу прекрасной,
И вспыхнули ланиты страстно,
И загорелися уста.

Но это миг — игра одна
Каких-то дум... воспоминанье

[1] Печатается по изданию 1832 г.

О том небесном обитанье,
Откуда изгнана она.

Иль, скучась без нее, с небес
Воздушный гость, незримый мною,
Амур с повинной головою
Предстал, немеющий от слез.

И очи он возвел к очам,
И пробудил в груди волненья,
От жарких уст прикосновенья
К ее трепещущим устам.

«Денисов сидел перед столом и трещал пером по бумаге. Он мрачно посмотрел в лицо Ростову.

— Ей пишу,— сказал он.— Ты видишь ли, друг. Мы спим, покак не любим. Мы дети праха... а полюбил — и ты Бог, ты чист, как в первый день созданья».

О таких стихотворениях, как «Душенька», «Речка», «О, пощади», «В былые времена», «Вальс», Белинский замечает: «Страсть есть преобладающее чувство в песнях любви Давыдова; но как благородна эта страсть, какой поэзии и грации исполнена она в этих гармонических стихах. Боже мой, какие грациозно-пластические образы!»

Лучшим стихотворением Давыдова, по нашему мнению, должен считаться его «Полу-солдат», поэтическая автобиография поэта-партизана[1]:

Нет, братцы, нет: полу-солдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой!

Вы видели: я не боюсь
Ни пуль, ни дротика куртинца;
Лечу стремглав, не дуя в ус,
На нож и шашку кабардинца.

Все так — но прекратился бой,
Холмы усыпались огнями,
И хохот обуял толпой,
И клики вторятся горами.

И все кипит, и все гремит;
А я, меж вами одинокой,
Немою грустию убит,
Душой и мыслию далеко.

Я не внимаю стуку чаш
И спорам вкруг солдатской каши,
Улыбки нет на хохот ваш,
Нет взгляда на проказы ваши.

Таков ли был я в век златой
На буйной Висле, на Балкане,

[1] Печатается по изданию 1832 г.

На Эльбе, на войне родной,
На льдах Торнео, на Секване?

Бывало слово: друг, явись!
И уж Денис с коня слезает;
Лишь чашей стукнут — и Денис
Как тут, и чашу осушает.

На скачку, на борьбу — готов,
И чтимый *выродком* глупцами,
Он, расточитель острых слов,
Их хлещет прозой и стихами.

Иль в карты бьется до утра,
Раскинувшись на горской бурке;
Или вкруг светлого костра
Танцует с девками мазурки.

Нет, братцы, нет: полу-солдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой!

Там говорил наездник наш,
Оторванный судьбы веленьем
От крова мирного — в шалаш,
На сечи, к пламенным сраженьям,
Аракс шумит, Аракс шумит,
Араксу вторит ключ нагорный,
И Алагьёз, нахмурясь, спит,
И тонет в влаге дол узорный;
И веет с пурпурных садов
Зефир восточным ароматом,
И сквозь сребристых облаков
Луна плывет над Араратом.

Но воин наш не упоен
Ночною роскошью полуденного края...
С Кавказа глаз не сводит он,
Где подпирает небосклон
Казбека груда снеговая...
На нем знакомый вихрь, на нем громады льда,
И над челом его, в тумане мутном,
Как Русь святая, недоступном,
Горит родимая звезда.

В предпоследней строфе давыдовский стих достигает несравненной, глубоко задушевной музыкальности.

Нельзя не остановиться на сатирах и эпиграммах Давыдова, начавшего свое литературное творчество с сатирических басен, за которые ему пришлось расстаться с гвардией. Стихотворные шутки Давыдова остры и ядовиты и не уступают эпиграммам Пушкина, любившего делиться с Давыдовым этими брызгами

своего кипучего остроумия[1]. В знаменитой «Современной песне» Давыдов с грибоедовской меткостью вышутил часть московского общества тридцатых годов. Правда, в лице «маленького аббатика» он незаслуженно жестоко оскорбил Чаадаева, но к последнему он всегда относился отрицательно[2]. Зато характеристика тогдашних «либералов» во многих чертах сохранила свежесть и до наших дней. Кому не случалось встречать подобные типы?

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.

Томы Тьера и Рабо
Он на память знает
И, как яркий Мирабо,
Вольность прославляет.

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус, да в рыло.

А глядишь: наш Лафает,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей.

Как признается сам Давыдов в своей «Автобиографии», он «немного писал, еще менее печатал; он по обстоятельствам из числа тех поэтов, которые довольствовались рукописною или карманною славою. Карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных осмотрщиков. Запрещенный товар, как запрещенный плод: цена его удваивается от запрещения. Сколько столовых часов под свинцовыми печатями стоят в лавке; на вопрос: долго ли им стоять? отвечают они: „вечность!“.

IV

В 1823 году Давыдов выходит в отставку, но с воцарением императора Николая «снова оплечается знаками военной службы и опоясывается саблею». Он участвует в персидском и польском

[1] В конце 1822 г. Пушкин послал кн. П. А. Вяземскому письмо с несколькими эпиграммами. О двух последних («Иной имел мою Аглаю» и «Оставя честь судьбе на произвол») Пушкин замечает: «Этих двух не показывай никому — ни Денису Давыдову».

[2] 23 ноября 1836 г. Давыдов сообщал Пушкину: «Ты спрашиваешь о Чаадаеве? Как очевидец, я ничего не могу сказать о нем; я прежде не езжал к нему и теперь не езжу. Я всегда почитал его человеком весьма начитанным и, без сомнения, весьма умным шарлатаном в беспрерывном пароксизме честолюбия, но без духа и характера, как белокурая кокетка, в чем я, кажется, не ошибаюсь» (Соч., изд. 1893. Т. III. С. 211.)

походе и в 1831 году в чине генерал-лейтенанта уже окончательно выходит в отставку[1].

К концу двадцатых годов относится редкий литографированный портрет Давыдова, изображающий его за письменным столом перед чернильницей, среди книг и бумаг, с боевым оружием на стене. Вот как князь П. А. Вяземский описывает тогдашнего Давыдова: «Денис и в зрелости лет и когда уже вступил в семейную жизнь, сохранил до кончины изумительную молодость сердца и нрава. Веселость его была прилипчива и увлекательна. Он был душою и пламенем дружеских бесед: мастер был говорить и рассказывать. Особенно дивился я этой неиссякаемой струе живости и веселости, когда он приезжал в Петербург, и мы видались с ним уже по миновании года, а иногда и более. Мы все в Петербурге более или менее старообразны и однообразны. Он всё духом и складом ума был моложав»[2]. Сам поэт в «Автобиографии» замечает: «Давыдов не нюхает с важностью табаку, не смыкает бровей в задумчивости; голос его тонок, речь жива и огненна».

В 1832 г. в Москве выходит первое собрание стихотворений Давыдова, в обычном для того времени маленьком формате, с виньеткой[3]. Здесь помещено 41 стихотворение, число которых в последующих изданиях постепенно умножалось[4]. В виде предисловия к первому изданию помещена «Автобиография». Первое издание дает любопытные разночтения в тексте, исправленном автором уже впоследствии, незадолго перед смертью.

В последние семь-восемь лет своей жизни (1832—1839) Давыдов обращается преимущественно к прозе. Он пишет очерки и воспоминания, посвященные боевому прошлому. Проза Давыдова в высшей степени увлекательна и оригинальна, и прав Белинский,

---

[1] В письме к Жуковскому 25 ноября 1831 г., прилагая завернутые в бумажку волосы, Давыдов сообщает следующий «Послужной список уса Давыдова»: Войны· 1). В Пруссии 1806 и 1807 г. 2). В Финляндии 1808 г. 3). В Турции 1809 и 1810 г. 4). Отечественная 1812 г. 5). В Германии 1813 г. 6). Во Франции 1814 г. 7). В Персии 1826 г. 8). В Польше 1831 г.

[2] «Русский архив». 1866. С. 899.

[3] Всего было шесть изданий Давыдова: I). Стихотворения Дениса Давыдова. Изд. книгопродавца Салаева. М., 1832. II). Сочинения в стихах и прозе Дениса Давыдова, в трех частях. Второе изд., исправленное и дополненное, книгопродавца А. Ф. Смирдина. СПб., 1840. С гравиров. рисунком, изображающим «Гусарский пир». III). Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Давыдова (Дениса Васильевича). Изд. Александра Смирдина. СПб., 1848. IV). Сочинение Дениса Васильевича Давыдова. Изд. четвертое, исправленное и дополненное по рукописям автора. С портретом. Три части. М., 1860. V). Дешевая библиотека. Стихотворения Дениса Васильевича Давыдова, с биографией и портретом автора. Изд. А. С. Суворина СПб., 1889. (Повторено в 1893 г.) VI). Сочинения Дениса Васильевича Давыдова. Со статьей о литературной деятельности Д. В. Давыдова и примечаниями, составленными А. О. Круглым. Изд. журнала «Север». СПб., 1893. С портретами и рисунками. (Встречается под оберткой с надписью: Издание книгопродавца Я. Соколова и датой: 1895.) По небрежности выполнения и по обилию ошибок последнее издание едва ли не худшее из всех. Наиболее тщательное — издание 1860 г., сделанное с рукописей сыновьями поэта.

[4] В последнем издании 1893 г. число их доходит до 82-х.

говоря, что «как прозаик, он имеет право стоять наряду с лучшими прозаиками русской литературы». «Надо быть глупейшим из глупых,— добавляет к этому Дружинин,— чтобы не увлечься манерой и языком Давыдова, картинностью его характеристик, энергической сжатостью его рассказов, мастерским, совершенно своеобразным изображением его начальников и друзей, врагов и помощников»[1]. «Записки» Давыдова, неизвестные в России, были изданы в Лондоне в 1863 году.

Последние годы Давыдов проживал в своем симбирском имении Верхней Мазе, Сызранского уезда, изредка посещая Петербург и Москву, где у него был собственный дом[2]. Давыдов с 1819 года был женат на С. Н. Чирковой и от этого брака имел пятерых сыновей и две дочери. Участвуя в смирдинской «Библиотеке для чтения» и в «Современнике» Пушкина[3], он вел в деревне деятельную жизнь хозяина-помещика, разнообразя свой досуг охотой. В письмах его к друзьям живо рисуется идиллическая обстановка тогдашней сельской жизни, хорошо знакомая нам по охотничьим сценам из «Войны и мира». «Я здесь, как сыр в масле... Посуди: жена и полдюжины детей, соседи весьма отдаленные, занятия литературные, охота псовая и ястребиная — другого завтрака нет, другого жаркого нет, как дупеля, облитые жиром... Потом свежие осетры и стерляди, потом ужасные величиной и жиром перепелки, которых сам травлю ястребами до двадцати в один час на каждого ястреба»[4]; «Причина замедления ответа моего есть рысканье мое по мхам и по болотам за всякого рода зверями. Сейчас только с коня и сейчас принялся за перо, чтобы писать к вам победной рукою, поразившей огромного волка»[5]. В одном письме Давыдов с искренним сокрушением говорит о том, что война прекратилась, как видно, надолго и что он «с сердечной тоской готов навек законопатить свою саблю в ножны»[6]. «Я ничто как пахарь и иногда сотрудник Смирдина»,— замечает он[7]. Из портретов Давыдова конца тридцатых годов нам известны два: один редчайший, нигде еще не воспроизводившийся акварельный

---

[1] Пушкин, узнав, что Сенковский исправлял слог Давыдова, писал ему: «Сенковскому учить тебя русскому языку все равно, что евнуху учить Потемкина...» (изд. 1893. Т. I. С. XI).

[2] На Пречистенке, против пожарного депо. Ныне принадлежит баронессе Шеппинг.

[3] «Современник». Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Том третий. 1). Челобитная (Денис Давыдов, с. 52—53). 2). Эпиграммы и пр.: I). Когда я повстречал красавицу мою (Д. Д-в). II). Меринос собакой стал (Н.). III). Нет, кажется, тебе не суждено (Н.). IV). Вошла, как Психея, томна и стыдлива (Д. Д-в). V). Ученый разговор («О ты, проведший жизнь в ученом кабинете»); без подписи, с. 135—137). 3). О партизанской войне (Д. Давыдов, с. 138—151). Том четвертый. Занятие Дрездена (Из дневника партизана Дениса Давыдова).

[4] Письмо гр. Ф. И. Толстому, 1834 г. (Соч., изд. 1893. Т. III. С. 199).

[5] Письмо А. М. и Н. М. Языковым, 7 ноября 1833 (Соч., изд. 1893. Т. III. С. 187).

[6] Письмо кн. П. Д. Горчакову, 1829 г. (ibid., с. 168).

[7] Письмо А. И. Михайловскому-Данилевскому, 17 сент. 1835 г. (ibid., с. 205).

портрет Давыдова с седыми волосами и в штатском платье[1] и, наконец, последний по времени, изображающий Давыдова в мундире и при всех орденах[2].

Из последних стихотворений одно в особенности обращает на себя внимание своей задушевностью и простотой:

Я помню — глубоко,
Глубоко мой взор,
Как луч, проникал и рощи и бор,
И степь обнимал широко, широко...
Но, зоркие очи,
Потухли и вы:
Я выглядел вас на деву любви,
Я выплакал вас в бессонные ночи!

Давыдов умер внезапно, 22 апреля 1839 года, в Мазе. По собранным нами устным сведениям, он прилег отдохнуть среди дня и уже не просыпался. Погребен он в Москве, на кладбище Новодевичьего монастыря[3].

V

Мы уже имели случай говорить о том неизменном дружелюбии, которое оказывали Давыдову его современники-поэты. «Он умер,— говорит Дружинин,— не оставив ни одного врага ни в обществе, ни между близкими ему, ни в литературе. В зените и надире русской словесности имя его произносилось с почтением. Белинский почтил его труды выражением светлого сочувствия, Булгарин не ухитрился сказать о нем ничего скверного».

Наиболее интересными для нас представляются отношения Давыдова к Пушкину, который посвятил партизану два послания. В письмах Пушкина к разным лицам находим несколько замечаний о Давыдове, по большей части незначительных[4]. В повести «Выстрел» Сильвио говорит: «Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым». Эпиграф

---

[1] Собрание П. И. Щукина в Москве.

[2] Лондонская гравюра при альманахе «Сто русских литераторов», СПб., 1839.

[3] Перед собором на левой стороне, недалеко от могилы историка С. М. Соловьева. На каменном постаменте четырехугольная черного мрамора плита, над ней распятие на белой мраморной подставке. На плите надпись: «Под сим камнем погребены тела генерал-лейтенанта Дениса Васильевича Давыдова, скончавшегося 22 апреля 1839 года на 55 году от рождения. Супруги его Софьи Николаевны Давыдовой, урожденной Чирковой».

[4] Кн. П. А. Вяземскому, в апр. 1825 г.: «Кланяйся Давыдову, который забыл меня. Сестра Ольга в него влюблена и поделом. Кстати или нет: он критиковал ей в Бахч. Фонтане Заремины очи». Ему же, 2 янв. 1831 г.: «Денис здесь. Он написал красноречивый eloge Раевского. Мы советуем ему написать жизнь его». Жене, 27 сент. 1832 г.: «Я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник». Н. М. Языкову, 14 апр. 1836 г.: «Послание к Давыдову прелесть, наш боец чернокудрявый окрасил было свою седину, замазал и свой белый локон, но после ваших слов опять его вымыл — и прав. Это знак благоговения к поэзии». (Речь идет о стихах Языкова: «*Ты, боец чернокудрявый с белым локоном на лбу.*»)

ко II главе «Пиковой дамы» есть точная передача разговора Давыдова с М. А. Нарышкиной: «Il paraît que monsieur est décidément pur les suivantes».— «Que voulez-vous, madame. Elles sont plus fraîches» (светский разговор)[1]. В «Дневнике» Пушкина под 22 декабря 1834 г. записано: «А все виноват Глинка. После его ухарского псалма, где он заставил Бога говорить языком Дениса Давыдова, цензор подумал, что он пустился во все тяжкие»[2]. К сожалению, писем Пушкина к самому Давыдову не сохранилось, за исключением двух черновых набросков 1836 г., касающихся деловых переговоров о рукописях для «Современника». Тем не менее есть данные предполагать, что письма Пушкина до сих пор остаются неразобранными в архиве Давыдова[3].

У Баратынского первоначальный набросок «Эды» оканчивался обращением к Давыдову. Посвящали ему послания и такие второстепенные и мелкие звезды русской поэзии, как графиня Е. Ростопчина, Ф. Н. Глинка, Зайцевский, Стромилов[4].

О том, каковы были природные способности Давыдова, может дать понятие следующий рассказ Ксенофонта Полевого[5]: «Давыдов как-то заехал ко мне, с просьбою перевести для него отрывок из «Жизни Агриколы» Тацита, который ему нужно было вместить в свою прекрасную статью «Замечание на некрологию Раевского».

---

[1] Давыдов писал Пушкину 4 апр. 1835 г.: «Помилуй, что у тебя за дьявольская память; я когда-то на лету рассказывал тебе разговор мой с М. А. Нарышкиной. «Vous préterez les suivantes» — сказала она мне; «parce qu'elles sont plus fraîches» — был ответ мой, ты слово в слово поставил это эпиграфом в одном из отделений «Пиковой Дамы». Вообрази мое удивление и еще более восхищение жить так долго в памяти Пушкина, некогда любезнейшего собутыльника и всегда единственного родного моей душе поэта» (Соч., изд. 1893. Т. III. С. 192). ⟨Перевод: «Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок?» — «Что делать, мадам, они свежее».⟩

[2] Речь идет о жалобе митрополита на перевод М. Д. Деларю стих. В. Гюго «Красавица».

[3] См. V протокол заседания Пушкинской комиссии («Пушкин и его современники», вып. VIII. СПб., 1908).

[4] *А. С. Пушкин.* Сетование (Д. В. Давыдову). «Недавно я, в часы свободы». 1821 г.

Д. В. Давыдову. «Тебе певцу, тебе герою». 1836 г.

Е. А. Баратынский. Д. В. Давыдову. «Пока с восторгом я внимаю».

Эпилог «Эды». «Ты покорился, край гранитный».

Н. М. Языков. «Давным-давно люблю я страстно». 1833 г.

Денису Васильевичу Давыдову. «Давыдов: где ты? что ты? с роду». 1816 г.

Старому гусару. «Ай-да служба! ай-да дядя!». 1832 г.

В. А. Жуковский. Д. В. Давыдову. «Мой друг, усастый воин». 1835 г.

Из «Певца в стане русских воинов» — «Давыдов! пламенный боец». 1812 г.

Из «Бородинской годовщины» — «И боец, сын Аполлонов». 1839 г.

А. Ф. Воейков. Денису Васильевичу Давыдову в ответ на его стихи. «Я вызван из толпы народной».

Ф. Н. Глинка. Партизан. «Усач. Умом; пером остер он, как француз». 1824 г.

Гр. Е. П. Ростопчина. Одним меньше... «Где ты... наш воин-стихотворец?». 1839 г.

С. Стромилова и Зайцевского стихи см. Соч. Давыдова, изд. 1860. Т. III.

[5] Записки К. А. Полевого. СПб., 1888. С. 321.

Я отказался, говоря, что не смею переводить Тацита, не довольно изучивши его язык. «Я перевел сам, да с французского!» — сказал он. Тут он прочел мне свой перевод из жизни Агриколы. Выслушавши его, я искренно высказал ему свое мнение, что если бы сам Тацит перевел этот отрывок на русский язык, то перевод не был бы лучше. Может быть, он не во всем верен буквальному смыслу подлинника, зато верен духу его. «Нет, куда мне! — возразил Д. Давыдов.— Нынче хорошо пишут и молодые писатели, так что нам, ветеранам, только любоваться ими».

Сочинения Давыдова заслуживают быть изданными Академией Наук в полном объеме, с приложением многочисленных портретов, автографов, иллюстраций, планов и писем автора. Архив Давыдова может дать для этого издания богатый материал. Что касается самого издания, то оно было бы лучшим памятником талантливому и оригинальному писателю, в особенности теперь, когда так недалек столетний юбилей «священной памяти двенадцатого года».

ПРИМЕЧАНИЯ Б. А. САДОВСКОГО

К с. 341. В стихотворении Пушкина «Казак» (1814 г.) имя героя несомненно навеяно воспоминаниями о Давыдове:

Не найду в лесу девицы,
Думал хват Денис.

К с. 343. В отрывках из «Лицейских записок» Пушкина (1815—1817 гг.) находим анекдот о Давыдове и Багратионе в следующем виде: «...большой грузинский нос, а партизан почти и вовсе был без носу. Давыдов является к Бенигсену: «князь Багратион, говорит, прислал меня доложить вашему превосходительству, что неприятель у нас на носу...» На каком носу, Денис Васильевич? отвечает генерал: ежели на вашем, так он уж близко, если же на носу князя Багратиона, то мы успеем еще отобедать...»

К с. 353. Дневник Погодина от 24 февраля 1832 г.: «Вечер с большим удовольствием у Загоскина с Денисом Давыдовым, который рассказывал живо много любопытных подробностей о войне с поляками» (Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. IV. 1891, с. 98).

К с. 356. Письма Пушкина. Кн. П. А. Вяземскому, 14 окт. 1823 г.: «...упоительным мечтам. Твоя от твоих: помнишь свое прелестное послание к Давыдову?» Л. С. Пушкину, в янв. 1825 г.: «Есть у меня еще друзья: Сабуров Яшка, Муханов, Давыдов и проч. Эти друзья не в пример хуже Булгарина» (разглашая по нескромности новые стихи Пушкина). Кн. П. А. Вяземскому, 13 июля 1825 г.: «Сейчас прочел твои замечания на замечания Дениса на

замечания Наполеона», т. е. статью Вяземского «О разборе трех статей, помещенных в Записках Наполеона, написанном Денисом Давыдовым» (см. Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. I. СПб., 1878. С. 193—197). Жене, 8 дек. 1831 г.: «Видел я Вяземских, Мещерских, Дмитриева, Тургенева, Чаадаева, Горчакова, Д. Давыдова».

Черновики писем Пушкина к Давыдову (23 мая и в сент. 1836 г.) оба касаются печатания статьи Давыдова «Занятие Дрездена» в IV томе пушкинского «Современника» за 1836 г.

1909

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ

I

Веневитинов умер на двадцать втором году; из русских поэтов никто не умирал так рано. Немыслимо представить Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Фета умершими двадцати двух лет, в особенности Фета, создавшего поэзию «Вечерних огней» семидесятилетним старцем. Что же бы дал нам Веневитинов, проживи он еще пять, десять лет? Уж его никак не ждал «обыкновенный удел» — его лира несомненно должна была поднять в веках гремучий непрерывный звон. Всматриваясь пристальнее в поэтическое его наследство, в оставшиеся нам от него первые юношеские пробы, замечаешь разлитое на них ровное розоватое горение, предшествующее всегда восходу великого светила. И этот огонь мог бы просиять над целым мирозданьем, если бы так скоро не ушел в ночь.

В детстве Веневитинов получил прекрасное, редкое даже по тому времени, образование. Кроме новых, он тщательно изучил латинский и греческий языки и уже в четырнадцать лет переводил Вергилия и Горация. Французских поэтов Веневитинов не любил и предпочитал им немецких. Музыка и живопись равно влекли к себе гениального ребенка. Позднее Веневитинов посещал Московский университет, где слушал лекции на всех факультетах. Вступив на службу в Московский архив иностранной Коллегии, он сразу очутился в избранном обществе лучшей московской молодежи. Это был кружок «архивных юношей», которых под этим именем впоследствии обессмертил Пушкин. В то время в Московском архиве служили многие из друзей Веневитинова: Ф. С. Хомяков, Кошелев, братья Киреевские, Шевырев, Соболевский и другие. Вся эта молодежь была напитана философией Шеллинга, который, по словам кн. В. Ф. Одоевского, «в начале XIX века был тем же, чем Христофор Колумб в XV: он открыл человеку неизвестную часть его мира — его душу». Вскоре составился целый философский кружок — «Общество любомудрия», членами которого были Веневитинов, кн. Одоевский, И. Киреевский, Кошелев и лучший друг Веневитинова — Рожалин[1]. В этом тесном кружке прочиты-

---

[1] Н. М. Рожалин, как и Веневитинов, по образованию был классик. Он умер через несколько лет после смерти своего друга, по возвращении из-за границы, причем все его рукописи тогда же сгорели на станции во время пожара.

вались сочинения молодых любомудров, изучались творения Канта, Фихте, Шеллинга, Окена, Герреса. Веневитинов первенствовал на этих собраниях, изумляя собеседников обширностью знаний, ослепляя блеском ненасытного ума. Он изливался потоками страстных речей, которым восторженно внимали его друзья. После четырнадцатого декабря «Общество любомудрия» из осторожности прекратило свои занятия, хотя о политике в нем никогда не было говорено ни слова.

Кроме стихотворений Веневитинову принадлежит несколько философских заметок и статей. Из них замечательна «Беседа Платона с Анаксагором». Идеи, высказываемые Платоном, уясняют, между прочим, воззрение Веневитинова на отношение искусства к жизни. Платон, называя поэзию «бесполезной», так подтверждает свои слова:

«Поэт наслаждается в собственном своем мире, и мысль его вне себя ничего не ищет и, следственно, уклоняется от цели всеобщего усовершенствования. *Философия есть высшая поэзия,— жить не что иное, как творить*».

Легко понять, что устами Платона Веневитинов порицает здесь не «поэта», а обычный в то время тип замкнувшегося в собственном ничтожестве чувствительного и тупого стихотворца. Отбросим маску «всеобщего усовершенствования», навеянного, очевидно, идеями великих немцев, и мы увидим, что Веневитинов признает творчество неотделимым от жизни,— вывод, к которому он сознательно пришел в своих предсмертных стихах. Он чувствует, что поэзия и философия — родственные сливающиеся стихии: «жить не что иное, как творить». «Весь мир — престол нашей матери,— восклицает он в другой статье.— Наша мать — поэзия; вечность — ее слава; вселенная — ее изображение».

Тот же взгляд, лишь в более конкретной форме, высказан Веневитиновым в статье «Несколько мыслей в план журнала». Признавая главной целью жизни «самопознание», Веневитинов говорит: «Мы получили форму литературы прежде самой ее сущности...», «Многочисленность стихотворцев во всяком народе есть вернейший признак его легкомыслия: самые пиитические эпохи истории всегда представляют нам самое мало число поэтов». «Везде,— продолжает он,— истинные поэты были глубокими философами и мыслителями,— у нас язык поэзии превращается в механизм. У нас чувство некоторым образом освобождает от обязанности мыслить».

Веневитинов еще восемьдесят лет назад различал на теле русской журнальной литературы болезненные прыщи, на наших глазах превратившиеся в зияющие язвы. Его «План журнала» содержит немало глубоких и верных замечаний. Одно время он полемизировал с Полевым. Критическая проницательность Веневитинова сказалась в заметке о пушкинской «Сцене в келье Чудова монастыря». Сравнивая ее с произведениями Шекспира и Гёте, Веневитинов тонко замечает, что теперь поэтическое воспитание Пушкина

под руководством Байрона кончилось,— поэт отныне вступает на свой путь[1].

Все это были только осколки, намеки, пробы пера. Но и в них сказалась могучая личность поэта. Как ни была сильна над Веневитиновым власть Шеллинговой философии, его собственные черты не расплылись на этом ярком фоне.

Середина двадцатых годов — время, когда Веневитинов впервые выступал в литературе,— было золотым веком русской поэзии, еще не успевшей осквернить своих чистых девственных одежд. Это было то самое время, о котором, спустя сорок лет, старик Погодин с восторгом вспоминал в следующих словах:

«Всякий день слышалось о чем-нибудь новом. Языков присылал из Дерпта свои вдохновенные стихи, славившие любовь, поэзию, молодость, вино; Денис Давыдов с Кавказа; Баратынский выдавал свои поэмы. «Горе от ума» Грибоедова только что начало распространяться. Пушкин прочел «Пророка» и познакомил нас с следующими главами «Онегина», которого до тех пор напечатана была только первая глава... А там еще Дельвиг с «Северными цветами», Жуковский с новыми балладами, Крылов с баснями, которых выходило по одной, по две в год, Гнедич с «Илиадой», Раич с Тассом и Павлов с лекциями о натуральной философии, гремевшими в университете... В Мицкевиче открылся дар импровизации. Приехал Глинка, товарищ Соболевского и Льва Пушкина, и присоединилась музыка».

Но Веневитинову недолго пришлось участвовать в этом блистательном пире. В его поэтической природе уже начинался решительный перелом; творчество его видимо вступало в новый фазис. Неизвестно, на какие пути увлекла бы его развернувшаяся жизнь, но, разумеется, оставаться вечным учеником Шеллинга он не мог. Пытливый дух его требовал от жизни собственных самобытных форм, в которые он мог бы воплотиться, как творческая идея воплощается в вечный мрамор. Веневитинов начинал действительно познавать самого себя, и первым следствием его бессознательных томлений явилась жажда одиночества, потребность уединения и свободы: верный признак приближающейся зрелости таланта.

В октябре 1826 г. Веневитинов переехал на службу в Петербург и 17 ноября писал оттуда Погодину:

«Я расположен здесь заняться делом. Сегодня переезжаю на мою квартиру, которая будет моею пустынею. В ней, надеюсь, умрут все мои предрассудки и воскреснут, прозябнут семена добрые. Уединение мне было нужно и шаг решительный сделан».

О лихорадочной деятельности Веневитинова в эти последние

---

[1] Подлинник статьи писан по-французски. Восторженно говоря о достоинствах сцены Пимена с Самозванцем, Веневитинов как бы пытается тщетно для самого себя что-то уяснить, словно бродит около заколдованного круга. Круг этот — неизвестное тогда слово «народность».

дни имеется свидетельство жившего с ним Ф. С. Хомякова, который около того же времени сообщал брату:

«Хотелось бы для твоего исправления, чтобы ты пожил с нами здесь, посмотрел на Димитрия. Это — чудо, а не человек; я перед ним благоговею. Представь себе, что у него в 24 часах, из которых составлены сутки, не пропадает ни минуты, ни полминуты. Ум, воображение и чувство в беспрестанной деятельности. Как скоро он встал, и до самого того времени, как он выезжает, он или пишет, или бормочет новые стихи; приехал из гостей, весело ли ему было или скучно, опять за то же принимается, и это продолжается обыкновенно до 3-х часов ночи... Он редко читает, гулять никогда не ходит, выезжает только по обязанности».

Но здоровье Веневитинова, уже надломленное недавнею болезнью, еле выносило этот гигантский труд. В начале марта 1827 г. он простудился на балу и занемог горячкой, а 15 марта умер на руках князя Одоевского и братьев Хомяковых.

Над друзьями Веневитинова смерть его разразилась, как громовой удар. «Comment donc vous l'avez laissé mourir!»[1] — воскликнул Пушкин. Погодин окропил слезами страницы своего дневника, общий хор сожаления раздался отовсюду. Чистый образ Веневитинова отныне засиял в воспоминаниях друзей неугасимой лампадой. Трогательно перечитывать их сетования о нем. И. Киреевский 16 марта 1830 г. писал из Берлина: «Был ли вчера кто-нибудь под Симоновым? Что мои розы и акации? Если бы Веневитинов был на моем месте, как прекрасно бы отзывалось в нашем отечестве испытанное здесь!» Погодин тогда же заносит в дневник: «Проснулся ночью, а именно, кажется, в 5 часу, в час смерти Димитрия. Подумал, не явится ли он теперь ко мне, побоялся, захотел уснуть, и он не явился. Под Симоновым, у обедни, спокойно и на его могилу». В тот же день у Погодина обедали двое друзей. «Говорили о Димитрии, его свойствах, жизни, надеждах, последних минутах, трудах».

И уже в старости, в 1867 году, Погодин снова вспоминает о Веневитинове:

«Димитрий Веневитинов был любимцем, сокровищем всего нашего кружка. Все мы любили его горячо. Точно так предшествовавшее поколение, поколение Жуковского относилось к Андрею Тургеневу, а следующее, забредшее на другую дорогу, к Николаю Станкевичу. В карамзинском кружке это место занимал Петров. И все четыре поколения лишились безвременно своих представителей, как будто принося искупительные жертвы. Двадцать пять лет собирались мы, остальные, в этот роковой день 15 марта в Симоновом монастыре, служили панихиду, и потом обедали вместе, оставляя один прибор для отбывшего друга».

Так смотрели на Веневитинова его друзья, люди двадцатых годов. Для них он был кумиром: они видели в нем живое воплоще-

[1] «Как вы позволили ему умереть!» *(фр.)*

ние заветных своих, ценнейших идеалов, и за то обожали его с каким-то влюбленным жаром. После его смерти они, по собственным словам, «не имели уже полного счастия», как будто яркое солнце жизни навсегда затмила в их глазах эта смертная туча. Оттого ли, что Веневитинов был первою жертвой их тесного кружка и гибель его напомнила им о бренности собственных надежд и созиданий,— но с его смертью начинают вянуть величественные лавры пушкинского золотого века, поколение первых вешних лебедей постепенно смолкает. С Веневитиновым исчезла молодая свежесть надежд, беспечное обаяние всесильной юности.

По виду преувеличенное поклонение друзей станет понятно, если мы увидим в Веневитинове не столько «поэта», «сколько человека двадцатых годов», ярко выражающего сущность своей эпохи. Продолжая параллели Погодина, мы после Станкевича можем назвать Писарева и Надсона, из которых первый явился воплощением идей шестидесятых, а второй восьмидесятых годов.

II

Поэзия Веневитинова подобна светлому источнику, в струях которого душа поэта отражается мерцающей звездой. Юности свойственно не знать меры чувству, преувеличивать значение собственных сил, облекать скромную Музу в величественные и пышные одежды, хотя бы с чужого плеча,— этого не избегали даже великие поэты — но у Веневитинова ничего подобного мы не встретим. У него нет ни одной фальшивой ноты: все его стихи прошептаны ему непосредственно самой Музой. У него всего около сорока стихотворений, из которых значительны лишь последние десять-двенадцать, писанные в 1826 и 1827 годах. Форма у Веневитинова безукоризненна. Плохих стихов у него вовсе нет, и эта черта, как и некоторые другие, сближает его с Пушкиным. Что-то пушкинское замечается в самой фактуре его стиха. Везде поразительна ясность поэтического рисунка; стих местами гибок, местами лит из меди, и многие строфы звучат своеобразной музыкой. Чисто веневитиновские, например, следующие стихи:

Ты был отрыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой.

Этот ломающийся, нервный с перебоями и в то же время плавный метр отличается необычайной энергией какого-то меланхолически-медного оттенка: это лёт стрижей, задевающих крыльями колокола. Иногда у Веневитинова встречаются неожиданные, яркие образы, меткие поэтические уподобления, впервые найденные слова. Читая Веневитинова, с трудом веришь, что это пишет юноша, почти отрок, почти ровесник Пушкина,— в начале двадцатых годов! Вот как кончается его перевод из «Георгик» Вер-

гилия «Знамения перед смертью Цезаря», сделанный в 1819 году, когда автору было всего четырнадцать лет:

Быть может, некогда в обширных сих полях,
Где наших воинов лежит бездушный прах,
Спокойный селянин тяжелой бороною
Ударит в шлем пустой — и трепетной рукою
Поднимет ржавый щит, затупленный булат,—
И кости под его стопами загремят.

Эти детские стихи нисколько не ниже юношеских посланий Пушкина. Чутко, почти инстинктивно избегает Веневитинов славянских местоимений, риторических оборотов, тяжелых фраз. Язык его легок и непринужден; иные размеры встречаются в первый раз, и можно предполагать, что Лермонтов именно у Веневитинова заимствовал размер для своего «Мцыри». В последних, почти предсмертных стихах заревой розоватый отблеск восходящего солнца разгорается ярче и сильнее; поэт жаждет уйти в себя, замкнуться от мелких волнений повседневности. В стихотворении «Моя молитва» он молит своего гения:

Души невидимый хранитель!..

. . . .

Не отдавай души моей
На жертву суетным желаньям,
Но воспитай спокойно в ней
Огонь возвышенных страстей.
Уста мои сомкни молчаньем,
Все чувства тайной осени;
Да взор холодный их не встретит,
Да луч тщеславья не просветит
На незамеченные дни.
Но в душу влей покоя сладость,
Посей надежды семена;
И отжени от сердца радость: —
Она — неверная жена.

Суетная, бездумная «радость» жизни уже не удовлетворяет задумчивого поэта; он спешит замкнуться в гордом величии мудрого молчанья.

Все чуждо, дико для него,
На все безмолвно он взирает;
Лишь что-то редко с уст его
Улыбку беглую срывает.
Его богиня — простота,
И тихий гений размышленья
Ему поставил от рожденья
Печать молчанья на уста.

Когда-то юноша простирал объятия к «ближним», а они на пламенный зов ответили ему холодным бессердечием,— и вот жизнь померкла, ее павлиньи краски начинают линять и быстро теряют в глазах поэта свою обольстительную внешность.

Не ищет вчуже утешенья
Душа, богатая собой.
Не верь, чтоб люди разгоняли
Сердец возвышенных печали.
Скупая дружба их дарит
Пустые ласки, а не счастье;
Гордись, что ими ты забыт,—

. . . .

Но нет! не все мне изменило:
Еще один мне верен друг,
Один он для души унылой
Друзей здесь заменяет круг.
Его беседы и уроки
Ловлю вниманьем жадным я:
Они и ясны и глубоки,
Как будто волны бытия...

. .

Он сам не жертвует страстям,
Он сам не верит их мечтам;
Но, как создания свидетель,
Он развернул всей жизни ткань.
Ему порок и добродетель
Равно несут покорно дань,
Как гордому владыке мира:
Мой друг, узнал ли ты Шекспира?

Юношеские фантазии рассеялись — жизнь предстала в своей однообразной и суровой простоте. Идеал поэта — «владыка мира», Шекспир. Но жизнь — «коварная сирена»: она стремится отнять у поэта «любовь, надежды, вдохновенье» — и он бежит от нее искать спасения во служении Музе. Жизнь не отнимет у него надежд:

И не мои они теперь.
Я посвящаю их отныне
Навек Поэзии святой
И с страшной клятвой и мольбой
Кладу на жертвенник богини.

Замечательное признание! Здесь Веневитинов еще отделяет поэзию от жизни, еще жизнь для него есть неумолимый враг, а поэзия — что-то отвлеченное, спасающее от жизни. Ему хочется спрятаться от жизни, пренебречь ею. Он смотрит на нее еще не проснувшимися глазами: тайна ее мгновений, ее неожиданных проблесков еще не открылась для него. Ему скучно в этом мире, полном бесцельности и суеты.

Но вскоре в духовной жизни Веневитинова наступает новый период. Быть может, он совпал с его переселением в Петербург, жаждой уединения и бескорыстного труда. В двух последних стихотворениях звучат еще не слыханные звуки,— поэт овладевает собой и в чудных стихах дает мудрый ответ на вечную загадку жизни.

Я вижу, жизнь передо мной
Кипит как океан безбрежный...
Найду ли я утес надежный,
Где твердой обопрусь ногой?

. . . .

Открой глаза на всю природу,—
Мне тайный голос отвечал,—
Но дай им выбор и свободу.
Твой час еще не наступал:
Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывный
Отзывной песней отвечай!

Вот оно, проникновение в жизненную тайну! В мнимой бесцельности жизни таится высшая, хотя и бессознательная цель. Жизнь прекрасна сама по себе — прекрасно безумное упоение на жизненном пире. Никаких разумных целей у жизни никогда не было и нет. Сладко бросить себя в ее водоворот, отдаться ей, с ее дрожью согласить биение собственного сердца. Тут уж нет места жизненным «загадкам и завязкам» — тут звездный ход, таинственно расчисленный по небесным знакам. И у кого душа звучит многострунной арфой — тот бессознательно отзывается песнью на каждый призывный звук.

Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый миг в ней воскрешай,
На каждый звук ее призывный
Отзывной песней отвечай!

Последнее стихотворение Веневитинова «Поэт и друг» замечательно, как вещее предвидение скорой смерти. Друг удивляется мрачным предчувствиям поэта. Тот ответствует:

Мой друг! слова твои напрасны.
Не лгут мне чувства: их язык
Я понимать давно привык,
И их пророчества мне ясны.
Душа сказала мне давно:
Ты в мире молнией промчишься!
Тебе всё чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.

Смерти нечего страшиться тому, кто свершил на земле свой жребий. Он будет за гробом жить и творить в высших сферах. Какою мудростью исполнен поникший перед вечностью поэт!

Тому, кто жребий довершил,
Потеря жизни не утрата —
Без страха мир покинет он.
Судьба в дарах своих богата,
И не один у ней закон:
Тому — процвесть с развитой силой
И смертью жизни след стереть,

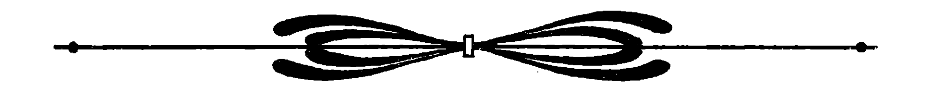
Другому — рано умереть,
Но жить за сумрачной могилой!

Заключительные стихи, жалобно звенящие, как оборванная струна, сверкают жутким блеском почти загробного вещания:

Сбылись пророчества поэта,
И друг, в слезах, с началом лета,
Его могилу посетил.
Как знал он жизнь, как мало жил!

Этим аккордом кончается земное существование Веневитинова.

1905



Л.А. МЕЙ

За последнее время в области новейшей художественной критики замечается стремление разобраться в накопленном за сто лет поэтическом богатстве. Первый, пушкинский, период русской поэзии, видимо, совершенно закончен, а еще неизвестно, какие пути предстоят ей в будущем. Никакие теоретические догадки тут пособить не могут: приходится терпеливо ждать, когда сами грядущие поэты скажут свое новое, еще неведомое слово. Теперь, быстро пройдя в одно столетие путь необозримой ширины, мы пока беспомощно стоим перед грудой наваленных в беспорядке родных богатств. Мы сами не знаем настоящей цены своему наследству. Не все, конечно, одинаково ценно из того, что хранится бережно в литературных кладовых; среди золота и алмазов в изобилии блестит дешевая мишура и немало фальшивых диадем сияют заемным блеском. Тем неотложнее, тем первее обязанность критики с весами в руках установить вечную ценность и значение неберегомых сокровищ. Ведь до самых последних дней мы их не берегли и не пользовались ими: этими драгоценностями любовались лишь немногие чудаки, и только урывками, между прочим, снисходили до стихов тяжелые «деловые» люди. Не будем в подробностях вспоминать о том, как варварски неблагодарно отнеслась старая тенденциозная критика к истинным поэтам, как наобум судила о них. С легкомыслием дикарей, меняющих жемчужные раковины на стеклярус, венчали мы званием поэтов жалких посредственных стихотворцев, как дикари, оставляя без внимания сияющее звездами небо, наивно разевали рты перед грошовым фейерверком. Кто до сих пор остаются избранными поэтами русской публики, чьи имена первыми приходят на уста, когда в обществе заходит речь о стихах? Надсон и Апухтин — вот эти корифеи. Но ненарушимо могильное безмолвие, одевшее холодным туманом мраморные гробницы забытых певцов. «На ветвях лира и венец». Не говорим о богатырях русской поэзии: их немного; окинем бегло ряд других теней, «душу заключавших в звонкие кристаллы», и мы поразимся, до чего мало мы знаем их и о них. Что нам известно, что было сказано кем-нибудь, когда-нибудь о Веневитинове, Д. Давыдове, кн. П. Вяземском, Полежаеве, Майкове, Полонском, Щербине, К. Павловой, Языкове, Хомякове, Бенедиктове, Мее? Мы можем пересчитать по пальцам беглые и

случайные заметки, которыми критика почтила их произведения. Кроме отрывочных воспоминаний, преимущественно биографически-анекдотического характера, официальных некрологов да мелких заметок, мы ничего не знаем о них самих. Собрания их стихотворений, по десятилетиям не перепечатываемые, становятся библиографической редкостью. По традиции, мы сбивчиво перечисляем наших «лучших» поэтов, известных нам из хрестоматий еще со школьной скамьи, и, не понимая действительного их значения, безразлично смешиваем Фета с Полонским, Тютчева с Майковым, Алексея Толстого с Меем.

О Мее известно нам чрезвычайно мало. В публике имя его окружено таким же полным забвением, как имена Веневитинова и Бенедиктова, которые по созвучию часто смешиваются. Между тем, среди второстепенных литераторов половины прошлого столетия Мей занимал одно из почетных мест, а как поэт он во многом характеризует свою эпоху. Рассматриваемая сквозь историческую призму, поэзия Мея отчасти уясняет нам технические приемы современного стихотворного искусства. Мей был по-своему ценитель и знаток стиха, и не его вина, что он остался одинок в своих ранних для того времени попытках.

За шестьдесят с лишком лет, протекших со дня первого литературного выступления Мея в качестве сотрудника погодинского «Москвитянина», и до последнего дня критикой о нем было сказано буквально несколько слов. Наиболее содержательная статья о поэзии Мея принадлежит В. Чуйко («Современная русская поэзия в ее представителях», 1885 г.). Затем, при последнем издании сочинений Мея (1887 г.) имеется большой критико-биографический очерк Владимира Зотова, товарища Мея по лицею. Зотовский очерк крайне слаб, растянут, патетически слезлив и в большей своей части должен быть причислен к разряду так называемой «домашней» или «дружественной» литературы. Сильно, но неубедительно возражая против упомянутой статьи Чуйко, Зотов осыпает Мея преувеличенно восхищенными фразами, сравнениями с Пушкиным и тому подобными хвалами, от которых сам скромный поэт, наверное, пришел бы в смущение. Есть и еще несколько ничтожных материалов, перечислять которые находим лишним, за исключением заметок М. Хмырова («Портретная галерея русских деятелей») и Н. Гербеля («Русские поэты»), да воспоминаний А. П. Милюкова («Исторический вестник», 1882 г.). Но и эти случайные материалы касаются почти одних биографических данных, о самой же поэзии Мея, ее достоинствах и недостатках, кроме упомянутых статей Зотова и Чуйко до сих пор сказано очень мало.

Сочинения Мея выходили дважды. Первое, неполное, собрание было издано графом Г. Кушелевым-Безбородко в 1862—63 годах;

второе, полное, издание Мартынова вышло в 1887 г. В нем собрано все, вышедшее из-под пера Мея, и надо признаться, что вряд ли одна пятая из всего им написанного заслуживает серьезного внимания. Посредственными переводами и плохими рассказами загромождаются стихи и драмы; рядом с превосходными стихотворениями встречаются ничтожные, звучащие натянутым одушевлением, стихотворные подделки. Талантливый поэт на глазах изумленного читателя срывается в безнадежную прозу, художник исчезает за ремесленником, искры самобытно-вдохновенной речи сменяются бессвязным набором банальных фраз. Спрашивается, почему, ради какой цели Мей принуждал насильно свою Музу ворочать мельничные жернова?

Безусловно ошибочным оказалось бы предположение, что Мей умышленно уродовал свой талант ради каких-либо посторонних искусству соображений. Мей по своей природе был чужд не только тенденции, но и вообще каких бы то ни было умозрительных теорий. В душе он был настоящий поэт старого времени, «птица небесная», «гуляка праздный». Последнее качество в старину, как известно, вменялось писателям в особую заслугу; к сожалению, иные понимали его чересчур буквально, заливая праздные досуги зеленым вином. Недаром у нас еще в XVIII столетии сложилось характерное мнение о «стихотворцах» и вообще о «сочинителях» как о «горьких пьяницах» (основания к тому были: припомним Ломоносова, Сумарокова, Кострова). Мей также был приверженный поклонник Бахуса. Задачу свою как поэта он понимал весьма несложно, вернее, никак не понимал, а писал себе стихи «просто», «по вдохновению». Общее миросозерцание Мея, его литературные мнения и славянофильские взгляды скорее всего обуславливались также случайностью: надо же иметь человеку какие-нибудь определенные воззрения на окружающее. Но ни усердные возлияния, ни отсутствие объединяющего элемента в собственном творчестве не отражались на Мее так, как мы могли бы ожидать. Главная причина, исковеркавшая и погубившая этот талант, коренилась в самых условиях его жизни.

Надо сперва вспомнить и представить себе, что такое был Мей. Полунемец по происхождению, с юных лет отличавшийся чисто славянской беспечностью и ленью, Мей воспитывался в Царскосельском лицее в конце тридцатых годов, т. е. в ту пору, когда еще в стенах лицея живы были отголоски пушкинских преданий. В силу старых традиций, почти каждый выпуск имел своего поэта, своего «Пушкина»; в выпуске 1841 г. таким поэтом был Мей. Однако лицейские его стихотворения, которые Зотов предпочитает лицейским пушкинским, очень плохи. В сравнении со стихами четырнадцатилетнего Пушкина, стихи, написанные двадцатилетним Меем, кажутся детским лепетом.

«Москвич по рождению и наклонностям», Мей по окончании лицея переехал служить в Москву. Надо заметить, что почти все писатели того времени служили, кто в военной, кто в статской службе, так как жить одним литературным трудом было невозможно. Мей и в этом случае являет единственный в своем роде тип поэта, не искавшего никаких земных благ. На службе он пробовал себя в разных должностях, но долго нигде не мог ужиться. Переселясь в 1853 году с женою в Петербург, он умер здесь в 1862 году, сорока двух лет. В воспоминаниях знакомых и друзей Мей единодушно изображается бессребреником, беззаботным идеалистом, в доме которого только и говорилось, что о поэзии, моложавым, веселым поэтом, с длинной трубкой Жукова табаку, читающим приятелям стихи за бутылкой вина. Что-то шиллеровское проглядывает в этой беспечной фигуре человека, никогда не думавшего о завтрашнем дне. Беспечность и случайность вообще присущи натуре Мея, талантливой, но неглубокой. Случайно сойдясь с некоторыми членами московского духовенства, он принимается за серьезное изучение богословских наук; так же случайно, в деревне, натыкается на польскую библиотеку и переводит Мицкевича. Одновременно составляет курс шахматной игры и биографию Анакреона. Быть может, и стихи его тоже случайны. Но несомненно, бедная жизнь литературного поденщика все же была по сердцу Мею, как ни приходилось ему подчас нуждаться. Должно быть, в душе он разделял мечты Пушкина: «себе лишь самому служить и угождать». Будучи хорошо знаком с Погодиным, имея связи в высшем обществе через графиню Е. Ростопчину и старых товарищей по лицею, Мей совсем не пользуется этими преимуществами и до конца жизни остается богемой. Как говорил Зотов, Мей «осуществил почти невозможный в наше время идеал поэта, живущего своими стихами». Не только в то время (конец пятидесятых годов), но и теперь жить стихами могут разве только счастливые авторы ежедневных рифмованных фельетонов. В Петербурге положение беспечно-доброго и жизнерадостного поэта становится трагическим. Ему грозит опасность замерзнуть на холодных улицах петровской столицы,— беззаботные привычки плохо уживались с вечным безденежьем. Тогда-то наступило для Мея тяжелое испытание, положившее конец свободному творчеству и надорвавшее его талант, от окончательного падения которого спасла поэта преждевременная смерть. Ему приходилось писать и печатать стихи наспех, из-за куска хлеба. Во всех почти тогдашних изданиях начало появляться его имя. В то же время он переводит Феокрита, Анакреона, Мильтона, Байрона, Гёте, Шиллера, Гейне, Шенье, Беранже, Гюго, пишет стихотворения и поэмы, компилирует статьи, сочиняет рассказы, составляет рецензии. И весь этот неимоверный труд дает бедному поэту жалкие гроши, которые он, по беспечности, тратит как попало. Зотов рассказывает, как Мей, не знавший цены деньгам, обыкновенно раздавал их первым встречным, а потом рубил на дрова собственную мебель.

Сохранились рассказы о шампанском и дюшесах, покупавшихся на последние деньги, тогда как на другой день ничего не оставалось на обед. Подобные воспоминания, неизбежно связанные с именем Мея, вполне обрисовывают его детское легкомыслие и житейскую непрактичность.

Последние годы Мей сблизился с кружком графа Г. А. Кушелева-Безбородки, издававшего в конце пятидесятых годов журнал «Русское слово». Во главе издания стоял друг и собутыльник Мея, ненадолго переживший его, Аполлон Григорьев. В числе сотрудников были Я. Полонский, Всеволод Крестовский, Н. Кроль, В. Толбин, Г. Благосветлов. Сам Кушелев-Безбородко, великосветский любитель искусства, считавший себя знатоком в области поэзии и художеств, на деле был посредственным дилетантом. Полонский в одном из писем к Островскому называет произведения Кушелева-Безбородки «ребяческими». Выродившийся отпрыск некогда славных фамилий, болезненно-нервный, граф в обществе писателей и музыкантов играл роль мецената. У себя он часто устраивал пышные пиры; этим, замечает Зотов, он много способствовал гибели Мея. Слабовольный и невоздержанный поэт окончательно погряз в кутежах, и Борис Алмазов не без основания в одной из своих сатир упоминает, как «нередко у Мея пивал я коньяк». Так несколько лет Мей провлачил между вином, болезнью и срочной работой. Предсмертные его произведения ниже критики.

Опытом своей жизни Мей лишний раз доказал, что художнику немыслимо существовать самому по себе. Судьба заставила его испытать самое ужасное, что только может достаться в удел поэту,— творить ради пропитания!

Когда Мей впервые выступил в «Москвитянине» в 1845 г.[1], общее литературное развитие как публики, так и большинства писателей находилось еще в младенчестве. Сущность искусства и истинные задачи поэзии на деле понимали, быть может, несколько человек. Чистый источник пушкинской поэзии, разбившийся по смерти Лермонтова на тысячу мелких ручейков, уже начинал постепенно мутиться, превращаясь в болото; молодые поэты все более утрачивали прежнюю власть над стихом, писали стихи не задумываясь, как бы по инерции — больше по привычке, машинально оглядываясь на Пушкина, но уже утратив пушкинские тайны. В сущности, редкие поэты сознавали, худо ли, хорошо ли они творят. Самое понятие о словесном мастерстве, о «форме», в которую навеки облекалось, с которой неотделимо сливалось «содержание»,— понятие, исходившее из узкого, почти семейного,

[1] До 1845 года Мей только два раза печатался в «Маяке» 1840 г., под псевдонимом Зелинского, но эти опыты так незначительны, что никак не могут считаться действительным началом его поэтической деятельности.

пушкинского кружка, также раздробилось и, войдя в массу, очутившись на улице, сделалось чем-то неопределенным. Никому еще тогда, по-видимому, и в голову не приходило, что «писать хорошие стихи еще не значит быть поэтом»[1]. Стихи большинства молодежи были не столько хороши, сколько гладки, а за эту безличную гладкость прощались и пошлость выражения, и банальность образов. Легко было в то время быть поэтом, когда даже Майков и Полонский писали иногда изумительно плохие стихи. Поэты надеялись главным образом на «вдохновение», но ковать стихи умели только Тютчев да Фет. Нет сомнения, что и Мей был рожден Божиею милостью поэтом, искренно переживавшим свои творческие порывы; что он нелицемерно поклонялся *красоте,* в то время писавшейся еще с маленькой буквы. Но сама эта «красота» была для него неведомым божеством. Мы можем вообразить Мея, пишущего стихи, «как ему Бог велит», может быть, мучающегося над ними, озабоченного красотой стиха, счастливого вновь найденной рифмой. Но решительно невозможно представить того же Мея, глубоко задумавшегося над вопросом, что такое стих, что такое поэзия? По всей вероятности, ему совсем не приходили на ум подобные праздные вопросы, как не приходят они в голову уличному певцу. Только бы пелось, а уж слова и напев придут сами собой. Как уличный певец, Мей творит небрежно, относится к делу почти как к ремеслу, без должного уважения к божественности своего поэтического дара. Мей и подобные ему поэты промежуточной эпохи вывернули наизнанку все, сделанное Пушкиным, и данную им поэзию «как искусство, как художество» вновь превратили в «прекрасный язык чувства» (выражения Белинского). Они совершили даже нечто худшее, потому что язык Державина, Батюшкова, Жуковского действительно прекрасен, а язык Минаевых и Яхонтовых отталкивает своим безобразием. Эти поэты и подобные им кощунственно развратили русскую Музу, грубо подделываясь к общественным настроениям своего времени. Мей в последнем был неповинен, как потому, что не дожил до той поры, так и благодаря своей чисто художественной природе. Для нас он важен и интересен именно как поэт, явившийся как раз между Пушкиным и Некрасовым и ярко показавший на самом себе, во что выродился пушкинский стих у предшественников Некрасова. Существует довольно распространенное мнение, что шестидесятые годы в лице главным образом Некрасова и его гражданских последователей убили молодые всходы послепушкинской поэзии и задержали дальнейшее их развитие. Мей живое подтверждение противного. Шестидесятые годы, правда, создали ложную критику, ложный взгляд на сущность искусства, но вырвать с корнем дерево поэзии они, разумеется, не могли. Временному увяданию его способствовали иные исторические причины, о которых здесь не место распространяться.

---

[1] Стих Полонского.

Под пером Мея пушкинский стих то же, что дедовский кладенец в руках ребенка. Поэзия Мея любопытна как чистый образец бессознательного творчества. Бессознательное творчество, разумеется, не исключает возможности истинного вдохновения, но последнее в нем не всегда подчинено суровой художественной «мере». Бессознательно творящий поэт берет слова и образы, не осмыслив их коренного, первоначального значения, и в большинстве случаев употребляет их в качестве расхожих терминов, условно означающих мысль, но не символизирующих ее. Удельный вес слова для него не представляет ценности; ему всего важнее «содержание», «форма» же вместе с напевом обыкновенно приходит сама собой. Мей — поэт-рассказчик. Он бессознательно воспроизводит тусклыми красками внешний мир, быть может, ярко отражавшийся в его уме. Но у него нет ничего резко своего, и от этого его поэзия слишком «обща», его стихи «казенного образца» не хуже и не лучше многих. Механическое творчество, не одухотворенное ясным пониманием изобразительной силы слова, есть характерный продукт эпохи безвременья, наступившего скоро по смерти Пушкина и в наши дни находящегося при последнем издыхании. Это оно превратило русский Геликон в поле увядших и смятых роз. Не такие таланты, как Мей, не зная, куда приложить непочатые силы, кончали карьерой посредственных стихотворцев, немало литературных Мочаловых гибло, гнушаясь прилежным трудом. Впрочем, тогда еще не нарождались и Каратыгины. Мей, как многие его сверстники, родился слишком рано; вести его было некому, а самостоятельно найти своей дороги он не мог. Родись он лет на пятьдесят позже, в лице его мы имели бы, быть может, одного из лучших современных художников.

Мей хорош везде, где он просто рисует или вышивает, выводя свои нехитрые узоры. Он эпический поэт по натуре и плохой лирик. Лучше всего ему удаются спокойные описания природы и событий, но когда он переходит к изображению душевных движений или пытается создать характеры, у него получаются вялые общие места. В его драмах нет никакого внутреннего действия. Порой стихи Мея очаровывают изяществом.

То были времена чудес,
Сбывалися слова пророка:
Сходили ангелы с небес;
Звезда катилась от востока;
Мир искупленья ожидал,—
И в бедных яслях Вифлеема
Под песнь хвалебную Эдема
Младенец дивный воссиял,
И загремел по Палестине
Глас вопиющего в пустыне...

Пустыня... знойные пески...
На север — голых скал уступы;
На юг — излучины реки
И пальм развесистые купы;
На запад — моря полоса,
А на восток, за далью синей,
Слились с пустыней небеса —
Другой безбрежною пустыней...
Кой-где, меж скал, на дне долин,
Сереют в лиственном навесе
Смоковниц, нардов и маслин
Евреев пастырские веси,
И зданья бедных городов
Прилипли к круче обнаженной,
Как гнезда пыльные орлов...
Истомлен воздух воспаленный;
Земля бестенна; тишина
Пески сыпучие объемлет:
Природа будто бы больна
И в забытьи тяжелом дремлет,
И каждый образ, и предмет,
И каждый звук — какой-то бред.
Порой далеко точкой черной
Газель, иль страус, иль верблюд
Мелькнут на миг — и пропадут;
Порой волна реки нагорной
Простонет в чаще тростника,
Иль долетит издалека
Рыкание голодной львицы,
Иль резкий клекот хищной птицы
Пронижет воздух с вышины —
И снова все мертво и глухо...
Слабеет взор, тупеет ухо
От беспредметной тишины...

(«Слепорожденный»)

Описание само по себе превосходно, а между тем дальше поэма положительно испорчена бесцветным и нехудожественным переложением евангельской проповеди.

Вот отрывок из наиболее выдержанной поэмы «Цветы»:

В тот день Поппея ездила с утра
По форуму; пред ней рабы бежали;
Испанские мулы ее теряли
Подковы из литого серебра;
Чернь жадная квадригу окружала,
Кричала: «Vivat!», простиралась ниц...
Потом Поппея ванну заказала
Из молока девятисот ослиц;
Потом на пир заботливо рядилась:
Бесценным мирром тело облила,
Бесценный жемчуг в косы заплела,
И вечером в триклиниум явилась
Прекрасна, неизменно молода,
Как темная, вечерняя звезда.
Под складками лазурного хитона
Прозрачного, как утренний туман,
Сквозит ее полуразвитый стан,

Сквозит волна встревоженного лона.
Гибка, стройна, как тонкая лоза,
С приемами застенчивой девицы,
Поппея на стыдливые глаза
Склонила белокурые ресницы;
Казалось, эти детские уста
Одни приветы лепетать умели,
И в этом взоре девственном светлели
Одна любовь, невинность, чистота...
Но кто знавал Поппею покороче,
Не верил ни в уста ее, ни в очи.

Превосходно описав в поэме «Отойди от меня, Сатана» Палестину, Египет, Индию, Элладу, Рим и Капрею, Мей с не меньшим искусством рисует картину русского лета в одной из своих исторических песен:

Лето красное; росы студеные;
Изумрудом все листья цвеченые;
По кустам, по ветвям потянулися
Паутинки серебряной проволокой;
Зажелтели вдоль тына садового
Ноготки, янтарем осмоленные;
Покраснела давно и смородина;
И крыжовник обжег себе усики,
И наливом сквозным светит яблоко.

(«Песня про княгиню Вяземскую»)

Оригинальны отрывки из «Плясуньи» и «Дафнэ»:

Окрыленная пляской без роздыху,
Закаленная в серном огне,
Ты, помпéянка, мчися по воздуху,
Не по этой спаленной стене.

Опрозрачила ткань паутинная
Твой призывно-откинутый стан;
Ветром пашет коса твоя длинная
И в руке замирает тимпан.

(«Плясунья»)

...Когда одревенен,
Твой гибкий стан в коре опутался смолистой,
Когда окорнилась летучая нога,
Когда ты поднялась, стройна, полунага,
Под зеленью твоей туники остролистой,
Перед тобой сам Феб колена преклонил.

(«Дафнэ»)

Из приведенных примеров можно заметить, что Мей ценил оригинальные рифмы и понимал достоинство полного образного стиха. Как известно, в мелочах и шутках он обнаруживал редкую виртуозность, которой мы не найдем в его серьезных вещах. Как и все его современники, он не считал особенно важным изощряться в отделке стиха. Печальный пример Бенедиктова, на всю жизнь

осмеянного Белинским, был еще в свежей памяти у тогдашней литературной молодежи. Изысканности боялись, принимая ее за дурной тон. Трудным размером Мей щегольнул только однажды, в своей «Секстине», которую стоит привести:

Опять, опять звучит в душе моей унылой
Знакомый голосок и девственная тень
Опять передо мной с неотразимой силой
Из мрака прошлого встает, как яркий день;
Но тщетно памятью ты вызван, призрак милой,—
Я устарел: и жить, и чувствовать мне лень.

Давно с моей душой сроднилась эта лень,
Как ветер с осенью угрюмой и унылой,
Как взгляд влюбленного с приветным взглядом милой,
Как с бором вековым таинственная тень:
Она гнетет меня и каждый Божий день
Овладевает мной все с новой, новой силой.

Порою сердце вдруг забьется прежней силой;
Порой спадут с души могильный сон и тень;
Сквозь ночи вечные проглянет светлый день:
Я оживу на миг, и песнею унылой
Стараюсь разогнать докучливую лень;
Но краток этот миг, нечаянный и милый...

Куда ж сокрылись вы, дни молодости милой,
Когда кипела жизнь неукротимой силой,
Когда печаль и грусть скользили, словно тень,
По сердцу юному, и тягостная лень
Еще не гнездилась в душе моей унылой,
И новым красным днем сменялся красный день?

Увы!.. пришел и он, тот незабвенный день,
День расставания с былою жизнью милой...
По морю жизни я, усталый и унылый,
Плыву... меня волна неведомою силой
Несет Бог весть куда, а только — плыть мне лень
И все вокруг меня — густая мгла и тень.

Зачем же, разогнав привычную мне тень,
Сквозь ночи вечные проглянул светлый день?
Зачем, когда и жить и чувствовать мне лень,
Опять передо мной явился призрак милой,
И голосок его с неотразимой силой
Опять, опять звучит в душе моей унылой?

И опять стихотворение, написанное оригинальным размером, погублено ужасным «голоском»!

В своих подражаниях русским песням Мей близок к А. Толстому и Вс. Крестовскому. Едва ли не первый он усвоил этот мнимонародный тон, которому так далеко до пушкинского «как весенней теплой порою». Ультрарусские эпитеты, вроде уклончивый, прилюбчивый, нерекомый, отворчивый, колыхливый и т. п., неприятно режут ухо. Быть может, в этом случае бессознательно сказалось нерусское происхождение поэта.

Ох, пора тебе на волю, песня русская,
Благовестная, победная, раздольная,
Погородная, посельная, попольная,
Непогодою-невзгодою повитая,
Во крови, в слезах крещеная-омытая!
Ох, пора тебе на волю, песня русская!
Не сама собой ты спелася, сложилася:
С пустырей тебя намыло снегом-дождиком,
Нанесло тебя с пожарищ дымом-копотью,
Намело тебя с сырых могил метелицей...

Прочитав эту песню, невольно спрашиваешь себя: почему пора русской песне на волю именно теперь, когда самые родники ее давно иссякли? Сам поэт этого не объясняет, и слово «пора», очевидно, употреблено им без всякого особого значения. В этом случае еще ярче подчеркиваются приемы бессознательного творчества, которому чужд самоанализ.

В общем, из ста с небольшим оригинальных стихотворений Мея действительную поэтическую ценность представляют не более пятнадцати — двадцати пьес. Следует заметить, что хронология произведений Мея может быть установлена только приблизительно, так как подлинные его рукописи не сохранились. Поэтому вернейший признак, позволяющий безошибочно отделить позднейшие произведения от ранних,— это их внутреннее поэтическое достоинство. Стихотворения последних годов как будто написаны совсем другим человеком. Они даже чужды какой бы то ни было обработки и скорее похожи на неотделанные черновики, чем на пьесы, предназначенные к печати. Таковы «Отроковица», «Волхв», «Александр Невский». Молодой, полный огненных сил художник уступил в них место хмурому, надорванному труженику, через силу поющему в минуты тяжелого похмелья.

1907

А. А. ФЕТ

В душе, измученной годами,
Есть неприступный, чистый храм,
Где все нетленно, что судьбами
В отраду посылалось нам.
Для мира путь к нему заглохнет;
Но в этот девственный тайник,
Хотя б и мог, скорей иссохнет,
Чем путь укажет мой язык.

Фет

Вот поэт, о котором русская художественная критика и не умела, и не хотела ничего сказать. Сам по себе тот факт, что Россия целиком прозевала Фета,— страшен: он заставляет усумниться в праве нашем на национальное бытие. Не говорим уже о вопиющей черной неблагодарности общества к великому поэту: творения его не только не были приняты с должным благоговением,— они оплевывались гражданствующими журналистами до самых последних дней. Глухие и робкие упоминания о Фете продолжаем мы встречать и в самоновейшее время, в эпоху переоценки всяческих «забытых талантов». Выкапывая из земли давно истлевших Ростопчиных, Павловых, Тепляковых, мы упорно не хотим присмотреться к парящей над нами бессмертной тени. Несколько лет тому назад талантливый поэт и капризный критик, Бальмонт, в одной из своих лекций попытался установить некий эстетический катехизис, назвав семь русских поэтов, достойных, по его мнению, считаться «великими». В этом поэтическом «семицветнике», конечно, упомянуто имя Фета, но тут же, рядом с ним, значится на равных правах слащавый и слабый Кольцов, этот Надсон тридцатых годов, возвеличенный Станкевичем и Белинским. Другой выдающийся современный поэт, Брюсов, посвятил Фету всего одну юбилейную заметку. Молодые поэты несравненно больше интересуются третьестепенными Дельвигом или К. Павловой, а Фета упорно оставляют в стороне. Отдельных книг о нем у нас совершенно нет, а наиболее значительные статьи и заметки, касающиеся его, все можно пересчитать по пальцам.

А между тем давно уже пора открыто признать Фета первым после Пушкина русским поэтом. Равного ему в необъятной мощи гения (если не считать Лермонтова, этого орла, убитого на первом взлете) в нашей лирике не было и нет. Не вдаваясь здесь во всестороннее определение всех качеств фетовской поэзии (это завело

бы нас слишком далеко), отметим только, что все русские поэты более или менее искусно владели одной *мелодией* стиха, но никто, кроме Фета, не умел так выявить чистую его *гармонию*. У кого музыка стиха звучит до такой степени полнозвучно и ясно, как у Фета? Кто, хоть отчасти, может уподобиться ему в тончайшем разнообразии внутренних душевных напевов?[1] Поэзия его в противоположность *человеческой* пушкинской — *стихийна*, и как поэзию Пушкина хочется сравнить с красотою цельного в своей самобытности старорусского быта, так поэзию Фета можно уподобить морю. Если исторически сложившийся огромный быт внешне легко упрекать и даже осмеивать за своеобразие некоторых его явлений, то как и за что можно порицать море? За необъятность ли синей его дали, за влажность ли соленых ветров, за бурю ли, за тишину ли? Ясно, почему нападения на Фета самых рьяных журналистов сводились лишь к бессильному шипению, злобным выкрикам и площадной брани[2]. Ведь если и можно доказать разрушение быта (как то думал сделать Писарев), то, очевидно, нечего и пытаться сдать в архив море. Но в то время, как современники Фета не понимали и не ценили его, сам он вполне понимал свое значение и недаром обмолвился в одном позднейшем письме, что современные ему поэты перед ним то же, что кузнечики перед соловьем. Как истинный поэт, он сносил обиды толпы величественно и гордо. Некоторые сверстники его угождали враждебной массе и нередко снискивали этим себе дешевые лавры,— Фет, по завету Пушкина, всегда был царем; он жил один[3].

Для созидающего популярность большинства Фет как личность совсем не существует. Эту отчужденность поэта от читателей обусловливают несколько причин. Прежде всего, даже искренних почитателей Фета смущает собственное его утверждение, что поэзия — ложь и что не поэт тот, кто с первого слова не начинает без оглядки лгать. Но,— справедливо рассуждает читатель,— если

[1] Стихослагательство наших дней, основанное на внешнем разнообразии размеров и рифм, можно сравнить с искусной игрой на барабане. Как ни измышляй удары и трели на этом инструменте, звук его останется всегда однообразно-деревянным. Стих Фета, ясный и простой, как звук Эоловой арфы, при полной безыскусственности, пленяет единственно обилием внутренних своих *тонов*. Душа поэта, как ветер, касающийся струн, издает гармонические напевы почти непроизвольно, чего, очевидно, не в состоянии выделать самый искусный и опытный барабанщик.

[2] В «Искре» (1863, № 38) в статье «Расшаркивающееся искусство» (обзор картинной выставки) читаем: «Кто может в настоящее время услаждаться чтением «Бедной Лизы» Карамзина и стихотворений Фета, тот может совершенно безгрешно и целомудренно предаться созерцанию пейзажиков». Весь вандализм шестидесятых годов превосходно выразился в одной этой фразе.

[3] Приглашая к себе в деревню в 1877 г. Н. Н. Страхова, Фет писал: «По литературной фамилии моей в настоящее время письмо и не дойдет, чему я очень рад, т. к. людям не нужна моя литература, а мне не нужны дураки» («Русское обозрение». 1901. № 1. С. 72).

все, созданное поэтом, ложь, как тогда мне отнестись к нему? Значит, в действительности поэтических переживаний не существует вовсе, значит, поэт клеплет на себя, и вся его поэзия — одно искусное сочинительство, одна красивая ложь?

Представим себе идеального «поэта» в его, если можно так выразиться, чистом виде, отрешенного от жизни, как *поэта только,* вообразим его живущим одною прелестью звуков сладких и молитв, не ведающего искушений жизни, бродящего среди людей со взорами, обращенными к небу, и с песнями на устах. Общество поневоле должно будет посадить его если не в сумасшедший, то в рабочий дом и будет право, как потому, что такой «поэт» явно не в состоянии ничего создать, кроме красивых слов, так и потому, что для легиона лиц, умеющих слагать стихи (а это ремесло слишком соблазнительно по своей легкости), открылся бы вернейший способ узаконить право на безделье. Но в том-то и дело, что всякий истинный поэт прежде всего есть *человек,* которому ничто человеческое не чуждо[1]. Те люди, что в трудных случаях жизни опираются на поэтическую свою исключительность и, оправдывая ею свою слабость, стремятся убежать от жизненных тягот,— такие люди могут быть эстетами, дилетантами, артистами, даже художниками, но никак не поэтами. Прежде чем начать творить, поэт обязан многое пережить и, только претворив пережитое в поэзию, имеет право на звание *поэта,* т. е. делателя (ποίητης). Нет сомнения, что если бы Фет в жизни не был Шеншиным, он и в поэзии не был бы тем Фетом, каким мы его знаем, и одинаково остался бы за порогом как жизни, так и искусства. Ему надо было самому вынести на своей груди все блага и печали жизни — любовь, труд, страдания, разочарования, надежду, болезнь. Жизнь вышибает из груди поэта творческие искры, но перед «тьмой низких истин» повседневности поэзия является лишь «возвышающим обманом». Отдаваясь творчеству всеми силами души, Фет не мог не сознавать рокового несоответствия между искусством и жизнью. То, что возникало в его душе, не находило себе никакого оправдания в дей-

---

[1] Пушкинский «поэт» в «Черни» вовсе не отвергает жизни, но в противность «червю земли», признающему единственным ее благом «печной горшок», принимает от нее высшие дары в форме впечатлений, открывающих в душе тайну «звуков сладких и молитв» и дарующих силы преодолевать «житейское волненье». Таким поэтом и был Фет, говоривший от лица «Музы»:

Пленительные сны лелея наяву,
Своей божественною властью
Я к наслаждению высокому зову
И к человеческому счастью.

. . . .

К чему противиться природе и судьбе?
На землю сносят эти звуки
Не бурю страстную, не вызовы к борьбе,
А исцеление от муки.

ствительной жизни. И отсюда понятным становится знаменитое изречение, что поэзия — ложь[1].

Будучи поэтом по природе, Фет в своем творчестве был крайне целомудрен и стыдлив и, оставаясь неизменно самим собою, всегда утверждал, что поэт — одно, а человек — другое. Различие между поэтом и человеком было в разговорах одною из любимейших его тем. Под защитою этого афоризма великий поэт хотел уберечь чистоту Музы от нескромных взглядов и не допустить любопытствующую чернь в святая святых своей души. Ему и после смерти удалось скрыться от людей за внешностью своих «Воспоминаний», и скрыться настолько удачно, что, например, интеллигент Эртель не сумел найти в них ровно ничего, кроме «достолюбезной глупости». В одном только месте «Воспоминаний» Фет нечаянно (или нарочно?) проговорился и выдал свою тайну: верный ключ к пониманию личности поэта мы найдем в описании характерного эпизода, относящегося к пребыванию Фета с сестрой в Италии в 1857 году. Рассказ этот, ввиду его важности, мы здесь приводим почти целиком.

„Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом“ — говорит Печорин Лермонтова. Вот разгадка многого, что со стороны может показаться во мне непростительным чудачеством и кривлянием. Стоит мне заподозрить, что меня преднамеренно наводит на красоту, перед которою я по собственному побуждению пал бы во прах, как уже сердце мое болезненно сжимается и наполняется все сильнейшею горечью по мере приближения красоты. Нигде и никогда болезненное чувство, о котором я говорю, не овладевало мною в такой степени, как в Италии; но оно проявлялось иногда с резкостью, о которой в настоящее время мне стыдно вспоминать. Привожу один из наглядных примеров. Однажды сестра уговорила меня поехать и взглянуть на Тиволи.

— Какая прелесть! — невольно воскликнула сестра, стоя на площадке спиною к единственной гостинице, примыкающей к храму Весты.— Здесь,— прибавила она,— есть ослы с проводниками, и нам необходимо заказать их, чтобы объехать прелестное ущелье Анио.

— Я нестерпимо озяб,— сказал я,— и голоден; а вид этой воды наводит на меня лихорадку. Надеюсь, что здесь найдется что-либо утолить голод.

С этими словами я вошел в гостиницу, где слуга понимал мои

[1] Немногим из нынешних поэтов известны следующие слова Фета: «Художественность формы — прямое следствие полноты содержания. Самый вылощенный стих, выливающийся под пером стихотворца-непоэта, даже в отношении внешности, не выдерживает и отдаленного сравнения с самым, на первый взгляд, неуклюжим стихом истинного поэта. «Фауст» написан стихами ломаными, языком нередко изнасилованным, а посмотрите, какой стальной силой отзываются эти дубинные стихи. Поэты-художники не выдумывают красоты своих стихов, как истинные красавицы не придумывают чарующей улыбки. Не одного Сальери приводил этот факт в отчаяние — но тут нечем помочь беде» (Фет А. О стихотворениях Ф. Тютчева // «Русское слово». 1859. С. 77).

желания, высказанные по-французски. Через четверть часа в камине запылали громадные оливковые пни и в комнате стало скорее жарко, чем холодно. При этом исполнено было мое требование, вероятно, немало изумившее прислугу, а именно: окна, выходящие на каскад, были тщательно завешаны суконными одеялами, так что мы обедали при свечах»[1].

Вот где проявилась изумительная, почти божественная стыдливость девственно чистой и нежной души поэта! Для него невыносимо выказать хотя бы тень святого чувства глазам толпы! В светлый храм души никому нет доступа! И таким — Фет во всю свою жизнь. И адъютантство в полку, и хозяйственная политика агрария, и «шеншинство», и камергерство — это все те же «суконные одеяла», которыми великий поэт тщательно завешивал от непосвященных свою «Горную высь».

Превыше туч, покинув горы,
И наступя на темный лес,
Ты за собою смертных взоры
Зовешь на синеву небес.

Снегов серебряных порфира
Не хочет праха прикрывать;
Твоя судьба — на гранях мира
Не снисходить, а возвышать.

Не тронет вздох тебя бессильный,
Не омрачит земли тоска.
У ног твоих, как дым кадильный,
Виляя, тают облака.

Но не одно творческое целомудрие побуждало Фета в жизни быть человеком, а не пишущей машиной.

Подобно Пушкину, Фет обладал тем *здравым смыслом,* который дается в удел немногим первостепенным гениям. Здравый смысл в жизни то же, что в искусстве совершенное понимание чувства меры. Это тот самый здравый смысл, который, не отрешая поэта от жизни, благодетельно уравновешивает непомерную тяжесть гения. Всякая чрезмерность является сама по себе уродством; уродлив и не приспособленный к земным условиям гений. Когда поэт бессилен понять закономерность этих условий и овладеть ими, когда стихийная сила таланта перевешивает в нем стихийную тягу жизни,— из него выходит прекраснодушный, но наивный и недалекий Шиллер; когда равновесие соблюдено — возникает Гете. Гете уже почти не человек: это полубог; но и он не нуждается земного,— в искусстве олимпиец, в жизни он прозаический тайный советник. Он умирает, окруженный роскошью и почетом, в собственном дворце,— и мы одинаково не имеем права ни хвалить, ни порицать его за это.

Фету всю жизнь пришлось выслушивать прямые и косвенные

---

[1] Фет А. Мои воспоминания. Ч. 1. М., 1890. С. 170—171.

упреки за то, что он жил так, как ему хотелось. Его бранили за службу в гвардии, за хозяйничанье в деревне, за трудолюбие и самостоятельность, доставившие поэту под конец жизни независимые средства вместе с придворным званием. Но то, что в глазах либеральных авгуров является непозволительным и преступным, в глазах беспристрастного потомства оказывается признаком духовной мощи. Сам Фет причислял себя к людям, для которых «литература лишь средство высказать свою силу»[1]. Так смотрел на него и граф Л. Толстой.

Во всей фетовской поэзии несокрушимо преобладает спокойный и мудрый голос *человеческого самолюбия*. Силой духа поэт преодолевает и смерть, и время, и самую вечность; он никогда не жалуется и не боится. До него такой ясной примиренности с жизнью, такого умения владеть ею достигал в русской поэзии только Пушкин.

Глубокой правдой дышат слова Фета, обращенные к «Музе»:

Заботливо храня твою свободу,
Непосвященных я к тебе не звал,
И рабскому их буйству я в угоду
Твоих речей не осквернял.

Все та же ты, заветная святыня,
На облаке, незримая земле,
В венце из звезд, нетленная богиня
С задумчивой улыбкой на челе.

Нельзя сказать, чтобы читающей массе Фет как поэт оставался неизвестен. Так же, как Пушкин, он внешне вполне доступен, в особенности в ранних своих произведениях. В широкой публике он давно «признан», его читают и даже «любят». Но ни к кому так не подходят собственные его слова, сказанные им о Тютчеве: «Мир праху твоему, великий поэт! Тень твоя может утешиться! Недаром ты так ревниво таил свой пламень, ты навсегда останешься любимцем избранных. Толпа никогда не будет в силах понимать тебя!»

1910

[1] Фет А. Ранние годы моей жизни. М., 1893. (Предисловие).

ИЗ КНИГИ
«ЛЕДОХОД»

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя:
Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока
Под знойным солнцем бытия.

Этому надо верить. Нет поэта субъективнее Лермонтова. Он искренен поневоле, ибо умеет писать только для себя и о себе. Его до обожания любят родственные ему натуры; ими он повелевает и очаровывает их, как прекрасный Демон. Мрачная узость эгоистического вдохновения соединяется в нем с бездонной глубиной чувства. Поэзия его в своем пленительном однообразии похожа на глухой и темный колодезь; веет оттуда сыростью и могильным холодом, а там, в стальной черноте глубокого дна, сияя голубыми бликами, ходят нежные просветы. Ими проскользнув, «без руля и без ветрил», выплываешь вдруг в заколдованное царство. Блаженствуют, качаясь, царственные цветы, пальмы, чинары; райские птицы поют, и слышится голос рыбки:

...Дитя мое,
Останься здесь со мной:
В воде привольное житье —
И холод и покой.
Усни! Постель твоя мягка,
Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
Под говор чудных снов.

Спасти от демона Лермонтова может только серафим Пушкин, из подземного мира уносящийся «в соседство Бога».

Поразительна лермонтовская цельность, гармоничность его природы, самобытность колоссального таланта. Душою он в главном своем один и тот же, семнадцатилетний и на двадцать седьмом году, накануне смерти. Можно, пожалуй, сравнить его с косноязычным Демосфеном: упорством и силой воли достиг он демонской власти над словом; глагол его, точно, жжет сердца. Труд удивительный и неимоверный положил Лермонтов, чтобы в творениях своих запечатлеть то единственное, чему он всю жизнь верил и ради чего страдал. Узкий в своих темах, он углубил их бесчисленными набросками, ворохом черновых проб и плохих стихов, все для того, чтобы создать несколько превосходных стихотворений.

Есть у семнадцатилетнего Лермонтова одно удивительное стихотворение под ничего не выражающим заглавием: «1831 года, июня 11 дня». Это огромная пиэса в 256 стихов. В ней все общие достоинства и недостатки юношеского творчества Лермонтова: мало поэзии и упругой красоты, много металлической силы и неуклюжей страстности; искренностью она поражает необыкновенной. В сухости изложения таится какая-то почти математическая строгость мысли. Не надо забывать, что Лермонтов в то время писал исключительно для себя; он лишь случайно сделался присяжным писателем и к литературной славе всегда был глубоко равнодушен; оттого его юношеские стихи приобретают особую целомудренную прелесть. В стихотворении «11 июня» перед нами весь Лермонтов; здесь дан абрис будущей грандиозной картины, как бы начерченный углем,— краски наложило на нее следующее десятилетие короткой жизни; в нем пуле Мартынова суждено было стать последним, завершающим взмахом кисти. «11 июня» начинается задушевным признанием:

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала. Я любил
Все обольщенья света, но не свет,
В котором я минутами лишь жил.
И те мгновенья были мук полны,
И населял таинственные сны
Я этими мгновеньями... Но сон
Как мир, не мог быть ими омрачен.

«Таинственные сны»... Лермонтов — прирожденный сновидец и мечтатель. Всю жизнь он провел в призрачном мире снов. Это его стихия; в ней он царит, как демон (δαίμων), как божество. В «свете», в «мире» он живет лишь проблесками, минутами сознанья, и минуты эти не омрачают его таинственного сна. «Страстей и мук умчался прежний сон», «Я зрел во сне, что будто умер я», «Года уходят будто сны», «Сон земных страстей», «Промчался легкой страсти сон» — это только наудачу взятые стихи с нескольких страниц 1830 года,— но и дальше всюду у него сны — «сны-мучители», и вся его поэзия — вещий сон, а характернейшее для него стихотворение — «В полдневный жар в долине Дагестана», где тяготеющий над влюбленными сон одушевляет их нездешней силой.

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнию иной,
И о земле позабывал. Не раз,
Встревоженный печальною мечтой,
Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О, нет, все было ад иль небо в них!

Вызванные к жизни, образы эти, воплотясь в стихах Лермонтова, точно, мало походят на «существ земных». Разве люди — все

эти стихийные Арсении, Измаилы, Мцыри — разве не родные братья они чарующему Демону, покрывшему лермонтовский мир своими черными угловатыми крылами, пожалуй, в павлиньих красках, как на картине Врубеля?

Мечтательность раздвоила существование Лермонтова. Жизнь ему не в жизнь. Он живет снами и во сне, как гоголевский художник в «Невском проспекте», вернее — как собственный герой его, тоже художник, Лугин, играющий каждую ночь со стариком-фантомом в штос. Проснувшись на минуту Маешкой, кутилой и львом-бретером, он снова предается упоительной сонной мечте, стремясь выиграть «чудное, божественное виденье». «Он был в сильном проигрыше, но зато каждую ночь на минуту встречал взгляд и улыбку, за которые он готов был отдать все на свете». Вся жизнь Лермонтова — игра с призраком; решающей ставкой был поединок 15 июля 1841 года, когда последняя карта была убита.

Во сне созерцает Лермонтов рай, которого, он знает, наяву ему никогда не видеть. Святым сном остается для него воспоминание детства, породившее в душе поэта пламенную и страстную любовь к Кавказу. За что он любил Кавказ? только за один мимолетный призрак счастия: глядя на горы, переживал он ласку покойной матери.

В младенческих летах я мать потерял;
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,—
Люблю я Кавказ.

И первая чистая любовь его связана с Кавказом, с вечною панорамою южных гор. Шестнадцатилетний отрок вспоминает:

Я счастлив был с вами, ущелия гор;
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас.
Там видел я пару божественных глаз,—
И сердце лепечет, воспомня тот взор:
Люблю я Кавказ!

Пять лет! Да разве не сон эта «пара божественных глаз», когда-то на миг мелькнувших десятилетнему Мишелю? Разумеется, все это происходило во сне, на заре жизни, когда еще зелеными глазами смотрит ребенок на чудесный мир, не успев очнуться от грез предыдущей ночи. В дальнейших строфах «11 июня» немало есть детского, почти смешного: мечты о клевете, об изгнании, о кровавой могиле,— но для семнадцатилетнего поэта все это в порядке вещей. Мечты эти только подтверждают его искренность.

Под ношей бытия не устает
И не хладеет гордая душа;
Судьба ее так скоро не убьет,
А лишь взбунтует; мщением дыша
Против непобедимой, много зла
Она свершить готова, хоть могла

Составить счастье тысячи людей;
С такой душой ты Бог или злодей!..

Тут вся мстительная, клянущая и бунтующая стихия Лермонтова, со всеми ее муками: тут и борьба с судьбой, и «склонность к разрушенью», и гордый отказ от райского блаженства для земной тоски.

Всегда кипит и зреет что-нибудь
В моем уме. Желанья и тоска
Тревожат беспрестанно эту грудь.
Но что ж? Мне жизнь все как-то коротка,
И все боюсь, что не успею я
Свершить чего-то! Жажда бытия
Во мне сильней страданий роковых,
Хотя я презираю жизнь других.

Это тот же парус одинокий, который счастия не ищет и просит бури.

Есть время,— леденеет быстрый ум;
Есть сумерки души, когда предмет
Желаний мрачен; усыпленье дум;
Меж радостью и горем полусвет;
Душа сама собою стеснена;
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна...
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чем.

Я к состоянью этому привык,
Но ясно выразить его б не мог
Ни ангельский, ни демонский язык:
Они таких не ведают тревог,
В одном все чисто, а в другом все зло.
Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным. Все его
Мученья происходят оттого.

В смешении священного с порочным опять во весь рост является нам Лермонтов, с бурями адской страсти и бесплодной тоской по утраченному эдему. Пусть он вечно страдает, томим воспоминаньем об ангельской чистоте своих первых дней; пусть рвется стать преступником, демоном; он остается и навсегда останется только человеком.

Все его
Мученья происходят оттого.

Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь Творец,—
Но равнодушный мир не должен знать
И не забыт умру я.

Да, миру не нужны были его мученья; мир их и не узнал, но что мучился он безумно, в том порукой нам его жизнь и смерть.

Но всего важнее в этой юношеской исповеди (а ведь юношеские признания всегда искренней старческих несравненно) это слова Лермонтова о любви.

О, когда б я мог
Забыть, что незабвенно... женский взор!
Причину стольких слез, безумств, тревог!
Другой владеет ею с давних пор,
И я другую с нежностью люблю,
Хочу любить — и небеса молю
О новых муках; но в груди моей
Все жив печальный призрак прежних дней.

Кто она? Это неважно и даже нелюбопытно для нас; важно то, что и тут звучит нам все тот же вечный лейтмотив лермонтовской поэзии:

Не верят в мире многие любви,
И тем счастливы; для иных она —
Желанье, порожденное в крови,
Расстройство мозга иль виденье сна.
Я не могу любовь определить,
Но это страсть сильнейшая! Любить —
Необходимость мне, и я любил
Всем напряжением душевных сил.

И отучить не мог меня обман:
Пустое сердце ныло без страстей,
И в глубине моих сердечных ран
Жила любовь, богиня юных дней.
Так в трещине развалин иногда
Береза вырастает — молода
И зелена, и взоры веселит,
И украшает сумрачный гранит.

Трогательное простодушие! Любить ему необходимость. «Кто мне поверит, что я знал уже любовь десяти лет от роду? Нет, с тех пор я ничего подобного не видал или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз» (запись 8 июля 1830 г.). Конечно, это кажется, только кажется. Первая любовь: для нее женщина никогда не цель, а только средство: образ женщины избирает она как предлог для своего существования. Лопухина ли, Сушкова ли, та или иная дама: все равно. «Люблю мечты моей созданье». Но «обман» (в смысле разочарования) не мог отучить его от увлечения женщиной. В последнем предсмертном стихотворении он говорит:

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье,—
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.

Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором,

Таинственным я занят разговором,—
Но не с тобой я сердцем говорю.

Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых — уста давно немые,
В глазах — огонь угаснувших очей.

А в сущности никого не люблю, кроме «мечты», кроме «сна», кроме того, что «кажется».

Трагедия Лермонтова не в самой любви, а в отношении его к ней. Разочарование его неподдельно; уж какой тут байронизм! Слепой подражатель Байрону не вырвал бы никогда из груди своей таких леденящих сердце стонов. Душа Лермонтова, действительно, увяла: она дышит сыростью могильных цветов. Мысль о любви всегда сочетается у него с мечтами о смерти, о вечности, и сладостно-жутко читать эти полудетские стихи:

Вчера до самой ночи просидел
Я на кладби́ще. Все смотрел, смотрел
Вокру́г себя, полстертые слова
Я разбирал. Невольно голова
Наполнилась мечтами вновь; очей
Я был не в силах оторвать с камней...
Один ушел уж в землю, и на нем
Все стерлося; там крест к кресту челом
Нагнулся, будто любит; будто сон
Земных страстей узнал в сем месте он.
Вкруг тихо, сладко все, как мысль о н е й.

М ы с л ь о н е й — где же? на кладбище. Это не сентиментальные воздыхания Жуковского о близости небесного свидания, это зловещее предчувствие разлуки вечной. Любовь Лермонтова тысячами нитей сплетена со смертью, с гробом, с мертвецами и со всем их кладбищенским обиходом. И опять это не романтический, мишурный антураж: Лермонтов искренно любит страшные тайны могил, чувствует подлинную поэзию склепа, как чувствовал ее Эдгар По. Ярко и мучительно переживает этот пензенский барчонок, начитавшийся Байрона, муки любви, ощущая в то же время адское наслаждение при мысли о смерти. Эти две могущественные стихии, любовь и смерть, озарены у него в соединении своем невыносимым светом. Мрачно, сладострастно, шепотом повествует он в своем «Вадиме»: «Однажды мать сосватала невесту для сына, давно убитого на войне. Долго ждала красавица своего суженого; наконец вышла замуж за другого; на первую ночь свадьбы явился призрак первого жениха и лег с новобрачными в постель; «она моя»,— говорил он — и слова его были ветер, гуляющий в пустом черепе; он прижал невесту к груди своей — где на месте сердца у него была кровавая рана; призвали попа с крестом и святой водою; и выгнали опоздавшего гостя; и, выходя он заплакал, но вместо слез песок посыпался из открытых глаз его».

Какому романтику в то время могла прийти в голову жуткая гробовая ирония «Конца»?

Конец! Как звучно это слово.
Как много-мало мыслей в нем!
Последний стон — и все готово,
Без дальних справок. А потом?
Потом вас чинно в гроб положут
И черви ваш скелет обгложут...
Когда ж чиновный человек
Захочет места на кладбище,
То ваше узкое жилище
Разроет заступ похорон
И грубо выкинет вас вон,
И может быть из вашей кости,
Подлив воды, подсыпав круп,
Кухмейстер изготовит суп...
А там голодный аппетит
Хвалить вас будет с восхищеньем,
А там желудок вас сварит,
А там...[1]

А изумительная «Любовь мертвеца», одно из лучших произведений Лермонтова?

Что мне сиянье Божьей власти
И рай святой?

Я перенес земные страсти
Туда с собой:
Ласкаю я мечту родную
Везде одну;
Желаю, плачу и ревную,
Как в старину.

Апофеоза любви, пережившей смерть! Воистину, любовь сильнее смерти, именно сильнее. Все обаяние поэзии Лермонтова в его силе. Он сила, сказочный богатырь. Недаром современник его, художник П. А. Федотов, называл его стихи «песнями богатыря в минуты скорби неслыханной».

---

[1] Конец этого стихотворения имеет еще вариант:

Когда ж стеснится уж кладбище,
То ваше узкое жилище
Разроют смелою рукой
И гроб поставят к вам другой.
И молча ляжет с вами рядом
Девица нежная одна,
Мила, покорна, хоть бледна...
Но ни дыханием, ни взглядом
Не возмутится ваш покой...
Что за блаженство, Боже мой!

Здесь Лермонтов опередил «Бобок» Достоевского на целые пятьдесят лет.

Я не могу любовь определить,
Но это страсть сильнейшая.

Горе тому, у кого любовь на всю жизнь остается сильнейшей страстью. Она неизбежно приведет его к крушению. Для Лермонтова главный ужас заключался в раздвоенности его любви, в той пропасти, что зияет вечно между женщиною и идеалом. Он, как Дант, создан был для любви истинной, для любви бессмертной, но в этой жизни не пришлось ему встретить свою Беатриче. Судьба при рождении одарила его нездешним чувством любви, как бы забыв, что ему предназначено жить на земле. Он искал, тоскуя, неземную мечту, а кругом были Лопухины, Сушковы, Смирновы, Щербатовы. Что же оставалось поэту, как не любить «мечты своей созданье»? Но и существовать одною мечтою он не мог: он был человеком, сыном праха и жителем земли. В груди его вулканом вскипала страсть; он не в силах был оставаться равнодушным перед чарами прекрасных женщин. И, презирая их безмерно, шел к ним со святыней в глубине души, зная, что ничего не найдет в ответ.

Есть рай небесный! звезды говорят;
Но где же? вот вопрос и в нем-то яд.
Он сделал то, что в женском сердце я
Хотел сыскать отраду бытия.

Подлинная любовь Лермонтова, конечно, не земная. Иначе он вряд ли бы невредимо пронес ее сквозь жизненные дебри. Та грязь, что его окружала с детства, давно захлестнула бы белый мрамор земного идола, но голубую воздушность женственного видения она оттеняла еще чище. Сны, к счастию для людей, неподвластны житейским ужасам.

В ребячестве моем тоску любови знойной
Уж стал я понимать душою беспокойной;
На мягком ложе сна не раз во тьме ночной,
При свете трепетном лампады образно́й,
Воображением, предчувствием томимый,
Я предавал свой ум мечте непобедимой:
Я видел женский лик — он хладен был, как лед —
И очи... этот взор в душе моей живет;
Как совесть, душу он хранит от преступлений;
Он след единственный младенческих видений...
И деву чудную любил я, как любить
Не мог еще с тех пор, не стану, может быть.

Женский взор святого призрака сопровождает поэта во всю жизнь, как «след единственный младенческих видений». Мог ли он, влюбленный в мечту, любивший «чудную деву» так, как «любить в другой раз он не может и не станет», мог ли он любить дев земных?

До сих пор никто еще, кажется, не обращал серьезного внимания на огромное автобиографическое значение лермонтовского «Сашки». Поэму эту считают нескромным подражанием Полежаеву, легкою шалостью молодого пера, а между тем это полная содержания и серьезная значением пиэса. Из нее целиком вышла «Сказка для детей»; последнюю сближает с «Сашкой» не только общий тон рассказа, но и буквальное совпадение некоторых стихов. В Сашке встречаются места удивительной выдержанности и силы, и можно бы пожалеть, что Лермонтов бросил поэму неоконченной, ежели б из ее хаоса не возникла через несколько лет стройная колоннада «Сказки». Историко-биографическая правдивость «Сашки» бесспорна. Висковатовы и Введенские в своем педантическом глубокомыслии пренебрежительно обошли поэму, хотя, конечно, героя ее нельзя считать безусловным двойником Лермонтова. Но все-таки «Сашка» — ценнейший документ для характеристики Лермонтова-ребенка и Лермонтова-юноши в первые семнадцать лет его жизни, до самого поступления в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Читая «Сашку», начинаешь яснее понимать трагическую сторону в жизни Лермонтова: нежная, как крылья мотылька, чистая, как вершины Кавказских гор, душа гениального ребенка уже в раннем детстве заляпана была комками житейской грязи.

И Сашка был четырнадцати лет.
Он привыкал (скажу вам под секретом,
Хоть важности большой во всем том нет)
Толкаться меж служанок. Часто летом,
Когда луна бросала томный свет
На тихий сад, на свод густых акаций,
И с шепотом толпа домашних граций
В аллее кралась,— легкою стопой
Он догонял их, и, шутя, порой
Его невинность (вы поймете сами)
Они дразнили дерзкими перстами.

Раннее прикосновение порока, «смутив ребенка сон покойный», дыханием набегающей бури налетело на зеркальную гладь души и заставило навсегда задрожать ее сладострастной зыбью. На людей, подобных Лермонтову, первое познание добра и зла кладет неумолимый отпечаток, своего рода каторжное клеймо, доводящее иных до самоубийства.

По тем временам (сто лет назад) сближение подрастающего барчонка с миром девичьей было явлением неизбежным и притом обычным. Конечно, сама строгая бабушка Арсеньева нисколько не огорчилась бы, узнав о связи Мишеля с дворовой девушкой. Девичья в помещичьей усадьбе была особым миром; сюда отбирались красивейшие и умнейшие девушки, часто незаконные дочери господ; здесь зарождались крепостные актрисы и танцовщицы, но под старость из девичьей же выходили Арины Родионовны и Натальи Савишны. Из какого-то ложного стыда (перед чем?) мы

все еще затеняем положительные стороны старой помещичьей жизни, не исследованные доныне. Девичья играла большую роль в юности наших предков. Из записок гр. Л. Толстого мы знаем, что отца его в шестнадцать лет родители соединили «для здоровья» с одной из дворовых девушек[1]. Сам Толстой в «Отрочестве» рассказывает о любви к горничной Маше. В девичьей возникало первое очарование женской любви, вспыхивали первые порывы сладострастия, но далеко не для всех влияние это оказывалось вредным и роковым. В воспоминаниях Фета мы находим идиллическое описание прекрасной горничной Аннушки, пробудившей первую возвышенную страсть в груди будущего певца «Соловья и розы»[2]. У Лермонтова описание ночных свиданий с Марфушей сделано, несомненно, с натуры.

Во тьме ночной,
На цыпочках по лестнице ступая,
В чепце, платок накинув шерстяной,
Являлась к Саше дева молодая.
Задув лампаду, трепетной рукой
Держась за спинку шаткую кровати,
Она искала жарких там объятий.
Потом, на мягкий пух привлечена,
Под одеяло пряталась она;
Тяжелый вздох из груди вырывался
И в жарких поцелуях он сливался.

Правда и то, что, как признается поэт,

Я пробежал пороков длинный ряд
И пресыщен был горьким наслажденьем.

Старческий опыт, проклятый опыт Адама, рано воцарился в опустошенной душе полуребенка.

А главное, Сашка «имел большую склонность к разрушенью». Прототип его, Александр Арбенин, в неоконченном прозаическом отрывке характеризуется теми же самыми чертами.

«Зимой горничные девушки приходили шить и вязать в детскую... Саше было с ними очень весело. Они его ласкали и целовали наперерыв, рассказывали ему сказки про волжских разбойников, и его воображение наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и понятиями противуобщественными. Он разлюбил игрушки и начал мечтать... Ему хотелось, чтоб кто-нибудь его приласкал, поцеловал, приголубил, но у старой няньки руки были

---

[1] Лев Николаевич Толстой. Биография. Составил П. Бирюков по неизданным материалам. 1906. Т. 1. С. 50.

[2] «Подобно всему дому я испытывал невольное влечение к горничной или, как тогда говорили, фрейлине mama, Аннушке. Это была прелестная стройная блондинка с светло-серыми глазами, и хотя и она прошла через затрапезное платье, но мать наша всегда находила возможность подарить ей свое ситцевое или холстинковое и какую-нибудь ленту на пояс. Из этого Аннушка при своем мастерстве и врожденной грации умела в праздник быть изящно нарядной».(Фет А. Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 18).

такие жесткие... Саша был преизбалованный, пресвоевольный ребенок... Между тем, природная всем склонность к разрушению развивалась в нем необыкновенно. В саду он то и дело ломал кусты и срывал лучшие цветы, усыпая ими дорожки. Он с истинным удовольствием давил несчастную муху и радовался, когда брошенный им камень сбивал с ног бедную курицу».

Это один и тот же образ. Сашка, Александр Арбенин, Печорин — все они перегорели на медленном огне, превратившем их души в холодный пепел[1].

Впечатления отроческих лет дают направление целой жизни. Черты, роднящие любимых лермонтовских героев в их главном, позволяют с уверенностью утверждать их непосредственную близость к самому поэту. Все это один герой, имя которому Михаил Лермонтов.

Отсюда понятно это небывалое у других поэтов обилие одних и тех же описаний, вводимых в разные произведения, упорные повторения стихов, одинаковые имена героев. Все это обнаруживает глу-

---

[1] Некрасов, принадлежавший к поколению, несколькими годами младшему, в своей «Прекрасной партии» отнесся к Печорину уже с иронией, изобразив тип его в следующих чертах:

То был гвардейский офицер,
Воитель черноокий;
Блистал он светскостью манер
И лоб имел высокий.

Был очень тонкого ума,
Воспитан превосходно,
Читал Фудраса и Дюма,
И мыслил благородно.

Являл он Байрона черты
В характере усталом:
Не верил в книги и мечты,
Не увлекался балом.

Он знал: фортуны колесо
Пленяет только младость.
Он в ресторации Дюссо
Давно утратил радость.

Он буйно молодость убил,
Взяв образец в Ловласе,
И рано сердце остудил
У Кессених в танцклассе.

(Кессених содержала в сороковых годах веселый дом на одной из Петербургских застав.) Самый образ Печорина оказался под силу одному Лермонтову и умер с ним. Попытки наших беллетристов пятидесятых годов оживить Печорина, придать ему жизненное правдоподобие и трагичность, не привели ни к чему. Лермонтовская трагедия под пером их становилась мелодрамой. М. В. Авдеев в повести своей «Тамарин» при самых серьезных намерениях сделал из героя лишь смешную карикатуру на Печорина. Это отмечено еще Аполлоном Григорьевым в одной из его статей.

бокую одноцентрённость вечно сверлящей души, которой одна неотступная мысль владеет: выразить самое себя. Душе этой пришлось пройти сквозь строй, вынести ужасную пытку земной любви. Лермонтов барахтается в жизни, как лебедь в грязной луже. Начиная с бабушкиных горничных, пресненских Тирз и Параш и кончая юнкерскими Уланшами, Лариссами и танцорками все соединилось, чтобы осквернить любящую нежную душу, чтобы, омрачив, высосать и опустошить ее.

Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока,
Под знойным солнцем бытия.

Как тут не вспомнить Достоевского? «Дьявол с Богом борются, а поле битвы — сердца людей». (В Лермонтове есть черты Димитрия.) «Широк человек, слишком широк, я бы сузил». Воочию перед нами эта чудесная широкость, совмещение идеала содомского с идеалом Мадонны.

Однажды, после долгих прений
И осушив бутылки три,
Князь Б., любитель наслаждений,
С Лафою стал держать пари.
«Клянуся,— молвил князь удалый,—
Что нашу польку в эту ночь...

И вдруг тут же, почти тотчас:

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...

Отчаянный юнкер в серой шинели, едва проспавшийся после угарной ночи, с душой, мутной от пьяного похмелья, вот стоит он плечом к плечу с нежно-воздушной барышней где-нибудь на Зимней Канавке, прислушивается к вечерним выстрелам, и уже по искаженной душе его, как по небу полуночи, пролетает белокрылый ангел:

Ты помнишь ли, как мы с тобою
Прощались позднею порою?
Вечерний выстрел загремел,
И мы с волнением внимали...
Тогда лучи уж догорали,
И на море туман густел;
Удар с усилием промчался
И вдруг за бездною скончался.

Но, потеряв навек серафическую непорочность чувств, Лермонтов не хочет покориться Року.

В противность своему Демону, он знает, что никакая Тамара не возвратит ему рая. Дьявольская ироническая гримаса навсегда омрачила угрюмое лицо. На всех портретах Лермонтова застыло выражение тоскливо-мрачной иронии. Любовь, со всею ее необъят-

ною нежностью и красотой, со страданьем и счастием влюбленных, для корнета Лермонтова вырождается в ленивую интригу. Самодовольно-скучающий светский лев, он относится к женщинам со снисходительным пренебреженьем. Уже шестнадцати лет, оторвавшись на миг от созерцания неземной красоты, воздушного виденья, он холодно замечает:

Поверь, невинных женщин вовсе нет;
Лишь по желанью, случай и предмет
Не вечно тут. Любить не ставит в грех
Та одного, та многих, эта всех.

Теперь на земле остается у него одно сладострастие, любовь же умерла навсегда, как только он понял, что женщина и мечта о ней не одно и то же.

Ежели вера в любовь погибла, что же тогда остается в жизни? И что такое сама жизнь?

Что жизнь? — Давно известная шарада
Для упражнения детей,
Где первое — рожденье, где второе —
Ужасный ряд забот и муки тайных ран,
Где смерть — последнее, а целое — обман!

Обман. В этом сплошном обмане стоит ли играть смешную роль?

Любить? Но кого же? На время — не стоит труда,
А вечно любить — невозможно.

Раз уже начались рассуждения о том, стоит ли труда полюбить хотя на время, то ясно, что душе такого человека недоступна уже и просто не нужна сама любовь.

А тут еще одиночество, этот неизбежный удел гордых и несчастных душ, призрак которого не покидал Лермонтова с юных лет:

Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить;
Делить веселье все готовы,—
Никто не хочет грусть делить.

Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены,
И вижу, как, судьбе послушны,
Года уходят, будто сны.

И вновь приходят — с позлащенной,
Но той же, старою мечтой;
И вижу гроб уединенный,—
Он манит и сулит покой.

Никто о том не покрушится,
И будут (я уверен в том)
О смерти больше веселиться,
Чем о рождении моем.

И всюду гроб, смерть, уничтожение, исполинскою тенью грозящее впереди, и неизбежное предчувствие все тревожней сжимает сердце:

Я предузнал мой жребий, мой конец
И смерти ранняя на мне печать.

. . . .

Грядущее тревожит грудь мою:
Как жизнь я кончу, где душа моя
Блуждать осуждена, в каком краю
Любезные предметы встречу я?
Но кто меня любил, тот голос мой
Услышит и узнает... И с тоской
Я вижу, что любить, как я,— порок,
И вижу... я слабей любить не мог.

Всех героев своих Лермонтов щедро наделил своими же собственными страстями. Любопытно проследить, как, начав с безобразного урода Вадима, он кончает прекрасным Демоном. Представление его о герое пережило несколько постепенных стадий, но всегда он в лице их прикрашивает или безобразит самого себя. Кажется, будто он рассматривает себя в несколько зеркал, примеривая различные позы и платья. Все герои его непременно любовники, почти всегда несчастные или не хотящие быть счастливыми; у всех борьба с женщиной на первом плане — поединки в любви или в кокетстве; все заняты только своими переживаниями, своей любовью. Немного не хватает им, чтобы стать смешными, но ведь и сам Лермонтов... почти смешон.

Вера в «Герое нашего времени» говорит Печорину: «Никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном».

Лермонтова до конца не удовлетворили его герои; самым неудачным из них был Арбенин из «Маскарада», эта ходячая месть, благородный шулер с самолюбием. Когда-то увлекался Лермонтов роковой фигурой Наполеона, может быть, потому, что находил в нем сходство с собою; тени его вложил он в уста фразу: «Я выше и похвал, и славы, и людей». Попытка Лермонтова создать единственного героя олицетворилась всего удачней в «Демоне», который в сущности опять все тот же, отвлеченно взятый, Лермонтов. Демон мучил Лермонтова несколько лет, пока он от него не «отделался стихами». Но разве это не тот же, прежний и постоянный его герой, «дух изгнанья», «отверженный», кто «похож на вечер ясный: ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет», «царь познанья и свободы», «враг небес, зло природы», тот «кого никто не любит и все живущее клянет»?

Накануне смерти Лермонтов мог видеть, как вычерченные им полубессознательно десять лет назад контуры жизни расцветились яркими красками. Но — увы — картина эта была совсем не та, какою воображал ее поэт!

Еще в ребячестве сознал Лермонтов горькую истину, что «ничтожество есть благо в здешнем свете». За свою короткую жизнь сроднился он с мыслью о ничтожестве, небытии (néant), загодя как бы привыкнул к смерти. Тогда же сказал он:

Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша,
И уж ничто души не веселит.

Чашу эту приходилось ему испивать до дна во цвете жизни, с небольшим в двадцать пять лет, когда могучий талант его, как Демон, развертывал траурные крылья, приготовляясь к полету. А между тем сам поэт чувствовал, что некуда и незачем ему лететь. Все в мире стало для него мертво и пустынно, отравлено адской скукой. Быть может, проживи Лермонтов еще шесть, десять лет, он переломил бы себя, как Лев Толстой, с юностью которого его юность имеет большое сходство. В признаниях Печорина звучат толстовские ноты; самая идея «исповеди» роднит Лермонтова с Толстым. «В первой своей молодости,— говорит Печорин,— с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто... Я стал читать, учиться — науки также надоели; я видел, что ни слава, ни счастие от нас не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно...» Скука — вот Демон, терзавший Лермонтова. От этого чудовища нельзя было отделаться стихами.

В себя ли заглянешь,— там прошлого нет и следа;
И радость, и муки, и все там ничтожно...
Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг —
Такая пустая и глупая шутка...

Прекратить эту шутку могла одна смерть.

Немецкий писатель Фридрих Боденштедт, поклонник и переводчик Лермонтова, встретил впервые нашего поэта незадолго до его смерти в одном из петербургских ресторанов, в обществе двух молодых людей. Он оставил любопытное описание внешности, приемов и разговоров Лермонтова. Как ни старается Боденштедт смягчить резкость впечатлений, в рассказе его обрисовывается во весь рост пошловатый и заносчивый офицер, дерзкий и невоздержный на язык, употребляющий постоянно в разговоре неприличные сло-

ва. Язвительные шутки Лермонтова в ушах сентиментального и благовоспитанного немца все время звучали так, как будто кто-нибудь «скреб по стеклу». Тут же, при Боденштедте, Лермонтов едва не нарывается на ссору с одним из приятелей, перейдя должную границу в остротах. Злить людей, очевидно, сделалось для него потребностью. Позже, в Пятигорске, он любил забавляться тем, что незаметно надламывал приготовленные в гостинице за общим столом тарелки. Слуги приходили в отчаяние, во время мытья посуды вынимая из воды груду черепков, а Лермонтов, насладившись их недоумением и испугом, тут же щедро расплачивался с хозяином. Что это, как не дошедшая до последней степени скука? Приступы той же мертвящей скуки побуждали Лермонтова травить приятелей; он придирается, злит, выводит из себя, прямо кусается, как бешеная собака. («Собаке собачья смерть»,— сказал, узнав о кончине Лермонтова, император Николай Павлович и, конечно, по-своему был прав[1].) В эти последние зрелые годы жизни действительность, манившая когда-то поэта грезами, показала ему свою изнанку, а горький опыт безжалостно разрушал возможность земного счастья.

Представим себе положение Лермонтова на Кавказских водах в роковое для него лето 1841 года. Не сознавать всего значения своего таланта он в то время уже не мог, но этот же талант делал в обществе положение его ложным, ибо в глазах дам, да еще светских, да еще семьдесят лет назад, быть русским писателем оказывалось совсем не comme il faut. «В то время мы все писали такие стихи»,— заметил один из современников Лермонтова. Вряд ли кому известно, что Мартынов, убийца поэта, тоже писал стихи, и даже недурные, то есть посредственные, чего для успеха в салоне более чем достаточно. Вообще, Мартынов, как увидим ниже, в обществе имел все преимущества на своей стороне и был опасным соперником поэту. Биографы Лермонтова, из сочувствия к нему, изображают Мартынова смешным пошляком; на деле было далеко не так. Смешон Мартынов не был, и со смешным человеком у Лермонтова до дуэли не дошло бы. Но серьезно ухаживать за пятигорскими барышнями Лермонтов в то время уже не мог: слишком хорошо постиг он «науку страсти нежной», да и водяное общество ему, что называется, «поднадоело». И вот ему приходится быть равнодушным зрителем, как тут же, на глазах его, все влюбляются, ухаживают, пишут стихи, терзаются ревностью. Как не презирать этих слепых людишек ему познавшему до конца гне-

---

[1] Во второй половине июля 1841 года, в один из воскресных дней, в Петергофе, государь, по окончании литургии, взойдя во внутренние покои дворца кушать чай со своими, сказал: «Получено известие, что Лермонтов убит на поединке: собаке и смерть собачья». Сидевшая за чаем великая княгиня Мария Павловна (Веймарская) вспыхнула и отнеслась к словам Николая Павловича с горьким укором. Государь внял сестре своей и, пошедши обратно в комнату перед церковью, где еще оставались бывшие на литургии, сказал: «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит» («Русский архив». 1911. Т. III. С. 160).

тущий ужас жизни, наперснику Демона, для кого вся жизнь была только «тетрадь с давно известными стихами»? По привычке он все-таки слегка ухаживает за младшей дочерью бригадного генерала, Н. П. Верзилиной. Надежда Петровна была самая обыкновенная барышня, провинциальная кокетка, окруженная обществом военной молодежи, оживлявшей каждое лето пятигорский сезон, и, конечно, дуэль Лермонтова только сделала ее более «интересной». В прошлом у нее осталось приятное воспоминание, что вот из-за нее убит на дуэли Лермонтов, тот самый... Впоследствии она была примерной женой и матерью семейства. И, казалось бы, не все ли равно Лермонтову, что красавец Мартынов нравится Надежде Петровне, что она оказывает ему предпочтение? Ложное самолюбие светского льва не позволяло ему оставаться равнодушным. Ему не вспоминался собственный его давнишний мадригал «Глупой красавице», написанный лет десять тому назад:

Амур спросил меня однажды,
Хочу ль испить его вина...
Я не имел в то время жажды,
Но выпил кубок весь до дна.

Теперь желал бы я напрасно
Смочить горящие уста,
Затем, что чаша влаги страстной,
Как голова твоя, пуста.

Пуста и хорошенькая головка Надежды Петровны, и так мало значит она для Лермонтова, что он даже ничего не может написать ей в альбом, кроме каких-то бессвязно-забавных пустяков:

Надежда Петровна,
Зачем так неровно
Разобран ваш ряд?
И локон небрежный
Под шейкою нежной,
На поясе нож...
C'est un vers qui cloche[1].

А ночью, там, у себя, в маленьком домике под Машуком, пишет, быть может, со слезами: «Выхожу один я на дорогу», и восклицает, вспоминая пусто и бесцельно проведенный день:

Нет, не с тобой я сердцем говорю!

И так чудовищно это несоответствие между жизнью и мечтой, что, выбросив жемчужные стихи, душа не утихает и еще

[1] «Этот стих хромает» *(фр.)*.

пуще хочется на другой день злить самодовольного Мартынова.

Мартынов[1] по рождению и воспитанию принадлежал к тому же обществу, что и Лермонтов, но значительно превосходил последнего успехом служебной своей карьеры. Будучи годом моложе Лермонтова, он вошел в отставку с чином майора, тогда как Лермонтов был только поручик. О храбрости Мартынова свидетельствовало боевое отличие, сверх всего, он, как описывает его один из современников, «был очень красивый молодой гвардейский офицер, высокого роста, блондин с выгнутым немного носом. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел романсы и все мечтал о чинах, орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина»[2]. Все данные для полного успеха в жизни! Где уж было соперничать с таким блестящим представителем золотой середины большеголовому кривоногому Маешке, с его вечно ядо-

---

[1] Николай Соломонович Мартынов родился в Нижнем Новгороде 9 октября 1815 г. Воспитывался в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров с 17 октября 1832 года по 6 декабря 1835 г., когда выпущен был корнетом в кавалергарды. С 1836 г.— поручик, 6 марта 1837 г. командирован на Кавказ, участвовал в экспедиции ген. Вельяминова против натухайцев и шапсугов, для заложения укреплений Ново-Троицкого и Михайловского и награжден орденом св. Анны 3-й ст. с бантом. 27 сентября 1839 г. зачислен по кавалерии ротмистром, с прикомандированием к Гребенскому казачьему полку, а 23 февраля 1841 г. уволен в отставку, по домашним обстоятельствам, майором. Умер в 1875 году (Сборник биографий кавалергардов. 1826—1908. Т. IV. СПб., 1908. С. 98—106).

[2] Воспоминания Я. И. Костенецкого («Русская старина». 1875. Т. IX. С. 64). К этому надо еще добавить, что Мартынов писал также и стихи, вроде следующих:

Песнь чеченца

За Аргуном-рекой,
Над кремнистой скалой,
Как гнездо выдается аул,
Он сто лет на горе
И в столетней коре
Лес дремучий его обогнул...

. . . .

И желаний тоска
Грудь вздымает слегка,
Будто волны несут лебедей;
И на свежих устах,
Как роса на цветах,
Сладострастия влага у ней.

И т. д.

Нарцов А. Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов, 1904. Вероятно, многим стихи эти казались ничем не хуже лермонтовских.

витыми остротами и пронзительным неприятным смехом? По выходе в отставку Мартынов — рассказывает тот же современник — из веселого, светского, изящного молодого человека сделался каким-то дикарем: отрастил огромные бакенбарды; в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, нахлобученной белой папахой, вечно мрачный и молчаливый, он играл Печорина[1]. Разумеется, и это все шло к нему. Как будто сам Печорин, в лице Мартынова, явился воочию на Кавказские воды. И княжна Мери, существуй она в действительности, конечно, отдала бы сердце Мартынову, а никак не своему поэту, не говоря уже о простодушной дикарке Бэле. Можно вообразить, как раздражало Лермонтова печоринство Мартынова! Его герой воплотился наяву своими худшими сторонами. Мартынову пребывание Лермонтова на водах было неприятно по многим причинам. В душе он сознавал свое ничтожество; его стихи и романсы восхищать могли девиц, но вряд ли он отваживался на них в присутствии Лермонтова, видевшего его насквозь; на убийственные остроты последнего он не находил ответов. Но, как всякий «порядочный молодой человек», Мартынов больше всего на свете боялся «влететь в историю», а потому спускал многое несносному Маешке[2]. Одного не мог вынести Мартынов: шуток Лермонтова «при дамах», очень уж страдало от них петушье самолюбие неотразимого кавалера. Он даже унижался до просьбы перестать острить, но, разумеется, только усиливал тем ядовитые нападки. И вот, может быть, в тот самый момент, когда Мартынов решительным печоринским приемом покорял нежное сердце Наденьки Верзилиной, по комнате громко прозвучало ненавистное: montagnard au grand poignard[3]. Чаша терпения переполнилась, и насмешник поплатился жизнью.

Вся поэзия Лермонтова один демонический аккорд. Нечеловеческое что-то слышится в нем; стихи его, а в особенности проза, дышат тою же силой, что заключалась в чертах портрета, поразившего Лугина: «Рука человека никогда с намерением не произведет

---

[1] Ibid. С. 64.

[2] «Как поэт Лермонтов возвышался до гениальности, но как человек он был мелочен и несносен. Эти недостатки и признак безрассудного упорства в них были причиною смерти гениального поэта от выстрела, сделанного рукою человека доброго, сердечного, которого Лермонтов довел своими насмешками и даже клеветами почти до сумасшествия. Мартынов, которого я хорошо знал, до конца своей жизни мучился и страдал оттого, что был виновником смерти Лермонтова» (Арсеньев И. А. Исторический вестник». 1887. Т. II. С. 354).

[3] Горец с большим кинжалом *(фр.)*.

[4] К причинам, способствовавшим роковой дуэли, прибавляют историю с дневником сестры Мартынова. Имеются веские данные предполагать, что Лермонтов потихоньку прочел, а потом уничтожил этот дневник, посланный с ним на Кавказ для передачи Мартынову. В «Княгине Лиговской» прототип Лермонтова, Печорин, посылает анонимное письмо Негуровой, alias Сушковой. Тот, кто способен был отправить анонимное письмо одной девушке, мог распечатать дневник другой.

этих линий; математически малое отступление — и прежнее выражение погибло невозвратно. В лице портрета дышало именно то н е и з ъ я с н и м о е, возможное только гению или случаю». У Лермонтова слог зловещий. Стихи его падают на читателя, как желтые осенние листья[1]. Главное значение его поэзии в лирике и «Герое нашего времени»; кавказские декоративные его поэмы, за исключением «Демона», скучны и ходульны. Полное собрание его сочинений являет собой огромную груду сменявшихся беспрестанно черновиков; перебелить их окончательно не дала смерть.

1911

---

[1] Любопытно сопоставить начало третьей строфы «11 июня» с одним из ранних стихотворений Фета «Напрасно».

Л е р м о н т о в

Холодной буквой трудно объяснить
Боренье дум. Нет звуков у людей
Довольно сильных, чтоб изобразить
Желание блаженства. Пыл страстей
Возвышенных я чувствую, но слов
Не нахожу.

Ф е т

Не нами
Бессилье изведано слов к выраженью желаний,
Безмолвные муки сказалися людям веками;
Но очередь наша, и кончится ряд испытаний
Не нами.

Здесь кстати отметим, что интерес и любовь к Лермонтову не оставляли Фета во всю жизнь. В своих рассказах («Кактус» и др.) он часто цитирует лермонтовские стихи; то же самое находим в его «Воспоминаниях». Года за два до смерти (в декабре 1890 г.) он интересовался точным текстом «Демона».

О БАРАТЫНСКОМ

«Баратынский не поэт в единственном, истинном, в пушкинском смысле, но нельзя не уважать его благородную художническую честность, его постоянное и бескорыстное стремление к высшим целям поэзии и жизни. Ума, вкуса и проницательности у него было много, может быть, слишком много — каждое слово его носит след не только резца — подпилка, стих его никогда не стремится, даже не льется»[1].

В этих словах Тургенева любопытнее всего заявление, что Баратынский «не поэт в истинном, в пушкинском смысле». Не задаваясь определением того, что подразумевал Тургенев под «поэтом в истинном смысле» (причем истинный и пушкинский в глазах его синонимы), припомним, что подобные сомнения возникали и у Белинского, который вынес автору «Сумерек» крайне суровый приговор. Позднейшая критика умалчивала о Баратынском. Как литературное явление, этот поэт был едва ли не первым в своем роде на Руси. Подле вдохновенных, полубезумных певцов выступил строгий, задумчивый созерцатель, художественно облекавший свои размышления в изящную форму. Пушкин так отозвался о нем: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит посвоему, правильно и независимо, между тем, как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хоть несколько знакомого со вкусом и чувством».

Из приведенных отзывов видно, что Пушкин и Тургенев, смотрящие на Баратынского с совершенно разных сторон, оба выдвигают на первое место в его поэзии «мысль», «ум», «вкус». О «вдохновении» нет у них и помину. Правда, Пушкин добавляет еще, что Баратынский «чувствует сильно и глубоко», но разве можно безусловно доверяться дружеским критикам Пушкина? Благодушие и снисходительность свойственны царям и великим поэтам в равной мере. Пушкин всегда бывал щедр на чрезмерную похвалу тем, кого любил, и готов был, подобно своему Моцарту, говорить о друзьях: «Он гений, как ты да я». Дельвига, например, он искренно ставил ничуть не ниже себя, восторгался языковской шумихой, поощрял

[1] Письмо И. С. Тургенева С. Т. Аксакову, 31 мая 1854 г. «Вестник Европы», 1894. № 2. С. 484.

стихотворные упражнения Подолинского, Теплякова. Эта черта так понятна в Пушкине, который, как всякий гений, переросший свою эпоху, в творчестве и в жизни был мучительно одинок. Ему хотелось не только создавать самому, но и наслаждаться плодами чужого творчества. Между тем близких ему по духу людей было так мало, что уже смерть Дельвига, наименее значительного из всех, сразу «разрознила плеяду». Да и вся эта пушкинская плеяда, восторженно превознесенная Гоголем и принятая нами от него на веру, признается теперь единственно из уважения к самому Пушкину. Без него не было бы ни самой плеяды, ни памяти о ней: он создал ее единолично. Люди, никогда не читавшие хотя бы Дельвига, имеют о нем совершенно определенное представление из посланий Пушкина к этому маленькому поэту. Серьезно восхищаться Дельвигом, конечно, трудно. Стихи его, как говорится, в рот не лезут. Баратынский, как и Дельвиг, в значительной степени обязан своей славой дружбе с Пушкиным; без него оба они немыслимы, хотя сам Баратынский всегда тяготел скорей к Дельвигу, который был ему более близок и понятен[1]. Думается, что ежели бы какой-нибудь Трилунный числился «другом» Пушкина, как Баратынский, или был одобрен им печатно, как Тепляков, он, наверное, не был бы так незаслуженно и прочно забыт.

Многие альманашные звезды и звездочки, вращавшиеся вокруг славного созвездия, вовсе не так уже смехотворно-плохи, как принято у нас думать с половины сороковых годов. Всех их смела одна неумолимая комета — Белинский, а вслед за ним широкое течение «натуральной школы» умчало в Лету Трилунного и Бороздну вместе с Бенедиктовым, Глинкой, Кукольником и Марлинским. Однако посягнуть на плеяду даже у «неистового Виссариона» не хватило духу.

Перечитывая Баратынского, ясно чувствуешь, что поэзия никогда не была для него неприступным храмом, убежищем в мире житейских треволнений, уходить от которых ему не представлялось никакой нужды. Философ в душе, он смотрел на поэзию только как на изящное ремесло, как на средство для удобнейшего высказывания прекрасных и светлых мыслей. Баратынский не забывается ни на минуту. При своей склонности к резонерству, он бывает порой как-то неприятно умен. Он, в сущности, везде одинаков, и так же ровен, ясен и прост в скорбных элегиях и изящно-холодных мадригалах, как и в скучнейших своих поэмах. В самом складе стиха его замечается напряженность: это не легкое парение, а тяжелый труд, работа в поте лица.

Существует предание, что Пушкин в «Моцарте и Сальери» изобразил Баратынского и себя. Исследователи поняли эту параллель в том смысле, что великий поэт подозревал в Баратынском завист-

[1] Вообще пресловутая «дружба» Пушкина со множеством разнообразнейших лиц, дружба, за которую его нередко упрекали, кажется, была только маской: как поэт и человек он не мог не сознавать своего полного одиночества.

ника своему гению. В пушкинской литературе это предположение справедливо опровергается, и действительно, подозревать Баратынского в личной зависти к Пушкину нет никаких оснований. Надо думать, что Пушкин, создавая Сальери, имел в виду косвенную цель: показать, во сколько художник-труженик («не поэт в единственном, истинном, пушкинском смысле») при своем «уме», «вкусе» и «проницательности», при всей усидчивости и способности к труду, в тщетных усилиях воспарить неизмеримо ниже вдохновенного, Божиею милостью, поэта, того самого, кто

Крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души, и трав неясный запах.

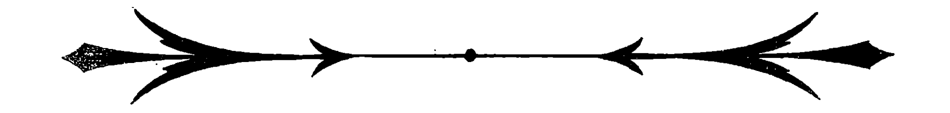
Фет

А потому знаменитые слова Сальери:

Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию —

ежели не могут относиться лично к Евгению Абрамовичу Баратынскому, то должны звучать несомненным осуждением холодному «статическому» творчеству его Музы. «Искусственности в искусстве» — вот чего никогда не было у Пушкина. Можно восхищаться стихами Баратынского и их внешнею красотой, как прекрасным мраморным телом изваяний, но петь их, жить ими, любить, как любят живого человека, со всеми его особенностями и недостатками — невозможно.

1910



Н.М. ЯЗЫКОВ

Две резко означенные в жизни Языкова полосы естественно делят надвое и творчество его. Перед исследователем возникают как бы два совершенно различных человека. Первый — поэт, кипящий молодыми силами, цветущий здоровьем, бурно торжествующий розовый праздник юности, в упоении надежд швыряющий безрассудно на ветер щедро дарованные ему природою богатства. Как беспечный приморский жемчуголов, он не заботится о завтрашнем днем, зная наверное, что его всегда обогатит сама стихия: стоит лишь нырнуть в пучину поэзии, чтобы вынести со дна ее столько бесценных перлов, сколько захватит рука. Молодой Языков воспевает благодатный хмель, восторги сладострастных ночей, праздное вакхическое безумство; в блаженном восторге он готов, кажется, обнять весь мир. Совсем не тот поэт предстает нам по второй половине жизни, когда грозно потребовала у него отчета за каждое потерянное мгновенье неумолимо суровая судьба. Нет и помину о разгульном хмельном титане: перед нами смиренно кающийся, расслабленный, бедный грешник, пытающийся живое вино вдохновенного беспутства подменить мертвою водою бездушной святости; в отчаянии переходит он от полубезнадежной уверенности в пользе мазей и гомеопатических крупин к самообману мистического надрыва. На Языкове оправдалась мудрейшая поговорка: mens sana in corpore sano[1]. Страшная хворь в буквальном смысле переломила богатыря. Перегнув его пополам и заставив бродить на костылях, она раздвоила и поэтическое его сознание.

Питомец черноземных симбирских угодий, Николай Михайлович Языков родился 4 марта 1803 года в Симбирске. Младенчество и первое детство его протекли в родовом имении, селе Языкове, в обычных условиях тогдашнего помещечьего быта. В эту именно пору взяли начало и укоренились в Языкове бессознательная любовь к родине и к великорусской природе волжских берегов, отразившаяся в стихах его; деревенская привольная жизнь свободно лелеяла в душе поэта мечтательную беспечность и мягкую всеизвиняющую лень.

[1] В здоровом теле здоровый дух *(лат.)*.

Рано лишась родителей, Языков ребенком поступил на попечение двух своих старших братьев, Петра и Александра. По их стопам одиннадцатилетний Николай Языков в 1814 году определяется в Горный корпус; плохо ладя с математикой и, по окончании шести общих классов, перейдя в первый специальный, он оставляет корпус в 1821 году. Еще когда ему было всего шестнадцать лет, появляется в печати первое его стихотворение «К А. К-у» (Кулибину)[1], и с этих пор начинается его литературная известность. В 1822 году Языков записывается в студенты Дерптского университета, который в те времена сохранял еще в первобытной свежести дух и уставы студенческих корпораций, с их театральными обрядами и маскарадною пестротою костюмов. На первых порах юный барич-волгарь горячо принимается за науку и усердно сидит над изучением истории, немецкого языка и древних литератур. Это порывистое, как бы беспредметное рвение, обусловленное запасом бесцельно кипящих, не приложимых ни к какому практическому делу сил, почти всегда служит верным признаком людей неустойчивых и слабых. Так было и с Языковым: придуманное им для себя школьное испытание быстро сменилось усталостью и недоверием к труду. Изо всех его прилежных занятий ровно ничего не вышло, а в поэзии изучение истории сказалось лишь несколькими напряженными и слабыми попытками в эпическом роде.

В следующем году Языков попадает в тесный круг разгульных дерптских буршей и на целые шесть лет с головой погружается в мир необузданного веселья и беспрерывных кутежей. Отсюда, в струях вина и пунша, черпает он совсем иные, новые впечатления, навсегда закрепленные в его стихах и прославившие имя Языкова как певца пиров и хмеля. «Чудное пьянство» (выражение самого Языкова) захватило нежнейшую пору духовного цветения поэта; оно без остатка пожало побеги его таланта. Следует ли нам сожалеть об этом? Нет, потому что иначе поэт мог бы навсегда остаться геллертером-стихотворцем, продолжая благополучно сочинять исторические баллады. Дерптские кутежи вывели Языкова на самостоятельный, единственно ему нужный путь; они дали таланту его ежели не свободу, то подобие свободы; им мы обязаны тем, что имеем Языкова-поэта. Замечательная и в высшей степени характерная черта в Языкове, что он пьет, неистовствует и прожигает юность не почему-нибудь, не «с горя», как Полежаев, и не «на радости от своего будущего», как думал про него Гоголь, а просто «так», потому что судьбе угодно было забросить его в Дерпт, а в Дерпте счастливый случай помог ему сойтись с кружком веселых студентов. Думается, что, ежели бы Языков попал в иезуитский пансион иль в Царскосельский лицей или бы остался проживать у себя в деревне, под ферулою строго любивших его братьев, он бы

---

[1] «Соревнователь просвещения и благотворения», 1819. Ч. VI.

с одинаковой легкостью воспринял бы и соответственный образ жизни. Неустойчивая натура его ничего не требовала для себя и пассивно подчинялась обстоятельствам. В этом коренное его отличие от товарищей-буршей, которые, отпировав университетскую пору и вовремя опохмелясь и перебесившись, превратились вдруг в аккуратнейших и трезвейших филистеров-трудолюбцев. Языков как будто рожден был для того только, чтобы ярким метеором пролететь и рассыпаться над долиной юности огненными стихами; вне очарований хмеля, молодости и силы поэзия его бедна.

По установившемуся издавна мнению, в новейшей русской литературе Языков считается одним из крупнейших светил пушкинской плеяды. В Музе его находят черты, родственные Музе Пушкина. А между тем, как это ни странно, Языков изо всех своих сверстников наиболее был чужд и даже враждебен Пушкину. Натуре его свойствен некоторый отвлеченный ригоризм; недаром тургеневский Потугин в «Дыме» упоминает о «поэте Языкове, который воспел разгул, сидя за книгой и кушая воду». Замечание это верно определяет головной характер поэзии Языкова. В историческом отношении он, конечно, принадлежит всецело знаменитому созвездию. Пушкин первый признал начинающего поэта, первый искал с ним познакомиться, а в 1826 году писал о нем Вяземскому: «Ты изумишься, как он развернулся и что из него будет. Если уж завидовать, так вот кому я должен бы завидовать. Аминь, аминь, глаголю вам. Он всех нас, стариков, за пояс заткнет». Сам же Языков духовно всегда отвращался от Пушкина; звезда его явно склонялась по другой орбите, и впоследствии, как мы увидим, он стал спутником совсем иного светила. Истинное отношение Языкова к великому поэту выразилось в следующих отрывках из его писем: «Я читал в списке «Бахчисарайский фонтан» Пушкина. Эта поэма едва ли не худшая из всех его прежних. Есть несколько стихов прекрасных, но вообще они как-то вялы, невыразительны и даже не так гладки, как в других его стихотворениях»; «Онегин мне очень, очень не понравился. Думаю, что это — самое худое из произведений Пушкина»; «Вторая глава «Онегина» не лучше первой! То же отсутствие вдохновения, та же рифмованная проза»[1]. Эти отзывы разрушают литературную легенду о мнимых отношениях Языкова к Пушкину, как младшего поэта к старшему, как робкого поклонника к могучему таланту. Языков никак не понимал, что застольный певец-менестрель и всеобъемлющий гений — не одно и то же; наивное самомнение позволяло ему совершенно искренно равнять себя с Пушкиным. Посетив опального поэта в 1826 году, Языков вынес из Михайловского в качестве наиболее яркого воспоминания одну лишь картину жженки, устроенной для него Пушкиным. В общем, отношения Пушкина к Языкову никогда не шли

[1] Шенрок В. Н. М. Языков. 1803—1846 гг. Биографический очерк «Вестник Европы». 1897. № 11. С. 162—163.

далее случайных встреч и поклонов. Причин к более прочному сближению у них не нашлось, и падкий на «дружбу» Пушкин, продолжая восхищаться посланиями молодого поэта, до конца дней остался с Языковым на «вы», не находя о чем беседовать с ним даже в переписке.

Хмельные излишества и забавы юных дерптских дней не прошли безнаказанно для здоровья Языкова и тяжким бременем легли на беззаботные его плечи. Болезнь принесла поэту горькое похмелье. Уже в 1826 году замечаются у него первые признаки сухотки, сведшей его через двадцать лет в преждевременную могилу. Вначале болезнь не особенно давала о себе знать, так что покинувший в 1829 году Дерпт Языков готовился даже сдать экзамен при Московском университете, но из этой последней попытки серьезно заняться, как и изо всех предшествующих, ничего не вышло. Университета Языков не окончил. Чтобы получить необходимый, по тогдашним понятиям, для дворянина первый чин, он поступает в Межевую канцелярию канцеляристом и отсюда выходит в 1833 году в отставку с чином коллежского регистратора. До 1838 года Языков живет у себя в симбирской деревне с братьями, изредка наезжая в Москву к врачам и обмениваясь с соседом, Денисом Давыдовым, стихами и гомеопатическими советами. Этот период его жизни (конец тридцатых годов) беден творчеством: неумолимая болезнь все яростнее начинает наступать на бедного поэта. У него отнимаются ноги; сгорбленный, мучимый одышкой, он по настоятельному совету врачей (в числе их был знаменитый Иноземцев, товарищ Языкова по Дерпту) отправляется лечиться за границу: в Мариенбад и Ганау, а оттуда в Гастейн. Пять лет прострадал Языков в «Немеции», скитаясь по курортам и тщетно надеясь на выздоровленье; некоторое время жил он с Гоголем в Риме. Он продолжал писать и печатать стихотворения, но это был уже не прежний Языков. В новых стихах его, говорит Гоголь, «раздались скучания среди немецких городов, безучастные записки разъездов, перечень однообразно-страдальческого дня». В это-то время особенно сближается он с Гоголем. Гоголь становится его лучшим другом, учителем в творчестве и наставником в жизни. Особые обстоятельства помогли их сближению.

Читателям гоголевской «Переписки с друзьями» не раз, вероятно, приходилось отмечать необычайное предпочтение, оказанное Гоголем поэту Языкову. Высокое мнение о нем Гоголь усиленно старается укрепить в читателе то словами Пушкина, будто бы заплакавшего при чтении языковского послания Давыдову, то авторитетным отзывом Жуковского, признавшего «Землетрясение» лучшим изо всех русских стихотворений. Гиперболический характер многих мест «Переписки», рассчитанной автором на широкий круг читателей, еще недавно был отмечен одним из наших словесников, по поводу происхождения известной пиэсы Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один». История этого стихотворения

красноречиво, но фактически неверно рассказана Гоголем в известном письме к Жуковскому «О лиризме наших поэтов»; тем же тоном говорит Гоголь и о Языкове, которому посвящено в «Переписки» особо три письма. Чересчур восторженные отзывы Гоголя об языковских стихах, разумеется, обязаны своим появлением не столько личной дружбе, связавшей Языкова с автором «Переписки», сколько знаменательному совпадению в их жизненных устремлениях и духовных порывах. Общность настроения в обоих писателях сказалась особенно ярко в половине сороковых годов, перед самой смертью Языкова. Гоголь, в то время уже больной, начинал постепенно задыхаться под черным покровом мистической ипохондрии; готовя «Завещание», он проповедовал, что болезни благодетельны и нужны. Изнеможённый, отчаявший в исцелении, одною ногой стоящий в гробу, Языков сделался для Гоголя лучшим собеседником и другом; семена «Переписки» падали на умирающего поэта, как на плодотворную почву. Под влиянием Гоголя он отрешается от прежних вдохновений и начинает писать стихотворения преимущественно на религиозные и моральные темы, представляя их всякий раз на суд своему новому другу.Мы только что упоминали о «Землетрясении», которое Жуковский, а за ним Гоголь признали п е р в ы м стихотворением на Руси. Конечно, не поэтическими достоинствами «Землетрясения» увлечен был Гоголь. Новые звуки, срывавшиеся со струн Языкова, потрясали мрачную душу страдающего Гоголя; слушая их, находил он в поэзии Языкова созвучие своим одиноким воплям и не замечал, что прислушивается к собственному поэтическому э х о.

Таким образом, Языков на роковом перевале своей недолгой жизни сознательно перешел от Пушкина к Гоголю. Человеческая немощь перестроила наложенные Аполлоном струны вакхической лиры. В Языкове, наперснике Гоголя, ничего уж не оставалось, что напоминало бы нам Языкова времен пушкинских. К этой же поре, то есть к началу сороковых годов, надо отнести формальный переход Языкова в лагерь славянофилов. Впрочем, славянофильство нашего поэта, в 1843 году навсегда переселившегося в Москву, вряд ли имело под собой какое-нибудь идейное основание вне родства с А. С. Хомяковым и дружбы с Аксаковыми, Киреевскими, Максимовичем, Погодиным, Шевыревым и другими, равно близкими ему и Гоголю[1]. Всем им Языков посвящает обширные послания — род творчества, особенно им любимый, а на вра-

[1] Сестра Языкова, Екатерина Михайловна, была замужем за Хомяковым. Славянофильские симпатии пробиваются у Языкова еще в Дерпте. Вот что писал он тогда: «Если бы я был император российский, я бы заставил их (дерптских немцев) пить квас и есть русские блины, и ходить в русскую церковь, и говорить по-русски, да обрусеют и да принадлежат вовсе к огромному государственному телу России» (Ш е н р о к В. Н. М. Языков. 1803—1846 гг. Биографический очерк «Вестник Европы». 1897. № 11. С. 161).

гов-западников, Грановского и Чаадаева, мечет грозные стрелы, вроде знаменитого памфлета «К не нашим»[1].

В последних произведениях стих Языкова, заметно ослабевая, приобретает какой-то приторный привкус, напоминающий слегка тон гоголевских нравоучений.

Даже в письмах Языков начинает подражать Гоголю. Вот отзыв его о «Тарантасе» графа В. А. Соллогуба: «Много в нем хорошего, много дельных намеков, но нет духа Божия, который бы одушевлял все целое. Есть и нечистота во мнениях. Конечно, это плод вавилонского воззрения на Россию, очень естественного у человека, возмужавшего в оном омуте течения, в оном пиявочном депе всея России».

Нервная горячка ускорила смерть Языкова. Он умер 26 декабря 1846 года[2].

Мы уже говорили об особенностях чисто русской натуры Языкова, бесконечно ленивой и тяжелой на подъем. В стихотворениях его она сказалась вполне. Умственный строгий труд с его дисциплиною был ему не то чтобы недоступен, а как-то не нужен, вроде того, как Петруше Гриневу не нужен был мыс Доброй Надежды, а ежели и нужен, то разве только для того, чтоб приделать к нему мочальный хвост. Языков мог жить лишь непосредственным чувством, претворяя в стихи летевшие над головой мгновенья. Людям, подобным ему, живущим изо дня в день, в сущности, никогда ничего не нужно, хотя сами они почему-то всегда пытаются уверить себя и других в противном. Языков все, что ему казалось необходимым сделать, откладывал исполнением до завтра и, прожив несколько лет с немцами, так и не умел усвоить их мудрости о завтрашнем дне. Всею своею жизнью он подтвердил, что ни Горный корпус, ни Дерптский университет ровно ни на что не были ему нужны. Ученье являлось для него скучной повинностью; он принуждал себя насильно глотать книжные пилюли, а духовному его организму не было от них ни вреда, ни пользы. Острота его природного ума сосредоточилась вся на вспышках чувства. Невозможно вообразить Языкова не только в роли критика или беллетриста,

---

[1] В 1845 году Гоголь писал Языкову: «Сам Бог внушил тебе прекрасные и чудные стихи «К не нашим». Душа твоя была орган, а бряцали на нем другие персты. Они еще лучше самого «Землетрясения» и сильнее всего, что у нас было написано доселе на Руси. Больше ничего не скажу покамест, а спешу послать к тебе только эти строки. Затем Бог да хранит тебя для разума и вразумления многих из нас». Истинное понятие об отношении Гоголя к Языкову дают следующие слова Панаева: «Гоголь заметил (в разговоре), что без всякого сомнения, первый поэт после Пушкина — Языков, и что он не только не уступает самому Пушкину, но даже превосходит его иногда по силе, громкости и звучности стиха» (Панаев И. И. Литературные воспоминания и воспоминания о Белинском. СПб., 1876. С. 161).

[2] В предсмертном бреду Языков спрашивал окружающих, верят ли они воскресению мертвых. Очнувшись накануне смерти, он сам заказал повару блюда для поминального обеда. Могила Языкова в Даниловом монастыре, между могил Гоголя и Хомяковых.

но вообще пищущим что-нибудь «серьезное», безразлично о чем, о сельском ли хозяйстве или о литературе, как невозможно представить его беседующим, положим, с Герценом. Критические суждения его поражают своею детскостью; образцы их мы уже приводили выше. В Языкове совсем не было той прирожденной зрелости мысли, того мужества ума, которое поражает нас в лицеисте Пушкине, оспаривающем историографа Карамзина. Вне своих песен Языков меж детей ничтожных мира, действительно, всех ничтожней, как самый обыкновенный недоучившийся недоросль.

1911

КАРОЛИНА ПАВЛОВА

Современному читателю имя Каролины Павловой говорит не много. Уже лет за тридцать до смерти (она скончалась в 1893 году, почти девяноста лет) ее постигло полное и вполне заслуженное забвение.

Правда, было время, когда имя Павловой не сходило со страниц лучших русских журналов и стихотворения ее имели своих читателей: время это — середина сороковых годов, «полночь крепостного права». В ту пору всякое явление литературной жизни казалось поневоле значительным; общество, оторванное от деятельности, болезненно сосредоточивало внимание на литературных светилах, готовое даже незначительную звездочку принять за огромную планету. Подобное явление мы можем заметить и в позднейшую пору, ежели вспомним, какое повышенное любопытство проявлялось у нас лет пятнадцать тому назад к забытым поэтам в связи с вопросами о тайнах стихосложения и стихотворства.

Преувеличенное увлечение второстепенными поэтами старых годов, выродившееся в какой-то модный спорт, давно уж пора оставить. В самой основе этого увлечения лежит ложный принцип. Ежели забываются люди, дела и стихи, значит, они это свое забвение заслужили, и стараться их воскресить будет бесплодным трудом. Ничуть не хуже (а часто и лучше) Павловой сочиняли стихи Ф. Глинка, Шевырев, гр. Е. Ростопчина, Подолинский и многие другие, а между тем все они забыты и не нужны читателю. В этом сказалось великое и благодетельное равновесие истории, непреложность ее законов. Наоборот: никогда не забудутся Лермонтов, Тютчев, Некрасов. В них аромат и сок их эпохи, благоухающее поэтическое вино. Вкусившему этого вина мало отрады принесет слащавый лимонад второстепенных стихотворцев. Прав был Майков, сказавший:

Народу мил и дорог тот,
Кто спать в нем мысли не дает.

Пробуждающие в народе мысль (чувство, вдохновение, силу) не нуждаются в том, чтоб о них напоминали.

Творчество Каролины Павловой, чуждое действительности и жизни, есть совершенно мертвое бумажное творчество. Ни капли крови, ни признака души. Одни чернила да типографский свинец. В этом отношении Павлова является прародительницей наших современных эстетов. Ее не привлекает кипящая у нее перед гла-

зами жизнь, она хватается за огромные мировые темы, мечется в пространствах тысячелетней истории, тщетно надеясь населить свое скудное воображение образами внешнего мира.

В ней нет ничего самобытного, ничего такого, что бы заставило читателя задуматься или вздрогнуть. Глубоко не национальная писательница! В этом неповинно, конечно, ее иностранное происхождение: мало ли было у нас поэтов с нерусскою кровью в жилах. Несчастье Павловой заключалось не в этом. Судьбой был отпущен ей огромный ум и ни на грош поэзии.

Признаки умного, но бездарного существа Павлова обнаружила уже на заре своей долгой жизни. У нее есть способности ко всему понемножку: она рисует, пописывает стихи, говорит на нескольких языках, занимается астрономией. Ко всему этому надо присоединить вечную восторженность и способность надоедать друзьям и знакомым постоянным чтением своих стихов. Современники бегали от нее, свидетельствуя в известных нам мемуарах о боязни быть отчитанными заживо. Замечательно, что хвалили Павлову или люди малосведущие в поэзии, или такие же риторы-стихотворцы, как она.

И он пошел — и бездны влага
В сплошной сливалася кристалл,
И тяжесть твердого он шага
На зыбки воды упирал.
Но бурный ветер взорвал пучину,
И, в немощи душевных сил,
Он, погибая, Девы к Сыну
Молящим гласом возопил.

Какой деревянный и в то же время вялый стих! Местами в нем чувствуется пафос, но пафос этот рассудочный, напускной. Многие образы избиты: «бездна очей», «густая мгла очей»; часто встречаются безвкусные стихи: «везде есть небо над главою», «столп лишь огненный стоит», есть и сравнение живой песни с электрической цепью, весьма знаменательное для Павловой и для стихотворцев ее породы.

Всю жизнь Павлова переходила от одного поэтического светила к другому, как бы надеясь дружбой с истинными поэтами восполнить природный свой недостаток. В юности она была помолвлена с Мицкевичем, но великий поэт быстро охладел к своей невесте. Счастливее была дружба Павловой с Языковым, более родственным ей по духу.

Как в жизни, так и в творчестве Павлова искала чужих отражений, чужого огня и света, и все европейские поэты дали ей, каждый понемногу, от своего богатства. Думается, что, переведенная на иностранные языки, Павлова могла бы иметь в Европе бóльший успех, чем дома. Менее всего приложимо к ней изречение о поэте, пьющем из небольшого, но собственного стакана; всю жизнь она прихлебывала из чужих гигантских сосудов.

1915

ТОЛСТОЙ И СМЕРТЬ

«Герой, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен — правда». Так говорил о себе молодой Толстой. Правдой, неумолимой и яркой, явилась для него смерть; смерти обязан он сознанием единственной вечной правды. Смерть всегда была любимейшим героем Толстого. Тень смерти неуловимо, почти радостно, как дым, скользит на утре его весенних дней; черной тучей нависает в мареве жизненного полудня; бурей разражается в сумерках и, надолго потом затихнув, вдруг в ночи разрывает старческое сердце внезапно сверкнувшей молнией. Самое чувство смерти, то ослабевая, то усиливаясь, никогда Толстого не оставляет.

В первой половине творчества, с 1852 по 1860 год — год смерти любимого брата Николая, первой смерти, которую Толстому пришлось встретить лицом к лицу и которая в жизни его и в творчестве имела значенье решающего перелома,— смерть встречается у него в каждом почти рассказе, как нечто неотвратимое, но еще не осознанное душою и не порождающее того мистического ужаса, которым дышит «Смерть Ивана Ильича», этот апофеоз неизбежности у Толстого. Умирают maman и Наталья Савишна в «Детстве», бабушка в «Отрочестве», застреливается герой «Записок маркера», в «Трех смертях» умирают барыня, ямщик и дерево, в «Казаках» — абрек, в «Севастопольских рассказах» гибнут один за другим почти все герои; наконец, вешается Поликушка и зарезывают Холстомера. Но во всех этих спокойных описаниях совершенно отсутствует страх смерти, а кончина Натальи Савишны, гибель дерева и смерть абрека изумительной красотой своей вызывают в читателях умиление и восторг как художественные образы, подчиненные извечному творческому закону. Совсем иное отношение к смерти замечается в сочинениях второго периода (1861—1881 гг.), начинающегося тотчас после кончины брата, когда впервые почуявший глубину и ужас уничтожения художник сознательно пытался высвободиться из железных его оков. «Война и мир» и «Анна Каренина» — две исполинские ширмы, которыми пробует Толстой отгородиться от неизбежной смерти. Здесь поэт борется со смертным человеком и силы их еще равны. Как ни мрачны картины смерти в обоих романах, все же они блекнут и теряются перед светлым торжеством жизни, любви, здоровья и

семейного счастья. Зато в произведениях последних тридцати лет испуганный художник, опустив бессильно кисть и палитру, окончательно порабощается человеку, который тщетно хочет во что бы то ни стало оправдать смерть, доводами бедного человеческого разума стремясь пересилить ее ужас[1]. И чем дольше живет Толстой, тем чаще все говорит он о смерти и громче и настойчивей проповедует о ее бессилии, желая упорно уверить в нем себя и других.

Отношение к смерти у разных людей различно. Для иных не столько ужасна самая смерть, сколько смертный страх. Все люди без исключения признают смерть явлением неизбежным и заранее мирятся с ее ударом, но смертный страх испытывают не все. Людям средним, наиболее приспособленным к жизни и составляющим главную толщу человечества, страх этот неизвестен: его заглушают день за днем житейские мелкие заботы, а инстинктивная живучесть изгоняет самую мысль о возможности небытия. Последнее кажется столь очевидной нелепостью, что человек до последней минуты не верит в свою смерть. Напротив, люди, шагнувшие за грань обычной «нормальной» жизни, заглянувшие по ту сторону ее и оттого утратившие душевное равновесие, подвержены чаще всего неодолимому страху смерти. Таковы почти все таланты, эта совершенная порода смертных людей, обладающих высшим духовным даром. Кажется, сама жизнь, допустив человека заглянуть на мгновение в свою тайну, взамен навсегда лишает его спокойствия. Отличительная черта всякого художественного таланта — его смущение перед загадкой вечности, отягощающей его крылья. Не таковы гении; изредка среди нас проходят они, спокойные, бесстрашные, будто созданные из несокрушимого вековечного металла; от природы чужда им смятенность смертных, и оттого, при жизни его, не узнаём мы гения, смешиваем гостя земли со своими братьями; нездешнее спокойствие полубога принимаем за бесчувственность человека. Талант для нас всегда ближе, понятней и роднее гения: талант такой же смертный, как и мы,— а гений живет и умирает без смерти, то есть не зная ее и не ощущая в душе мучительного смятения; вот почему он чужд нам, как существо действительно бессмертное, вылетевшее сюда из другого мира, с другой планеты. Отсюда вечное фатальное одиночество гения, которому просто скучно среди смертных. Вернее всего познается гений в отношении своем к смерти. Можно наверное утверждать, что Пушкин смертного страха не понимал: он был ему от природы недоступен.

Гений за секунду до конца творит, повинуясь высшему

---

[1] Замечательно при этом, что все, что с неимоверными муравьиными усилиями сооружает человек, художник в минуты прозрения сам разрушает одним взмахом кисти («Смерть Ивана Ильича»).

закону бессмертия, в то время как смертный, объятый несказанным ужасом, забывает обо всем и воет безумно навстречу хаосу.

«Мне думается, вы уже знаете то, что случилось. 20 сентября он умер буквально на моих руках. Ничего в жизни не делало на меня такого впечатления. Правду он говаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет. Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что был Никол. Никол. Толстой, для него ничего не осталось. Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым шагом ее следил и верно знал, что еще остается. За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: «да что же это такое?» Это он ее увидал, это поглощение себя в ничто. А уж ежели он ничего не нашел, за что ухватиться, что же я найду? Еще меньше.

К чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончится ничтожеством, нулем для себя. Забавная штучка. Будь полезен, будь добродетелен, счастлив, покуда жив, говорят люди друг другу; и ты, и счастье, и добродетель, и польза состоят в правде. А правда, которую я вынес из тридцати двух лет, есть то, что положение, в которое мы поставлены, ужасно[1]. «Берите жизнь, какая она есть; вы сами поставили себя в это положение». Как же! Я беру жизнь, как она есть. Как только дойдет человек до высшей степени развития, так он увидит ясно, что всё дичь, обман, и что правда, которую все-таки он любит лучше всего, что эта правда ужасна[2]. Что как увидишь ее хорошенько, ясно, так очнешься и с ужасом скажешь, как брат: «да что же это такое?» Но, разумеется, покуда есть желание знать и говорить правду, стараешься знать и говорить. Это одно что осталось у меня из морального мира, выше чего я не могу стать. Это одно я и буду делать, только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь»[3].

Так писал Толстой Фету в самом расцвете молодости и силы, в 1860 году. Письмо, замечательное во многих отношениях. Мгновение смерти Николая оказалось для Льва роковым расщепом, надвое расколовшим его душу. Смертный страх взвыл в уши богатырю; лег в гроб Святогор, и гроб по нему пришелся. При всей своей телесной могучести, даровавшей ему на редкость долгую жизнь, Толстой духом так же беден и слаб, как хилый Гоголь. Великий художник, всею мощью огромного таланта не мог он преодолеть смертной своей природы; вещий ужас, однажды вкравшись в душу, овладел ей, мучил ее, пытал и опустошал до конца. Прежде всего страх вырвал из рук Толстого благословенное орудие художника: лишил его творчество силы, превратив искусство только в прекрасную ложь. Толстой повис мучительно между небом и землей. Знаменательное сходство с Гоголем! Гоголь, сжигающий второй том «Мертвых душ», и Толстой, предающий проклятию бесполезное искусство; гоголевская «Переписка» и толстовская «Исповедь»,— в сущности, это все то же отречение от жизни и искусства в пользу смерти. Гоголь от Пушкина отвернулся к отцу Матфею,

[1] Ср. слова Толстого о «правде» в начале этой статьи.
[2] Ужасна, как смерть Ивана Ильича, духовного сына Толстого.
[3] Любопытно, что письмо это писано апологету поэтической лжи.

Толстой от Фета — к г. Черткову. Оба они, и Гоголь, и Толстой, при конце дней своих явно бегут и чуждаются прежних наставников и друзей. Гоголь старается навязать Пушкину роль «христианского поэта»; Толстой некогда восторгавшийся Фетом до «щипанья в носу» и взявший для начала «Анны Карениной» образцом пушкинский отрывок, называет, впоследствии того же Фета «сомнительным стихотворцем» и утверждает, что народу «Пушкин нужен только на цигарки».

Гоголь вечно смеялся, Толстой — плакал. Роковая неуравновешенность таланта, «повышенная чувствительность», как сказал бы медик. Слезливость Толстого изумительна: глаза у него вечно «на мокром месте». Всякое событие, будь то горе, радость, хорошие стихи, вызывает у него слезы, и как родственна его слезливость гоголевской смешливости![1]

«Смерть, неизбежный конец всего, в первый раз с неотразимою силой представилась Левину. Он сидел на кровати в темноте, скорчившись и обняв свои колени, и, сдерживая дыхание от напряжения мысли, думал. «Да ведь я жив еще. Теперь-то что же делать, что делать?» — говорил он с отчаянием. Он зажег свечу и осторожно встал и пошел к зеркалу и стал смотреть свое лицо и волосы. Да, в висках были седые волосы. Он открыл рот. Зубы задние начали портиться»[2].

Усилия Толстого спастись от страха смерти были колоссальны. Порой это ему почти удавалось. Творчество, Севастополь, семья, проповедь, физический труд, пост, молитва — чего-чего не пережил, не перечувствовал он! Все, чем дышит человеческая жизнь, чем полнится и чем движется,— было ему знакомо, и во всем искал он лишь одного: забвения от стоявшей за плечами неизбежности. Последним усилием его было примириться со смертью, подчиниться ей. Смиренно и радостно твердил он всем последние два-три года жизни: «чем дольше живу, тем мне радостней, потому что все ближе к смерти». По виду спокойный, за своим «Кругом чтения», он увещевает близких не бояться. «Мне не страшно». Но смертный страх только притаился, выжидая до той роковой ночи 28 октября, когда восьмидесятидвухлетний поэт сам прибежал на конюшню и трясущимися старческими руками помогал кучеру запрягать лошадей.

И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

В образе Толстого сошел в могилу могучий талант, художник и мыслитель, оплакивать кончину которого мы будем долго. Но,

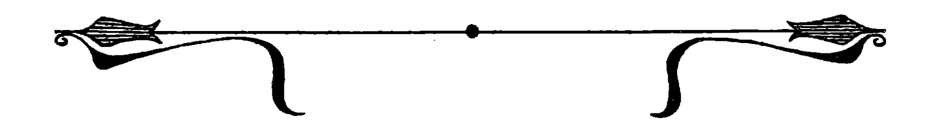
---

[1] Зато бесконечно далеки они от божественного звонкого смеха Пушкина, от ясной, мудрой серьезности Фета.

[2] Несомненно, что все это впечатления самого Толстого перед смертью Николая. (И Левина брат — Николай.) Лета́ Константина Левина совпадают с летами Толстого в 1860 году.

возвышаясь над нами несравненно, он все же плоть от плоти и кровь от крови нашей, как Гоголь, как всякий человек, близкий нам «по человечеству», родной и милый своей человеческой слабостью, неудачей своих исканий. Гений не знает ни слабости, ни жалости; в жизни он ничего не ищет, потому что знает, что нечего искать. Таланты обречены на неслыханные муки, какие в слабейшей степени испытываем все мы, «бедные жители земли». Они снисходят до нас, но ни им, ни нам не возвыситься до гениев, которые также не могут спасти нас от смертного страха, ежели б и хотели.

1911



ОКЛЕВЕТАННЫЕ ТЕНИ

«Александр I» Д. С. Мережковского едва ли не первый русский роман, где близкие нам по времени и духу исторические лица изображены не в условных, цензурою дозволенных, положениях и позах, а в частном и семейном их быту, со многими тайными подробностями, недоступными до сих пор печати. Это обстоятельство, главным образом, и способствовало успеху романа среди читающей массы.

При наличии некоторых достоинств, в «Александре I» встречаются обычные для исторических романов г. Мережковского недостатки, прочно укоренившиеся в них и давно уже всеми почти отмеченные единодушно. Та же в нем несвязанность исторических условий с законами художественного творчества, причем те и другие равно приносятся в жертву извне возникнувшей основной идее. Романист и историк не сливаются в одно целое, а уподобляются сиамским близнецам; на канве романа явно выказываются белые нитки. Упорная, почти навязчивая, как бред, идея, уже много раз повторенная автором за последние годы, вяжет романиста по рукам и ногам, а историка заставляет, может быть против желания, приписывать своим героям небывалые слова и поступки. Не довольствуясь теоретически изложенной в учении своей идеей, г. Мережковский во что бы то ни стало хочет оправдать теорию жизненным опытом, облечь ее в плоть и кровь. Современная, бегущая бурными потоками жизнь никаким теориям, конечно, неподвластна; отсюда историчность г. Мережковского; на развалинах прошлого легче возвести башню теории; в прошлом всякий находит то, что ему близко. Но прошлое неумолимо мстит за себя и романисту, погрешающему против исторической истины, неизбежно приходится поступаться и художественной правдой. Умышленный поворот исторической перспективы не так резко заметен на ранних произведениях г. Мережковского, пока он изображал далекие, чуждые нам по духу события и лица. Не говоря об «Юлиане Отступнике», даже «Леонардо да Винчи» почти исчезает во глубине времен: на колеблющемся неверными тенями фоне старины воображению писателя легко осветить и подчеркнуть излюбленные свои идеи. Но по мере приближения к русской истории, начиная уже с романа «Петр и Алексей», названные недостатки г. Мережковского выступили с ужасающей яркостью.

Чем объяснить, что писатель немалого ума и обширных познаний так безнадежно слаб именно в последних, зрелых своих книгах, которые, казалось бы, должны быть сильнейшими изо всех его произведений? Невозможно, чтобы сам он не сознавал своих недостатков. В сомнениях по этому вопросу, перечитав сызнова огромный труд г. Мережковского, пришли мы к выводу, что основная, ничем не поправимая беда заключается для нашего писателя в одном роковом обстоятельстве, в котором он неповинен. Дело в том, что г. Мережковский — типичный иностранец, не по происхождению, а по природе, сделавшей его как бы помимо воли чужим России. Как для всякого природного иностранца, для г. Мережковского Россия в ее основном и тайном, со всеми ее темными кладезями и подспудными силами, не то чтобы враждебна иль не нужна, а просто недоступна и непонятна. На глубочайшие явления русской жизни, на таинство ее духа г. Мережковский смотрит глазами умного и наблюдательного иностранца; явления эти живо интересуют его, он следит за ними и просвещенно им сочувствует, как Вогюэ или Губернатис, но там, где русский человек заплакал бы от восторга или гнева и не нашел бы слов, г. Мережковский достает хладнокровно записную книжку и вносит себе на память факт. Отсюда у г. Мережковского, при отсутствии способности к «перевоплощению», склонность брать темы из различных эпох и различных стран, отсюда одинаковое отношение как к Юлиану, так к Леонардо и Александру I.

Мертвой теорией, общим методологическим приемом пытается г. Мережковский подменить то, в чем ему отказано от природы.

Идея «Александра I» все та же, давно известная: это развитие учения об Антихристе.

Двоедушный, слабый, шатающийся безвольно, «в лице и в жизни арлекин», по выражению Пушкина, внук великой Екатерины не удался совершенно г. Мережковскому; идея в корне погубила замысел романиста, и Александр вышел неубедительным и бледным.

Вообще, тенденция на каждом шагу беспощадно, в зародыше, убивает попытки автора художественно изображать людей людьми, природу природой. В «Александре I» есть ряд свежих образов, тонких описаний — и это лучшие места в романе, но обилие бледных, придуманных искусственно сцен отпугивает насторожившегося читателя. К внешним недостаткам письма относятся: частое нагромождение определений (по три-четыре к одному слову), повторение одних и тех же слов, фраз и даже событий. Мережковский-художник танцует всегда от печки. Императрицу Елисавету Алексеевну заставляет он писать неизбежный дневник (такие же точно дневники ведутся героями «Леонардо» и «Петра»), по обыкновению употребляет постоянные антитезы, играет словами, а действующие лица все говорят у него одним и тем же языком, одинаково видят сны, сморкаются, обнимаются, плачут. Проникновения в эпоху, обаяния, духа не чувствуется нисколько. Все ге-

рои «Александра I» современные, хорошо нам всем известные неврастеники и истерички. Легкая местами стилизация и близость к документальным данным не улучшают дела. Разве тогдашние люди так чувствовали и думали, так верили и любили? Какая разница в сравнении с «Войной и миром»! Гр. Толстой одним взмахом художественной силы переносит нас сразу в подлинный двенадцатый год, где видим мы и настоящего Александра, и Аракчеева, и Сперанского, верим им и знаем, что ежели описанное Толстым точно таким не было то могло быть. Мережковский же, при всех усилиях соблюсти историческую точность, дает лишь бледную, разграфленную, вычерченную методически схему под узким углом.

Люди, изображенные г. Мережковским, мало что недостоверны и неубедительны: все они сбиваются на шарж, на карикатуру; в каждом преобладает непременно одна какая-нибудь утрированная черта, придуманная к тому ж не всегда удачно. Фотий — карикатура фанатизма, Аракчеев — жестокой скуки, Якубович — лубочной романтики и т. д. Чтобы внешне как-нибудь отличить своих героев друг от друга, г. Мережковский навешивает всем им еще особые памятные ярлыки: Фотий — хорек, Аракчеев — ночанка, Голицын — старая баба.

Не считаясь с условиями историческими и бытовыми, г. Мережковский строго и пристрастно судит знаменитых наших покойников и, сажая их подсудимыми на скамью современности, как бы обвиняет в том, что не читали они «Грядущего хама». Гениальный Крылов изображен каким-то дурачком и шутом гороховым; Карамзину зачтено в вину крепостничество; Жуковский — придворный подхалим и т. д. Лучшие люди александровского времени, те, о ком их младшие современники вспоминали с благоговением и благодарными слезами (ведь в обществе и под влиянием их рос и развивался Пушкин),— все они, что называется, «подсалены» г. Мережковским.

А декабристы? Опрометчиво-легкомысленный Рылеев, пошляк Бестужев, ограниченный Пестель, дикий Каховский — все они таковы, что заставляют невольно думать: конечно, декабрьский бунт и не мог кончиться удачно, ежели во главе его стояли такие вожди.

Основная ошибка г. Мережковского при изображении декабристов заключается в том, что он без критики доверился их показаньям на следствии. По подлинным актам известно, что не все декабристы проявили при допросе гражданское мужество и поэтому к свидетельству некоторых из них следует относиться крайне осторожно. Слова, произнесенные в 1826 году, после того как катастрофа уже совершилась, психологически неверны в устах людей, веривших в успех заговора в 1824 году.

Грубость (в прямом смысле) в исторических романах г. Мережковского вообще не последнее занимает место. Императрица

Елисавета Алексеевна и Софья Нарышкина (вряд ли умевшая говорить по-русски) выражаются подчас более чем неизящно. Нарышкина кричит няньке: «умру, умру, подохну»... Она же употребляет современное вульгарное выражение «кормление зверя», уместное в устах разве какой-нибудь чеховской акушерки, просившей «дать ей атмосферы». Эта грубость сообщает иным местам романа особый, какой-то тяжелый запах.

Там, где дело касается историко-бытовых подробностей, которым г. Мережковский придает, видимо, важное значение, он громоздит ошибку на ошибке. Начать с того, что мелкие бытовые подробности набраны отовсюду: из Грибоедова («эшарп» и дальше, чтобы не так было заметно, «барежевый»), из Дениса Давыдова («да, поела-таки сабля моя живого мяса, благородный пар крови курился на ее лезвие»), из Тургенева (материя «тру-тру»), из Некрасова («только приметно дыханье») и т. д. Дабы не быть голословными, приведем для примера несколько ошибок с начальных страниц романа.

Описывается баснописец Крылов «в поношенном фраке с потускневшею орденскою звездой». Дело происходит в 1824 году, а звезду (Станислава 2-й степени) пожаловал Крылову император Николай Павлович только в 1838 году при праздновании баснописцем своего пятидесятилетнего юбилея.

Известный поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий никогда «князем» не был.

М. Е. Лобанова звали Михаил Евстафьевич, а не Евграфович, как называет его г. Мережковский.

Князь П. А. Вяземский в 1824 году приводит слова Пушкина «черт меня догадал родиться в России с душою и с талантом», сказанные Пушкиным на двенадцать лет позже, в одном из писем к жене.

Булгарин говорит: «я не трус, а только двух вещей на свете боюсь: синей куртки жандармской да тантиной красной юбки». По-видимому, автору неизвестно, что жандармов в России при Александре I не было и что жандармский корпус учрежден был Николаем Павловичем в декабре 1826 года.

Императрица Елисавета Алексеевна, обращаясь к Жуковскому, называет его «ваше превосходительство», тогда как этот титул поэтом был получен гораздо позже. «Словечко» о Жуковском — «славный был покойник, дай Бог ему царство небесное» — не Вяземскому принадлежит, а Пушкину.

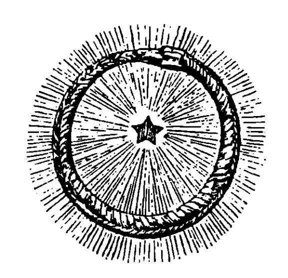
Из чтения «Александра I», кроме вывода, что г. Мережковский не художник и не историк, выносишь еще, как это ни странно, убеждение в... несерьезности его работы. При всей глубине идейности ее, слишком уже чувствуется в ней сухая книжность, и для тех, кто живет и подвизается подвигом житейским, не нужен совсем этот теоретический препарат. Знаменательно, что г. Мереж-

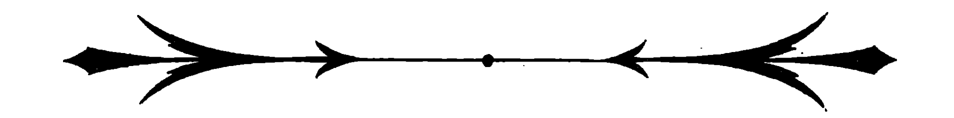
ковский в сочинениях своих исходит всегда от чужих книжных мыслей: ему нужен непременно эпиграф или какой-нибудь афоризм, чтобы от него оттолкнуться в умствование, как от берега. Но книга всегда останется книгой и теории одной слишком мало, чтобы заставить эту книгу ожить. Толстой и Достоевский давали нам хлеб насущный, и питается этим хлебом не одно уже поколение. Мережковский же в своих книгах дает только суррогат хлеба — кондитерский, приторный пирог. Его можно, не без приятности, есть, запивая чаем, но питаться им и существовать нельзя.

1912

СВЯТАЯ РЕАКЦИЯ

(Опыт кристаллизации сознания)





Широка заповедь Твоя зело.

Псалом 118

1

Эпоху Возрождения ведут от XVI века, с открытия Америки и типографий. На деле же начинался тогда упадок: декадентская эпоха лже-возрождения. Тянется она четыре столетия и до сих пор не окончилась.

Но было ли когда-нибудь настоящее Возрождение? Было и длилось от Рождества Христова полторы тысячи лет.

2

Дело Христовой Церкви — собирание. Собрать государство, собрать личность. Успокоить мятущееся сознание. Дело антихриста — расточать эти сокровища. Клеветать, беспокоить и смущать.

3

Реакция отождествляется с отсутствием движения. В неподвижности видят начало смерти.

Но так ли это? Солнце, источник жизни, бессмертно и неподвижно. А сколько движущихся планет угасло!

Законом их движения и обусловлен прогресс.

4

По природе прогресс бессилен и лжив. Течет он неизменными путями, вращаясь в пустоте и вечно повторяясь. Это понимал Екклезиаст. Для него никакого прогресса и быть не может, раз нет ничего нового под солнцем.

Ведь только действенностью солнечной реакции осуществляется пассивный прогресс земли.

5

На заповедях веры, любви и мира основана реакционная община: Церковь Христова. Небесный Царь вручает свой жезл земному на защиту Церкви. Отсюда божественное происхождение монархии.

6

Средневековый культурный человек верил в Бога, чтил короля, рождался, жил и умирал в Церкви. Сидел на одном месте, охотился, торговал, пировал. Воспитывал детей, был верен жене, повиновался родителям. Читал только Библию и то по праздникам. Довольствуясь малым, он знал достоверно, что вечная жизнь за гробом.

Колумб внушил ему тревогу бесплодных исканий и убедил поехать в Америку. Когда честный бюргер вернулся домой, ему стало скучно в узком средневековом городке. Он осуждает короля, дерзает спорить с монахами. А тут Гутенберг подсунул мещанам «Декамерона» и первый газетный оттиск. Хищные змеи ложной мудрости подползли к замку великодушного рыцаря и потащили его за Фаустом по пути прогресса.

7

Поход свой на Церковь антихрист начинает под разнообразными личинами лже-возрождения. Выводит Лютера и утверждает протестантскую ересь. По его же наущению Сервантес осмеял благочестивое крестоносное рыцарство. Первые ростки рационализма пустит Шекспир, подменив незаметно Бога роком. В философии зарождаются попытки обнять необъятное. И художники кощунствуют над Мадонной.

8

Все, без чего невозможно жить человеку, существовало и тысячу лет назад. Но не было тогда ничего такого, что для нашего времени могло б оказаться лишним.

9

Прогресс обольщает исканием, сулит новизну. И личность, покидая себя, рассыпается тучей праха. Ей в голову не приходит, что всё уже найдено, что Царство Божие в сердце.

10

Для личности прогресс бессмыслен, пока существует смерть. Допустим земное бессмертие: он станет еще бессмысленней.

11

При кристаллизации одновременно превращаются форма в содержание и содержание в форму.

Цельность без кристаллизации немыслима.

Кристаллизация является мнимой, если она искусственная, и отрицательной, когда процесс совершен насильно. В обоих случаях искомого результата не получится. «По плодам их узнаете их».

12

Каждый из нас беспристрастно обязан спросить себя: кто я и где я? Ответив на оба вопроса, остаться на месте. Это и будет первым шагом к кристаллизации внешней.

Жизнь цели не имеет, покуда мы мечемся. Остановись, и тотчас найдется цель. А в ней начало кристаллизации внутренней.

Так постепенно личность входит в себя. Несложный труд ее завершается подчинением авторитету Церкви. «Все остальное приложится».

13

Прогресс, заставляя насильно участвовать в суете политики, вытаскивает нас обезьяньими лапами из-за Христовой пазухи.

Дары его душевны и телесны. Реакция духовна.

14

Аристократия кристаллизуется на почве церковно-государственной монархии. Здесь и только здесь ее могущество и цельность. Вне этих начал она разлагается и быстро гибнет.

15

Демократический строй безусловно враждебен кристаллизации: он призывает не к общему, а ко всеобщему счастью, недоступному для жителей земли. Оттого всегда во всех республиках прогрессивный хаос, брожение и распад. А под эгидой монархической власти сословия образуют ряды кристаллов, возникших по законам органического развития.

16

Гениальным художникам дано уловлять сердца. Искусство значит — искушение. Сатана, искусив прародителей, насадил искусство. Лиственный пояс Евы был первым художественным произведением. И человечество закрывается им от страшного смысла жизни.

17

Ломоносов единственный у нас народный поэт. Ни с Богом, ни с царем, ни с народом Ломоносов не расходился. Плебей, он уважает аристократию. Ученый — твердо верует в истину православной церкви. В творчестве он всегда национален. Редкий пример совершенной кристаллизации. Державин и Фонвизин уже не то.

18

— Прогрессивен ли Пушкин? — Несомненно.— Реакционен ли он? — О, да.

— Что же такое его поэзия? — Кристаллизация житейского волненья.

19

В «Гавриилиаде» Пушкиным осмеян Иосиф, обручник Богоматери. Поэт насмешливо просит у него «беспечности, смирения, терпения, спокойного сна, уверенности в жене, мира в семействе и любви к ближнему». Тогда еще он не подозревал всей ценности этих скромных благ. Из них ему как есть ничего не досталось, но

этого мало; жена невинна,— а он — патентованный рогоносец. Так хитрый сатана разыграл над своим поэтом тему «Гаврилиады».

20

Почему обижался Пушкин на камер-юнкерство? Только потому, что находил это звание для себя слишком малым. А сделай государь его гофмейстером, он был бы счастлив и горд.

21

При помощи скромного отца Матвея Гоголь заглянул в духовные глубины и, ужаснувшись, умер.

Не потому сжег Гоголь «Мертвые души», что «изменил искусству» и был «обманут попом». Его замучила совесть. С церковных высот он увидел, что служит прогрессу, творит мерзость перед Богом.

«Мертвые души» спалил небесный огонь.

22

Гоголю неудачно последовал граф Толстой. Но вместо православного духовника избалованный барчук припустил к себе того самого чертенка, в которого швырнул чернильницей Лютер.

23

Какие-то предельные законы мировой психологии не давали нашим светским церковникам кристаллизоваться в православии.

Достоевский, отравленный в юности петрашевцами и Жорж-Занд, остался за порогом церкви как оглашенный. Даже каторга не помогла. Соловьеву заслоняли свет теософская паутина и черная башня католичества. И Достоевский и Соловьев без пяти минут православные. Оба верили в прогресс; Достоевский обольщался даже надеждой земного рая.

Леонтьев перегнул палку в другую сторону. Кристаллизуясь, он усилил процесс до крайней степени и сам замерз в глыбе кристального льда.

24

Россия искони была оплотом святой реакции. Вот почему к ней так слабо прививается прогресс.

Любовь к царю — чисто русское стихийное чувство. Объяснить его нельзя, оправдывать не надо.

25

Россия погибла не оттого, что Церковь была частью государства; она погибла бы и в том случае, если бы государство сделалось частью Церкви. Необходимо, чтобы Церковь и государство, подобно душе и телу, слились в единый кристалл.

1921

СНЫ

Была коза и в девушках осталась.

Случевский

Переодетый, в статском платье, прохожу Варваркой мимо института.

Там идет обедня; становлюсь за дверью, но все узнают меня.

Товарищи начинают шептаться.

Громовой голос инспектора: «Сюда, поди сюда!»

Выскочив на улицу, пускаюсь бежать; оглянулся — вижу: учитель Голан с какою-то барышней.

Хочу поклониться и не могу. Ну, теперь не миновать мне карцера.

Дома встречаю того же Голана; он беседует с мамой; кланяюсь.

— Давно бы так.

1894

Шелест крыльев, щебетанье, нежный свист.

Я в Щербинке в саду выпускаю из клеток малиновок, зябликов, щеглят.

Напоследок и сам я, радостно взвившись, лечу за ними.

Солнце, птицы, весна. Какое счастье!

1894

На мне малиновый с застежками кафтанчик; по переходам и лесенкам гоняюсь за девушкой в голубом сарафане.

Вбежал в светелку и остановился.

Девушка, сидя на полу, закрывшись руками, горько плачет.

Крупные слезы бегут из-под смуглых пальцев, падают, льются, стучат по крыше.

Проливной дождь.

1899

Гуляю по Откосу; за мной мерные удары.

Не оборачиваясь, знаю: это гроб чиновника, схороненного утром.

Гроб стоймя догоняет меня; вероятно, и покойник кажется стоящим.

Осторожно прибавляю шагу; гроб отстал.

1905

В ясную морозную полночь на Плющихе в доме Фета звякнула парадная дверь; он вошел в шубе и шапке, сделал несколько быстрых шагов, расправил белую бороду, оглянулся, подпрыгнул и полетел.

1907

У моей кровати при тусклом ночнике садятся знакомые покойники; тут и недавно умерший Петр Николаевич Званцов.

На всех мертвецах погребальные саваны, все мертвецы неподвижны; между ними суетится Яворовский; он в черном сюртуке.

— Петр Николаевич, ведь Яворовский не умер; зачем же он с вами?

— У него прогрессивный паралич.

1908

Стая кобчиков, сорвавшись с телеграфных проводов, кидается на меня, кричит, терзает грудь когтями, расклевывает сердце.

1908

Невероятная кавказская гроза, с раскатами, с молнией, с потоками, разбила мой послеобеденный сон.

О, как понятны мне теперь и Лермонтов и дуэль его!

Сон оправдал, а гроза перестроила мистический ход роковых событий.

1908

Вечерней порой в Ореанде у развалин садится иногда бесформенный гигант. Он точно из дыма слеплен. Я на него не гляжу.

Цикады стихают, и море перестает шуршать.

1908

...вся в жарких слезах, распустив роскошные косы, прижимаясь мокрыми щеками к моему лицу, умоляет, жалуется, шепчет, зовет куда-то...

1912

Сгорбленный, дряхлый старичок в широчайших белых панталонах заковылял из бакалейной лавочки мне навстречу. Мы поравнялись, и я узнаю себя. Как я постарел!

1913

— Михайлушка, что ты? -- По-русски...
Это голосок поэтессы Львовой; стихи обрывает стон.
— Подражание Некрасову,— шепчу я в полусне.
За утренним чаем известие: Львова застрелилась.

1913

— Сколько вы платите за все?
— Рублей четыреста.
— Не может быть! Четыреста за белье!
— Ах, за белье! Pardon, madame! Мне показалось, вы спросили «за все». За белье немного.

1914

[— Ну что, жилки жизни растягиваются?
— Растягиваются, профессор.

1914]

...и вот он кинулся в воздушный океан; блеснуло раз голубое крыло, два голубое крыло; какая свежесть и сила!

1914

Старый чиновник в поношенном фраке, в черепаховых очках, грозит мне пальцем.

Лица не разобрать: сливается с туманом.

— Да ведь это Вознесенский проспект: тут и Гоголь жил!

1916

Я бегу по московским улицам голый, в чем мать родила, под косым холодным дождем.

Тверская будто вымерла: ни души.

Скачу через лужи, подпрыгиваю, кривляюсь. Чего бояться?

1917

Наш институтский батюшка отец Николай подвел меня к отцу Иоанну Кронштадтскому.

Молча отец Иоанн достает из кармана в свертке артос и высыпает мне в подставленные пригоршни.

1917

На кресле у стола государь в тужурке без погон, задумчивый и грустный. А я на коленях, обливаясь слезами, целую его руки, клянусь ему в верности, обещаюсь умереть за него.

1918

Над очарованным снежным Тобольском лазурное небо и полный блестящий месяц.

Проходя по дворцовому залу в полонезе с великой княжной Марией Николаевной, вдруг вспоминаю: ведь этот роскошный месяц светит теперь на мою постель.

Открываю глаза, но месяц в окне безжизненный, побледневший.

1918

[К. Р. в расстегнутом военном сюртуке за пианино поет:

— Ликуйте, христиане,
Назначен Ориген.

1918]

...с высоты Голгофы и Гете нуль...

1918

В огромадной квартире Бориса Никольского ни мебели, ни картин, ни книг.

От зимнего солнца глаза режет.

Мы вдвоем в опустелой яркой столовой. Никольский громко толкует о писателях, о придворных сплетнях, хохочет, острит.

Между тем ослепительный солнечный блеск начал сменяться зловещим вечерним заревом.

Никольскому все равно.

Страшно подумать, как он проведет эту долгую ночь.

1919

Бывший полковник в рваном мундиришке с ощипанными эполетами, нагло глядя мне в глаза, назойливо твердит:

— Лобик-гробик!

Рядом приплясывает молодая полковница в грязной короткой юбке. Она готова на все.

1920

Едет лысый на плешивом,
Едет чистенький на вшивом.

1920

В пустой нечищеной ванне коротконогий кретин: как есть резиновая кукла. Скрипучим голосом он повторяет убогую фразу; больше ему ничего не дано сказать.

1920

Я в гостях.

У хозяина каждый седой волосок в бороде легко сосчитать; без труда различаю тончайшие морщинки на лице хозяйки; их молоденькая дочка раскрывает коробку конфет: мне издали виден розовый детский пушок на ее щеках.

Зеркало, диван, конфеты так и лезут в глаза; невозможная, болезненная четкость. И кажется, готов заговорить большой портрет государя в красном гусарском мундире.

1920

В Нижнем у нас семейное торжество.

Торопясь одеваться, ищу панталон: их нет. «Все подвенечное платье украдено!» — доносится голос мамы.

Накинув пальто, отправляюсь просить панталон у графа Хвостова; по дороге целуюсь с какой-то толстой барыней.

Хвостов в меблированных комнатах; у него застал Крылова и еще двух-трех старинных литераторов.

Получив насмешливый отказ, клянусь отмстить эпиграммой и спешу в Ермолаевские бани. Банщица подозревает во мне жулика, но банщик заступается и очень любезно дарит свои штаны.

1929

Я уезжал; охранять мою комнату взялась Дунаева.

Вернувшись, вижу в переднем углу портрет Брюсова и декадентские картинки; рву их, топчу и тотчас же вместе с Дунаевой перелетаю в Третьяковскую галерею.

— Как она лежит! — патетически восклицает рослый блондин с великолепными усами, глядя на голую некрасивую натурщицу.

— Вы поляк?

— Да. Почему вы догадались?

— По вашему тону. Вы знаете Налепинского?

— Знаю. Он теперь уже старик.

1929

В носу у меня новый мир: предвкушение счастья.

Тщетно пытаюсь я что-то припомнить: счастье со мной, розовато-нежно-лилейное, травянисто-лебяжье. Райские птицы с кривыми хвостами, китайские вазы, гусли Алеши Поповича и неизъяснимый аромат.

1931

Митя Кузнецов разделся и бросился в печку. Я в ужасе. Голос Лидии Васильевны: «Сгорел?» — «Сгорел».

Немного погодя заглядываю в печь. Митя живой и одетый спит, положив голову в ладони; тороплюсь разбудить.

Лидия Васильевна и тут равнодушна.

1931

Дождик прошел; палисадники, крыши блестят; переулок умылся; сиреневый дым выплывает из труб; в сенях шипят самовары.

У калитки лежит лицом вниз застрелившийся студент.

1931

Спускаюсь по отвесной глинистой горе.

Мне страшно, но я начал молиться и уверенно спустился, слегка запачкавшись глиной.

— Ну, это Надя отчистит.

1931

Владимир — надломленная плитка шоколада; на серебристую облатку брызнул румяный сок переспелого королька.

1932

Захожу, как бывало, в подвальный кабачок, на мне сюртук с атласными отворотами, но в подвале уже все не то.

Меня, улыбаясь, встречают незнакомцы; начинается чтение реферата и как будто обо мне.

Кланяюсь, но тотчас соображаю, что прославляется писатель Петров-Водкин.

Какой-то мальчишка глядит на меня в упор. «Садовской — Хитров рынок».— «Да, я вас там встречал». Все хохочут.

Между столиками вертится Суворов в потертой визитке, гримасничает, объясняет фокусы.

— Объясните табачок.— Не могу, слишком страшно.

Высокая загорелая красавица шлет мне воздушный поцелуй.

— Да разве я могу изменить моей Наде?

Незаметно удаляюсь; в передней вижу: у меня украдено пальто. Хочу снять с вешалки чужое, но не могу решиться.

1932

Всю ночь играли в дураки с Куропаткиным и его кухаркой. Вместо карт — пожелтевшие старые письма из моего архива. Как я их теперь подберу?

Расспросить Куропаткина о Скобелеве мне так и не пришлось.

1933

...религия есть соотношение явлений к Богу...

1933

— Что это за странные леденцы? — Финоги.— А, понимаю: из фиников.

1933

Ранняя весна. В уголке кладбища резвым столбиком вьются мошки.

Маленький кудрявый купидон, добродушно улыбаясь, налетел на мошек, разогнал их, покружился над могилами, задел крылом березовую ветку и утонул в розоватой полумгле.

1934

Занимается заря.

Буренин провожает меня по лестнице. Это не бельэтаж на Надеждинской, где был я когда-то, а кирпичный крымский домик, обвитый плющом.

Щурясь на багряные лучи, Виктор Петрович меня убеждает напомнить о чем-то.

Заря разгорается.

1936

Давид — ветка крупного синего сладкого изюма; филолог — блинчатый пирог с малиновым вареньем; прокурор — слоеный ливерный пирог.

1936

В пароходной столовой первого класса все трясется: стулья, люстра, бутылки, бумажные цветы на длинном столе.

У пианино Чехов в pince-nez внимательно читает.

От непрерывной тряски pince-nez ползет с носа и летит под стол.

1938

Осеннее небо; на сером заборе цепь мокрых ворон; на дворе рядами строятся солдаты в серых шинелях.

Карканье снявшейся стаи, крики бегущих солдат.

1939

[Дверь на почту то и дело хлопает. Мне уже известно, что скрывается за ней.

Так и есть: на деревянной скамейке задыхается маленький, дряхлый, как лунь седой Фет в черном суконном картузике.

Сию минуту он умрет.

1939]

...в Екатеринин день на канале завсегда парад. И государь, бывало, раздавал солдатикам лук да картошку. А нынешний год государя убило бомбой...

1939

Волк с лицом писателя Пяста пробил головой мне грудь, застрял и начал биться между ребрами.

Я делаю усилие; волк выскочил из спины.

1940

Незнакомая комната. В дверях — Константин Леонтьев, на ходу, картавя, договаривает что-то. Толстенький, быстрый, седой, в буржуазном пиджачке.

А в комнате компания учтивых москвичей.

Долго беседую с моложавым, поседевшим Черногубовым; наконец, замечаю: передний зуб у него вставной.

1941

Где-то в яицких степях разрывают могилу Пугачева.

Земляной пласт легко отвалился; под ним деревянный квадратный ящик с пунктирным изображением истлевшего трупа, схожего с обликом Пугачева, немного жидкости и неразрезанная новая, изящно отпечатанная книжка: 1924 год.

— И здесь побывали!

1941

Кружок писателей сороковых годов.

Распознаю силуэты Григоровича, Тургенева, Панаева. Ко мне подскакивает Писемский:

— Зуб замучил!

— Попробуйте полоскать холодной водой.

1941

Неужели это Коля Алфераки? Молодой, сияющий, веселый, в красном костюме испанского гранда с кружевным воротником.

— Ну, как же ты жил эти двадцать пять лет, рассказывай.

— Рассказывай прежде ты.

Торопимся, перебиваем друг друга, смеемся и все никак не начнем.

1941

Кто-то сообщил мне под величайшим секретом, будто император Николай Павлович отбывает в один из отдаленных городов; окольными дорогами скачу туда.

В неуютном, как сарай, дворянском собрании низкий потолок, деревянные стены. Смущаюсь, разглядев на себе истрепанный сюртучок. Но и стоящие полукругом дворяне одеты точно так же.

Смотрят они на меня неодобрительно и сурово.

1942

Роскошно изданная книга Лескова. Она только что вышла и прогремела на весь мир.

На богато разукрашенной пестрой обложке — Лубянский пассаж; фигурки людей шевелятся.

— Вот Некрасов,— замечает Лиза.

Действительно, одна из чуть видных фигурок имеет сходство с Некрасовым.

Внезапно пассаж принял соответствующий размер, совпадая в то же время с обложкой книги.

1942

Я — Гринев; сейчас меня повесят.

Плачет обо мне не Савельич, а какая-то старушка.

Но, зная, что Гринев не должен умереть, я смело лезу в петлю.

Она из ваты и мгновенно расползается.

1942

Я и мой покойный учитель истории медленно проходим необозримое мелководное озеро, похожее на лужу.

Укорив историка свободомыслием, яростно кричу:

— Будь проклят Александр II с его дурацкими реформами! Обернувшись, вижу стоящего в черном пальто, со свернутым зонтиком Константина Петровича Победоносцева. Он осторожно улыбается.

1942

В рассказе Грина кто-то снимает комнату, где вещи рассматривать можно, но трогать нельзя. Под конец выясняется, что вся обстановка была зеркальным отражением.

Впросонках придумал заглавие: «Зеркало».

1942

Аукцион. Распродаю гравюры в ценных рамах; покупатели — армяне.

— Вот портрет моего законоучителя.

— Да вы нам что-нибудь армянское покажите.

— Я сам армянин.

— Как так?

— Я учился при Делянове.

Общий хохот.

1942

Проезжаю проселочной дорогой и вижу в сторонке озаренный нежно-розовый полудворец, полухрам; восхищенно любуюсь им.

А сбоку сидит на скамье пожилой бородатый Фет и тоже любуется.

1942

Развешивая у себя в кабинете царские портреты, говорю тоном няньки стоящему подле мальчику:

— И поехали цари на войну и взяли с собой Пушкина, чтобы им сказки рассказывал...

В руках у меня неизвестно откуда пушкинский портрет. И вот уже вместо царей красуется Пушкин.

— Вся комната загажена!

1942

[— Цявловский похож на каскад: он вечно рассыпается. А надо бить сильной струей прямо в рот.

Мой собеседник молчит. Присмотревшись, узнаю самого Цявловского.

1942]

Лиза разрезала пышный, горячий пирог с говядиной.

— Принеси-ка портвейну: подлить в начинку.

Пока она ходила, я не вытерпел и с жадностью съел жирный, душистый ломоть.

1942

У меня званый вечер.
Юноша в смокинге рекомендуется:
— Фияксен, покойник.
Меня разбирает смех, хотя я отлично вижу, что юноша не лжет.
Обращаюсь к гостям:
— Фияксен, покойник.
Юноша всех их обходит, жмет каждому руку. Мне смешно.

1942

«Долиновская» — значится на углу широкой пустынной улицы.

— Это не в честь ли актера Долинова? — спрашиваю графа Павла Сергеевича Шереметева. Вместо ответа граф на глазах у меня расплывается туманом.

— Однако, где я?

Подхожу к оборванному смуглому парню, лежащему в траве.

— Какой это город?

Грызя соломинку, он скалит белые зубы:

— Коли бутылку осадишь, не то покажется.

Неторопливо бреду по Долиновской; со мной незнакомец.

— Я здешний церковный староста.

Лавочки, пассажики, будки. У киоска беседует с продавцом сухощавый красивый старик в белом дамском платье.

— Это наш архиерей.

Из клетушки вышла стройная блондинка тоже в белом. На груди — большая круглая брошка, в этой брошке весь смысл и разгадка земной жизни.

— А вот блаженная.

С улыбкой она смотрит на меня. Проходит дальше. На террасе пьет чай другая блаженная, брюнетка, злое лицо. Горничная недовольно замечает хозяйке:

— От этой много не наживешь.

...после смерти вы узнаете, что время есть вечный момент...

1942

У Фета на Плющихе.

Выходит он в коричневой паре, здоровый, коренастый; дышит тяжело.

Молодой человек, половиной лица похожий на Цявловского, представил меня.

Бросаюсь поцеловать Фету руку.

— Уж больно ты порывисто целуешь; скромнее надо,— качает головой Полуцявловский.

— Скромно целуют только у высочайших особ.

Фет смеется, берет мою руку и крепко, с одышкой жмет.

Один миг — и мы в Воробьевке. Вдруг я превращаюсь в Фета, но он исчез не совсем и порой появляется; при нем я опять становлюсь собой.

Множество поклонников и все молодые; между ними дряхлый, в лохмотьях Лев Толстой.

— Поэт Тентелелеев.

— Фамилия дворянская: проси.

— Как вы думаете, сколько Борису Александровичу лет? — говорит Полуцявловский какой-то поэтессе.— Ведь он ровесник Льва Николаевича Толстого.

Надя недовольна; она вообще не любит, когда заходит речь о моих годах.

1942

Получаю предложение участвовать в газете.

С кипой номеров стою на перекрестке; торговля идет бойко: газета нарасхват. Только вместо денег мне дают какие-то билетики.

Принимаюсь неистово хохотать; от хохота падаю и катаюсь по мостовой.

1942

Коля Садовский и я рассматриваем ярко раскрашенный лист, киноварью подписанный: Иоасаф, епископ Белгородский.

Перевернув страницу, входим в келью. Против окна спиной к нам сидит святитель Иоасаф; светлая ряса, прекрасные густые волосы. В углу жестяной плоский ящик.

— Вот скрыня.

Коля указывает на потолок:

— А это кривля?

— Да, кровля,— поправляю я, держа ладонь наготове: при первом кощунственном слове дать Коле затрещину.

Коля молчит.

Между тем святитель продолжает стоять неподвижно лицом к окну, спиной к нам.

1942

В книжной лавке сочинения Ивана Коневского с моим экслибрисом, черновые манускрипты Сковороды.

Еще магазин. В дубовом шкапу немецкие журналы, солидно переплетенные; тут же читальня; много народу. И все кто-то нет-нет да погладит меня по голове.

Оборачиваюсь: это хозяйка-немка, немолодая, не лишенная приятности.

— Бедный мальчик.

— Ошибаетесь: я только кажусь худощавым.

— Бедный.

1942

На подоконнике огромный паук с лицом старого шляхтича. Касаюсь его концом трости; он, вспыхнув, сгорает, но неподвижный взгляд обугленных глаз все так же угрюм и зол.

1942

Могильная надпись: родители неделимому сыну.

1943

Скворцова привезла сорочки
В подарок для мамзель фон Л.
На них узорные листочки
Вырезывает Даниэль.

1943

...снежинка, коснувшись земли, превращается в грязь...

1944

ПИСАТЕЛЬ ИЗ НОВОДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ

Жизнь давно превратилась в житие...

(Из дневника Б. Садовского)

Творческое наследие Бориса Александровича Садовского — поэта, прозаика, драматурга, мемуариста, литературного критика и историка литературы — представлено в этой книге только избранной прозой — примерно четвертой частью всего созданного им за годы своей писательской деятельности. А продолжалась эта деятельность без малого 50 лет: его первое стихотворение появилось в нижегородской газете «Волгарь» в январе 1901 года, когда Садовской еще был гимназистом, а последние произведения в архиве писателя датируются концом 1940-х годов.

Проза Садовского как бы перекидывает мостик от традиций дореволюционной исторической беллетристики, представленной именами Мельникова-Печерского, Вс. Соловьева, Е. П. Карновича или менее талантливого, но более плодовитого, широко известного в наши дни благодаря «макулатурным» изданиям Г. П. Данилевского, к лучшим достижениям этого жанра 1920—30-х годов, таким, как романы Ю. Н. Тынянова, Л. П. Гроссмана, О. Д. Форш, «Петр Первый» А. Н. Толстого.

Последняя книга Садовского была издана 62 года назад, и как-то неловко, говоря о нем, употреблять расхожее выражение «незаслуженно забытый писатель». Силою естественного хода вещей ушли из жизни почти все, при ком это имя еще входило в литературный обиход, и для нашего современника оно скорее «новое», нежели «забытое»,— причем не только для так называемого «широкого читателя», но и для многих профессионалов-литературоведов[1]. Кроме явной несправедливости подобного положения здесь есть и печальная закономерность. Нередко судьба обходится с людьми более жестоко, чем с Садовским, но далеко не всегда она так логична и последовательна в своей безжалостности, поэтому необычная и трагическая биография Садовского, напоминающая некую стилизованную «правдивую историю» в духе Лескова, в этом отношении весьма поучительна.

Садовский приехал из Нижнего Новгорода в Москву в сентябре 1902 года поступать в университет. Позади было детство среди привольной волжской природы, хорошо налаженный и обеспеченный полупатриархальный быт (отец Садовского, А. Я. Садовский, служил управляющим Удельной конторой, и семья подолгу жила на казенной лесной даче Удельного ведомства, представлявшей собой прекрасно сохранившуюся помещичью усадьбу 1840-х годов). Затем — учеба в Нижегородском дворянском институте и Нижегородской гимназии, первые литературные опыты, занятия историей. Отец, после выхода в отставку и переезда семейства в Нижний, занял пост председателя Нижегородской губернской ученой архивной комиссии, и несомненно, что его исторические и архивные изыскания во многом определили круг интересов и склонностей сына.

[1] Пользуемся случаем исправить неверные даты жизни Садовского, приведенные в «Краткой литературной энциклопедии»: писатель родился 10 февраля (ст. стиля) 1881 года, умер 5 марта 1952 года.

«Я застал еще старую историческую Москву, близкую к эпохе «Анны Карениной», полную преданий сороковых годов,— вспоминал Садовской.— Ее увековечил Андрей Белый во «Второй симфонии». Трамваев не было. Конки, звеня, пробирались по-черепашьи от Разгуляя к Новодевичьему монастырю. Москва походила на огромный губернский город. Автомобили встречались как исключение; по улицам и бульварам можно было гулять мечтая и глядя на небо. 〈...〉 Еще живы были престарелый Забелин, хромой Бартенев, суровый Толстой. В Сандуновских банях любил париться Боборыкин. В Большой Московской можно было встретить Чехова, одиноко сидящего за стаканом чаю»[2].

Тогда же Садовскому впервые попали в руки альманахи «Скорпион» и «Гриф», журналы «Мир искусства», «Новый путь». «Я сделался ярым и убежденным «декадентом», не вполне понимая, что это значит и смешивая в одну кучу Мережковского и Брюсова, Кречетова и Блока»,— вспоминал он. Знакомство с Брюсовым, который пригласил его участвовать в только что организованном журнале «Весы», привело к сближению Садовского с кругом московских символистов, среди которых были Андрей Белый, С. М. Соловьев, Эллис и другие. Однако, принимая активное участие в «Весах», печатаясь в «Золотом руне», «Аполлоне», «Трудах и днях» и других символистских изданиях, Садовской оставался внутренне чужд их идеалам. «Золотой век» русской поэзии, ознаменованный именами Пушкина, Тютчева, Фета, он решительно предпочитал «веку серебряному». Сам Садовской так формулировал свои непростые отношения с символизмом: «Причисляя себя к поэтам пушкинской школы, я в то же время не могу отрицать известного влияния, оказанного на меня новейшей русской поэзией, поскольку она является продолжением и завершением того, что дал нам Пушкин. С этой стороны, минуя искусственные разновидности так называемого «декадентства», которому Муза моя по природе всегда оставалась чуждой, я примыкаю ближе всего к нео-пушкинскому течению, во главе которого должен быть поставлен Брюсов. Основные черты моего творчества были бы намечены не с должной ясностью, если бы я забыл упомянуть имя Фета»[3].

Рецензии Садовского — острые, бескомпромиссно-принципиальные — появлялись почти в каждом номере «Весов»; печатались там и его стихи и рассказы. В 1909 году вышел в свет первый стихотворный сборник «Позднее утро», через год прозаические — «Русская Камена» и «Узор чугунный». Садовского стали много и охотно печатать всевозможные издания — от респектабельной «Русской мысли», солидных «Биржевых ведомостей» и «Речи» до суворинского «Лукоморья», популярной «Нивы» и полубульварного «Огонька». Стихотворения Садовского были включены в сборник «Чтец-декламатор» — факт, свидетельствующий о популярности поэта. Работа в области изучения творчества литераторов пушкинской поры и биографии А. А. Фета создали Садовскому репутацию тонкого и вдумчивого исследователя. Драматургическая деятельность проявлялась в том, что самостоятельно и в соавторстве с В. Ф. Ходасевичем Садовской адаптировал для театра миниатюр Н. Ф. Балиева «Летучая мышь» классические произведения, превращая в 20—30-минутные инсценировки, как того требовала специфика балиевского театра, «Графа Нулина», «Пиковую даму», «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, «Коляску» и «Нос» Гоголя,— занятие, требующее безупречного вкуса и чувства меры. Приезжая в Петербург, Садовской познакомился со всеми ведущими литераторами того времени — Блоком, Ахматовой, Гумилевым, Вячеславом Ивановым, Розановым, Ремизовым, Кузминым, Чуковским. Многие по достоинству оценили его «нешумное», но очень органичное, без тени какой-либо рекламной позы творчество. «Вероятно, его дарование, как поэта, было невелико,— писал Владислав Ходасевич.— Но оно было в высшей степени гармонично. Он умел не браться за темы, которые были бы больше его, не ставил себе задач непосильных. Поэтому он никогда не рисковал, так сказать, сорвать голос. Стихи его никогда не изумляли, не поражали, даже и не восхищали,— но это всегда была чистая и возвышенная поэзия. Точно учитывая свои силы, Садовский в поэзии был несколько

---

[2] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 3.

[3] Садовской Б. А. Позднее утро. М., 1909. С. 2.

сдержан, как был и в жизненном обиходе. Если угодно, лирика его была даже суховата,— но зато читатель никогда не мог заподозрить Садовского в желании показаться не тем, что он есть,— в позерстве, притворстве, лжи. Садовской был *правдив*. А быть правдивым поэту труднее, чем об этом принято думать. В стихах своих Садовской говорил скромнее и меньше, чем мог бы сказать. А сколькие стихотворцы, порой прославленные, в уме и сердце имеют лишь малую долю того, о чем сочиняют»[4].

Андрей Белый в своих воспоминаниях дает выразительный, хотя и несколько окарикатуренный портрет Садовского: «Часто являлся к нам в «Весы» поджарый, преострый студентик; походка — с подергом, а в голосе — ржавчина; лысинка метилась в желтых волосиках, в стиле старинных портретов причесанных крутой дугой на виски; глазки — карие; съедены сжатые губы с готовностью больно куснуть те две книги, которые он получил для рецензий; их взяв, грудку выпятив, талией ерзая, локти расставивши, бодрой походкой гвардейского прапорщика — удалялся: Борис Садовской, мальчик с нравом, с талантами, с толком, «спец» в технике ранних поэтов и боготворитель поэзии Фета...»[5]

Вскоре обозначились идейные расхождения Садовского с главой московских символистов Брюсовым. Первую глубокую трещину в отношениях между учителем и учеником проложило самоубийство в 1913 году юной поэтессы Надежды Львовой, причиной которого, как считали современники, было поведение Брюсова. В книге «Озимь. (Статьи о русской поэзии)», вышедшей в 1915 году, Садовской полностью отмежевался от бывшего мэтра в своем отношении к целям и задачам русской литературы. «Как писатель, ему обязан я действительно очень многим и, не краснея, могу заявить, что любовь моя к нему граничила с обожанием,— отвечал Садовской на упреки С. А. Ауслендера, в «ренегатстве» и «предательстве».— Однако ничего стыдного не вижу я также в том, что с течением времени, охладев к Брюсову, как к поэту, я нашел влияние его на литературу вредным»[6].

Все дальше уходил Садовской от литературных группировок, все яснее заявлял о себе в его творчестве своеобразный «духовный консерватизм». Последнее выражение принадлежит самому Садовскому; он употребил его в статье «Чувство прошлого в поэзии графа А. Толстого»[7]. Многие оценки из этой статьи применимы и к произведениям самого Садовского, где романтизированная картина прошлого окутана более или менее явственным мистическим флёром («Карл Вебер», «Лебединые клики», «Яблочный царек», «Ильин день», «Двойник» и др.),— но как бы не совсем всерьез, а всегда с примесью иронии, пародии, гротеска, пастиша. Садовской часто заимствовал готовый набор расхожих штампов массовой литературы XIX века — от Фаддея Булгарина до Бестужева-Марлинского, отсюда — олеографическая яркость его картин, иногда рискованно балансирующих на грани безвкусицы, все эти «соболиные брови», «орлиные взоры», «алые, как вишня, губы» героев его рассказов. Но у Садовского эти штампы — лишь один из элементов стилизации, которая, как правило, всегда чуть-чуть самоиронична. Что до мистики, то слова Садовского о поэзии А. К. Толстого: «От вечных полетов в запредельное — все равно, будущее или прошлое — дух человеческий как бы невидимо истончается, становится прикосновен мирам иным 〈...〉, всегдашнее любовное пребывание где-то там, по ту сторону действительности, помимо воли кладет на его творчество мистический отпечаток, дает ему возможность, созерцая незримое, приобщаться к неземному» — можно отнести и к его собственному творчеству.

Этот же консерватизм, отразившийся и во внешних проявлениях поведения Садовского («Помилуйте! Он здесь, в Москве, в дворянской фуражке ходил!» — сообщал один из корреспондентов Садовского отзыв о нем «либеральных» совре-

---

[4] Ходасевич В. Ф. Памяти Б. А. Садовского // «Последние новости». Париж, 1925, 3 мая. Статья написана после дошедших до Ходасевича ложных сведений о смерти его друга.

[5] Белый Андрей. Начало века. М.-Л., 1933. С. 384.

[6] Садовской Б. А. Ледоход. Статьи и заметки. Пг., 1916, С. 197.

[7] Хризопрас. Литературно-художественный сборник издательства «Самоцвет». М., 1906—1907. С. 66—70.

менников), стал одной из причин обособленности, даже отчужденности Садовского в литературном и окололитературном мире еще в предреволюционную пору. Вот что писал об этом Ходасевич:

«В литературных кругах его порой недолюбливали. Это было несправедливо, но причин тому было несколько. В обращении был он очень сдержан, пожалуй — холоден, но это потому, что до щепетильности был целомудрен в проявлении всякого рода чувства. К тому же был самолюбив и побаивался, что его протянутая рука повиснет в воздухе. Запанибратства, столь свойственного российской дружбе, боялся он всего пуще. Лично мои отношения с ним тоже начались с чего-то, похожего на тайную неприязнь. Но однажды, году в 1912, разговорились в редакции «Мусагета» — и прорвалось что-то: стали друзьями — и уже навсегда.

Второй, очень важной причиной его неладов с литераторами были политические тяготения Садовского. Я нарочно говорю — тяготения, а не взгляды, потому что взглядов, т. е. убеждений, основанных на теории, на строго обдуманном историческом изучении, у него, пожалуй, и не было. Однако ж, любил он подчеркивать свой монархизм, свою крайнюю реакционность. Мне кажется, повторяю, что тут им руководило скорее эстетическое любование старой, великодержавной Россией, даже влюбленность в нее, нежели серьезно обдуманное политическое мировоззрение. Как бы то ни было, монархизм в эпоху 1905—1917 гг. был слишком непопулярен и для писателя не мог пройти безнаказанно. Садовской же еще поддразнивал. То в богемское либеральнейшее кафе на Тверском бульваре являлся в дворянской фуражке с красным околышем; то правовернейшему эсеру, чуть-чуть лишь подмигивая, расписывал он обширность своих поместий (в действительности — ничтожных); с радикальнейшей дамой заводил речь о прелестях крепостного права; притворялся антисемитом, а мне признавался, что в действительности не любит одних лишь выкрестов; когда я переводил Бялика, Черниховского — их поэзией Садовской восхищался.

Конечно, во всем этом было много ненужного озорства. Но, как холодностью, сухостью прикрывал он доброе, отзывчивое, дружеское сердце, так под вызывающей крепостнической позой прятал огромнейшую, благоговейную, порой мучительную любовь к России»[8].

В то же время, испытывая столь понятное для поэта отвращение к любой политической деятельности в ее непосредственном выражении, Садовской никогда не делил своих друзей по партийной принадлежности. В их число входили и член РСДРП М. А. Цявловский, впоследствии — известнейший пушкинист, и побывавшие в ссылке за революционную пропаганду владелец издательства «Альциона» А. М. Кожебаткин и писатель А. М. Ремизов, а одновременно — Б. В. Никольский, политический деятель крайне правого толка, один из лидеров черносотенного «Русского собрания», магистр римского права, дававший уроки великим князьям, знаток и переводчик Катулла, поэт, пушкинист и специалист по творчеству Фета, владевший его рукописями и осуществивший первое полное издание его стихотворений. Сближало Садовского с этими столь разными, даже до антагонизма, по своим воззрениям людьми отношение к литературе как к святыне, сознание ответственности писателя за свое слово, презрение к любого рода халтуре, поделкам торжествующей пошлости, которые, в противовес культурным исканиям, пышно расцвели в те годы. В своих «Записках» Садовской брезгливо вспоминал о кружке модных петербургских литераторов, где ему случалось бывать перед революцией: «Читать было некогда, все только писали. Рассказы и повести пережевывали старье: это объяснялось сказочной невежественностью литераторов. Они понятия не имели о науке, философии, истории, искусстве, праве, природе. Бытовые подробности брались напрокат у классиков, чаще всего у Лескова. ⟨...⟩ Один беллетрист при мне рассказывал, как он сочинил повесть *на тысячу рублей*. Многие диктовали романы секретарям и женам набело, без всяких поправок»[9].

Была и еще одна причина одиночества и обособленности Садовского в писательском мирке. Хотя эта причина и лежала вне литературы, огромное значение, которое имела для формирования мировоззрения Садовского его болезнь, нельзя

---

[8] «Последние новости», 1925, 3 мая.

[9] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 1. л. 137—138.

недооценивать. Судя по переписке с отцом, первые признаки сифилитического заболевания появились у Садовского в 1904 году. Болезнь удалось приостановить, но яд продолжал свою разрушительную работу в организме, приведя в конце концов к табесу (спинной сухотке) и как результат — к общему параличу. Как писал Ходасевич в своем преждевременном некрологе: «...легкая, безболезненная кончина вряд ли ему суждена. Болезнь, сгубившая Гейне, Ницше, Языкова,— давала уже себя знать. Садовской очень деятельно лечился, но все, конечно, было напрасно. С 1915 года начались местные параличи (в руке, в ноге), а в 1916 году он слег окончательно...»[10]

Мысли о смерти, о возможности будущих мучений в «матрацной могиле» (выражение Гейне) давно терзали Садовского. Еще в 1905 году он написал такие строки:

Будь молчалив и верен как орел.
Пускай рои шумящих жадно пчел
Сбирают мед с цветов свободной мысли,
Спеши вперед. Жизнь странника легка,
Но день обманчив. Смерти облака
Над головой твоей с утра нависли.

Поэтому, когда в революционной буре в одночасье рухнули все устои старой российской государственности, быта, житейского и духовного уклада и, одновременно, обрушилась крепость собственного тела, Садовской увидел в этом некое мистическое предопределение, «перст судьбы». Крушение Российской империи было воспринято им как событие апокалиптического масштаба. Созидательная, через разрушение (как пелось: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...»), творческая сила революции осталась для него закрыта; восприятие Садовским российского «лихолетья» было близко к взгляду Розанова, последнее произведение которого так и называлось: «Апокалипсис нашего времени». Паралич настиг Садовского в Нижнем, в доме родителей, за несколько месяцев до Февральской революции. Приведем полностью его потрясающее письмо Андрею Белому, написанное в 1918 году карандашными каракульками, напоминающими скорее почерк дряхлого старца, чем 37-летнего человека, которые выводила дрожащая, еле удерживающая карандаш рука:

«Простите, глубокоуважаемый и дорогой Борис Николаевич, что по болезни пишу Вам карандашом и беспокою Вас по личному своему делу.

Вот уже более 5 лет терзает меня tabes dorsalis. Усиление этой болезни совпало с кровавыми и разрушительными ужасами последнего двухлетия и в общем превратило жизнь мою в кошмарную пытку. Теперь я уже свыкся с ней; болезнь удалось остановить, и явились даже признаки улучшения. Но за это время пережил я огромный духовный кризис.

Очутившись глаз на глаз со своею внутреннею пустотой и вырванный из условий прежней внешней жизни, я стал искать спасения у мудрецов. Кант помог мне мало, а Шопенгауэр сделал то, что меня дважды вынимали из петли. Жажда смерти особенно мучила меня последнее время, и только в силу случайности я остался жив.

Пытался я прибегнуть к религии, но православие после 27 февраля 1917 г. мне стало чуждо, а припасть к ногам Христа прямо от себя я не могу и не смею.

Совсем недавно прочел я Вашу книгу «Ответ Метнеру»[11] и теперь стою... где? перед чем? Боюсь дышать, ибо предчувствую... что? Не знаю, а только взываю: «верую, помоги моему неверию!»

---

[10] «Последние новости», 1925, 3 мая.

[11] Белый Андрей. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том «Размышлений о Гете». М., 1917. Э. К. Метнер — редактор журнала «Труды и дни» (органа издательства «Мусагет»), критически относился к антропософским увлечениям Белого и печатно выступал против них.

Я Штейнера достал, но читать боюсь[12]. И прошу Вас, дорогой Борис Николаевич, помочь мне: указать, как мне читать и в каком порядке и что именно. И Ваше слово хочу услышать обо мне. Мой страшный опыт дает мне на это право. Есмь ли я умершее для жизни зерно, или погибшая душа, заживо обреченная геенне? Катарсис ли все это, или только смерть?

Врачи определили у меня круговое помешательство (циклотомию).

Прострите ко мне братскую руку помощи, не дайте погибнуть. Совет Ваш приму за указание свыше.

Ваш сердцем *Борис Садовской*
15 дек. 1918 г., Нижний Новгород, Тихоновская, 27»[13].

Мы не располагаем ответным письмом Белого. Однако известно, что у Садовского хватило сил подняться. Обращение к антропософии не состоялось, и опору он нашел все-таки в православии. Предпринятые же им в то время попытки самостоятельно найти исход в водовороте событий, по счастью, окончились ничем. По счастью, потому что о содержании, по крайней мере, одной из таких попыток можно судить по письму Б. В. Никольского от 8 апреля 1918 года, где говорится: «Остается ответить на Ваш вопрос об испанском подданстве. Не Вы первый хватаетесь за такую мысль и не Вам первому я отвечаю: бросьте, будьте мужчиной, а не истерическою женщиной, мечущейся в трудную минуту от одной беспочвенной фантазии к другой. Чем большевики хуже кадетов, эсеров, октябристов, Штюрмера и Протопоповых? Ничем. Россиею правит сейчас карающий Бог и беспощадная история, какие бы черви ни заводились в ее зияющих ранах. Оказаться испанцем в Нижнем сейчас было бы просто смешно. А позже оказалось бы еще смешнее. Сидите себе на месте, делайте свое литературное и житейское дело и не покушайтесь на формальное выяснение своего личного отношения к мировым событиям»[14].

Жутковатым поприщинским холодком веет от таких фантасмагорических проектов: сколько же черного отчаяния скопилось тогда в душе Садовского! В 1921 году он просит Блока исходатайствовать перед Луначарским разрешение выехать за границу для лечения, но смертельно больной Блок ничем помочь не смог, а, получив от наркома просвещения отказ, Садовской больше к таким попыткам не возвращался.

В отношении к новой власти, как это ни странно, позиции убежденного монархиста Никольского и не питавшего к монархии никаких симпатий Ходасевича совпали. Если Садовской в программном стихотворении «Памятник» писал:

И долго буду я для многих ненавистен
Тем, что растерзанных знамен не опускал,
Что в век бесчисленных и лживых полуистин
Единой Истины искал,—

то Борис Никольский 28 октября 1918 г. замечал: «...должен сказать, что с советским режимом я мирюсь откровенней, искренней и полней, чем с каким бы то ни было другим, не говоря уж о Распутинско-Штюрмеровски-Протопоповском. Худого лично мне и моей семье большевики ничего не сделали, а доброго и хорошего много. Враги у нас общие — эсеры, кадеты и до октябристов включительно. Демократическим элементам их программы сочувствую, не всем, конечно, но все-таки даже то, в чем не сочувствую, считаю исторически неизбежным, как временное

---

[12] Штейнер Рудольф (1861—1925) — немецкий антропософ, основатель антропософского центра «Гетеанум» в Дорнахе (Швейцария). Имел огромное влияние на Белого, который входил в число его ближайших учеников. Белому принадлежат воспоминания о Штейнере.

[13] ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 262.

[14] Там же, ф. 464, оп. 2, ед. хр. 154, л. 11.

бедствие: лес рубят — щепки летят»[15]. А Ходасевич писал из Москвы 3 апреля 1919 г.: «Пусть крепостное право, пусть Советы, но к черту Милюковых, Чулковых[16] и прочую «демократическую» погань.⟨...⟩ Знаю и вижу «небесное» сквозь совдеповскую чрезвычайку.⟨...⟩ Я не пойду в коммунисты сейчас, ибо это выгодно, а потому подло, но не ручаюсь, что не пойду, если это станет рискованно»[17].

Не прошло и полугода, как Борис Никольский был расстрелян в Петрограде за участие в контрреволюционном заговоре[18]. Затем пришло время, когда одна из его дочерей, Анна, разделила участь миллионов «щепок» (ей удалось выжить в лагере, и она оставила свои воспоминания)[19]. Летом 1922 года навсегда покинул Россию Владислав Ходасевич. Садовскому была уготована иная судьба.

Надо было как-то жить. И тут Садовской способен удивить своего биографа: каким же удивительно стойким и непотопляемым в волнах житейской стихии оказался этот хрупкий, утонченный человек, любитель эстетизированной старины, обреченный на передвижение только с посторонней помощью! Эта способность уцелеть на самых тряских ухабах нашей истории тем более удивительна, что Садовской никак не старался приспособиться к новым условиям жизни, органически будучи чужд всякому конформизму и предпочитая терпеть голод, холод, безденежье. Чего стоило просто физически выжить в Нижнем в те годы! Еще в феврале 1917-го в нижегородских газетах появилось объявление: «С 1-го марта все городские мучные лавки т-ва М. Е. Башкирова прекращают свою деятельность, вследствие распродажи наличных запасов муки и отсутствия поступления таковой...»[20] А поволжский голод 1921—22 годов, когда доходило до людоедства? Если так страдали здоровые, то каково было человеку, разбитому параличом?

Но человек способен привыкнуть ко всему. «Апокалипсис» постепенно превращался в быт, в явление обыденной жизни. Об этом писал Андрей Белый Р. В. Иванову-Разумнику: «...когда, бывало, говоришь: *«Надвигается апокалиптическая эпоха»,* то думаешь, что *maximum* непонятности выражен словом *«апокалиптическая»*, а теперь сказать *«апокалиптическая эпоха»* — понятный трюизм; ⟨...⟩ мистичность каждого дня такова, что даже квалификация этого дня как *«мистический»* день вызывает одну тошнотворную скуку...»[21] В эти годы у кровати Садовского в его доме собирается небольшой кружок студентов нижегородских вузов, которым он читает лекции по истории русской и западной литературы. Духовную опору Садовской ищет в творениях отцов церкви, которые он усиленно штудирует. В 1921 году он пишет короткое эссе «Святая реакция», где в концентрированном виде выражено его неприятие «механического прогресса»; эта маленькая работа очень существенна для понимания дальнейшей духовной эволюции Садовского.

Однако найти свое место в литературном процессе, который развивался по своим особым законам, Садовскому совершенно неведомым и чуждым, оказалось чрезвычайно трудно. В «Примечаниях» отражены попытки Садовского издать те или иные свои произведения 1920-х годов. Как правило, пробивались они на страницы печатных изданий с большими трудностями и только стараниями дру-

---

[15] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 2, ед. хр. 154, л. 24.

[16] Вероятно, описка Ходасевича; должно быть «Гучковых».

[17] «Вопросы литературы». 1987, № 9. С. 237—238.

[18] За 1918 — 19 гг. ВЧК раскрыла 28 кадетских организаций, 107 черносотенных, 34 — правых и 50 — левых эсеров, 18 меньшевистских и 175 «неопределенных». Всего за это время было расстреляно 8389 человек, из них за участие в контрреволюционных организациях — 2024 (см. Лацис (Судрабс) М. Я. Два года борьбы на внутреннем фронте. Популярный очерк двухгодичной деятельности ЧК. М., ГИЗ, 1920).

[19] Никольская А. Б. Передай дальше // Простор. 1986. № 10.

[20] Нижегородский листок. 1917. № 51.

[21] ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 15, л. 4 и об.

зей и знакомых, близких к издательским центрам. Рассказы, повести и стихи Садовского не то чтобы оказались ненужными новой литературе естественным образом, как если бы читатель их не принял и отверг, а *показались* ненужными для того же читателя с точки зрения довольно узкого круга лиц, призванного определять и направлять советскую литературу и решать, что читателю будет интересно, а что нет. Кстати, некоторые из знакомых Садовского, даже находившиеся в самых тесных отношениях с редакционно-издательским миром, особенно если они принадлежали к старшему поколению литераторов, тоже затруднялись понять, отчего это вдруг Садовской стал несозвучен эпохе. Например, В. В. Вересаеву удалось пристроить два стихотворения Садовского в журнал «Красная нива». Гонорар — 32 рубля. После этого Вересаев написал автору: «Года полтора назад Гершензон покойный читал мне Ваше великолепное стихотворение о Нат. Ник. Пушкиной. Напечатано оно или нет? Если нет, альманах «Недра» с радостью бы напечатал его». Однако, по получении стихотворения и нескольких рассказов, он смущенно оправдывался: «Беллетристику не берут, говорят — старо. Не понимаю, почему. А насчет «Н. Н. Пушкиной» я очень сконфужен: когда слушал стихи в чтении, не заметил, что там все Бог и Господь. А этих слов нынешние редакции боятся больше, чем в прежние времена черти — ладана». Подводя итог своим стараниям, Вересаев с сожалением сообщал: «Рукописей Ваших мне больше не удалось нигде устроить. Везде один ответ: «Несозвучно эпохе»[22].

В странствиях по редакциям некоторые рукописи терялись. Ничего не известно о судьбе романа «Современник» (посвященного 60-м годам прошлого века и некрасовскому журналу), пьес об угличском убийстве царевича Дмитрия и о легендарном Федоре Кузьмиче (старце, под видом которого якобы укрылся в Сибири «ушедший от мира» Александр I). Если вспомнить, каким тяжелым испытанием стала для Николая Островского (чью судьбу в какой-то степени можно сравнивать с судьбою Садовского) утрата первого варианта романа «Как закалялась сталь», то что же должен был испытывать Садовской? «...Что касается Вашей пьесы, то — увы! — конечно, сейчас нет никакой возможности ее достать у того директора театра, который ее читал последним,— беззаботно писал Садовскому заведующий театрально-музыкальной секцией Главрепerткома (Главного комитета по контролю за репертуаром при Главлите) В. И. Блюм.— Да я и не помню за давностью, кому ее давал. Они же с пьесами хорошего обращения не понимают: не приняли, так спускают в корзину. Пишите новую — и с новым подходом к Угличскому делу. «Новый подход» теперь обязателен в исторических пьесах. Вот вроде «Повести о Болотникове» в «Новом мире»...»[23]

Роман «Приключения Карла Вебера», выпущенный издательством «Федерация» в 1928 году благодаря хлопотам Цявловского,— книга довольно необычная по своему содержанию и форме в общем потоке литературы того времени,— стал последней прижизненной книгой Садовского. Дальше — глухая, почти непробиваемая стена молчания. Появившиеся после 1928 года публикации можно пересчитать по пальцам одной руки: один журнал опубликовал письмо Чехова начинающему писателю, другой — воспоминания Садовского о том, как гимназистом он нанес в Нижнем визит Максиму Горькому. Имя писателя словно вычеркивается из литературы.

Тогда-то Садовской и задал будущим исследователям немало загадок, употребив свой незаурядный стилизаторский талант на создание литературных мистификаций. Их можно рассматривать, с одной стороны, как своеобразную месть редакциям и всему официальному литературному миру, для которых Садовской словно перестал существовать, с другой — как знать — не было ли это жестом утопающего в водах Леты, хватающегося за соломинку, чтобы хоть таким сомнительным способом напомнить будущим поколениям о себе? Мистификации Садовского были связаны со стихотворениями и письмами Некрасова, Степняка-Кравчинского, Есенина, Блока. Некоторые из них были сфабрикованы столь искусно, что на десятилетия вошли в научный и литературоведческий оборот в качестве

[22] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 37, л. 1—2, 7.
[23] Там же, оп. 2, ед. хр. 57, л. 13.

подлинных произведений названных авторов и лишь в последние годы разоблачены[24].

На что жил Садовской, сказать трудно. Известно, что вначале он получал пенсию от КУБУ (Комиссии по улучшению быта ученых) в 15 рублей в месяц. Впоследствии, хлопотами тех же Цявловского и Вересаева, обратившихся к Горькому, удалось добиться персональной пенсии (тогда все пенсии были персональные, пенсии по старости практически не существовали) в 35 рублей. Первая жена, с которой Садовской был в разводе, и сын Александр пропали в годы гражданской войны где-то на юге. В 1926 году умер отец. В 1929 году Садовской женился вторично; жена, Надежда Ивановна, стала ему верным другом и опорой. Вскоре произошло очень важное в жизни Садовского событие — им удалось переехать в Москву и добиться там жилплощади, что в те годы было неимоверно трудно. Наступил новый, московский этап жизни писателя, продолжавшийся 23 года.

Если подойти сейчас к тому приделу действующего на территории Новодевичьего монастыря храма, где расположен алтарь, можно увидеть снаружи, под алтарем, вросшие в землю ступени и узкие окошки-бойницы, глядящие на могилу Дениса Давыдова. В подвале, где сейчас хранится какое-то хозяйственное церковное имущество, и провел Садовской последние годы своей жизни, в погожие дни выезжая на кресле с колесиками для прогулок по кладбищенским аллейкам, стен же монастыря не покидая никогда.

Жизнь на кладбище, чуть ли не в склепе, в окружении могил, могла восприниматься как скверная аллегория. На деле же все было гораздо проще: в связи с жилищным кризисом все более или менее пригодные для жилья помещения упраздненного монастыря были в 1920—30-е годы густо заселены. Здесь жили архитектор П. Д. Барановский, искусствовед и генеалог граф П. С. Шереметев и множество других известных и неизвестных людей. Шла обычная жизнь со своими будничными заботами и радостями. Поэт-сатирик Евг. Венский (тот самый, который в годы гражданской войны в Ростове-на-Дону и Новороссийске сотрудничал в белых газетах, а перебравшись в Москву, столь же успешно в советских юмористических журналах и по поводу которого Демьян Бедный публично негодовал, почему он не расстрелян, как Гумилев) оставил в альбоме поэта и переводчика Г. Е. Сокола, также жившего в одной из башен, такой экспромт:

Довольный жизнью советской,
Сижу в вертепе, как мизгирь.
Я не хочу менять на Соловецкий
Новодевичий монастырь.

Отсутствие общения с читателями в какой-то мере восполняли собиравшиеся иногда в «келье» Садовского друзья и знакомые. Бывали там С. М. Городецкий, Н. С. Ашукин, Н. П. Чулков, М. А. Цявловский, С. В. Шервинский и др. Несколько неожиданным может показаться интерес такого воинствующего традиционалиста, как Садовской, к Борису Пастернаку. Н. Дунаева писала Садовскому 16 января 1929 года: «Я передала Пастернаку Ваше приглашение. Он будет у Вас в воскресенье 20-го, в 12 ч. ⟨...⟩ Пастернак, тот, каким я его увидела, пленил меня. В нем удивительное сходство с его стихами. Он — хаос, но хаос гармоничный и озаренный бурными вспышками огня»[25]. В письме к П. Н. Медведеву Пастернак подтверждал, что он навестил Садовского в монастыре; к сожалению, содержание их беседы неизвестно[26].

---

[24] См., напр., Шумихин С. В. Мнимый Блок? // Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок, новые материалы и исследования. Кн. 4. М., 1987.

[25] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 2, ед. хр. 95, л. 1.

[26] Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920—1930-х гг. М., 1983. С. 705. Еще в 1915 году Садовской писал: «Из общего течения автомобильно-ресторанно-хулиганского футуризма я выделяю культурные поиски «Центрифуги» и отчасти «Очарованного странника»; Пастернак же как раз входил в группу «Центрифуга».

Помощь друзей значила для Садовского очень много. Когда в Москве образовался Государственный литературный музей, который возглавил В. Д. Бонч-Бруевич, Цявловский, как член фондовой комиссии, устроил покупку музеем архива Садовского, где были, между прочим, собранные им автографы Пушкина, Гоголя, Фета. Вырученная сумма (не такая большая, как ожидалось,— всего три с половиной тысячи) стала подспорьем для Садовского. А вот письмо жены от 26 февраля 1934 года, устраивавшей дела Садовского в Союзе писателей: «...Умер от воспаления легких старый большевик, пролетарский поэт Дьяченко. Вчера пришла по делам, а Крутиков говорит: у нас покойник, общественная нагрузка, некогда нам. Я было ушла, не хотела скандалить, вдруг встречаю Городецкого, ему все и рассказала, он меня вернул, да так там кричал на них, я поразилась: у вас не оргкомитет, а моргкомитет, вы возитесь с покойником, а Садовского надо спасать, и они забегали и сразу выдали деньги. ⟨...⟩ Городецкий Вам кланяется и навестит Вас. Еще он кричал: „Совнарком ему дает пенсию, а вы что смотрите и т. д.“»[27].

С монастырским житьем Садовского связана и апокрифическая история, которую нам приходилось слышать в нескольких версиях, слегка варьирующихся в деталях. Идет она из окружения скончавшегося в 1970 году патриарха Алексия и восходит к рассказу самого Садовского. Как известно, 4 сентября 1943 года И. В. Сталин принял трех высших церковных иерархов — митрополитов Сергия, Алексия и Николая, затем состоялся собор, на котором была фактически восстановлена патриархия, получившая вначале свою резиденцию на территории Новодевичьего монастыря. Для сугубо религиозного человека, каким был Садовской, факт, конечно, небезразличный. Так вот, он рассказывал, что однажды, когда он в своем инвалидном кресле дышал свежим воздухом возле могилы Надежды Аллилуевой, на могилу жены приехал Сталин. Между ними якобы произошел следующий разговор: узнав, кто перед ним, Сталин как будто вспомнил читанные им когда-то стихи Садовского в «Чтеце-декламаторе» и поинтересовался, в чем нуждается поэт. «Благодарю вас, у меня есть все, что мне нужно»,— отвечал Садовской. Сталин все же приказал провести в подвал, где жил Садовской, линию радиотрансляции, дабы тот мог из репродуктора узнавать о том, что делается за пределами монастырских стен.

Придумал ли Садовской, весьма склонный к подобным мистификациям, эту историю, или же она произошла на самом деле (тогда ее можно поставить в один ряд с такими знаками «внимания» Сталина к литераторам, как разговоры по телефону с М. А. Булгаковым и Б. Л. Пастернаком или известной резолюцией о «лучшем, талантливейшем поэте нашей советской эпохи» на письме Л. Ю. Брик о пренебрежении к памяти Маяковского) — сказать трудно. Во всяком случае, где-то в 1935 году радиоточка в подвале действительно появилась, впрочем, может быть, путем более естественным и обычным, нежели в результате «высочайшего» повеления[28].

Что касается «большого мира» за пределами монастыря и узкого круга близких друзей, то там о Садовском напрочь забыли. Да и немудрено. Писатель, осуществлявший свою форму перехода от бытия к небытию, находился в особых, личных взаимоотношениях с такими категориями, как время, вечность, смерть, и нимало не заботился о напоминании о себе. Многие были убеждены, что Садовской давно умер (напомним, что слухи о его смерти возникали неоднократно еще с начала 1920-х годов). Только уверенностью в том, что Садовского уже нет в живых, можно, на наш взгляд, объяснить, почему В. Ф. Асмус в написанной в 1937 году статье «Философия и эстетика русского символизма» обрушился на Садовского, сделав его как бы «козлом отпущения» за всю «реакционность» символистской эпохи[29].

Когда весной 1939 года к 100-летию смерти Дениса Давыдова в одной из часовен Новодевичьего монастыря открылась небольшая выставка, ее посетители

---

[27] ЦГАЛИ, ф. 464. оп. 2, ед. хр. 175, л. 202 и об.

[28] Светлана Аллилуева утверждала, впрочем, что ее отец никогда не бывал на кладбище (См. Гуль Р. Я унес Россию. Апология эмиграции. Т. III. Россия в Америке. Нью-Йорк, 1986. С. 323).

могли увидеть среди экспонатов экземпляр «Русской Камены» с очерком о герое 1812 года. Книга знаменитого символистского издательства «Мусагет», помеченная 1910 годом, отпечатанная в типографии А. И. Мамонтова на прекрасной бумаге, украшенная изящными виньетками и гравюрами, воспринималась как современница эпохи едва ли не столь же давней, как и время Дениса Давыдова. И кому же могло прийти в голову, что автор «Русской Камены» живет рядом, через аллейку, визави с памятником поэту-гусару?

Садовскому предстояло еще пережить войну, смерть жены (заботу о нем взяла на себя ее сестра), первые нелегкие послевоенные годы. Все это время он писал (когда не мог удерживать карандаш — диктовал) — стихи, прозу, воспоминания, перерабатывал и правил старые рукописи, распределяя свои произведения для шеститомного (!) собрания сочинений. Была ли это прихоть библиофила или же убежденность, что труд его не пропадет, что рукописи не сгорят, не будут съедены мышами или употреблены для хозяйственных надобностей? Кто знает. Садовской утверждал, что он не честолюбив:

Пусть я не весь умру: зато никто на свете
Не остановится пред статуей моей
И поздних варваров гражданственные дети
Не отнесут ее в музей.

Слова о жизни, превратившейся в житие, вынесенные в эпиграф, были записаны Садовским в дневнике в январе 1915 года. Прошло 26 лет. В январе 1941 года он отвечал К. И. Чуковскому на неожиданно пришедшее поздравление с 40-летием литературной деятельности:

«Дорогой Корней Иванович!

Старой орфографией не смущайтесь: мне легче писать по ней: слова и мысли быстрее материализуются. И пером мне трудно писать.

Мы не видались 25 лет. Это теперь такой же примерно срок, как от Рюрика до 1914 года. Я все это время провел «наедине с собой», не покидая кресла, и приобрел зато такие внутренние сокровища, о каких и мечтать не смел. Былые мои интересы (Вы мне о них напомнили в письме) перед нынешними то же, что горошина перед солнцем: форма одна, но в содержании и размере есть разница.

Разрешая для себя проблему времени, сделал я независимо от Эйнштейна некоторые выводы. Сущность их можно усмотреть в прилагаемых стихах. 〈...〉

Я ходить не могу и руками владею не свободно: в остальном же сохранился. И только в этом году завел очки для чтения. Живу под церковью в полной тишине, как на дне морском. Голубой абажур впечатление это усугубляет. Встаю в 6, ложусь в 12. Женат с 1929 года и вполне счастлив. У нас четыре самовара (старший — ровесник Гоголя), ставятся они в известные часы и при известных обстоятельствах. Жена моя знала когда-то латынь и Канта, но теперь, слава Богу, все забыла — зато и пельмени у нас, и вареники, и кулебяки! Пальчики оближете.

Радио осведомляет меня о внешней жизни по ту сторону кресла.

Тронули Вы меня и рассмешили Вашим поздравлением, точно заправскому юбиляру. Но будет мой юбилей домашний. Знаете, что сказали одному поэту, предложившему мне переводы Мицкевича: «Садовской слишком одиозное имя: нельзя». Кланяюсь благодарному потомству. Заслужил! А ведь я «последний символист», со мной умрут все предания, сплетни и тайны, известные только мне. 〈...〉

Буду теперь ждать Марию Борисовну и Вас на другой мой юбилей: 23 февраля исполняется мне «шесть красных», по выражению нашего деревенского мельника. И этот юбилей приходится на воскресенье — мой приемный день. Не подумайте, что у меня «приемы»: нет, просто в этот день приходят к самовару когда один,

---

[29] Литературное наследство. т. 27/28. М., 1937. С. 6—7. Кстати, в этом же томе «Литнаследства», посвященном русскому символизму. В. Орлов напечатал в качестве двух неизвестных стихотворений А. Блока мистификацию Садовского (с. 676—677, 680).

когда полтора человека. А прочие приятели — Брюсов, Белый, Чулков, Эрн, а теперь еще и Пяст, хоть и близехоньки, а ко мне не ходят...»[30]

Выходит, вовсе не считал себя Садовской обделенным жизнью и наказанным судьбой. «Житие» свое, окончившееся 5 марта 1952 года, прожил он достойно, мудро и мужественно.

Издание произведений Садовского — и остававшихся до сих пор в рукописях, и возвращающихся в литературу после шестидесятилетнего замалчивания — обогащает эту литературу какими-то новыми, ранее в ней отсутствовавшими цветами и оттенками спектра. Но одновременно это и дань памяти Садовскому, выплата многие десятилетия задерживавшегося долга.

Хочется закончить этот короткий биографический очерк стихотворением Садовского 1935 года, написанным в монастыре, где он много размышлял о времени, о вечности, о жизни до смерти и после смерти — в памяти людской:

Времени тайный размах никому не известен,
Но я не верю, что был он всегда одинаков.
Время коварно, один только маятник честен,
Раб безусловный условно поставленных знаков.

Может быть, сутки то легче бегут, то тяжеле.
Ритма Земли не дано ни узнать нам, ни смерить.
Ведь вместе с ней мы летим к ослепительной цели.
Стрелкам часов поневоле приходится верить.

Видно, крылатый Сатурн, когда был помоложе,
Юную Землю проворнее мчал небесами.
Но и Сатурн утомился. Помилуй нас, Боже,
Если Земля остановится вместе с часами

СЕРГЕЙ ШУМИХИН

---

[30] ОР ГБЛ, ф. 620, кар. 70, № 62, л. 19 и об.

ПРИМЕЧАНИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ

ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 4, ед. хр. 6[1].

С. 6 *...поступил в Московский университет ⟨...⟩, который и окончил в 1906 году.*— Садовской был студентом университета (с перерывами) в 1902—1911 годах; курса не кончил. В своих «Записках» он вспоминал: «В январе 1911 года оставил я, наконец, университет, бывший для меня охранительным щитом. Он обеспечил мне досуг для художественного труда и не дал стать ни вьючным животным, ни коптителем небес» (оп. 1, ед. хр. 1, л. 114).

КАРЛ ВЕБЕР

Роман закончен Садовским в ноябре 1923 года. 10 декабря 1925 г. М. А. Цявловский писал Садовскому: «Близко зная настроения издательские в настоящее время, я думаю, что легче всего из того, что у тебя имеется, издать авантюрный роман из эпохи Петра» (оп. 1, ед. хр. 138, л. 6 об.). Глава «Карлики» появилась во 2-м номере «Красной нови» за 1927 год при содействии работавшего тогда в редакции старого знакомого Садовского С. А. Клычкова. Поэт В. А. Пяст писал автору 11 февраля 1927 г.: «Могу Вас порадовать, что Ваши вещи в «Кр. Нови» очень одобрены. С. Клычков сказал мне: «Так хорошо, что нельзя не поместить» (scilicet[2], как бы не хотелось забраковать). И в пример мне это сказал Клычков, сообщая о зарезе им моей повести» (оп. 1, ед. хр. 109, л. 1). Кроме «Карликов» в № 12 «Красной нови» за 1926 г. был опубликован рассказ Садовского «Днивник генерала» и в № 8 за 1927 г. «Аракчеевская шутка» (в данное издание не вошел).

В 1928 году роман под заглавием «Приключения Карла Вебера» выпустило в свет издательство «Федерация». Эта книга стала последней, которую Садовскому удалось издать при жизни.

В дальнейшем текст был переработан: он подвергся стилистической правке, заглавие было изменено на «Карл Вебер», жанровое определение «роман» на титульном листе убрано, все главы снабжены эпиграфами из русских писателей XVIII века. Этот вариант, хранящийся в архиве Садовского (оп. 4, ед. хр. 1) и отражающий последнюю авторскую волю, печатается в настоящем издании.

От сказочно-фантастического повествования, каким является «Карл Вебер», нельзя, конечно, требовать безусловной исторической достоверности. Отсюда — допускаемые автором анахронизмы, вроде невозможного в XVIII веке будильника, упоминаемого Конфетти в 1-й главе; прототип знаменитого барона Мюнхгаузена — Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен (1720—1797), естественно, в Полтавской битве не участвовал и поступил на русскую службу при Елизавете Петровне, во время Семилетней войны, т. е. лет на 40 позже описываемых событий; В. К. Тредиаковский в 1724—25 гг. не мог находиться в Петербурге, т. к. с 1723 года он учился в Славяно-греко-латинской академии в Москве, а затем уехал за границу, где пробыл с 1725 по 1730 год. Разумеется, вся история Мазепы и его дочери, а

---

[1] В дальнейшем в ссылках опускаются указания на архив (ЦГАЛИ СССР) и номер фонда Садовского (464).

[2] Конечно *(лат.)*.

также экспедиция к Южному полюсу, вызывающая из памяти «Историю Артура Гордона Пима» Э. По,— чистейшая фантазия.

С. 12. *Клиа точны бытия...*— Эпиграфы к главам 1—10 заимствованы из перевода стихотворения латинского поэта Авзония, сделанного В. К. Тредиаковским. Перечисляются девять муз и их покровитель, бог Солнца Феб (Аполлон). В прозаическом введении к своему переводу Тредиаковский писал: «Клии приписывают историю; Мелпомене ⟨Мельпомене⟩ трагедию; Талии комедию; Эвтерпе свирели; Терпсихоре арфу; Эрате скрипицу; Каллиопе героические ⟨т. е. эпические⟩ стихи; Уранин астрономию и Полигимнии красноречие».

С. 30 Талия, да будет прав...— Чтобы исправить его (т. е. нрав).

35. *Пажить* — «луг или поле, где пасется скот» (Даль).

АМАЛИЯ

Повесть закончена Садовским в 1922 году и первоначально имела посвящение Г. П. Блоку (двоюродному брату поэта), заведовавшему в то время редакцией кооперативного издательства «Время», где вышел сборник Садовского «Морозные узоры». 18 июня 1922 г. он писал: «„Амалия" — восторг: удивительная штука. Представляю ее себе готовой книжкой. На обложке медальоном-гирляндой все персонажи с герцогом Мельхиором наверху. Позади текста концовка: Генрих, печальный, с длинными щеками, играет на флейте. Впереди текста заставка, вся из аксессуаров: корона в футляре, реторта, яблоко и т. д., все это в сентиментальных цветочках. Непременно издадим» (оп. 2, ед. хр. 55, л. 69 об.). Однако осенью 1922 года отношения между Г. П. Блоком и Садовским разладились, и «Амалия» в издательстве «Время» не вышла. Не увенчались успехом и неоднократные попытки издать повесть в других издательствах и журналах. Так, 4 июля 1924 г. Садовской писал работавшему в литературно-художественном отделе Госиздата И. В. Евдокимову: «...поразведайте в Гос. изд., не издадут ли они мою небольшую повесть, в роде того, как издан был Хулио Хуренито, т. е. с предисловием какого-нибудь Бухарина» (ф. 1246, оп. 3, ед. хр. 281, л. 7 об.). Как раз незадолго до того роман И. Г. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито» был издан ГИЗом с теплым предисловием гимназического товарища Эренбурга Н. И. Бухарина. Евдокимов отвечал: «Переговорил с начальством — высылайте на мое имя, есть много шансов на появление в свет. Во всяком случае, буду тащить ее через все Сциллы и Харибды, как будто бы от этого зависела моя жизнь» (оп. 1, ед. хр. 54, л. 19 и об.). 7 сентября 1924 г. Садовской писал: «Дорогой Иван Васильевич! Высылаю Вам мою повесть «Амалия». Она написана en grotesque и, по желанию, ей можно придать характер политического памфлета против буржуазной идеологии» (ф. 1246, оп. 3, ед. хр. 281, л. 9). 17 сентября того же года он дополнительно обратился к тогдашнему директору Румянцевского музея, впоследствии довольно известному писателю А. К. Виноградову: «Затем я прошу Вас помочь мне провести в Гос. Изд. мою повесть «Амалия» — она уже там в руках Ив. Вас. Евдокимова, но мне бы хотелось, чтобы Вы ее рекомендовали Бухарину» (ф. 1303, оп. 1, ед. хр. 1047, л. 1 об.— 2). Но, несмотря на эти хлопоты, «Амалия» в Госиздате не вышла.

Тогда Садовской отправил «Амалию» и ряд других своих произведений в журнал «Новая Россия». На страницах этого редактировавшегося И. Г. Лежневым и стоявшем на позициях «сменовеховства» журнала печатались А. Белый, М. Булгаков, Е. Замятин, Л. Добычин; журнал имел репутацию одного из лучших литературных и публицистических журналов того времени. Прочитав присланные рукописи, Лежнев писал Садовскому 18 марта 1925 г.: «Наиболее интересной в художественном отношении вещью мне кажется «Амалия». Да и по *внутренней* теме рассказ современен. Образ принцессы Амалии, оборачивающейся дебелой и сонной Амашей за самоваром; образ принца, готового, на худой конец, «приспособиться» и к Амаше,— ведь это в самую точку!» (оп. 1, ед. хр. 83, л. 2). Но напечатать «Амалию» в «Новой России» Лежнев не успел. Вскоре разыгрались события, предвидеть которых никто не мог. 6 июня 1926 г. Лежнев сообщал Н. В. Устрялову: «8-го мая у меня был обыск, одновременно — в издательстве

и в писчебумажном магазине нашего кооператива. Издательство и магазин были опечатаны. 9-го я был вызван в ОГПУ и там арестован, просидел в тюрьме около трех недель. Журнал и издательство закрыты, а я, постановлением особого совещания, выслан из пределов СССР на три года. Советский паспорт мне дали, но на нем единственная виза — эстонская» (цит. по публ. М. Агурского «Переписка И. Лежнева и Н. Устрялова».— Slavica Hierosolymitana. Jerusalem, 1981, с. 588). В 1930 году Лежнев возвратился в СССР, по личной рекомендации Сталина (!) был принят в партию и назначен заведующим литературным отделом «Правды»; никаких отношений с Садовским он больше не поддерживал, как, впрочем, и с другими авторами «Новой России».

Не оставляя надежды увидеть свою повесть в печати, Садовской отослал ее в «Красную новь», надеясь на содействие С. А. Клычкова. Новый редактор журнала Ф. Ф. Раскольников, недавно сменивший А. К. Воронского, писал Садовскому 7 августа 1927 г.: «Что касается повести «Амалия», то она редакцию не удовлетворила по двум причинам: 1) вследствие наличия фантастического элемента и 2) ввиду того, что главными действующими лицами являются принцесса и герцог. Такие герои не интересуют современного читателя. При всем этом повесть написана мастерски. Отдельные персонажи выписаны прекрасно. Особенно удались Вам русские чиновники. Хорошо сделано противопоставление философской, романтической, феодально-княжеской ⟨зачеркнуто — «кантовской».— *С. Ш.*⟩ Германии и обломовской, сухово-кобылинской, чиновно-помещичьей России. Если Вы найдете возможным переделать повесть (хотя, по-моему, это трудно), то в измененном варианте мы могли бы ее напечатать» (оп. 3, ед. хр. 5).

После этого Садовской оставил попытки издать многострадальную «Амалию», которая присоединилась к другим ненапечатанным произведениям в его архиве.

Повесть публикуется по авторизованной машинописи (оп. 2, ед. хр. 38). Посвящение Г. П. Блоку в этой редакции отсутствует.

С. 98. *...доставьте графу Орлову.*— Орлов Алексей Федорович (1786—1861) — генерал он инфантерии, граф (с 1855 — князь), в 1844 году сменил Бенкендорфа на посту шефа жандармского корпуса и начальника III Отделения.

ЛЕБЕДИНЫЕ КЛИКИ

Впервые под заглавием «Княгиня Зенеида» — «Русская мысль», 1913, № 1—2.

21 марта 1913 г. поэт А. И. Тиняков писал Садовскому: «...очень благодарю Вас за любезную присылку окончания «Княгини Зенеиды». Написано, по Вашему обыкновению — превосходно, но, согласитесь сами,— судя по началу, читатель должен был ожидать большого романа, и мне, признаюсь, очень жаль, что этот большой роман не написан Вами: это был бы роскошный пир для читателя!» (оп. 2, ед. хр. 212, л. 17).

Публикуется по изданию: Лебединые клики. Пг., 1915.

ЗАПИСКИ АКТЕРА

Публикуется впервые по авторизованной машинописи из архива Садовского (оп. 2, ед. хр. 38).

С. 156. *Тенериф* — сорт сухого вина, напоминающего мадеру.

НАПОЛЕОНИДЫ

Первоначально повесть носила название «Императрица Евгения»; попытки издать ее остались безуспешными, о чем свидетельствует письмо Садовского Л. П. Гроссману от 12 октября 1925 г.: «Уважаемый Леонид Петрович, если Вам не удалось пристроить мою повесть «Императрица Евгения», будьте добры вернуть ее мне через подателя сего письма» (ф. 1386, оп. 2, ед. хр. 377).

Публикуется по авторизованной машинописи (оп. 2, ед. хр. 38).

Наполеониды — династия родственников Наполеона I; в 1872 году были объявлены не имеющими права на престол.

С. 168. *Наполеон Третий* (1808—1873) — племянник Наполеона Бонапарта, в 1852—1870 император Франции. Пришел к власти в результате государственного переворота 2 декабря 1852 года; 4 декабря по его приказу в Париже было истреблено большинство противников переворота, успевших воздвигнуть кое-где баррикады. После поражения под Седаном в 1870 году сдался в плен пруссакам, был низложен и умер в эмиграции в Англии. В 1836 и 1840 гг. Наполеон III дважды устраивал заговоры против Людовика-Филиппа. Во время второй попытки он высадился с группой офицеров в Булони 6 августа 1840 года, одетый в костюм и треуголку, напоминающие костюм Наполеона I и имея при себе прирученного орла, который, выпущенный в определенный момент, должен был парить над его головою. Но этот момент не наступил, т. к. солдаты первого же полка, которому представился Наполеон III, арестовали его и его сторонников.

С. 173. *Вяльцева* — Анастасия Дмитриевна (1871—1913), эстрадная певица, артистка оперетты, популярная исполнительница цыганских романсов.

С. 181. *Готский альманах* — «Almanach de Gotha», «Gothaischer Jahrbuch fur Diplomatie, Verwaltung und Wirtschalft» — дипломатический, генеалогический и статистический справочник. Издается с 1763 г.

ИЗ КНИГИ «УЗОР ЧУГУННЫЙ»

ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ МОЕЙ

Впервые — «Весы», 1907, № 12. Садовской вспоминал, какое впечатление произвел рассказ на знатока старины, издателя «Русского архива» П. И. Бартенева: «Долго не хотел он верить, что это сочинено:

— Какой подлог: в Англии вам бы за это руки не подали.

Насилу я убедил его. Старик захромал к шифоньерке, достал автограф Пушкина (вариант к «Русалке»), отрезал огромными ножницами последние два с половиной стиха и подарил мне:

— Вот вам за вашу прекрасную прозу» (Зайцев А. Д. Петр Иванович Бартенев. М., 1989. С. 58).

Герой, от чьего имени ведется повествование, носит фамилию предков Садовского со стороны отца — Лихутиных.

Публикуется по тексту сборника «Узор чугунный» (М., Альциона, 1911).

ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ НЕИЗДАННЫХ ЗАПИСОК

Впервые — газета «Речь», 1910, № 306.

В основе рассказа — реальные факты биографии Баратынского, позаимствованные Садовским из письма Е. А. Баратынского В. А. Жуковскому 1823 года («Русская старина», 1870, № 11). Норвежский славист Гейр Хетсо, автор капитальной биографии Баратынского, написанной по-русски («Евгений Баратынский. Жизнь и творчество». Осло, 1973), по-видимому, будучи введен в заблуждение стилизаторским мастерством Садовского, принял рассказ за опубликованный Садовским отрывок из действительно существующих записок соученика Баратынского по Пажескому корпусу.

Публикуется по тексту сборника «Узор чугунный».

С. 200. *А. М. Кожебаткин* — однокашник Садовского по Нижегородскому дворянскому институту, владелец издательства «Альциона», где кроме «Узора чугунного» вышел стихотворный сборник Садовского «Самовар» (1914).

С. 202. *...заветной медалью на двухветной ленте...* — Серебряная медаль в память Отечественной войны 1812 года с надписью «Не нам, не нам, а имени Твоему», которой награждались участники боевых действий (ср. рассказ «Бурбон», с. 263).

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВОРОЖЕЯ

Впервые — «Русская мысль», 1910, № 3, с подзаголовком «Эпизод из жизни Пушкина» и дополнительным эпиграфом: «И где мне смерть пошлет судьбина?»

В основе рассказа — реальный эпизод из жизни Пушкина, когда в ноябре 1819 года (а не летом 1818, как у Садовского) петербургская гадалка А. Ф. Кирхгоф предсказала ему судьбу, дополненный художественным вымыслом автора.

Публикуется по тексту сборника «Узор чугунный».

С. 207. *Черкес* — Павел Борисович Мансуров, с июля 1815 г. прапорщик лейб-гвардии Конно-егерского полка. Знакомый «Сверчка» (прозвище А. С. Пушкина) по обществу «Зеленая лампа».

Юрьев — Федор Федорович, в 1818 г. поручик Ямбургского уланского полка, знакомый Пушкина по «Зеленой лампе». Эпиграф ко второй главе («...повеса вечно праздный / Потомок негров безобразный») взят из послания Пушкина Юрьеву «Любимец ветреных Лаис...».

С. 208. *...правду говорил намедни Петр Яковлич...* — П. Я. Чаадаев, знакомство Пушкина с которым относится к последнему году пребывания поэта в лицее.

Крылова — Мария Михайловна (1804—1834), в то время юная воспитанница Петербургского театрального училища. Пушкин упомянул ее в послании к П. Б. Мансурову («Мансуров, закадычный друг...») и в письме к нему же от 27 октября 1819 г.

С. 209. *...Оленька Масон* — Ольга Массон (1796 — не ранее 1830), петербургская дама «полусвета», знакомая Пушкина.

С. 211. *Наш Петр Павлыч Каверин...* — П. П. Каверин (1794—1855), в 1816—19 гг. поручик лейб-гвардии Гусарского полка, член Союза благоденствия. Знакомство и первые встречи Каверина и Пушкина относятся к последнему лицейскому году поэта и периоду жизни в Петербурге до высылки на Юг в 1820 году.

Аккуратность любит... у нас его Карлом Иванычем зовут... — Речь идет о великом князе Николае Павловиче (будущем императоре Николае I), который в то время занимал должность главного инспектора армии по инженерной (т. е. саперной) части.

С. 212. *...либо Юрьев, либо Никита.* — Никита Всеволодович Всеволжский (1799—1862), основатель литературно-политического общества «Зеленая лампа», служил по Коллегии иностранных дел.

ПОГИБШИЙ ПЛОВЕЦ

Впервые — «Аполлон», 1910, № 11.

В основе рассказа — эпизод из жизни А. И. Полежаева, происшедший в июле 1834 года, когда отставной жандармский полковник И. П. Бибиков (тот самый, по доносу которого восемь лет назад Полежаев был схвачен и доставлен для допроса к Николаю I, а затем отдан в солдаты) исхлопотал Полежаеву отпуск и увез его на две недели в свое имение Ильинское. Пребывание там поэта впоследствии описала дочь Бибикова (в замужестве — Раевская), укрывавшаяся под псевдонимом «Старушка из степи» («Русский архив». 1882. № 6).

Публикуется по тексту сборника «Узор чугунный».

С. 218. *Коник* — «Ларь для спанья с подъемною крышкой» (Даль).

С. 219. *Глухари* — здесь разновидность поддужных колокольцев.

С. 220. *Листовка* — здесь водка, настоянная на почках (смородины и т. п.).

ИЗ БУМАГ КНЯЗЯ Г.

Впервые — «Весы», 1909, № 6.

Публикуется по тексту сборника «Узор чугунный».

С. 224. *...много веселитесь и махаетесь...* — «Махаться с кем в XVIII столетии употреблялось вместо нынешнего волочиться за кем. Перевод — обмахиваться веером. Веер, как и мушки, прилепленные на лице, играли важную роль в воло-

китстве наших прадедов и прабабушек. Куда прилеплена мушка, как и куда махнула красавица веером — это была целая наука» (Мельников П. И. (Андрей Печерский). Бабушкины россказни. // Повести и рассказы, М., 1985. С. 228).

С. 230. *Здесь же присутствовал близкий друг Хомякова, известный писатель Гоголь...*— В воспоминаниях П. И. Бартенева, беседы с которым дали Садовскому неоценимый исторический материал, есть место, явно перекликающееся с рассказом Садовского: «...встречался я и с Гоголем, который производил не на меня одного неприятное впечатление: это был какой-то недотрога, довольно скудно одетый, но с великолепным бархатным жилетом с золотою цепью часов. Помню, как возвратившись из университета с лекции Каткова о психологии, разговорился я с Гоголем о том, достигнут ли психологи до того, чтобы явственно представить, что должен был ощущать Одиссей, когда перед тем, как придти во дворец Антиноя, он после стольких испытанных бедствий молился Афине в предгорней роще» (Зайцев А. Д. Петр Иванович Бартенев. М., 1989. С. 24).

ИЗ КНИГИ «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА»

СТРЕЛЬЧОНОК

Впервые — «Всеобщий ежемесячник», 1911, № 10, затем — в сборнике «Адмиралтейская игла» (Пг., 1915).

6 ноября 1911 г. Александр Блок записал в дневнике: «Нас застал за чтением ⟨...⟩ Кузьмин-Караваев. Он прочел за чаем вслух последний рассказ Садовского (о Петре, очень сильно). «Пушкин, Достоевский, Мережковский — закапывают Петра. Ключевский и Садовской — первый еще бессознательно — его откапывают: лицо, а не демона. Но и не совсем так, ибо Петр — и жертва и демон (как Чацкий). Пьяный Петр, заставляя заспанного восьмилетнего сына рубить голову стрельчонку зазубренным топором, действует и как стоящая выше окружающего или владеющая *демоническая* сила и как *жертвенное* лицо, принесшее «службу» (он еще Москва; «окно», в которое он высунулся,— там воздух отравленный, воздух белых ночей, а *не* в нем самом отрава) свою, всего себя, для будущей русской цивилизации». В кавычках — мысли Кузьмина-Караваева, мной воспринятые, взаимное согласие» (Блок А. А. Собр. соч. в 8 т. Т. 7. М.-Л., 1963. С. 81—82).

Публикуется по позднейшей машинописной копии с добавлением эпиграфа и стилистической правкой (оп. 2, ед. хр. 28).

ПОД ПАВЛОВЫМ ЩИТОМ

Впервые — альманах «Северные цветы» на 1911 год. 11 ноября того же года в газете «Голос Москвы» появилась анонимная заметка «Кража со взломом»; публикуя рассказ в сборнике «Адмиралтейская игла», Садовской снабдил его таким примечанием: «...критик «Голоса Москвы» обвинил автора в плагиате, причем указал на «Записки» А. М. Тургенева, откуда почерпнут был описанный случай. Разъяснять, что разработка исторического события и плагиат не одно и то же, автору не показалось тогда ни удобным, ни нужным. ⟨...⟩ Во избежание возможных нареканий в дальнейшем, любопытствующему читателю предоставляется самому сличить оклеветанный рассказ с «Записками» А. М. Тургенева («Русская старина», 1887 г.) и вывести заключение свое».

Публикуется по тексту сборника «Адмиралтейская игла».

С. 243. *Эспонтон* — короткая пика.

ТРИ ВСТРЕЧИ С ПУШКИНЫМ

Впервые — «Северные записки», 1915, № 3. Публикуется по тексту сборника «Адмиралтейская игла».

БУРБОН

Впервые — «Русская мысль», 1913, № 9. Публикуется по тексту сборника «Адмиралтейская игла».

С. 256. *...малиновые чакчиры...*— Чакчиры (чикчиры) — кавалерийские брюки, внутренняя часть которых сделана из кожи.

С. 258. *Винтишкет* (этишкет) — витой шнур к уланскому головному убору (киверу), который одним концом прикреплялся к донышку кивера, а другим надевался на шею, дабы удерживать кивер, если он слетит с головы всадника; *лядунка* — патронная сумка у кавалеристов; *темляк* — серебряная тесьма с кистью, навязываемая на рукоятку шпаги или сабли, принадлежность офицерского звания в русской армии.

С. 267. *Эпиграф* — из эпиграммы Фета «Наш шеф — владыка полусвета...». Б. В. Никольский, подготовивший полное собрание стихотворений Фета по рукописям, бывшим в его владении, придерживался написания «винтишкет»; Б. Я. Бухштаб в своем издании стихотворений Фета напечатал «этишкет», как было в первой публикации эпиграммы (в книге Вс. Крестовского «История лейб-гвардии Уланского Его Величества полка». СПб., 1877. С. 347). Так как тетради Фета, которыми владел Никольский и с которыми имел возможность познакомиться Садовской, исчезли после его ареста (весной 1919 года Никольский был расстрелян «за причастность к контрреволюционной деятельности» — см. «Былое». 1923. № 21. С. 156), то проверить, какое написание было в авторской рукописи, невозможно. По поводу этого термина состоялся любопытный разговор Б. Я. Бухштаба и А. А. Ахматовой (оба были сугубо штатскими людьми): «Я подарил Ахматовой Фета,— рассказал Б. Я., имея в виду второе издание в «Библиотеке поэта».— ⟨...⟩ Она прочла все: стихи, статью, комментарии. Исправила: «У вас этишкет — полоса, идущая от шапки улана. В действительности от шашки, я знаю, мой муж был уланом». Муж — Гумилев. Я сказал: «Значит, это была опечатка в источнике моих сведений, «шапка» вместо «шашка». Конечно. Ведь военный убор шапкой не называли». Анна Андреевна тут же: «Кроме Пушкина! „Сиянье шапок этих медных...“». Так точно она мыслила!» (Четвертые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988, С. 176). Добавим, что шашка, как особая разновидность кавалерийского клинка, была перенята от горцев Кавказа русской армией несколько позже. Сравни также эпиграф из Лермонтова к 3-й главе.

С. 268. *...Жуков благоуханный дым...*— В 1830—50-е годы славились табаки фабрики Жукова.

ЯБЛОЧНЫЙ ЦАРЕК

Впервые — «Русская мысль», 1912, № 8. Публикуется по тексту сборника «Адмиралтейская игла». Садовской дал к рассказу свое примечание: «Основано на семейном предании. Герой рассказа, В. И. Лихутин (Хлопов) приходится отдаленным сродником автору по бабке с отцовской стороны, Е. А. Садовской, рожденной Лихутиной».

ИЗ СБОРНИКА «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ»

ДОКТОР ФИЛОСОФИИ

Впервые — «Морозные узоры. Рассказы в стихах и прозе». Пг., 1922. Публикуется по позднейшей рукописи с добавлением эпиграфа и стилистической правкой (оп. 2, ед. хр. 28).

С. 294. *Альгвазил* (альгвасил) — полицейский чиновник и служитель в старой Испании.

ИЛЬИН ДЕНЬ

Впервые — «Морозные узоры». Публикуется по позднейшей рукописи с добавлением эпиграфа и стилистической правкой (оп. 2, ед. хр. 28).

ДВОЙНИК

Впервые под заглавием «Анекдот» — «Морозные узоры».

5 января 1922 г. Г. П. Блок, издававший «Морозные узоры», писал Садовскому: «...испанское и 1851 г. особенно хороши и великолепно, что он не застал Гоголя, этим он на 100 верст ушел от Матрадурова, который всех видел» (оп. 2, ед. хр. 55, л. 53 об.). Здесь имеется в виду рассказ «Праздничный день поручика Матрадурова» из сборника «Узор чугунный», в настоящее издание не включенный.

Публикуется по позднейшей рукописи с новым названием, добавлением эпиграфа и стилистической правкой (оп. 2, ед. хр. 28).

РАССКАЗЫ 1912—1927

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ

Под названием «Лейб-кампанец» Садовской несколько раз посылал рассказ в разные издания, однако ответы рецензентов единодушно были отрицательными, вроде такого: «„Лейб-кампанец“ — вариант на тему „Мещанина во дворянстве“ по существу своему пытается утвердить, на печальном опыте капрала из крестьян 〈...〉 тезис о том, что крепостные, охотно повинующиеся дворянам-помещикам, не склонны признавать власти над собой выходца из крестьян же. 〈...〉 Получается — быть может и помимо желания автора,— некая апология дворянства» (оп. 2, ед. хр. 2[а], л. 4 об.).

Публикуется впервые по рукописи (оп. 2, ед. хр. 38).

В ДВАДЦАТЬ ПЯТОМ ГОДУ

«Огонек», 1913, № 51. Рассказ был анонсирован для второго, дополненного издания сборника «Узор чугунный» (не осуществлено).

С. 320. *...скрипя, простирает над ним грозно железные крылья на шпице суровый ангел...*— Сравни место из «Записок» Садовского: «Весной 1911 года в Петербурге зашел я к Блоку утром и застал его за непочатой бутылкой. «Садитесь, будем пить коньяк». Мне надо было узнать, скрипит ли железный ангел на колокольне Петропавловского собора. Блок вызвался навести справки и вскоре меня уведомил, что ангел действительно скрипит» (Встречи с прошлым. Вып. 6. М., 1988, с. 127).

НАТАЛИ ПУШКИНА И ПОЧТМЕЙСТЕР

Газета «Речь», 1812, 22 октября. Рассказ, как и предыдущий, предназначался для второго издания «Узора чугунного». Публикуется по газетной вырезке с позднейшей авторской правкой.

С. 324. *«Натали Пушкина»* — пьеса В. Ф. Боцяновского.

ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛА

«Красная новь», 1926, № 12.

С. 328. *Маркевич* — Болеслав Михайлович (1822—1884), писатель. Роман

«Перелом» (1880—81) относится к роду т. н. «антинигилистических» произведений.

С. 330. *...государь в Петербурге заехал в Александровский лицей и, застав всех мертвецки пьяными, сказал: «Был бардак и есть бардак».*— Почти дословное заимствование из письма Г. П. Блока, бывшего лицеиста, которого Садовской специально просил припомнить какие-либо анекдотические случаи, относящиеся к эпохе Александра III. 17 ноября 1922 г. Блок писал о визите Александра III: «Раз приехал неожиданно в Лицей, застал пьяных и уехал сердитый со словами: „был бардак и есть бардак“» (оп. 2, ед. хр. 55, л. 74 об.).

КОНЕЦ КНИГОЛЮБА

Впервые — «Биржевые ведомости», 1915, 1 октября. По этому тексту рассказ воспроизводился дважды — в журнале «В мире книг» (1981, № 5) и в «Альманахе библиофила», вып. 12 (М., 1982).

Рассказ основан на действительно имевшем место в 1888 году случае, когда А. С. Суворин издал «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (тиражом в 100 экз., только для знатоков и любителей) по редчайшему изданию 1790 года, взятому у московского букиниста и коллекционера П. В. Щапова и сильно попорченному при наборе.

Публикуется по тексту газетной вырезки с учетом позднейшей авторской правки (оп. 4, ед. хр. 3, л. 127).

ИЗ КНИГИ «РУССКАЯ КАМЕНА»

Историко-литературные очерки, объединенные в книге «Русская Камена» (М., 1910), зачастую являются как бы параллелью к рассказам почти одновременно вышедшего «Узора чугунного». Александр Блок писал Садовскому после получения от него «Русской Камены»: «...по-моему, эта книга настраивает душу лучше многих прекрасных стихов тем именно, что возвращает чистейшие юношеские переживания любящим поэзию, в частности — русскую. Вы как бы нашли фарватер среди мелей истории литературы и литературной истории. Для этого мало любви к истории только или любви к архивам и библиографии, но необходима живая любовь. Потому я думаю, что Ваша книга, при всей своей целомудренной сдержанности (или, скорее, именно потому, что она этим целомудрием исполнена),— входит прямо в жизнь; оценки Ваши в большинстве случаев должны стать «классическими». Меня эта книга и научила, и вдохновила, и многое мне напомнила» (Блок А. А. Собр. соч. в 8 т. Т. 8 М.—Л., 1963. С. 322).

Кроме помещенных в настоящем издании статей, «Русская Камена» включает следующие очерки: «Г. Р. Державин», «А. И. Полежаев», «В. Г. Бенедиктов», «Я. П. Полонский». Очерк «Г. Р. Державин» недавно был воспроизведен в приложении к художественной биографии поэта-министра, написанной В. Ходасевичем (Ходасевич В. Ф. Державин. М., 1988. С. 342—350).

Д. В. ДАВЫДОВ

Впервые — «Русская Камена».

Д. В. ВЕНЕВИТИНОВ

Отрывок — «Весы», 1905, № 11.

Л. А. МЕЙ

Впервые — «Русская мысль», 1908, № 7.

А. А. ФЕТ

Впервые — «Русская Камена».

ИЗ КНИГИ «ЛЕДОХОД»

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Впервые под заглавием «Трагедия Лермонтова» — «Русская мысль», 1912, № 7. Под тем же заглавием в 3-м томе «Иллюстрированного полного собрания сочинений М. Ю. Лермонтова» под ред. В. В. Каллаша (М., 1914). Публикуется по тексту книги «Ледоход. Статьи и заметки» (Пг., 1916).

С. 405. *Имеются веские данные предполагать, что Лермонтов потихоньку прочел, а потом уничтожил этот дневник, посланный с ним на Кавказ для передачи Мартынову.*— Этой же версии придерживался Садовской и позже, в 1941 году, в своем романе о Лермонтове «Пшеница и плевелы». Следует уточнить: речь должна идти не о дневнике, а о письмах. Подозрение, что поэт умышленно вскрыл пакет с письмами, доверенный ему для передачи Н. С. Мартынову, впервые было высказано в письме Е. М. Мартыновой сыну от 6 ноября 1837 года и с тех пор более или менее веского подтверждения не нашло. Современное лермонтоведение не склонно ставить этот факт (даже если он имел место в действительности) в связь с дуэлью Лермонтова и Мартынова, происшедшей четырьмя годами позже (см. Герштейн Э. Г. Лермонтов и семейство Мартыновых // Литературное наследство. Т. 45/46. М., 1948. С. 691—706).

О БАРАТЫНСКОМ

Впервые под заглавием «Поэт-мыслитель Е. А. Баратынский» — «Нижегородский листок», 1911, 17 января. Публикуется по тексту книги «Ледоход».

Н. М. ЯЗЫКОВ

Впервые — альманах «Петроградские вечера», кн. III (Пг., 1914). Публикуется по тексту книги «Ледоход».

КАРОЛИНА ПАВЛОВА

Впервые, с подзаголовком «Мертвое творчество»,— «Биржевые ведомости», 1915, 16 октября. Публикуется по тексту книги «Ледоход».

Резко отрицательная оценка творчества Каролины Павловой могла быть вызвана, кроме прочего, и тем, что В. Я. Брюсов, ставший к тому времени литературным антагонистом Садовского, в 1915—16 гг. широко пропагандировал творчество этой полузабытой поэтессы.

ТОЛСТОЙ И СМЕРТЬ

Впервые — «Ледоход».

ОКЛЕВЕТАННЫЕ ТЕНИ

Впервые, с подзаголовком «О романе Д. С. Мережковского „Александр I“»,— «Северные записки», 1913, № 1.

Публикуется по тексту книги «Ледоход».

СВЯТАЯ РЕАКЦИЯ

Публикуется впервые по авторизованной машинописи из фонда Садовского.

СНЫ

Публикуется впервые по рукописи с карандашной правкой Садовского. В квадратных скобках восстанавливаются некоторые зачеркнутые автором фрагменты.

Подзаголовок «Приложение» может говорить о том, что «Сны» должны были дополнять издание «Записок» либо «Дневника» Садовского.

Эпиграф — Из вариантов к «Апокрифическому преданию» К. К. Случевского «Элоа».

С. 441. *Львова* — Надежда Григорьевна, автор книги стихов «Старая сказка». Виновником ее самоубийства современники называли В. Я. Брюсова. Судьба Львовой отразилась в поэме Садовского «Наденька» (сборник «Морозные узоры») и стихотворениях «В санатории» («Самовар») и «Невеста» («Полдень»).

Артос — большой пшеничный хлеб, сохраняемый всю Святую пасхальную неделю в церкви и раздаваемый кусками в следующее за Пасхой воскресенье приходящим в церковь.

С. 442. *К. Р.* — поэтический псевдоним великого князя Константина Константиновича. При посещении великим князем Нижнего Новгорода в 1900 году Садовской поднес ему свои стихи.

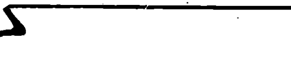
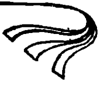
Ориген (ок. 185—254) — христианский богослов и философ, оказавший огромное влияние на формирование христианской догматики и мистики; в 543 г. его учение было осуждено как еретическое.

С. 444. *Митя Кузнецов* — писатель Д. Кузнецов, из нижегородского кружка молодых литераторов, собиравшихся в 1920-е гг. у Садовского. Автор романа «Елизавета», написанного по мотивам брюсовского «Огненного ангела» с перенесением действия в Россию времен гражданской войны; роман посвящен Борису Садовскому.

С. 446. *Черногубов* — Николай Николаевич, хранитель Третьяковской галереи, владелец коллекции, где были и рукописи Фета. Садовской посвятил ему стихотворение «Самовар в Москве» (сборник «Самовар»).

Коля Алфераки — гимназический товарищ Садовского, которому посвящено немало страниц в «Записках».

С. 450. *Коля Садовский* — младший брат Садовского, умерший 5 сентября 1912 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Александрович Садовской

ЛЕБЕДИНЫЕ КЛИКИ

Редактор
В. А. Матусевич

Художественный редактор
Ф. С. Меркуров

Технический редактор
Н. В. Сидорова

Корректор
С. Б. Блауштейн

ИБ № 7455

Сдано в набор 05.03.90. Подписано к печати 25.07.90. Формат 60×90[1]/16. Бумага офс. № 1. Литературная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 30. Уч.-изд. л. 28,70. Тираж 100 000 экз. Заказ № 158. Цена 2 р. 70 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография при Государственном комитете СССР по печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Садовской Б. А.

С 14 Лебединые клики.— М.: Советский писатель, 1990.— 480 с.

ISBN 5—265—01187—0

Прозаические произведения Б. Садовского (1881—1952) создавались и печатались на протяжении 1910—1929 годов отдельными книгами и в различных периодических изданиях — от брюсовских «Весов» до «Красной нивы». Знаток русской истории и классической литературы, талантливый критик, самобытный и оригинальный прозаик, он успешно работал в фантастическом, пародийно-стилизаторском ключе, в историческом жанрах.

Изданием избранных сочинений Б. Садовского будет заполнено еще одно «белое пятно» нашей литературной истории начала XX века.

С $\frac{4702010201-337}{083(02)-90}$ 122—90 **ББК 84 Р7**

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

КОРМЕР В.

Наследство:

Роман.— М.: Советский писатель, 1991 (I кв.).— 25 л.— ISBN 5—265—01750—X (в пер.): 2 р. 10 к., 50 000 экз.

К сожалению, Владимир Кормер (1939—1986) не дожил до публикации своих произведений на родине. Произойти это могло только в силу общественно-литературных порядков тех печально известных лет, которые теперь мы привычно зовем застойными.

Роман «Наследство» написан в традиции русской философской прозы XIX века, до сих пор в нашей литературе представленной чрезвычайно слабо. Роман рассказывает о жизни тех кругов нашей интеллигенции 60—70-х годов, настроения которой принято называть диссидентскими. В «Наследстве» В. Кормер предстает перед нами подлинным художником, внимательно вглядывающимся в открываемый им перед читателем мир, с тем чтобы прежде всего понять его.